



**Анатолий Санжаровский**  
**Дожди над Россией**  
**Роман**

**СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ**

**18+**

# Анатолий Никифорович Санжаровский

## Дожди над Россией

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68974215](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68974215)*

*SelfPub; 2023*

### **Аннотация**

Второй роман из трилогии «Мёртвым друзья не нужны», повествующей о расукуленной крестьянской семье.

# Содержание

Часть первая	6
1	6
2	15
3	27
4	40
5	52
6	66
7	80
8	99
9	119
10	130
11	139
12	154
13	166
14	175
15	193
16	203
17	220
18	234
19	241
20	251
21	269
22	293

23	308
24	326
25	339
26	356
27	367
28	387
29	407
30	419
31	433
32	450
33	462
34	479
35	504
36	535
37	563
38	579
39	599
40	613
41	626
42	656
43	670
44	693
45	725
Часть вторая	748
1	748
2	758

3	771
4	784
5	790
6	796
7	806
8	813
9	826
10	834
11	843
12	850
13	858
14	869
15	882
16	890
17	898
18	906
Примечания	923

# Анатолий Санжаровский

## Дожди над Россией

*В стране, где сажают разумное, доброе, вечное,  
ничего не всходит.*

*С. Хохлов*

### Часть первая

## В стране Лимоний

*«Страна Лимония – страна без забот,  
В страну Лимонию ведёт подземный ход,  
Найти попробуй сам,  
Не буду я тебя учить.  
Трудна дорога и повсюду обман».*

# 1

*На всякого мудреца простоты не напасешься.*  
*Л. Леонидов*

Мягкий, тихий щелчок по носу разбудил меня.  
Я еле разлепил на разведку один глаз, еле развёл веки,

словно две горы. Ох и укатал вчерашний денёк огородный!

«Гле-ебушка?»

Я протёр кулаками глаза.

Передо мною всё равно был Глеб, наш беглый бедокур  
Глебушка, про кого злые языки в Насакирали запели, что  
жизнь у парня покатилаь восьмёркой.

Я заулыбался шире Масленицы.

На меня напал радостный стих.

Глеб конфузливо раскинул на полдержавы крепкие, здо-  
ровущие оглобельки свои и, глухо хохотнув молодым бас-  
ком, мёртво подмял меня.

– Раздавишь, чертяка. Дай вздохнуть!

– Пожалуйста, вздохните и вставайте, сударь!

– Эки великосветские заскоки! Три раза ах! Кто тебя так  
обстругал?

– Гоод приложил ручку. Кобулеты-с!

Глеб сел ко мне на койку, в ногах, торжественно сложил  
руки на груди. Любимая поза Наполеона-победителя.

– А что ты, горожанин, ещё умеешь?

– Ассортимент у меня кудрявый. Могу, Антонио, напри-  
мер, наломать шею за дурацкие расспросы... Не вздыхай, до-  
рого не возьму.

– Будьте-нате! На Шипке всё без перемен... – Я поправил  
подушку, что готовилась спикировать на пол. – Откуда и ку-  
да, человеце? Из варяг в греки или уже из греков в варяжи-  
ки?

– Не то и не другое. Но и не из лесу, вестимо.

– Ну да! Знай наших. Долговых! Бери выше! Рио – тире – Житомир, Рио – тире – де – опять же тире – Жанейро, Бомбей, Сингапур и далее везде. Верно?

Глеб с важностью дожа кивнул.

– Счастливчик! Полсвета, видать, объехали?

– За кого вы меня, baby,<sup>1</sup> принимаете? Не в правилах чистокровного джентльмена знаться с какими-то половинками, пусть это и будут половинки земного шара. Aut Caesar, aut nihil. Или всё, или ничего! Весь мир имел счастье видеть меня!

– Или несчастье?

– Будьте in pace<sup>2</sup> Я никогда не оговаривался.

– Счастливчик в квадрате... Садитесь за мемуары. Название, хотя и с чужого пера, я вам дарю. «Из дальних странствий возвратясь». Недурно. А? Пишите своим, извините, варварским почерком, да не спешите. Творите. Человечество ждёт. Не откажете ж ему в любезности? Без промедлений, без дальних слов садитесь сей же час. Ну пожалуйста! Вот, – я дотянулся до кармана своего пиджака, висел на спинке койки, у изголовья, подал Глебу ручку, – вот вам вечное перо. Между прочим, Пушкин писал гусиным. Но всё равно по червонцу платили за каждую строчку стихов. Какова работа, такова и плата. За одну работу гонят с дудка-

---

<sup>1</sup> Детка (англ.).

<sup>2</sup> В покое (лат).



ми на Колыму, за другую возносят памятники по столицам. Чего вам не хватает для бессмертия? Са-мо-лов-чи-ка!<sup>3</sup> Так вон на столе. Там и общая тетрадка. Вроде кто загодя и лавку приставил. Подсаживайтесь и с ходу – в дело!

В строгом молчании Глеб поизучал ручку, прицелился, с каким-то отчаянным артистизмом всадил её на полпера в ножку той самой лавки, на которую я упрашивал его сесть и приняться за записки.

– Разумеется, – согласился он, – опасность в промедлении. *Periculum in mora*. Кстати, это латынь... Но я смотрю на всё с точки зрения вечности – *sub specie aeternitatis* – и нахожу весьма уместным отложить на некоторое время свои мемуары ради вашей персоны. Вы беспрецедентно дерзки, сударь. Воленс-ноленс я бросаю вам перчатку!

– Сперва обзаведитесь ею, фанфаронишка. Учитесь! Одним махом семерых убивахом!

Я схватил Глеба за высокую тонкую шею, дал понять этому перекауну, что цветастый светский трёп окончен.

Мы истосковались по возне.

Куражливо, ликующе сцепились на койке, запыхтели. Задор силы не спрашивает.

Ну куда мне с дягилем с этим длинным? Ладочки аршинные, что лопаты твои. Сожмёт сучок – сквозь пальцы сок брызнет!

Без спеха Глеб ловит меня за запястье. Заломил, держит

---

<sup>3</sup> Самоловчик – чернильница-непроливайка.

одной пятернёй обе мои руки под тем местом, которое ради приличия не называют (попытаюсь не проговориться и я), цедит враспев:

– Сильная рука кому не судья?

– Сила без ума – обуза.

– Конечно, швах, когда сила живёт без ума. Да разве лучше, когда и ум без силы? Чья сила, того и воля! Враг капитулировал. В знак победы, – сымает туфлю о туфлю, – водрузим знамя над рейхстагом, – и, чуть отстранясь, ставит ногу в носке мне на грудь.

– Пан триумфатор! Пан триумфатор! – информирую я снизу. – Похоже, у вас совсем расхутились и башмачки, и носочки. Большой грязный палец даже из носка нахально выбежал весь наружу и попрошайничает... Мамалыги просит! Позвольте продолжить доклад? Молчите... Ваше знамя перекрыло доступ кислорода. Я задыхаюсь, как в газовой камере. Э-э-эпчхи!

– Будьте здоровы, оранжерейное чадо!

– Не кажется ли вам, что знамя невредно иногда и постирывать?

Глеб встал, над плохим ведром вымыл ноги. Потом, поливая изо рта, постирал свои носки, кинул на бечёвку, белела на гвоздках в углу над печкой. Разделся, лёг ко мне:

– Двигайся к стенке, Антонелли. Дай одеяла.

– Для Миклухи-Маклая а ничегошеньки не жалко.

– И я не скряга. Распишитесь в получения киселя за Ма-

кляя! – легонько тукнул меня коленкой. – На сегодня хватит. Отбой.

Безмолвие длится всего с ничего.

Мне же кажется, в молчании мы пробыли целую вечность. Я верчусь с боку на бок. Невтерпёж охота накинуться с расспросами. Но как потоньше, поделикатней начать?

Головушка мякинная! На что-то умное не хватило, лупанул прямо в лоб:

– Ты с поезда?

– С именного космического корабля!

– Смешно-о... Не охотится – не говори. Пускай останется твоей тайной. Очень мне нужны твои кобулетские прохлаждения... Уже светает. Не пора ль там работничкам вставать? Хоть бы ходики какие были...

– Дави спокойно храповицкого. На дворе ещё синяя рань. С четверть шестого. Не больше.

– Откуда прыгнула такая уверенность?

– Только что видел в посадке за огородом – скворец снялся с гнезда.

– А-а... Тогда верно. Скворец просыпается ну ровнышко в пять. Хоть сигналы точного времени передавай. К скворцовым часам солнушко ходит спрашиваться, так точны. Да что скворец? В пять уже и воробей, и синица на крыле, сна ни в одном глазу.

– Тоже нашёл кому петь хвалы! Да твои воробьи, синицы, скворцы – страшные лентяи, сонные тетери! Дольше их ни

одна пичужка не дрыхнет!

– Может, и сони, – тяну я уклонисто. – А может, и птичья знать... Аристократия... Баре, господа! Как посмотреть... Что ты знаешь о том же воробье?

– У! Подбасок полный вагонишко! Воробей торопился да невелик родился! – локтем Глеб кольнул меня в бок. – Стреляного воробья на мякине не проведёшь. Ещё... Повадился вор воробей в конопельку. И воробей на кошку чирикает, да силы нет. Ага, вот... Воробьи в пыли купаются – к дождю. Хэх! Аристократы! А в пыли купаются. Или им воды мало?

– Воды хоть залейся, так с мылом туговато, – лениво подкусываю. – А когда встают другие птицы? Знаешь?

– Если старательно поскрести по сусекам... – Глеб скребёт в затылке, – можно кой да что вспомнить... В глухую ночь, в час-полвторого продирает гляделочки зяблик. Трудя-яга... Вот кому не спится. Может, его бессонье долбит? В два-три подаёт голос малиновка, что-то около трёх – перепел, полчаса спустя – дрозд, в четыре – пеночка. По растениям тоже узнаешь время. В определённую они пору открывают и закрывают цветки. В четыре раскрывается шиповник, в пять – мак, в пять-шесть – одуванчик, в восемь – вьюнок, в девять-десять – мать-и-мачеха, в двадцать – табак душистый, в двадцать один – ночная фиалка. Как и люди, не все сразу отходят ко сну. Цветы цикория закрывают венчики в два-три часа дня, мака – в три, мать-и-мачехи – в пять-шесть...

В настезь размахнутый простор окна всё сильнее бил

свет. Стол, лавка, мой велик возле окна размыто выпнулись уже из мглы. Лишь по чёрным ещё углам жалась, пряталась ночь. Но и туда мало-помалу, несмело пока доплёскивал сколками своей ясности властный молодой день.

Я спросил, видел ли Глеб маму.

– А то... Не слепец... – Глеб не сводил с потолка остановившихся глаз. – Только оно я на мост, слышу шлепки по воде. Смотрю, внизу, за ольхами, в белом круге из брызг мама полоскает бельё. Бьёт простыней по камню, брызги серебряной дугой встают и падают перед нею, будто кланяются. Хочу позвать – рта не открою. Наверно, мама почувствовала, что я здесь. Обернулась, вскрикнула, как увидела меня. Вытянутая белым флагом простыня пала из рук, сбежалась гармошкой в ком и осталась лежать на плоском широком камне... высоко выступал из воды... На бегу вытирает руки резиновым фартуком... и улыбается... и плачет. «Э-э-э... Глебка... сыночек... возвратился... Бачь!..» Я, тетеря трёхметровая, истукан истуканом. Побежать бы навстречу – ноги вкипели в землю... Упала лицом мне на грудь, слёзы градом. Сказать не знаю что... Чуть погода малёхо отошла, успокоилась. Глядит на меня, молчит, только слеза слезу погоняет... Ну... Взял я чистое бельё. Развесил в садку. Вернулся к ней, хотел дожидаться, как кончит да вместе придти – ни в какую! «Не, да не... То не дело. Я довго буду плескаться, як та утка. Иди-но додому. С дороги устал. Поспишь ще трошки...» Понимаешь! За мои художества мало меня выдрать по пер-

вому разряду как сидорова козла, а она... странно... чуть ли не как героя встретила?

– Три ха-ха! Тебе не показалось? Лучше скажи, у героя на днях или раньше нос не чесался?

– Да, может, и было... А что?

– Хороший нос за неделю чует кулак.

Я только глаза нечаянно закрыл, сон меня и смири.

## 2

*Нести вздор можно.*

*Но не торжественным тоном.*

*Ю. Тувим*

Сквозь будкий сон я слышал мамин голос.

Казалось, он был вдалеке.

– Хлопцы! Да вы шо? Посбесились? Глеба! Антон! Господа!.. Господа Долговы!.. Ох, господа!.. Спать... Хочь из пушки бабахкай!

В горестном отчаянии мама всплеснула руками.

Это я уже видел: едва приоткрыл один глаз ровно настолько, чтоб самому наблюдать и не быть уличённым в пробуждении.

Вовеки вот так.

То ли разводит печку, то ли стряпает, то ли моет пол с кирпичом, то ли штопает что – да мало ль набежит под руку разных горячих утренних разностей?! – хлопчет по дому и попутно тянет с перерывами одну и ту же старопрежнюю тоскливую песню-побудку.

С колен мама кланяется печке, раздувает огонь. Слышатся писк, треск. Наконец дрова занялись. Напоследках со стоном, с гоготанием – погожий день нынче жди! – клокочущее пламя рванулось в трубу.

Мама звякнула заслонкой, стала чистить картошку.

Вспомнила про нас:

– Та вставайте ж, парубки! Солнце уже где? Вставайте! Вставайте! Прийшов сам генерал Вставай. Сам Вставайка прийшов!

Мы – ноль внимания, фунт тайного презрения.

Это нисколечко не выводит её из себя. Она знает, капля по капле камень пробивает, а мы-то не из камня. Заря, в самый раз поспать, а тебе с корня выворачивают сон. И совсем без былого порыва, с жалостью и с грустью роняет мама:

– Заря достаток родит... Шо проспано, то прожито... прожито...

Мама прислушивается к своим словам.

Повторяет в задумчивости:

– Шо проспано, то прожито... Прожито...

Нетвёрдо подходит к койке, калачиком указательного пальца слабенько простукивает Глебово плечо.

– Глеба... колёсна душа... – молит шепотком. – Да прокинься ж... Ты чего так крепко спишь? Ты не вмэр? Бедолага напу... напутешествовался... Чуешь?.. Воды б сбегал...

Кочевник наш спит как убитый.

Маме жаль его будить. Сама утягивается за водой.

Вернулась с полными до краёв вёдрами и сразу ко мне:

– Антоха! До си спать – опузыришь! Три цены не заломишь... Да сколько ж валяться у ваших ног? Вставайте! Вставайте!

В мгновение лёгкое тканьеовое одеяло спрыгнуло с нас.



– Ось так оно лучше. – Мама вчетверо сложила трофейное одеяло, в бережи положила на лавку и для надёжности села на него.

– Ну что за мамаевская привычка разорять сонных?! – сжался я в колёсико. – Куда это годится?

– А шо за моду вы взяли не слушать, шо ридна матирь ка-жэ?

– Лично я слышал всю Вашу молитву. Одним ухом спал, другим слушал.

– И не встаёшь?

– Опять двадцать пять! Да я тыщу лет Вам долблю!.. Всё равно Вы всю эту тыщу лет распинаете по косточкам умнейшее моё предложение: воскресный сон королевский. До обеда! А сегодня пра-аздник! И-ме-ю пра-во спать до ве-че-ра! Точ-ка!

– Распухнешь... Одуреешь со сна!

– Напрасно переживаете... Кому как, а мне сон в руку. Больше спишь – больше хочется. Как богатство... Хоть сегодня ра-азик в жизни дайте выспаться по-людски! Первый же Май!

– И-и! Дажь слушать не слушаю! Послушать нечего... Куда ломит кепку!? А? Шо, тут сонное царствие? Лазарет який? Логовище лодырюкам та шалопутникам?.. Сонный хлеба не просит. Так продерёт глаза, запросит. Кто подаст?

Вопрос я отпускаю мимо ушей:

– Во-вторых, ставлю Вам на вид. Сегодня в молитве Вы

опустили ворох присказок. Ну вот эти. Долго спать – должок наспать. Кто вдосвита встает, той ранише хлеб жуе. Кто долго спит, у того собака чёботы съест. Со сна мешка не пошьёшь. Утрешний час дарит золотом нас. Смотря какое золото. Плохое золото не любит пробы. А присказка «Что проспано, то прожито» раньше звучала у Вас так: «Много спать – мало жить: что проспано, то прожито». Зачем срезали? Горелось поднять нас прежде обычного? Вместе с зябликами? Или когда?

– Колы песок на камне взойде!.. Хоть ты вставай!

– Чур меня! Что я, крайний? С краю лежит отец Глебию. Пускай отец Глебию и встаёт первым. А то развалился, как турецкий паша. Тоже мне...

– Глеб – великий гость! – назидательно сказала мама. – Пускай спит, пока не прокинется сам.

Увы и ах, я не сумел выторговать себе отсрочку на разлуку с милой подружкой подушкой. Мама разлучила нас самым коварным образом – неожиданно выхватила подушку из моих крепких, как мне казалось, объятий.

– Хватит слова по-пустому сеять, – буркнула в оправдание своего налёта. – То не сон, колы шапку в головах шукають!

– И ищите свою шапку! Моя подушка – это ещё не Ваша шапка!

Я не мог перенести двойную утрату. Потребовал:

– Ма! Верните, пожалуйста, слышите – по-жа-луй-ста! – подушку и одеяло!

– А ремня не треба, хлопче?

– Только одеяло и подушку. И никаких заменителей!

– Не гневись. Уж тутечки я тебе не подсобница.

Я насупился, наверное, как индюк.

А маме смешки:

– Осерчала баба на мир, да мир того не знал. Молодчага

Глеб. Спит и спит.

Вообще-то да. Во всю утреннюю эпопею Глебуня и разу не шелохнулся. Обстоятельно уладили сивку кобулетские кочки. Прислони его кверху кармашками к стенке, поди, не проснётся. Ишь, блаженствует. Везёт же...

Я смотрю на него во все мигалки. Дерут завидки. Почти герой... Верховное существо...

Я ловлю себя на мысли, что не взлететь мне до его высот, и толкаю с досады сонного венценосца.

Мама заметила мой вражий выпад:

– Это ты за шо?

– А так. Шутю.

– Гарни шутки – в бок коленом!

Разодрал Глеб глазнапы. Осмотрелся.

Я потянулся к чёрной тарелке громкоговорилки<sup>4</sup> на стене, включил на всю. Шесть утра. Гимн.

– Глебуня! В честь твоего пробуждения и гимнок вот запустили.

– Да выруби ты это дурацкое орало! Как кувалдой!.. Вы-

---

<sup>4</sup> Громкоговорилка – репродуктор.

саживает эта брехаловка всё из головы!

– Неужели *там* есть что у тебя высаживать?

– Кончай фиглярить, – поджимает он тонкие упрямые губы.

– Фу ты, ну ты кобулетский фон барон! Что б ты запел, глянь на себя на спящего? Рот нараспашку, язык на плече. Не только ворона влетит – карета четвернёй с бубенчиками въедет!

Он устало улыбается:

– Ё-моё... Привычку не рукавичку не повесишь на спичку.

– Есть привычка, есть и отвычка!

Глеб морщится, делает отмашку:

– Досаливай,<sup>5</sup> хухрик, эту обезьяню куролесь!

У нас с ним давний уговор играть по утрам в пословицы. Но сегодня ему не до потехи. Он отупело упирается взглядом в пол, тяжело сносит с койки одну ногу, через час другую. Я налегке подкусываю:

– Лева ножка, права ножка, подымайся понемножку...

Хватит чесать нагрудный плюш...<sup>6</sup> Пора...

– Пора-то пора, – бухтит он, – да когда это подушка с одеялом успели напару заваяться аж на лавку?

– Крупно ты, братка, отстал от жизни. Пока ты прохла-

---

<sup>5</sup> Досаливай (здесь) – кончай.

<sup>6</sup> Нагрудный плюш – волосы на груди. Чесать нагрудный плюш – бездельничать.

ждался по Кобулетам, я изобрёл автомат-будильник. В назначенный час не звенит, не поднимает панического грома. Ну зачем мешать соседям? Да и под будильников аврал – это уже доказано – байбакам спится ещё крепче. Что делает мой автомат? Интеллигентно так снимает с лежебоки одеяло. Не встал через пять минут – выдирает из-под головы подушку и швыряет на лавку к одеялу. Пока всё. Я ещё научу автомат раскачивать койку, сбрасывать с койки соню, одевать его, кормить и выставлять за дверь.

Глеб качнул тёмной, как вороново крыло, ёжистой головой – обычно мама стригла нас коротко, – вскинул насмешливые узкие брови:

– Изобретаешь велосипедию? А не напрасные хлопоты? Артамонов ещё когда сладил всю из металла свою самобеглую коляску и сразу по кривопутку подался из Нижнего Тагила в Москву на своём бегунке. Пушкину шёл второй год... Вишь, какая старь велосипедишко твой! – со смешком кивнул Глеб на мой драндулет у окна. – А ты всё его изобретаешь. Аховый ты конкурент Артамонову.

– Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. Ну, Фома неверующий, в таком разе с чужого коня среди грязи долой! – Под конём я понимал свою койку. Я упёрся локтем Глебу в рёбра. – Ды-лой! Вашего пробуждения заждалось человечество. Извольте к рампе. Ваш выход!

Всё произошло в мгновение. Я энергично оттолкнулся ногами от стены, и Глеб в один огляд был выкурен из моего

владения.

Замечу, человечество – это, между прочим, и я. Я заждался освящённого обычаем незлобивого тумака, ликующего, лучезарного сигнала к потешной мамаевой потасовке, она заменяла нам по утрам уроки гимнастики. Но чудик Глеб с видом какого-то угрюмого отчаянца духом оделся. Не проронил ни звука, скользнул тише тени в угол и сел на облезлый сундук. По низу сундук был усеян металлическими листиками из консервных банок; прихватывали мы мелкими гвоздками листики по краю, залатывали зимой мышинные лапы.

Глеб положил босую ногу на ногу в носке и с каким-то молчаливым вызовом впился вязким взглядом фаталиста прямо перед собой в пол.

– Ну, ты шо задумався, Глеба? – вздохнула мама. Она мяла в чугунке картошку. – Передумкой прошлого не вернешь.

– Не мешайте, ма. Чапаев думу думает! – с одеялом, с подушкой я прожёл на пальчиках мимо Глеба от лавки назад к постели и лёг. – Думай, голова, картуз дадут!

Глеб хмуро молчал.

Поза почти роденовского мыслителя, пожалуй, ему шла.

Было так тихо, что слышно, как под маминой койкой в каком-нибудь разбитом, в отжитом сапоге тонко и жалостно попискивал народившийся, наверное, только вот этой ночью красный мышинный выводок.

С колкой усмешкой мама взглядывала на босую Глебову

ногу. Не стерпела, уточнила:

– Или, парубоче, кумекаешь... Одна нога обута, друга разута, а як бы третья була, не знаю, як бы и пийшла? Эге ж?

– Не волнуйтесь, знаю! – сквозь зубы промычал Глеб, будто рот ему кто завязал.

Он совсем обулся, достал из сундука утюг.

– Гладиться собираешься? – спросила мама.

– А хотя бы, – с развязной бойкостью отвечаю я за Глеба. – Вспомните, что день грядущий нам готовит? Первый Май! В городе Махарадзе парадище-ух! Вот наш Глебунио и чистим-блистим. Наводит полный марафет. Самая осталась малость – разгладить стрелки на ботиночных шнурках.

Глеб заводится с полуоборота:

– Слушай, разумник, ты довыступаешься не по делу. Зарубил на носу, рука у меня на подъём лёгкая. Могу и накидать невпопад!

Костяшками железных пальцев он с силой ахнул кулаком в кулак.

Каюсь, стук его молотов впечатлял. По коже пробежал морозец градусов на двадцать. Вдогонку проворнее курьерского стриганули мурашки.

Под сухой газетный треск Глеб вывернул из своего свёртка свечку, навалился тереть ею изжелта-серую подошву утюга.

– Ты поглянь, який хозяиновитый! – не без восхищения и впрямь работающим сыном – только через порог и уже весь

в хлопотах! – засмеялась мама одними глазами. – Хозяйко всегда дило найде. Без хозяина дом сирота. А теперя мы не сироты. У нас Глеба е. В дому е хозяин! – сияюще твердила она, ни к кому отдельно не обращаясь.

Говорила мама в с е м и в первую очередь, как мне казалось, самой себе, оттого что верила, а может, и не совсем верила глазам своим.

И минутой потом, когда сошла первая волна радости, осторожно, в обход – не память бы самолюбия! – уважительно спросила:

– Ты б сказав, Глеба, шо ото с утюгом собираешься делать. Не гладит – дерёт! Нагарком паразит зарос, як репьяхом.

– Вот и дерёт – в баньку просится. – Глеб прогладил тряпочку, посыпанную солью, заглянул вмельк под утюг. Широко подал утюг маме. – Принимайте работу!

Мама ахает. Сражённо смотрится в чистое лобастое зеркало утюга, наспех схватывает белую косынку на затылке в узел.

– От спасибо, сыночку! От спасибо! И зеркала не надо... Утюг заместки зеркала! Отчистил как... Поддай Бог тебе чего хочется... Не здря стари люды кажутъ: «Всяк дом хозяином хорош».

Глеб чувствует себя именинником.

Разворачивает на столе свёрток.

Свечи, свечи, свечи!

Подсмелел он, вот и указание мне позлей поспело:



– Ну выруби ты наконец то проклятое бандитское трепло! – тычет пальцем в чёрный кругляш на стене. – Сколько можно базарить?!.. Всё ж начисто выбивает из головы!!!

Я озадаченно подпираю щёку рукой:

– Ты без шуток? Да неужели всерьёз *там* у тебя так-таки и завелось что?

– Успокойся, кактус тебе в карман! Сейчас проверим, *что там* у тебя. Ну-ка, книжная моль, дважды два? Да! Сколько будет дважды два?

Я выключаю громкоболтатель, по-быстрому перебираю в памяти каверзные ответы на заданный с явным подвохом вопрос и ничегошеньки-то путного не набегает на ум.

– Пять! – бросаю наугад.

– Хоть шаром покати! Пусто у тебя *там*, на чердачке, как в Сахаре! С чем и поздравляю. Дважды два – стеариновая свечка! Вот эта. Полюбуйся!

Ко мне на одеяло летит белая палица с пол-аршина.

Повертел я её брезгливо, попробовал на вкус. Брр! И отшвырнул назад в кучу на стол.

Во всё это время мама с каким-то изумлением смотрела на гору свечей. Тени недавней радости, смешанной с бедой, блуждали по её лицу. Она не отрывала пристального, клейкого взгляда мудрых тёмных, с желтизной, глаз от белого вороха, в задумчивости проговорила:

– Такие свечи я бачила последний раз ув церкви... Була я тамочки Бо зна колы... Не ходю до церкви – грех мне будэ

от Бога... А тоди я ще в дивчинах бегала...

– Это когда с отцом в Криуше познакомились? – спросил я.

– Ох, живуха-матушка... Я и забула, шо выходила за-муж...

– Так вот напоминаем...

– Було дело... сознакомились... – стыдливо потупилась она.

– И он пел с клироса. А Вы удивлялись, такой молодой и поёт?!

– А шо ж делать? Удивлялась...

– Мам, Вы б про отца ещё что-нибудь рассказали... Да про жизнь про свою молодую в Криуше... А то когда ни попроси, всё на потом да на потом спихиваете.

Мама сердито плеснула руками:

– Скажи, хлопче, ты довго думав? Голова, як у вола, а всё, ох, мала: реденько засеяно... Ляпнуть ото ляпнул, а послушать нечего. Ну подумай... Утро. Делов повна хата. А мы давай рассядёмось та будем брынчать про Криушу? Про батька? Иль он с того из земли выйдэ?

### 3

*Горы, которые сваливаются с плеч, иногда падают на плечи другого.*

*Г. Ковальчук*

В глубокой сосредоточенности мама смотрела на свечи. От них веяло чем-то мёртвым.

Страшная догадка кольнула её. С нестерпимо белых свечей она перевела взгляд на Глеба.

– Не с клюкушниками ль ото где съякшался да обчистил церкву?

– Очень нужны мне Ваши те церковные мазурики!

– Тогда где ты стилько набрав свечечек?

– Представьте, заработал. – В подтверждение своих слов Глеб пристукнул ладонью по крышке кованого сундука.

Он дал понять, что оскорбительно-унизительный допрос с пристрастием окончен, принялся невозмутимо обзрывать на своих ногах плотные высокие чуни на фордовском ходу.

Чуни эти самодельные. Шил Митрофан, старший братан. Отцовской цыганской иглой шил, недалеко яблочко откатилось от яблоньки. На подошву Митрофан вырезал куски из покрышки, что отслужила век на фордовском автомобиле, после войны американцы подарили Союзу.

Из нашей насакиральской восьминарии Митрофан выскочил круглым пятёрочником. Не хитёр парень, да удачлив,

неказист, да талантлив. В Усть-Лабинске, это под Краснодаром, без экзаменов взяли в техникум. Вот учится. Будет механиком на молочном заводе.

После долгого молчания мама сбивчиво проронила:

– Не при мне писано... Шо-то я не пойму, Глеб. Мне так всю жизнь плотять рублёмками, а с тобой разошлись свечками?

– Видите, это привилегия дубаков. Им за работу дают то горсть семечек, то горсть гладких морских камушков. А то и вовсе вязанку свечек, как вот мне. И разрады-радешеньки.

– Охолонь трохи! Не туда, хлопчара, гонишь коней. Чего это ты закипел без огню? Який ты дурачок?

– Натуральный. Без подмеса. Вспомните своё же. Про меня. «Родился парень умён, да подменили, оттого и глуп». Глуп и глуп. Ну и на том спасибо. Вот и люди поняли, кто я.

Заливает кобулетская сиротиночка на ять. И не подумаешь, что прикинулся валенком.

– Ты, Глеб, зав, – потачиваю я коготочки. – Завпалатой. У тебя ж ума палата!

– Да и та дыровата? – жалуется он.

– Ну, тюря-матюря, тебя мёдом не корми, дай только победничать на себя. Заладила сорока – дурачок да дурачок. Не дурачок ты, а ду-да-чок! – Я отвёл указательный палец от большого так на полсантиметра. – Вот таку-у-усенький дуда-чок.

– А ты дуда. Сыграть?

Мешком валится он на меня, хватает, как тисками, за лицо, нажимает сложенными вместе большими пальцами на нос. Шатает меня из стороны в сторону – я машина, качаюсь на ухабах! – сигналиит:

– Пи-пи!.. Пи-пи!..

С весёлой укоризной глядит мама на нашу возню на койке: «Ой! Дурак нашёл на дурака и вышло два!»

Со странностями Глеб малый, но без привета. Это уже точняк. Все беды у него из-за школы. Ну, виноват он, что учеба с кровью ему даётся? Мы с Митрюшкой наискосок прочли раз-другой и долой книжки с глаз. Знаем. Как бы не переучить!

Он же...

Помню, зубрил про дуб у лукоморья. Вечерело. Сел на крылечке, на перилах и долдонит, и долдонит, и долдонит.

Сизые сумерки вот они. А он упрямо ещё ниже гнёт голову к книжке. Соседа любого спроси, перила те же спроси, ёлочку под окном спроси – на память тот стих расскажут! На весь же двор трубил!

Беленькая – так звал Глебка одноклашку Таню Чижову (Чижовы жили от нас через одну, семисыновскую, комнату, их дверь выбегала на соседнее крылечко), – Беленькая уже вышла из своего чума с вёдрами.

– А я, Глеба, по воду.

Обычно она отправлялась в овраг к роднику под сводами густых каштанов, как выучит всё на завтра. К той поре в

редкие дни удавалось и Глебе разделаться с уроками. Пока было светло, он до десятого пота горбатился или на чайной плантации, или на огороде, как и я. На уроки нам доставались одни вечера да ночи. Лишь в непогоду мы блаженствовали – садились за учебники сразу после школы. Только вот в такие дни Глеб летел следом за Беленькой по воду, хотя воды в доме было вдоволе. Из ведра он вываливал воду по чугункам-кастрюлям, бежал за свежачком.

А тут не побежал.

Одна Таня шла не в охотку, разбито. Пустые ведра уныло поскрипывали на коромысле.

Уже за углом дома она с решительной откровенностью жалобно и зовуще запела:

– Твои глазки сини, сини,  
Таких нету в магазине.

Глеб слышал, но не шелохнулся. Только ещё злей забубнил проклятый неподдающийся стих.

Перед сном Таня принесла – она шефствовала над Глебом и сидела с ним за одной партой – принесла жалостливая душа спасительный вариант для тех, у кого отсутствует всякое присутствие, кто не выдумывает порошу и не сшибает кепкой звёзд с неба: «пускай звёзд на небе хватает всем».

У лукоморья дуб спилили.  
Кота на мясо изрубили.

Две эти строчки колокольня запомнил.

Однако из школы принёс честно заработанного лебедя.

Ещё два вечера промаялся горемыка, но стих так вытвердил – на собственных похоронах наизусть расскажет, не поперхнётся. Да только кому это надо? Задавали-то на сегодня, сегодня и оценка. А завтра это уже пройденное, и если ты успел забыть за ночь, никто не спросит, а и спросит – не осудит: успевай учи новое.

Удивительно!

Скажем, не успел на сегодня толком выучить, его благополучно пронесло, не спросили. Ну и слава Богу! Забудь! Но он, придя домой, берётся не за новое, а дожимает старое, вчерашнее. Зачем? Всё одно ж не спросят. К чему эти мартышкины закидончики? У него и довод диковатый. Учусь-де не ради преходящей отметки, учусь ради твёрдых знаний и в будущем!

Эк куда хватанул!

Какое оно, будущее? Где оно? Когда оно наступит? Через час, через век?

Будущему в глаза не заглянешь нынче, не тронешь рукой. А вот день сегодняшней с тобой, он первый тебе указчик.

Как ни святы порывы твои, школярик, но сегодня тебя вызвали, сегодня и сказали красную тебе цену. Слово оценки авторитетней, громче твоего слова. Власть оценки безмерна. Она делает погоду, правит тобой, создаёт и смывает твоё

влияние в миру; возносит, окрыляет, унижает, убивает; диктует отношение к тебе школы, дома, улицы.

Мы с Митрюшкой штатные красные пятёрочники. В прочности же знаний мы и в подметки не годимся середнячку Глебу. (Он и по возрасту между нами середнячок.) Зато на родительских собраниях нас с Митрухой хвалят не нахвалят. Мама слушает, расцветает цветком. А докатись очередь до Глеба, милый Сергей Данилович Косаховский, завуч, враз поубавит и звону в голосе, и блеску в глазах. «Трудолюбивый, настойчивый, дисциплинированный, честный, принципиальный, но, к сожалению, малоспособный, заурядный ученик».

Все достоинства скачут мимо ушей!

А вот что малоспособный, заурядный – это ложится всем на слух. Приговор поспел. Попробуй от него отмойся.

Зябкие оценки – неподъёмный крест вечного мученика, что безропотно нёс Глеб, – замкнули его, загнали в себя. Кипит-клокочет сердчишко, а через край наружу гнева не плеснёт. Переварит всё в себе, канючить подпорки у кого-нибудь не побежит. Сам себя вывозит из беды.

Другой на его месте давно б расплевался со школой – он худо-бедно учится. Надо! Но что ни вяжи, дорого б он дал, разреши мамушка пойти работать. С радости весь бы Кавказский хребтину горстями перенёс за тридцать девять земель.

Втерпелся, вжился Глеб в мысль, что его место всегда там,



позади, среди всегда виноватых. Всосало ястребка в собственное варево, что по своей тупости только и может сбиваться с линии («привилегия дурачков»), оттого, ввалился он в какой переплётешко, загодя загребал, тянул на себя всю вину до дна, не искал причин, не придумывал оправданий.

Вот эта история со свечками.

Зачем было чернить себя? Разве хоть на вершок была на нём вина?

– А взаправде если, свертелось всё так... – вразвалку, утицей Глеб вернулся к сундуку, сел. – Мало я в Кобулетах жмурился, зато много видел...

– Где ж ты там жил-блукал в тех Кобулетах? – испуганно допытывается мама.

– Где я мог жить? Как Вам поточнее... М-м-м... Против неба на земле... в непокрытой улице...

Видит мама, катит болтушок турусы на колёсах, в лад ему уточнила:

– Ульца та сама теснота. Бабы через ту ульцу из окна в окно горшки ухватом передають?

– При нас не успели бы... похватали б с голодухи... Как экономию ни наводи, а и последняя копейка ребром прочь ускакала. Затянули мы с Федюшком потуже курсаки, сидим на одном чёрном хлебе. Благо, вода в колонке без цены. Тоска-а в горле... А сегодня без горячего, завтра без горячего и – утолкали сивку кобулетские корки. Прямо лошадиные бега в тебе. Раз за разом р-р-ры-ы-ы, р-р-ры-ы-ы, будто на дрожках

вперегонки мчатся. Арифметика простая. Не кисни руки в брюках, марш на подёнку! Выгружал вагоны с лесом, с углем, с удобрением, с цементом... Работуха весё-ёлая... Вчера получал последки. Выдавала молоденькая тёлочка вне критики. Первую неделю в кассиршах. Что любопытно, всё передавала, ёлочки душистые. И вчера напередавала. Со мной разойтись немного не хватает денег и ну в слёзы. Чудеса в решете: дыр много, а не выскочишь... Делать нечего, пресно отваливаюсь от окошка. Выбежала она, цап меня крашеными коготочками да к дяде. «Он тут завскладом, выручит!» Дядяка и слушать её не слушал, без слов всё понятно. Говорит: «Ничего съестного иль питейного у меня, молодой товарищ, не водится в натуре. Могу дать бумажный куль селитры... уголька... Вот свечки... ящик рассыпался». Свечки я разве что в кино видал, я и польстись на свечки.

– А что ещё, кобулетская чудь, заработал? – спросил я. – Хоть на шнурок от бублика принёс?

– Не бойся, принес! – Глеб достал из пистона рубли, троячки, смятые в комок с мелочью внутри, и, рдея, точно застали его на недобром, положил пухнувший ком на стол. – Вот они, как Вы, ма, говорите, воробушки, пообжились и повелись.

– Ба-а! Впервые вижу отечественного Рокфеллера!.. А между прочим, Санёк Македонский, когда вернулся из индийского похода, подарил каждой женщине в своей стране по золотой монете. А где твоё золото? В Сибири домывают?

Глеб жёстко постучал кулаком о кулак.

Тоже мне... Скажи доброе слово, так он как тот кот – больше гладишь, больше горб дерёт.

– Антоха! – шумнула мне мама. – Чем ото плести шо заздря, вставай лучше да курчат подкорми. Бачь, плакають. Йисты просяють.

– Разве я на птичаря похож?

– Вылитый кусок лодыря! – в сердцах бросает мама и с колен достаёт из-под моей койки перевернутую вверх торманом щелястую круглую бамбуковую корзинку для сбора чая. Под кошёлкой ночевала квочка со всем своим рыжим семейством.

Цыплята почувствовали свободу, золотистыми шариками раскатились по комнате. Привязанная за крыло к кровати ножке наседка подняла голову, с тревогой следит за ними. Строго вопрошает: «Ку-у... ку-у... ку-уда?» Ни ответа, на возвращения. Выждала секунду, запрокинула голову набок. Прислушивается к своему же голосу, настойчиво повторяет: «Куда?!.. Ку-да?!.. Куд-куда?!...»

На газетный лист мама кинула мешанку, калачиком пальца застучала рядом по некрашеной звонкой, жизнерадостной половице.

– Ну, ребятёжь! На завтрак пора! – созывает она цыплят. – Спешайте! Да всяк свою ложку не забудь!

Накормила, выпроводила их вместе с квочкой во двор.

Задержалась на порожке. Завосхищалась:

– Ты поглянь, ты поглянь, как ребята курсируют по трое!  
От дела!

В приоткрытую дверь я вижу, как цыплята стайками носятся возле крыльца и за мелкими букашками, и друг за дружкой. Конечно, впереди бежит с добычей ухватистый соколок, а по пятам катит, разрастается жёлтая орда с вытянутыми шеями и с пустыми мягкими клювами, похожими на запятые.

Этот промысел кажется наседке накладистым, невыгодным. Она осанисто выступает, скликает всю семейку на крыльцо. Мол, чего это мотаться выше сил? Добавочного провианта можно и выпросить, можно на худой конец разжиться тут им.

Живым золотым колечком цыплята окружили забытый на крыльце чугунок, в котором варилась вчера пшёнка и в котором на боках немного осталось каши, и всё громче вызванивают восторг весенней капли.

– Это шо ж за такое за наказание! – спохватилась мама. – Экыш! Экыш! А ну! Где моя палка? Да где моя здоровая палка?..

Цыплят не интересуется, куда запропастилась её палка.

Они продолжают деловито простукивать чёрные бока у чугунка.

– Я кому сказала – где моя палка?

Мама озирается по сторонам, делает вид, что и в самом деле отыскала несуществующую палку. Наклоняется её взять

и кинуть. При этом она даже боится повысить голос, поднять руку. А ну и взаправду ещё перепугаешь!

Минуты через две чугунок вовсе опустел.

Квочка державно повела свою золотую орду по низким ступенькам вниз, к сковороде с водой.

– С Богом! – проронила мама вслед и закрыла дверь.

– Ма, – говорю я, – поспать бы, да... Вы были на дворе.

Что там? Дождецом не пахнет?

– Пойди да понюхай.

– А у меня нюх ленивый. Одинаково пахнут и керосин и всегда духовитый Ваш борщ. Нос заложило, голос гудит.

– Ото ещё новость. С чего?

– Со вчерашнего. Сеял до самой до ночи ту проклятуху кукурузу. Через час да каждый час с поту припадал к ручью.

А вода холодянка...

– Всё б ото выкидывал коники без путя... То и прохватило. Гарно выдирает простуду липовый отвар... Да когда его варить? Давай натру груди чесночной кашкой со свинячим жиром.

– Только чеснока и не хватало!

Неожиданно мама пыхнула:

– А что ж я тебе дам, гос-по-дин до-ро-гой?!

Видали? Все слова у неё вдруг чисто русские. Нет и намёка на прихват хохлиных слов, как говорит затерянный в воронежских степях хуторок Собацкий, мамина родина...

Зато у соседей, в Новой Криуше, куда собачане за неиме-

нием своей церкви ходили молиться и откуда родом отец, обычная речь русская.

Заняты воронежские картинки...

Ни Митрофан, ни Глеб, ни я – мы не погодки, высказывали в аккурат через каждые три лета – все мы трое потянули в языке отцову сторону. Не странно ли? Мама с нами ж день в день всю жизнь. А отца если Митрофан и Глеб немного и помнили, так зато я совсем не помнил, не знал, но говор его остался жить в нас.

Мы понимаем маму, но не говорим, как она. Наверное, наш разговор с нею похож со стороны на концерт Тарапуньки со Штепселем.<sup>7</sup>

Когда мама сердится, она неожиданно переходит на *наш* язык. Думает, мы её не понимаем. Дети же!

– ... гос-по-дин до-ро-гой, – по слогам повторила она и поджала губы, колко посмотрела мне прямо в глаза.

Не выдержала моего спокойного взгляда, отвела лицо чуть в сторону.

Вроде как винилась, пустила скороговоркой:

– Хорошо б размешать свежий луковый сок с мёдом.

– Мёд? Пожалуйста! – воспрянул я. – Но сок не обязательно.

– Эге-е... Губа не дура, – отходчиво улыбнулась она. – Наша Дунька не брезгунька, жрёт и мёд.

---

<sup>7</sup> Персонажи киевских артистов разговорного жанра Ефима Березина и Юрия Тимошенко. Один говорил по-русски, другой по-украински.

Находчивого не озадачишь.

– Раз уж мёд, так и ложку!

За ложкой дело не стало. Только мёд оттого не появился за компанию с нею. Водился мёд в доме разве что на турецкую пасху, а чаще всего на русский байрам.

Между тем на плите-каменке о двух гнёздах засипел облезлый, бывший зелёным чайник. Загремела, заподпрыгивала над паром крышка.

Плеснула мама на ложку сахарного песку, сунула в огонь. Песок растаял, порыжел и, пузырясь, загорелся.

Мама торопливо вкинула ложку в чайник.

– Вот и заварила... Цвет – хочь на базарий неси...

Необъяснимая штука. Из окна видна чайная плантация. Чайные рядки начинаются сразу за штакетником, чуть ли не от крыльца. Полжизни мама гнётся на чаю. Но чаем и разу не заваривала кипяток. Это уже так. Сапожник без сапог, чаевод без чая.

– Я и забула... Шо мёд? Ты его и духу не знал... У нас же ожиновое<sup>8</sup> варенье! Сам ягоду к ягоде в лесу собирал...

Мама ввалила две столовые ложки варенья в стакаш с золотистым кипятком, глянула на свет красно-фиолетовый чай.

– Сама б пила, да грошики треба... Вставай, умывайся да лечись, – и поставила стакан на край стола.

---

<sup>8</sup> Ожиновое – ежевичное.

## 4

*Маленькие дети – маленькие хлопоты, большие дети – большие аплодисменты.*

*Е. Тарасов*

Жгучий чай я отхватывал капельными глотками и заметил, как столкнулись взглядами мама с Глебом.

Мама сидела на корточках, перебирала бельё в тазу. С лица вроде спокойна. Но под рассыпухой пеплом томились ало-синие угли раскалённой обиды, и как она ни старайся, её волнение выдавали и напряжённый быстрый взгляд, и вздрагивающие мокрые пальцы, и губы, плотно сжатые, бледные.

Я думал, моё дело мельника: запустил и знай себе молчи. Я неторопливо помешивал, позванивал ложечкой в стакане, всем своим безразличным видом давал понять, что меня ничто не занимает, разве только один чай.

Но втайне я ждал баталии, в свидетели которой меня ткнул случай.

«И ту бысть брань велика...»

Первая заговорила мама сухим, чужим голосом:

– Глеб, ну что скажешь?

– А что спросите?

«Этот гусёк лапчатый диплома-атище...» – хмыкнул я.

– Ы-ы-ых! Бессовестный пылат! – Брызги родительского гнева хлестанули через край. Пылат, то есть пират, – един-



ственно этим словом мама выражала предел своего негодования. – Бесстыжи твои глазоньки!

– Возможно, – деликатно уступил Глеб.

– Что тебе за это?

– Что хотите.

– Что ж я с тобой, вражина, связываться стану, как ты уже выше дома?

– Мы люди негордые. Можем пригнуться...

Наверно, мама не слышала о великодушной уступке. Продолжала перебирать бельё.

– Когда только я и отмучусь от вас? – тяжело подняла взор на Глеба.

В ответ он лениво передёрнул плечами, словно говорил:

«А я почём знаю».

Эта выходка явилась тем последним перышком, от которого целое тонет судно.

Мама резко поднялась, выдернула из таза полотенце и широко замахнулась, чтоб непременно буцнуть тоже вставшего во весь рост высокошу праведным тычком да по окаянной аршинной спинушке.

Глеб отдёрнулся, и мама дотянулась всего-то до крутого плеча. Две капли упали ей на лоб и пробежали по лицу. Из ладонной бороздки светло выкатилась струйка и, блёстко пробежав по запястью, скрылась под рукавом цветастой кофты. Прижала мама локоть к боку, промокнула струйку.

Видимо, она решила не гнаться внакладе за журавлём в

небе, а довольствоваться синицей в руке, накатила латать школьные и свои прорехи в Глебовом воспитании шлепками мокрого полотенца по его бедрам, по коленям.

Мы не были ни образцовыми, ни показательными.

Однако сеанс воспитания с практическим применением мокрого полотенца проводился сегодня впервые. До этого были лишь жалкие угрозы ремнём. Надо отдать должное – зловещая тень ремня сыграла прогрессивную роль в лепке наших характеров.

Сама мама училась в школе всего с ничего. Как она шутя говорила, носового платка и разу не успела сменить; отозвали в няньки, в работницы. «Учись лучше ткать. Всё себе хоть дерюги на юбку наткёшь».

Не проходила мама Ушинского и считала, что в крутой час мобилизующая сила родителей сидит в весомерном солдатском ремне, чего в доме не было, но о чём не так уж и редко напоминали.

К ремню её настойчиво поталкивала народная мудрость.

Как ни прискорбно, народная мудрость возвеличивает рукоприкладство, не находит ничего оскорбительного ни в подзатыльниках, ни в оттягивании ушей до неприличных размеров. Напротив. Рукоприкладство идёт в цене как снисходительный святой дар свыше. Теперь-то мы знаем, доподлинно знаем, кто родоначальник розги и кнута, кто отец порки. «Бог создал человека и создал тальник и березник». Не пропадать же тальничку с березничком! Потому «не плачь би-

тый, а плачь небитый». Поскольку «не бить, так добра не видеть».

Частые слабые удары сыпались от полноты чувств как из рога изобилия. У-у! «Родители не прощали учителям своих ошибок в воспитании детей»!

Трагически-просветленно, с почтением, с надеждой сначала смотрел Глеб сверху вниз на своё избиение. Он горячо верил в очищающую от скверны магическую силу воспитательного удара.

Но скоро его постигло разочарование.

Теперь он уже не мог без смеха видеть происходившее. Не мог и не смеяться, хоть и сдерживал себя на всех вожжах. Весьма неприлично, негоже хихикать над старательной работой взрослого человека, как тоскливо он её ни делай.

Глеб прыснул раз в кулак, прыснул два, а там и вовсе разоржался на весь дом.

– Ма, да ради Бога! Придумайте что-нибудь пооригинальней! А то я со смеху помру!.. Всего вымочили, из реки будто... Без огня... Без гнева... Это не битьё! Па-ро-ди-я! Не можете – не беритесь...

Не слушала мама, чему там учили яйца курицу.

– Ну, ма-а, – сквозь смех канючил Глеб, – не кажется ли Вам, что Вы слишком увлеклись? Знайте же край! Мера на то и существует, чтоб её уважали хотя бы по великим праздникам. Как сегодня!.. Со смеху вон мухи с потолка сыплются

мёртвые... Не смешите. Не можете дать оттяжного порежа<sup>9</sup> – не беритесь! Прекратите же!

Мама как-то послушно бросила полотенце в таз, но не выпустила Глеба из своего взгляда.

– Что ты зубы скалишь?

– А что мне плакать? Пускай поревёт небитый ангелочек вот этот. – Глеб кинул в мою сторону руку, сжатую в кулак, оттопырил указательный и большой пальцы, всадил в меня из воображаемого пистолета две пули. – Пых! Пах!.. Теперь мы с ним – небо и земля. С сегодня за одного, как я, битого двух, как он, небитых дают, да и то уже не берут. Небитый – серебряный, битый – золотой!

– Ма, – сказал я, – наш золотунчик просит набавки?

– А-а, – с натугой, с горечью дрогнувше вымолвила мама, ватно махнула рукой и, отвернувшись, заплакала в голос, сронив лицо на ладони.

Злость подпекла меня. Мало – полторы недели убивалась, пока эту каланчу мотало в бегах. Явился, не упылился. И снова из-за него слёзы!

– Да не стоит, мам, из-за этого разбуздая расстраиваться. Хорошенечко бы проучить!

– Кто не даёт? – вполплеча повернулся Глеб ко мне. – Проучи и не фони.

– И проучу. Дать тебе надо так...

– Чтоб?..

---

<sup>9</sup> Дать порежа – побить.

– Чтоб сам Чоча не смог опять собрать по кусочкам!

Я разлетелся капитально звездануть его в ухо. Но впопы-  
хах не дотянулся, лишь чиркнул подушечками пальцев по  
подбородку.

– Как видишь, хлопот Чоче не набавилось, – засмеялся он  
одними глазами. – Это вовсе не значит, что вот сейчас его  
помощь не востребуется.

Обошлось без Чочи, совхозного врача.

Зато мне улыбнулось счастье в смятении изучать в зер-  
кальном осколыше, вмазанном в стенку, чёткие глянцеви-  
то-румяные отметины его пальцев у себя на щеке.

Они алели, как стручки перезрелого перца.

– Три ха-ха! Спасибо! – кивнул я Глебу.

– Не стоит благодарности, – отвесил он поклон.

– Что вы не помиритесь, как тот рак с окунем? – прикрик-  
нула на нас мама. Она переставала плакать, вытирала кончи-  
ком косынки уголки глаз. – Щэ мне подеритесь!

Мы притихли на койке.

Сидим рука к руке, покорно опустили головы.

– Эх, хлопцы, хлопцы, – с мучительным беспокойством  
затосковала мама. – Растёте, как из воды идёте. Выдули, хочь  
небушко подпирай... А слухаться, почитать перестали. По-  
чему?.. Я вся на ваших видах. Рази я кого обошла? В вас же  
я вся... Все лета, всё здоровья, мои все жилоньки – в вас...  
Батько шёл на фронт... с фронта... Дядько Анис живэ за  
стенкой, на одном с нами крыльце, не дасть сбрехать, вместе

воевали-были до остатней минуты... В кажинном в письме с фронта батько всё наказывал: «Ты ж гляди, Польшка, за ребятами. Чтоб не хуже как у людей... Чтоб не уркаганами росли». Его б слова да Богу в уши... Я боялась, зараз щэ бильшь боюсь – такими станете. А поделать ничего не поделаю. Здоровья не то, года не те. Никогда не била, теперюшки и не смогу. Поперёк лавки поздно класть. Не уместишь... Ещё сдачи дасте... Ни в чём не буду вас потужать... Делайте, как знаете... Как же не докумекаете?.. Не себе ж буюсь как рыба об лёд. Не себе ж надрываюсь. Ва-ам!.. Хочу, шоб в люди выбежали. Шоб не стыдно про вас в народе послухать... А... Для кого вы живёте?.. Для себя живёте. Хорошо сделаете – вам, плохо – тоже вам. Не отыму. Что сеешь, то и жнёшь...

«А хреновенький урожайка, раз что посеял, то и сгрёб», – скучно набежало мне где-то уже вроде слышанное.

– Как постелешься, так и выспишьяся, кажутъ у нас в Собацком. Хотите – слушайте. Не хотите – как хотите. Тилько я бильшь ничего не скажу.

Мы не поднимали голов.

Я отрешённо пялился на свои руки, лежали на коленях кверху ладонями. Ладони сплюснутые, непослушные, будто вовсе и не мои. Со вчерашнего это сева. Всегда вот так. Денёк покатаешья на лопате, повламываешья ли топоришком, чайным секатором, тохой<sup>10</sup> – это такая тяжёлая мотыга, как мы говорим, с декольте, с окошком в кулак над лезвием, – де-

---

<sup>10</sup> **Тоха** (грузинское sj[b – тохи) – мотыга. **Тохать** – мотыжить, полоть.

нёк плотно попотеешь, чернильным вечером вчера бредёшь домой, хочешь разжать, распрямить пальцы – нет, не выходит. Не слушаются. И сразу не поймёшь отчего. Уже ж вроде не сеешь ту кукурузу... А чувство такое, будто тоха и сейчас всё в руках, и ты всё сеешь ту кукурузу, сеешь, сеешь, сеешь, боишься выпустить тоху из рук: не чесанула бы по ногам. Вроде не ты, а она тобой правит, и ты при ней умученный служка.

Перед ужином новое открытие.

Умываешься и подмечаешь, ладони в мозольных холмках стали тоньше, шире, словно расплющила их тоха. Кожа стала гладкой-гладкой, отполированно заблестела.

Я не вытерпел, посмотрелся в ладошку, как в зеркальце.

В шаге от койки поставила мама лавку, села против нас.

– Глеб, – заговорила мягко-уступчиво, как ровня с ровней, – ну вот как тут сказать? Подняться в ночь, в полночь, никому ни словечушка и сапком из дому? Не наравится – да назови ты меня как угодно... матерью, тёткой, дурочкой... только напрямки скажи, шо думаешь-замышляешь... Один думал?.. Похоже, подманул кто? Так кто?

– Кто, кто?! Конь в пальто!

– Не ползет сам гвоздок в стенку...

– Не грешите ни на кого. Сам ехал, сам погонял... Что думаю?.. А скажете, не заикался я про Кобулеты? Про мореходку?

«Эк метнул! Да откуда взялась в Кобулетах мореходка?» –

хотел я крикнуть братцу, но смолчал. Не кинул соли на Глебову беду.

– Заикаться-то заикался... – говорила мама. – Заика ты настырный... Как его покороче?.. На твоих видах... На твоих глазах всё. Живём только что не как те – одиннадцать груш делят на двенадцать душ. Есть понятие, куда ж я тебя пустю? Ты старший в доме мужик – первая рука, первый работник. Тебе хозяйновать, тебе батьковничать. Да не перебивайся мы с пуговики на петельку, отпустила бы на все четыре ветра... А то как подойдёт первое число – засылай свежу копейку Митьке у техникум. Не успеешь оглянуться – опять это чёрное чёртово число хапае за горлянку. Да-ай! Царица небесна, оно нас утрескает и костоньки не выплюнет... Так и самим тут тричи на день надо что-то кусать. Брюхо не ба-лабайка, не евши не уснёт, а старого добра не помнит. Эту яму ни завалить, ни засыпать!

– Трое ребят и барина съедят, – подьелдыкиваю я и наглаживаю живот.

– Сама-четверта. Одна в работе, помочи ниоткуда. Пензия? Получишь ту батькову пенсию, кисло поглядишь и нема, растаяла от одного взгляда. Всяку копейку алтынным гвоздём присаживай – не держится... Кто ж мне подможет, как не ты?.. Вот суди да ряди. Я не бачу другого выхода. Мож, ты подсоветуешь?

Глеб сумрачно сопит в сторону. И ни слова.

– У тебя одна дорога... А тута прокидаюсь на рани – нема



Глеба! Лап постелю – холодна. Я туда – Глеб! Я сюда – Глеб! Нема! Как собаки куда загнали. Кто ё зна... Ни помину ни позвону... Волка нэ було и батька украли. Да за эти полторы недели я вся обкричалася!.. Пусти уши в люди, чего-чего не наслухаешься! Тилько в ранние завтраки<sup>11</sup> в бригаду ногой, бабы жу-жу-жу-жу. Зачнуть пытать, что слыхать про Глеба. А паразит ё зна, что про него слыхать. Можь, где с урками сплёлся. Можа, где уже под забором червей кормит... В ночь люди добри спать валяются. А ты напнёшь шальку на сами на глаза да к повороту под ёлку. Лупишься, лупишься на ту на городскую дорогу – нема сыночка. Стоишь, стоишь да и завоешь. Что ж то за дорога за злодейска!? Батька увела, сына увела. Когда вернёшь-отдашь?.. За всё то время и разу не разбирала постелю. Антонка не даст сбрехать... Будешь ты щэ так отстёгивать, не будешь – мне не отвечай. Ответь себе, Глеб...

Мама неслышно встала и, будто нас и не было в комнате, без звука вышла с тазом белья.

Я покосился на Глеба.

Широко раскрытыми глазами этот раскатай-губы придавленно, слепо пялился на пустую лавку перед ним и вряд ли её видел.

Я подпихнул великому путешественнику под нос кулак и в отместку неожиданно так бацнул его локтем в бок, что где-то далеко в посёлке тонко взвыла чепрачная дворняга Пинка.

---

<sup>11</sup> **Ранние завтраки** – раннее утро, время восхода солнца.

Может, между ударом и воем собаки никакой связи? Просто совпадение?

Глеб набычился, дёрнул носом, но пудовикам своим воли не дал.

– Ну и братца аист удружил, – насыпался я. – В какой только капусте он тебя откопал? Заячья душонка! Даже мне про Кобулеты ни гугу. Тайна! Его ждали с моря на корабле, а он выскочил с печки на лыжах!

– Не перегревайся, баландёр.<sup>12</sup> Остынь. – Слабая беглая улыбка тронула его лицо, на миг блеснули красивые белые зубы. – Воспитательный бум отшумел. Пора к делу.

– Дело не Алитет, в горы не ускачет.

– Разговорчики в струю! – подкрикнул Глеб со сдержанной важностью.

Подумаешь, велика хитрость! Заменял в *строю* одну букровку. Нашёл чем похвалиться! Эта занятная словесная завитушка из его кобулетского багажика. Не зря, не зря катался...

Ещё с полчаса тому назад братушкино положеньице было хуже губернаторского. Теперь он ожил, командует по праву старшего:

– Вот тебе мини-программа. В темпе подои коз, вынеси поросёнку. Да не забудь выпроводи коз в стадо. А я, – поддел воображаемым коромыслом пустые вёдра и запел, – а я поса-дил вот две га-лоч-ки на од-ну па-лоч-ку да при-не-су во-

---

<sup>12</sup> Баландёр – болтун.

ды-ы...

Гремит Глеб вёдрами к кринице в крутом овраге, куда кронная теснота старых каштанов не пускает нарядные солнечные лучи, и там даже в яркие летние дни стыннут такие плотные сумерки, что хоть ножом режь.

Кипятком из чайника сполоснул я весь во вдавинах бидон, подхватил на ходу ведро с похлёбкой кабану и толкнул дверь плечом.

## 5

*Мыльный пузырь всегда радужно настроен.*  
*Э. Кроткий*

Под окном у нас жила на ветхом пне ёлочка. С одного боку пень уже сотлел, рассыпался жёлтой пылью, и молодые корни, что прошили его, оголились.

Нам же чудилось, что деревце приподнялось на цыпочки. Вершинкой оно едва дотягивало до низа окна и в ненастье, бывало, царапало стекло, будто просилось в тепло, в комнату.

– Привет! – кивнул я с крыльца ёлочке.

Под вздохом ветерка ёлочка дрогнула, шатнулась и на иголках празднично заиграло под солнцем серебро росы.

Её прозрачные растягивающиеся на лету точки падали с серой шиферной крыши.

За всю жизнь лишь в эту в последнюю зиму, редкостную по холодам, я видел, как крыша отрастила в полстены сосульки толщиной с руку. Стеклянные тяжёлые стрелы недолго целились в ольховую поленницу у дома. Скоро солнышко толкнуло маятник капли, и сосульки быстро изошли слезами.

Сильные дожди с грозой омыли землю. Настоящим югом, весною запахло на дворе.

Хлопотун май приодел леса. Май не чинится, каждый день весело будит солнце всё раньше и раньше.

Оно поднялось уже в полдерева и кажется меньше обыкновенного. Края его очень ясные, а лучи очень яркие. Жди знойного дня.

На западе, по низу горизонта, толклись комки облаков, точно кто со зла ссыпал их в одну кучу и придавил посредине чем-то невидимым, отчего края белой вытянутой громадины задирались-таки кверху. До отполированной сини вычищен весь остальной простор неба.

Запад в облаках – это намёк на дождь?

«Полосни-ка, дождик! Чего тебе стоит?.. Тогда мы наверняка не пойдём сегодня сеять кукурузу. По случаю Первого мая я б лёг досыпать. А там хоть раз по-человечески засяду за учебники...»

Я всматриваюсь в небо и вижу, что звёзды ещё не все потушены. Замечаю, как белые паруса облаков торжественно тонут за дальним чайным холмом, уносят желанный дождь. Не мой то дождь, не мой...

В глуши меж вечнозелёных чайных косогоров обронула судьба наш посёлочек. Кроха он, с кулачок. Всего на косогоре три одноэтажных дома с толстыми каменными стенами, с массивными шестью крыльцами по обеим сторонам каждого дома. На каждое крыльцо выходит по две комнаты. Гравийные дорожки сводили дома с большаком, по которому попадёшь и в центр совхоза, и в районный городишко Махарадзе.

Новые три дома поставили на месте шатких мазанок. Обрадовался люд простору комнат («Хотько на велосипеде кататься!») да окнам в половину человеческого роста. Посёлок обнесли, подпоясали штакетником.

Но скоро радость затянуло кручиной, когда прискакала из городка комиссия в количестве одной папахи. Был июль, в тени под сорок. А комиссия в папахе. Кто знает, может, побоялась в городе оставить – а ну украдут! – а с головы не стянут. Ну, приехала папаха и собственноручно повесила над нашими главными въездными воротами красную материю. На одной стороне вкось и вкривь каракулисто нацарапано грязновато-белым:

Нови пасолку –  
нови бит!!!

Срочно вынь да положи новому посёлку новый быт!  
С другой стороны:

Нинешни пакалень савецки лудей  
будэт харашо жыт при камунисма!!!

Обещанная хорошая жизнь при коммунизме как-то смутила. Напугала.

Хорошую жизнь наше мужичьё уже видало. Как бы эта не была ещё лучше. Народишко приуныл. Через месяц про плакаты он прочно забыл, успокоился. Всяких плакатов вешалось и съедалось дождями великое множество.

А тут возьми и свертись взаправдашние нововведения.

Снова наши завздыхали, заёжились, когда гравийные тропинки невесть с какой роскошью зачем-то обрамили всякой цветочной всячиной; когда с боков пригорка, прикрывавшихся в зной, как зонтиками, лопухами, конским щавелем, бузиной, крапивой, почему-то вдруг навалились с немецкой аккуратностью вылизывать косами тот зелёный ералаш и потыкали всёшенький посёлок пальмами, да не пластмассовыми, а самыми что ни на есть живыми; когда и без того обсаженный в давние времена двумя рядами елей посёлок, к порожкам которого с трёх сторон весело бежали зелёные шнурки чайных рядов, враз обмахнули промеж тех елей ещё и штакетником; когда после горячих предупреждений не ладить никаких новых клетух для домашней живности перед домами начали на выборку валить уже давно жившие и портящие фасад сарайки, похожие на игрушечные творения детских рук (столько в них неосновательности, неприязнительности); когда, наконец, навалились направо и налево рушить все прилепушки подряд, вот тут-то мужичонка с просвистом и присел, и зачесал, где никогда и не чесалось, вот тут-то посёлок нараспашку раскрыл рот и никак не мог въехать в толк, никак не мог понять того натиска, того жестокого энтузиазма, с каким *новый быт* свирепо прорубал себе дорогу к жизни.

И совсем пал духом посёлушко, когда тут же снова нагрязнула та же волоокая папаха и под стон срываемых с корня сараюх повелела кидать на нож и коз, и свиней, и кур.

Папаху не понимали.

Папаха соизволила снизойти к объяснению.

– Ви чито, не понимаэтэ, чито ми бистро-бистро шагаэм на камуниσμα? Во вторник перви январ 1980 год с шэст час утра ужэ будэт камуниσμα! Пожалуйста!

Папаху спросили:

– Разве хорошо начинать коммунизмий с обманщины? Почему коммунизмий подадут только в шесть утра? А почему не в ноль часов и в такой же ноль секунд? Почему всё опеть не как положено?! Не как у людей?! Цельных же лишних шесть часов промандають в дохлой социализме!

– Всео правильно! Никако обманка! Многа терпели сацилиσμα! И что, не потэрпим эсчо шэст час? Читоб харашё приготовитса на камуниσμα?! В понедельник 31 дэкабр и всю ночку будэм дэлить последни ма-аленьки марафэт, мало-мало чистим-блистим. Да и кто в ноца начинай хороши дэло? Ныкто! Културно потэрпим эти шэст час! А в святои шэст час, пожалуйста, ужэ камуниσμα! Уф! Уф!.. В пят час 59 минутка 59 секундэшка эшшо будэт ску-у-у-уушни сацилиσμα. А ровно в шэст нола-нола по Москва наступит часливи камуниσμα. Под громки часливи гимн по радио ми торжэствэнно войдём в часливи камуниσμα. Ми на один час идём вперёд Москве, у нас на цэли час ранше придёт часливи камуниσμα! Таш-туш!.. Таш-туш!.. – Папаха зверовато вскинула руки, прибоченилась и гоголем пробежалась в танце на пальчиках. – Эх-ха-а! Бэри крэпки из дуп ложка, куши, до-



рогой, чито хочэш! В магазынэ чито хочэш! Полки ломаются от товар. Полки ремонтируй харашё, бэри бесплатно чито хочэш! Всо эст! Мясо эст! Колбаска эст! Вино эст! Сулгуни эст! Чито сэрцэ хочэт – всо эст! Бесплатни! Кино эст! Танци-бабанци эст! Дэффочки эст! Машина на кажни чалавэк эст! Чалавэк эсчо нэту, в мамке живёт – машина эму ужэ эст! Всо, всо, всо эст! Толке работа нэту! Нэту! Работ ми бросили к чертовой маме в сацилисма! Работ будэт толке гнилой капиталисма. Он гниёт, надо работ. А ми пэй, сколко хочэш! А ми гуляй, сколко хочэш! А ми спи, сколко хочэш! А ми какой хочэш сон с дэффочками смотри! Ка-му-нис-ма-а!!! Но ни коза, ни свинёнка, ни куричка в часливи камунисма нэ бэрём! Нэ по пути нам со свиньёй! Нэ по пути! Нэ дадим эй ни пирожка, ни крошки от часливи камунисма. Нам болша достанэтса! Личны скот – ужасни пэрэжыток на гнилой капиталисма! Пэрэжытки в часливи камунисма нэ бэрём! Решенья такая поступила! – в торжестве подкинул кверху руку с выставленным указательным пальцем.

– А почему ваш коммунизмий подадут тольке через двадцать лет? – спросил дед Семисынов. – Одни страны живут своим прошлым, другие – настоящим. А мы – будущим. Оттого-то чего толечко у нас не было, нет и не будет?.. Так, что ли?..

Папаха не знала, что отвечать. И на выручку ей кинулся молоденький тараканий подпёрдыш, шофёр, который привез папаху:

– Сказали двадцать – значит двадцать! Такой график за-  
воза коммунизма. План. У нас всё по плану! Люди просто  
должны верить и ждать своё светлое будущее! Чего тут...

– Ну да-а... – почесал себя дед за ухом. – Люди должны  
верить в светлое будущее, иначе они потребуют светлого на-  
стоящего?.. Я так понимаю?..

Папаха укорно развела руками:

– Как ти нэ понимаешь?.. К камунисма нада зараншэ гото-  
витса... Вот на что надо двадцат лэт!.. Ка-ак ви сэчас ску-у-  
у-у-уушно живёте... Нэту у вас гармоні!.. – ересливо паль-  
нула папаха.

– Почему это нету гармонии? – обиделся посёлочек. – Да  
у нас у Долговихи, у старшого её сынаша Митёшки, целая  
хромка! Всю истаскал, изодрал. Вона как учился играть!

Папаха сморщилась, как сиделка после бани.

– Ви нэ понимаэтэ мнэ! Я нэ про эту гар-р... гар-р... –  
Папаха просквозила чахоточно-бледными пальцами по сво-  
им бокам, по пуговкам воображаемой гармошки. – Я про ви-  
соки гармонии... Как это називаетса?.. Гармонии... развити...  
лицо?.. личико?..

– Личности? – подсказали из толпы. – Гармоничное раз-  
витие личности?

– Да, да! – радостно закивала папаха. – Гармонич... раз-  
витие на лыч-нос-ти...

– Да игде ж нам развиваться за каторжанской работой? Со  
света до ночушки на чаю развиваемся. Так ухандокаешься...

До упадки. К коюшке ель по-пластунски доплывёшь. Устаёшь до таких степеней... Про коммунизму ты нам, гостюшка, сла-а-адко пел... Аж на сердце приторно... Милай Дурдамошвили, до твоей коммуонанизмы ещё двадцать годов. Как без козы, без свиньи, без курицы дочихать до твоей обещалки?

– Э-э... Ви отстали, ви страшни, ви опасни элемент! Савецки чалавек должна вся отдан общественно на полезна работа, на общественно-полезна отдых. Работай, не думай про коза. Отдыхай, танцуй и не горевай про свинушку. А ви связаны ими по рукам. Думаэтэ про них!

– Оно-то можно разок и не подумать. Да жевать-то что?

– Не беспокойся, дорогой. Кремла про нас мно-ого думи, думи, думи. И Кремла сказала: нэ нада вам коза, не нада вам свинёшка, не нада вам куричка. Коза ходи на чай, на плантаци и куши, куши, куши.

– Что кушает? Ожину, пхалю,<sup>13</sup> бузину – всякий сор-вздор выдирает. Ей бы наличными платить надо, как тем мужикам, что тохают чай. А она – бесплатно! Да ещё и молочко свеженькое к вечеру тащит!

– Коза молоко плё-охо, плё-охо... Вонишка даёт...

– Кому приванивает, а дети едят... За ушми трещит.

– И масло козкин нэ нада. Масло вредни. Газет читаэш? А если кто хочэт себе горэ, пускай кушаэт сливкин масло. Сливкин масло таки вредни, таки вредни... Масло из нэфти

---

<sup>13</sup> **Пхали** – колючая вьющаяся трава. Молодые её побеги съедобны.

и то полэзнэй! Нэ слихал ныкто?

– Никто. Так нам в совхоз нефть не завозят. А из керосина козьё молоко ещё не делают?

– Коза!.. Молчи... Коза... антысавецки элэмэнт, должна уйти с савецки зэмля. Коза – враг народа, свинушка – враг народа. Ви чито, заодно с врагами народа? С врагами камунизма? Вай-вай! Ка-ак они мешают нам быстро-быстро строить на камунизма!

Умирились на том, кто уж никак не может расстаться с врагами коммунизма, пускай пока держит этих врагов скрытно, за чертой посёлка. За штaketником.

И весь посёлушек перенёс катухи за спасительный штaketник. Прорезал в нём ходы.

Ну какой русский живёт без хозяйства при доме? И то, что вошло в человека с кровью, не подвластно взять разом ни плакату, ни силе.

Человек прожил жизнь в мазанке. Случалось, в стужу мазанку раскачивала буря, из сплетенных стеновых прутьев вываливало нахолодалый ком глины, и человек не гневался на дыру, в которую не то что палец – сама голова проскочит. Он затыкал дырку тряпьем, покуда не наколупает из-под снега мерзляка и не заладит прореху. Это в лучшем случае.

А то, бывает, закрутится, другое что спешное из рук нельзя пустить, он и откладывает дыру на потом да на потом. Промигнул день, вот тебе второй на порожке, а там и вовсе смололся конфуз – забыл, начисто забыл.

Слышит, кипит в логовище стылое варево зимы, свежее, ядрёное, всё никак не согревается оно, всё дышит, и наш герой, подтанцовывая, потирая задубелые ладони, пялит на себя какую ни попадись под зябкую руку одежонку. Но ему как-то невдогад обойти цепким глазом, прощупать не в спехе стены, потолок, пол, дознаваясь, отчего это у него такая волкоморня.

Он и не подумает об этом, мысль эта покажется ему нелепой. Ну да чего там неясного? Откуда ж взяться июльскому пеклу, раз за окошком зима разостлала декабрёвы снега, и стужайло на всю зиму студит землю, глаз снегами тешит да ухо морозом рвёт? В декабре – декабрь!

Из-за безалаберности, из-за равнодушия к себе сносил человек холод.

А вот скажись размалая щёлка в катухе с живностью, потехи ради глянь, не поленись, как забегает хозяйко. Ровно медку хватит из-под пчёлки! Всё к лешему бросит, щель в момент замурует.

Отчего такая несуразица? И несуразица ли?

Спокон веку лошади, быки были первые работники у русского крестьянина. Коровы, свиньи, овцы, козы, куры, утки кормили, обували, одевали. Пускай у иного и было рогатого скота ухват да курица, но затевал он новую избу так, что потом в одной половине вертелся в винту сам со своей семьёй, а в другой, под этой же крышей, жила в царстве вся его домашность. Домашность водить – не стряхня рукава ходить!

У нас в посёлке ни у кого не было своих, собственных, хат. Потому клетушки всё прилабунивали прямёхонько под окнами мазанок. Такого соседства никто не гнушался, разговоров про то даже не ходило. Напротив. Уверяли, чем отчаянней громогласные петухи выпевали прямо в форточку зарю, тем крепость и сладость сна сильнели под утро. Горожанин может засомневаться. Тогда почему он сам не слышит во время сна трамвай под своим окном враспашку?

Спокойней засыпал с вечера дом, слыша убаюкивающие редкие жалобные вздохи тумбоватой хавроньи, толсто одетой жиром и добирающей остатние деньки перед ножом. Не дай Господь подвести к ней беду. Хозяин не пожалеет и матрасишко из-под себя. Сам на полу на фуфайке отожмёт ночь, только от греха подальше!

Чего уж жалеть, чего ж по-другому как, раз при такой домашности он сам казак на коне. Свинья – надёжная копилка. При ней он в дело обернёт всякий негодный кусок со стола. При ней веселей дышится. Знает, к зиме дуриком наберит с центнер свежатинки, до горячего июня ешь не хочу. А ткнись на базар, на базаре все цены зубастые.

Сколько я себя знаю, у нас всегда водилось так.

В январские мёрзлые ночи на столе слабо горела керосиновая лампа. До утра мама сходит с нею раза три в сарай, поправит на Ваське вечно сползавшее с него заношенное пальто. Васьками мы называли всех кабанчиков, что покупали на

базаре в Абаше<sup>14</sup> каждую весну. Поправит пальто, ещё под-  
сунет тёплый ломоть кукурузной пышки.

Пышки мама пекла ему вкусные. Иногда не поймёшь, где его, где твоя, и его ешь сам, а свою несёшь ему. В восемь месяцев кабан тянул пудов на все семь. (Вес определяли четвертями. Сколько четвертей вдоль спины, столько и пудов. Четверть – пуд.)

Людские имена давались у нас и козам.

Начинали козы котиться в феврале, когда схлынувшие алчные морозы всё же набегали временами. Ожидаячи прибавления, мама часто приводила козу в комнату, укладывала тяжёлую гостюшку на чистенькую дерюгу у тёплой неуклюжей печки. Со стола как-то виновато, боязливо мигала лампа.

Всё обычно разрешалось благополучно.

Мама отламывала увесистый оковалок ноздреватого чёрного хлеба, щедро посыпала крупной солью и с рук скармливала козе. Ела коза жадно, а к её ногам, облезлым и голым на жёлтых коленках, сухо постреливающих при ходьбе от старости, в дрожи жалась новая жизнь.

Пока на дворе толклись холода, козлята жили у нас в комнате. На ночь я брал к себе на грудь самого маленького, самого слабого, спал с ним. И если он окроплял меня нечаянной горячей росой, я от того ни разу не умер.

И вот под окнами новых домов погромили сарайки. Пред-

---

<sup>14</sup> **Абаша** – районный городок в Западной Грузии.

писано было жить в *культурном режиме*.

– Бу сделано в наилучшем виде! – ржаво продребезжал старшой посёлка комендант Иван Клыкков по прозвищу Комиссар Чук. Этого старшого заливало потом при одном слове *комиссия*.

Посёлок старательно обрядили в пояс-забор. Плашки, острые кверху, смотрелись в нём огромными стоячими иглами. Остатки клетух с живностью посмели подале с глаз за тот забор, туда, за дорогу, в самый овраг постеснили на тот кислый случай, когда, не дай Господь, ненароком закатится кто ещё из какой-нибудь комиссии, или какая чернильная душа, или просто из города какой чинишко, так чтоб ни глазу его, ни носу не чинилось никаких раздражений. Сараюхи не флаконы с французскими духами.

Почистел, ухорошил, приаккуратился наш посёлушка. Но эта его нарядность была какая-то знобкая, лихотворная. Казалось, второпях в неё передали чего-то такого, отчего она потеряла свою весёлую, празднично-ясную душу и теперь печалила всех своей какой-то необъяснимо отжитой, омертвелой красотой. Гравийные тротуары, пальмы, цветы пригасили, притушили, что ли, человеческий голос, реже раздавался теперь смех, и пацаны больше не падали на четвереньки, чтоб пободаться на улице с козлятами, и петухи по утрам, как встарь, больше не будили день ядрёными, парадными голосами. Если и доплёскивалось когда из оврага пенье, так было оно глухое, придушенное, точно петухи пели в подпо-



лье, под землёй.

Грустно слушала мама эти хлипкие, размятые звуки и всякий раз почему-то вздыхала.

## 6

*Слаб человек – любит показать свою силу.*  
**А. Ботвинников**

Колкие мужики сравнивали уновлённое своё местечко с ухоженным, с богатым кладбищем, где молчат и мёртвые, и живые, а если живые и заговорят, так разве полушёпотом. И уж совсем растерялись мужики, когда узнали, что к цветочкам-пальмочкам, к этой пышной одежке посёлка, к плакатишкам нарочно приставили за плату сторожа.

Им был дед Анис Семисынов.

По штату ему положено сидеть у ворот и смотреть, чтоб в посёлок не прошмыгнули ни пришлый шкет-бедокур, ни хрюшка, ни коза – от прыткой козы ни запор, ни забор...

Я подхожу к углу дома, вижу: посередке штакетных ворот, где вплотняк сходятся высоченные грузные створки, дремлет деда на перевёрнутой чайной корзинке, сплетённой из бамбука. Лицо он укутал газетой, концы прижал головой к воротам с плакатами. Ни свет молодого соколиного дня, ни косые взгляды солнца его не разбудят. Из-под газеты просторно выливается роскошная белая борода и прикрывает от утреннего свежака грудь. Словно укрывшись бородой, спит на коленях кот Усач. К стариковскому плечу прижата ветхая берданка, чьих выстрелов ни одно ухо не помнит. Наверное,

ружьё всё проржавело. А дедуня всё ж таки берёт. Ясное дело, с ружьём надёжнее спится.

Дедайка первый, кого я вижу на улице в каждый день, и всё вот так – спит.

Я подлетаю на цыпочках, что есть силушки кричу через газету в ухо:

– Здрасьте!

Деда, мелкорослый, худой – суший аршин с шапкой – вздрогнул, дёрнулся вперёд, и газета лениво шшелестела на землю. Как-то разом распахнул он совсем ещё не выцветшие чёрные блёстки добрых глаз, подёрнутые налётом обречённости. Со сна смотрит недовольно, криво, будто спрашивает, кто я, зачем тут я, и уже потом благополучно улыбается.

– А-а, николаевский жанишок... Ну, так что скажешь в своё оправдание?

Старик никогда сразу не отвечал на твоё приветствие, а выставлял, как щит, всегдашнее «Ну, так что скажешь в своё оправдание?» Это вбивало в краску тех, кто здоровался с ним впервые или кто всё никак не мог привыкнуть к его чудаковатости, присоленной иронией.

– Здорóво дневали, деда!

– Слава Богу! – Он прикрывает сухим кулачком зевающий рот, степенно бьёт, подымая облачко пыли, сапог о сапог, не чистились, может, с первой империалистической войны. – Слава те, Господи, до бела света проспали...

Деда потянулся, потом склонился поднять газету. Но так

на вершок не доскрёбся вытянутыми пальцами до газетины, завис на витой бежевой электропроводке, пропущенной под мышками и продетой в ивовое кольцо – сверху держало вместе створки ворот.

Меня ломал смех.

Я кое-как сглотнул смешинки, подал газету.

– Кто это над вами ушутил? Дёрнет же нелёгкая... Привязать сонного... Да за таковские шуточки ма-ало, ух как мало шею нагладить!

– Нда-а... Вот тебе свой ум – царь в голове. С таким царём... Фитинов твоей матери!.. Еже-право, в воду моя смотрела, как говорила: «С твоим умищем, Аниска, только в горохе сидеть, хоть и голова в шапку не умещается...»

– При чём тут Ваш ум?

– А при том... Всё ото моя затейка с этой автоматической сигнализацией... А-а! Гулять так гулять! Бей, бабо, циле яйцо в борщ! – махнул деда рукой и дал полную волю своему желанию рассказать всё как было. – Ночь на то и ночь, спи, знай копи силу дню. Ну, раз я сторож, так что же я, не смей и на секунд завернуть к пану Храповицкому? Как же, расстёгивай карман ширше!.. Оно ж в ночь не сосни ни грамма, так и всейко-то день наперекоски покатится... Блукал я, блукал попервах у ворот и выблукал такую помышлению. Сторож не только можь спать, а и разнепременно должон спать! Только спи ты с умом.

– Это как?

– А вот как я. Главное мне что? Чтоб не спёрли плакатишко. А то люди и не будут знать, что им предстоит рай-житьё при коммунизме. Второе. Смотри в оба, шаловатый какой молчаком не промигни в наш пятый район<sup>15</sup> с чем совхозным. Ух как мне хотно лупиться на ту двухручную собачару да потом совестить хапуна. Да пади он пропадом!.. А чего глядеть, раз и без гляденья в моей воле не дать ему ходу? Сажуся я вот где сижу, привязываюся таким макарием, как привязался. И что? Подкрался с тёмным товарцем басурманин с того, с вольного, боку, дёрг-дёрг за кольцо – не снять. А потяни вверх то кольцо, потянешь и меня! Дельцо тут уже швах, керосином попахивает. Тут уж до греха полшага. Я ж могу прокинуться да берданкой по идолам,<sup>16</sup> по идолам. До рукопашки не докатится. Трухнёт варяжик, потому как известно всей земле – не родилася ещё та мышка, что осмелится пощекотать кошку иль привесить той кошке звонок. Поп вон самосвал придумал в заключении. Мне самосвал без надобности. Я эту сигналиху, – деда попробовал на прочность проводку, – себе замыслил... Полное царское удобствие! Так во сне разомлеешь, можно съехать с корзинки. А как ты под микитки подцеплен, тут уж никакая сила не спихнёт с корзинки. Знай себе в культуре спи и спи.

Во всё время, пока он говорил, он в нетерпении скручивал газету в тонкую трубочку. Потом развернул, расправил. Как-

---

<sup>15</sup> **Район** (здесь) – отделение совхоза.

<sup>16</sup> **Идолы** – зубы.

то буднично спросил:

– А что тут пишут новенького про меня?

И пустил глаза в перевёрнутую газету, зацепился за заметку на самом видном месте, на открытии.

– «Сегодня, – гордовато *читал* в голос, – проездом из Вашингтона в Токио совершила в Москве кратковременную промежуточную посадку делегация во главе с дорогим товарищем Семисыновым Анисом Батьковичем. В честь делегации во главе с товарищем Семисыновым Анисом Батьковичем был дан богатый завтрак. В связи с непредвиденно затянувшимся завтраком делегации был подан и не менее богатый незабываемый обед. В тот же день делегация во главе с высоким гостем отбыла на ужин в Токио...» Что сморщился, как печёное яблоко? Скажешь, не про меня? Про однофамилика? Да надену я шляпу – президентом пойду!

– Я не про то... Обидно, и ужин без меня... Что едят на тех приёмах? Интересно, молоко к мамалыге у них всегда бывает?

– Знать, уважаешь ходить по гостям. Я тогда тебе это прочитаю. Только слухай... Это под рифму...

... Як з цепу зирвавшись, додому не прибигавшись,  
Наловыв мух, напик пампух,  
Наловыв комашок, наварыв галушок,  
И солому сече, пироги пече,

И сино смаже,<sup>17</sup> пироги маже,

И всэ до миста складае.

Зять тещу в гости дожидае.

Як пишов же зять та и тещу в гости прохать.<sup>18</sup>

– Ой тещо, ты, голубонька, в хорошу часину,

В хорошу годину прийди в гости до мене.

– Ой, рада ж я, зятю, до тебе в гости прийти,

Но ничым з двору ни выхаты, ни пийты.

Дид на сходци, кобыла в толоци,<sup>19</sup>

Хомут у стриси, дуга в оглоблях,

Чепчик у швачки,<sup>20</sup> рубашка у прачки, а чёботы у шевця.<sup>21</sup>

– Ой тещо голубонька, ты добудь и до зятя в гости прибудь.

И начала теща добувать...

Вырвала лопушину, пошила себе хвартушину,

Нарвала лободы, обтыкалась сюды-туды

И хмелем подперезалась. И так гарно прибралась,

Куда ни оглянеться – и осмихнэться.

Теща добула и до зятка в гости прибула.

Начав зять тещу вгощать.

Посадив до дверей плечима, до окон очима,

---

<sup>17</sup> **Смажити** – жарить.

<sup>18</sup> **Прохати** – просить.

<sup>19</sup> **Толока** – выгон.

<sup>20</sup> **Швачка** – швея.

<sup>21</sup> **Швець** – сапожник.

Заставив личыть<sup>22</sup> мухи. Налычила теща тыщу двести.  
Надо тещи исты. Первый пирог –  
Берет тещу за ноги да лобом об порог.  
Пришла баба додому и на дида буркоче.  
А дид на бабу буркоче.  
Дид говоре: «Добре тоби, бабо, у зятя густюваты.  
Зятив мэдок на вэсь рот солодок,  
А дочкино пиво у ноги вступило».  
А баба на дида буркоче:  
– Злазь, дидо, с печи,  
Качалкою я попарю тоби спину и плечи.

– Жалко бабку, – признался я. – Очень надо было ехать к этому дикарю зятю...

– И то верно... – скосил деда хитроватые глаза на газету, держал кверх тороманом. – У стариков не сахарь планида. Страх господний, будь все дети на зятев образец. Вон зимой дали отпуск, двадцать суток отдыхал у сестриных внуков в Кобулетах. Радости только и ущипнёшь у своих... У своего ребятыя. Пока дополз до тех Кобулетов – пол-Аниса усохло. Дело под январь, на остановке холодильника напал. Стою трусью. Греюсь! А не мог бы труситься – замёрз!.. Из поворота антобус подбегает. Я свежим рысачком навстречь. А гололёдка. Посклизнулся и поплыл под дорогой антобус. Шофер остановил. «Отец, куда это ты разогнался?» – «Хотел на ходу остановить...» Ну, еду. Уже вечер. Наскрозь промерзаю.

---

<sup>22</sup> Личыть – считать.



Гляжу, у наших огонь. Раз огонь видать – никогда не замёрз-нешь! У них не комната – хороший чумадан. Дыхнёшь – не выйдет. Некуда! Теснота такая!.. На стенке радио. Отаке стерво! Тридцать рубляков стоит и тридцать лет гавкает! Без конца коробок лопочет. Внук завидел меня – хоп ложку в руки и за стол. Комедный парубчина. При входе гостей скорей за стол. Ждёт гостинцев. Я ему баночку нашей козьей мацоньки<sup>23</sup>. Живо прибрал, тянет ручку. Деданя, дай копейку. Даю двадцать копеек. Мало. Бумажку дай. Мне и Маринке на мононо. На молоко, значит. Ну, где тут спекуляцию выгонишь? И кусливо базарное молочко, а берут, – выглянул старик из-за газеты.

Весёлый деда делал вид, что всё это читал.

Я тоже делал вид, что верил. Уж «лучше делать вид, чем ничего не делать». Не люблю бездельничать.

– Складно читаете, – похвалил я его.

– Складно и ладно, – уточнил он. – А в школу и на день не забегал! Научился читать и писать, покуда доехал до Хабаровска!

– За десять часов?

– Не летел я, ехал. Тридцать пять суток кулюкал.

– Сто-олько ехать? У! Когда это было? До потопа и ни секундой позже! Какой вы ста-арый...

– Не столько старый, сколько давний. Хоть в постарелый дом списуй.

---

<sup>23</sup> **Мацони** – простокваша.

– И всё же, в каком веке до нашей эры Вы катались в Хабаровск?

– А служить ото ездил... Не любил я унывать. Что ни гребни, всё равно два метра отгребут. Был из горячих. Молодой такой да хваткий... Жизнь не задалась с первого шага, а я головы не вешал. Сколько себя помню, всё песенки пою.

– Падеспанец – хор-роший та-анец,  
Его оч-чень легко танцевать...

Браты мои сыздетства ухватили грамоту. По чинам разбежались. Я против них что подошва. Один брат показал мне буквы. Я вроде запомнил. А подбольшал, на ум побежали одни девки да спевки да плясондины. Я и растеряй из дырявой памяти многие буквы. Вот тебе армия. Еду в сам Хабаровск. Еду пою. Грамотники с дороги в день по три письма рисуют. Я ничего не пишу. Слушал меня, слушал так внимательно один новороссийский хлопчина. Вижу, намотал себе на кулак, что не ахти как развесело мне поётся. Сымает спрос:

«Семисынов, ты чё не пишешь? Иле у тя и завалящей Аниски нету?»

«Заваящей Аниски нету. А Анисочка-картиночка есть».

«Так чего ж ты? Пиши! А то дам в торец!<sup>24</sup> Ждёт же! А от тебя ни письма ни грамоты. А она ждёт!»

«Можь, и ждёт...»

---

<sup>24</sup> Дать в торец – ударить в лицо.

«Ей-бо, какой-то ты примороженный! Не зимой ли рождён?»

«В самую в серединушку... Одиннадцатого января».

«Оно и видно. Где-нить в копне матечка уродила и по нечайке приморозила... Дать бы тебе хорошенько, да мне некогда! Некогда, доходит? Сам генерал зовут пить чай!.. Антик с гвоздикой там весь твой хутор Холмский, небось, слезами улила. Речка по-за садом выскочила из штанов, понимаешь, из берегов! А это его не колышет. Песняка дерёт! Не дури, дурциней. Кончай изюм косить!<sup>25</sup> Сей же мне час садись пиши! Пи-ши!»

«Да у меня... С бомагой авария. Нету бомаги».

«Так бы сразу и говорил. У меня есть. Вот тебе бумага. Вот те карандаш».

Вжался я в куток, в тёмный, в пустой, луплюсь, как прирезанный баран, на белый чистый лист, на карандаш, такой маленький да чужой в моих куцапых пальцах. Смотреть смотрю, а и одной буковки написать не могу. Устал от тех смотрений, аж извилины задымились. Ну никаковской у меня власти над тем карандашным огрызком. Кругом омут!.. Со злости на себя, с обиды кусал я тот огрызок, кусал. Треснул он. Серденько выпало. Сломалось. Швырнул я карандашный сор в окно. А чистый лист понёс назад тому парню.

Здесь и дошло до большого. Сознался. Молотом в кузне махать да за плугом в поле скакать мне не внове. Тут я ма-

---

<sup>25</sup> **Изюм косить** – бездельничать.

стак. А вот с карандашиком мы совсема на боях. Совсемко вражищи.

«Гм... Писать не можешь... А чего ж бумагу, карандаш брал?»

«Ну... Ты даёшь... я и беру... Безотказный я... Ты уж горько так не смотри на меня. Пускай я и денёчка не звонил в школе. Пускай не выработал там ни одной пятёрки, даже ни одного колышка. Но всёжже не такой уж я пропащий иди-вот. Голова работае на весь вниверситет! Печатные кой да какие буковки я помню в лицо. Брат ещё в детстве показывал. Знаю до се. Прочитаю... А писание не даётся».

«Ну, университет, давай так. Вот тебе свежая газета. Только что на станции взял. Отчитай всю от и до. От названия до последней точки. А потом сядем писать».

«Я в этом деле не сопротивляюсь».

«Читай. Где чёрное – слово. Где белое – ничего. Простая система».

Трое суток мучил я ту бедную газету. Буковку к буковке вязал. По буковке... По словечушку отдирал... Наловчился... Усатик, – деда погладил кота на коленях, – за мной не угонится. А у него два средних образования... Мои Колька с Катькой учили уроки. Он сидел на столе, смотрел в ученье. Запоминал...

– Не мог Усатик запоминать... Может, это его папашка запоминал?

– Верно, папашка... Тако давно это было... Но всё равно

и у котов, как у людей, знания от отца перебегают к сыну... На четвёртое так утро новороссиянин плотно занялся мною. Я держу карандаш. Он старательно водит моей рукой. Таким макарием пишем напару день. Пишем два. Упарился бедолага. Вклеивает:

«Не прикидывайся пиджачком. Пиши сам. Не водить же век за руку. Как учат плавать? Кинут на середку реки и убрёдают пить чай. Выплывешь – научишься. Затонешь – учиться уже не надо. И так хорошо, и так неплохо...»

Отвесил я язык на плечо. Царапаю. Царапаю свои каракулины, как петушок лапкой. А толку ж... Из-под кулака выпрыгивают буквищи всё не схожие с теми, каковские потребны моему учителю. Ничегошеньки ж общего! Морщится он. А от ученья не отпихивает. Забуду, как писать какую букву, бегом к нему. Покажет.

Списал он мне азбуку целиком. Повелел дать почитать потом мою первую посланию. Интересно ж, как в полнедели научил он писать меня.

Я записал вот это ходячее письмо. По краю по нашему летало.

*Писано й переписано, всэ до дила стисано.*

*Козацьке письмо от козака Кулика, от ридного сына до батька Гарасима.*

*Скоко думая, стоко и пишу, не хватае у нас в плавнях комышу Натягинской станицы. Стоимо мы в трех верстах*

*от станицы в комьшах.*

*Бабы с варениками наобредают, но у нас и сухарей не хватает.*

*Всэ ничего, та у мене кинь издох. Того и вам желаю.*

*Подайте мени материнское благословение.*

*Тэ поросся, шо гуляло округ двора, як я шов на службу, в вивторок заризано.*

*Вы сами знаете, я шов на службу холостым, а счас оженився.*

*Молода попалась черт зна що.*

*Одного ока нэма так, а другэ вышв шпак.<sup>26</sup>*

*Однэ ухо болит, а из другого гной валит.*

Со смешками пробежал новороссиянец эту мою цыдулю, похвалил, подписал Анисьин адрес. Только я её никудашеньки не засылал. Подарил ему в память про нашу учёбу.

До самого до Хабаровска школил он меня. Давал всякие книжки... Не пустой то был номер. К писанию, к чтенью прилип я, как пчела к цветку в мае. Вишь, я тоже не левой ногой сморкаюсь...

Можь, письма и сберегли мне до сё дня Анисьюшку. Как ото его знать... Отслужил, приехал – ждёт! Спелая там девка. Раскрасавица. Посмотреть – сто рублей не жалко дать!

– Это Вы про свою про бабунюшку Анису? Она тоже была молодая?

---

<sup>26</sup> **Шпак** – скворец.

– Была-а... – Деда грустно усмехнулся. – Жена – тяжкий груз. Но жалко бросить...

*Прошлое запоминается, если оно настоящее.*  
*Л. Леонидов*

Деда вздохнул, закурил самосаду и долго в задумчивости следил, как дымные комки поднимались над ним.

– Сколько Вы выкуриваете в день?

– Да побольше американского президента.

– Не замораживаете?

– А какой навар составлять библию?

И снова тихо. Снова глаза провожают в небо чадный комок.

Я смотрю на тот клубочек с-под ладонки.

– А про что Вам думается, как не спите в долгие ночи?

– О-о-о... Возьми всё на плёнку – брехливая плевалка<sup>27</sup> за год не перебреше. Радый и уснуть, а... Как перевалилась ночка на другой бочок, под воротьми такие вспухают бзыки – черти в свайку тише играют. Бармосня со всего района моду взяла... Покурить там, поплакать в жилетку... Бабе, ясный ход, ведро на сон не наплачешь да и с соской с койки живо-два смахнёт за дверь. А сказался за дверкой – какой резон чадить-душиться соской одному? Дымохлёб и тилипает повонять ко мне в чём слетел с-под одеяла.

<sup>27</sup> Плевалка (здесь) – громкоговоритель.



Ускрёбся старчик Борисовский, вот он Бочар. Его только тут и недоставало! А там по порядку ну чисто сговорились Простаков, Лещёв, Гавриленок, Мамонт... Выпел свою бедушку один, лабунится второй. И пошло, и побежало... Наперерывку всяк лезет со своей чумой. Уже свет над деревьями просыпается, а лалаканью конца нет. Глянь в ночное варево, в темь, со стороны – сходбище призраков!

Бывает, про себя и пугнёшь какого злым словом, а так-то вроде и сам довольный. Нарезает-то от тебя человечина с лёгким серденьком. Выговорился не в стенку. Живая душа слушала, страдала...

Ну вчера...

К рассвету дело выскакивает уже. Вот те, здрасте, пожалуйста, Алексейка Половинкин. В лакировочках, в белой рубашонке наразмашку. А свежо, под утро ух как свежо! Дашь трясогубу... зуб в зуб целится, да не попадает. Хоть караул кричи.

Вижу такую полечку, говорю:

«Трусись, Алёшик, понемногу грейся. – А сам с-под тулу-па, с-под себя фуфайчонку ему, самосаду. – Кури, кощейка, наедай шею. Будет безразмерная».

Глокает дым. Молчит. Скоро прорвало, выбило затычку.

Дело молодое, кровка сатанеет... Дуроплёт! С какой-то с вербованной мамзелькой скуйовдился. Тياتерстрит сляпали... Тары да бары – ан день в окно валится. Наш женатик хватить кепчонку да во всейский опор от шошки-ерошки до-

дому. Надёжка дверь и не отопри. Подаёт резон совет:

«Где баловался до зари, там казакуй и до утра!»

Пропал рубль за копейку... Пропал не пропал, а кому сладит этот пирог с бедой?

Как сидели на корзинке рядком, вприжим, так и послули.

Утром будит нас с амурчиком Надёна. В сарай шла.

– Дядь Анис, мой дурик, – тычет в Алексея, – с вечера у вас засиделся иля под утро приплыл? Только честно. Как перед Богом.

– Раз как перед Богом, то надо хорошенько подумать... С вечера! Под утро это он кинулся домой. Ватлали языками и ночи не увидали...

По глазам я понял, не поверила она моей путанке. Но перечить не взялась. Она и сама хотела, чтоб выскочило как-то так, чтоб не падало явного греха на супружника, хотя, вижу, бабьим кощим чутьём уже добралась до тошной соли. Чего бы это здоровый тридцатилетний бычок мял ночь на корзинке в стариковской шатии? Ну не видно разве и слепцу?

Ложь ожгла сразу всех троих.

Каждый подумал, что эта ложь нужна если не до следующей, до новой лжи, то хотя бы на то, чтоб отодвинуть развязку на потом, когда уже въяве увидишь обломную, потопную трещину в семейной худой лодчонке и смиришься вконец со всем вокруг. Вместе с тем каждый подумал и ещё, а вдруг этот выбрык совершенно случайный, а вдруг, Боже правый, всё ещё сольётся в прежний лад? Так возради только этого

не в стыд сбрехнуть пускай и самому себе.

«Скажи, дурындас, спасибеще старому доброму человеку, а то б я тебе...»

Надёна ватно побрела назад. К дому.

Минуту до этого она уверяла, что надо ей в сарай сдоить козу. В руках зеленела литровая банка, пахнувшая крапивой. Короткая, телесастая молодайка необъятной окружности, похожая на колобок в фуляровой косынке, по-утиному тяжело валилась с ноги на ногу в какой-то разбитости. Походка, весь её вид говорили понятное лишь одному Алёшке про то, долго ль ей ещё ждать его, горького беспутника.

Алексей сидел как на угольях. Думал, идти ему именно сейчас домой, не идти. Решился.

«Была не была! – намахнул фуфайку старику на плечи поверх старого тулупа. – Благослови-ка, отче, меня на мировую. На межполовое примирение с моей генсексшей!»

Алексей ударил вдогонку.

Вот они поравнялись, пошли локоть в локоть, настолько близко, что меж ними и нитку не продёрнешь. Вот уже заговорили, заговорили незло, уступчиво, и старик младенчески радостно заключил, что непременно история содвинется к миру.

Мысль, что это он разомкнул беду, разгладила в улыбке морщины на его лице. Он глядел прямо перед собой на гладкий голыш, будто то был единственный камешек на берегу и не просто камешек, а сама драгоценность, но которая ни-

сколько его не занимала, со смешанным светлым чувством  
врастяжку произнёс, а не пропел глухим голосом песенные  
слова:

– Не осенний мелкий дождичек  
Брызжет, брызжет сквозь туман...

– Деда! – крикнул в удивленье я. – Вы знаете эту песню?

– Я в этом не сопротивляюсь. Знаю.

– Вот те на-а! И даже поёте?

– Дажно *п е л*, – подправил деда.

– А почему *п е л*? Почему в прошлом? А почему и разу  
я не слышал?

– Может, слышал, да по малости лет забыл? На кого такой  
случай не набегает?

– Ма говорила, эту песню любил петь наш отец. И мы, ещё  
малёхи три братика, её тоже пели.

– А с кем отец напару пел? – подживился дедаха. – С Се-  
мисыновым. С Анисом Семисыновым!

Этого я уже не помнил.

Слишком многое во всех подробностях я узнал в нынеш-  
нее утро.

Давным-давно судьба поселила наши семьи на одном  
крыльце, дверь в дверь. Было это ещё на первом районе в мо-  
гильные тридцатые годы, когда на пригорках окрест сводили

чахлые леса и на зебровидных глинах размашисто подымали чайные плантации.

На ту пору шалавая засуха в России под корень повыжгла хлеба, голод встревожил людской улей. В две недели народу приплавилось на полсовхоза. Многих пригнал русский голод. А ещё больше из приезжих были выселенцы и вербованные. Тогда и проявились в Насакирале Семисыновы.

Мужики, бабы, подростки с топорами всем миром зло валились на гнилые ольховые, крушинные островки по лощинам, по склонам балок и в пустячий срок сжали, сдёрнули с земли последнее жидкое лесное кружево. Зато уже скоро изумрудные упругие, жирные строчки чайных рядков игристо побежали по лысым горбинам, по бокам холмов, по пади, словно кто разукрасил их ярко-зелеными лентами.

Уныл был будний круг забот.

Весной и летом мужики тохали (пололи) чай. Осенью они уже вместе с бабами горстями разбрасывали из ведёр сыпкие удобрения по междурядьям, потом их перекапывали. Дальше шло самое трудное – полуовалом формовали кусты тяжёлыми громадными ножницами.

В тепле подъезжал весёлый апрель.

В апреле начинался сбор чая и длился до конца октября.

С темна до темна рвали чай женщины и дети, сдёргивая хрупкие, в два-три листочка, побеги в корзинки на боку.

В те далёкие чёрные годы нужда перевила нас с Семисыновыми одной верёвочкой. Не расстались мы с ними и по-

сле, как перебрались в мазаюхи на пятом районе (на первом в наших бараках разместили женскую колонию). В мазанке жили рядом, и сейчас мы снова рядом, на одном крыльце.

Разброд в годах – отец был моложе Семисынова на семь лет – не мешал нашим водиться домами.

Из этого дружества мы, детвора, выдёргивали сладкий интерес. Иногда Митрофан с Глебом этако небрежно заранее выведывали, что будет у нас на ужин, и, сверкая стеблями ложек, неслись к Семисыновым, сгорали от любопытства, что же там подадут на стол. Случалось, в дверях они сшибались лбами с Колькой и Катькой Семисыновыми – с той же целью угорело летели к нам.

Мы ели там, где хотели, а провористые вечеряли в обеих семьях. И засыпали мы там, где жарче игралось, где вкусней елось, где озороватей пел в печке огонь...

Со временем мы, детворня, с горечью узнавали, что никакая мы вовсе не родня, что чужие мы... У нас вон даже фамилии разнофасонные!

Отец и Семисынов работали в одной бригаде. Всегда вместе. Каждый в районе знал, где вынырнул один, там поблизку ищи и другого. Очутись на краю света, где никого не было кроме них самих, водянисто-паркого солнца и марева, кто-нибудь из них, раздетых до пояса, в поту, тихонько волшеб-но запевал. Так же незаметно с душой подхватывал второй, инстинктивно сильней вскидывая меж кустами громоздкую мотыгу.

Жила песня и в осеннюю, и в зимнюю хлябь вперемешку с редкими снежными набегами, когда небо так пухло укутывалось тучами, что те едва не затыкали вмёртвую дымоходы, когда целыми неделями без отдыха осатанело молотили больные субтропические проливни. Они вполне оправдывали своё название «Букет Кавказа» или «Привет с Кавказа».

Но солька вся не в букете и не в привете, а вовсе в том, что в такую гнусь носа не выпнешь на плантацию, и в эти редкие дни народишко отпыхивался по своим дуплам. Думаете, убегая от тоски, бабы ладили кружева, подзоры к кроватным занавескам, к подушечным накидушкам, мужики чинили обувку и союзом тянули голосянку? Не-ет.

Подзорам доставались вечера да ночи, а в день все обседали со всех сторон батыеву горищу прелого, иногда уже примёрзлого тунга – стыло дыбилась посреди комнаты – и, выгвазданные по глаза, чистили. Вонь, сырь забивали дух. Люди пригнетённо молчали и чистили, чистили, чистили, вышелушивая из гнёзд ядра с перепелиное яйцо.

Угрюмый, бесноватый агроном Илюша Хопера без конца обегал всех подряд, проверял, чистят ли, хорошо ли в с е чистят. А то есть арапы, вымажут пальчики, ткнут под нос тебе – отбывай с контролем к соседям, дорогой товаришок Агрономишвили!

Как ни грязна, как ни вонька работёха, устанут от молчанки, устанут от агронома, за делом подадут песняка.

Под самую войну так катилось. И после войны. Во все вре-

мена...

Хоть Семисынова и отца брали в разное время, но оказались они в одной части. Даже война не разлучила, не стала поперёк их приятельству. Ну, это забота скорей уже угодливого случая.

– Перед поездом, – вздохнул дедко, – батько хотел проститься и с тобой. Трохи собиралось светать... Взял тебя на руки сонного – босыми ногами замолотил ему по лицу. Раскричался страшной резаного и ни в какую... В одной маюшке убежал от него под барак на низких, в одну четверть, столбках, куда взрослому не пролезть... Не хотел, чтоб отец уходил на фронт... Думал, ежели отец не простится, то и не пойдёт вовсе!.. Да что с тебя спросить? В когдашнюю ту пору ползать ползал по полу вдогонку за котом... Тому понятию, что там батько, что там фронт, что там смерть, где было взяться? Веко-во-ой на тебе грех... Не всхотел проститься с батьком...

Горько...

В задний след разве что изменишь?..

На лошади отец вёз мины.

У расчёта не спускали с него молящих глаз. Снаряды кончились!

Под вражьем огнём полохливый конёк наставил сторчком уши, фыркал, упирался, никак не шёл. Отец угнулся, потащил под уздцы. Семисынов выплеснулся из окопушка, ки-



нулся на подмогу. Отхватил прыжка три, как ранило и его, и отца.

Умер отец в сочинском госпитале.

Похоронили отца в братской могиле, на скалистой возвышенке, откуда в сильный бинокль ясным днем будто бы видать через всё Чёрное море турецкую землю Анатолию.

Похоронку принесли в сумерки, и всю ночь, без лампы, прокричала мама с бабушкой Анисой. Те слёзы, те причитания, та ночь без конца – всё самое первое, что врезалось мне в память, всё самое первое, что я вообще запомнил в жизни. Та ночь в тяжёлых подробностях первая вошла в моё сознание. С той, именно с той ночи я плотно помню себя.

А Семисынов после Победы вернулся домой марухским<sup>28</sup> орёликом. Мало не весь, с плеча до плеча, при орденах, при медалях. На свежий глаз с виду герой героем. А приглядишься, сил в нём на то и достало, что донёс свои наградушки. Весь на ранах, пухлым взялся, глухой, немой от контузии.

Зимы через две сумел в нерешительности снова угрести к себе власть над словом.

– Заслуг мно-ого, да получили мало, – как-то надвое, усмешливо говорил дедина. – Выпал из годных, уже *туда* посматриваю, а ничего хорошего не нашёл... Хотя... Не пустил я лишку? На войне один год бежал за три. Война нахлопнула к моей выслуге полных восемь лет. Отпустила жи-

---

<sup>28</sup> **Марухский перевал** (на Кавказе) – место жестоких боёв.

вьяком... Всёжке божески война со мной разочлась... А с батьком... Хай земля держится ему пухом...

Мёртвым друзья не нужны. Друзья нужны живым.

Не упомяну, кому так сказал он с тихой назидательностью. Может, и самому себе, только вслух.

Эта мысль заставила меня взглянуть на него новыми глазами. Я сравнивал его слова с тем, что он делал, и, к великому торжеству своему, разлада не находил.

... После занятий в школе рубили мы с Глебом прошлой осенью дрова в лесу. Наворочали сколько надо, припрятали в кустах.

Сами дровинки домой не бегут по щучьему велению, просят к тебе на горбок. Навязали по неохватной вязанке, с кряхтеньем припёрли к сараю. Сели на проклятые вязанищи. Никак не отдышимся. Ну-ка, от Ерёминого яра, километра с три по горам без передыху!

– Ну что, – подходит деда, – зиму учуяли, мужики? А дровца, дровца-то какие ловкие! Показали б, брали где, я и себе б натюкал.

– Да нам что? Мылимся сегодня ещё разок обернуться. Идёмте. Покажем.

– Нетушки. Уж лучше поедем. Есть такое мнение. На кой же я тогда и арбовщик? А потом, дилижансий мой на ходу. В полном готове. Хлеб в магазин только привёз из пекарки. Быки ещё в упряжи. Чего попусту слова по воздуху распи-

хивать?

Угнездились мы с Глебом в арбе на грядках друг против дружки, лыбимся на радостях. Подвезло как! Ветерок последний с нас пот ссушивает. Легко.

Дорога из района берёт наизволок.

Быки плетутся без аппетита, не прытче улит.

– Э-э-э, ребятоньки! – шумит им деда. – Мы этако не договаривались. Неживые, что ле? Тоже совтруженички... Ползёте, как мухи по смоле. Или вам уже кто рассказал и вам понравилось, как ходил рак семь лет по воду, да пришёл домой, да стал через порог перелезать, разлил, да и говорит: «Во как чёрт скорую работу любит». Не пример вам рак. Сжалился ото Бог над раком – глаза сзади дал!.. Прошу покорно, схватя за горло, просторней, просто-орней шаг! Будет греть зады на солнце. Ну, кому я кричу, Севка, Красавчик? Тени вашей? Или вам люб ременной кнут? Я могу с верхом насыпать горячих гостинцев. Дорого не возьму. Еже-право, могу! Не дам скучать, как собаке по палке. А! Где там мой кнут!

Никакого кнута ввек не было у старика и оттого, что он обводит арбу взглядом в поисках кнута, кнут всё равно не появляется.

Деда выдергивает из грядки сухую лозинку, помахивает перед собой, как веером.

– По-хорошему говорю, бойси! Ну бойсь меня! Не то хлестану-у! Не посмотрю, отрок Красавчик ты иля седой Всеволодушка.

Чёрный, с проседью Севка выше на ногах, шаг размашистей. На полголовы выпережает малюту Красавчика.

– Старайсе... старайсе, Всеволодушка! – бодрит деда. – Молодец! Попанешь в рай на самый край, где Боги горшки обжигают... А что же ты, малуша Красавик, задних пасёшь? Иль думаешь, мил друг, по мне хоть трава не цветы? Хоть-ко сено не сушишь? Не-е-е... Эх-ха-а... Знаешь, выхвалялся гриб красной шапкой. Да что с того, раз под шапкой головы нету? Прищуривай, прищуривай, упрямец, на левый глаз! Смотри на напарника... Работай, работай, ударничек!.. Шевели поживей копытами... Или я за тебя буду переставлять ноги? Совсем никчемуша... Ни суй ни пхай... Ой, как бы я тебя, хлопче, не заслал, где козам рога правют. Во-о репку запоёшь!

Красавчик не умел петь репку, норовистей заперебирал стройными ногами в белых носочках и вот уже поспешает вровень с Севкой.

Деда благостно съехидничал:

– Ну что, сивый Сева, ухватил шилом киселя? Доста-али мы тебя!.. Большь не задавайся. Кто сивый не мудрый, а просто старый уже. Попал я в точку? Попал, скажешь, как слепой на стёжку? Пускай и так. А всё ж попа-ал...

Ускакали мы аж за Лысый Бугор. Покружили по глухому яру – порос, переплёлся всякими колючками и прочим ерлашем. Тот глухой яр всяк обминал кружком, там деревца и подкрупнели.

Показали мы всё как есть.

– А где вы спрятали зимнее своё тепло? Покажь...

Ведём в укрытие к своим похоронкам.

Откладываем себе по вязанке.

Деда поцокал языком, поцокал и тихо поехал. Мы ладимся следом пыхтеть с вязанками. Поставили свои вязанки по-пиком, не успели сшатнуть себе на плечи, ан видим: лусь себя по лбу, угорело правит деда назад.

– Послушайте, николаевские жанишки. Я пролетал над вами на самолёте. Сбросил чувал муки. Вы не находили?

Мы опешили. Какой самолёт? Какая мука?

Он растерянно тарашится. В горе торопит с ответом:

– Так не находили? Га? Мука же! Целый чувал!

Мы заозиралась. Жмёмся.

Крадкий смешок катнулся в его прищуренных глазах.

Розыгрыш!

– Раз не находится моя мука, давайте артельно подумаем, чтоб не пропали и ваши дрова. Я думал... Аж извилина бантиком завязалась... Да что я? Одна голова – это одна голова. Две головы – не одна уже. А три – уже совет! Чего мне назад порожняком тараштеть? Всех покойников подыму. Как вы считаете?

– С нашими дровами грому не бу-удет, – в тон ему лукаво тянет Глеб. – Ни одного покойничка не разбудим. Прямо ложка к обеду Ваш наводящий вопрос. Грузимся!

– Оно б сразу надо было загрузиться... Да я трухнул...

Цепной пёс агроном притужает, запрещает возить на арбе что там рабочим. Да... Его дело запрещать, а наше дело не слушаться!

Деда осмелело вбил колья в грядки, нарастил рёбра бортам, увязал. Как ни много было, горой ужали всё в арбу подчистую. Напоказ в яру и щепочки не осталось гнить.

В другой раз, это уже ломали кукурузу, порядочная куча початков с локоть Ильи Муромца грелась у нас на огороде. Таскать в мешках за неделю не перетаскаешь. А тут тебе в воскресенье под вечер деда с рыбалки ехал мимо. Чего не остановиться, не дать быкам роздыху?

Покуда те отдыхали, роняли стеклянную пену, деда набросал вровень с грядками кукурузы. И мы не считали ворон. Помогали ему.

– На кукурузке вам будет теплей сидеть, мягче, чем на голых грядках, – оправдывался почему-то он.

Как сесть на хлеб? Какие ещё посиделки на кукурузе? Уже то счастье, что не едет она на тебе верхи.

Довольные, в душе ликующие брели мы домой по бокам тяжёлой арбы.

А то чудок пал угол нашего сарая. Митрофан с Глебом забегались строить новый. Нежданно у деда выскочил отпуск. Чтоб не застрелиться со скуки вяленой таранкой, как он говорил, с неделю выводил со шкетами десяти и тринадцати

лет козий домок.

Часто, слишком часто в тоскливую минуту возникал рядом деда. Наявлялся ненавязчиво, как бы под случай.

Впрочем, я расколдовал закон его случайностей. Он боялся память мальчишеское самолюбие видимым опекунством. Клал всё сердце в те случайности, что подгадывал, ждал зорко, со скрытым судорожным рвением. Что говорить, не давал дунуть ветру на нас.

Всё то шло от доброты, что наполняла стариковское существо. Доброта жила во всём: в отношениях с людьми, в повседневных хлопотах будней, в манере держаться, в голосе, во взоре, наконец в самом лице, в остреньком птичьем лице со следами оспы. Оно было лишено броской привлекательности и вместе с тем было необъяснимо живое, выразительное, какое-то говорящее, отчего, раз глянув Семисынову в лицо, вы ловите себя на том, что не спешите отводить взгляд от его лица, точнее, не можете отвести, будто в нём сидит божья волшба, набежавши под которую пиши пропало: хотите вы того, не хотите, а власти над своей волей больше нету у вас, как нету её у дробной булавочной головки, что с лёту мёртво прижалась к препорядочному куску магнита.

– Не вышей печной кочерги был я тогда, – уклончиво, в шутку рассказывал он про оспенные пятна. – До полной, плотной темноты и разу не дозволялся меня с улицы родитель. На беду, как-тошь оспа ходила по нашему местечку с клювом,

неслухам пятнала щедринками лица. Да вот поди ты с нею... В потёмках не заметил дурайко оспу, напоролся... Только этого цветочка и недоставало в пышном букете невзгод моих житейских...

– А за наколку<sup>29</sup> папахи не боитесь?

– Я, Антончик, уже устал бояться. – Деда грустно усмехнулся. – Я своё отбоился с горушкой... Прошёл-проехал от нанайцев до грузинцев... Много-ого истории видал. Видал, как за невыработку минимума трудодней давали семь лет. А какой он тунеядко, ежель с войны полуинвалид? А оне норму что здоровому бугаю, что ему. Самого на год лишали слова.

– Это как?

– А так... В коллективизацию начали ломать не только человека, но и землю. Изнушались над землёй. Я председателю: это и это не так. А надо бы делать так вот и так. Председатель: «А-а! Ты меня учить?» Вызвал милицию. Милиция мне и объяви: «Ты не имеешь права разговаривать. Лишаем голоса на год. Можешь только свистеть. А заговоришь без разрешения, дадим срок».

– И вы молчали?

– А куда денешься? Но молчал, молчал и не стерпел... Слезы пробивали. Обидно... Дома сквозь зубы шептал. А на народе ни-ни. Один подпёрдыш хотел меня упрятать. Стукнул по спине, думал, заматерюсь. Тогда он на меня и донесёт. Стерпел я, смолчал, но в ухо свистнул ему кулаком...

---

<sup>29</sup> **Наколка** – обман.



– А что Вам было, когда снова заговорили с председателем?

Он печально отмахнулся:

– И не спрашуй... Всё одно не скажу... Так *научили* молчать... Никто не нуждался в народном голосе... Теперь-то по державе оттепель... Лиховой Никитушка под напасть не подпихнёт... Хотя... Ну не глупостя перевесть личную живность? Кому в умную голову зайдёт? Верхи крякнули, папахы и замельтешили, и замельтешили. На неделе... на уклоне дня снова нагрянула из города горькая старая папаха. Уже под вечер. По райвону скачет кой-какой мелкий народец, детворня. А взрослых ни души. У нас же не по часам работа. Развиднелось – беги. И покуда тюремная тьма не сольёт ряды, бригадир никого не отпустит с плантации. Уже того чая не видно... А сейчас особо. Май всему голова. Упустил – чай застарел. Не ущипнёшь... Пощупаешь, да не ущипнёшь ни чая, ни приработка... Ну, из взрослых, можь, я один. Папаха и присипайся ко мне.

«Перви Май скор! Гуляй нада! Козки всё рэзат нада! Решэнья, – палец мохнатой палочкой в небо, – эст!»

Я ему подковыристо и отпультни:

«Етишкин малахай! Подсевала! Да возвертайся спокойно в свой город. Срапортуй по начальству, что мы ту решэню уже исполнили. В райвоне нету ни одной козы, туды её в качель!»

Не верит. Мотает головой папаха.

Поташил я его по сараюхам. Во все заглянули. Нету!

«А можэт, коза эщё на лес? Придёт потом?»

Толкётся он. Ждёт. Слава Господу, тут набежал мой Колька. И я послал его к тебе домой, понёс он тебе мои слова...

– Чтоб летел я духом под Лысый Бугор к Ваське-пастуху и сказал держать стадо в яру до глухой ночи?

– Верно. Папаха повертелась, покрутилась и счастливо отбыла по большачку в Махаразию... Мда-а... Не докумекай я свертеть колесо<sup>30</sup> вовремя, можь, ты б уже не скакал к козушкам к своим с бидончиком? Некого б было там доить. А из папахи молока разве выжмешь?

---

<sup>30</sup> **Свертеть колесо** – соврать.

## 8

*Жизнь – это отрезок между мечтой и реальностью.*

*Л. Сухоруков*

Солнце поджигало, било прямо в глаза.

Деда щурится на меня из-под ладошки.

– Не стой. Нехай полы не висят. Нехай отдохнут. Садись!

Он пододвинулся на корзинке.

– Да не надо. Постою я.

– Не теться. Ноги за день наломаешь ещё.

Я сел.

Оба делово усталились в землю.

Молчим минуту. Вымолчали две.

Что ж это играть в молчанку? Была охота!

Скосил я глаза – деда кокетливо подаивает свою лопатистую бороду. Затея, видать, к душе. Доит с наслаждением, с тихой радостью. Бородёнка желанней меня!

Это подмывает меня на дерзость.

– Она у Вас доится?

– А ты не знал?

– Тогда надоите полный! – подаю я бидончик.

Деда чинно берёт бидончик. Снимает крышку.

Воткнул нос в бидончик.

– А-а... Духовитый... С крипивой мыл... Мы с бабкой

тож всяку посудушку под молоко завсегда моем, как говорит она, с крипивой. Банки у нас повсегда духовитые. Таскал вчера утрешнее молоко агрономше Гоголе. Подхвалила. Как банки у вас хорошо пахнут! А я говорю: «А я диколону туда пускаю». Я опытный. Во всех жомах побывал. Как и что – не стесняйся спрашивай... Пстой, пстой... Ты чё весь кислый?

«Чего кислый, чего кислый... Нашли чем выхваляться. Бородой! Да я в Ваши годы отпущу чумацкие усы сосульками... Не, лучше бородищу ниже пяток! Почище Вашей! Зимую буду ею вместо одеяла укрываться. А вот хвастать так не стану!»

– Гляну-погляну это я на тебя... Чего эт ты, как сел на корзинку, заважничал, как той подпасок на воеводском стуле? Или ты, и то сказать, недовольный чем? – снова из-под руки щурится он, щупает меня плутоватыми глазками.

– А Вы поменьше жмурьтесь, больше увидите.

– Ты загадки не загадывай, демонёнок. Обиделся на что? Так ты безо всякой вилялки и рубни. Видишь, какой минус за мной увязался – я ж не святее папы римского! – на язычок простоват... Может, когда что и ляпнешь непотребское. Так ты без антимоний врежь в ответ своё прямиковое слово! Не жмись...

– Яйца курицу не....

– Это, – перебил он, – ещё надо доглядеть, что там за ку-

рица. Что там за яйца. Не стесняйся бить посуду.<sup>31</sup> Особенно поделом. Танком на своём упирайся! Понял? Ну!

– Не нукайте, я пеший...

Я встал идти.

За полу пиджака тянет деда меня книзу.

– Взбаламутил душу да и?.. Та-ак... сели... Давай говори, санапал. Тебе по штату в таком разе говорить надо, шишка еловая в ухо залети!.. Какое неусмотрение завидел? Чё ж его молчать? Иль ты меня пытаешь?

Цепкие, вмёртвую остановившиеся глаза смотрят в упор.

Я не выношу взгляда. Опускаю лицо.

– Да ничего... деда... Я так...

– Не плети бабьи сказки, вруша. По глазам вижу... Другой на моём месте за такое измывательство ух как перекрестил бы тебя крест-накрест матерком с ветерком да и до свиданьца. А я, коротконогий пенёк березовый, все блажу... скажи да скажи... Попомни! Смолчал, не сказал – всё одно что соврал!

– А на что мне врать? Разве без вранья не видно, как на часах Вы спите? Вот!

– До-олго молчали, да зво-онко заговорили... Эшь, едри-копалки, в самое дыхало... Сгрёб за горло, зажал, как воробьишку в кулаке... Да не за тобой первина... Я сам себя зажал ещё когда... А толку, толку? А?

Я не собирался задавать ему каверз и с пылу ненароком

---

<sup>31</sup> **Бить посуду** – сильно спорить, отстаивая правое дело.

дёрнул за больную струну.

– Тэ-тэ-тэ-тэ-э... – заговорил он после горестного молчания. – Человек, Антоня, по своей натурке... Кто ж он в натуре?.. А враг его маму зна! На зачинку природа бросает в человека всего по щепотке, по самой малой малости и того, и того, и того. Одно пустит ростки, другое не пустит, вроде как на том огороде. Бабка чего-чего не натывает в мае. Смотришь потом, руки раскидываешь. Иное посаженное ещё в земле, в семенной скорлупке, в своей тёплой колыбельке, примрёт, так и не увидит света дня. А печерица, сурепка, бузина, васильки, чертополох... Никто ж не просил, никто не сеял, а кэ-эк попрут, кэ-эк попрут!.. Рвёшь, рвёшь эту ералашную дичь да и плюнешь. Так никогда и не расковыряешь, откуда у неё родючая силища. И как ты ни маракуй, не изживёт грядка своего века без дурного сору. Так и человек... Конечно, не всякий... Всех под одну гребёнку тож нельзя... Мда-а... По небу облака, по челу думы... Тут подумаешь... Оно, опеть же в повтор кладу, не каждый человек по своей натуре паскудник, а уж вовсе и не без того. Это точно. Ты отложи себе это в голове на самую главную полочку. Помни про то всегда. Взять меня. Бабка вроде и довольна как. Поёт стороной, хоть у меня мужичок всего с кулачок, да за мужчиной за головой не сижу сиротой. Во-о-о-он оно! Какой ни реденькой тын, а затишко... Не убивал, не царёвал в чинах, не крал... Не из рукава ел свой хлебушко честный, нехай не всегда и с маслом. Масло!.. Случалось часто и густо, гремел

гром в пустом брюхе с манны небесной, годами бегал вполсыта курилка. Всяко крутилось, и всё наше: и холодно, и голодно, и доставалось, как бобику на перелазе... Весь теперь-ко плохобольной... Пичуга я немудрёная. Так... Среднего полёта. Здоровье всё рассыпал по бездолью, растрывькал... Никуда не годное. А тут тебе нá! Ране наш районишко почти-тай был крыт небом, обнесён ветром. Хлоп, ан обносят за-бором, как крепостину. Вешают ворота. А ворота раз веша-ются, так кого пушай, а кого и погоди. Кто должен ту обедню править? Товарищ сторож... Я...

Пошёл я в контору, выписали ружье. Всё какое-то каржавое, сермяжное. Ну, думаю, у всякого Филата своя во лбу палата. Все мы с виду каржавые. Дай попробую в деле. «Угости-те патрончиком», – прошу директора. А он мне: «Вот насчёт патронишков не обессудьте. Нету и не надобны. Ещё ухлопа-ете кого под горячий глаз». – «А наскочи матёрый шельмопёс какой?» – «Всё едино! Отстрел... Ни Боже м-мой! Пускай он и матёрый-разматёрый. Зато нашенский! Свой! Советский! Его не утетёшивать, его до-вос-пи-ты-вать на-до! К комму-низму едем, архарушка! Паровозишко уже в пути! Первая остановка – Его Сиятельство Коммунизм!.. Десять суток... Пятнадцать суток... Пятнадцать лет!.. Выбор королевский! Всё ему, лиходейке, на блюдечке с каёмушкой. Только не пальба, только не канонада...» – «А нападения ежель? А еж-ли мне в предупреждение приспичит его поставить? В во-оздушек хотько разо-очек!..» – «Ну! Это уже разбазарива-

ние народного и государственного добра. Вы в воздух бах, я бабах! Сколько таких купоросиков набежит? Не думал, что вы такой мотущий...<sup>32</sup> Да и чего мы цедим из пустого в порожнее? Патроны без смысла... С ружьём не вся правда вышла. Влезла ошибочка. Ружьецо отписано в тираж... Стрелять разучилось...» Я аж так и сел на чем стоял: «А на кой кляп мутить старику голову?!» Толстун, хоть блох на пузе дави, осерчал, стал в наполеонову позитуру: «Он мне указ! Дождь с земли хлынул на небо!.. Слушайте мытыми ушками. На посту вы с ружьём. По форме. Но не стреляете. Не в кого. Вывелись у нас всякие там мазурчата. Будете сторожем нового типа! Сим-во-ли-чес-ким! Современным!» Хе! Символический сторож!.. Символ я. Так что ты меня не бойси.

– Угу...

– Дело моё нежаркое. Непыльное. С грустинкой... Промеж нами пройдёт... Только живость и зазолотится, как когда кого из наших выдают на сторону, или, наоборот, какую наши везут со стороны. Уж той свадебной карусели-поезду не дам я ходу, не открою врата рая, – он криво усмехнулся, – пока выкупа не подадут. Со всякой новой мельницы водяной берёт подать утопленником. А свадебка откупается у меня натурой. Чачей.

«На, дедусь, цельной литар!»

«Ах, ёшкин нос, удивил!»

«На вот ещё!»

---

<sup>32</sup> Мотущий – расточительный.



«Будет. Дай вам Бог эстолище сынков, сколь в лесу пеньков!» – «Иэх! – Удалая невеста долго не думает, звонко целует жениха. – Иэх-ха-а! Старого мужа солодкой прикрою, молодого орла сама отогр-р-рею! Сказала б что ещё, да дома заб-была!...»

Реденько шальные праздники эти жалуют к нам. А хорошие праздники...

Отзвенит свадебный ералашка. Всё поуляжется. Всё поухнет... Снова всё побрело своим чередом. Этот черёд нет-нет да и зачнёт изводить адовой скукотищей, тиранским одноцветьем дней. Во-о где зарыта собака! Лучше б...

– Стойте! Стойте, дедуня! Так где же зарыта собака? Адрес!

– Чё ты буровишь, лаврик? Какой ещё адрест? Просто мы так говорим.

– Сперва всё это было в действительности в немецкой стороне. В местечке Винтерштейн торчит на улице указатель:

## К могиле собаки



По указанной дорожке попадёшь в старинный парк. Возле запустелого замка могила.

– Эк, таранта! Эк, плетёт кошелю с лаптями! Полно несть околёсную! Подай, Бог, твёрдую память. Вяжи, да в меру... Можь, ещё наркажешь, как собачку звали?

– Штутцель! Штутцель звали. Два века назад в междоусобицу бегала связной. По команде хозяев замка Винтерштейн протекала во взятый в кольцо врагом замок Гримменштейн. Ходила туда и обратно, туда и обратно. Погибла. За верную рискованную службу – памятник на могиле! На каменной плите выпуклый портрет Штутцеля, стихи.

– Ты-то откуда всё это выгреб?

– Из журнала... И начинаются стихи так: «Вот где зарыта собака...» А Вы... Просто так говорим!

– Ну, не просто... Просто так, от нечего делать и комар лезет на полати. Так что из того?.. Сбил меня той собакой, будь она неладна. Лучше б её не откапывать... Раз я состою на службе, я и имею государственную копейку. Я должен святко чтить волю тех, кто на честный мне хлеб даёт. Как ни бейся, в житухе оно так прямушко не выскакивает. И чем больше ты на ногах, тем больше варишь непотребства... По-хорошему... делать того и не надо бы... Один сон отдирает человека от пакостей. Больше спишь – меньше грессишь.

– Ну-у... Чепуховина с морковиной. Не верю!

– А я и не гну верить. Можь, я сам себе не верю сполна. А покуда ночь тута откукарекаешь, про что только, как его только не помыслишь. Вот перед твоей явкой сижю и думаю, – он утишил голос чуть не до шёпота, – сижю и думаю,

что такое наш совхоз и что такое тюрьма на первом районе, где раньше жили и мы, и вы? Глубоко и долго думаю. Но разницы так и не нахожу. Что там, что там люди работают одну работу. Обихаживают тот же чай. Что там, что там пахнут почти за бесплаток. Так у тюремного пролетария дело тут даже красивше. Жильё вот бесплатное. Пропитание да одёжку ему то же государство кидает. А совхозник за всем за тем сбегай в магазин да на базар. А без денег тебе кто-нибудь что-нить давал? Мне пока никто не давал. А заработать не смей. Вот май, самая пора... Лучше чая в мае не бывает. Но они, – поднял палец, – норму о-о-опс до небес! И ты хоть укакайся от старания на том чаю – всё равно на тоскливых грошиках съедешь через всё лето в пустую ненастную осень. Почитай бесплатно ишачит в проголоди человек, а державе барыш. Звонит во все колокола. К коммунизму прём!

– Зато мы вольные! Куда захотел, туда и пошёл.

– Ну, сходил куда хотел... Позвонил там в Париж<sup>33</sup>... Или там... Да вернулся ты к чему? К тому, от чего ушёл! Далече убрёл телёш... Между прочим, тюремцы тоже называются спокойнонько и в Париж, и бабушке...<sup>34</sup> В тюрьму скидывают народко виноватый. Но в совхозе ты много видал, кто своей волей сюда вlepёхался? Есть, знамо, таковцы, а большь выселенчуки... Иль как их там... зеленогие...<sup>35</sup> Неугодные

---

<sup>33</sup> **Позвонить в Париж** – сходить в уборную.

<sup>34</sup> **Позвонить бабушке** – сходить в уборную.

<sup>35</sup> **Зеленогий** – ссыльнопоселенец.

властёшке... – потыкал пальцем вверх. – Твои родительцы не разбежались влезать в колхозово ярмо... Так где они очутились? В Заполярке. А Заполярку с Сочами не спутаешь... В те Сочи наш брат может только покойником въехать.

– Это как?

– Твой батько где похоронетый в войну? В Сочах...

– А-а...

– Из-под зелёного расстрела,<sup>36</sup> – деда снова сбил голос до шёпота, – ваши влетели в вечный сухой расстрел<sup>37</sup>... Заключённые считали в войну три недели на лесовалке сухим расстрелом. Всего-то три недели чёрной изнуриловки... А тут – четверть века! На чаю! А чай не милей лесоповалки... Тюремный срок знает конец. А выселенческий?.. Кой для кого вопро-о-осина...

– И Вы никакой не видите разницы между совхозом и тюрьмой?

– А ты видишь? Скажи. У тебя глаза молодые. Зорче.

– Я ни разу не был в тюрьме.

– Ты ни на минуту не выходил из неё! Ты в ней уже *жил* на первом районе! И – *живёшь сейчас*. Минутой ране я про что тебе кукарекал? Мы обжили тот первый район и потом нас сюда, а в наших бараках на первом разместили тюрьму. А ты говоришь, не был... Царевал и царюешь в тюрьме! И никогда не выходил из неё ни на минуту!

---

<sup>36</sup> Зелёный расстрел – работа на лесоповале.

<sup>37</sup> Сухой расстрел – изнурительная физическая работа.

– Это что-то новое...

– Да нет, всё старое... Даже буквы, какими начинаются эти слова, живут в азбуке в соседях, рядом. Кто впереди? *Сы! Совхоз-колония!* А следом бежит преподобная *тэ. Тюрьма!* Рядышком, рядышком... Разницы и не поймать... Тюрьма огорожена колючей проволокой на обе стороны. Мы как бы вольные по эту сторону, тюремцы по ту. А так... *Сплошняком* тюрьма. Ненаглядный социализмий... Ты ж знаешь, социализм – это советская власть плюс электрификация всей колючей проволоки... Знаешь, если б не проволока, кой-кто из совхозных и полез бы через забор жить на сталинскую дачу...<sup>38</sup> Любезный «отец народов» выстарался... Вот чёрная парочка – однойцовый Гитлерюга и Сталин... Допрежь всего оба хороши!.. Сталин гнобил свой народ! Только в войну не расстреливал своих. Выскочил у него негаданный «перекур» в четыре года. Однойцовый помешал ему войной. Выходит, война кой-кому из наших сохранила жизни? Вот и думай... В какую трубу вылетели наши сорок миллионов репрессированных? Правда, другие называют цифру пострадаликов в сто раз меньше. И кто прав? Ни-кто! Потому что и у тех и у тех нет точных данных. Дать бы их могла власть. Но она держит всё это хозяйство в секрете. А слухи... Что слухи? Только в одной Новой Криуше, откуда твой батька корнем, до войны было раскулачено, репрессировано и выслано на чужие жуткие поселения, по словам стариков, более тре-

---

<sup>38</sup> Сталинская дача – тюрьма.

ти односельчан! А верно ли это? Опять кто же подтвердит документом? Найди ту трубу, в которую ухнуло столько пострадаликов... Спроси... Что она тебе расскажет?.. Одначковой да чего позже рассказала... Это уже открытые цифирки... В январе 1920-го в Криуше жило 8624 человека. А в двадцать девятом было уже более 10 тысяч! Но к январю срок первого уцелело лишь восемь тысяч. То постоянно шёл рост населения. А тут такой спад... Куда подевались остальные криушане? Репрессивная коллективизация сожрала? И это лишь в одном-единственном селе!!! А по стране? Да и те, что остались, доживали свой век со связанной волей, со связанной душой. Одно слово, инвалиды советской системы...<sup>39</sup> Инвалиды... Война тело изурочила. А система – и душу и все извилины мёртво спрямила на свой ранжир. Нет Человека... А то, что от него осталось... Хочешь ноги вытирай, хочешь – засылай строить светленькое будущее где угодно, в любой точке мира хоть для отдельно взятого папуасика. Только голодно крикнет «Щас!», штаны на верёвочке подёрнет и побежит строить... То ли я это уже от кого-то слышал, то ли читал где... Вся ж держава об этом гудит... Тоталитарный режим не появился сам по себе. У него есть отец. И отцом этого пресловутого режима был Ленин. Возмущён-

---

<sup>39</sup> «Судьбу народа России исковеркал тоталитарный режим... В России дана ясная оценка злодеяниям тоталитарного режима, и она не будет меняться». (Из статьи В.В.Путина в польской газете «Gazeta Wyborcza» от 31 августа 2009 года.) Президент России Дмитрий Медведев заявил, что режим, который сложился в СССР, был тоталитарным. («Известия». 7 мая 2010.)

ные потомки поимённо назвали все жесточайшие злодеяния очень «дорогого» Ильича против своего народа, против Отечества.<sup>40</sup> Что тут гадать... Кругом были сплошные горести... В какую деревнюшку ни сунься, в какой городок ни ткнись – не тут ли тебе и Соловки, не тут ли тебе и Беломорканал, не тут ли тебе и весь Гулаг в полном количестве?..

– А что такое Гулаг?

– А вся шестая часть Земли... Не вздумай кому об этом сорочить... А то прелести тридцать седьмого года сожрут меня... Послушал и забудь... Забудь... Обещай, что никому не понесёшь, что тут сейчас слышал. Обещаешь?

– Да.

– Так оно лучше... Тё-ёмная наша житуха... Тё-ёмная... Сдвинуться с ума!.. Вот сижу на ночах.<sup>41</sup> Темь. Шелесток. Кто-то что-то откуда-то прёт. Так и есть. Сморчок короткобрюхий Комиссар Чук, комендантщик... политик... Всё про политику стрекочет. За неделю напророчит, кто с кем и куда из правителей подастся, что скажет... Так этот бесштаный министр крадкома прёт навстречь целую ёлку на дрова. Сам комендант – ворюга!

«Ты, – говорю я, наставивши на него палец, – куда тащишь?»

Он так брезгливо отводит в сторону мою руку с выстав-

---

<sup>40</sup> Материалы о злодеяниях Ленина и Сталина смотрите в приложениях В.Путина «Ленин заложил под Россию «атомную бомбу» на страницах 631 -644.

<sup>41</sup> **На ночах** – недавно ночью.

ленным пальцем и в печальной ласке так, будто ребёнку, говорит: «Чучелко! Не тычь пальцем, обломишь... Я ж тебя сколь уже раз учил!? Не указывай на людей пальцем, не указали б на тебя всей рукой!!! Неужели это так трудно упоминать?»

«Ты зубы не заговаривай... Куда тащишь?»

«Вперёд! Домой... Не мешай!»

«Чужое тащишь!»

«Аниско, на тебе креста нету! Ка-ак можно чужое брать?!.. Своё тащу!»

«Ты что, эту ёлку сажал? Растил?»

«Не сажал, не растил. Но она вся *м-моя!* Ты что, не слышал песню по московской брехаловке? «И всё вокруг моё!» Мы ж в коммунизим въезжаем! Всё вокруг – наше! Всё вокруг – *м-моё!*»

«Ты чего, дурко, удумал?!» – кричу.

«Ни звучочка не выдумал!»

«Но прёшь-то чужое!»

«Ты всерьёзку?.. Ха-ха-ха!.. Со смеху помереть! Держите меня семеро!.. Тогда ты, Аниско, ни хрена не понял в нашей советской житухерии! И тогда сиди молчи... Мы к коммунизму идём?»

«Летим!» – огрызнулся я.

«Верно. Ни тебе, ни мне не даст соврать махарадзевская папахуля. А что такое коммунизм? Отвечаю словами Толкового словаря Владимира Даля: «Комунизмъ – это полити-



ческое ученье о равенстве состояний, общности владений и о правах каждого на чужое имущество». Каж-до-го! Как видишь, меня не пропустили! Второй том, страница 759. Вопросы есть?»

«Есть! Я не знаю твоего Владимира. Я слышал про другого Владимира. Ленина».

«Так вот мой Владимир, знаменитый толкователь русских слов, ещё в 1865 году объяснил твоему Владимиру...»

«Стоп! Стоп! – шумлю я. – Какая могла быть объясниловка? Ленин ещё не родился!»

«Ну и что? Зараньше человек постарался... Так вот мой Владимир ясно пояснил в книге всем и твоему Владимиру, твоему дяде Володе, что такое будет коммунизм. И не в пример тебе твой Владимир всё выгодненькое сразу ухватил и потому в семнадцатом, когда с сырого гороху пукнула «Аврорка», всё начальство у нас зажило на большой. А мы с тобой, крутые вшивоводы?»

Я больше ничего не стал говорить, и Комиссар Чук важно пошёл со своей ёлкой.

В другом разе он снова тащит на дрова уже тунг. С корнем, кажись, выдернул.

Этот кузька-жук, значит, тащит.

Я ни ху, ни да, ни кукареку. Вежливо молчу.

Он тащит, я молчу. Всяк занят своим делом.

Ему вроде некультурно проходить мимо молча.

«Тунг с сушиной», – заговаривает ко мне.

Пускай и сухой, а ты не тронь. Не велено трогать. Начальству одному дозволяется трогать. По правилу, я должен Чука за шкуру да к агроному-управляющему на проучку. А я пропускаю. Не так-то Чука и схватишь за шкуру... Со стыдобыщи перед собой ломаю вид, что сплю без задних гач. В ту время как бы к месту напал взаправдй сон. Уж лучше заспать такую гнусь, чем видеть, следственно, и потакать ей молчанием, благословляти. Нету во мне той звероватой жестокости, чтоб оправдать свою трудовую копейку. Во-от в чём мой наипервый минус...

Комиссар Чук исподтиха гугнявит:

«Ты, Аниско, леший дурдизель,<sup>42</sup> смалкивай. А третьего, в получку, я те на всю катушку отвалою. Чекушку притараню!..»

Третьего он добросовестно приносит... Цельный чувал приносит удобрения! В бригадном сарае нагрёб.

«Удобрения... По запаху слышу... Это такая твоя чекушка?» – спрашиваю.

«Не переживай... Я ж не для супа тащу супер...»

«Для супа надо другое...»

«Я и другое утащу... Ну, посуди... Разве мне не хочется, чтоб огурец-помидор рос у меня по-людски в огородчике? А что на нашей *красной* землюхе здесь растёт по-людски без удобрения?.. Оха, Аниско, таскать не перетаскать... Таковска наша жизнь!»

---

<sup>42</sup> Дурдизель – добросовестно работающий заключённый.

«Невжель и при коммунизме будут воровать?»

Он хохочет:

«Обязательно не будут! Нечего будет... Потому как при социализме всё растащут! Да не столько мы, горькие вшиводавы, сколько... – он вскинул над головой указательный палец. – И потом... Ты особо коммунизма не выглядай... Не дождёшься. Никто ж его не построит! У партии каждый же съезд – это *поворотный* этап! Бесконечные повороты-извороты... Беспорядица... Тоскливая болтуха... Так что сиди спокойно и смалчивай. Не мешай мне таскать...»

«А чего ночью таскаешь?»

«А неужто прикажешь светлым днём таскать? На всеобщий обзор пролетарских масс?.. Мне, коменданту, бегать днём с краденым?.. Все ж чумчики завизжат: «Комендант скоммуниздил! Смотрите!!!» Смеёшься?!»

«Я не шучу».

«И я не шучу, – и вытаскивает из потайного кармана чекушку. – Ночь убавляет орлиности в глазе. Всего в ясности не увидишь. Ночью ты ни разу меня не видел гружёным, со мнойкой не говорил... За то и получи...» – и подаёт чекушку.

Я беру. Откажись – так подумает, злое что замыслил я. А думаешь, я польстился на ту четвертинку? То и дал ей житья, что хватил об камень, как Комиссар Чук утащился. Сходил к магазинщику-стажёрику, взял на свои рупь сорок девять такой же пузырёк. Иль я гол, как багор? Непобирайка я. Не

смахиваю крошки с чужого стола...

Мы долго молчим.

Мне странно слышать такое про отца моего друга Юрки Клыкова. С виду дядя как дядя. Самый идейный в районе. Комендант. Это с ним городская папаха развешивала в районе все плакатульки про коммунизм. Никому другому папаха не доверила важную работу, только ему, коменданту, доверила. Все перед ним с поклоном: Иван Лупыч! Иван Лупыч!! Иван Лупыч!!!

А как стемнело...

– Скажите, – спрашиваю я деду, – а почему коменданта за глаза зовут Комиссаром Чуком? И что значит Комиссар Чук?

– Тебе ловчей спросить у Юрки. Ты ж в тёмной дружбе<sup>43</sup> с ним бегаешь?

– Да вроде... А Вы боитесь этого Чука?

– Ежле скажу, что не боюсь – сбрешу. Ты знаешь, кто он?

– Не комендант же Кремля!

– Страшной. Ещё тот ксёндз...<sup>44</sup> С его слов так могут скрутить человека... Но лучше давай не будем про это... И у ночи есть уши...

Он помолчал и заговорил так, будто рассуждал сам с собой...

– Темна ночь не на век. А всё одно сидишь-сидишь, си-

---

<sup>43</sup> Тёмная дружба – о закадычных друзьях.

<sup>44</sup> Ксёндз – политработник в тюрьме.

дишь-сидишь... Чудится, полжизни сошло – утра всё нет как нет. Ино такая жуть сцопает за горло – репку в голос пой, а ты говоришь... Не водится тех трав, чтоб знать чужой нрав... Засел гвоздь в черепушке, домогаюсь проколупать, ну как это человек берёт то, чего не клал? Почему другой должон пойманную блудливую овечушку – грех не спрячешь в орех! – ставить на путь истины?.. А и то сказать, это не на собрании, где все хорошие стеной, миром на одного плохого. Тут вот она ночь, у плохого топор за поясом, а у тебя, у символного сторожа, ржавая берданка, патронов ни напозказ, пустые, без силы руки и страх-стыд во всю хребтину... Ну отчего это люди ещё вчера друзьяки, сегодня уже враги? Ты знаешь?

– Откуда...

– Почему про такое учебники не пишут?.. В школе такое проходят?.. Жизняра – узкая в ступню тропка. На ней всегда сбежится человек с человеком... Это гора с горой не состренется... И если человеки чуть-чуть не посторонятся разминуться-разойтись, жди беды... В ночь такая вдруг тоска свяжет по рукам-ногам... Плюнешь на всё... Не потому, что боюсь, что вот такой вот Комиссар Чук ахнет обушком по сухому котелку, не потому, что жаль кинуть бабку одну с семисынятами, а вовсе-то единственно потому, что не могу, не хочу больше смотреть на людские постылости. Ты вот все сложения-вычитания щёлкаешь, как семечки. Выведешь мне формулу человеческого паскудства?

– Что от этого изменится?

– Что-нить да изменится... Умей побороть неправое. Умей в себе кинуть на лопатки неправое. Сызмалу так пойдёшь – правильный ухватишь запев. Главное... Главное... Вытрави из себя страх... Бесноватая бандитская советщина вколотила его в каждого, как ввязала пупок. Я не сумел одолеть в себе страх... Малодушник... Противен себе... Тебе... Всем... Думаешь, не вижу, не чувствую? Одно-разодно осталось, хочешь жить – умей вертеться. Тьфу ты!

Деда с ожесточением сплюнул, брезгливо придавил пятой плевком.

– ... умей вер-теть-ся! – злорадно повторил деда.

В глухом, в прерывистом голосе дрожали обида, досада, что жизнь протекла по жилам чужой воли. Всё-то ему казалось, орлом налетал на неправое в себе, а на поверку отступал там, где надо наступать. Прятал кулаки там, где надо бить. Зажимал себе рот там, где надо было криком кричать.

– Не так отжита жизнь... Не так и совсем не та... Это-то и солоно сознавать...

Деда растанно покачал головой.

*Эмансипация доказала, что возможности человека ограничиваются не полом, а потолком.*

*Л. Замятин*

На угол выскочил Глеб.

Из тени дома погрозил мне кулаком из края в край.

– Сколько можно балду пинать? Ты до-олго ещё собираешься тянуть резину? Порвёшь! Солнце где? – Он ткнул на солнце, что укорно смотрело на нас с дедой с поверха ёлок, меж которых сумрачно лились пики штакетин. – Бежать на кукурузу! А он болтологию развёл! Тебя куда послали? За смертью?

– Уха-а!.. В арест ты попал, – шепчет мне деда. – Спасайсь бегом.

Ещё чего!

С нарочитой чинностью я вышагиваю наискосок вниз по бугру к нашему сараю. Без суеты, без срыва на панический бег. Пускай Глебуня чуток ещё покипит для разнообразия.

Я отпахнул щелястую лёгкую дверку.

Козы удивлённо уставились на меня.

– Извините, синьорки. Подъё-ём!

Никаких телодвижений! Сыро косятся. Но не думают вставать со своих лавок у стенок.

– Ка-ать... – Я погладил по лицу самую старую дерезу-по-

водырку. – Неохота подыматься? Разоспалась?

Катька выдохнула тепло мне в ковшик ладошки, потёрлась щекой об руку, заодно будто покивала точеными витыми рогами, похожими на живописные стоячие золотистые локоны, приуроненные назад. С кряхтеньем встала, томко потянулась.

Кепкой я обмахнул вымя, соски. Припал сбоку на пятки. Мне нравится её доить.

Другие горят тукнуть копытцем по руке: жаль отдавать молоко. А эта стоит себе и стоит, мало не прикрыла вислыми ушами спокойные жёлтые глаза. Часом гляну, подумаю, не спит ли стоя. Нет, не спит, когда-никогда втихомолочку переставится с затёкшей ноги на ногу, вязко стрельнёт большими старыми коленками.

Дойки у Катерины крупные. Молоко валит толсто, струя не в мизинец ли.

Но вот молока у неё остаётся с гулькину душу. Она сторожко ужимает, подбирает вымя. Сколько теперь его ни массируй, сколько ни подсаживай его снизу кулаком раз по разу, пустое всё то. Бережёт своему Бориске.

Я отставил бидончик к стенке из хвороста, обмазанной глиной и пухло утеплённой в осень папоротником, что прижат к стене палками наперекрест, свесился за перегородку в арестантскую к козлятам.

Вся пятёрка сучит-стучит передними копытцами по верхним жердинкам оградки, с плаксивым блянием на радостях



вертит хвостами, вроде они у них заводные. Толкотня, скло-ка, как у воробьёв на прясLINE. Всяк ловит горячими роза-ми губ мои пальцы. Поймает, пускается сосать взахлёб. Бед-ненькие! Ах как хочется молочка!

– Борь Борич... На старт... Ну-к... Пожалуйста поближе...

Я выуживаю его из арестантской бочки. Одной рукой та-щу за голову, другой подхватываю под пузичко – полохливое сердчишко разрывно настукивает мне прямо в ладонь, – пе-реваливаю через ограду и отпускаю.

Со стрекотом, с горячим рвением бросился он на лавку к матери. С разбегу не поймал сосок, промахнулся, лишь силь-но ткнулся головой в вымя и вывалился в простор меж зад-них кривых Катькиных ног со стоптанными копытцами, упал на грудку. Тотчас схватился. Со второго забега всё слилось как надо.

Я трогаю вымя, слышу пальцами: молоко упало книзу. К соскам.

Отдёрнул Борьку, зажал его ногами и снова доить. Сделал давка три – молоко обратно утягивается.

– Ка-ать, не хитри... Отдай ещё чутельку. Я пущу к тебе Борьку и отстану.

А что если?..

Ко мне пришла непохвальная мысль.

Я лёг спиной на чистую сухую лавку, взял один сосок гу-бами, соснул. Молоко радостно потекло в меня.

Такое соседство явно не грело Борьку. Он захлёбисто со-

сал и всё круче поворачивался ко мне боком, напористо ладился отжать, оттолкнуть меня, всё угарней обмахивался, вертел хвостом, как веером, перед самыми моими глазами.

– Эй, Борискин! Чё сквозняк нагоняешь? – ворчу я. – Простудёхать меня хочешь?

Он прытко продолжал сосать, будто не его и спрашивали.

Я плотно сдавил сосок повыше Борькина носа. Молоко обрезалось, перестало идти к нему.

Борька преграциозно всплыл на дыбошки, со всей моченьки жахнул меня по лбу и с криком отпрянул в грязь тёмного угла.

Меня удивил не удар, малосильный, забавный. Удивило, чего это кричал Борька? От боли?

Рожки у пузырька едва проклюнулись. Мягкие ещё совсем, как пластилиновые пуговики. А лобешник у меня всё ж таки, извините, чугунный. Не бывало никаких отметин от годовалых рогатых задир. А тут тебе кроха Борька!

В другой раз я б его ударишко расценил как весёлое приглашение побрухаться. Пал бы на четвереньки, отвёл бы душу, набодался бы всласть. Да сейчас лень матушка подыматься.

Век простоял Борька в гнилом углу – старшие братцы Митрофан с Глебом посадили сарай на близкую воду, один угол вечно был сырой, пух месивом, – постоял-постоял Борька в углу и ничего не выстоял.

Я выпустил сосок.

– Не дуйся. Твоего молока я не трону.

Пугливо таращится Борька на меня, исподтиха крадётся по стеночке к матери. В мгновение опускается перед ней на колени, припадает к соску.

И Катерине не въехал я во нрав. Она опасливо прядёт ногой, старается отогнать, откинуть меня. Но сама не убегает.

Скоро она устала пряхать ногой, подкорилась, мягко опустила разбитое копыто мне на грудь. Наверное, забыла, что я это я, принялась аккуратно ухорашивать сосущего Борьку. Выдирала из гладкой белой шёрстки, слизывала язвенными губами комочки репейника и прочую прилипчивую скверность.

Подсматривать негоже.

Я почувствовал себя неловко. Закрыв глаза.

Что-то доброе разлилось по всему телу.

Я боялся шелохнуться, боялся пролить то несказанное, чем наполнило меня увиденное.

Глухой плеск пастушьего кнута заставил меня очнуться. Я тихонько развёл веки. Надо мной мерно поднимался и опускался обширный рыжий живот Катерины. Всё так же стояла её задняя нога на моей груди. На эту ногу Катерина не опиралась. Длинной шёлковой бородой она гладила сынка по тоненькой спинке. Чудилось, вот-вот зазвенят колокольчиками её золотистые серёжки...

Всплески кнута летели с майдана.

Там собиралось, копилось стадо.

Я заторопился. Навспех подоил остальных коз, уляпал соски кизяком. Всё!

– Господа! Ваш выход! – зазвонисто кричу я козлятам и отдёргиваю фанерную заслонку.

Шныристые арестантики вывалились из клетухи комом. Эти от *груды* уже отсажены, поперёк их горячего желания сняты с молочного довольства. Они врассып кинулись к своим матерям сосать и тут же мячами отскакивали от них, брезгливо отплевывались. Теперь на попасе до самой ночи ни один архарушка не подойдёт, пока перед дойкой мама не подмоет соски тепловатой водой.

Привычно, деловито наш козий караван вытягивается ниткой из калитки в штaketнике вверх по крутогору к майдану. Как всегда впереди державно вышагивает тяжёлая Екатерина. Рядком сыто сыплет вприбежку Борька.

«Наша Екатеринка не номерная – не первая, не вторая, не третья, – а кормит и Борьку, и меня, и всю нашу семью, – хорошо думается мне. – Без коз мы, как мушки, перемёрли б в войну... Все в совхозе выжили благодаря козам... А вот бы хорошо... Кто поставит памятник козе? И когда?..»

Я не заметил, как Борька всплыл на дыбки и весьма чувствительно мазнул меня по колену. Ах ты, козёл-провокаатор!

Я пихнул бидончик за ёлку, с четверенек теперь сам ловлю Борьку лобешником. Он сердито пятится, дышит мне в лицо тёплым молоком.

– Послушайте, Борь Борич! В каких это Парижиках вас

обучали сомнительным светским замашкам? То хвостом лупите в сарае по лицу, то тайный налёт среди бела дня!.. Не стыдно?

Раза три мы стучаемся лбами от души, до брызга искр из глаз и летим догонять свой караванишко.

Был ранний час.

Посёлочек тоскливо уже отходил от ночи. К кринице пробегал народец с вёдрами. Где-то отбивали и точили тохи. На майдан провожали полусонных коз с козлятами.

Семнадцатилетний увалень Васька, беспризорный кудлатый *дворянин* с кукурузным ломтём и зелёной бутылкой молока в полотняной сумке на плече лучезарно принимал пополнение и ужасно сильно хлопал кнутом, приговаривал:

– Цоб-цобэ-э!.. Хто напоить сёгодня мэнэ?

Он лукавил. Он знал, кто напоит. Ходил он лишь за стол. По очереди кормился у всех хозяев коз. Где ел, там и спал. А если где не было прислонить голову, брёл ночевать к себе в брошенную людьми и Богом хижинку во дворе. Отсюда и прозвище *дворянин*.

Василий, гуляй-нога,<sup>45</sup> с бегу дурашливо хлопается на колени перед Катериной, обнимает её за щёки и звончато целует в губы:

– Мне-е не надо муки,

---

<sup>45</sup> Гуляй-нога – рубаха-парень.

Мне не надо пива.  
Меня милый поцалует –  
Всю неделю с-сыта!

Он сидит на кривых каблуках кирзовых сапог, влюбовинку держит удивлённую Катерину за уши.

– Пр-равильно я, Катюшка, пою? Пр-равильно!.. Нашу любовь и грозой не спалить! Вспомни, как мы су востре-лись... Вспомни, как ты очутилась у нас в районе... Всё, молчу, молчу... Не серчай, не серчай, что выдал наш секрет нечаем... Спеть я люблю. Только луп гляделами – дай-подай песню, как стопарик...

Василий осмотрелся.

На майдане было тесно от коз, как снегом набито. Он стянул кепку, поднёс к груди, галантно поклонился.

– Дорогая публика!.. Дорогие товарищи! Дорогие гражданки и дорогие ж подруженьки козушки и не мень дорогие друзья козлы! По вашим многотонным з-заявкам даём очередной внеочередной маленький утрешний концерт «Хорошенькое настроеньице». У честь Первого мая даём!

Он срывисто навалился на «Варяга».

Козы насторожку вскинули уши, предусмотрительно отошли.

– Не н<sup>\*</sup> равится?.. Шаляпина им!

Отгудел он лишь куплет и сам почувствовал, что не в охотку сегодня давать песняка про последний парад. Мы ж

почти полвека жили одними битвами с самими собой, жили одними победами, жили одними парадами и на́ – последний?!

– Нету вам Шаляпина, нетуньки вам и меня. Не буду я петь. Из прынцапа. Подозрением вы меня глубоко оскорбили и слегка унизили. Я вам, дорогие бабоньки, танцы-штанцы!.. Танец стареньких лебёдушек не жалаете? А вальсок? Пиночка, прошу!

Пинка не девушка. И не коза. А собака. Чёрная. Без хвоста. Без ушей. Одна на весь наш посёлочек.

Хвост и уши ей обрубил ради не только того, чтоб весила меньше и проворней была, но и злее. По-моему, лиши её и головы, она б всё равно ревностней не несла службу, всё равно б бегала ночами на свидания к Шарикю на четвёртый район. Ветреная кавалерка! На уме одни шурки-амурки. А избачи<sup>46</sup> тем часом умыкают из сараюх коз.

Пинке порядочно надоели все эти кражные охи. Со скуки она всё же ходит на очистку совести в подпасах у Василия.

Василий в поклоне берёт её за передние лапы – левая перебита, высохла, – кладёт к себе на плечи, туго обнимает и, басовито мыча «Амурские волны», начинает в кружение ерлашно подскакивать. Суровая Пинка загоревала. Все ж лапы козёл оттопчет!

Бородато-рогатая публика смотрит на них кто внимательно, кто лукаво, кто снисходительно-уступчиво, кто осуди-

---

<sup>46</sup> **Избач** – вор, живущий в сельской местности.

тельно.

Мычать, как и молчать, скоро становится Василию в тягость. Русская душа требует песенного выхода. Он обвально хватил про очи чёрные.

Голос у него явно не сличенковский.<sup>47</sup>

Зато по части огня кому угодно прикурить даст.

С закрытыми глазами он судорожно наглаживал высохшую собачью лапу у себя на плече, жался носом к носу оторопелой черноглазки и безразговорочно громово пел-требовал:

– Поц-целу-уй м-меня, не отравишься!

Пинка была благоразумна, не поддавалась на шальные проiski и исподволь, холодно-вежливо отстранялась.

Твёрдо, как столб, он стоял на своём:

– Поц-цалуй м-меня, потом я т-тебя,  
Потом вместе мы поцалуимси-и!

После тяжёлой, бешеной ночи с хулиганистым Шариком эта программа навевала на неё застуженную тоску. Она откровенно, так сильно зевнула, что треснуло в челюстях.

Василий был уязвлён в святых чувствах, зло смахнул с плеч лапы.

---

<sup>47</sup> **Николай Сличенко** – артист цыганского театра «Ромэн», популярный исполнитель песни «Очи чёрные».



– А ещё другом человека называешься. Знаем мы таких друзей. Одним зубом загрызут!

Козлиное любопытное кольцо разлилось.

Пинка похромала за Бочарову точно по своим утренним делам.

Василий великодушно резнул кнутом воздух.

Запел мутно, тягуче:

– На побывку е-едет

Ай-я-яй кар-рась.<sup>48</sup>

Грудь его в ракушках,

Мор-рда в си-ня-ках.

Пояснил трём козлам, что держались табунком и тупо плялились на него:

– По пути заскочил на огонёшек не то к чужой бабочке, не то не к своей к козочке. Разжился только синяками. Вот ситуёвина какая!

Наконец всё стадо в сборе.

Василий прыгнул на перевёрнутый чайный ящик.

– Подаю объявлению. Товарищи с друзьями! Наш праздничный концерт закончен. Спасибо за внимание. За работу, дорогие товарищи козлы и дорогуши козы!

И под весёлые выстрелы кнута покати́лась рогатая орда к лесному просёлку.

---

<sup>48</sup> **Карась** (морское) – молодой моряк.

# 10

*Интересно, сколько надо иметь денег, чтобы  
понять, что не в деньгах счастье?*

*М. Генин*

Проводил я коз, вернулся домой.

– А вот и пропаща душа! – сказала про меня мама Глебу.

Он разводил потухшую печку. – Ну шо ты там надоив? Воробью хватэ напытысь?

– Не хватит, так ещё останется и агроному и нам!

– А на продажь сѣдни не нести, – кивнула мама на стену, за которой по ту сторону дома жил агроном. – Агроном вчора к своим в те Ланчхуты уихав... На праздник отбыл Илюша со своей Гоголой.

– Ур-ря-я-а! – поднял я бидончик.

– Ура-то ура, да в кармане дыра... На хлеб капиталу осталось дни на три...

– Донесение ночной бухгалтерии! – фыркнул я. – На три... Любите вы, ма, сжимать краски.

– Фу ты, хлопче! Послухай тебя, так насажешь – в шапку не сберешь... Не веришь, так ото бери разводи те краски сам как знаешь. А я не знаю. Да поперва заглянь, е ли шо разводить?

Мама подняла сердитые глаза на стенку, на свою в рамке увеличенную карточку с отцом, на последнюю предвоенную

карточку, за которой во все веки, как я себя помню, спелёна-то спал платочек с рублями, с трёшками, с пятёрками. Деньги никогда не прятались, не ховались.

– На ваших всё на видах, – глуше заговорила мама. – Не протанцовала я их, не пропила, як той Комиссар Чук.

И тут Комиссар с Чуком!

– Ма, – говорю, – а почему за глаза так зовут Юркина отца?

– Как зовут, так и зовут... Я-то шо? Я как все...

– Вы побольше жили... Лучше знаете... Что он за человек? Хороший?

– Разный... Мотыга...<sup>49</sup> Воровитый трохи... На первом, когда переезжали... Когда мы переезжали на пятый, дрова свои сразу не взяли. В одну арбу разве всё собьёшь? А прибежали наутро... Нема... Стороной доплескалось до мэнэ, он у нас дрова покрал... Глебка с Митькой, пацанюки малые, готовили, готовили всю осень, а он в одну ночь и перетаци к себе.

– А Вы ему говорили?

– А как скажешь? Я ж его за руку не споймала... А люди стукнули верные...

– Тогда, может, я скажу ему?

Мама в испуге замахала на меня обеими руками:

– Иди ты!.. Шо, через десять годив те дрова вёрнешь? Дрова давно сгорели в печке... Об чём шуршать?

---

<sup>49</sup> Мотыга – ветреный человек.

– О совести... У детей спיוнерить!

– Не смеши... Захотел совести в наше время...

– А может, мне с Юрчиком его расплеваться?

– Не падай в глупость!.. На одной парте отучили совхозную школу. Со всего района тилько двое, ты да он, побежали в девятыы классы в город... Шо ж теперь, разными дорогами бегать в одну школу? Другой русской школы в городе нема. Или, можэ, один класс разгородить на два? Не мели чего здря... Как товаришувалы, так и товаришуйте... Всэ затишной будет... В кружку не без душку... Надо терпеть...

– А зачем терпеть? Кто такой этот Чук?

– Комиссар... – еле слышно и как-то пугливо проговорила мама.

– Ма! – дурашливо выкрикнул Глеб. – А мы не были кулаками?

– Кулаки... Дураки мы были! Разбольшые дураки! – сердито выкрикнула мама. – А не какие там кулацогы... раскулачики... Чтоб я большь никогда не слыхала про ваших кулаков-дураков! Чего какие-то там дурости пересевать?!

И тут же, не останавливаясь, не давая нам с Глебом опомниться, торопливо заговорила про своё прежнее, отгоняя своими словами в сторону нечаянный разговор про кулаков.

– Я ни копыа не прогуляла, як той ваш Комиссар Чук. В получку натащэ конхвет, печенья, винца. Три дни пир горбом, не просыхають. Сам Комиссар не выползае из совхоз-

ной реанимации...<sup>50</sup> А на четвёртый бегут побираться по соседям на пустой хлеб до свежей получки. Чёрт ма шо в рот пихнуть!.. Я ж и копыа за жизнь не прогуляла...

– А кто Вам хоть слово про гулянки?

– А чего ж ото тогда сакуриться?<sup>51</sup>

– Какие-то подозрения путаете сюда... Придумаете!

– А чего его придумывать?.. Ночь лежу, сна не складу...

Муки навспрашки<sup>52</sup> осталось коту глаза запорошить. А потом... Сёдни уже первое. За май за коз аж кричит отдай. Хоть Васька откажется брать, но *через* надо отдать. Внавязку. Как за работу не платить пастуху-сироте?.. За квартиру отдай... За свет отдай... А Митька? Бедолага... Как он в том Усть-Лабинске? В чужом городе один! Кругом один, как кочка в поле... Как ни круто, а терпи, козаче. Терпи один... Не сведи Господь съякшаться с урками... Тамочки, в техникуме, суседей нэма. Копейку вперехват не займёшь, как у Семисыновых... Ну как не вышлешь Митьке?... Скико ж треба тех чертей рубляков! Ты за тем рубчиком по плантации день в день не с корзинкой на боку, так с лопатой в руках внадрыв на копке гонишься. А он от тебя на аэроплане! Да ещё зубы скалит!.. Правду тато говорили – денюжки с крылами, летают... Что ж нам делать, хлопцы? Как на ваши глаза?

Я скромно пожал плечами.

---

<sup>50</sup> **Реанимация** – пивная.

<sup>51</sup> **Сакуриться** – подозревать, дуться.

<sup>52</sup> **Навспрашки** – на самом деле.

Глебуня смело пошёл дальше.

– А я, – сказал, – почём знаю!

– Так вот, Глеб... Выдул в коломенску версту. От батька уже на всю голову выше. А всё почём знаю. Оно, парубоче, великой грех разве будэ, если станешь кой-что трошки и знать, свою думку держать? Взрослые, оба-два взрослые... Не с вами, так с кем и ссоветоваться мне?

Глеб продолжал дуть в печку и попутно задумался. Кажется, даже основательно.

Но пока мямля разуется, расторопный выпарится.

Я поднял в молчании палец, показал на чердак, где висела на жердинах и лежала внакатку кукуруза в кочанах. Весь наш золотой запас.

Глеб, багровый от усердно-злого и напрасного старания, с каким он дул, стоя на коленях, на сырые ольховые гнилуши, что нудно сипели, чадили, но ни под каким видом всё не брались пламенем, бросил на меня быстрый досадливый взгляд. Эха, выхваляка! Грош за подсказку тебе, может, и мало, а два дать наверняка много. Ну да ладно, поддержу!

– Снимать надо, – пояснил он мой жест.

– Пускай и так, – согласилась мама. – Вечером, кто жив будэ, снимем с горища. Налущим... Взавтре... може, днём потом Антоха посля школы снесёт на мельницу к Теброне пуда с два. Это нам самим... А в воскресенье, Глебочка, напару с тобой, удвох уже нам бежать на базарь. На продажь. Кукурузу в зерне потащим...

Глебулеску сияет в печку масляным блином. В воскресенье на базар! На базарище!..

Базарить братуну нравится.

Особенно нравится продавать муку. Мама доверяет ему вешать, сама принимает денежки-шелестелки. Это разделение труда у них узаконено. Никаких отклонений.

Под случай мама не нахвалится им. Глебуша, говорит, человек правильный. Не человек, а ума ком. Грамотный. Гарно, говорит, разбирается в тех распроклятых гирьках. Большой спецок по гирькам.

Маме гирьки кажутся все на одно лицо, на один вес, и отбеги куда на шаг Глеб и подступись тут кто купить, потеряется, вскраснеет вся. Разгромленно смотрит на гири. А какая из них какая не скажет. Не знает, какую на весы кинуть. Вконец сгорая со стыда, покаянно вывалит покупищице всю правдушку про путанку в гирях, повинно навалится расхаивать себя.

Вся жизнь уже просказана, а Глеба всё нету и нету. Махнёт рукой. Пан или пропал!

– Становьте, бабо, – говорит, – на весы сами, скоко вам треба. Я насыплю на другу чашку муки. Ото, гляди, мы и разойдёмся с вами.

Один сухонький дедок в дорогом котелке, при такой же дорогой тросточке, видать, из учёных подтёрся было просветить. Показал, где какая гиря.

– Мне, – толкует, – нужен килограмм муки. На прилавке

перед вами среди прочих особ присутствует и важная госпожа килограммовая гиря. Ну, где она? Какая? Она ведь на вас смотрит.

Мама сурово смотрела-смотрела на те чумазые гири и выговорила. Как в лужу ахнула.

– Я вам точно и не сбрешу, где та килограммка. Туточки их полна шайка! Они, паразитки, все на меня бессовестно вылупились!

Стерильный старчик был шокирован столь грубым откровением.

После той учёбы мама и вовсе стала бояться, как сумасшедшего огня, всякого, кто подходил, будь он только дорого, нарядно разодет, как не выражается простая наша косточка. Завидит, что форсун правится к ней, отвернётся от своего клунка, ломает вид, что то вовсе и не её мука и она тут сбоку напёка, а то и совсем, если можно выйти из-за прилавка, выдёргивалась в сторонку, отжидала, пока фуфырь не возьмёт у других.

В Глебе мама ценила не только знание гирь.

За прилавком, на людях, говорила, Глебушка наш не такой абы какой. В обращении дядько зимованный, не тяп-ляп. Не то что Полька. Обходительный, мягкий, разговористый. Знает, какое слово к какому прилепить. Приценится кто, Глеба как-то так в ответ скажет, что тот вроде и расхотел, разохся брать, раз мука кусается, хоть и просит Глеба не дороже соседа; впотаях почему-то покупатель вздохнёт –



кругом такой обдирон! – но с пустом не унырнёт назад в толпу.

Вешал Глеб аккуратно, точно. Уж грамма лишнего не перепустит в чужие руки, не кинет за спасибо лишний щепотки. Дуриком-то самому что-нибудь бежит? Так чего ж за дешево сдавать? Разве в роскошь чужую копейку зовёшь?

Глеб знай вешал. Мятые, тёртые шуршалки в дрожи шли к маме. Каждый молотил свою скирду.

Наши всегда первые распродали.

Такой вот у Глеба ловкий талант...

– Ну, так что, хозяйева? – благодарно усмехается мама. – Совещанка покончилась наша? Поко-ончилась... Пора вступить в дело. Уже и без того поздно. Мы так... Вы зараз в садок, накидайте перегнуою в мешки...

– Тпру-у! – тормознул я. – Насколько я знаю, мешки сами не пойдут. Живая душа калачика просит... Калачика не калачика... Хоть чего-нибудь? А?

Закатив глаза и жестикулируя, вкрадчиво запел Глеб:

– Отвари-и потихоньку калитку-у...

– Да на черта мне твоя *отварная* калитка?! – на нервах крикнул я. – Мне чего посущественней!

– Ну напейся свежей воды, – буркнула мама.

– И на свежую, ма, вроде не тянет... Посущественней бы...

– Он ще харчами перебирае! Голодный був бы, не перебирал. Завтрик дома – канитель довга. Можь, картох в шинелях сварить? Глеб любит, шоб твердувати булы. Надсырь. Ага ж?

– Не пойдётъ, – дал отмашку Глеб. – До обеда тут расслаживаться?

– Тогда саме лучше, – сказала мама, – вы идите. Я сготовлю шо на живу руку, принесу на огород. Так оно верней будэ.

– *Единогласно!* – Глеб поднял сиплую, плакучую чурочку, тут же воткнул её снова в недра печки.

Затем он плесканул керосина на кисло тлевшие дрова.

Пламя вдруг обняло их. Печка надсадно ахнула, выбросила на мгновение пламя наружу по верху дверцы – язычок показала! – и плотоядно заворчала, загудела, застонала, захукала, будто с мороза согривалась.

*Учись у курских соловьев: поют без нот, а не сбиваются.*

*А. Распевин*

За сараем, в садке, обнесённом стоячим грабовым плетнём, цвели три яблони, словно кто облил их молоком. Со стороны яблони похожи на огромные белые букеты.

В начале декабря, под первые сиротские холода, Глеб сам развешивал по стволам пучки чернокорня. Его запах не выносят ни мыши, ни крысы, и какой голод ни придави, не заставит их грызть деревья.

И вот зима отжилась, чернокорень уберёт яблони.

Довольный Глеб проворно сдёрнул с веток остатки пучков в кучу, подложил комком газету, чиркнул по коробку спичкой.

В костёр он ладит и прошлогодние помидорные кусты, и сухой навоз, и ворох ломких листьев махорки.

– Ты б лунки под огурцы покопал, – говорит Глеб.

Но мне неохота кувыркаться с дурацкими лунками.

Сел я на лопату, смотрю, как дым до того густой, хоть шашкой наотмашь руби и куски складывай в штабеля, плотно задёргивает деревья, цепляется, запутывается в кроне. Кажется, дым потерял всякую надежду выбраться из ветвей, пристыл в них, недвижно стоит облачками.

Глеб водрузил кулак на кулак. Вот тебе подзорная труба. Приставил к глазу, изучает сизое от махорки облачко.

– Как самочувствие, граждане поганкины? Наддать махорочки? На н-надо? Говорите, и так чихаете? Будьте здо-ровы!

– Живите богато! – ехидно, в тон подпел я Глебу в спину. Он повернулся на мои слова.

– Чего расселся, Нестор-летописец? Зад сотрёшь!

Я вёл дневник. Знал про это один Глеб. В насмешку величал он меня Нестором-летописцем. В прошлом, когда в газете «Молодой сталинец» выскочила первая моя заметка, весь посёлочек перехватил у братца моё прозвище. Теперь я всем Несторка.

– Сидит фон барон... – ворчит Глеб. – Вот те раз!

– Вот те два...

– Кто за тебя копать станет?

– Может, Александр Сергеича попросим?..

– Ну-ну... Тогда придётся мне... Я хотел что... Главное, не забывай опрыскивать яблони полынной настойкой. Всякая вредительская шелупонь мёртвым дождём тогда и сольётся. Вызреет яблочко в яблочко, мало не в два кулака каждое. Во-он прошлый год вспомни. Что? Не так?

– Та-ак...

– То-то и оно-то! А ты... Признайся, Несторыч, пока я странничал... – Глеб длинно посмотрел на дальнюю макушку с куполом в вечном снегу, отчего меловой лоб горы мато-

во блестел на солнце, тепло подержал взгляд на той громадине, за которой где-то под самой границей цвели, жили не тужили приманчивые, загадочно-дивные Кобулеты. – Признайся, хоть подумал опрыскать яблони?

– Подумать успел... И даже насёк полыни... А залить уже руки не дошли...

– А ноги?.. Ну и работничек на бис! Сидя до чего дойдёшь? Сиденьем чё ухватишь?

– Не кипи, Глебулеску. Я капельку наплёл... Разыграл тебя... Яблоньки твои я вовремя опрыскал. Так что глубоко не переживай...

– Это уже дело! А теперь давай-ка дуй за водой. Вон бадейка. Наноси во все баночки, во все корытца. Да и не помещает полить грядки с луком, с морковкой... Последним рейсом тащи вровне с краями. Оставим в бадейке стоять. Чтoб не рассыхалась сама бадейка. Ну живей! Одна нога здесь, другая у родника!

Как много он от меня хочет. Как много...

Чуть ли не на сиделке духом слетаю я за дорóгой в яр под каштанами. Зато в обрат, наверх, выдираться с водой по круче муторно, смерть.

Мотаюсь я маятником от тика до така. Тик – садок. Так – криница. Тик – так... Тик – так... Тик – так... Угарно поспеваю протаранить меж ними полную бадейку.

Ухлестал все ноги, скачу босиком.

Туда – сюда.

Туда – сюда...

Одному скучно. За мной увязалась семисыновская прибаска про то, что много ног под столом, а по домам пойдут – все разбредутся. Прибаска катается у меня на языке, леновато потягивается...

Рядом с птичьими домками поразвесили мы на бечёвочках на ёлках перед сараем, на яблонях в садке консервные банки для воды. Тот же стриж гоняется за букашками для своей малышни, наворачивает в день под тыщу километров. Или мухоловка-пеструшка. С утра до вечера пятьсот шестьдесят раз кормит пищаликов. Устают птахи. Пить дай-подай. И где-то искать не надо. Вот она, водичка!

Только лазить с той водой в консервной банке по ёлкам особенно не впечатляет. Зачерпнёшь полно из бадейки, верёвочку в руку и втихую – не расплескать бы – вверх. Иса-рапал всё лицо, все руки.

А разливать по баночкам в заборе на ровно срезанных кольях почтенного таланта не требуется.

Наконец все посудины полным-полны.

Я пристраиваюсь к Глебу докапывать лунки под огурцы.

Может, мне показалось, только птиц в садке сразу как-то подбошло. Тесней, слышней их разговоры меж собой, слышней тугой лёт над нами.

– Смотри, – Глеб тишком толкнул меня локтем, показал в угол сада. – У тебя, думец, воробьи год не поены?

С бортика корытца не раздольней калоши вертлявый во-

робка – в такого и в ступе пестом не угодишь – жадобно и пьёт и хлебает воду.

Насадился, подобрел. Зырк, зырк вокруг, так, на всякий случай и вместе с тем настороже. И только скок на щепку. Щепка култыхнулась. Верхом одного края ушла под воду, холод которой и страх перед которой подожгли взлететь. Он вкоротке взмахнул, сел на выровненную на воде щепку. Щепка медленно плыла.

Через секунду Андрей-воробей снова подпрыгнул, хотя ему ничто не угрожало, плюхнулся на хвост щепки. Нос у неё задрался, набавилась скорость.

Мы с Глебом до неприличности распахнули рты. Впервые ж видели, как нахалёнок воробей катался на щепке-лодочке!

Воробьево хождение за три моря обломилось неожиданно, как и началось. Щепка тупо уткнулась в бортик. Оттолкнуться капитан дальнего плавания не догадался, а может, не хотел. Прямо с бортика дважды на красоту окунулся, отряхнулся, рассыпал весёлые брызги и порх на плетень сохнуть на солнышке. После бани у воробьёв не подають простыни. Наверное, не принято.

Воробьиная куча серой шубой прожгла над нами.

Глеб проводил стаю довольными глазами. Его ж это хлопотами живут птахи лето-зиму в садке, не дают пакостничать вредителям.

Садок наш всего-то с гулюшкин нос. Тесен. Сжат огородами Половинкиных. Сверху – Ивана и отца его, снизу –

Алексея. У нас с десяток шагов поперёк, с сотенку вдоль.

У входа холмок перегноя из сарая – примыкал к садку.

– Держи!

Глеб кинул мне мешок.

Хватил он от кучи лопату навоза, опускает мне в чувал осторожно. Будто на лопате червонное золото.

– Как думаешь, чем пахнет? – Он гордовато разминает на ладони тёплый чёрный комочек, бережливо подносит к лицу. Длинно вдыхает. – Так чем?

– Французскими духами.

– Жизнью, дураха! – Он стряхнул с ладони в мешок, пустил влюбленный взгляд по углу, где на палец от земли круто уже зеленели помидорки, гвоздистые стрелки лука. – Жизнью! Без навоза они очень бы старались расти? Господин Навоз и у товарища Бога крадёт!

– Жизнь имеет запах? Сказульки... Жизнь тропы, облака, ветринки, дерева?

– И листика любого, пока не умер, пока не высох. Вот я слышу, – Глеб поднёс запястье к носу, – как пахнет жизнью моя рука. А перестань на ней вздрагивать пульс, я больше ничего не услышу. Жизнь всякого существа имеет запах. Только люди ленивы, а потому и не нашли названия?

– Зато есть название перпетуум-мобиле. Но где сам вечный двигатель? – к чему-то заволновался я.

– Ну ты так сильно не убивайся. Один умный уже доложил, что «вечные двигатели существуют, но они постоян-



но барахлят». Слу-ушай... А если без хаханек... Что мне в башку влезло!.. Сам человек разве не вечный двигатель? Конечно, человек как таковой смертен. А род человеческий? И слепляют человечество единички... Мать, отец, ты, Митяй, деда, я... Поодиночке, чики-брики, мы такая мелизна... А скопом все мы уже Ильи Муромцы... Скопом мы вечная и великая Русь... В гигантской машине по имени Человечество каждый человечешко – это ж такой пустяк, это ж такая мелочинка... Но незаменимая!

– У-тю-тю-тю-тю!.. Что наш пан Глебиан знает!

– Конечно, без человека Земля не остановится. Но что станет с Жизнью на ней? Пускай жизнь человека в сравнении с вечностью – миг. Как муравей в банке, мечется человек в своей жизни, растит детей, смену себе. Угорел – делу подпихнул плечо сын. Пал сын – внук... Народ снопиками валится – житуха знай бежит. Катит её дальше Человек-Человечество, вечный работёр, вечный живой двигатель.

– Му-удро... Ох и му-удро, братка, крутишь динаму... В честь Первомае рапортуй о своём открытии на уроке физики... Намекни, как бы там патентишко...

– Я похож на шизика первой гильдии?

– Первой? Вряд ли... Это тебя колышет?

– А нисколечко. Но и не согревает... Не облагораживает... Эшь, печаль... – Глеб иронично взглянул на свой бочковатый мешок с навозом. – Сейчас вот пудиков пять этой жизни протащишь... Сколько у нас до огорода? Километра в

три втолкаешь? Пускай и все четыре. Наши все. Ни на палец нам ту дороженьку никто не срежет... Не убавит... Помнишь загадку про дорогу? Лежит Дороня, никто его не хороня, а встанет – до неба достанет. До неба!.. Пропрёшь без передышки – глаза на лоб. Пот с тебя по всем желобкам. Умоешься пóтом, сразу благородства в лице набавится... Ну-к, подержь. Дай завяжу.

Я сжал обеими руками хохолок.

Глеб схватил его ботиночным шнурком. Заарканил за компанию и мизинец мой.

– Э-э!

– Не подставляйся.

Я выдернул мизинец из плена. Поплевал на красноту.

– Шкварчит? Как сало на сковородке?

– Не-е... Тише...

– Ну и пор-рядок в танковых частях!

Глеб сел на пятки, припал спиной к мешку, обстоятельно поплевал в кулаки, растёр, смертно вцепился в хохолок и натужился, поволок гору на себя, клоня всё ниже лицо к земле. Уёмистый чувалище грузно пополз вверх по спине.

Потихоньку Глеб стал подыматься с колен; выставленная вперёд нога соскользнула с горбатой шинной подошвы чуни. Мешок вырвался из рук, тумбой кувыркнулся наперёд через голову, и Глеб ткнулся в него лбом.

– Давай помогу? А?.. – растерянно бормотнул я.

– Сопли вытри, помощничек!

Со зла он побелел. Последнее дело для него показаться кому слабачком из трёх лучинок.

– Эти проклятухи ещё крутятся!

Глеб свирепо размахнулся ногой. Чуня описала дугу, шмякнулась на грядку, похожую на зелёную щётку из молодых упругих копьешек лука. Сшарахнул и другую чуню. Потом не спеша закатал до колен брезентовые штаны, с особой тщательностью, с каким-то звероватым усердием расправляя каждый новый заворот.

Не знаю, что там было вытирать, пота не было на лице, но Глеб таки провёл картузной изнанкой по низу лица, провёл скорее разве по привычке, что делал в конце долгого пути с тошной, с погибельной ношей: то ли с мукой, то ли с вязанкой дров, то ли с навозом, то ли с мешком огородины, и впрямь налитым свинцом, когда пот горячо заливал всего. Глеб еле дотаскивал до места ношу, падал-садился верхом на свой груз в отместку. Вот катался ты на мне, посижу и я на тебе напоследок!.. И надорванно собирал, промокал картузной саржей пот со лба, с подбородка, со щёк сухощавых, – был он всегда худышка.

Глеб протянул картузной подкладкой по лицу, нахлобучил картуз задом наперёд до самых бровок, вальнул у мешка на пятки. После лихой заворошки – а пусто чтоб ей! – всё лепи наново.

Я видел, как разом, вдруг вспухла, разлилась синева вен на голых братниных ногах, когда подымался он с колен. Под-

няться поднялся, но не устоял. Повело его по сторонам тяжёстью.

Глеба подкорливо повиновался ей. Отскочил шага на три вбок, притих в только что вскопанном приствольном кругу. Невесть откуда поднялись-таки в нём силы утвердиться на месте. Он остановился, дрожа всем телом. Мягкая, податливая земля чёрными была фонтанчиками меж пальцами, тут же рассыпалась, прикрывала сами пальцы, пологий верх ступней.

– Где ты там, помощничек-с!? Подмог бы! А!? Али кашки мало ку-ша-ли-с?!

Из-под глыбистого мешка Глебу не поднять головы, совсем не видать его лица. Слышен один голос ядовито-насмешливый, торжествующий, просветлённый.

Он ликовал, праздновал над собой победу. Пускай то была и ахова победишка. А как ни крутни, победа ж. Победа! Победа над собой, над тем собой, кто ещё минуту назад падал под навозом. Теперь он не тот, сражённый, расшибленный. Он совсем новый, вот этот, кто взял верх над собой, кто прыгал в восторге с чёрным утёсом на плечишках.

– Оба-на!.. Вот! От! О!.. – Глеб задрал левую ногу в сторону, стоит на одной. Коронный номер. – Ну что?! А?! Не слышу... И сказать нечего?.. Ё-ё-ё! Мы ещё по-мо-та-ем чапаевской шашулечкой!

Охмелело Глеб брызнул к калитке.

– За мной, летописка-писка!

Я едва успеваю, хотя и положил он мне куда меньше, чем я донесу. Жалееет.

А хорошенько подумай, так та жалость колко, с издёвкой мне в обиду пущена. Что я, увечный какой? Каличка? Кинул ни две ни полторы лопаты как напоказ и ступай. Достанет с тебя. Да взгляд ещё внабавку с ухмылочкой. Не надорвись, не наживи килы!

Я вижу, как и без того быстрый Глеб с ходкого шага сваливается с огорка на бег, сваливается не своей волей. Ярая, неодолимая власть ноши разогнала так, что он несётся – только шишки веют. Клейкие крючковатые тунговые ветки ловят-хлопают его по рукам, что держали над головой чёрный мешок, по груди, по животу, по ногам.

– Глебу-ушка-а-а-а!.. – в безотчётном страхе ору я. – Глебу-у-у-ушка-а-а!..

Он чуть повернулся на зов. Теперь несколько боком скачет на одинокую в возрасте уже высокую ёлку со срезанной молнией верхушкой. Без головы осталась. Поплатилась за своё же глупое любопытство. Зачем так беспутно, так бесшабашно выбежала на шаг из ровного строя дерев, что стояли в карауле вдоль стёжки, и замерла у самого корытца тропинки? Что интересного увидала в том корытце?

Со всего лёту бухнулся Глеб мешком в эту крепкую дурочку и присох. Слава Богу, никто не упал. Ни она, ни он.

Я не знаю, что делать. Подойти? Пойти в свидетели его разгрома? К чему? К чему внапрасно дёргать его гордыньку?

Пока я рассуждал, ноги сами отбежали за ближний семисыновский сарай. Возле утки встакались на погоду. Одна уточка охорашивалась перед зеркальцем у селезня. На то у селезня и зеркальце, чтоб утки гляделись. Тушистый селезень-чевошник важно переговаривался с уточкой-такалкой и всё норовил поудобней подставить ненаглядке своё зеркальце.

Я коротко высунулся из-за угла раз, высунулся два.

Ждал...

Наконец Глеб отдышался, передохнул стоя и медленно посыпал вниз.

Наверное, шире Баб-эль-Мандебского пролива улыбнулся я и стриганул вдогон.

На просёлке, куда мы вышли, пыли по щиколотку.

Со вчерашнего пыль ещё тепла.

Топаю след в след. Так не отстанешь, пускай шаг у Глеба и гулливеровский. А потом, у меня привычка ходить по чужим следам. Я ныряю в ясные, в глубокие Глебовы следы, то и дело оборачиваюсь, вижу, как красивые картинки превращаются в уродиков, застывают очерками моих босых ног с долгими царапинами по пыли больших пальцев.

Странно... Худо-бедно, а вёл человек дело, клал свой след. Вражина просвистел – дело поблёлкло, следы-загляденье умерли. Как сейчас?

«Пускай, – шепчет мне голос из-за спины, сверху, – у этих следов на пыли жизнь короче воробьиного носа. Зато это т в

о и следы остаются. Т в о и! Зыбкие, недолговечные, хлюпкие. Но т в о и! Дорожи ими. Всякому своё не мыто, да бело».

Пыль горько засмеялась:

«Небо, не болтай болтушку. Хорошо тебе сверху пальчиком водить. Извини, ты не ведаешь жизни на земле. А спустишься, ляг рядышком со мной... Пускай тебя хоть денёк потопчут... И ты увидишь... Любые следы на пыли может смехом замести самая размалая плюгавка... Юноша, всё в жизни руби напрочь, нерушимо. Следы клади не пыльные – стальные!»

Полдороги назад уже?

Почему мы не падали отдыхать?..

Не останавливались вовсе не потому, что не устали. Устали мы оба. Глеб устал сильнее моего. А... Положи он мешок наземь, так ни за какие миллионы не поднимет же снова. Знает это он. Знаю это я. Как липнуть с привалом?

Шатаемся мы молча. Не тратим силы на слова.

Я катаю мешок по спине. Только от этого ни каплюхи не легчает.

Навалилась минута, когда...

Все же последний я дохляк. Пыхтел, пыхтел, так и не сдвинул очугунелый мешок с левого плеча на правое.

Левое плечо туго налилось болью, занемело.

Я стерпелся с болью, еле ползу. Слабо дёрнул книзу головой, хотел сбить пот с лица и отчётливо увидел, как отваливается моё левое плечо. Плавно, леновато, будто в замедлен-

ном кино, оно падает, раз-другой переворачивается, рассыпается мелкой пылью.

Мне сразу стало легко-легко. Неужели всё зло не в мешке? Неужели так тяжело было тащить именно левое плечо?

Золотая пыль из-под ног слилась в просторное царское кресло, и вот я уже сижу-лечу на нём. Вскинутый указательный палец обвила голубая лента. Смотрю, одаль, на конце её, – мой мешок, похожий на красный детский шар. Весело насвистывает следом.

Всё б ладно, да порядком уже отстал я от Глеба. А тот и рад навывкладку стараться. Чёртовым метеором в обнимку с вихрем уносится за поворот. Ну и смазывай пятки! Не подумаю догонять... Надо мне... Позарез как надо...

Я поднял глаза.

Одинокое нарядное облачко печалилось в вышине.

«Донеси, мой Боженька... Чего б тебе не выручить?»

Облачко с поклоном легло к ногам.

Ничком вальнулся я на него...

– Ты что, мухарик?

Через силу я никак не пойму, почему я лежу, почему Глеб, придерживая одной рукой мешок, в дрожи трясёт меня другой за плечо.

– Давай руку... Прошло?

Я деревянно разглядываю, как скатываются с его расплётённого лица горошины пота. Что случилось? Со мной был



обморок? Был?..

– Так прошло? – всполошённо допытывается он.

– А куда денется? – шёпотом вытягиваю я из себя слова. –

Пройдёт...

– Понесёшь?

– Ага.

– Бери за чубчик. Я поддам.

Он наклонился.

Подхватил одной рукой мешок снизу за гузырь, за угол.

Впритрудь, насилу, подтолкнул мне на спину.

И снова след в след...

След в след...

След в след...

## 12

*Звезды не нуждаются, чтобы их перевозносили  
до небес.*

*Э. Кроткий*

– Хэ-хэ-хэ! Прибыли-с! – воскликнул Глеб, молчавший всю дорогу.

Задавалисто хватил враспев:

– Пр-рялицу в подвалицу-у,  
А с-сама бух в пух!

Он блаженненько разнёс в стороны полусогнутые руки – поклажа не падала, приросла к плечам! – и, присев, рухнул спиной на свой же беременный мешок с навозом, который еле припёр на огород, рухнул с закрытыми глазами, всем довольный, ко всему безразличный, чужой, как мертвец.

Я рядом сел уточкой. Тихо, незаметно.

Солнце пекло, что тебе в июле.

Кивком головы намахнул я кепку на самый нос.

Отпыхиваемся, приходим в себя.

Мы почти на верху блаженства.

Я смотрю окрест. Зуд подкусывает меня похвалиться.

В этом кусте наш огородишко лучший. Без дураков. Кукурузка в два человеческих роста. Не всякая здоровая Федора дура. Стебельки потолще моей руки. На каждом стволе по два кочана. С них за милую душу с полкило сухого зерна

налушишь. А если таким початком с горячих глаз кого по кумполу тукнуть, силу удара смело приравнивай к удару палицей.

В нашей кукурузе немудрено потеряться.

Однажды в ней приبلудный буйвол столовался дня три. Оно-то лестно, что зверюга принял огород за дремучие джунгли, только нам от этого чистый урон. Сколько поворачивал кукурузы с корнем! Потом я таскал колышки от урёмы, подвязывал к ним стебли кугой.

Забреди в нашу сторону незнакомец, млеет от восторга.

– И скажите на милость, как величают этого чудного хозяина? – спросил один меня. Я как раз окучивал.

– Какой там хозяин, – отвечаю. – Так. Два соплюка. «В соплях ещё путаются».

Он страшно сконфузился, когда увидел за межой огород Алешки Половинкина. Того самого, что утром клялся жене, будто нынче ночь протакал со стариком Семисыновым у ворот.

Да если я заткну все дыры в себе да честно дуну – с корнем выдую всю его огородину. Кукурузины-карлуши. Жёлтые, тонюсенькие. Без ветра шатаются-хнычут...

... Как-то после занятий обламывал я на кабаковых плетях лишние ответки. Не то вся сила дуриком ульётся в ботву.

Выше макушки надоела мне школа, еле перетёр шесть каторжных уроков. Отобедал ломтем хлеба (макал в соль и за-

пивал водичкой) и бегом на огородишко. Дышу честно-благородно свежим воздухом и делаю попутно своё дело.

Вдруг на горизонте оттопырился панок Половинкин. С тохой. Чин чинарём. Набежал тохать кукурузу. Кукуруза и трава у него одного роста. По пупок. Тохать край надо.

Но нет. Алешка потянулся, хлоп в траву и пропал. Черенок в головы, выкинул ножку на ножку. Как белый флажок. Над травой забелел лишь нос босой ступни. Крутит ножкой, духоподъёмненько отсвистывает «Коробейников».

И накликал себе беду.

Откуда ни возьмись Василина. Вовки Слепкова матуня. Вовик со мной в прошлом мае дождал насакиральскую школенцию, счалил куда-то к бабушке под Белгород.

Василина отчаянно величественна, монументальна. На ней платье с декольте на двенадцать персон. Любая ножка у неё, простите, ничуть не тоньше любой колонны Большого театра. А что грудь – бесценное достояние Руси! – так изваяна для орденов, для подвигов, для славы. Такой грудью за просто можно взвод заслонить.

Увиделись они с Алёшиком – стриганули друг к дружке навстречу. Коротенький вертлявчик с разбегу завис у неё на гренадерской шее и висит. Я сравнил увиденную картину с теми эпизодами в фильмах, когда наша совхозная публика свистит и топает, и пришёл *единогласно* к заключению, что они аморальщики. Це-лу-ют-ся!

Конечно, подсматривать неприлично. Но не бросать же

мне работу, не убежать же со своего огорода?! Пусть уходят они. Они сюда последние пришли. Их кто-нибудь звал ко мне на глаза?

– Лёлечка... – прерывисто сказала она. – Люди ж могут...

– Не горюй сильно! А мы тоже моём... Не божьим перстом деланы, Василичик- вазиличик...

Это уже разбой среди бела дня. Укороченный мышиный жеребчик на бегу целует её, охмелело тащит на руках в овраг, как муравей колоду. Или он трабабахнутый? Может же надорваться. Может упасть под таковской тягостью. Может вывихнуть себе ногу, шею. Всё может!

– Лёлечка! Люди могут увидеть в твоей куку... куку... рузе... Никакоечкой защиты... от чужого глаза... Туда... – кажет кивком на наш огород.

Я без колебаний оскорбился. Выращивайте свою такую и хоть групповушно вешайтесь на ней! Туда-а...

– Чем можем, тем поможем. – Алексей щекотливо дует ей на шею, переносит в наш лес.

Они сели.

Он снял с неё косынку, раскуделил и, целуя, бросил длинные чёрные волосы на себя. Его не стало видно.

Я разочарованно вздохнул, что не помешало мне увидеть, как над ними грациозно-игриво вспорхнула её белая с красными горошками кофта, усмешливо зависла на листе. Через мгновение кофту на листе накрыл бронезилет<sup>53</sup> и тут же по-

---

<sup>53</sup> Бронезилет – большой бюстгальтер.

сле обломно томного трубного вскрика Василинки суматошно завертелись в атмосфере её сметанистые пузастые ноги. Один чирик в панике слетел мне под нос.

В чумной космической состыковке они незаметно для себя тихонько съезжали по бугру вниз, спихивая *наши* кукурузины с корня.

Надо отдать должное, эта сладкая парочка честно пробовала остановить своё падение. Алексей добросовестно упирался ногами в кукурузины. Но те не выдерживали натиска, клонились.

Однако...

Здрасти-мордасти! Что эта коровя и этот свистулик мудрят? Без куска собираются оставить нас в зиму?

Зудёж подпекал Василинку недолго. Скоро она угомонилась в столах, зашептала сквозь слёзы:

– Тебе игруньки... Кто тебя усахарил, хулиган ты мой, хулиганушка?..

Всё-таки она оценила его по курсу. Не успела проговорить, как он, съезжая, судорожно вцепился в её богатырские плечи, подтянулся повыше и теперь со смешком уже вместе, американским пирожком, ещё чуть соскользнули по угорку вниз, столкнули ногами новый ствол с корнем и ворохом земли вокруг.

Злость подождла меня.

Я хотел закричать на них – сдержался и воровато покрался прочь. Лучше не видеть эти дикие бзики.

Слышкие уши ловили слова о том, что он форменный хулиган, что он её святая собственность, поскольку только она имела на него полное право.

Я машинально ссачивал отростки, думал, почему этот «кавалер-жених без гарантии», этот бесшабашный клопик позарился на статую. Сам с ноготок, а захороводил горушку и не боится. Смельча-ак... Неужели русскому подай только такую, чтоб поднял и надорвался?! Пламенный привет доблестной грыже!

Василина тоскливо теребила кофтёнку внапашку, уходила. Большая, опустошённая. Она напрямик брела по зарослям колючей пхали, ожины. Зачем-то оглянулась. Слезы сыпались с крутого кроткого подбородка. Она трудно подняла над головой косынку. Наверно, хотела помахать Алексею. Но разбито опустила её: он уже перебежал между и праведно засыпал в своей шёлковой траве.

Немного погодя валкой утиной походкой явилась дробенькая законница Надёнка. Обомлело вскинула вращеп короткие полешки рук.

– Ах, bestия мелкокалиберная! Что ж ты, кобелюра, храпишь, а не тохаешь?

Он тоже был сердито подкован.

За словом не бегал в карман.

– Не ори, крупнокалиберная вша. Не грязни чистую атмосферу. Не то все муравьи разбегутся.

– Разбежался бы лучше ты, несчастный футболист! На уме одни футболисты да бабы. Вагон баб!

– Какие бабы? Какой вагон?

– Вагон! Вагон! Одну твою свиняру Василищу, эту протухоль, воткни в вагон и амбед. Не повернуться. Муха не войди.

– Ты-то Василинку сюда не мажь. Или ты её за ноги держала?

– Хватит, что ты, кобелюка, надержался! Совстрелась падлюка мне... От этой слонихи тобой воняет, козлоброд!.. На бабские подвиги только и заносит... У детей кукуруза... Глядишь – глаз отдыхает-поёт. А у тебя чи-хот-ка! Страм! По бабам ты спе-ец! А какая фиёна сюда прибеги, тебе негде и грех справить, бесстыжие твои зелёные лупалки. Приходитесь, гляди, через между скакать?

– А это мы уж без тебя, тутархамониха, сообразим, куда скакать и где играть в бабминтон.

На высокой ноте они активно обменивались мнениями друг о друге. Вконец устали, ничего не сделали, даже к тохам не притронулись и поодиночке убрели домой, посылая печальные вздохи нашей чащобе.

– Эй! Работничек на bravo! – нарушил белую тишь блаженства Глеб. – Сочи уже проехали. Пыдьё-ём!

Подъём так подъём. Я разве против?

Глеб пытается перетащить свой мешок на сносях – не мо-



жет поднять.

– Ну-к, сударь с тонкой кишкой, покажите, на что вы способны.

С ленивой небрежностью я толкнул пяткой брюхатый мешок. Он разгонисто сбежал по бугру к ручью, к куче золы, где я вчера после школы уже в похолодалых сумерках жёлчало (прошлогодние кукурузные стебли).

– Как это вы догадались брыкнутья? – насмешливо-одобрительно интересуется Глеб и наваливается перемешивать навоз с золой.

Я не удостоил его ответом. Некогда! Вприбежку знай растаскиваю мешанку по доброй пригоршне с верхом в каждую лунку под кабаки. Потом уже в лунках мешаю золу и навоз с землёй – навоз и Бога обманет! – а Глеб важно тыкает носиком в лунки широкие плоские семечки, приваливает свежей мягкой землёй, ласково удавливает ладонью.

Ни с того ни с этого Глеб шваркнул в сторону тормозок с шуршащими кабачковыми семечками – объявляю перекур! – и шагнул через ручей в хмызняк. Частый кустарник утопал там летом в глухой гущине папоротника в великаний рост, из-за чего кусты, обвитые колючими ожерельями гонкой ожины и пхали, света божьего не видели до самых холодов, когда густой папоротник начинал оседать, прочно прикрывая свои озябшие голые ноги. Осень старательно кутала землю от январской стыллой спеси в локоть толстым одеялом из листвы и папоротника, одеялом, стёганным, прошитым

дождями. Какая ж пропасть удобрения! А впустую всё, прахом всё. Без хозяина сирота земля.

Ручей наш граница. Пускай не государственная, а всё же граница. По этот край наш совхоз. Мы на совхозной воле. По тот бок не поймёшь кто. Колхоз не колхоз, а так, ничья как вроде земля, бросовая. Пустует и пустует всё. Сколько знаю, ничего на ней другого не бывало помимо кустариков и папоротника.

Глеб рассвобождённо разнёс руки, вальнулся верхом на стоящий шапкой упругий ореховый куст и съехал на пышный ковёр папоротника, сухого, до хруста ломкого.

– Ты гля! Земелюшка тут – бери да на выставку! Иль почище того. На экспорт за валюту! – С огнём во взоре он поднял несколько аспидно-чёрных комочков непаши, в удивленье рассматривает их. – Одни жиры да углеводы... Слушай! Да её вместо масла хоть на хлеб ты мажь!

– А с чего это ты мне предлагаешь? Себе лучше намажь да съешь. А я посмотрю.

– Ну и смотри. Да повнимательней!

У его носа покачивались на ветру ольховые серёжки. Трубочкой языка он слизнул один комочек с булавочную головку. Жуёт. Глядит мне прямо в глаза, не мигает. Добросовестно, кажется, проглотил.

– Вкусно?

Он выкинул большой палец.

– Спрашиваешь!.. Я почувствовал себя Наполеоном. За-

хватчиком. В сам деле, ну что бы да нам не расшириться слегка? Прирежем клинышек попросторней, сладим заборик...

– Или у тебя задвиг? Как прирежешь? Земелька-то чу жа-а-ая...

– Брошенка... Этот клочок ничейный, весь век жирует. Не время отдать должок человеку? У колхоза «Красный лапоть» руки не дойдут... Нужен ему этот пустяк? А под нашу власть эта земелька сама-а просится. Отказывать разве в нашем правиле? Мы люди гуманные. Навстречу не идём – летим!

Без дальних слов накатывается Глеб расчищать цальдой (топориком с длинной рукояткой и с острым крюком на носу лезвия), узкую, в ступню, полоску новины, показывает, какой именно кус загорелось присандалить.

– Теперь во как, – на всю кинул руки, – расступятся наши владенья! Сдвоятся! Не кукуруза – дремуч бор зашумит! И кочанчики с оглобелку! На меньшие я и не соглашусь. И не уговаривай!

Цальдой да тохой сдирать всякую ересь с новой деляны туговато. Дело подвигалось дохло.

– А если огнём? – предложил Глеб. – Быстрее ж!

– Быстряк какой. Быстрая вошка первая на гребешок падает.

– И лучше! Цальда обрубит. А огонь под корень слопает. Нам ли не в руку огнёв аппетит?

– Оя... Толщиной в локоть пирожочек из листвы и папо-

ротника... Всё сухое. Порох! Кэ-эк хватанёт всё до небушка кругом! Выплывем? Ворюга хоть остатки кидает. А пламя лупит круто, вприструнь. Дочиста!

– Зато срочно получай мы готовую непашь, Мудрец Иваныч! Что и требовалось доказать!

– Что угодно – только не огонь, – опало запротивился я.

– Фа-фа! Да сколько мы тут с цальдочкой пропляшем? Выходит, ты у нас только на словах храбрёха? Как там у тебя звучит твой красавец девизок? «Что посмеешь, то и пожнёшь!» Так?

– Ну...

– Так смей! Кто за нас с тобой будет сметь? Добрый дядя? Так где он? Где?

Он приставил ладонь ко лбу, строго посмотрел по сторонам:

– Нигде никакого дядюшки на подходе не вижу. Смеем!

Глеб бухнулся весело на колени, поджёг с краю папоротник.

Бог ты мой! С каким остервенением голодный огонь накинулся на свою майскую поживу! Как всё затрещало!

– Вишь, – сомлело мямлю я, – огонь хороший слуга, да плохой господин...

– Господин тут... – Своё я Глеб договорил одними губами. Без голоса.

Какое-то мгновение он оторопело пялился на ревящее пламя. Потом ну кричать мне:

– Я с этого!.. Ты с того конца!.. Гони навстречу чистую широкую полосу! Мы ею отделим...

– Где-е-еби-ик... – в панике заблеял я. – А если не успеем обрезать?.. Если дальше сиганёт?.. Что будет?

– Морду твою праведную набок сверну! – заорал он, весь изгвазданный, из-за красной колышущейся стены. – Чё растопырил курятник? Хватай тоху! Руби вон там папоротник!.. Давай как я!.. Речку!!.. Ре-ечку!!!

У меня отрывалось сердце. Я смахивал с лица, с шеи искры, рубил речку, чистый коридор, где нечему было бы гореть. Уж через эту речку огонь не перепрыгнет дальше, к лесу.

На счастье, всё обошлось.

Правда, обгорели мои брови, волосы на висках, на затылке, где не прихватил кепкой. Чепуха! Бровей все равно не видно. Они у меня светлые, чуть золотятся, как кабачковые семечки.

*Если ты точишь ляды, не думай, что  
оттачиваешь красноречие.*

*Т. Константинов*

– Что-то сегодня князь земли сердит. – Из-под ладошки я глянул на солнце. – Жа-арко.

Мы сбрасываем с себя всё до трусов.

Я устал. Ободрал все ногти. Последнюю пригоршню навоза кое-как перемешал с землёй в лунке на новине, ещё горячей от недавнего огня. Глеб крест-накрест жизнерадостно воткнул четыре семечки, будто перекрестил лунку.

– С кабаками разделались. Аминь! – Он дура подбрасывает комочек земли и, взбрыкнув, ловит его лбом, разбивает в мелочь. – Теперь, братец Хандошкин, сделай-ка лукошко!

Низ своей штанины я затянул узлом, насыпал кукурузы.

Без охотки рассеиваю.

Глеб сунул ноги в ручей, углаживает тохи оселком.

Я упалился разбрасывать зерно и в любопытстве отпустил взор вокруг. Интересно, много ль тут сегодня таких горьких сеяльщиков, как мы?

Сразу за Алексеевым огородом огород Комиссара Чука. Там никого. Землица бедненькая, *красная*. На ней к осени еле вылезают тоскливые кочанишки-огрызки в треть детского локотка. Глянуть бы, чем сейчас занимается этот Чук? На-

верно, в городе, в реанимации гулёна. Праздничек же!

Сколько глаза ни бегай по пустым косогорам, нигде ни души. Лишь полдни играют.<sup>54</sup> Некому ни крикнуть, ни махнуть рукой.

Только зелёные копны тунгов млеют на солнце.

В совхозе вся земля забита чаем. Но и под огородишки рабочим надо что-то кинуть. А что дашь, когда нечего дать? И совхозный генералитет ловко выскочил из переплёта. Рабочим сыпнули участки на тунговой плантации. И люди выращивают себе кукурузу между тунгами, а заодно поневоле чистенько (и бесплатно) обрабатывают всю землю у самих тунгов. Ну кто на своём огороде потерпит сор-траву?

– Ты чего галок ловишь? – подначивает меня Глеб. – Кто за тебя сеять будет? Живей, панок Лодыренко, живей! Верно, ты ещё в пелёнках, а лень твоя была уже с телёнка!

– А твоя с корову! – окусываюсь я и вразбрызг швырнул перед собой горсть кукурузы. – Ухватил шилом молочка?

– Хватай и ты. – Ехида вежливо, с ядовитым поклоном подаёт мне тоху.

На старопашах мы откусываем тохами маленькие глинистые кусочки, едва прикрываем семена. Местами огород крепче асфальта. Ударишь по земле – задрожит стебель. Слышишь, как дрожь бежит по рукам, по всему телу к вискам. Тут уж никуда не денешься. Сей слезами – радостью пожнёшь. Может, немного раньше надо было сеять? А может,

---

<sup>54</sup> **Полдни играют** – движение воздуха в жаркий день.

и не надо: зяблые семена трудно выходят.

Над косогором колышется синеватое густое марево, знак грозы. Воздух пламенеет, струится, накатывается горячими волнами, сквозь которые мельтешат дальние сливающиеся лесные бугры.

Солнце совсем спятило с ума. Так раскалило наши голые спины, хоть блины пеки. Румяные, дырчатые, они дымятся на тарелке перед глазами. Я забыл тоху в земле, понёс руку за блином.

– Ты чего подставляешь оглоблю? Оттяпал чтоб я?

Когда я пришёл в себя после теплового удара, первое, что я увидел – я лежал в тени плетня, на лбу кепка с водой, под головой комок рубашки. Холодными прерывистыми струйками вода сочилась к затылку.

– Тебе лучше? А? – напуганно спросил Глеб.

– Почти...

– На-ка что стряслось... Не вставай. Полежи ещё... Отдохни...

Остаток воды в кепке я выпил, подкинул кепку на колышек в заборе и переполз на раскинутые рядом штаны и рубаху.

– Жарища, как в том аду. Надень солнушко солнцезащитные очки, не так бы слепило, не так бы пекло... – Изнанкой майки Глеб промокнул потное лицо, лёг на спину. – Как думаешь, в аду есть вентиляторы?



– Есть. Только некому включать. Пошёл бы в ад электриком?

– Туда живьём не промигнёшь. А трупиком уже неинтересно.

Небо над нами высокое, чистое, будто легионы женщин скребли его всю ночь топорами и мыли.

– Глеба, а море тоже такое синее?

– Ну!

– А отчего на нём ветер?

– Как тебе сказать...

– Уж как есть.

– Можно и как есть. Сверху небо, снизу вода, а с боков-то ничего нет. Оно и продувает.

– Пра-авда?

– Скатай проверь.

– Рассказал бы про Кобулеты. Чего уж там...

– А про Жмеринку не хо?

– Не хо...

Лежим молчим, глаза в небо. Я снова по-новой.

– До этого ты видел море?

– В кино.

– А когда с мамой маленьким ездил к отцу на войну?

– Хоть ездили в те же Кобулеты... А море?.. Не помню...

– Что ты в море нашёл?

– Не знаю, не знаю...

– Ух и отчаюги вы! Раз и айдате. Раз и в дамках!

Кому лезть не развязывала язык?

Уж на что Глеб не терпел до смерти расспросов, а и того сломала приманка, помягчел вроде. Слова из него надо по капленьке тащить сладкими клещами. Вижу по глазам, пала его неприступность.

– В дамках... – хмыкнул он. – А толку что?.. Это чужую беду мизинцем разведу, а свою пятернёй не растащу... Это школьный дружбан Федюшок из Мелекедур подсёк меня... Разогнался тайком от своих поступить в мореходку. Подгрёб и меня... Обежали все Кобулеты – никакой тебе мореходки! Нету и на дух!.. Пошли на хлеб добывать горбом...

Не будь теплового удара, Глеб вряд ли заговорил про Кобулеты.

А тут смилоствивился.

Как-то виновато он улыбался и рассказывал через силу. Чувствую, не хочется вываливать все кобулетские тайны. Всё скользом, всё бегом, бегом.

Господи! Не хочешь, ну и не надо. Не заплачу! Только на кой мне твои подачки из жалости?

– Давай сеять, – буркнул я и потянулся к тохе. – А то мама нагрянет, что скажет?

– А вот и я, хлопцы! – скажет с бугра. – Не соскучились без меня?

– Лично я как-то не успел.

Земля разогрелась, как сковородка. Не марево – прозрачный огонь уплясывал над огородом.

Глеб взял с земли тоху и тут же выронил из негнущихся пальцев.

Трудно разгибает спину.

– Ну и жаруха! – мотает он головой. Пот дождём сыпается наземь. – Пить будешь?

– Пошли.

Он так и не смог толком разогнуться. Горбато, пьяновато забредает в ручьишко, заросший с обеих сторон, шёлком-травой, и кислым солдатиком валится в его зелёно-мохнатое прохладное логово. Не в силах поднять лицо из воды, лежит хватает захлёб. Потом перевернулся на спину, прикрыл глаза и отринуто брякнул бессильные плети рук вдоль стана.

– Вот где земной раёк, – благостно вздыхает. – А ты навяливал мне арбайтен унд копайтен в аду. Где твой ад?

– Тебя в раю не прохватит?

– У меня лёгкие резиновые. Разве вода вредна резине? Только чище отмоеся.

Выше по течению я пластом припал к ручью. Нахлопался, отдышался. И повело кота на игры. Набрал воды полный рот и ну орошать братца.

– Э! – разбито хохотнул Глеб. – Манюня! Не маячь!.. Дай хоть дух перевести.

– Пожалуйста. На перевод духа одна минута. – Я сел на бережку, пустил ноги к его ногам. – Знаешь, сверху страшновато смотреть на тебя в этой сонной пещере. С-под голо-

вы, с-под боков, с-под ног торчит упряμισкая трава. Такая сердитая, такая сильная, такая воинственная, что, поди, вот-вот проткнёт тебя, как сухой лист, и будет расти уже сквозь тебя. Встань... Жутко...

– Не бойсь. Все прорастём. Просто дело времени.

В смехе он глянул вправо.

Вдруг его лицо стало наливаться деревянной оторопью, глаза полезли из своих одёжек.

– Что с тобой?

– Вставай тихо, – придушено и вместе с тем собранно зашептал он. – Со мной рядом змея. Откуда она взялась? Может, тут её резиденция? Выползла погреться? Смотрит глаза в глаза. Со сна никак не разберёт, что я за птаха? До неё четверти три. Башка торчит из травы. Я буду без умолку буду пороть, ладиться под однотоный хлюп ручья. Замолкни я или заговори тише, громче, она поймёт подвох. Ищи рогатину. Зайди слева, неожиданно воткни гаду в берег. Чего сидишь, квашня? Не распускай слюни. Действуй!

С испугу я никак не мог собрать себя в порядок. Я порывался встать и – не мог. Наконец вскочил и, спотыкаясь, кое-как отбежал. Нигде никаких рогатулек! Что делать? Что?

В руках у меня беспризорно моталась тоха.

Впопыхах, наобум лазаря ткнул ею в змею.

Чёрным смерчем взметнулась она из-под руки и холодно рухнула возле братова плеча.

Что есть мочи упирался я тохой в берег.

Похоже, попал я таки в голову, раз агатовая бечёвка её тела уходила в траву, к берегу.

– Глеба, ты целый?

– Не з-знаю... Нос не унесло водой?

– На месте... Вставай... Только кожу с носа намного счачнул, как клоч мундира с картошки. Углом тохи едва задел.

– Сильна бродяжка... Отпускай...

Я отпустил. Змея упруго выдернулась из грязи, и холодная, живописно-тёмная верёвка извивисто утянулась под навислый берег.

– Скачи и радуйся, – сказал я ей, – что отец Глебию тебя не укусил. Будь французом, он бы без сольки тебя скушал.

– Да она сама себя порешила.

– Это как?

– Просто. Наверняка от твоего удара прикусила свой язычок. Ядок и пошёл по ней. Сама себя погубила, хоть ты и не попал ей в голову, – отрешённо выдавил Глеб. Наверное, прижал за шею? Увееялась, не всадивши в меня смерть... Надо было убить и закопать. Тогда б пошёл дождь. Дождь так нам нужен.

– Дождь не глупарь. И без этого убийства надумает придёт... А ты труханул? Крепко?

– По себе судишь? Что, уже медвежья хворь напала?

– Ой... ой... Геройка... А кто дребезжал, что сквозь траву слышал её холод? Ещё на таком расстоянии? То ты слышал холод страха. Невредно знать, у змеи температура окружаю-

щей среды... Попалась какая-то контуженная, с припёком. А ну на глазах корки? Так нормальная телом слышит, сразу б ушла и не обязательно было играть с тобой в переглядушки. Может, лежала себе панночка шипуля, обмахивалась веером и вовсе на тебя не смотрела? Можь, и в сам деле слепенькая? А ты со страху полез строить ей глазки. Ты б ещё спел:

– На тебя, дор-рогая,  
Я гляжу не м-миг-гая!

– Полежал бы вместо меня в ручье и спел. Я б охотно послушал.

– Я как чувствовал... Кто тебя звал из ручья? Всё не слушаешься маленьких?!

*Цыпленку замкнуться в собственной скорлупе –  
значит не увидеть жизни.*

*В. Жемчужников*

– Хлопцы! А вот и я! Не соскучились без мене? Бог вам в помочь!

На угорке, в кутерьме молодой ожины, стояла мама. За плечом на тохе золотилась соломенная кошёлка со снedyю.

– А мы думали, Красную Шапочку волки украли и пирожки все конфисковали, – выразил скромное предположение Глеб.

– А!.. Да оно то то, то то, – заоправдывалась мама. – Со всем закужукалась девка. Пока добежала... Старой бабе и на печи ухабы. А время на кбнях скаче... Ну, как вы туточки с Богом?

– А разве с нами был кто третий? – заботливо спросил меня Глеб.

– Я что-то не заметил.

В угрюмой сосредоточенности он пустил округ себя хваткий взгляд, пропаше вздохнул:

– Я тоже...

Мама угнездилась в теньке плетня. Машет нам:

– Бросайте, хлопцы. Сидайте! Сидайте!

Тохи обрадованно, будто это их звали к столу, выпорхну-

ли из наших рук.

Но кто бы ещё разжал нам пальцы?

Мы ловчим на ходу свести их в кулаки – не получается.

– Замри! – крикнул я.

Глеб уже занёс ногу над ручьём и так, с поднятой ногой, застыл.

Негнушимися пальцами, как лопаткой, зачерпнул я ила, швырнул ему на бок.

– Ну Антонелли! Люди живые ходят!

– А ты думал, одни покойнички шпацируют?<sup>55</sup>

– Увидят...

– В обморок не упадут. А то наш Забывашкин эр-раз через воду, ручонки и не собирается мыть. Эге, думаю, надо напомнить.

– Всего выляпал! Теперь мойся.

– На то и рассчитывалось. Омоешь бочок, заодно сполоснёшь и ручки. Перед едой высочайше не возбраняется.

– Кто же спорит? – кротким голосом тишайшего из смертных согласился Глеб и не забыл метнуть в меня горсть ила.

В ручье мы весело схлёстываем с себя грязь. Внутри нас то ли на дрожках кто раскатывал, то ли рвались самодельные фугаски.

– А третий, – я саданул себя кулаком по рыку во впалом животе, – был. Марш святого Антония! К э н я з ь Солнушко

---

<sup>55</sup> От нем. Spazieren – прогуливаться.



скоро будут полудневать. А ты напевай:

– Где ты, где ты,  
Завтрак наш, гуляешь?

– Хлопцы! – шумит мама. – Да хватит полоскаться. Сорочки покрадут! Шо я тоди буду одна робыты?

Старая добрая кошёлка бережно рассадила нас тугим кружком.

На раскинутый синий фартук мама выставила из плетёнки зелёную литровую бутылку с супом.

– Что это Вы, ма, так торжественно молчите? – со смешком подкатываюсь я.

– А шо я вам, хлопцы, вэсэлого скажу?

– Хотя бы это: «На тебе, Глебонька, кренделёк. На, Антошенька, два. С праздничком!»

Нечаянная обида подпекла её.

– И-и!.. Нашёл чем по глазам стებაь, – глухо проговорила она. – Из чего тулить твои крендельки-орешки? Пшеничной муки нэма и знаку...

– Ма, да не оправдывайтесь Вы перед этим гориголовкой, – сказал Глеб и выставил мне из-под мышки кулак.

Светлеет мама лицом.

– Спасибо заступничку. На́ тоби твою гарну ложечку...

Глеб важно принял свою ложку, вмельк пробежался глазами по стеблю. Ещё зимой он сам нацарапал на стебле гвозд-

ком: «Найди мясо!»

– Будем искать вместе, – улыбнулся Глеб ложке. – Быстрее найдём.

– Не, Глеба, похоже, не найдёте и вдвох... – Мама основательно роется в кошёлке, конфузливо кривится: – Э-э!.. Стара шкабердюга... Я, хлопцы, мыску забула!

– Значит, так надо, – деловито рубнул Глеб. – Ложечке даём отгул по случаю Первомая. – Он кольнул меня в бок локтем. – Делюсь по-братски. Тебе вершки или корешки?

– Вершки.

Глеб постно протягивает мне затычку от бутылки.

Мотает над собой бутылкой.

– У неё головка не закружится? – переживаю я за бутылку.

Глеб не опускается до ответа мне, смотрит бутылку на солнце.

– Ну и супище!.. Госпожа Перловка... Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. Вижу, гордое мясо в забеге не участвует. Зато луку-у...

– Ну а як же? – спохватывается мама. – Лук пользительный. Одна титка по радиву казала, шо лук по митаминам бежит на первом месте, а потом капуста. На лук мы богатыюки... По всяк лето его что грязи. Хоть луковым плетнём огородись!

Глеб развалил кукурузный чурек натрое.

Мама отмахнулась от своей доли.

– Иди ты! Я дома поела... Не ждять, ешьте плотно. Глаза

шоб не западали.

– Без Вас мы не начнём, – уважительно поглаживает Глеб бутылку. – Мы не видали, как Вы ели.

– Да. Не видали, – подтянул я Глебову сторону.

Через силу мама взяла свой кусок, и бутылка забегала по кругу.

Рад Глеб, что чурек велик; рад и чурек, что у Глеба рот велик. Эвва, ка-ак он жестоко кусает! Голодный и от камня откусит, не окажись чурека.

В мгновение все остались без дела. Никто не заметил, куда подевались суп и чурек. Только разбежались – стоп!

– Что ещё? – буркнул Глеб с жёстким спокойствием палача – отрубил одному голову, на всякий случай интересуется: кому ещё?

– А супик ничего, – доложил я маме.

– Всё ж не суха вода, – уточнила она.

Я взял бутылку, в которой только что был суп, прижал к груди и, ласково наглаживая её, запел:

– Супчик жиденский,  
Но питательный...

Я наставил палец на Глеба и влюблённо продолжал гудеть:

– Будешь худенький,  
Но пузатенький.

– Эта горя нам не грозит! – постучал он себя по впалому животу. – Ма, вторая серия будет?

– Будэ, будэ, – покивала мама.

На синий стол выскочила кастрюля с мамалыгой и с молоком.

Глеб отпустил ремень на одну дырочку:

– Зарадовалась душа, что видит кашу, разгоню нашу. Такой кашенции ни один король не ел!

– Шо ж то за король, раз ему и мамалыги не дают?.. – загоревала мама. – А Митька, гляди, зараз на демонстрации... Хай сыночку лэгэ-эсенько икнэться...

– Хай! – подкрякнул Глеб дуря.

Я тоже ничего не имел против:

– Хай!

Глеб заведённо утаскивал из кастрюли ложку за ложкой с горой. Я ловчил не отстать.

Вдруг Глеб присвистнул.

– И что то за мода свистеть за столом? – выговорила мама.

– Как не свистеть? – проворчал Глеб. – В каше что-то чёрное. Изюм?.. Муха?.. – Выловил мизинцем. Муха! Торжественно показал всем. Хотел обсосать, но великодушно раздумал и уже сожалеюще метнул за плечо: – Лети, бабаська. Загорай!

– Разбрасываешься мясом! – попрекнул я. – Не пробросаться бы... Бабу с колбасой выкинул!

– Дела! – опечалилась мама. – Совсем закухарилась Поль-

ка... Оно... – В её зрачках дрогнула живинка. – То наша печка так варит. Муха... Всего одна муха... Много ль она одна съела? Хлопцы! На первый раз да низзя простить?

– Можно, – в одно гаркнули мы с Глебом. – В наших желудках и долото сгниёт!

– А тут всей-то беды муха! – улыбнулась мама. – Хорошая стряпуха и две запечёт в пирог!

– Выходит, Вы просто плохая стряпуха? – подловил на слове Глеб.

– Какая уж е. Не то шо покойница мама казала: наша стряпня рукава стряхня, а кабы басни хлебать, все бы сыты были!

Вокруг млела разваренная тишина.

Чудилось, солнце выжгло всё живое, оставило одно марево. В дрожи оно густеет, подымается выше. Такое чувство, что накатывается вечер среди дня. Зной не обжигает – давит огнём. Телом почти слышишь тяжесть раскалённых лучей. Передёргивает озноб. Не продохнуть... И ни ветринки... Хоть бы листик шевельнулся над нами на ольхе в плетне.

Ладили мы эту городушку рано весной. Добрые колья рубили в Ерёмином лесу у самого водопада. Набирали по вязанке, сразу тащили, ставили колышки. Пока всадишь, умаслишь тот колышек по локоть в землю, ведро воды ему под ногу в лунку вбухай.

Жизнь в лесинах ещё билась.

Все колья принялись, выкинули листья. Городьба наша ожила. Подмога какая! То колья через два-три года прели, падали. Меняй. А тут – растут! Только и хлопот о хворосте.

Через край Глеб плеснул себе в рот остатки молока, торжественно поставил на фартук кастрюлю вверх дном. Обедня вся!

– Спасибо, чого щэ? – Мама заискала глазами свою тоху.

– На речку бы... На Супсу... – Глеб жмурится на меня, как кот на сливки.

– Иди ты! – Мама обеими руками махнула на него. – Время какое!

– Хорошее. Самая пора искупаться, – держу я Глебов интерес. – А дело не волк, в лес не убежит.

– Нет, не убежит, – авторитетно заверил Глеб.

– Так чего тогда в такое пекло выпрыгивать из кожи? – дёргает меня свербёж за язык. – Чего пот в три ручья проливать?

– Весной не вспотеешь, зимой не согреешься... – сухо, чужевато мама подняла свою тоху.

Обиделась, как есть обиделась.

Мы с Глебом бросили ломать речную комедию. Затеяли ж так. Со скуки. Нам ли разжёвывать, что весна днём красна?

Не к месту откуда-то из недр извилин в насмешку выползла непрошенная думка про то, что за жизнь человек умолачивает шесть-де-сят тонн еды. Ну и пускай мнёт, ты-то тут при чём?.. Да при всём при том, что и ты вроде человек?

Твои шестьдесят разве дядя тебе поднесёт, не потопай ты сам? Может, у тебя дырка в горле уже? Или вовсе залатана? Вряд ли. Всё летит, что под зуб ни упади...

Вскакивать ванькой-встанькой всё равно неохота.

Пальцы сами лениво разворачивают бутылочную газетную затычку, мой вершок. Липкие глаза сами впиваются в бахромистые строчки.

– Слушайте! – гаркнул я. – Про нас пиш-шут! Читаю... «Недавно на книжный рынок Англии поступил справочник, моментально ставший бестселлером. Предназначен он для руководителей фирм и учреждений и содержит ряд ценных указаний по части подбора сотрудников. Вместо заполнения многочисленных анкет авторы справочника рекомендуют просто-напросто приглашать кандидатов в ближайшее кафе. *Если человек жадно глотает пищу, это явный признак скрываемой вспыльчивости*, – указывается в справочнике».

– Это не про нас, – разомлело оборвал меня Глеб. – Разве мы что-нибудь скрывали?

– Дай дочитаю... «*Тот, кто ест быстро, но с толком – быстро работает*».

– Это мы! – бухнул Глеб костями пальцев по кастрюлиной закоптелой звонкой заднюшке. – Да, мам?

– Мы... мы... – отходчиво кивнула мама. В одальке она поправляла на себе белую косынку.

– «*Люди, заботящиеся о наличии в пище витаминов, обычно уделяют в работе слишком много внимания незна-*

*чительным деталям. Медленные, аккуратные едоки – хорошие организаторы. Если человек явно наслаждается едой, значит, он уверен в своих силах. Кандидат, делающий во время еды регулярные паузы, – человек действия. Люди же, лишённые аппетита, и к работе будут относиться равнодушно...»*

Отгара торил я, сияю на все боки начищенным пятаком.

– Шо ото ты за юрунду начитал? – укорно покачала мне мама головой. – Где ты встречал людей без аппетита? Вот нас троя... Целый день подноси – будем за себя кидать без перерывки на обед. И всё одно голодными останемся. Аппетит же, как у вовцюг!..<sup>56</sup> И на работу злые, как те остолопы... Видно, сколько ни ишачь, а до куска до вольного нам не добежать...

Глеб наложил палец на губы.

– Ма, тс-с-с... Вас заберут. Праздник! Май! Слышите, что Москва поёт? Послушайте!

Мы все наставили уши к дальнему бугру, к центру совхоза. Репродуктор оттуда орал наразлад со столба:

– Я другой такой страны не знаю,  
Где так вольно дышит человек!

Песню то и дело отбрасывало куда-то в сторону, глушило громовым шумом, криками ура.

---

<sup>56</sup> **Вовцюга** – крупный волк.



Передавали парад с Красной площади.

– Мы с чудесным конём,  
Все поля обойдём,  
Соберём, и посеём, и вспашем!..

– Ой да Господи! – плеснула мама руками. – Что они такое там себе поють? Шо ото за глупости бегуть из самой из Москвы? Ну где ото видано, шоб сначала собирали, потом сеяли, а уж потом пахали? Не наоборот ли треба? Можь, всё ж таки спервушки вспахай, потом посеь, а уж посля собирай, если шо там narosло?

– Ма! Да за такущие речуги!.. – Глеб сложил по два раздвинутых пальца крест-накрест.

– А шо я сказала? Я саме главно не сказала... Где ото чёртяка мотае их с той конякой? Чем драть козла по радиву, лучше б прибежали с той конишкой к нам да подмогли посеять кукурузу...

– О-о! Чего захоте-ели, – в укорe зашатал Глеб головой. – Тут строгое разделение... Кто-то пашет, а кто-то с мавзолея ручкой машет... Так что им махать, а нам пахать-сеять...

А между тем столбовая кричалка в центре распалилась вовсю, мстительно драла глотку:

– Это е-есть наш после-едний  
И реши-ительный бо-ой!

– Боже, – обмякло припечалилась мама, – когда ж кончится эта бесконечная войнища? Сплошняком бои, бои, бои... Бой за вывозку навоза... Бой за раннюю пахоту... Бой за сев... Бой за прополку... Бой за уборку... Бой за вывозку хлеба... Бой за чай... Бой за молоко... Бой за мясо... Бой за картошку... Бои, бои, бои... Неместные бои... Когда ж мы начнем жить миром?.. Раньше, я ещё дивчинка була, не знали никаких боёв. Робылы, гарно жили миром... Не сидели голодом... А посля как пошло, как пошло, когда голозадники полезли царювать. Робыть не хотят, с песенками да с плакатиками мотаються по хутору Собацкому, как те на цвету прибитые. С плакатиков хлеба не нарежешь... Вот ига нам попалась... Есть ли где в державе хоть одна сыта людына? Покажить мне такую. Я б пошла посмотрела...

– Никуда Вам не надо ходить. Вот, – Глеб ткнул пальцем в меня, – вечно прохлаждался по курортам!

– Ой, – возразила мама. – Да он самый голодный сытый. Из нашей семьи Антоха один был на курортах. Двичи був. В Бахмаро и в Сурами. Это под Тибилисом. Всей площадкой выезжали... То ли кончалась война, то ли уже сразу посля войны... Едешь, не знаешь, что и взять в гостинец. Наваришь картох в шинелях, позычишь по суседям кусок-два хлеба. Приедешь – картохи уже кислые от жары... Хлеб в мент сжуёт... Жуёт у меня на коленках, а сам плачет-жалится: «Воспитательница уложит нас вечером, говорит, делайте так вот, так вот. – Мама плотно закрыла глаза. – Мы изо всех силов

делаем, делаем, а глазики не закрываются, хлебушка хочется...» Где ж он сытый?

– Да он сам мне хвалился, что на тот хлеб ещё амурничал с Танькой Чижовой.

– Не плети чего здря! – прикрикнула мама. – В детском саде какие ещё твои муры?

– Обыкновенные! – подкрикнул Глеб. – Помните карточку с курорта? На карточке они сидят на земле рядом. Танька пристроила ему на плечо свою головку. О чём это говорит? Ну-ка, Антониони, пошарь по мозгам, вспомни да доложи по всей форме суду.

– Спешу и падаю! – отрезал я.

Ишь, доложи! Ну нравилось мне бегать за нею. Ей нравилось убегать от меня. К ней почти никогда не приезжали. Как-то нас собрали снимать. Таня и говорит: «Чего сел рядом? Я всё равно уйду от тебя!» Я сказал: «Не уходи, что тебе стоит? Тебе не всё равно, кто рядом? Не уходи. За это я буду отдавать тебе весь мамкин хлебушек и всеинные картошки!» Она не ушла. Засмеялась и положила ко мне на плечо свою головку... Хлеб и картошки всё равно не брала, всё равно всегда от меня бегала. А я бегал за нею...

– Глебка, так как увидеть живого сытого человека? Пешки босяком учесала б зараз хоть на берег земли... Абы одним глазком глянуть...

– Э нет! – подпустил пару Глеб. – Это Вы, ма, горите убежать пешей курой от работы? Не пройдёт!

– От работы, сынок, я бегать не умею... И жить гарно не умею... Ежли б всё получалось, как хочешь, высоко-о б мы вылезли. А то ты на гору, а оно тебя за ногу.

Глеб потягивается, показывает всем видом, надоели ему умненькие разговоры.

– По закону Архимеда, – бормочет нарочно тихо, – после вкусного обеда – два часа поспать!

– Какой сон в жару? – недоумевает мама. – Одно мученье.

– А сеять – курорт?

– Так то дело. Нам его за нас никто не стулит. Шо оставим сѣдни, к тому прибежим взавтре... Оно можно всей семейкой завалиться под ольхой. Так на что было скакать сюда? Лучше уж дома. А то получится, плыли, плыли да на берегу затонули...

– Ма! – кричу. – Не переживайте. Утопленников не ожидается. Культпобег на речку отменяется!

– Так оно вернее, – теплеет её голос. Она обстоятельно, не спеша повязывает линялую косынку узлом на затылке.

Я закидал зерном просторный клок. Снизу, от ручья, всей троицей подступились его засевать.

– Ну, Господи, допоможи! – просяще проговорила мама, поплевала на руки.

– Вы уверены, что он Вам поможет? – повело меня навести справку.

– Верёвка крепка повивкою, – глухо молвила она, – а человек помочью.

– Людской!

– И е з о... Бог в помочь! – говорят стари люди.

– Только скажи и поможет?

– Поможет.

– Проверим... Бог в помочь, – как можно жалостней про- скрипел я и подал тоху невидимому помогайчику. Но никто её у меня брать не спешил. – Где же ты? Милый Боженька?..

– Во-от он я! – Глеб круто, как щипцами, схватил меня за ухо и поволок в сторонку.

– Больно же!

– А ты, муходав, не балагань! – Он заговорил тише, пускай мама не слышит. – Чего ты издеваешься над матерью?

– И не думал.

– То-то и оно. Не думая!

– Да что я такое сделал? Ты б послушал, как она мне... На той неделе прибегаю из школы. С порога: «Ма! Я в комсомол вступил! Поздравьте!» Повела так в растерянности плечиком и: «Эха-а, сыноче... Ну зачем ты полез в могильщи- ки?.. Вечно тебе везёт, як куцему на перелазе... То в говно вступишь, то в кансамол той...» Да не лез, говорю, я своей волей. Понимаете, я последним в классе вступил... Не хотел. А комсоргик и подсуропь: у нас класс сплошной комсомолизации, ты всю картину портишь! «Какие-то у вас игрушки непонятные, – говорит мама. – Удумали... Класс какой-то сплошной...» – «Что ж непонятного? Только и слышишь кругом: всем классом – на ферму! Всем классом –

на завод! А тут – всем классом в комсомол!.. У вас в молодости были игрушки ещё непонятней... В колхозы загоняли всех подряд. Сплошная коллективизация!. Хочешь не хочешь – всех стадом гнали в это колхозное болото. Согнали всех в колхозы, вот теперь навалились в школе чудить. Классы сплошной комсомолизации...» – «А если не вступать?» – «Можешь не вступать. Только может тебе всё боком выскокить. – И комсорг шепнул по большому секрету: – Своей волей не вступишь, кто надо покопается в тряпочках семьи и найдут, за что и из школы турнуть, и из газеты. Какой же ты юнкор комсомольской газеты, если сам не в комсомоле? Какой-то получаешься несознательный» – «О-о, куда они ни точку тянут... И ладно, что вступил. Сиди да молчи... до *своего* часа. Отсидись в затишке... Ещё вернется всё на прежние дорожки...» Странно. Как-то она кругами говорит...

– Значит, напрямую говорить рано, – сказал Глеб. – Может, мама не разобрала, куда ты вступил?

– Ну-у... Наша мамычка ту-уго ловит всё, что ей в руку. Хлопни гром – скоренько крестится. Пронеси покойничка – крестится. Дело какое начинать – помогай нам Бог! В каждый след Бог, Бог, Бог! А мы, молодые, слушай и молчи?..

– А-а... Вон об чём твоя лебединая песенка... Ну, раз свербёж на язык напал, донеси на мать, как донёс на родителя примерно вумный пионерчик Павлюня Морозов. Так и так, мать у нас боговерка, в пожарном порядке перевоспитайте, пожалуйста, нам её в духе новейших веяний.

– Бу спокоен, доносить не побегу. Как-нибудь сами не разберёмся с её Боженькой?

– Уж лучше как-нибудь, ваньзя, заткнись! Чего разбирать-ся? У каждого свой Бог. У тебя свой. У ней... На разных орбитах крутитесь, в стычках нету нужды. И не лезь к ней с присмешками, голова твоя с затылком. Не суйся с суконным рыльцем в калашный ряд.

Во мне всё схватилось за штыки.

– Ка-ак не суйся?! Ка-ак не суйся?! Иконы в доме нет. На «Сикстинскую мадонну» молится! Сам видал в грозу... А не дай Бог – фу ты! – на ту минуту кто из лёгкой антирелигиозной кавалерии нагрянет? Увидят упёртые комсомолеры-петлюры эту гражданку Сикстинскую, пришьют по темноте политическую незрелость? Ну, к чему нам кошачьи хлопоты? Будут на каждом углу трепать мамино имя. Бегай тогда доказывай, что ты прилежно-устойчивый атеист. Нас с тобой затаскают по комитетам.

– Может быть. Но картину кто приплавил?

– Кто... Не из церкви... Митечка из книжного приташил. В нагрузку пихнули... На кнопках присандалили в углу. Чем не малая Третьяковка? Думаю, будем теперь жить в культуриш. Будем всем семейством приобщаться к высокому искусству. Приобщились...

Глеб засмеялся одними глазами.

– А признайся, штаники полные? Чего труханул? Да за всю жизнь свою ты хоть раз видал маму в церкви?

– А кто молится Мадонне?

– Это и доказывает, с Боженькой у неё ничего серьёзного.

Крестится ж лишь при громе. Грозы боится! Всё понятно, всё просто, как твои веснушки.



# 15

*Сегодня до вечера солнце светило.*

*На большее, видно, его не хватило.*

*Р. Муха*

– Хлопцы! – окликнула нас мама. – Что у вас там за совещанка? Что вы никак не поделите?

– Да ищем, – Глеб приставил ладонь навесиком к глазам, смурно огляделся по сторонам, – где земля помягче.

– У меня перина. – Мама смахнула со щеки гроздь пота. – Тоха сама сеет.

– Сама сеет? Го! Это нам под масть. – Глеб быстро кланяется, как стрелка на весах, в обе стороны. Сначала мне, потом маме. – Принимайте нас назад в свою компанеллу!

Он прибился к маме справа, я слева.

Пока мы варили чепуху на постном масле, мама засеяла приличный лоскуток и исправно гнала пионерку – в клину шла первой. Мы кинулись её догонять.

Местами земля была гранитно неприступна. Но и не оставлять же балалайки, зерно поверху. Кепкой я таскал воду из ручья, и земля с шипением пила, отмякала.

Босые ноги мамы уходили всё медленней. Совестьливо, низко их закрывала фиолетовая юбка. На плечах умывалась потом привялая ситцевая кофтёнка. Па-арко... Русые волосы тугим, гладким золотым свитком лежали на затылке. Тон-

кий аккуратный нос, ясный очерк тонких губ и острый подбородок выказывали власть в характере. Удивлённые зелёные глаза с тёмным отливом лучились чистотой души.

На родинку-горошинку с кисточкой пшеничных волосков над левым углом губ села муха. Мама тряхнула головой, дунула. Муха немного подумала, улетела.

Мама устало огляделась.

– Как покойно... Одному ручью не спится...

– Первое ж Мая, курица хромая, – отозвался Глеб.

– Отличная у тебя память на праздники, – подковыристо колупнул я.

– Не жалуясь. – Глеб воткнул сердитый взгляд мне под тоху. – Глубже кусай. А то кукурузу еле накрываешь... За такую работёху мы тебе не орден – простую медальку не ки-нем.

– Не пужай, – поощрительно улыбнулась мне мама. – Старается ж человек... Думаешь, он хуже тебя зна: хорошо зерно в землю спать уложишь, хорошо урожаем и разбудишь?

– Пока он сам на ходу спит, – проворчал Глеб. – Кисло тохой командует...

И снова слепая солнечная тишина. Тоскливо на душе от усталости, от белого молчания, от слюдяного неба.

Глеб слегка оттягивает резинку трусов... Вентилирует своё хозяйство. Воровато следит за мамой. А ну увидит!

На пальчиках он обминает её по-за спиной, шепчет мне:

– Ты чё развёл на ушах борделино? Не ухо – форменный

сексодром! У тебя ж на ухе мухи внагряк куют маленьких мушат! Какой ужас! Хоть красный фонарь вешай... У-у, гады! Разговелись по случаю праздника!

Он щёлкнул меня по низу уха.

Кажется, с уха действительно слетела двухэтажная мушиная пара. Откуда ни возьмись навстречу мухам весело едет бабочка на бабочке. Что за воздушный трюк? Любовь на скаку?

Ах, май-маище!..

Глеб тенью обежал сзади маму и как ни в чём не бывало пристыл на своём месте.

– Ма, – целомудренно допытывается он, – а зачем человек живёт?

– Ну як зачем? Живёт себе и хай живёт. Шо, кому мешае?

– Вот Вы лично?

– А шо я? Я как все.

– Хо! Все сейчас вернулись из города, с демонстрации.

Сидят за столами иль у речки гуляют. А мы... Нам больше всех надо?

– Нет. Да как на другой лад крутнуть? Я не знаю. Ты знаешь? Проскажи... У тех хозяйин живой, у тех дети покончали школы, к делу уже привязаны. Они и посля работы, вечерами, отсеются. Нас не четай с ними. Завтра, кто жив будэ, вам в школу, мне на чай. А и прибежишь зарёй на час – много урвёшь? А земля гонит-подгоняет. Сохнет, как волос на ветру.

– Не рвали б лучше пупки из-за учёбы... Ну, куда нам обязательно дожидать одиннадцатилетку?

– Это ты, хлопче, брось. – Мама сердито махнула на Глеба рукой, будто отпихивалась от него.

– Что так?

– И-и, пустое!.. У нас в роду никто расписаться не умел. И я до се крестик за получку рисую. Худо-бедно, а до одиннадцатого тебя дотолкала. Мытька в техникуме. Смейся ли, плачь ли – весь наш род в счастье попал! Осталось последние экзамены сломить. Там тех экзаменов всего капля и на – бросай. Я хочу, чтоб вы людьми стали.

– По-вашему, кто без аттестата, тот нечеловек?

– Человек-то оно человек... Да как чего не хвата. Я не знаю чего. Кончайте... Подвзрослеете, поймёте, чего зараз не понимаете. А то станете словами обносить тогда: не учила Польшка, теперь поздно. Не сахар мне школа. Но школа говорит, кто у тебя растёт. Было, прибежишь на родительское собрание. Сергей Данилович, завуч... Вот, говорит про меня, одна подымает троих сыновей. Воспитывает в горе-нужде. Отец погиб на фронте. А ребята – в пример вам веду. В учебе первые. Выйдут на чай – вас тогда на чай по месяцу загоняли в отсталые, в обозные бригады – первые. А вот тройка Талаквезде. У папаши-кассира легковушка, тугой карман. Раскачивают всюду, курют, гуляют, дерутся. Учение на ум нейдёт, с двоек не слезают. Эко роскошь их корёжит! Не выйдуть из них люди, как из ребят Долговой... Слухать, хлопцы, не

совестно. Знаешь, *т у д а* растут твои...

– Было, ма, дело, было, – покаянно хохотнул Глеб. – *Туда* росли мы всем колхозом. Да я красивую картинку подпортил Кобулетами. Пошёл *оттуда* расти.

– Ничо. В кружку не без душку... Это не та промашка, как у того – хотел вырвать зуб, а оторвал ухо. Исправляться думаешь?

– Пробую... Только, как у Митечки, не выйдет. У Митечки сообразилка – совет министров. Восьминарию пришил с отличием. Уже почти в людях... Ма, а с чего он затёрся в молочный?

– С голода, сынок... Любил книжки, зуделось в библиотеческий. Господи! Да какой навар с книжек? Разь книжки кусать станешь? Еле запихала книгоглота в молочный. Говорю, будешь бегать при молоке, всё какой стаканчик за так и кинешь в себя. С тем и покотил в Лабинский... Уже на третьем курсе...

– Ско-оро начнёт нашармака молочко дуть, – тороплюсь я сообщить приятную весть и добавляю: – А ликовать не спешите. Как бы автоматы не загнали его с дудками на Колыму.

– Какие автоматы? – насторожилась мама.

– Обыкновенные... Идёшь с завода. На проходной автоматы просвечивают насквозь и докладывают, что там у тебя в желудке. Своё, законное, молочишко или халтайное.

Мама опечаленно угинает голову, насупленно молчит. Интерес к молочно-лучезарному будущему братца тает, как

след упавшей в лужу дождейки.

Откуда-то из-за Лысого Бугра неожиданно ударила гармошка.

– Меня маменька рожала,  
Вся избёночка дрожала.  
Папа бегают, орёт:  
Какого чёрта бог даёт!

– В поле аленький цветочек  
С неба ангел уронил.  
Вышей, милочка, платочек,  
Знай, что мил тебя любил.

С вызовом отвечала парню девушка:

– Милый мой, милый мой,  
Ты бы помер годовой.  
Я бы не родилася,  
В вас бы не влюбилася!

И тут же обидчиво:

– Ты, корова, ешь солому  
И не думай о траве.  
Мил, с другою задаёшься?  
И не думай обо мне.

Зажаловался парень:

– У точёного столба  
Нету счастья никогда:  
Когда ветер, когда дождь,  
Когда милку долго ждёшь.

Новый девичий высокий голос тосковал:

– Ко всем пришли,  
На коленки сели.  
А у нас с тобой, подружка,  
Верно мыши съели.

Весёлые хмельные шлепки покрыл бедовый фальцет:

– Иэх яблочко  
Мелко рублено.  
Не целуйте м-меня,  
Я напудрена!

Где-то за буграми гуляли.

Знойный день выкипел, как вода в чугушке, забытом на огне. Усталое солнце пало на каменные пики Гурийского хребта. Листва на ольхах посерела, привяла. В вареных листьях осталось силы, что удержаться за ветку, не сорваться. За ночь они оживут, подвеселеют. Майская ночь милосердна.

Мама оцепенело оперлась подбородком на тоху. Казалось,

не держись за тоху, она б от изнеможения упала.

– Ну, шо, хлопцы, хватит? Выписуемо себе путёвку отдыхать? Я як разбитый корабель. Руки, ноги болят, наче весь день цепом молотила хлеб.

– Ещё не посеяли, а уже молотили? – размыто спросил Глеб.

Мама вяло отмахнулась. Не липни, смола!

Мы с Глебом в спешке убираем подальше тохи. Мерещится, не спрячь надёжно мигом, снова придётся продолжать сеять. Мы прилаживаем их к бережку у самой воды в травянистой щели дугастого ручья. Из травы совсем не видно тох, но нам кажется, выставили на самом юру. Сверху ещё набрасываем старюку – прошлогодние сухие лопухи.

– От Комиссара Чука ховаете? – посверх сил усмехнулась мама.

– Не столько от Чука, сколько от Чукчика... От Юрика.

Мазурчик Юрчик – лентяха дай Боже! Чай рвать не хотел и мать на плантации привязывала его к своей кошёлке. Только так придавишь, пригнёшь к работе. Лишь на привязи он и рвал чай, без конца бурча матери, что труд извивает труженика в труп. Очень уж боялся быть извитым до последнего колечка.

– Поглубже прячьте...

На матушкину подковырку мы в ответ ни звука. Сопим в деле.

– До морковкина заговенья будете колупаться? – подпус-



кает перчику она. – Иля вы от самих от себя ховаете? Ховайте... Я пойду нарву в фартук пхали на вечерю. Идите додому, не ждите меня.

Сумерки сине мазали всё вокруг.

За день, кажется, бережок нашего ручья заметно подрастил густую изумрудную бородку.

В уют её шелков валит полежать усталость.

Подгибаются, заплетаются ноги.

Мы кое-как переломили себя, разобрали старый плетень. Навязали по вязанке сушняка, пустые мешки на плечи – не так будет давить сучками – и в путь.

Эв-ва, веселенькая грядёт ночь.

Плечи у нас обгорели, схватились волдырями. Пока вязанка лежит на одном месте, ещё терпимо. Но меня угораздило споткнуться. Какая-то кривуляка ножом воткнулась в спину, я взвыл по-собачьи. Слышу: лопаются мои волдырики, горячие струйки сбегают по мне.

Тащились мы черепашьям ходом. Глеб что-то бормотнул, я не разобрал. И через два шага расплачиваюсь.

Моя вязанка наехала на тунговый ствол – вытянулся над тропкой, сливалась с высокого бугра.

Я отскочил назад, не удержался и с полна роста ухнул волдырной спиной на проклятую вязанку, будто на доску со стоячими иголками. Искры из глаз ослепили меня.

– Я ж тебе, тетеря, говорил! – вернулся Глеб. – Чем ты

только и слушал!

Он приставил попилом свою вязанку к тунгу, подал мне руку.

– Вставайте, сударь. Вас ждёт ночь без сна и милосердия.

Я кинул мешок на плечи.

Глеб поднял мою вязанку, я подлез под неё.

– Взял?

– А куда я денусь? Взял...

Он осторожно опустил мне вязанку, и мы покарабкались в гору.

На большаке он с ожесточением сошвырнул в канаву свой сушняк, молча побрёл назад помочь мне.

*Только солнце может благополучно заходить  
слишком далеко.*

*В. Жемчужников*

Дома нас встретила Таня.

Она сидела на скрипучих перильцах, готовых в любую минуту завалиться, и грызла семечки. Всё крыльцо было толсто закидано пахучей лузгой. Увидела нас, спрыгнула на пол, быстро поправила тесную красную юбку.

– Здоров, Глебушка, – рдея, уважительно подала Глебу пухлую томкую руку.

– Здравствуй, коли не шутишь! – с напускной лихостью давнул её за одни пальчики наш притворяшка.

Как же! Плети, плетень, сегодня твой день! Чего он вола вертит? Перед кем комедию ломает? Сам же рад-радёшенек встрече. Полтинники сразу продали!

– Привет, мизинчик, – кивнула мне Таня.

– Привет, тёзка.

Мы с нею мизинчики, меньшаки в своих семьях. На этом наше родство обламывается. Зато за Глебом с Танюрой тайком бегают по району кличка жениха и невесты. Было, сидели за одной партой. В седьмом она бросила школу, и теперь в свои пятнадцать Таня уже не учится, работает на чаю.

Отец и мать её погибли в войну. Так говорилось всем.

На самом деле родители пропали в тюрьме.

Отец самоуком научился читать по складам. Пока перепрыгнет через долгое слово, плотно взопреет, а таки перепрыгнет. Сначала брал в библиотеке всё детские книжки, к взрослым боялся подступаться. А тут набежал на «Мать» Горького. Отважился, взял.

Полгода казнил. Принёс назад.

– Понравилась? – спросила библиотекарша.

– Нет!

Библиотекарка палец к губёнкам.

Отец и вовсе ошалел.

– Что ты мне рот затыкаешь? Имею я праву иметь свою мнению? Вроде-кась и-ме-ю! Вот я и сымаю спрос. Почему простые люди у него не скажут живого словечушка? Чтобы в душу легло праздничком? Всё лалакают книжно, как иноземы какие.

– Да, да! – подпела мать. Жили родители ладно. Везде часто появлялись вместе. – Он всё читал мне. Так я чудом не угорела со скукотищи.

– Есть в книжке один «хохол из города Канева». Смехотень! Этот хохол по-хохлиному одно словко знает. Одно-разодно! *Ненько*. И амбец. И лупит этот хохол по-русски чище профессора твоего. Я прямым лицом скажу. Сам Горький, по слухам, будто с людского дна. Он-то мотался по Руси с заткнутыми ушами? Не слышал, как народушко льётся соловьём? А что ж в книжке этому народу он замкнул души? По-

чему простой люд ляпает по-книжному? Аж блевать тянет!

– Блявать кликнуло? Будешь! – Из сумерек книжных рядов чинно выставился облезлый старчик.

– А чёрные палки его вовсе допекли, – пожаловался отец библиотекарше. – На кажинной страничке по полтора десятка!

– Это что ещё за палки?

– А такие чёрные чёрточки... Как перекладинки на виселице... Читать неспособно... Тольке разбежишься читать – спотыкаешься об эти чёрные палки раз за разом...

– Уже и тире ему не такие у дорогого Алексей Максимыча. Там полюбишь! – пообещал старчик.

Отцу и матери отломили по три года. «За дискредитацию великого пролетарского писателя».

Четырёх девок подымала вдовая тётка. И родители сгасли в тюрьме, и тётка уже примёрла...

Горькие четыре сестры ютились в одной комнатёшке. Будь в семье хоть двое, хоть десятеро – каждую семью совхоз вжимал в одну комнату. Чижовы крутились от нас через одну, семисыновскую, комнату. Их дверь выбегала на соседнее крылечко. (На каждом крыльце было по две комнаты.) Из открытого единственного чижовского окна хрипло и жизне-радостно раздишканивала чёрная тарелка-балаболка:

– Над страной весенний ветер веет,

С каждым днём все радостнее жить.

И никто на свете не умеет

Лучше нас смеяться и любить!

– Где все ваши? – спросил Глеб лишь бы не молчать.

– Кто где. Мамочка, – самую старшую сестру Настю звала Таня мамочкой, – совсем сбилась с пути. Ушла в глубокую любовь. Где-т страдает со своим мигачом. Чего она перед ним стелется? Или боится закиснуть в старых девках?.. А и то... Двадцать три уже... бабка-ёшка...

– А Домка с Дуськой?

– Э!.. Обкушались иночки мундирной картохи с камсой. Попадали спать.

Мне неловко торчать возле Глеба с Танчорой пустым столбиком. Я шатнулся к себе в дупло.<sup>57</sup>

Развожу керогаз и слушаю их трёп.

– А я была сегодня в городе... На семечек...

– Что видала?

– Всё видала, что другие видали. – Дверь малешко открыта, я вижу, как она перебросила со спины на грудь тяжёлую белую косу толщиной в руку. То расплётет конец, то снова заплетёт. – Знаешь, а ко мне пристебнулся... А за мной уплясывал один городской... закопчённый фигурин,<sup>58</sup> – и похвалилась, и пожаловалась Танюта.

---

<sup>57</sup> Дупло – комната.

<sup>58</sup> Фигурин (моё слово. – А. С. 25 августа 2002) – красивый гуляка.

– Всего-то один?

– Тебе смешалочки. А я и от одного не знала, как отрезать-ся. Ни рожи, ни кожи, ни виденья... А туда же... Расфонтанился... Ростом Боженька не оскандалил, зато мордень нацепил ему козлиную...

– Постой, постой... И это-то фигурин?

Танечка замялась.

– Конечно... Шевели хоть каплю понималкой... Будь страхолюдик какой, разве б крутила я с ним слова?.. А что шишки против него покатила сейчас, так это ... с радости, что встрела тебя... Ну... Я и так, я и сяк... Не отбиться! Покупил козлюрка целое кило яблок. «Не возьмишь – не отстану!» Я – ну не бешеная телушка? – взяла. А липучка поновой. Подговаривается к свиданию. В девять в парке. Вишь, чтоб стемнело... С первой минуты разбежался на обнимашки где в тёмном углу... Ёшки-крошки! Он по нахаловке, и я по нахаловке. «В восемь! – кричу. – Нет!.. В семь! Только до семи доживу без тебя!..» Мнётся-гнётся Приставалкин. «Что, к семи бежать заступать на пост к другой? В семь и ни секундышкой позднее!» – и помела прочь хвостиком. Распахнул ухажёрик рот, а захлопнуть некому.

– Ты не сдержала слово?

– Да сдерживай я слово каждому ханыге, от меня остались бы загорелые рожки да немытые ножи. Я не просила. Сам навяливался силком. Это если тебе я что посулю, в сторонку не вильну... А потом... В город я лётала не знакомство ста-

новить. Я вешаться ходила.

– И сколько?

– Угадай.

– Я не гадалка. И ни разу не держал тебя на руках.

– А ты возьми!

– Хоть сейчас?

– Вот хотько сей моментарий! Только губы накрашу.

– Неа. Не спеши... Не крась... Я ещё не ужинал.

– Семьдесят пять! – Она поклонилась с приседанием.

– Ого! Вес пеночки!.. Да столько тянут три забитые козы.

Тенти-бренди коза в ленте!

– А чего ты меня с козами четаешь? – Танёчек погладила голубую ленту у себя в косе. – Что я, рогатая? А, спичка?

– Я на спичку не обижаюсь. И ты не дуйся. Лучше, – Глеб потянул к ней руку, загудел плаксиво, – да-айте, не минайте. Подайте бедному на ко-пее-ечку...

В подставленную лункой лалонь Таня готовно плеснула семечек, будто никакой разладинки и не завязывалось. Верно, водяной пузырь недолго стоит.

– Где ты, смоляное чудечко, веялся всю вечность?

– Отсюда не видно.

– А я знаю. В Кобулетах!

– Какая разведка тебе донесла? Кто лично?

– Ты лично! Утром. Только проснулась – слышу тебя через две стенки. У нас же стеночки – сосед мысленно ругается, а ты слышишь... Подал бы знак... Разве я не поскакала



б с тобой?

– Ух! Из горячих ты! – высунулся я в дверь. Меня подпекло, что с этим чапаевцем она разготова на всё. – Там край света! Турецкая граница навблизях! Море!..

Я не знал, чем ещё страшным её подпугнуть.

– Там, – посыпал ералашно, – каждый год восьмого ноября сходятся бывалые моряки и по облакам узнают погоду на всейную зиму!

– Плети кружева круче. Кто тебе насказал?

– Глебка.

– Тогда правдушка. Глеб замораживать не станет... С Глебом я б побегла на крайний студливый свет! – вслух подумала Таня и свысока облила меня крутой синью глаз.

– А со мной? – подкрикнул я.

Мне хотелось узнать себе девичью цену.

– С детьми так далеко не заходят! – колко отхватила она.

Ё-моё! Чем он лучше меня? На три года старше? Тоже мне орденоч... Так у нас носы одинаково лупятся. Неужели она это не видит? Чего ж тогда так резанула?.. Видали, у Тасютки и петухи несутся! А у нас все куры яловые! Ну погоди... Прощайте, не стращайте. Скоро вернусь!

– Танюшечка невестится – бабушке ровесница! – С разбегу я взлетел на перилко, ограждавшее крыльцо, цыкнул сквозь зубы на ладони, потёр ладошку об ладошку, сочно хлопнул и угорело подрал по стекольно-гладкому столбу на чердак.

Уже с горища я как бы вничью уронил хвостоватый взгляд вниз.

Глеб показал мне кулак, я ему язык. Больше нечего было показать друг другу. На том и разлучились.

На чердаке было душно.

Разогретая за день серая черепица ещё тепла, как печка.

С осени весь наш чердак был забит кукурузой. Наша кормилица, наша поилица... Очищенная от листьев, она впокат толсто бугрилась по потолку. Глянешь, бывало, на эти горошки полешек – сердчишко радостней застучит. Ведь что ни кочанчик – не меньше хорошего локтя, и зёрна, как лошадиные зубы... Увы, потолок уже пуст. Реденько осталось лишь на жердях, привязанных проволокой к стропилам. Как и доехать до новины?

Я быстро накидал в чайную корзинку кочанов – попарно свисали с жердин на своих связанных золотистых чубчиках.

Вижу, парочка внизу всё агу-агу.

Я потихоньку спускаю корзинку. До пола метра с два. Я выпустил верёвку (другим концом она привязана к скобе) – корзинка грохнулась, как бомба. Зёрна жёлтыми осколками брызнули во все стороны.

В испуге Танюшка вскрикнула, ткнулась лицом Глебу в грудь, невольно обняв этого кощея за плечи.

– Ты нарочно? Да? – в презренье скосила она на меня глаза, когда я съехал по верёвке. – Со зла? Да? Всё равно с тобой никто не побежит на край света! Хоть умри тыщу разов!

Не побежит!

– А я никого ни в какие бега и не зову.

Не спеша я опорожнил корзинку. Не спеша взобрался по верёвке снова на чердак.

Уже оттуда я услышал, как Таня празднично предложила.

– А давай мыть полы.

– Мне без разницы, – с подчёркнутым безразличием отозвался Глеб.

– А без разницы – делай по мне. Я серьёзно. А он со смешком...

– Ты уверена? Может, не с мешком, а с сумочкой?

Им нравилось выёгиваться друг перед дружкой, кто быстрее, кто чище вымоет у себя пол.

К этому поединку на тряпках домашние относились с весёлым поощрением.

– Тогда айдатушки за водой?

– Так ну айда.

Я бросил снимать кукурузу.

Разбито побрёл по балкам в угол, вальнул на край горюха и слежу за ними из-под стрехи.

С наступлением темноты весь район обычно бегал по воду к колодцу у кишкодрома.<sup>59</sup> Эти же баран и ярочка обогнули дом и именинниками канули в чёрный каштановый овраг. К кринице подались! Слышно лишь, как зазвонно болтают вёдра.

---

<sup>59</sup> **Кишкодром** столовая.

Я лежал и отупело вслушивался в уходящие, в затухающие голоса вёдер.

Отпели и они...

Из-под серой черепицы я пропаще всматривался за дорогу в овражный омут, но ничего не видел.

Быстро зрела ночь, наливалась кромешной мглой. Суматошно толклись всюду светлячки. Они то зажигали, то гасили свои белые стремительные огоньки.

«С тобой никто не побежит на край земли, хоть тыщу разов умри!» – ударил Танин приговор.

Не знаю, отчего мне стало жалко себя, и я заплакал.

Мама хлопотала у печки.

С корзинкой я вжался в тиски между сундуком и койкой, сразу в мешок лушу кукурузу.

Тут сияющие жених и невеста без места принесли по два ведра воды.

Всё ожило, засуетилось в обеих комнатёшках.

– Ну, Глебка, держи нашу марку, – в улыбке сронила мама.

– Танёк, не подгадь! – подняла палец Настя.

Лишний народец вытряхивается на воздух. Нечего тут бананы катать!<sup>60</sup> Хочется – стой смотри у крыльца, чья возьмёт!

Подумаешь, малые олимпийские игры!

А между тем к крыльцам слилось народу непроход. Как они узнали? Уму недостижимо. Сообщение КИСС-ПИСС-

---

<sup>60</sup> **Бананы катать** – бездельничать, мешать.

ТАСС по брехаловке не читали. Это я помню хорошо. Газеты объявлений не давали. А ротозинь насыпалось – в красный уголок меньше на собрание сбегается.

– Не успеет стриженная девка косу заплесть, покончит Глебушка, – сепетит кто-то нетвёрдым, первомайским голоском.

– Во, во! Косу отрастит – даст кончиту и твой чапаевец. И не рань!

– Иду на спор! Ставлю пузырь!

Удача не кланяется спешке. Скорей закончишь, но хуже вымоешь – вырвешь проигрыш.

Глеб старательно скребёт пол топором, Таня кирпичом.

Яркому свету тесно в стенах. Размашистыми золотыми ковровыми дорожками льётся он из окон, из распахнутых дверей.

Я отжимаюсь от спорщиков и почему-то оказываюсь у самого чижовского крыльца. Или меня магнитом тянуло к Тане?

К открытой двери она держалась боком, смущённо мыла с корточек.

– Эй! Раскатай губки! – Настя легонько толкнула меня в плечо. – Нечего пялиться на чужой каравай. И так Танька вся стесняется. Иди лучше полюбуйся на Глеба. Учись. Бери пример.

– Я хочу с Тани брать пример.

– Мал ещё с Таньки брать пример. – Настя наклонилась ко

мне, сердито зашептала: – Сватачок!<sup>61</sup> Не слопай глазками свой пример!.. Ну, прилипка, чего раззяпил зевало? Вздумай всякий делать, что хочет, знаешь, чего будет?

– Светопреставление или всемирный потоп, – как на уроке, попробовал я угадать.

– Потоп не потоп, а давай топ-топ к Глебу.

– Я хочу смотреть на Таню. Она моет чище.

Лесь умирят Настю.

– Потому что, – уступчиво поясняет она, – Танюха использует невидимое моеющее средство «Полчище».

– Что-о?

– «Полчище»! Оттого и пол чище<sup>62</sup>... Всё ухватил?.. Доволе ловить разиню. Ну и давай теперь топ-топ-топушки к своему Глебушке!

Да что я не видал его? Может, ещё за денежки на братца смотреть? Да не нужны мне вы все даром!

Я выдрался из кучки зевак и ересливо покатил подальше от этого цирка.

За углом дома, на косогоре, угорело гоняли мяч.

Было уже темно, но босая братва – ей тускло подсвечивал уличный фонарь – с криками металась по травяному бугру.

– Антоняк! – позвал меня из ворот мой тёмный дружбан<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> **Сватачок** – женишок.

<sup>62</sup> «Полчище» – полчище. (Игра слов).

<sup>63</sup> **Тёмный дружбан** – закадычный друг.

Юрка Клыкков по прозвищу Комиссар Чук – младший. – Побудь другом! Выручи! Иди постой штангой!

В футбол у нас играли одновременно все желающие. Хоть по двадцать человек в команде. И войти в игру можно в любую минуту. Только найди себе пару. Один шёл играть за эту команду, второй – за другую.

Я не прочь побегать, но у меня нет пары, с кем бы я мог войти, и я соглашаюсь на штангу.

Справа от Юрки одиноко гнулся персик. Завязь на нём давно оборвали. На этом кривом персике мы всегда подтягиваемся. Метра полтора его ствол был прям, а потом резко брал влево и ещё метра два тянулся почти на одном расстоянии от земли. Поэтому этот персик верно служил нам одной штангой при футбольных воротах. Слева на кепке сидела наша ненаглядная всерайонная дворняга Пинка и зевала. Ску-учно играла ребятня.

Юрка вырвал из-под Пинки кепку, насадил себе на самые брови.

– Беги! – Он погладил собаку. – Ты и так опаздываешь на зажим-жим к своему Шарику. Антоняк, заступай на Пинкин пост.

Он сложил ладони трубкой, заорал в поле:

– Ребя! Смотри сюда! У нас новая штанга! Во-от!.. – Юрка пошлёпал меня по плечу. – Все теперь видят штангу?

– Все! Все! – в ответ прокричали играющие.

И кто-то довольно добавил с бугра:

– А то чёрную Пинку увидь в этой темнотище!..

Мы с персиком изображаем живые ворота. Правда, над нами не хватает перекладины наполовину. Толстый голый кривоватый ствол персика тянется ко мне поверх вратаря.

Я кинул руку персику, с метр не достаю до его жиденького вихорка.

– Ты чего, – спрашиваю Юрку, – одну ногу, как гусь, ужал? Зябнет?

– Не. Порезал. Вся в крови.

– Скакал бы домой.

– Я предатель? Да?! Да?! Наши проигрывают!

Нарастает ожесточённое шлёпанье босых пяток. За одним чёрным мячиком-крохой не крупней вместе сложенных двух моих кулаков катится целое бегемотное стадо. Впереди малоростик Колюня Семисынов. За ним на всех парах летит и никак не настигнет старик Хоттабыч. Так, а иногда и сердитей – старик Похабыч – звали мы женатика Алексея Половинкина, нашего огородного соседца. Ещё миг – Колюня пнёт по воротам. Как бы не вкатил верную плюху!

Хоттабыч подсёк Колюню под мышки, переставил назад. За себя. Не мешайся, мальчик!

Колюня припадошно вальнулся, колотит кулачками в землю.

– Пенал!!! – истошно орёт. – Пенал!!! Пенал!!! Пенал!!! Точный пеналище!.. Почему мы играем без судьи? Он пока-



зал бы точку!...<sup>64</sup> По-ка-зал!!!

Из-за ёлки выполз со своей табуреткой дед Анис, вечный и, пожалуй, единственный свидетель всех наших футбольных склок.

– Пенал, – спокойно, твёрдо сказал дед. Уж за своего сыночка Колика он горушкой всплывёт. – Я видал, как ты, Лексейка, перенёс Колика за себя. Ну не глумёж?!

– Это ты видал? – присвистнул Хоттабыч. – Да ты свою бабку на койке с компасом ищешь при свете. А тут впотехи увидал за километруху!

Деду-болельщику все верили с верхом.

Мяч летел в девятиночку.

Я скакнул вправо на шаг. Мяч споткнулся об мою голову и отбыл за боковую линию.

Тут всё покатилося вразнопляску.

– Что это за штанга?! – кричали одни. – Скачет куда хочет!

– С поля штангу! – хрипели другие. – На мыло!

– На детское! – уточняли третьи.

Колюня без слов приложился к моей ноге.

Я знал его привычку кусаться, успел отпихнуть. Было в нём что-то звероватое. Он не спорил, ему лень было бить обидчика. Сразу грыз.

Юрка благодарно пошлёлпал меня по локтю. Большой награды мне не надо от дружка.

Но скоро игра развалилась.

---

<sup>64</sup> Показать точку (в футболе) – указать на 11-метровую отметку.

То ли со зла, что не дали пенал, то ли по нечайке Колюня высадил мяч поверх штaketника за дорогу, в овраг. Там-то давно полярная ночь!

Те, у кого были спички или фонарики, побежали искать мяч. Но эти поиски, может, до утра.

Интерес к игре скис. Все стали разбрeдаться.

Когда я приплёлся назад домой, тряпичный цирк уже кончился.

Была боевая ничья. Победила дружба.

– Хлопцы! – сказала мама. – А чего б нам не повечерять вместе с чиженятами? Дeнь такой... Май!.. Хай всегда блещит пол. Гарно его умыл Глеб.

– Вместе! Вместе! – подпел женишок и выкинул руку. – *Единогласно!* Бегу зову!

Чугунок картошки на пару, селёдка, пхаля и чай быстро пропали со стола.

Девчонки как входили, так и уходят – цепочкой, друг за дружкой по старшинству. Грустный парад бесприданниц.

Глеб увязался следом за своей ненаглядной хорошкой. Провожает-с. Будто она живёт не на соседнем крыльце, а за ста горами.

На порожке Таня баловливо пырнула его пальцем в бок – играешь с кошкой, терпи царапины! – шепнула:

– Как поедешь ещё на край света, не забудь, моргни мне.

За дверью он пообещает, что как только надумает куда

стригануть, обязательно позовёт теперь и её. Для большей убедительности погладит её тугие косы, что толстыми белыми ручьями стекали на пояс. И на всякий случай попытается поцеловать.

*Невоспитанные дети растут так же, как и воспитанные, только распускаются быстрее.*

*Е. Тарасов*

Мама тронула меня за обгорелое плечо.

Я подскочил как ошпаренный.

– Ты не ложился? – спросила она.

– Сейчас...

Я с подвывом зевнул до хруста в челюстях, захлопнул тригонометрию. Зубрил, зубрил проклятуху, так и не вызубрил. Уснул на ней за столом.

– Чо сичас?

– Вылезу из-за стола да лягу.

Она насмешливо пожмурилась.

– Уключи брехушку.

Я толкнул пластинку под чёрной тарелкой. Она вся закрипела, как баран с перехваченным горлом. Сквозь предсмертные мучительные хрипы едва пробегали слабые, придавленные голоса. Передавали последние известия. Шесть по Москве, семь по-нашему.

– Так что собирайся в школу. Возьмэш и четыре баночки мацони. Эгэ ж? Так гарно села... Хочь иди глянь!

Мама сняла с ведра на табуретке свой синий фартук, заворожённо смотрит в ведро, где по плечики смирно стояли

в воде пол-литровые банки с кислым молоком.

– Навалило счастья... Глаза б не видели!

Мой выпад ни на мизинчик не произвёл впечатления. Радость, что мацоня сегодня на редкость плотно села, захлестнула матечку, и она мимо внимания пускает мои бзики. Предлагает ненавязчиво, как бы советуется, и в то же время уверенно, будто всё давно решено:

– Возьмэш же? Аха?... Гроши з базарю колесом покатыть-ся! Возьмэш?

– Всю жизнь мечтал! – окусываюсь я в злости на ночь без сна.

– Ну, да гляди... – Голос мягкий, мятый, укладистый, точно ей всё равно, возьму я, не возьму. – Дело хозяйско... Дома ани ж копя.<sup>65</sup> Шо будем кусать?

– Локти! – выкрикнул я её коронный довод в подобном переплёте.

В обиде мама опустила на щербатую лавку у стола, взялась цыганской иголкой штопать чулок. Уколола один палец, другой. Дрогнул подбородок... Слёзы застучались в глаза.

– Ну вот... – покаянно кладу руки венком ей на плечи. Плечи так худы, что, кажется, кофтёнка надёрнута на вешалку. – Ма, помните, я Вам передачу рассказывал?

– Помню.

– Что же тогда не поступаете, как велит сама Москва?

– Да если слушать, кто что сбреше по тому радиву – лягай

---

<sup>65</sup> Аникопья – ни копейки.

в гроб и закрывайся крышкой.

– Вы ж согласились с той передачей!

– А я со всема соглашаюся. А потом... Как кажутъ, совет выслухай, да поступи по-своему.

Я не объясню даже самому себе, откуда у меня эта манья слухать все передачи «Взрослым о детях». Разве у меня лично целый полк босых варягов, уже мастито срезающих на ходу подмётки, и я не приложу ума, что с ними делать? Так вроде никакого полка пока нету. А может, во-рухнулась в черепушке вкрадчивая думка, всё-то я стараюсь в сторону матери? Вот она не знает, что делать с нами, с тремя архаровцами. Сама ж нам жаловалась.

Эти передачи, гляди, легли б ей в пользу. Но когда они шли, мама была уже на чаю, слышать не могла. Зато мог я. Через раз да всякий раз я опаздывал на первый урок и в ожидании второго с душевным трепетом, с благоговением внимал каждому слову премудрых взрослых, всё знающих о неразумных детях.

Происходило это в школьном парке.

Обычно прилетал я туда в мыле, выдёргивал из-за пояса общую тетрадь на все случаи – учебники я в школу не таскал, – совал под себя на камешек и отдыхивался.

Я приходил в себя, попутно внимал.

Кругом хмурились старые разлапистые ели. Под них никогда не пробегало солнце. Там всегда уныло темнели зыбкие, мяклые сумерки. Где-то поверху изредка перекликались

напуганные птицы.

Всех их жизнерадостно заглушала, гнала прочь серая громколяпалка – на весь упор бубнила далеко окрест с полугнилого столба, прихваченного мхом.

Как-то я наскочил на передачу «Торговля и ваши дети». Клад золотой! Столб истово убеждал, даже пена клочьями сыпалась на меня: ни в коем разе дети не должны продавать!

– А покупать? – спросил я. – Тот же хлеб в магазине?

Гладкий столб не слышал меня. Он слышал лишь себя. И усердно гнул свою дугу. Напирал на то, что торговые сделки будят в подростках склонность к надувательству, к махинациям, и ребячьё капитально портится.

Мне очень не хотелось портиться.

Обстоятельное изложение услышанного я и пристегни к моменту, когда мама приуговляла очередной мой молочнокислый вояж на торг. С подчёркнутой терпеливостью она отслушала меня. Усмехнулась:

– Не переживай дуже крепко. Трошки попортишься и большь не будешь. Школа всю порчу выкинет!

Проходило время.

Меня снова – по пути ж в школу! – снаряжали на рынок.

Вот и сегодня. Пожалуйста! Господи, как противно торчать с теми баночками на проклятой топтушке. Мимо одноклассцы бегут к школе. Подмигивают, ржут. Куда мне глаза совать?

– Ма, а Вы не боитесь, что я весь испорчусь? – канючил я.

– Иль ты морожена картоха? Главно, не телись. Швыдень-ко продай и на уроки. Не развешуй лопухами губы, как зачнут матюгами кидаться. Не то базарными воротьми слушалки прищемят!

– А, ладно... Подпоясывайте Ваши банульки в дорогу. Промчу с ветерком... Иль упасть?.. Тогда и до порчи дело не дойдёт?

– Иди-и, упасть! – Мама накрыла баночки газетными листками, повязала ниткой и бережно опустила в чёрную сумку на дощечку шириной с ладонь. На ней разве что и выставишь надёжно в ряд четыре баночки. – От и гарно... А то на хлеб ни копейушки нема. Кто меня в будень пустит на той базарь?

Рванный резкий велосипедный звон поманил её глянуть в окно.

Я и без глядений знаю, кто это.

– Юрка прибулькотел. Кончай!

Я плеснул остатки чая в рот, сунул общую тетрадку за пояс и осторожно отвожу велик от нашего изголовья. Не разбудить бы пана Глеба.

Хорошо спит дядя. Во вторую смену отхватывает свои все родные колышки.

А ты лети за ними по первому свету!

Я выхожу на крыльцо.

Вижу, подъезжает Юрка. Я поднимаю два растопыренных пальца. Привет!



Юрания на полном скаку тормозит и эффективно – высший пилотаж! – высоко встаёт на козу.<sup>66</sup> Привет!

– Ты тамочки не зевай, – подаёт мне мама сумку. – Шоб не обдули... Поняйте с Богом.

По глинистому косогору меж тунгами мы летим вниз и выскакиваем на пыльную обочину каменки, охраняемой по сторонам, как часовыми, двумя аккуратными рядами молодых нарядных ёлочек.

Дорога падает под уклон.

Юрания садит чёртом. Что ему! Новенький велик. Руки свободны. Как у порядочного на руле жёлтый портфель. Фон барон!

Моему же велику сегодня в обед нахлопает сто лет. Шина на переднем колесе лопнула. Камера вон каким пузырьём выдулась!

Проволокой чуть прижал её к ободу. Да разве то дело? Всё равно моя коза<sup>67</sup> хромает. Вдобавку проволока бьёт вилку с такой злостью – вечный лязг стоит в голове.

В громе ползу я черепашкой. Как наезжает переднее колесо на проволоку, велик всякий раз подпрыгивает и тут же приседает.левой – я левша – правлю, в правой на отвесе сумка с мацоней.

– Вы передвижное похоронное бюро? – язвительно допы-

---

<sup>66</sup> **Вставать на козу** – поднимать переднее колесо велосипеда, показывая виртуозность езды.

<sup>67</sup> **Коза** – велосипед.

тывается незнакомый дряхлый мужичонка при старости лет, одни усы торчат.

– Откуда вы взяли?

– Мне в бюро надо... Я подумал, вы телепат и поехали мне навстречу.

– А в ад не надо?

– Я там всю жизнь был... В аду такой же зубовный скрежет, как и от вашего веселопеда. Поверьте моим сединам... Нет... – он снял кепку, – сединам не верьте... я гол, как топор... Поверьте моему песку... Сыплется, сыплется с меня... Насобираю целый кисет... Отлетевшие деньки мои. – Он достал из кармана тугой кисет, сронил в лунку ладони несколько песчинок. – Какие крупные... Вот такими кусками отваливается жизнь от меня...

Мне стало жалко стареника, пускай он и примерещился.

Узкая, вертлявая наша совхозная каменка, усеянная пустыми блюдцами выбоин, круто изогнулась и выехала на асфальт.

Юрка воткнул руки в брюки, пожёг вихрем. Пижон! Чего хвастаться? Не будь у меня сумки, разве б я не поехал без рук?

«Не поехал бы», – говорю себе, вспомнив про хроменькое перебинтованное проволокой переднее колесо.

На подступах к рынку Юрка на лету выхватил у меня проклятуху сумку.

Фу, гора с плеч!

Я остановился.

Не слезая с велосипеда, опустил ноги и сплыл на багажник, лёг щекой на сиденье. Задеревенелые руки вальнулились в роздыхе к земле.

– Гдэ, f, f,<sup>68</sup> твоя билэт? – набычился в воротах на Юрку небритый кругломордый хачапур с двумя повязками на рукаве. Видимо, это должно было означать, что он очень строгий контролёр.

Однако наш проверяльщик с утраца впаял основательный градус. Нанёс сокрушительный удар по бессмысленному существованию. Теперь изо всех сил старался удержаться на ногах.

– Э!.. Какая билэт! – гортанно рыкнул Юраня и не забыл при этом оскорблённо вскинуть руку. Работать под сынов Кавказа он великий дока. – Эта, – взгляд на сумку, – ужэ купи. Эщо надо купи! И на это надо твоя билэта? Чито предложишь, дорогой?

– Чёрт... бабушку! – Хачапур моргнул разом обоими глазами. – Иды, – ватно качнулся в сторону базарного ералаша. – Покупай эщо чито хочэш, gfwj!<sup>69</sup>

– Так бы и давно, – тихо, только мне говорит Юрец, проходя в ворота. – Мы обштопывали тут клизмоида и с тремя повязочками! Где это видано? Своё продать и за это плати?! К молочницам подтираться рискованно. А ну нарвёшься

---

<sup>68</sup> F, f (аба) – ну.

<sup>69</sup> R f w j ((кацо) – обращение к мужчине.

там на контролёра позлей, чем в воротах?

– Жди! – Юрец с приступком водрузил сумку на недостроенную, по пояс, стену, у ног которой толочся суматошливый приток речонишки Бжужи. – Смирно жди. В темпе торганём!

Он напару с великом побрёл наискосок к молочному ряду под дощатым навесом в дырках, стал простодушно-наглова-то заглядывать покупателям в лица.

– Дэвўшка! Ай как Ви хороши! Эсли я эщо один минут буду посмотрет, я потеряй свой единствени голов. Энти кра-сиви, – тычет в меня, – ужэ потерял!

Эту его дичь красивка вежливо снесла. Даже улыбнулась:

– Бедненький...

– Да нэт, богатенький, – подпустил пару болтушок. – Свой машина! Четыре банка мацони!

– Состояние Ротшильда!

– Не теряйтесь. Спешите приобрести!.. Идёмте... Реко-мен-дую... Пожалста... Это, – кивнул на мой велик, – маши-на. Это, – приоткрыл сумку, – его ненаглядная мацонька. А это, – тронул меня за локоть, – пардон, они сами будут. Не смотрите на шишку на лбу. Голова на глазах от ума растёт.

Я стоял как истукан.

Боялся дохнуть при городской девушке.

– Изобрази цыпе детали! – шепнул мне Юрка.

Я снял с одной баночки подвязку, шатнул.

Молоко не плеснулось, держалось молодцом.

– Круто сидит мацонька! – сыпнул радости Юрка. – У нас

без обманок! Мы не шильники какие...

У меня прорезалась потребность удивить чем-нибудь ещё и я невесть к чему перевернул банку над речкой. Держится мацоня крепко, будто замороженная! Царский пилотаж!

– Не мацонька – цирк! – шумнул Юрка девушке. – Видите?! Видите?!!

– Вижу, – бархатно прощebetала она.

То ли голосок мне показался её неуверенным, то ли форс дёрнул меня за руку – я резко встряхнул банку.

Ликование на девичьем лице потонуло в досаде: всё из банки пало в речку.

– Вот это ци-ирк! – обомлело присвистнул Юраха. – Целых две буханки шваркнуть?.. Затонула мацонька при исполнении служебных обязанностей...

– Плакали денежки! – горько всплеснула руками проходившая мимо старушка в чёрном.

Я растерялся. Не знал, что и подумать. Что я теперь скажу матери? Как объясню, куда делась пятёрка? Затонула? Са-ам утопил...

Насильно улыбнулась розочка:

– Не горюйте, мальчики. Я плачú за все четыре.

Пятёрки веером раздвинулись у неё в руке.

Я взял три штуки.

– Берите и эту.

– А за что?

– За рекламу. Вы же мне рекламировали? Виновата я.

Прошу... Неужели не знаете правил приличия? Ни в чём не перечь женщине!

– А разве есть правила без исключений?

Сердитые бледные пальцы разбежались в стороны, и сия бумажка обречённо спикировала в воду.

Смуглянка крутнулась, гневно застучала от нас каблучками.

– Ярмарка форменных тупарей! – заключил Юрок. До угла проводил её взглядом, накинулся на меня: – Слушай ты, дубок тьму... тьфутараканский! Ты и в сам деле вдолбил себе, что ты Ротшильд? Чего выламывался? Панночка давала от большого сердца...

– ... кашалота...

– При чём тут кашалот? Что ты хочешь сказать?

– Это ты хочешь сказать, что у этой панночки сердце, как у кашалота. Сердце у кашалота весит тонну. А у твоей панночки?

– Ну-у... Грамм триста с походом.

– А без походов?

– Триста пятьдесят. Устроит?

– И это называется большое сердце?

– Дело не в весе сердца. У твоего кашалота и трёхметровый лоб, зато мозгов полкило. Никакой роскоши не жди. А тут... Лишняя... Да нет, законная пятёрка карман не оторвала б. Как дома будешь отчитываться?

– Словесно. Или, точнее, молча.

– И ей придётся выкручиваться...

– Будь так, швыряла б деньги глупой рукой куда зря? Наверно, из отцовой жирной кожи<sup>70</sup> без счёту гребёт. Что в руке, то и её...

– Чего развязывать чужие узелки? Айдаюшки лучше за своими ненаглядными двоюшками. А то давно не видались из-за праздника. Наверняка они соскучились по нас...

Улица Хачапуридзе.

В сарае у знакомых мы оставили своих коз.

Я не забыл выдернуть из стрехи свой самоловчик и дневник.

Дневник мне очень пригодился.

Когда мы кривыми проулками, что лились с бугра, вприбежку летели вверх, к своему парку, я в поту обмахивался раскрытым дневником.

Наконец мы слышали жизнерадостное бормотание репродуктора, срезали немного бег. Уже близко, не опоздаем на второй урок.

Гроздь птиц галдели с деревьев, с плетней, с проводов. Угрюмый, холодноватый мрак жался под сплошным шатром елей.

Голос у радио стал внятней, разберёшь уже слова. Идут «Взрослым – о детях». Чем сегодня радуют? А, ерунда на кислом масле. «Семья и воспитание у детей навыков к тру-

---

<sup>70</sup> **Жирная кожа** – Бумажник с крупной суммой денег.

ду». И без радиоподсказок мы всё это давно освоили. Сколько я себя помню, столько и вламываю, столько и отработываю свой хлеб.

Каждую весну нас экзаменует огород. Семь потов стонит да выдаст вот эти кровавые во всю ладонь мозоли, кровавое свидетельство. Годен в трудяги! Потом лето за нас берётся. Три месяца, с зари до зари, рвёшь в жару, в ливень чай. Если не ты сам, то кто же будет тебя кормить, одевать? Мать? Одна на копеечных заработках она вывезет четверых? Осенью пока в мешках перетаскаешь на горбу всё с огорода – с кровью снимешь с плеч не одну кожу. Одна зима-зимушка нам мамушка родная. Только зимой и оглянешься на свет, вздохнёшь вольней.

Ушам противно слушать потешно-тоскливый радиолепет.

С нашего огорка помилуй как хорошо виден весь городишко. Махарадзе, Махарадзе... Беда и радость ты моя... Сверкают крыши, роятся внизу розоватые дымы. Всё под нами!

Даже на Сталина, на начальника лагеря социализма, мы смотрим свысока. Во-он на площади слепящий бронзовый столб. Тридцать метров!

«Спасибо вам, дорогой товарищ Сталин, за наше счастливое детство!»

Я дую на нестерпимо ноющие кровавые мозоли на руках, воровато озираюсь.

Кто кричал?



Ни я, ни Юрениа рты не открывали. Тогда кто же орал нашими голосами? Примерещилось?

Хорошо, что Иосиф Грозный стоял к театру лицом, а к нам спиной. А то б наверняка услышал. Что б тогда было?

Говорят, этот памятник Сталину самый большой в мире. Есть в городе и памятник Ленину. На окраине. Нам его не видать. И ленинский памятник вдвое ниже сталинского.

*В глупом положении находиться неудобно, в  
неудобном – глупо.*

*С. Белоусов*

Зазвенел звонок.

Мурашки на дикой тройке пролетели по спине, похолодело в животе. От сумасшедшего трезвона такое чувство – не урок кончился, а начался всемирный потоп. Вода давным-давно у порога, дежурный её не замечал. Теперь вот увидел, из кожи лезет поскорей замазать вину.

Наконец звон обломился, подавился своим громом, и подал шалый голос наш брат фалалей. Шатнулись стены. Дрогнули окна, заохали, прогибаясь, коридоры. Гам и гик покатились во двор.

Мы с Юрчиком стыдливые глазки в пол, по стеночке, по стеночке дерёмся сквозь встречный вал к родному девятому А. Мне легче. Все мои школьные опознавательные знаки – тетрадь и дневник – за поясом. Юрец прячет портфелишко под пиджак. А ну наскочим на *директора*? Прилипнет смола. Втолкуешь ему, беспонятливому, чего опоздали?

Без происшествий мы ныряем в свою дверь.

Песец! Мы дома!

– Заче-ем тебя я, клёвенький, узна-а-а-ала-ла?.. – непотребно вульгарно раскинула руки Инга Почему в безысход-

ном пенье, преградила мне меж партами путь к знаниям.

Я нагнулся, проследовал далее по курсу. К камчатке.

Почему повернулась ко мне. Вся сияет.

– Должок! А тебя *сам* высочайше испрашивал. Бегал тут хвастался железом.<sup>71</sup>

– Петушистый Кошккод? Какая честь... Что ты, Ин, ответила этому диктатору?

– Сказала, делаешь пролетарский бизнес на рынке. Я не ошиблась?

– Разве ты когда-нибудь попадала пальцем мимо неба? Но зачем было меня продавать? Это невыносимо! За праздник ты или, извини, поглупела?

– Что подделаешь... У нас на чайной фабрике воздух такой. Но если честно, я сказала, что ты слегка задерживаешься.

– Не ново, а всё же стерпимо. Спасибо, утешила.

Она сделала книксен:

– Чем могла, тем и помогла.

Куколка Ануся Свердлова взобралась коленочками на учительский стул. Ануся круглая отличница, кругла, пышна и собой. Полная гармония. Любит держаться на виду. Чтобы лишний разок кукарекнуть, может взобраться на что угодно, хоть на электрический столб, где уже висит табличка с куриными косточками крест-накрест.

– Ребята-ёжики! Уважаемый народ! Прошу тишины! Ти-

---

<sup>71</sup> **Хвастаться железом** – об улыбке человека со вставными металлическими зубами.

ши-ны!

Класс примёр. Ждёт.

– У Леры на литературе мухи с тоски дохли. Я поспорила со своим небезызвестным соседом по парте. – Она облила восторгом глаз Яшу Тоганяна – цвёл георгином рядом. – Он твердит, что ничуть не хуже Рахметова. Может самому себе причинять сильную боль и переносить её. Посмотрим на нашего Рахметова!

Идея смотрин всех захлестнула.

Живой Рахметов! У нас! В классе! Наверняка интересней книжного! Смотрим! Смотрим!

Эх, Яша, Яша... Был обстоятельный, умный мужик. Летом, в каникулы, ему доверяли гнуть позвонок на равных со всеми грузчиками на железнодорожной станции. Занимался боксом, занимался штангой. И на! Какая-то клякса<sup>72</sup> Ануся срезала. Занялся глупостью. Свалёхался!<sup>73</sup> Что-то в нём пропало.

Больше он меня не впечатлял.

Зато сам он с каждым днем становился всё впечатлительней. Если кто из ребят подходил к его ундине и болтал, из Яши «выходил человек и больше в него не возвращался». Первая перчатка школы не находил места своим кулакам. Кряжеватый Ромео с яркими задатками Отелло бледнел, синел, чернел, краснел и считал до двадцати. Если в этот счёт

---

<sup>72</sup> Клякса – школьница.

<sup>73</sup> Свалёхаться – влюбиться.

приставка не укладывал свой трёп, в Яше прорезались хватательные инстинкты и неповалимая страсть к прогулкам.

Он мёртво хватал растеряшика под локоть и со словами «Пойдем выйдем!» тащил за дверь.

Что уж там было никто не знал, только нечаянный разлучник как-то сразу выпадал в осадок. Становился смиренней травы и десятой дорогой понуро обегал Анусю.

Тоганян пал на корточки, жертвенно, с приступком возложил голову на угол стола. На серёжку уха водрузил блёсткий гвоздок.

– Гвоздь ровно стоит? – спросил он.

– В пор-ряде! – гаркнул класс и с открытыми ртами оцепил стол. – На старт!

Девчонки пялились на чудилу как на героя.

Парни похмыкивали себе на уме. Ну-ну! Всё-таки завидки кой-кого подпекали.

Яша высоко поднял камень, со всего замаха стукнул. Не попал в шляпку, огрел себя по затылку.

– Яшик, тебе ж не видно... – затревожилась Ануся.

– Тог! Давай помогу! – глупо гоготнул Сергеев. – От души трахну!

Тоганян отмахнулся. Отзынь!

Он обстоятельно примерился, с силой ударил. Коротенький, тонкий гвоздь по бровки вбежал в мочку.

Девчонки в испуге отвернулись.

– Всё? – сбито шепнул Яша.

– Всё, Яшенька! Всё! Всё-ё!.. – оторопело захныкала Ануся.

Она совсем отнялась от языка, онемела со страху, когда увидела, что орёлишко её основательно прикован к столу.

Он пробовал и никак не мог прихватить ногтями крохотную гвоздикову шляпку с узкими, тупыми полями.

– Кусачки! – пискнула Ануся.

Все смешались.

Откуда взяться кусачкам в школе?

Раздумался народ, не знает, как и подмочь бедному Тогу. Он уже устал сидеть на корточках, обречённо стоит перед классом на коленях, сломив голову вбок.

Постой, постой. Кажется...

Раз в дождь ждал я под генерал-ёлкой второго урока и видел, как дядя Федя – это наш сторож, звонарь, электрик, слесарь и по совместительству большой друг старшеклашек – красил дверь у своей хлипкой хибарки. Руки у него были заляпаны. Цигарку он держал кусачками!

Я не мешал народу думу думать, на пальчиках вышел из класса и бегом во двор.

– Дядь Федь, кусачки! Человек пропадает!

– Все пропадают, – тягостно прохрипел с койки дядя Федя. Он был одетый. Лежал поверх ветхого цветастого одеялишка, ноги сливались к полу. – Я вон тоже пропадаю... И всем хрен по деревне! А я тем временем про-па-даю по пол-

ной программе!.. Хоть подавай заявлению на два метра...<sup>74</sup>  
И не бежу к директорию – спасай! Вчера я... анчутка чумородный... Заутюжил... гвоздодёру...<sup>75</sup> Всё гором горит...  
Печень рассыпается на атомы... Отерезвиться ба... Дожил!..  
На реанимацию<sup>76</sup> копейки худой нету! Не с чем даже пойти на гейзер...<sup>77</sup> Ну дай на стопку дурочки, профессор кислых щей!

– Н-нету...

– Тогда, заусенец, и кобры<sup>78</sup> нету. Нечего тут бал подымать!<sup>79</sup>

– Ка-ак нету? – Кусачки сине выглядывали из-под его ног.

– Так и нету... Кусачки мы уже проехали, базарило. Об чём ишшо твои хлопоты?

– Ка-ак нету?.. Ка-ак нету?.. Да во-он лежат отдыхают!

– Все посля праздника лежат отдыхают. Я, например, тоже лежу отдыхаю... Культурно...

Я присел пустой, а встал уже с кусачками. Ну что делать? Что посмеешь, то и пожнёшь!

– Дядь Федь, через три минутки верну.

– Положь, грабитель, где взял!

---

<sup>74</sup> **Подать заявление на два метра** – умереть.

<sup>75</sup> **Гвоздодёр** – крепкий самогон.

<sup>76</sup> **Реанимация** – опохмеление.

<sup>77</sup> **Пойти на гейзер** – выпить пива.

<sup>78</sup> **Кобра** – кусачки.

<sup>79</sup> **Бал поднимать** – поднимать шум.

Сторож дёрнулся было встать.

Хмель лениво толкнул его в грудь, он чуркой вальнулся снова на койку.

Я осторожно ухватил гвоздь и так сильно сжал ост-рогубцы, что откусил шляпку.

– Эх, мазуля! – хором ругнули меня одноклассцы.

– Не спеши, – подала совет Почему. – С достоинством снимай ухо с гвоздя, как шляпу с вешалки.

– Вовсе и не остроумно, – с укором заметила бледная Ануся.

Вызволненный Яков зажал мочку, стриганул из класса.

На белую рубашку капнула с пальца кровь и алой звёздочкой вспыхнула на груди.



*И на весах судьбы случаются недовесы.*  
С. Белоусов

– Антракт окончен! – Илья Ильич Косой воинственно обвёл притихающий класс единственным глазом, на подходе к столу махнул журналом. – Садитесь. С вашего позволения сяду и я.

Он распахнул журнал. Поправляя чёрную повязку на виске, забегал единственным глазом по столбцу наших фамилий.

– Тэ-экс... трэ-экс... Ну, кто хочет двойку исправить? На пятёрку? Или на кол?.. Это кому какая пьеса ближе... Четверть... акт на исходе. Ловите момент. Сегодня я добрый после Первомая... – Он поднял голову, осмотрелся. – Клыков, ты что? То поднимешь руку, то опустишь. Дразнишь? Тут не Испания. Ты не матадор, я не бык с одним глазом. Иди на сцену. Давай монолог... э- э-э... Решай вот эту... Я ногтем отметил...

Илья Ильич отдал Юрке задачник по тригонометрии и забыл думать про урок. Воистину, «работа – время, в течение которого наиболее полно используется право на отдых».

Вчера Илья Ильич был в театре. Разве мог он это утаить? О! Он такой театрал! Он не скажет: перемена кончилась, а

непрерывно: антракт окончен. Класс у него труппа, подсказчик – суфлёр, доска – рампа, простор у доски – сцена...

Наверное, в Махарадзе не только математики, но и все мышки большие театралки. Как-никак в Махарадзе сам Немирович-Данченко родился. Разве это ни к чему не обязывает?

Ещё ка-ак обязывает... Так обязывает, что Илья Ильич в пол-урока не может вжать свои вчерашние театральные впечатления.

С театра Илью Ильича весело сносит в зыбкую глубь веков, в детство, к гусям. Пузыриком он пас гусей. И вечно у него были распри с этими гусями. Кончились пикантные препирательства тем, что он недосчитался глаза. Всякий раз пропажа ока трактовалась разное. Сегодня скажет, что убегал от осатанелого гусака, наткнулся на что-то и выколол. Через неделю эта версия забывалась, подавалась свежая.

Оказывается, однажды полусонного пастушонка подняли и велели гнать на луг стадо. Мальчик гнал и плакал.

К нему подошёл вожак.

– Ч-че-го... ч-че-го... плачешь? – спросил гусак.

– По тебе соскучился! – ещё сильнее ревнул Илюнька и бездумно плюнул.

Вожак степенно отёр лицо крылом белым и одним ударом выхватил у крохи глаз и проглотил.

– Вот какова себестоимость глупости! – Илья Ильич назидательно постучал себя по чёрной повязке и тут же, без пе-

рехода, не поворачиваясь к Юрке, резко: – Клыков, реплику!.. Ответ!

Это так неожиданно, так нахраписто, что Юрания вздрогнул, побелел. Какой ответ? Задача ещё не решена.

А шло всё премило.

Одни, таких было большинство, с живейшим показным участием слушали исповедь театрала, другие сбились на передних партах в могучую кучку, скопом пытели над клыковской задачей.

Такое разделение ролей устраивало, похоже, всех.

Но отдуваться, оттопыриваться приходится одному Юроньке. Задачку даже асы не развязали!

– Попрошу ответ! Что-то слишком долго я не слышу ответа! – Илья Ильич всё так же не поворачивается к Клыкову, начинает сердиться. – Какой пустяк! Называй ответ и садись. Аншлаг! Пятёрка на сберкнижке! Или в кармашке под булавкой! Храни, где хочешь...

Юрка зачем-то полез в карман. В кармане пусто, уныло.

Он вздохнул для разгонки, затянул песню табунщика.

– Вы посмотрите на него! – настоятельно рекомендует Илья Ильич. – Нужно всего одно число назвать. А он из вводных слов, из предлогов, междометий пересказывает «Войну и мир». Видите, куда у него Гендель-Будённый поскакали?<sup>80</sup> Ответ!

---

<sup>80</sup> **Гендель-Будённый поскакали** – название произведения «Пассакалия» (Гендель-Бузони).

Юрка назвал и тупиково покраснел.

– Сам за себя краснеешь! – Илья Ильич тукнул указательным пальцем в столешницу. – На авось сказал. И не угадал. Невоспитанный молодой человек!

– Почему-у? – удивился класс.

Илья Ильич обрадовался этому интересу и уже вдохновенней продолжал:

– А потому... Вы знаете, что сказал наш великий земляк? Ни больше ни меньше: «Хорошее воспитание – это когда другим хорошо»! А мне от такого ответа нехорошо! Потому Клыков и невоспитанный!

– А больше ничего такого интересного не сказал наш великий земляк? – пискнул девчачий голосок откуда-то от окна.

Вопрос был провокационный. Надо было как можно дальше увести математика от урока. Дальше от урока – дальше от двойки!

– Сказал! «Режиссёр должен умереть в актёре». Слышал, Клыков?

Юрания торопливо кивнул.

– Так вот лично в тебе, в плохом актёре, я не собираюсь умирать. Не дождёшься! – почти выкрикнул он с вызовом. – Умирай, но – сам! Я тебе компании не составлю! Будешь знать, как наугад выкрикивать ответы!.. Сам себе устроил бенефис... Садись и больше не волнуйся. Я ставлю тебе твёрдую двойку. Аплодисментов, переходящих в бурные овации,

не надо! Вставать тоже никому не надо!

Те, кто решал Юрке задачку и не решил, распято устави-  
лись учителю в глаза, искали пощады.

– И-илья-я-а Ильи-и-иич... по-ми-ло-серд-ствуйте... –  
хором заскулили посрамлённые суфлёры и по совместитель-  
ству адвокаты. – Ну, пожа-алуйста!..

– По-хорошему, надо бы и вам всем по персональной  
двойке... Вместе решали! Понимаешь, устроили тут массов-  
ку. Тайные гастроли МХАТа! Я рассказывал, но одновремен-  
но слушал и все ваши подсказки. И твои, Сидорова. И твои,  
Титаренко. И твои, Третьякова. И твои, Сергеев. И твои, Ни-  
курадзе. И твои, Авешникова. И твои, Скоропад. И твои, Ко-  
бенко. И твои, Панфилёнок. И твои, Решетникова. И твои,  
незабвенная Васильченко... Неверные у вас подсказки. Пло-  
хие вы суфлёры. А точнее если... Вся труппа – трупы! Эту  
кроху пьеску... ы-ы-ы... эту тему вы тоже не знаете. У меня  
зреет скромное желание не обидеть... не обнести и вас двой-  
ками. Однако... Влепи я своей рукой одиннадцать лебедей –  
директор не поверит такому урожаю. Пускай каждый сам се-  
бе поставит. Кто считает, что знает больше, чем на два, ми-  
лости прошу! – Не поворачиваясь, он указал рукой на дос-  
ку. – Я демократ. У меня полнейший «разгул демократии».  
Ну, кто первый? По алфавиту? Авешникова! К рампе-с!

Класс онемел.

Этот одноокий болтал сам и одновременно слышал и ви-  
дел всех!? Неслыханное коварство!

– Авешникова, ты всех задерживаешь. Почему не выходишь? Или стесняешься осквернить сцену своим присутствием?

Зиночка медленно поднялась, но из-за парты не вышла. Горько опустила глазки. Ну кому охота ни за что привечать двойку?

Рыжий циклоп ждуще косился на обаяшку. Неожиданная улыбка стянула с мятого холостяка напускную суровость. Наверное, никогда не родится мужчина, кому с первого же взгляда не нравилась бы наша кисуня.

– Ну что, Авешникова? – светлеет голосом Илья Ильич. – К рамке бежать не с чем? А к журналу ноги не идут?

– Не идут... Илья вы Ильич... – пожаловалась Зиночка.

– Причина уважительная. Ладно... Садись.

Огненное одобрение весело проскакало по партам.

– А наш одноглазик всё же человек! – благоговейно шепнула мне Почему. – Не стал кидаться парами.

– Не пыли. Замни базар...<sup>81</sup> Похвалишь после звонка.

– Мохнатая тоска с тобой!

Приоткрылась дверь.

Боком, воровато Яша втёк в тесный светлый простор, угнулся и на пальчиках прожёл к своей крайней парте под бочок к Анусе. Илья Ильич даже не заметил.

– Вот кто герой! – мечтательно зацвела Почему. – Обалдайс!

---

<sup>81</sup> **Замять базар** – остаться при своём мнении.

– Оппаньки! Ну, сбегай возьми у этого драного уха автограф. Будешь первая!

– Кози-кози... – поманила меня к себе пальцем Инга. – Зави-идки тебя дерут... А Яша храбрун. Экстракласс! Был прикован к столу, как Прометей к скале!

– Пришпилен. И я могу так пришпилиться.

– Героизм под копирку унижает.

– Хо! Да хочешь, подвижок твоего Тоганяна – дамский! Не делай большие глаза. Давно убедился, это у тебя получается... Женщина под серёжки протыкает мочки. Подвиг? По-твоему, да? А вот я нос проткну мизинцем! И вдену кольцо! О!

– Так, так!

Я зашарил в карманах.

Почему угнулась ниже к парте. Хохотнула:

– Что, мизинчик забыл дома?

– Кольцо... Вдевать нечего... Зато вот булавка... Смотри внимательно...

Я зажал раскрытую булавку в левой руке, с разбегу хлопнул над своими коленками в ладоши.

– Ты что сделал? – посуровела Инга.

Под партой, в сумерках, я шевельнул кулаком правой руки. Белый нос булавки на целый сантиметрище вроде надёжно торчал из края спины ладони.

– Смотри... Принимай работу...

– На-асквозь?! – обмерла Почему.

– Может быть... У нас всё насквозь!

– А где же кровь?

– Они задерживаются... Попозже будут...

Играть так играй до конца.

Я обмяк и весьма чувствительно уплыл мешком под парту. Это было подано как обморок. Верх почему-то негнушейся левой руки застрял где-то над откинутой крышкой.

– Инга, твой сосед, я так понимаю, рвётся отвечать, но не решается? Руку поднял, а сам под парту? – Илья Ильич, вижу из-за мачаварианинского кирзового сапога, наклонился к журналу. – Передай ему, может не волноваться. Не надо отвечать. Я уже поставил оценку.

Я срочно вылез под хиханьки:

– Какую?

– А какую б ты хотел?

Я слегка подумал:

– На дважды два я б согласился.

– И я. На дважды два дробь два.

– В дробях многовато одному. Дробь единица, а?

– Дробь два.

– Единица... Единицу, ну пожалуйста. Я ж не отвечал.

– Больше чем на двойку не знаешь.

– Я всю ночь учил...

– Ночью рекомендую спать. Меняй режим.

– Если изменю, – начинаю торговаться, школа рынка, – двойку не поставите?



– Я уже поставил.

– Перечеркните. Что вам стóбит?

– Странный ты человек. Не работал, получил и ещё не доволен!

Я разочарованно сажусь на своё место и вскакиваю: Почему подставила ручку вверх пером!

– Ты что?

– Не хватай пару.

– Завидуешь? Могу тебе отдать.

– Спасибо. Двойку я и сама как-нибудь добуду... Особо не горюй. Исправишь.

Я смотрю на забрызганное веснушками лицо, на крупные тугие губы, на блёсткие печальные серые глаза, и мне хочется, чтоб она никогда не отрывала щёку от парты и глядела только на меня.

Наверное, её и посадили на то со мной.

В восьмом, в Насакирали, мы сидели кто с кем попало. Больше девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками.

А здесь, в этом городе... Навалился кислый казус, пала среди мальчишек дисциплина. На прорыв срочно мобилизовали наших ненаглядных весталок. Подсадили к каждому. Всем братцам по серьгам!

Не берусь судить, заужало ли ребятёе дисциплину. Лично мне некогда стало баловаться. За чужими спинами нравится нам с Почему класть головы на парту, не мигая смотреть друг на дружку. Кто кого пересмотрит. Игра это у нас

такая.

– Вот ты, писарелли, – Илья Ильич ткнул в меня пальцем и фыркнул, – в «Молодом сталинце» дал заметку, что в Махарадзе к Первомаю заасфальтировано ровно пять тысяч квадратных метров тротуаров. Ты что, локтем... саженью мерил? Или складным метром?

Класс загоготал.

Я покраснел. Подумал:

«Зачем же такой наив?»

– Так где ты взял эту цифру? Очень уж впечатляющая. С потолка слизал?

– В райисполкоме сказали...

– Ах, в *рай*исполкоме!.. А если тебе неточно в том раю сказали? А газета должна говорить правду и только правду! – насмешливо отчеканил он.

– У вас есть случай проверить. Возьмите метр...

Не знаю, что б я ещё наплёл с горячих глаз, не войди директор.

Наши взгляды столкнулись.

Директорий хищневато поманил меня к себе злым пальцем:

– А-а! Оратор!.. Ко мне. Ко мне, дружок Цицероненко! Почему ободряюще щипнула меня за локоть.

– Держи там у него в козлодёрке хвостик пистолетом!

Я весь съёжился.

Не до шуток рыбки, когда крючком под жаберку хватают.

*По мнению учителей, яйца курицу не учат, по  
мнению учеников, курица не птица.*

*Л. Сухоруков*

В холодном директорском кабинете, в этой комнате смерти, у меня прорезалась потребность в лёгкой дрожи. Кажется, я мелко завибрировал.

Я терялся в догадках.

К чему эта аудиенция с глазу на глаз при плотно закрытых дерматиновых дверях? Не на чай же сгрёб диктатор меня с урока. Чем всё это кончится в этой респектабельной волкоморне?

Я присох, заякорился у порога, воткнул рога в пол.

Немного освоился, крайком взгляда пошарил вокруг. Упругий живописный ковёр улыбчиво спал на полу. Солидный чёрный диван с валиками, чёрные пышные кресла льстиво жались к стенам. Массивный п-образный одутловатый стол степенно дремал под зелёным сукном посреди комнаты. Огромная высокая комната жила без майского тёплышка. Наверное, как и все ученики, оно тоже боялось сюда заходить? Говорили, все зимы пережидали здесь лето. Филиал вечной мерзлоты! Филиалом Верхоянска звала дирюгин кабинет ребятня, что была ударена двойками и попадала сюда на сеанс скоростной перековки.

Хозяин кабинета стоит ко мне спиной у зеркальной дверцы шкафа, сурово изучает у своего двойника внушительный горбатый нос. Из носа робко выглядывают щёточки белых волос. Илларион Иосифович пробежался расчёской по седому ёжику, хмыкнул. При этом его тело несколько подалось вперёд, взгляд застыл в удивлении, как бы спрашивал меня в зеркале: ты-то что здесь забыл? Он недоуменно пялился на меня в зеркале, машинально сложил ладони вместе и заиграл указательным пальцем по указательному, безымянным по безымянному, мизинцем по мизинцу.

Очередь дошла до меня.

– Я давно мечтал с тобой встретиться, – ровно, протокольно зудит Илларион Иосифович. – Но толко вот сэгодня по-счастливилось. Ми живём в замечательное время, когда всэ мечты сбиваются. Сбилас наконец и моя...

Яд в его голосе охлаждал душу.

В судороге я сглотнул слюну, вмельк глянул на него.

– Он эсчо дэрзит! – сорванно пальнул дирик и выхватил очки в золотой оправе из нагрудного кармашка, суетливо оседлал свой величественный кавказский нос.

Очки ему вовсе без нужды.

Но года два назад, когда в моду въехали очкарики, он привёз из Тбилиси полную тележку очков.

Он наводит на меня насуровленный взор и совсем ничего не видит. Всё расплзлось в тумане, больно глазам. Он зло сшиб очки на самый пик почти орденосного носа, с пет-

ровской выси<sup>82</sup> устрашающе воззрится поверх очков на меня, будто изготовился основательно боднуть.

Я ужался, глаза вниз.

Мне видны лишь так углаженные его брюки, что стрелкой можно порезаться, как косой.

– Он эсчо дэрзит! – после короткого передыха сделал Илларион Иосифович второй заход для верной разгонки. Только нотой выше, ересливей.

– Я не сказал ни слова... – пискнул я.

– Он нэ сказал! Да кто тебе даст з д э с рот открыть?! Пачаму ти позавчера не бил у нас в городе на первомайски демонстраций? Я бил на трибун. Я видэл, кто бил, кто нэ бил. Пачаму ти нэ бил?

– Я сеял кукурузу.

– Личны огород эсчо нэ город! И твой кукуруз мнэ нэ волнуэт! Ти должэн бил бить на дэмонстраций. Ти знаэшь политички значень дэмонстраций? – это тэбэ нэ глазки строить какой-нибудь козе с сосэдни парта!

Мне надоел этот нудёж, я вежливо молчал.

– Карашо... Пачаму ти вчэра нэ бил на воскресник?

«Воскресник – показатель безделья», – вспомнилось где-то прочитанное, но сказал я другое:

– Вчэра был пока четверг.

– Ну и что, умник? – Илларион Иосифович одёрнул стального цвета полы костюма, воткнул руки в брюки, перекатил-

---

<sup>82</sup> Рост Петра Первого два метра четыре сантиметра.

ся с пятки на носки блестящих остроносок. – Два дня шалопайничать – жирно будет! Первого поскакали и хватит. А второе ми объявили воскресником. Для старшекласников. Прикажешь мне за тэбэ таскай металлолом, убирай наш парк? Где ти бил вчера?

– У себя на огороде сеял кукурузу.

– Опять кукуруз! Сэял он у сэбя! У сэбя!!! Вот твоя суть. Кто из тэбя вырастэт? Кулак! Мироед! Башибузук! Кругом праздник на мэждународни солидарности трудящихся! Всэ – вмэсте! Работ – вмэсте! Отдых – вмэсте! А он один у сэбе на огород! Долго такоэ будэт продолжай? Ти всэгда игнорируешь дружни школьни коллектив. Нет тэбэ на собраниях, нет на встречах, нет на воскреснике! Ти ставишь сэбя вне школьни общества. Какое же ти имээшь право представлять его на страницах уважаемой комсомолски газэти? Ти субъект повышенной опасности! Ничего не знаэш, строчишь всякую эрундистику-болванистику! Думаэш, я нэ знаю? Это ти зимой наябедничал, что на каникулах в нашей школе било скучно. Видите, нэту даже шахмат! Это твои чёрни глупости!.. Ти! Ти стукнул, толко другой памили подписал!

– Я такую заметку не писал. Я б не отказывался, напиши я. Чего мне прятаться за чужую фамилию?

– Хоа! Так я тэбе и поверил! – Он в экстазе кинул руки к потолку в жёлтых разбегах. – У Аржадзе нэту шахмат!

Он распахнул гардероб, подбито пал на корточки.

– Вот! – горячечно тычет в высокую стопу новеньких шах-

матных ящичков. – На! Проверь! – Он с грохотом сунул мне ящичек. – На! На! На!

Однако Илларион Иосифович излишне увлёкся. Набрал ящичков с десяток. Вот-вот вывалятся у меня из рук. Я кое-как поджимаю к себе стопку подбородком.

– Зачем они мне? Я не играю... Не умею в шахматы...

– Чтоб ты убедился и нэ писал чэпуху эсчо!

– В газете чепухи не бывает. Правильно ж написали. Разве шахматам место в вашем гардеробе?

Он зверовато уставился на меня. Прохрипел:

– Яйца курицу учат?! Хулиган! Бандыт! Постидись моих сэдин!

Я постыдился, вытянул руки по швам.

Коробки грохнули на пол, фигурки радостно брызнули куда какой хотелось.

– Ти самачечи!.. – Хрипучий его голос едва был слышен.

Он кинулся лихорадочно подбирать коробки, фигуры. В беспорядке лихостно метал всё назад в гардероб.

Я извинился и стал помогать ему.

Он оттолкнул меня локтем.

– Нэ трогай! Эсчо украдёшь мои пигури...

Господи, да на хрена мне его фигурьки! Что они мне – огород засеют? Воды принесут? Тригонометрию за меня вызубрят?

Я поднялся, пристыл столбиком. Стою наблюдаю, как ударно хлопочет наш чабан. Возится, шебуршится папашик

Арро, как мышь при галстукe в норе.

Мой глаз зацепился за слоника – упал в гардеробе на горку доспехов ревнивой барышни. Тут и расчёсок с дюжину, и баночки со всякими кремами, и ногтечистка, и пудреница, и щёточка, и чёрный карандаш для бровей... Над всей этой чепухнёй висят на жёрдочке задумчивые костюмы. Дорогие, один другого бойчей на расцветку.

Теперь до меня доходит, почему директорио, изячный, ре-спектабельный, румянький, духовитый почти каждую перемену выскакивает в коридор в новеньком форсистом нарядике.

Мне отчего-то становится совестно. Взгляд упирается в заляпанные грязью кирзовые сапожищи. В одной кирзе я шлёндаю в школу осень, зиму, весну.

Мешковатые штаны с пузырями на коленях сливаются в сапоги одутловато, гармошкой. И смокинг на мне не родня директорским. Нас три охламона. Вырос из пиджака старший, таскай середняк. Оттрепал середнячок – мой черёд. Долгие рукава пообтирались – бахрома сплошная. По самое некуда выдирал я её с мясом. Так и подсекало укоротить рукавчики топором на бревне, всё не соберусь. Да и без того всё на мне латаное-перелатаное. Видок мало не пажеский, только собак до инфаркта разжигать.

Себе я скучен.

Обозреваю стену и натываюсь на беспризорную мудрость:



*«Школа – учреждение, где старшие учат младших грамоте и прилежанию, а младшие старших – выдержке и терпению».*

Занятно. Взяли в рамочку, всё культуришь. Но кто это сказал? Спросить? Ну его, ещё вспышку даст...

Угрёб Илларион Иосифович шахматные побрякушки в гардероб, хлопнулся в кресло. Уф-уф! Сопрел, совсем сопрел! Кинул ногу на ногу, промокнул лоб вчетверо сложенным платком.

– У меня нэту своих на тэбя слов... – жёлто блеснул он. У него полрта золотого. – Повторю чужое... «Легкое отношение к жизни может привести к тяжелым последствиям». Ти к этим тяжёлым последствиям ужэ приэхал. В газэт тэбе болша делать нэчего... Допёк редакцию. Бедняжка ишэт общественни форм воздействию на тэбе. И нашла, дорогой, в моём лице!

Во мне всё так и обломилось.

Я пробовал взглянуть ему в лицо, в котором проницательная редакция что-то нашла, пробовал и не мог, ещё круче угинал голову.

«И газета меня по мусалам? За что? Или все они как сговорились?»

– Вот! – Он сошвырнул на зелёный край стола редакционный конверт. – Получи!

Я опасно взял желтовато-грязный конверт.

Сбоку он был аккуратно обрeзан.

– В-вы... ч-читали?..

Директор зверовато свёл толстые надутые брови.

– Читал... Твой письмо прислали в копии мнэ. Нэту у тэбя от меня сэкретов! Винужден читать твой письмо. А ти заподозрил мнэ в нэпорядочности?

Илларион Иосифович так усердно топнул, что в недрах шкафа испуганно звякнул звонок, что выпускал нас на волю с уроков.

– Смотри на адрес!

– Да. Письмо вам...

– А ти хотела лови мэня на слов? Подкуси язык, бумажка-марашка! А то вилэтишь из кабинет, как шампански пробка! Твоя счастья, что я должен провэсти с тобой воспитательни работ, а то б ужэ бил за двр!

Он хрустко развернул письмо, раскатился читать.

– *«Учэнику дэвяти класс махарадзэвски средни школ имэни Макси Горки»...* Тэбэ. Памили свой знашь сам...

– Знаю, знаю свою фамилию...

– Эсли забил, эсчо напомним... Долгов... Антон... Рэдактор всё подчеркнул синим. О-очэнь тэбе уважает... *«Копии: Дырэктору махарадзэвски средни школ имэни Макси Горки глубокоуважаемому товарищу Аржадзе Иллариону Иосифовичу»...* Как видишь, рэдактор мне тож уважает, но болша, чэм тэбя. Он мне, – папаша Арро торжественно воздел к небу указательный палец, – он мне глубоко уважает! Глу-

боко! Понимашь!?! А тэбе так... Нэглубоко... И мнэ он говорит товарисч! А тэбе ужэ нэ говорит. Не товарисч ти эму болша! И мне ти не товарисч! – принципиально отмахнулся от меня папик Арро.

И когда он принципиально махнул перед моим носом письмом, я увидел, что в письме ничего нету того, о чём с таким упоением он пел. В письме не было добавки: «глубокоуважаемому товарищу Аржадзе Иллариону Иосифовичу». Там просто машинкой настукано: *«Директору махарадзевской школы им. М. Горького»*. И всё! Никаких ни глубоких, ни мелких уважений! Ничего прочего. Зачем же папаша Арро своё желание выдал за редакторское?

– Читаем дальше... *«Сэкретарю Махарадзевского райкома комсомола тов. Багатурия... Ваше...»*

Это письмо из редакции я получил перед праздником. Я знал его наизусть.

Я слушал директора и не знал, что ему сказать.

Слышу, челюсть у меня отвисла. Да постоит, постоит! Да что он читает? Где он всё это взял? Разве может в копии быть то, чего нет в оригинале?

– У в-вас... – замялся я. – У меня напечатано просто. *«Директору махарадзевской школы им. М. Горького»*. Всё. Нету никакой прибавки. Нету «глубокоуважаемого товарища Аржадзе Иллариона Иосифовича».

– Ка-ак нэту?.. Твой письмо не годится. Твой письмо неправильни. Твой письмо нечесни. Скажэш, мэня и в кабинет

нэту? И кабинет не мой? Нэ забывайся! Кто я? Кто ти? Тэбе в редакции знают. А мэня не знают? Да? Знают и глубоко уважают!

Я распято кивнул, покраснел.

По его лицу скользнуло подобие удовлетворения.

– Продолжяэм ну нашу громкую читку... – заговорил он мягче. – «Ваиэ...» – Он снял очки, потыкал ими в меня. – Твоё! Имэнно твоё!

Я резко отвернулся от него.

– Ти пачаму нэ хочэш слушать? Чито ти думаэш?

– Я думаю... В гимназии учитель обращался к ученику на Вы уже с первого класса... А я уже в девятом.

– Вах-вах! Ти нэ забывайся! У нас советски школ, а не твой говназия... Ишь, прынц насакиралски! Нэ прынц ти. Ти политицки недозрели кисли алыча. Ти чито, хочэш вэрнуть гнилой самодержавью? Ми тэбе исчо за политицки незрели мысл... мыслялки твои из комсомол тэбя бабахнем. Сиди и молчи, как килька на приёме. Лучше слушай... *«Ваше последнее письмо, впрочем как и многие предыдущие, вызвали среди всех работников редакции справедливое недовольство, недоумение и сожаление по поводу того, что будучи еще школьником вы уже оказывается зазнались (какая причина я не знаю) и начали вообразать довольно развязным тоном упрекая редакцию в чем-то непонятном.*

*Откуда у вас такой тон, стиль, почему вы вечно чем-то недовольны, и, наконец, почему вы не считаетесь с друже-*

*скими советами старших товарищей из редакции?»*

– Фуй, какой букэт! – директор кинул лист на стол. – Зазнайство! Развязность! Упрёки! Нэдоволство! о тебе сама редакция говорит. Нэ я. Пачаму ти не считаэшься с дружэскими советами старших товарищей из редакции? А? Что всё это значит? Что случилось?

Я пожал плечами и молча всматриваюсь в широченные калоши – стояли в углу друг на друге чёрным крестом.

*«Желание еще раз, – читал дальше директор, – помочь вам советом и вниманием заставило меня написать это письмо.*

*Ни один наш юнкор (а их немало) не доставляет нам столько хлопот и не отнимает столько времени, сколько вы. Если вы считаете, что пишете интересные, нужные и вполне удовлетворяющие требования любой сегодняшней газеты материалы, то глубоко ошибаетесь. Вам еще долго и немало надо работать, чтобы заслужить право печататься на страницах газеты, тем не менее мы стараемся кое-что использовать, а кое-что объяснить в наших ответах. Но вам ничего не нравится: ни то, что публикуем ваши заметки с редакционными правками, ни то, что мы отвечаем вам». Скажите, како классик!.. Эго ужэ нэ устраивает редакционная правка!*

– Не устраивает, – глухо подтвердил я. – Я пишу вот как есть. Просто... по-человечески... А там как накрутят, как накрутят... Дым винтом... «Воодушевленные историческими решениями предстоящего очередного внеочередного

съезда родной Коммунистической партии и всех последующих её пленумов, встали на героическую трудовую вахту молодые славные труженики расцветающей советской деревни!» Вплетут в строку комсомольский огонёк напару с задором... И пошла, и пошла барабанная трескотня. Стыдно читать. Не писал я такого, а внизу фамилия-то моя. Красней я. Я просил, лучше бросьте в корзинку заметку, только не ломайте на свой паточно-сусальный лад. Не обстругивайте, как палку.

– Слюши, кто должен кого слушать? Ты их или они тебя? Им хужэ знать, как и чито?

– Не спорю. Но почему все заметки резаны под одну гребёнку? Где рука автора? Я хочу узнавать в газете свои заметки, а не только свою фамилию.

– Уф! Уф! Патриах всея Всэлэнной! Сразу видно, переучили ми тебя. Крэпко пэрэучили! Саму рэдакцию киртиковать! Думаэш, я нэ умэю киртиковать? Самого Толстого!!!

Илларион Иосифович подолбил когтистым ногтем в стол, где под стеклом желтела цитата из «Войны и мира»:

*«Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов, и все, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно».*

– Эух! Шэст что, чэтырэ все, три это, три он, три ему! В один фраз! Это красит мирового классика? Нэт! Это позорит даже махарадзэвского двоэчника! Крупни, очен круп-

ни недоработка классика! Макси Горки прямо скажи: «Толстой очень хорошо умел писать – он по девять раз переписывал. Пока наконец не получалось коряво». Зачем тэбэ писат коряво? Хочэшь бить корявэй Толстого? Нэ позволим! Не до революции живёшь. «Молодой сталинец» учит тэбя писат по-советски, счастливо. Ти должен благодарить редакцию. А ти?

Илларион Иосифович вздохнул, машинально потрогал макушку своего ёжика, попробовал разлизать его пальцами на косой пробор, бросил и без видимого желания поднёс лист к глазам. Забубнил:

*– «Еще в августе прошлого года редакция обращала ваше внимание на развязность тона, необоснованные претензии и грубые упреки, с которыми вы, ученик и совсем еще молодой читатель нашей газеты обрушились на редакцию.*

*Однако письмо нашего работника прошло мимо вашего внимания и вы продолжаете писать письма в прежнем духе.*

*В чем дело? Что случилось? Как вы смеее так писать в редакцию нашей газеты?*

*Я представляю, как вы ведете себя в школе, как обращаетесь с товарищами, а может и с педагогами. Поэтому я и решил направить копию этого письма директору вашей школы и секретарю райкома комсомола.*

*Вспомните всю вашу переписку с редакцией и подумайте, постарайтесь сделать выводы, попытайтесь критически отнестись к своим действиям, посоветуйтесь со старшими*

*в школе и в семье.*

*Учтите, что, если вы и в дальнейшем не пожелаете прислушиваться к нашим советам, стараться удовлетворять требования редакции, то мы не в состоянии будем использовать присылаемые вами материалы и заниматься безрезультатной перепиской, тратя на это время и энергию наших работников.*

*Редактор газеты «Молодой сталинец» О.Кинккладзе.»*

– Ну что, тихий гэний, скажэш? Сам рэдактор пишэт! Чито прикажэш им отвечать? – Илларион Иосифович злоще тряхнул письмом. – Исправился? При беседе ошибки признал свои, осудил, раскаялся и в монастырь просится?

– В чём мне раскаиваться? Редакция напридумала мне полный мешок грехов. Поклёпница... А я им верил... Я им больше ни строчки не катану! Тупые костыли!

– Чито ти мэлешь, острый гвоздик?

– Хорошо, что газету вычитывают корректора. А то б над грамотёшкой вашего редактора хохотали б все куры. У него, извините, острый дефицит запятых. Причастные обороты... Даже вводное слово *оказывается* не хватило ума обнять запятыми.

– Вижу, пэрэучили ми тэбя свэрх всякой мэри. Ти чито, звёздочку поймал?<sup>83</sup> Как ти смээшь грубить уважаемому рэ-

---

<sup>83</sup> **Звёздочку поймать** – зазнаться после достижения каких-либо высоких ре-



дактору в моём очэн уважаемом лице? Ти эсчо напиши эму, чито он неграмотны. Он газэт дэлаэт! Вся страна-цветок Грузия читай! Рэдактор нэ можэт бит неграмотни! – Он грозно ахнул белёсым кулачком по столу, подул на кулак. Видимо, зашиб. – Дэмагог! Всё, я сказал! Я эсчо вижму из тэбя образцови поведень. Подчиню твёрдым унифицированным законам советски школи!.. Понимаэш, язык туда-сюда... Убйрайся! Бэз матэри завтра не приноси сюда свой нос! Сэгодня на занятиях нэ бил и не допускаэшся!

– Был... И оценку добыл.

– Оценку! – передразнил он. – Без матери никаких оценок. Оценку твою ми ликвидируем как вредни класс!

– Спасибо.

– А что там у тебя?

– Да так... Пустячок... Слова не стбит.

– Ну, полслова скажи.

– Двойка по тригонометрии.

– Оух! Двойка международная оценка! Неприкосновенна! *Persona gratissima!*<sup>84</sup> Веди мат, гэрой нашэго вэликого времени!<sup>85</sup> Я недавно бил у вас на район как внештатни инструктор и агитатор от райком партий. Я нэ мог сэбе позволить подойти к ней... Опуститься так... Тогда все скажут: это что за дырэктор, что сама прибежала домой к матэри

---

зультатов.

<sup>84</sup> *Persona gratissima* (лат.) – желательнейшая личность.

<sup>85</sup> Герой нашего времени – двоечник.

безответственни лоботряски!?! Она воспитала такого, пускай суда и прыходыт... А тогда мнэ било не до нэё. Я приезжал на район по поручень партии! Я тэбэ нэ кто-нибудь... Внэштатни инструктор, пропагандыст и агитатор на райком! Я харашё разъясни народам проблем приближень камунизма. Ми всэ строим... ужэ стоим на порожка камунизма! Ти тоже возле эта порожка бегаэш? Нэ бэгай напрасно! Не попадёшь ти на эта порожка! Нэ пустим тэбэ на камунизма!

Я как-то бесшабашно легко – как с куста! – отнёсся к директорскому приговору и даже не огорчился, что меня не возьмут в коммунизм. Сейчас меня крайне занимало другое. Я был на подбеге к радости, что мои догадки сошлись. Оказывается, городская папаха, агитировавшая за перестройку нашего посёлушка, и наш дирюжка – одно лицо! Ещё в прошлом году я не мог его знать. Я ж тогда бегал в свою совхозную школу, в восьмой класс, и только в этом учебном году сунулся в девятый класс в городе, к Аржадзе.

С минуту я вымолчал и потом с напускным огорчением деловито посмотрел на него и подчёркнуто почтительно спросил:

– А что такое коммунизм?

Он уставился на меня поверх очков дикошарым взглядом разъярённого быка:

– Ти сумачечи? Да?!.. Посмотри на этого!.. Он нэ знает, чито такоэ камунизма! Всэ знают! Малэнки рэбёнка-цыплёнка спреси – знает! Одна эта балбесик нэ знает! Корэспон-

дэнт!

– Расскажите, и я буду знать...

– Тэбэ нэ расскажю!.. Как ти смээшь писать на комсомолск газэт, эсли нэ знашь, чито такоэ камунизма? Писать на газэт должна передови комсомолец. А какой ти передови? Нэ знашь дажэ, чито такоэ камунизма! Тэбэ, f, f, надо исключить как политицки нэзрели элэмэнт из школи!.. Тогда ти сразу узнаэш, чито такоэ камунизма! Сра-а-а-азу!!! Но!.. Нэ знаэш ти – камунизма тожэ принципиални! Нэ знаэш ти камунизма – камунизма тэбя тожэ не знай! Нэ возьмём!.. Нэ пустым тэбя на камунизма!.. Сперва вирасти достойним... В какоэ високое врэмя ми живём, а он эсчо двойки по тригонометрии таскает и дэрзит самой редакции!.. Вэди завтра суда свой мат! И кончаэм эту базар-вокзал!.. Поговорю, чито ви с Глэбом за соколи... Випустила она вас из рамок... Глэб через раз является на уроки... Как солнышко... А конец апрэля совсем нэ ходил на школ!.. Этот ругает рэдактора, хватает двойки и эсчо, – он охмелело выкрикнул, – опаздивает!

Его шалый взгляд вмельк зацепился в углу за недоделанный стенд дежурного класса. Густой гнев поднёс Иллариона Иосифовича к стенду, и в верх пустой ещё колонки он разбежисто и криво вlepёхал красным карандашом:

*ПАЗОРОПАЗДУНАМ!*

Затем с угрюмой, с мстительной раздражительностью толсто обвёл *свой позор* и под номером первым красно, разгонисто вlepил мою фамилию.

Ну не ёперный театр?..

*Всякий человек может поступать так, как ему  
не хочется.*

*Г. Малкин*

На переменке я вернулся в класс.

Подлетела Почему.

– Антонеску! Кучерявка<sup>86</sup> тебе улыбнулась? Срочно рапортуй, какие успехи! О чём шептался с тобой святой отец Арро?.. Да этот недоструганный папахен тебя не стукнул? Он может...

Я кисло отмахнулся.

– Отвянь, дерево...

– А всё же? Ты чего нахохлился, пернатый?

– А-а!.. То... сё... Благодарил клыкастый попе-ремен-ке то за громкое поведение, то за тихие успехи... Большущее спасибо подал, да я до класса не донёс.

– Не тяни... – зудела Почему. – Похоже, падре серьёзно готовился к важной встрече с тобой. Вырядился начикчик. При кляузе<sup>87</sup>... Дедушка на выданье! Обалдемон!.. Чего ему от тебя надо?

– Дерьма с брусникой.

---

<sup>86</sup> **Кучерявка** – удача.

<sup>87</sup> **Кляуза** – галстук.

– А точнее? Что этот кипячёный тебе шепнул?

– Слил кипяток и приспокоился... Поздравь... Я persona non grata.

– Ненадолго?

– Пока мамычку не приведу. Соскучился по ней папашка Арро. Привести просил покорно, наступя на горло.

– Приведёшь?

– Неа. Кóбушки ему! Что я, свистнутый? Придётся отказать Кошкюеду в горячей просьбе. Пускай этот диря сперва остынет, а там... Чего захотел... Мать в краску вогнать...

– Слушай, чем ты дурика огорчил? Чего он из штанишек выпрыгивает?

– Из колонны не помотал ему лапкой Первого мая на трибунку.

– Серьёзно? Не был на демонстрации и за этот гнать? Из-за такого глупства? Финиш!.. Ну что с той демонстрации? Мёду опиться? Кому она нужна? Что она даёт? Ну?.. Какой-нибудь перекормленный боровок после сытого завтрака чинно собирает отрыжку в кулак и с трибуны на потешку дурия гаркнет через динамик в текущую толпу: «Ур-р-ря-я, товарищи!» В ответ колонна без ума машет бумажными букетами, шарами, визжит поросяче: ур-ря-яя!.. Ну и какой прибыток от этого ора? Что продемонстрировано? Кому? Ну, до дуру наорутся славиц в честь каких-то своих кижевских победок, наурякаются, наулююкаются над гнилым Западом, загнивание которого нам с минуту на минуту твёрдо гаран-

тируют сорок с гаком лет, а он всё никак, гад, не гниёт... Ну, нагалдятся и разбегутся по своим чумам. Усталые, голодные, захмелелые. А кто подсчитывал себестоимость демонстраций? До-ро-гая штукария. Тонны рублей! В маленьких городах ещё так-сяк. А в Москве, соседский знакомец рассказывал, ещё потемну, в шесть утра слипаются, как мыши, в колонны у своих заводов и с окраины тёпают к Кремлю. До трёх часов на ногах. Людям отгулы за демонстрацию дают. Чего всё это стóбит? Так не лучше эти убитые миллионы пустить тем же старикам? Вон моя бабушка получает в колхозе в месяц *один* рубль пенсии. Пустить на те же дома. Вы три взрослые сына живёте с матерью в одной комнатёхе. Может... Не может, а точно вашу квартиру слопала та же демонстрация. Что же перед нею приседать?.. Что ты собираешься делать?

– Мыслята кой да какие шевелятся... Программа-максимум прежняя. Учиться, учиться, учиться. Программа-минимум... Не скажу матери. Не рвать ему крапиву моими руками. Второе. Устрою свою демонстрацию по кличке забастовка. Бастую до понедельника. Двигану в закос.<sup>88</sup> Постараюсь завтра не осквернять школьный горизонт своим присутствием. Перекукую бурьку в стакане воды на огороде... Досевать тоже надо. А в понедельник *сам* при встрече и не вспомнит, чего же хотел от меня сегодня, в пятницу. Могу я надеяться на помощь его верного друга склероза?

---

<sup>88</sup> **Закос** – прогул занятий в школе.

– Как на себя! Я, бастун, тоже не приду завтра. Ты ж во всём прав до неба!

Она положила передо мной на парту однушку. Я отдал ей свою. Разменялись горем: бери моё, а я твоё. На удачу!

– Выменял слепой у глухого зеркало на гусли, – пробую я шутить, но как-то не шутится.

Я благодарно кивнул ей за поддержку, вбросил тетрадь, дневник с двойкой за пазуху, самоловчик в карман и быстро вышел.

В саду меня нагнал запыхавшийся Юрка.

– Что ж ты так летишь впереди пороссячьего визга? Чего втихаря линяешь?

– Отвали на метр сорок...

– И не подумаю! Так чего ты втихарька?

– А надо, – поднимаю глаза к болтуну репродуктору на столбе, – по радио объявить?

– Клевяк!<sup>89</sup> Я тоже срываюсь с уроков досрочно!

– А льгота где? Ты почему даже задачку не решил?

– А! По случаю праздника размагнитился... Творческий климакс... В другой раз...

– Такую простуху не решить...

– Простуха? Да над этой простухой весь генералитет жарился и не решил! Я срываюсь вместе с тобой!

– А ты заработал на то право?

---

<sup>89</sup> Клевяк – прекрасно.



– Хох! У меня тот же минимум трудодней. На демонстрации, на воскреснике не был, парашу<sup>90</sup> честно вырвал. Всё чик-в-чик. Как у тебя. Странно. Не пойму... За одни и те же достижения одного скачнули на цугундер,<sup>91</sup> другому всё до упора прощено. Даже никакого замечания! Будто так и надобится. Почему?

– Везунчик ты.

– А я подачки не собираю. Не хочу! Я сам себе дуректор. Не буду ходить, пока тебе не разрешат. За ту ж вину сам себе выписываю равную кару. Стребует подать родителей... Пожалуйста! Пообещаю мамайю привести. Он у меня позеленеет, ожидаючи её. В больнице ж... Может по звоночку проверить. А батечку заявлять не стану. Скажу, в отпуске. Уехамши. А то на радостях ещё пузырь пану дерюжке потащит, да по дороге сам весь и оприходует до упора... В гордом одиночестве нанесёт решительный удар по невнятной жизни... – Юрка уныло щёлкнул себя по горлу. – Страсть пожевать хмельку всю жизнь батеньку качает...

Влетели мы в свою в районную калитку – с жары разбито машет нам бригадир Капитон Джиджиешвили. Его все звали Капитолием.

---

<sup>90</sup> **Параша** – двойка.

<sup>91</sup> **Взять нацугундер** – посадить в тюрьму, расправиться. От нем. zuhundert – к сотне (ударов розгами, шпицрутенами) – приказ о наказании провинившегося в русской армии 18-19 вв.

– Юрика... Антоника...

Внимательней пригляделись – он под мушкой-цокотушкой.

– Капитолио, по какому случаю капитально шатаемся? – любопытничает Юрка.

Капитон зацветает покаянной улыбкой.

– Сэгодня, Юрика, скромно отмэчали дэн гранёни стаканчика...

– Да-а, большой праздник... – серьёзно соглашается Юрка. – День гранёного стакана... Грех пропустить...

– Юрика... Антоника... бэй звонок! Двэнадцат... Обэда!..

Юрка подхватил с земли ломик, со всей мочи туго саданул по машинному ободу – свисал с проволоки меж ёлок напротив столовки.

Угрюмый стон оплеснул всю округу.

Дрогнули на бугре согнутые над чайными рядами бабы; ладясь толком разогнуться, потекли к дороге, к тени ёлок, где проворная малышня, что заждалась матерей на обед, с огромного брезента таскала вороха чая в ящики и набивала кто кулачками, а кто ногами, – и взлетала над ящиками детвора весёлыми разноцветными мячиками.

Я стриганул в очередь за хлебом.

Нескоро еле выкружил я из давки с тремя глинистыми кукурузными буханками.

Гляжу, за колодцем Капитолий записывает мамин вес в тетрадку. Мама аккуратно рассыпает чай из своей корзинки

по всем ящикам.

– Правильно марафэт дэлаэш, Поля! – заискивающе ободряет бригадир.

Мама и хмурится, и краснеет. Не покрасневши, лица ей не износить.

Ей совестно, что чай в ящиках один хлам. Драли все, кто как мог.

Капитошик и ей намекал не церемониться. Шморгай! По-злей! Город всё проглотит! С фабрикой договорился, примут всякий сор. Начало месяца, рисуёшь план с нуля!

Все чуть ли не кусты с корня сдёргивали, а ей это тупик. Не может как все. Растерянно, осторожно, будто пинцетом, обирала с кустов лишь два листика и почка, два листика и почка, два листика и почка... Экстра! И своей экстрой прикрывает теперь, притрушивает по ящикам чужой разбой, чтоб на фабрике лаборанткам не так рвался в глаза.

Наконец мама хлопнула по перевернутой бамбуковой корзинке; последние чайники бросились в ящик, и она, не отымая глаз от земли, сердитая, по-солдатски широко пошагала прочь.

Сегодня была сильная роса. С кустов налило в резиновые сапоги. Вода ворчливо чавкала в них. Мокра юбка, мокра даже кофта.

Солнце сосало с мамы сырью; она устало брела, как мне привиделось, в каком-то паровом, нимбовом сиянье.

Мама прошла мимо, не заметила меня.

– Полина Владимировна, уж здрастье, пожалуйста! – дураковато подпустил я ей вслед.

Мама оглянулась, вприщурку уставилась на меня, словно на человека, которого где-то, кажется, видела, но никак не могла вспомнить, где именно.

Я пошёл с нею рядом.

Одной рукой я вёл велик, другой поджимал к боку три плоские жёлтые буханки.

Она молча взяла хлеб в корзинку, настороженно спросила:

– Что так скоро сёгодня? Не выгнали там за слишком звонкие успешности?

– За успехи, ма, кто ж выгонит?.. Трёх уроков не было. После праздника учителя болеют тяжело.

– Уже и зна... Чи жало... Сговорились, чи шо?

– Не знаю. Не докладывали... Я знаю только то, что в моём кулаке.

Я помахал кулаком с деньгами, как флажком, из стороны в сторону и гордовато разжал кулак. На выгнутой ладонке подал вспотелые пятёрки.

– Спрячь! – полохливо шикнула мама. – Посередь земли деньгами махать!

Эха, а я хотел как лучше...

Ещё на столовских ступеньках доложил пятёрку из своих в молочную выручку. Думал, отдам, посчитает и похвалит. А она – спрячь!

Я пихнул деньжонки в карман. Отвернулся. Запустил вилки в шкирки<sup>92</sup> и молчу иду.

Не стоило докладывать из своих. Мама ничего не знает про гонорар. Думает, заметки в газете – это глупоньки, за которые не платят. А мне, представьте, платят. На почте я прячу свой копеечный гонораришко в тряпочку и в великову сумку. Это моё НЗ. В чёрный час я разворачиваю тряпицу...

Мало-помалу разгорается жизнь в посёлушке.

Обычно он кротко спит. И лишь под звонок просыпается. Съедаемый жарой, туда-сюда угорело заметался люд. Этот швырнул корзинку на крыльцо и, срываясь на бег, с ведром летит в очередь к колодцу или к кринице. Тот скачет за хлебом иль ещё за какой магазинной надобностью к столу. Час, всего один час на обед. И купи, и сготовь, и успеи ещё в дело произвести – поесть. Третьего на полпути встретил его же кабанчик и жалобно ноет следом. Обедать, ну обедать давай скорей!

– Ты чё сапуришься? – спросила мама.

– А что... Нож в зубы и лезгинку плясать?

– Плясать не трэба... – Помолчала, заговорила мягко: – Вынесешь, сынок, кабану. Курей пощупай... Какой нечего нести, выпусти... Яйца сбри... Да голодом сам не сиди. Что-нить сконбинируешь.

– А вы?

---

<sup>92</sup> Запустить вилки в шкирки – засунуть руки в карманы.

– На речку сбегая. Вчера в ночь постирала. Надо пополоскать да в садочку развесить. Само хиба пополощется?

Дома я выложил городские купилки на стол.

Мама не разворачивала, не считала. Подержала на вес, вложила в платочек и вкинула за портретницу.

– Спасибочки, сынку, за старания... Попали в счастье... Тепере мы ще поборюкаемся... Только... – она улыбнулась. – Ты у нас не труского десятка. Случаем, банк не грабонул?

– Да вроде пока нет.

– А что тогда так много?

Я скромно опустил глаза:

– У меня всегда королевский барыш.

– Молодец. Хватко продаёшь. Я и то никогда не брала такой цены за мацоню. У тебя молочко в сапожках щеголяе. Не то шо у Митьки.

С базара Митечка жёг в книжный. Ой, все люди в шапках, один этот чёрт в колпаке. Накупит вагон книжек, что на него глядели. А взгляды у них дорогие, пускай и ласковые. Что оставалось от тех взглядов, то и добегало до портретницы. Чаше добегали дырки от бубликов.

Но хоть одну книжку братка-книгоед уберёг? Мыши не все ли слопали?

– А всё ж, хлопче, меня терпение разрывает... Скажи, ты чего сёни так рано приспел?

– Пристали... Да посламайский мор на учителей! Поди,

наздравствовались... Не понятно?

– Не понятно... Что они у вас, забастовали?

– У них и спрашивайте. Нам начальство пока не докладывает.

Я подхватил корчажку с мешанкой и побежал в сарай к кабану и курам. Иначе не отвянет полохливая матушка с распросами. Неужели она догадывается?

Я стараюсь не думать о школе.

Лучше про мельницу.

Сегодня мне нести молоть кукурузу.

Мне нравится ходить на мельничку к Теброне.

Пока мелется моё, я могу спокойно учить уроки. Пускай культпоход в школу на завтра и отменен. Или я ради пана дира бегаю в ту школу?... Я учу, а надо мной похаживает солнышко. Странно...

Обычно на уроки остаются ночи. В двенадцать выдёргивают ток. Я зажигаю пузатенькую чумазую лампёшку, и она уныло, слеповато постреливает до первого света дня, словно жалуется, как же ей спать охота.

А тут – солнце!

Надоест долбёжка, паду на каменную стенку ларя с водой, откуда она бьёт стальной струёй по колесу и зло вертит его. Кинешь руку в воду... Бурун рвёт, ввинчивает руку в тёмное дно холода...

По лестничке спустишься под мельницу. Колесо сердито разбрасывает брызги. По перекладинам, как по Невскому,

суетливо прогуливаются небритые, усатые крысы. Вечно они куда-то спешат, и брызги с колеса в зной им что благодный душ.

Отработанная вода растерянно отваливается от колеса, одурело стоит в пене на месте – так устала, так умаяло её чумное круженье. Робко лопаются на ней последние пузырьки и, притихлая, какая-то поруганная, разбитая в матёрой пляске с колесом, она медленно, надрывчато скатывается снова в речку Скурдумку и пошатало её дальше, к морю.

Во мне все каменеет.

Мне жалко эту обиженную воду. Такое чувство, будто её выжали и выбросили. Но разве можно выжать воду из воды?..

Вернулась мама, пихнула пустой тазик под койку.

Только распрямилась – звонок.

– И-и, девка!.. В такой обед дулю с маком токо и успеешь сгрызти. Ото жизнюка нас накрыла! Некогда зажевать... – Она бросила в корзинку жёлтую плиточку пластилинового хлеба из кукурузы, луковичку, соль в газете. – По дороге сжую... Когда ж ты, гарна житуха наша, и похужаешь?

– Ма! Вы не забыли, что мне на мельницу?

– Оно и ты забудь. Глеба побежит в школу, по пути занесёт.

Наскочил топор на сучок!

– А если забудет? – выгораживаю я себе мельницу.

– Го-осподи!.. Кобыла жеребится, а у нашего мерина брю-



хо болит! Что ж он, с чувалом в школу поскачет?.. Всё. Я пошла. Тебе раскомандировку даю на чай.

– Как же!.. Бегу!

– Только не упади.

Я не нахожу себе места. Мельницу – Глебуне! А ты на проклятуший чай. До ночи раком торчи!

Помалу обида во мне притухает.

Делать нечего.

Вытащил корзинку из-под крыльца, поплёлся за всеми.

Сзади послышался неумелый хриплый свист.

Я оглянулся.

– А, Тань...

– Салют, заместитель жениха!

– Салют, незаменимая невеста!

Она надбежала, на ходу воткнула, как матрёшку в матрёшку, свою корзинку в мою на плече.

– Эксплуататорша ты, Танюта.

– Молчи вези. Неча с вашим братом панькаться. Нахалюги!

– А я при чём?

– При том. Все вы смирененькие, покуда спите зубами к стенке!

– Так точно. Копим силы хулиганить с барышнями.

– Ну, у тебя, небось, чепурная городская меленка<sup>93</sup>? Ногти

---

<sup>93</sup> **Меленка** – ветряная вертушка с трещоткой для отпугивания птиц.

на ногах красит... А шею моет хоть по праздникам?

– Что ты так переживаешь за чужую шею?

Мы свернули с шоссейки.

За посадкой – ели в две шеренги – мамин участок.

Мама уже далече утащилась от края.

– Ан, – говорит мне Таня, – а давай вместе гнать один ряд?

Кусты широкие, одной не обогнуть путём.

– Мне что... – соглашаюсь я.

С корзинками на боках мы склоняемся друг к дружке лицами, гоним один ряд.

Задубелые тяжёлые Танькины кулаки проворно взлетают, толкутся над кустом. Когда она и успевает схватывать и ломать разом целые кучки хрупких, хрустких чаинок? Машина!

Завидки подкусывают меня. Я так быстро не умею. Я добросовестно и медленно, как мама, сдёргиваю по одной чайинке указательным и большим пальцами, будто выщипываю пинцетом. Стараюсь я, но из моих стараний один пшик и сваришь.

Мимо прожгла машина с фабрики.

Пустые ящики в пять ярусов пьяно куражились, подскакивали, грохотали, шатались, готовые вывалиться за борт.

Из кабины захмелелый бригадирчик погрозил победно-ватным кулачком, сверкнул беспомощной, шельмоватой улыбочкой.

– Ты всё понял? – спросила Таня. – Ты понял, что обе-

денный чай приняли? Что Капитану – так она звала Капитана – пришлось подмазать? И тако наподмазывался, что языком не ворухнёт? Лишь жмурится, как котяра на сметану. Его подмазки хватит и на вечер. Так что дери. Первым сортиком сбегрит! Только кирпичи в кошёлку для веса не суй.

Я бросаю выщипывать по одной, смелею. Ломаю через указательный палец. Сколько загребу. Таня шморгает всей пятернёй, только зелёные чубы на кустах трещат.

Бывает, я нечаянно схвачу её за мизинчик.

Радость обольёт меня, я воткну взгляд в куст, примру.

– Заместитель жениха, не шали, – строго буркнет Таня.

Строгость у неё такая, что меня тут же подпихивает чёртушка снова ненароком хоть скользом коснуться её руки.

– Мальчик, ты доиграешься! Понизию в должности. Уволю из замов! Без выходного подсобия!

И лицо, и голос её не слушаются.

По ним я вижу, никаким увольнением и не пахнет.

– У нас, Тань, стаж какой... с детсада... Разве поднимется душа прервать?

– Опустится, переливная ты вода...

Как раз полно набилось в кулаки чаю; тугим чайным букетом она тыкнула меня в плечо, зарделась.

Нам было года по четыре.

Вечер.

Сад уже распустили.

Дóма наших никого и мы по обычаю побежали к калитке у столовки встречать их с плантации.

Всегда мы толклись у всего мира на глазах у калитки. А тут занесло нас под столовку. Там спали в пыли куры. Темнота заворожила нас. Мы тихонечко присели на пенёчек. Головы на ладошки. Ждём своих. Где они, бездельники, и бродят хиньями по-за тыньями? Они только ногой в калитку – мы разбойниками выскочим из подстоловской темноты и напугаем!

Сидим себе чинными старичками. Молчим.

Вдруг заглядывает к нам в темноту пьяный Капитан. Лыбится плутовато. Точь-в-точь, как сейчас из машины.

– А-а!.. Жэних и нэвэста! Ви чито тут дэлаете? Играэте в папу-маму?

– А разве есть такая игра? – пискнула Таня. – У меня нету ни папы, ни мамы. И у Антошика нету папы... Мы играли в дедушку и бабушку.

– Это как?

– А сидели на пенёчке рядом и горевали вот так. – Она принесла ладошку под щёку.

Капитан заржал.

– Эуф, старики! – Он поманил меня пальцем. – Ути-ути! Иди мнэ, старик... э-э... жэних.

Танька вжалась за ближний столбок – столовка стояла на столбцах в полчеловека. Я тоже хотел побежать с нею спрятаться, но ноги сами повели к бригадиру.

– Я не жених, – заоправдывался я.

– Значит, ио или замэститэл жэниха.

С той поры Таня и прозвала меня заместителем жениха.

Бригадир постучал меня по уху.

– Знаэш... Эсли настоящи мужчина подойдёт к настоящи женчина в настоящи тэмнотэ, бюджет, извини, сначала болшой замыкань, крэпки искра, а потом ма-аленьки крикливи кин-дарёнка!

Во мне срочно прорезалась нужда в слезах. Я заплакал.

– Я не подходил!.. Мы тольке сидели рядомша.

– Эуф! Они *вдвоём* сидэли! Эсчо хужэ! От этого двояшка бюджет! Чэм алименты платить будэшь? Дэнга эст?

– Н-нету...

Мне стало жутко. С рёвом я жиганул по району.

– Злостни алиментщик! – улюлюкал вослед бригадир. – Исполнительни листик тэбя вездэ поймаэт. Турма тэбэ бюджет! До старости лэт! Бэги, f,f, далэко-далэко!

В районе меня найдут!

Я спрячусь ото всех! И меня не найдут! Убегу в овраг, что разрезал бугор. Пускай овраг и видно из нашего окна, но туда все испугаются пойти. Овраг весь порос страшными колючками. Там и днём темно! По ночам в овраге воют чикалки (шакалы). Говорят, когда они воют, они садятся в кружок.

Сядут кружком, шатаются, как запивошки, и жутко воют-поют на все стороны.

Я вскакну в ихнейский кружок! Пускай хоть кто подойдёт!

Хотько кто! Порвут за меня чикалки!

В овраге под вязкой, разлапой ёлкой совсема темно. Ёлка была похожа на чёрный брюхатый столб.

Я отдышался и как-то скоро засомневался, что чикалки мне друзья. Откуда они узнают, что я не охотник? Если б хлебаца дать... Они б и пустили в кружок. А так... Танька говорила, когда чикалочки плакают, еды просят. По ниточкам не разнесут?

Мне увиделось, как чикалки обсыпали меня кружком, сели, заобмахивались лопухами. Я подумать ничего такого не успел, как очутился на гнучкой, на клейкой макушке ёлки. Макушке что-то не стоялось на месте, валилась то туда, то сюда. Я валился за компанию с нею.

Сверху я размыто увидел нашу мазанку. Перед чёрными нашими окнами мама топила летнюю печку. Когда она открывала дверцу, пламя красно обливало её. Чего она пекла? Чего варила? Хоть бы одним глянуть глазком.

У другой мазанки играли в жмурки.

Кто сейчас прячется с Танькой за сараями, в чайных кустах? Кто жмётся к её весёлому плечу? Скобликов? Суржик? Сергуня Смирнов? Лёник Солёный?.. Или Юрка?..

С бугра тяжело загрохали сапожищи. Примёрли под моей ёлкой.

– Антоника! – размыто позвал бригадир. – Виходи, дорогои... Алименти, f,f, отмэняются, турма закривается... Про алимент я никому не скажу... Жарэни пэтушэк клу-

нул... Знаэш, когда пэтушэк садится на куричку, он ласково бьёт эё нэжным клювом по головке и нэжно трэбуэт: про алименты, дорогая, пожалуста, никому нэ говоры! Эта пэтушэк мнэ тожэ это сказал. Я про алимент буду молчи... Не бойся, выходи, дорогой. Ничаво тебе нэ будэт! Я маленьки шутку нашутил... Мне эщо чай на паabrik везти. Когда?.. Выходи, дорогой, f,f... Эщо получу за тэбя сэм копээк...<sup>94</sup>

Я остановил дыхание. Отмолчался.

Он побрызгал, зло хрустнул пальцами и покатился медведем в кутерьму оврага.

– Антоника!.. тоника... ника... – лилось жалобно из низины.

Голос бригадира сгас.

Неужели он и взаправдушке пошутил? А если сейчас шутит? У кого спросишь?

Чёрный сырой овраг резали бесстрашные светлячки, стоны лягушек. Я боялся смотреть вниз. Я тарацился на смутное белое пятно печки, на её красный свет, радостно выскакивавший посверх дверцы, и страх помалу вынимал из меня свои коготочки.

Я ясно расслышал, как мама печально позвала меня.

Я заплакал и кинулся торопливо слезать с ёлки.

На земле я закрыл лицо локтем – не так боязко – и по звончатой тропке меж чайных кустов, отглаженной босыми

---

<sup>94</sup> **Получить семь копеек** – быть расстрелянным. Семь копеек стоила револьверная пуля.

детскими ногами, ударился к дому.

Свет от печки доплескивался уже до меня.

Я присел за лохматый чайный куст.

Дождлся, мама зачем-то пошла в комнату, шмыгнул за плетень, врылся под сушняк на топку.

Теперь я лежал рядом с печкой, слышал её тепло и всё видел сквозь плетево хвороста.

Скоро вернулась мама.

Вылетели из ночи Митрофан и Глеб. Задыхаются с бега.

– Нема? – быстро спросила мама.

– Неа.

– Где ж его ще шукаты? Ну бригадир!.. Ну чёртова ляпалка!.. Любитель шутки крутить. Глупёха... Одна дурь из него фонталом бье... Засыпал в горло сорок градусов... Намолол хлопцу... на трёх тачках не вывезти... Ну что ещё делать? Ну где ещё искать? Пробегусь сараями да к агроному... Или сразу к коменданту?.. А вы туточки ешьте, ешьте...

Митрофан и Глеб тихо присели на лавку.

Между ними стояла под рушником тарелка с тёплыми дырвявыми блинцами. Если полезть палочкой, можно щекотнуть Митечке голую пятку. Щекотки Митечка боится. Где палочку взять?

Мама дала по блинцу и тому, и тому.

– А мне? – в обиде шепнул я и заплакал навскрик.

Сколько я себя помню, я ни разу не слышал звонка с ра-



боты. Утром в семь звонков от ударов ломиком по колёсному диску, подвешенному между ёлок у столовки, выпрет всех на чай. В двенадцать вмельк чирикнет разок про обед. В час снова выгонит. А чтоб вечером позвал домой... Нет такой власти у звонка. Вечером он немее хамсы. Молчит.

Усталое солнце пало в засупские<sup>95</sup> горы.

– Капитанчик, отпусти, миленький, до хаты, – запросилась Таня.

Бригадир глянул на неё, как коршун на горлицу.

– Вах, отпусти! Я вижу тэбэ, ти видишь минэ – рабочи дэн, f, f, да продолжается!

– Миленький, у меня рученьки оюшки болят...

Она смотала марлю с указательных пальцев. На них было жутко смотреть.

Овражки трещин до костей кроваво супились на сгибах. Эва как постирали, порвали невинные чайнки.

– Убери кровя! – отмахнулся бригадир. – Я чалавек слаби. Не могу видеть кровя... Закрой эта палци, иди работай. Эщо эст восэм крепки палци!

– Миленький...

– Эсчо рано. Телячье врэмья... Нэ проси... Я тэбе хозяин. Над мне тожа эст мно-ого хозяин. Ночь! План! – Он сунул палец вверх. – Разве ти не знаешь? Рабочий дэн кончится, когда чайни куст совсэм, совсэм нэ видно!

– Килька ты черноглазая, – глухо проворчала Таня и вер-

---

<sup>95</sup> Речь о горах за рекой Супсой (Западная Грузия).

нулась ко мне.

Скоро добруха Ноченька старательно разлила до неба непролазную чернь.

Мы молча дёргаем всё, что лезло под руки.

Чаинок уже совсем не различить. Из этого следовало, что пришла спасительница Ночь.

Ночь милостиво отпустила нас домой.

По комнате я важно распохаживал голландским петушком.

За вечерний упруг<sup>96</sup> выжал норму. Пятнадцать кило!

Глеб схватил клок газеты, карандаш и стоя прилип к столу:

– Хоть цифирь штука и кислая, но мы люди прочные... Не прокислимся... Устоим... Живо наведём арифметику!.. Сделаем маленькую раскладочку... На кило идёт две с половиной тысячи чаинок... Умножаем на пятнадцать... Оп-пушки! Ма, да наш стакановец почти сорок тысяч раз мотнул сегодня ручками!

– Ото дела! – подивилась мама. – А сколько ж Груня мотает? По центнеру ж в день рвёт!

Меня повело в спесь.

– Так Ваша Половинкина геройша. К её годам я тоже, может, проломлюсь в герои!

– Оюньки! – присмехнулась мама. – Не заблудилось бы

---

<sup>96</sup> **Вечерний упруг** – период работы от обеда до вечера.

наше теля на ярмарке... Шо тоби, стахановец, на вечерю?  
Шо ты скажешь, то и будэ всем.

– Яичницу. Только из свежих яиц... Вот в обед собирал.  
Печка уже топилась.

Я подал маме миску с яйцами.

Мама взяла верхнее.

Как-то удивлённо глянула на него:

– Шо-то оно дужэ лёгкое...

Нерешительно разбила о бортик горячей сковородки. (В детстве я называл её *скобаба́*.)

Яйцо оказалось пустое.

Мама торопливо швырнула скорлупу в плохое ведро. Хлоп второе. И в это хохлатки забыли плеснуть желтка с белком. И в третье. И в четвёртое.

Мама разгромленно повела вокруг глазами.

Пятое она уже боялась брать.

Я деловито погладил через рубаху горящий на боку след от корзинного ремня. За полдня успел прилично натереть.

– Хвалёнок Ваших, ма, стахановками не назовёшь, – сыпнул я с попрёком. – Вот так курочки! Яйца крупные, много и – все пустые. Вал собачки гонят!

– Количество превыше всего! – подпел Глеб.

Мама растерянно молчала.

В обед четыре верхние яйца я проткнул булавкой, высосал. Она ж велела что-нибудь скомбинировать. Я и скомбинировал. А то пустой хлеб в горло не лез.

Я пока подожду докладывать о своих штуках. Пускай знает, как мельничку отшатывать Глебуле.

*Валять дурака легче, чем его свалить.*  
*Л. Сухоруков*

А наутро мы с Юркой отправились как обычно в школьную сторону.

То ли я зевнул на развилке повернуть влево, в Махарадзе, то ли связала лень, и нас весело понесло прямо.

В Кобулеты.

– Куда? – крикнул сзади Юрка.

– Туда! – дёрнулся я вперёд.

– А именно?

– Куда доедем. Ты был на море?

– Нет.

– И я.

– Куда нам спешить? Мы во французском отпуске...<sup>97</sup> Путешествуем... Может, за линейку сиганём<sup>98</sup> с горя? – смеётся Юрка.

– Какое ж у тебя горе? Это у меня горе... Бэз матэры нэ приходи!..

– А я тебе не друг? Твоё горе – моё горе! Нормальный человек разве не пришпилен к горю своего друга?

---

<sup>97</sup> **Французский отпуск** – прогул занятий в школе.

<sup>98</sup> **Сигануть за линейку** – уехать за границу.

– За линейку, конечно, не полетим. Но почему не доскакать до самого Батума? Мимо Кобулет... Мимо Чаквы... До Батума шестьдесят кэмэ. Назад наверняка не короче. Осилим?

– Дорогу осилит идущий. Слыхал? А едущий и подавно.

– Как там наши лебёдушки?

– Лично я не пообижусь, если заплывут в чужие дневники.

Гуляй до понедельничка, ненаглядная школушка!

Заявись я сегодня, всё равно ж выпрут. Подавай мать! А что изменится, как прочтут ей моралку за меня? Первомайскую демонстрацию не вернёшь. А потом, разве я на праздник жабкам глазки колол? Кто за меня кукурузу сеял? Папаня Арро, этот мохнатый кукиш?

По-хорошему, надо б и сейчас, как вчера обещал Почемучке, на огородишко. Чтоб он сине сторел... Пускай денёк отдохнёт от меня. Даю отгул за прогул!

Заартачится школка в понедельник, не примет, приеду ещё через три дня. Кто кого умором свалит? Неправда, устанет ненаглядушка Арро, натянет вид, что ничего такого не было, и отвянет.

Вон Глеб как-то за одну неделю сумел выхлопотать четыре утки.<sup>99</sup> Башка у братанки стоящая. Только туго в неё всё впихивается.

Мне хватит два раза прочитать и пятак мой. Зато не успеют просохнуть чернила в дневнике, я проченько всё забыл.

---

<sup>99</sup> Утка – двойка.

Глебша читает сто два раза, ненавидя себя, ненавидя стих. Зато будет помнить его до второго пришествия.

Мой котелок похож на постоянный двор, куда заглядывают на ночь все проезжачие, и утром навсегда покидают его. Но я с похвальным листом выпорхнул из совхозной восьмилетки – у бедного братца четыре лебедя на неделе.

Директор пожелал порадовать матушку таким достижением. Зови! Веди!

Как же, Глебша так и разбежался!

Полнедели жестоко не подпускали к свежим двойкам. А там и рассуди спокойно. У парня и без того делишки швах. И ещё не впускать на уроки? Сдалась родная школуня. Сдала-ась под ноль!

Солнце суетливо путалось в спицах.

При взгляде на них больно било в глаза.

За попутными машинами ветерок торопился к морю, радостно подбадривал, подпихивал нас, и скоро вдавило нас в азарт батумского лихого тракта. Всё летело, всё гремело, всё несло, и в этом чаду мятежной спешки мы одурело ломили чёрт те как и Бог весть куда.

Чужие лица, чужие сёла – всё мимо! мимо!! мимо!!!

Дорога наша гремучая змея.

То блеснёт в коридоре скалы, то, кряхтя, бешено кинется зигзагами рвать в гору и, вопреку, на миг переведя дух уже на маковке горы, усталой вытянутой верёвкой сломя голову нырнёт-падёт вниз.

Со спусков нас сносила ураганная скорость.

С гиками мы обштопывали даже горбатых «инвалидок».

А на подъёмах лепились к бокам трёхтонки, в почёте провожали её до самого верха. Одна рука на борту ли, на цепи ли, другой правишь. Прохожие ах да ах. Ты и рад стараться. Ноги с педалей уберёшь. Сидишь свесишь ножки, как лапша на ложке. Блаженство! Ты и пальчиком не шевелишь, а тебя с дымком само в гору прёт!

В классе так в третьем непонятная дурь накрыла меня. Мимо не пропущу ни одной машины, не погладивши. Догоною, по бортику поглажу. Как бы благословлю. И пускай едет. А не догоню, в кустах отревусь.

Машинный чад сладко кружил мне голову.

Я просил шофёров дать подержать во рту бензин. Дома брал керосин, часами не выплёвывал, случалось, и глотал.

И, конечно, любил кататься. В районе был один грузовик. У Ивана Половинкина. Чай возил. В кабину он меня не пускал. Я караулил его на крутом спуске, хватался за цепь. Я мог два часа на ней висеть. В обед Половинкин собирал ящики с чаем во всех пяти бригадах и вёз на фабрику. Я мешком болтался у колеса.

Однажды в обед я бежал вниз к речке купаться. Меня нагнал Половинкин. Конечно, на старых еловых бугристых корнях машина еле ползла. Я повис на цепи. В озорстве я раскачивался и отпихивался пятками от верха колеса. Раз



мазнул, не успел отпихнуться, и меня занесло на колесо. Шипами оно содрало штаны, согнало на колени. Такое хулиганство колеса меня перепугало. А ну кто увидит? Голого?!

Обычно я отцеплялся за ручьём, на новой горке, где машина меняла скорость и почти останавливалась. Я отлипал от цепи и бежал себе по тропке в правую руку, к воде.

Тут же я не стал ждать горки. *Сидеть* на колесе всё же смертный страх. В испуге скачнулся я с колеса и, разжав пальцы, приземлился на попонию. Приземлился в тот самый неподходящий момент, когда Половинкин уже спустился с горы и во весь мах летел по ровному простору короткой лощины. Свирепая, всепроломная власть инерции резко наклонила меня к самой земле, будто заставила поблагодарить в спину Половинкина, что прокатил. Я подобрал лбом с дороги шишку, ойкнул и притих...

Иногда моё козье колёсишко нет-нет да в ласке и чиркнет сбоку по машинному, и они мирно-весело разойдутся. От такого заигрыша никто не в убытке.

А тут разлетелся, кажется, вот-вот забежишь меж ног – в простор между спаренными колёсами... Я не заметил, как моё колесо чувствительно боднуло машинное. То не стерпело такой наглости, оттолкнуло моё. И заднее колесо подомной, причудилось, вскинулось, как зад у лежащегося свирепого коника.

Инстинктивно выронил я руль, повис обеими руками на

борту и тут же отцепился.

И уже пешим порядком назад.

Коза моя жива, здорова. Лежит себе на дороге отдыхает. Только не блеет.

Я скок на неё и снова вперёд.

Впопыхах я чуть не вклепился в надвигающийся автобус. Волоком почти тянется. Как разойтись? По самой крайке жмёшься. Нечаянно глянь вправо, в пропасть, можешь туда и слететь. Слева о плечо скребётся брюхатый автобусище. В страхе я немного прикрываю веки, мёртво держу руль... Педаль жалобно чиркнула по белому бетонному столбку...

Слава Богу, мы разминулись.

Но только вырвались из дождя, впутались в ливень.

На повороте рефрижератор. Повёртывается, как вол на меже. Между его лбом и скалой оконце с метр. Оконце сужается. Близо. Уже не остановиться мне – милостивый случай продёргивает меня сквозь этот капкан.

– Ты, кривым мизинцем делатый! – грозитя тугомордым кулаком-пудовиком шофёр. – Хочешь в камень вклепиться? Э-эх! Шура веники ломала!..

Я победно скрючил ему рожу, вывалил до плеча язык.

Это и всё, что наскреблось умненького в моей дырявой сообразилровке.

Во всякий поворот нас свирепо нёс восторг.

Мы ждали чуда. И чудо было. Новые волшебные картины гор пьянили душу, мы хмелели от радости, летели ещё про-

вористей.

Мы не заметили, как солнце вплыло в зенит; вовсе не чувствовали усталости, знай себе летели; вовсе не замечали, как дорога круто брала с нас свою дань, выжимая из нас пот, словно воду из губки.

Раз за разом сдувал я горячий пот с носа, сдувал машинально, плечом промокал подбородок.

– Думовладелец! – кричу Юрке. – Чего поскучнел?

– Ты есть хочешь? – интересуется он.

– А у тебя что есть?

– Только вон то, Епишкин козырёк! – показывает Юрок на черешню за плетнём. – Ударим по кишке?<sup>100</sup>

В мгновение нас вознесло ветром голодухи на дерево.

С лёту Юрка засыпает в рот, как в мельницу, черешни полными горстями.

– Не спешите. Ешьте по одной черешенке... маленькими глотками, – напоминаю передачу «Если хочешь похудеть». – Это быстро создаст иллюзию, что вы, товарищ, сыты.

Он молча мял за обе щёки. Лишь огрызнулся лениво:

– Я не за иллюзиями лез сюда. За черешней.

– Никогда не ешьте досыта. Вставайте из-за стола с лёгкой потребностью поест ещё...

– Не зуди под ногу своё романсьё, – покривился Юрка. Я был под стволом, куда он выставил одну ногу. – Да я всё дерево объём – тяжёлая потребность останется!

---

<sup>100</sup> Ударить по кишке – поесть чего-либо.

За тарами-барами мы не увидели, как подкрался ветхий старчик в размолоченных тапочках на босу ногу.

Аршин с шапкой судорожно пялился на нас из-под пергаментной ладошки. В теньке от него сонно клевала носом мелкая псинка. Солнце совсем сварило её. Чуть дальше гусь, воевода в красных сапожиках, дозорно вслушивался в шелест черешни.

– Шуба! – дёрнул я Юрку за ногу. – Крутим педали, пока не дали!

Мы ссыпались с дерева.

– Нэ с мэста! А то громко стрэл-ляю! – Сморчок наставил на нас палку как ружьё.

Занятно было смотреть на этого старого очковтирателя.

Как он собирался палить из ольховой коряги?

– Хозяин эщо нэ подошла – ви ужэ падал на зэмля... Трусики... трусишки... Руки вверх! Сами всё ввэрх! Ввэрх! Ввэрх!

Надрывчатыми жестами горелый пень велел снова лезть на черешню.

– Да мы уже наелись... – замялись мы.

– О! Это не считается! Всё навэрху!

– Ав, – разморенно, кротко приказала собачка. Поддержала хозяина.

Гусь степенно поводил головой. Ну чего подпекать владыку? Лезьте, лезьте. Кому сказано?

Сказано было нам.

И мы полезли. Вяло. Без огня.

Какую-нибудь подлянку затевает старый пим. Но какую? Подержит до подхода чингисханят помоложе? Чтоб влили, дали суходушины за черешню?

– Кушай! F,f, много кушай! – дребезжал снизу дедок. – Грузины тожэ люди. Развэ мне жалко какой-то там черешни? Кушай!..

Голос вроде не врал. Мы посмелели, зашелестели.

– F,f, ви нэ знай, пачаму болит голове? Пряме мозги на плэчо... Буль-буль... буль-буль... Что там пэрэливают?

– Что-нить да переливают из пустого в порожнее, – выразил предположение Юрец.

– Да, да, – согласился старик. – Утром пэрэливают... Обэд пэрэливают... Ноча пэрэливают... Бэз виходных... Бэз праздник...

Странно.

У нас в животе с голодухи булькало. А с чего у него в черепушке булькает?

Дед не умолкал. Говорил о себе с насмешкой. Вроде того, что торчит меж людей, как пугало на огороде. Было похоже, скучал он по слову.

– Вы одни живёте? – спросил я.

– Зачэм один? У мене жэна эст. Умни. Говорит: «Иракли, что отдашь – всё твоё, а что не отдал – пропадёт». У мене ничаво не пропадай!.. И нэмножко трудни мой жэна. Легче управлять государством, чэм жэной. Не хотел идти мне

замуж. Хотел монашки пойти. Я сказал: «Монахи и монашки – полни ад! А в рай я один». Она пришла ко мне в рай... Э, кошку так лови, чтоб когтем не задэла... Шутит моя кошечка: «Иракли, ти уже стареньки пони, не можэш ходи на дереву». Я сказал, могу. Принэсу черешни! Сама нарву!.. Нэмножко нэправда будэт... Нэмножко хвастливи я... Но чито делать? Горбатого могила исправит, иногда и она бессильни... F,f,bxt,j<sup>101</sup>... Ви мои руки. Спасайте стареньки пони. Нарвите мне полни шапку! Полни!

Эва! Полно спать, пора на тот свет запасать!

Дед сгрёб с себя малахай, всем сторонкам помахай. Опустил уши, связал ботиночные шнурки с металлическими наконечниками.

Мы в темпе насандалили ему черешни с пузом. Горушкой!

Дед ликующе держал шапку за связанные шнурки, как ведро за дужку. Алые ягоды горели весёлым костерком.

Из кустов выбежала курица, Парашка в белой рубашке. Сломил голову набок, посмотрела на черешню и обомлело пропела:

– Ко-о-око-ко-о-о!

Похвалила черешню. А может, заодно и нас?

Мы деликатно засобирались уходить.

Пока бабка не расколола своего удалика, надо отчалить.

– Оставайтесь. Кушайте эщо! Эщо!

---

<sup>101</sup> F, f, b z t, j (аба, бичебо) – ну-ка, мальчики.

– Нет, нет. Спасибо Вам большое.

Мышку на перину укладывали, а её тянуло в норку. Норка была ей родня.

Мы простились с дедом за ручку и в путь.

Теперь ехалось ещё резвей, ерепенистей.

С черешни меня повело на стишата.

Я дуря запел-заорал, что катилось на ум.

– Что ты по моргу гуляешь,

Песенки поёшь

И ножку под номером третий

Всем под нос суёшь?

Ат, дичь вислоухая! Натурально перекушал дядя черешенки.

Юрке тоже захотелось попеть. И он затянул своё:

– Как надену портупею,

Всё фигею и фигею!

Нарастал угорышек.

Дорога вырублена в скалах. Глянцевито-чёрной спиралью тужится-ползёт в солнечную прохладу небесной сини.

Мимо прохлопал форсун на козе с моторчиком. Нам включать нечего. Прилипли к попутке полуторке. На перевале отпали.

Дальше катился спуск. Пологий, долгий, без поворотов.  
Дед говорил, что море за горой.

Мы вслушиваемся.

Где-то впереди неясный, тусклый шум. Вроде тяжело дышал подбитый зверь.

– Море? – спросил я Юрчика.

– Ну! Аря-ря-ря-а! Покажем товарец лицом!

Он широко раскинул руки, будто для объятий, готовый принять всё море.

Я ловлю себя на том, что с завистью гляжу, как Юрка отпетым варягом садит без рук.

– Ты так сможешь? – наводит ехида справку.

– Так и любой дундук сможет.

– А ты?

– А мне неохота.

У него велик новый. А моё переднее колесо перевязано проволокой, точно человек с флюсом платком. Колесо и охает, и хромает. Отпусти руль – тут же кувырок дашь!

Я отвернулся от насмешника.

По старой привычке пялюсь на свои следы. На пыльную обочину низались лысые узкие отпечаточки колёс. Мне нравились мои чёткие, добрые следы.

Мой стальной ослик остался без глаз и подрал как и куда ему хотелось. Подрал по канаве – заросла всякой колючей нечистью.

Поскольку я крепко держал свою собственность в руках, а



скоростёнка была курьерская, мы с худым драндулетом сделали в воздухе колечко. И раскатились в разные стороны.

Юрка ехал рядом, остановился ниже по дороге.

– Живой? – кричит. – Ничего от тебя не отвалилось?

Я вскочил.

Вроде всё моё всё при мне. Только шею, ноги (штанины были закатаны) порвал колючками в кровь, сбил колено, лоб, плечо.

– Мировой пилотаж! – выставил Юрка большой палец. – Ни в каком цирке таких номерочков не увидишь. Жаль, что зрителёк всего-то был один.

– Да заглохни ты!.. – Боль сердито просыпалась во мне.

– Намёк понял. Для упавшего главное не забыть подняться. Ты не забыл. Вперёд!

Скоро в расщелине, как в окне, блеснуло, будто кто махнул голубым платком.

Ущелье как-то разом кончилось, словно его обрезало, и мы вывалились на берег.

Море!

Сытое, толстое, горбатое. Разлеглось во всю землю. Лениво хлоп, хлоп по песочку. Знай наглаживает себе кроткий, послушный ровный бережок и никаких забот.

Юрка с разбойничьим свистом на полном скаку врезался в воду. Картинно размахнул руки, бухнулся набок. Подгрёб колесо под голову. Ногу на ногу. Вальяжно поднёс ко рту вообразимую гаванскую сигару, затянулся, пожевал, блажен-

но выпустил дымок. За-го-раю... Буржуйкин на отдыхе...

А разве я не заработал себе отдыха?

Глубина здесь детская. По коленочки. Резану-ка подальше.

С ходу пролетел я мимо Юрки.

Уже в прыжке вдогон он схватил мой велик за багажник.

– Туда, сударио, – тычет в туманистый сутулый окоём, – на собственной тачке низзя. За-гра-ни-ца!

Я послушал и сражённо упал.

Услужливая соль обожгла мои царапины.

Волна ласково сняла с меня кепку. Как бы в раздумье подержала немного на месте, тихонько поволокла по песку. Стирает. Наверно, на свой баланс море принимало все дары только чистенькими.

Похоже, у берега не стиралось; кепку то ли понесло, то ли она сама азартно отбивала в чернеющую шаткую пропасть. Ну и катись колбаской! Не возрыдаю!

Я весело смотрел за её погибелью, в прощанье пусто по-матывал пальчиками. Любовь была без радости, к чему печаль в разлуке?

Но вот опрокинутая кепка вскинула коричневую подкладку парашютным куполком, в панике дёрнулась к берегу. Тут её столкнуло назад, в темноту. Она одумалась, хотела вернуться? И не смогла?

Я бросился следом, долго в лихорадке охлопывал прохладный простор вокруг, пока обмякшая кепка не набежала

под руку.

Мне казалось, она совсем-совсем заоченела.

Я торопливо нахлобучил её на голову. Так ей будет лучше, теплей.

Невесть отчего защипало в глазах.

Сколько лет мы купались под одними дождями, сколько мёрзли одними холодами, сколько прели под одним солнцем, сколько умывались одним пóтом и на... Брось! Как бросишь? Это – самого себя бросить? В стужу грела... Случалось, за обедом где в столовке не всякий раз разлучался с нею, жалел снять с головы... А тут покинь навсегда?

Я накрыл кепку ладонями.

Вода весело полилась с неё по лицу.

*Сорвали маску!*

*Позже выяснилось – то было лицо.*

*Б. Лесняк*

Юрка вяло обмахивается мокрым башмаком.

– Ну и парник... Давай путём скупнёмся. А то в Батум грязнёхами не пустят.

Мы раскинули свою амуницию на камнях. Сушись!

И дёрнули к воде.

Бежать мне не с руки (а может, не с ноги?). Братнины трусы избыточно просторны, до колен. Путаюсь я в этих бермудах, как стреноженный телок. Единый разок шагни – тут же сползают.

– Смотри! Морцо разденет и вытолкнет в одной мамкиной одежке!

Я на палочку намотал резинку, подоткнул комок под неё. Вроде всё туго. А вода волнуется вокруг, будто током кто её подначивает. От этого ноги мои кажутся широкими, куцыми. И колышутся, подсвеченные голубизной.

Я слил ладошки в клин над головой, согнулся в дугу и нырнул.

На всех парах гребёшь под себя по-собачьи, отбрыкиваешься, словно кто гонится за тобой, хватает; ты бешено отталкиваешься ногами от воды и мало не на месте всё. Мне же

кажется, с версту пропёр. До последней воздушинки сжёг, уработался. Вылетел палкой.

Юрка кулаком мне помахивает.

– Чего? – спрашиваю.

– Я-то ничего. А вот ты чего меня сфотографировал?

Я лап, лап себя по бокам. След родных трусиков прохладный. Умотали гады!

Как же я не слышал? Да хоть до армии их мне купят?

А они, собачки, совсемушки где-то рядом гуляют, поди, в обнимку с медузами, смеются. Ну да ладно. Вы у меня ещё обхохочетесь!

Поищемся...

Юрка излетал, исшарил всё дно вокруг меня. Одни пузырьки, весёлые позывные, лопались над водой, выдавали его путь. И с пустом вымахнул на берег погреться.

Куда ж они так скоро успели умчаться?

Тут всего-то по грудки.

Я нырнул, открыл глаза. Нырнул – слишком громко сказано. Я просто воткнул голову в море. Ха! У самых ног шевелятся как порядочные сизым облачком. Хотел спасательным кругом насадить себе на шею, но раздумал, шваркнул Юрке:

– Лови, ёкэлэмэнейка, наше достояние!

– Они, негодники, мокрые!

– А тебе из воды подай сухие? Подержи... Немного поплаваю вразмашечку. А то снова убегут.

Мы накупались до звона в башке и пеше пошлѐпали по

мелкой воде у берега к Батуму.

Велосипеды под нашими руками чинно шествовали с нами рядышком.

Мы сраженно остановились, заметив на отвесной скале двух козочек.

– Ка-ак они туда забрались?

– Ну и шокнутые скалолазки! Привет, доблестные альпинисточки! – широко помахал я кепкой милым козочкам. – Что вы, горемычные, торчите там голенькие? Где ваше дорожное скальное снаряжение? Скалорубы те же? Карабины? Обвязки? Скальные крючья-молоточки? Скальные туфельки?

Ме-е-е-е!!! – пропели они в ответ печальным дуэтом.

– Не понял. Дома забыли?

– Ме-е-е-е...

– А как вас туда занесло? Ветром?

– Ме-е-е-е...

В их голосах я услышал мольбу снять со скалы. Они вроде жаловались на самих себя. Мол, вот залезли, а как слезть?

– Так и мы к вам не сможем туда взобраться, – ответил я, пожимая плечами. Вы уж сами как-нибудь. Из всякого тупика выбираются по тем путям, по которым и забирались. Извините...

Далеко на горизонте бело сверкало пятнышко.

Юрка дёрнул частушку, голос очистить:

– Пароход баржу везет.

Баржа семечки грызет!

Песчаный свежий холмик, мимо которого мы проходили, тихонько шевельнулся, осыпался. Из его макушки выпнулась какая-то глупость. Ракушка не ракушка, нос не нос...

Постой, как не нос?

Неясный страх одел меня.

– Человечий вон нос, – шепнул я Юрке.

Юрка всмотрелся в чудь, что я назвал носом, в приветствии приподнял козырёк своей кепки.

– Здравсьте. А коллежский асессор Ковалёв ещё не знает, что вы здесь загораете?

– Ты чего буровишь? – толкнул я Юршика. – Какой асессор тире агрессор? Какой Ковалёв?

– А тот самый Ковалёв... Чинишко себе он отломил на Кавказе... Из гоголевского «Носа»... От того асессора драпанул его нос и разгуливал в мундире и в шляпе с плюмажем по Петербургу. Наверно, надоела столица... Вспомнил, гляди, знакомые кавказские места. Вотушки и прикатил к нам, культурно загорает...

– Сразу видно, перекупался... Накукарекал...

– Значит, ты не согласен на ковалевского? Я не настаиваю. А нозыра знакомый. – Юрка уставился на нос. – Где я видел этот хоботок? На просторе возрос! Бр-р!.. На какой же мордфоне он живёт?

Песчаная горка дрогнула, из неё зло вскинулась живая го-

лова. Вчерашняя базарная быстриночка!

– Это у меня-то мордофоня? – Она сплюнула песок, обвела пальцем лицо. – Это у меня-то, – обвела оскорблённо вздёрнутый изящный носик, – слоновий хоботина?

Мы оцепенело лупились на неё и ни слова не могли сказать.

Я на всякий случай машинально отшагнул.

– Будь на мне хоть одна ниточка, я б показала вам мордофоню с хоботом!

Она в бессилии тукнула ладошками по песку и заплакала.

– Изви...ните... – дребезжаще заговорил Юрка. – Кроме песчаной тужурочки на вас совсем ничегоготушки нетути?

– Совсем! – с вызовом крикнула она. – А ля Ева! Кидайтесь! Ну кто первый? Кто смелый?

– Смелые-то мы, допустим, оба... – Юрка дипломатично отступил назад. – Но кидаться... Вы вчера помогли нам... Может, мы сегодня поможем вам? От нас иногда можно всего ожидать...

– Чем поможете? Дружески поделитесь трусиками-маечками?.. Вот дура́ка! Вот дурдицелла! Чего было высовываться?.. Поспи... Попринимай, одноклеточная, песчаную ванну до ночи, там и беги к бабуньке. Сколько уже прошло народу! Никто не заметил, даже по мне шагали! Один бизон чуть не раздавил... На ногу наступил и попиллил дальше... Со страху... От боли нога у меня чуть не отстегнулась... Еле стерпела, не крикнула... Не выдала себя... А тут чёрт дёр-



нул... Это всё ты! – гневно наставила на Юрку палец пистолетом. – Хобот! Мордофоня! Про меня!.. Не стерпела...

Юрочка мято поёжился.

– Виноват... Вы как опиум... Красивые слова сами из меня летят...

– Что-то не заметила... Вчера – да! Но вчера одно, теперь – другое?

– Видите... Посыпь сладкой лапши, вы б в душе гордо посмеялись и никаких делодвижений. А я нарочно понёс по кочкам. Услышит ваша сестра про себя ахинею, смолчит? Ну? Да она и из гроба выскочит! Неправдония?

– Хитёр ранний помидор... Но разве вы меня видели?

– Лично я чувствовал...

Я наступил Юрахе на ногу. Прошипел:

– Трепло! Чуйствовал!.. Когда ему пальчиком показали...

Юрка примирительно хмыкнул. Лью пульки? Лью. Но так надо для дела, Вася!

Девушка с надеждой взглянула на нас.

– Ну что, мои спасители? Мне как минимум нужно одеться. Тут рядом Чаква. Попросите где на час захудалый халатишко. Не стойте столбиками. Расслаивайтесь!

– Вдвоём добывать один халат? – Юрка постно переступил с ноги на ногу. – Нерентабельно. По интендантской части он. Халатио за ним. А я, извините покорно, остаюсь. Как такой стратегический объект оставить без часового?

И он ружьём сноровисто приставил к ноге вытянутый ве-

лосипедный насос.

– Охрана? В этом что-то есть, – поддержала она Юранечку, испытующе глянула на него. – Думаю, благоразумие возьмёт верх?

Он галантно поднёс свободную руку к сердцу. Обстоятельно поклонился.

– Возьмёт... возьмёт... Мы не носороги какие мандариновые... Только за благоразумием верх. В моём лице!

– Или в моём, – расширил я ассортимент.

Юрка наклонился ко мне, прохрипел в ухо:

– Блин! С тобой схватишь рак головы! Закрой рот, кишки простудишь!

А хорошутка сделала вид, что не слышала моего умного предложения.

– Но учтите, – вкрадке сказал я тогда, кивнув на Юрку, – он награждён именной медалью «За отвагу на любовном пожаре».

– Спаси-ибо. Я не равнодушна к отважистым!

И засмеялась.

Мда... Замена часового не предвиделась.

Что мне оставалось делать?

Я поволок свой драндулет к тропинке. Поеду искать анафемский халат.

Я слышал, как Юрашенька затоковал:

– Вы чувствуете, что мы воспитанные мальчишки? Да? Не лезем с допросами, как это вы лишились родных доспехов...

– Что ж тут секретного? – отвечала она. – Я люблю далеко плавать. Безо всякой сбруи. Свалила своё приданое комочком на камень, до полморья унеслась. Вернулась – камень цел, невредим, но пуст. То ли волна пошутила-пошарила, то ли рука...

«Встретились козёл и капуста», – куснула меня тоскливая обида, и я забыл думать про них.

Из недр садов распаренно краснели макушки саклей.

Знойное марево сонно толклось над черепичными крышами.

Наверняка в каждом саду найдётся по деду, по собаке. Но халата у них не выпросишь. Надо чапать в дом. Дед мог дремать. А как проскочишь мимо пса? Как минимум подерёт в ленточки штаники. А может, снять? Под мышку и на крыльце надеть?

У ворот под яблоней кисла на лавке водянистая бабенция напару не то с рубелем, не то с коряжистой палицей, с какой обычно рисуют неандертальцев.

Я остановился и забыл, что хотел просить.

– Мама...<sup>102</sup> – вяло обронила тетёха. – Чито надо, дорогой?

– Папу! – ляпнул я и отбыл дальше.

Больше ни в один двор не загляну! Судьба шепнёт кому надо – сами предложат несчастный халат. А на нет и суда нет.

Откуда-то из прохлады кустов подавала скрипучий голос ля-

---

<sup>102</sup> Игра слов. Мама по-грузински (vfvf) – отец.

гушка.

– Тыква,<sup>103</sup> хоть ты молчи, – вздохнул я. – Тебя ни о чём не спрашивают.

Скоро я заметил: навстречу вышагивает мелкая добролицая старушка. Одета простецки. И главное – в халате. Вижу, халатишко накинут не на голую кость. Не мне ли несёт? На ногах лёгкие чустры. В упоении пчелино гудит-поет:

– Вот иду я по родному Сакартвело<sup>104</sup>.  
Вот иду, его в себя вбирая,  
Чтобы сердце не смолкая пело,  
От восторга перед ним сгорая.

Идейная старушка. Грех у такой не попросить.

– Извините. Вы не могли б на часок одолжить халат?

– И больше ничего? – игриво спросила старушка.

Я объяснил, зачем мне халат.

– Какая беда... – затревожилась она. – Я сама хожу на почту. Время... Сделаем так. Зайдём на почту, оттуда сразу к вашей пострадалке. Идёт?

– Бежит! – обрадовался я.

Ехать рядом со старушкой было неудобно.

Я уважительно пошёл следом, поталкивая свой вел.

---

<sup>103</sup> **Тыква** (ты, ква,) – вежливое обращение к лягушке.

<sup>104</sup> **Сакартвело** (Cfmfhsdtkj) – Грузия.

Теперь она шла быстрее против прежнего.

– Вы почтальониха? – спросил я, лишь бы не молчать.

– Да вроде...

Почта была небогатая. Стопка писем, два журнала, с пятток газет.

Старуха сунула всё под мышку, велела вести к горюше.

Юрик сидел на камне возле прелестницы, травил шуточки. Из песка торчало лишь хохочущее её лицо.

Наше появление со старухой не вызвало у сладкой парочки прилива восторга.

– Гм... Барышня и под землёй найдёт чичисбея, – буркнула старушка, а потом строго приказала Юрке: – Ну-ка, молодое дарование, потрудитесь удалиться без оглядки... Вы, – пихнула мне почту, – тоже отвернитесь.

Она так неожиданно, так резво ткнула мне свою почту, что я не успел её взять. Всё пало на гальку.

Письма веером легли ко мне лицом.

Я подбирал их и видел, что все они слетелись к какому-то Бахтадзе К. Е. Одно письмо было даже из Индии, другое с Цейлона.

Измумительные марки обожгли меня.

Я собирал марки. Может, попросить?

– Чужие адреса читать непохвально. – Старушка ласково положила мне руку на плечо. Ситцевое затрёпанное в стирках платьишко тесно, преданно обжимало её ладную статью.

Наша сосенка была уже в халате.

Казалось, халат был недоволен, что его сняли с привычного плеча, теперь как-то сердито топорщился.

Хорошунька одёргивала полы, рукава.

– Я не читаю, – подал я всю почту назад старуне. – Марки красивые... – На бóльшее, попросить, меня не хватило. – Кто этот Бах... тах... тух?..

– Бахтадзе... Это не он... Она.

– Все пишут ей одной. Даже из-за границы!

– Что ж тут диковинного? Вы в Чакве. Отсюда есть и пошёл наш чай. Уже в начале века Чакву величали слонем русского чайного дела. Начинали китайцы. Видите? – Она показала на домики со странно радостными крышами. По краям крыши загнуты, похожи на размахнутые крылья птиц, готовых взлететь. – Ещё в прошлом веке поселились, прикопались китайцы. Пережились на аджарках. Так и живут...

– Откуда Вы всё знаете? – подивился я.

– Почтальон, как медный грош, во всяк дом вхож. Сам Бог велел всё знать... А теперь, стрельцы, идём ко мне. Что-то вы худющие-худющие. Одни носы. Зубки хоть немножко подвеселите... Без чаю не выпущу. Не ели весь день?

– Почему весь? – вошёл в разговор Юрик. – С утра...

– А вам, – трогает старуха девчонку, – и обмундириться надо поприличней. Я подберу.

– К чему все эти прихорощки? На час!

Старушка назидательно возразила:

– Девушка не должна и одну секунду выглядеть непривлекательно.

Солнечно, тихо в Чакве.

Горы бесцеремонно спихнули её к колышущейся голубой долине моря.

Справа вода, слева торжественные шатры холмов.

– Не налюбуйешься... Красиво у вас! – щебечет наша песчаная мармеладка. – Живая выставка природы!

– Да... – старунька подняла глаза на ближнюю гору. – Живём вприглядку с Мтиралой. Так её зовут. А по-русски *Плачущая*. Круглый год в тумане... По преданию, при нашествии турок именно на этой горе аджарцы оплакивали свою горькую участь... Что-то у меня голова... Будто мотор в голове бухает. Вот-вот что-то лопнет...

Нам с Юркой велено было оставаться на веранде, передохнуть на диване, что мы сразу и сделали, плюхнулись на диван. А девушку почтальонка повела дальше, в комнаты.

Не успели мы толком оглядеться, как наша пеструшка выпорхнула разнаряжённой фифой. Белое воздушное платье невозможно как приаккуратило, ухорошило её. Настежь пораспахнули мы с Юркой бараньи рты.

– Что? Страхолюдина я в нём? – зарделась ягодкой она. – Кургузое? Сидит, как на снопе?

Юрчик худой, худой, а взгляд горячий:

– Какие мы цивилильные... Ах да какие ж мы цивилильные! –

набирает пары, лыбится котярой. – Королёк!

– Кто, кто?

– Королёчек! Птичка такая. Пять граммук весит. А кушает... Двадцать пять тысяч букашек! В день! И все вредные.

– Сам ты вредина. Неприлично уличать сладёну в обжорстве. И потом, ты летал за нею и считал? Или сам отбирал ей вредных?

– Сам ловил. Сам жарил. Сам подавал к столу-с!

Балдеют ломаки от пустого трёпа.

Невесть откуда взялся у неё флакончик с духами.

Встряхнула. Игристо мазнула пальчиком за ушами:

– Для себя...

Приложила под носом:

– Для друзей...

Потыкала в проливчик на груди:

– Для нахалов...

Старые, довоенные духи кружат голову.

Юрик дёргает носом воздух, захмелело докладывает:

– Ко-ро-ле-ва...

– Может быть. Может быть, – всё строит она глазки.

«Этой королеве только пёрушко под хвост вложи да на ветер пусти, она и полетит, – лезет мне в башку завистливая непотребщина. – Слились... Почему не я охранял её в песке, а этот пузотёр? Ну почему?»

– Ба! – Юрка звонко хлопнул себя по лбу. – Мы до сих пор



не познакомились. Есть мнение срочно познакомиться! – Он резко подал ей руку. – Георгий!

Я вскинул на него вытаращенные глаза.

«С каких это пор ты переквалифицировался в Георгия?»

Он коротко моргнул мне и повторил твёрже:

– Георгий! Глубоко прошу не путать ни с Саакадзе,<sup>105</sup> ни даже с Отсом,<sup>106</sup> ни с каким-то Георгием Третьим.<sup>107</sup>

– А куда запропастились два первых? – спросила девушка.

– Первый, естественно, перед вами. Самый первый. – Притворяшка бухнул голову на грудь. – Второй не удержался, выпал из народной памяти.

– Рина.

– А это, – ткнул в меня Юрка пальцем, – Нод. *Наш Общий Друг*. Можно и Нодик.

Она поверила.

А чего не поверить? Чем лучше Нодика Октябрь, Ал-гебрина, Ревдит (революционное дитя), Роблен (родился быть ленинцем), Рем (революция мировая), Ремизан (революция мировая занялась), Лорик-Эрик (Ленин, октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация, радиофикация и коммунизм)?

---

<sup>105</sup> Саакадзе Георгий, Великий Моурави (около 1580 – 1629) – грузинский политический деятель, полководец.

<sup>106</sup> Отс Георг Карлович (1920 – 1975) – эстонский певец.

<sup>107</sup> Георгий Третий – царь Грузии с 1156 года. Умер в 1184 году. Год рождения неизвестен.

Рина вышла.

– Слушай! – навалился я на Юрку. – Ты чего тут брехни расточал? Чего разводил балы? Зачем человеку врешь? Какой ты Георгий? Какой я Нод? Чего вбубениваешь? Ты чего не назвал ей по правде наши имена?!

Он с ленивым смешком приставил палец к моему виску, устало чуть нажал и убрал. Пар спущен!

– Ну, фигли-шмыгли-бухли, ты чего расчехлил лапшемёт<sup>108</sup>? – проговорил он скучно. – Молчишь? И сказать нечего? Тогда слушай, кутёнок, маэстро. Я не первый день хожу по лебедям. Я в делах любви Маэстро. С большой буквы. Слушай, растопша,<sup>109</sup> и учись, пока я живой... Прошёл все хитрости... При знакомстве никогда не выкладывай сразу всю правдонию про себя. Да если всякой кларке целкин в первую же минуту кидать всю правдушку, то очень скоро можешь оказаться очень далеко-о, как говорит мой папик Чук. Осторожность при знакомстве никому пока не повредила. Понял?.. Может, придет время, и я размажу ей всё про себя. А может, мне удастся слизать все сливочки-пеночки и без доклада про себя. Тыдык, тыдык свежего батончика<sup>110</sup> и отдыхай! Надо смотреть по обстановочке. Если можно *без*, то зачем выкладывать? Кидай осторожность наперёд!

Вернулась Рина с ложками, с хлебом, с маргарином.

---

<sup>108</sup> **Расчехлить лапшемёт** – начать говорить вздор.

<sup>109</sup> **Растопша** – растяпа.

<sup>110</sup> **Свежий батон** – симпатичная девушка.

Юрочка прекратил свой урок и любезно заулыбался ей.

– Не прошло и года, как чайник закип, – весело вошла старушка с чайником и сразу стала разливать по стаканам. – Извините, что хлеб чёрный. Белый не водится. И масло не водится. Катимся на маргарине, на маргусалине... Всё же не голенький чай... Это ещё милый мёд... Эх... Масло не водится, зато бедность не выводится... Разве не о том льёт слёзы Мтирала? – Она без надежды глянула в окно. Было хорошо видно гору в тугой пелене. – Плачет и плачет горькая, хоть турки и забыли давно нас беспокоить...

Наполненные стаканы празднично золотились, розовели на маленьком шатком столике.

– А где же чаинки, чёрные запятые? – захлопала ресничками Рина.

– Это растворимый чай. У нас в Чакве на фабрике делают. Растворяется быстро. Без осадка... А бархатистость вкуса? А нежность аромата? Слышите?

Наши носы были с нами. Мы слышали.

Наверно, непросто было доискаться, как растворить чай, и Юрка спросил фразисто:

– А что стоит вот за этим стаканом с волшебным напитком?

– Молодой человек, за вашим стаканом с волшебным напитком стоит сахарница, – усмехнулась хозяйка.

Шутка понравилась и всем нам. Мы не удержались, пыркнули. Ловко таки отпихнулась старушка от нуди.

Стакан за стаканом летели за нас. Что-то разбежались мы в еде, никакими вожжами не осадить.

– *Первая чашка*, – поощрительно кивала хозяйка, – *увлажняет мои губы и горло, вторая уничтожает одиночество, третья исследует мои внутренности, четвёртая вызывает лёгкую испарину, все печали жизни уходят через поры. С пятой чашкой я чувствую себя очищенным, шестая возносит меня в царство бессмертия, седьмая...* Но я уже больше не могу. Я чувствую лишь дыхание прохладного ветра, который поднимается в моих рукавах... Не удивляйтесь... Это не я. Это древний японский поэт сказал.

– Лично Вам? – к моменту поднёс вопросец Юрка.

– Лично всем.

Старушка как-то отстранённо подняла глаза к красивой рамке на стене, где вместо портрета были слова:

*Чай усиливает дух, смягчает сердце,  
удаляет усталость, пробуждает мысль  
и не дозволяет поселиться лени,  
облегчает и освежает тело,  
проясняет восприимчивость...  
Пей медленно этот чудесный напиток,  
и ты почувствуешь себя в силах бороться  
с теми заботами, которые обыкновенно  
угручают нашу жизнь!*

*(Из китайского манускрипта)*

– ... удручают нашу жизнь... – вздохнула она, взяла с подоконника свежие письма.

Заперебирала.

Торопливо вскрыла одно.

Было оно в стихах.

Я сидел рядом, нечаянно даже прочитал:

Дерзанье одно всем сказать я хочу,

Хватило бы только терпения.

Сорт новый чая вырастить в Чу

Под ласковым именем «Ксения».

Старушка закрылась письмом и вдруг взвыла.

– Во-ло-дя... Во-ло-дя... – звала она, тонечко, по-собачьи скуля.

Стало как-то жутко.

Мы бросили жевать. Растерянно заозирались.

Что делать? Утешать? В чём? Что мы знали про эту старушку? Кто она? Что она? Да и нужны ли ей наши утешения? И вообще, нужны ли мы здесь сейчас?

Солнце лило в окно полуденный жар. Как-то разом оно примеркло, озябло, каким-то гибельным холодом понесло от его снежно-белых полос по полу.

Без сговора покрались мы на пальчиках из жэковской юрты по вытертым шагами каменным сходкам.

Вдоль стёжки угрюмо краснели тюльпаны, гвоздики, розы. Краснели за нас? Или ещё за кого?

*Все бывает – да обычно не вовремя!*  
*С. Тошев*

Некоторое время мы брели молча.

Я оглянулся на старухину халупень.

Сиро, разгромленно взглядывала она из-за пониклых кустов вербы, алычи, сирени. Во все стороны распято торчали сухие на концах сабельки пальмовых листьев. Унылой цепью они стояли вдоль барака, берегли и его, и плотные холмики верных и нежных гортензий.

– Ребя, можь вернёмся? – предложил я.

– Мальчики, вы как хотите, – сказала Рина. – А мне надо на пуле лететь к больной бабульке своей. Взять покупалки<sup>111</sup> да назад в Чакву за лекарствушками.

– К бабульке! К бабулюшке! – вскинул Юрчик руку, как при голосовании на дороге. – И только на пуле! Решено *единогласненько!*

Он забежал Рине наперёд, склонил в комплексе набок голову и свой веселопед.

– Прошу-с, пани. Таксонио подано!

– На раму вашего веселопеда? Не таксо, а тоска. Рама Рине не пойдёт.

<sup>111</sup> Покупалки – деньги.

– Тогда едьте сами. Я подожду здесь.

– Не дождётесь, сударик. Я не умею...

– Научим.

– Тогда отворачивайтесь. Оба.

– В темпе отворачивайся! – крутнул меня Юрка. – Не смущай наш цветочек!

– А сам? – возразил я.

– Чего сам? Чего сам? Ты где видел, чтоб учитель отворачивался от своей ученицы? Да во время урока! Разве это пэ-да-го-гич-но?... гич-но?

Я спиной стоял к Рине и всё же краем глаза видел, как он, котяра, млея и вздрагивая, помог ей вскарабкаться на велосипедио, и генеральским петушком поскакал рядом, поталкивал в седло, норовил под момент терануться об неё плечом.

Розовые тугие колени дразняще, празднично вертелись так близко, что бедный Юрик, кажется, совсем одурел. С погибельным изумлением шельма пялился на них, в глазах купалась одна счастливая мольба: дэвушка, закрой, пожалуйста, колени, и тебе будет теплей, и я дрожать перестану. Он до того допялился, что сперва едва не сшиб свою ученицу, а потом и сам едва не угодил под колёса своего же педального мерседеса.

Но всё обошлось.

Она богатым подарком вальнулаась ему на плечо.

Юрик благодарно, не спеша, обстоятельно вернул ей вер-

тикальное положеньеице, и она поехала дальше.

В лихорадке Рина дёргала руль то в ту, то в ту сторону, панически вскрикивала, не сводя с переднего колеса выталькиваемых из орбит глаз.

– Милая пани, ну разве так в Грэции ездят? – сладко выпевал Юрчик, явно недовольный тем, что Рина слишком долго не делала никаких поползновений упасть и тем самым лишала его законного права обнять её ради её же спасения. – В Грэции под колёса не смотрят! В Грэции смотрят вперёд! Смотри вдаль, никогда не упадёшь!

Рина с опаской отрывает взгляд от колеса.

Смелеет, надёжней жмёт на педали. Ликует, выпережает Юрика. Юрик наддаёт, тянется поддержать её на случай за низ седла, но рука как-то сама вспрыгивает, судорожно, змеёй обвивает точёную талию.

– Ты что с первого взгляда хватаешь? – ласково пушит Рина.

– Что плохо лежит, – ещё ласковее докладывает Юрец.

– Разве я лежу да ещё плохо?

– Ну, что плохо стоит.

Они оба грохочут, как малахольники.

– Каждой Маргарите по Фаусту! – требует Юрик. – Кто за? Я – за! *Едино*властно!

Он вскинул руку, в нетерпении покрутил ею на манер штатного классного всезнайки, что сгорал от желания срочно ответить на учителей вопрос.



Рина в дрожи оторвала одну руку от руля, коротко, в улыбке вскинула – я тоже за! – и снова напряжённо вцепилась в руль с обоих концов.

Скоро Рина срезала с большака в кривой проулок.

Где-то там, в стороне, за горой, куковала её бабка.

Великий мой Моурави не мог отцепиться, подрал блудила за своей Маргариткой. Успел только махнуть мне:

– Крути потише. Догоню!

Обида придавила меня. В два огляда они уже свои. Почти родня! Как люди могут быстро, вихрем, сбегаться?

За скорбными думами я не заметил, как встречно накатил скалой автофургон во всю дорожную ширь, пронёсся ураганом, боком чиркнул меня по плечу. Благо, удержался я на козьих колёсах.

Оглянулся.

Фургон уходил в поворот.

По синему боку улетали аршинные красные буквы:

АТП

КРАСА ХЕРСОНЩИНЫ

Фу ты!..

Долго ли, коротко ли ехал я один, только слышу, нагоняет меня моуравский козлиный романсьё:

– Я сж-ж-жимаю тебя, обож-ж-жая,

Ж-ж-жар ж-ж-желанья заж-ж-жётся в гр-р-рудии...

На то пенье я ноль вниманья, фунт презренья.

«Не сгори!» – зуделось зло отстегнуть, но я смолчал.

Завидки подкусывали меня.

– Дяденька на веселопеде! Дяденька на веселопеде! – пискляво обезьяничает Юрик. – А вы знаете, почему у тёточки Риночки осиная талия! – он припадочно трижды поцеловал щепотку. – Сидит воздушный обдуванчик на диете. Секёшь? Уксус и извёстка! Извёстка и уксус! На завтрак уксус, на обед извёстка, а на ужин извёстка с уксусом! Анафемская арифметика. Уксус плюс извёстка дают в сумме офигенную талию! Прима! Жэмчужинка!.. Красючки – мой опиум!.. Ох... С этим опиумом не докатиться бы до рембазы болтов и мохнаток<sup>112</sup>... Ох... Ну эта Ринулесочка... Пэрсик! Вот это дэвушка!..

«Девушка в десяти кавычках!» – кипятит в моей черепушке свое чёрное сатанинское варево отчаянная госпожа зависть.

– Ещё одна встреча на высшем уровне, и мой пэрчик, пардон, и мой пэрсик совсем и окончательно поспеет. Сам упадёт сладкий мне в рот. Я только а-ам! Ам! Ам! Ам! Ам!!!!..

– Не облопайся! И не чавкай так сильно! Пропой всё это своей Юлечке. Она живо надёрнет на тебя чалму, если вгоряче не прибьёт.

Я повернулся посмотреть, как он принял мою шпильку.

– Прибьёт, – без энтузиазма подтвердил Юрка и на ходу

---

<sup>112</sup> Рембаза болтов и мохнаток – кожно-венерологический диспансер.

картинно сложил руки на груди, закрыл глаза. Запел бесприютно горько:

– Прощай, народ, я помираю,  
Но покидаю на вас свет.  
На память вам я оставляю  
Свой товарищеский привет.

– Извини, – поморщился я. – Хлопать не могу. Руки заняты... Когда вынос?

Казалось, он мимо пропустил мои слова, кисло заоправдывался:

– Впрочем, а что Юлечка? Юлечка моя Саксаганская в Первомайске и неизвестно, приедет ли ещё. Зато Ринуся за одну гору от меня.

Он послал воздушный поцелуй своей балерине за плаксой Мтиралой и грустно притих.

На батумской окраинке мы напоролись на милиционера. В белом кружке на перекрестке танцевал с полосатой палкой. В белых перчатках до локтей, громоздкий, задавалистый. Ну как же! Правит всей Галактикой! Указывает, какой планете куда лететь!

Заметил нас – велел нам своим полосатым болтом приткнуться к обочине.

Мы с Юрчиком синхронно дрогнули и стали.

– Готовьте, самурайчики, по тройку, – хмуро кидает

бдец<sup>113</sup> поверх встречно проносившихся легковушек.

Видали, какой горячий козлогвардеец?

Три дня с огня и всё пар идёт!

Юрчик – о, этот провористый жгун хоть кого в разговоре перешибёт! – интересуется:

– Земля слухом пользуется... Что, дорогая милиция, милые лица, дырки будете бить?

– Никаких дырок. Просто выменяю у вас на квитанции... Будем считать условно, что вы, безусловно, нарушаете правила движения. Я понаблюдал... Почему вас моментами выносит дальше чем на метр от бордюра? И где ваши номера?

– Там, где и ваш пистолет! – рубнул Юрка.

Ёрша-маморша! Из прираспахнутой кобуры на поясе вместо пистолета сморщенно выглядывала картофелина в неглаженном мундире в тесной компании с мятым хлебным ломтем. Мильт нервно застегнул кобуру, взбагровел.

– Глаза-астые! Вы у меня спляшете лезгинку на раскалённой сковородке! Готовьте пятёрки!

– Атас! – шепнул мне Юрка. – Он утратил пару шариков и хочет нас ошкурить!<sup>114</sup> – И, срываясь с места, ментосу: – Простите великодушно! Нам не на что выкупить ваши бесценные акции-квитанции!

Пока милюк остановил машинное стадо, чтоб пробежать к нам, мы были уже за домом. Влетели в кусты. Тут уж нас

---

<sup>113</sup> Бдец – постовой.

<sup>114</sup> Ошкурить – ограбить.

никто не цапнет.

Видимо, нас и не искали. Никакого шума, ну никакоечко-го волнения окрест. На Шипке всё покойно. Наверно, горький гаишник с сырым, липким комком кукурузного хлеба мог прожить без наших штрафных пятёрок.

– Слу-ушай, – говорю Юрке, – а как мы назад поедем? Живьём же кобура слопает и шнурки не выплюнет!

– Не дрейфь, минисованный!<sup>115</sup> Неужели на свете всего одна дорога и та мимо этого полосатого столбуна? Объедем. Люди негордячие.

– Мы ж его надули. А за это?.. Помнишь? «Велосипедный Насос любил надувать и поэтому часто имел дело с камерами».

– Кончай продавать дрыжики. Бизнесмент<sup>116</sup> про нас уже и думать забыл. Его дело петушиное. Прокукарекал, а там хоть не расцветай...

Однако мы всё жались в кустах, не знали, куда податься.

Мне вдруг загорелось непременно побывать в Батуме на вокзале.

Почему именно на вокзале?

Я не мог себе ответить. Но что-то такое сидело во мне, попискивало: на вокзал, на вокзал, вокзал не забудь.

Чёрт знает, сколько извертели мы улиц, упыхались, как бобики, но вокзалишко отыскали. Ветхий, хлябкий. Упрись

---

<sup>115</sup> **Минисованный** – пугливый.

<sup>116</sup> **Бизнесмент** – милиционер, берущий взятки.

хорошенечко плечишком – завалишь.

Сунул я Юрке велик, влетел в серёдку.

Низко всё в батумском вокзальчике, темно, на подпорках.

Жёлтый ящичек сиял солнышком в этой сонной заброшенности.

Мне вспомнилось, именно такой ящик я уже где-то видел.

А может, именно этот ящик я видел?

И было это давно.

В детстве.

Сразу после войны мама часто ездила под воскресенье в Батум на базар. Привозила всякий раз полную соломенную кошёлку – а кошёлка у нас, как мешок, – всякой морской дешёвой дичи. Нырки, окунёшки, вонючее дельфинье сало.

Однажды раз я уже засыпал, когда мама сказала, что поедет с Митькой в Батум. Я заканючил (мне было лет восемь-девять):

– И я! И я!

– И ты, и ты, – засмеялась она. – Спи.

– А возьмёте?

– Спи. Обязательно возьму.

На радостях я подскочил, упал и пропал. Заснул как убитый.

Но вовремя и вскочил.

Наши только на порог, я и распахни глазки. Нырь в штаны, прыг в ботинки, на бегу намахнул рубашонку.

– А ты чё так волнуешься? – набычился Митечка, ненаглядный старший братчик. – Знай спи, пионерчик, всем козлятушкам примерчик. Три ж часа ночи!

Знаю, что три. Пока дорога до Махарадзе, то да сё, вот и пять. Поезд на Батум отваливал в пять с копейками.

– Спи, спи, сынок, – подтянула матушка.

– Ка-ак спи? Вы ж обещали!

– Да я ж так... для сна посулила... – конфузливо зарделась она.

Я в слёзы.

– Ну возьмите... Я спомогу Вам чё-нить нести...

Митечка грудь колесом:

– Тютя! Товарищ Крикуненко, не давите на нервную систему. Не поможет. Плацкартные места в нашем вагоне все заняты. Без сопливых обойдёмся!

Им уже край надо выбегать.

Я исправно реву, реву всё авральней.

– Мытька!.. Сынок!.. Ты ж размышлённый... – убажает мама Митечку. – Да хай йде.

– А я говорю: хай на здоровье спит! Крепше будет!

– Ноги-то его!

– А таскай я? Этот халдейка через пять минут по щиколотку стопчет скакалки, ухекается. Чего делать будем?

– Ми-итечка... бра-атичек... ро-одненький... – несут меня слёзы. – Я оч-чень хочу с Ва-ами...

– Я тоже оч хочу. Брысь под одеяло!

Они пошли.

Я следом. До ворот дошёл.

С внезапу Митечка дёрнулся ко мне коршуном, отсыпал порцию братских плюх, и я с воплями лечу к дому.

Митечка с благородным чувством свято исполненного долга отбывает к матушке.

Пристанывая, я поворачиваюсь, скребусь за ним.

– Шмындя!.. Ну, куда ты прёшь? Беги, беги!.. Я тебя, коркохвата, голодным туркам на шашлык за рупь двадцать сдам!

Продажа меня пугает. Я примерзаю на месте.

Митечка в досаде:

– Блин блинский! Чего буровлю?.. Ну какой тыря-пыря захочет на тебе рупь двадцать терять? Я тебя туркам подкину!.. Забесплатно!.. Приплавлю к границе, то-ольке ш-шварк через колючку по той бок. Тебя на лету и подстрелят, как гадского шпиона.

– Ну ты всё сказав, шо знав? – засердилась на него мама. – Хватэ молоть. Сам-то знаешь, где та граньця?

Страхи ссыпались с моей души. Раз не знает, где те турки, так как он меня им сдаст?

Ночь тёмная. Черно, как на Плутоне.<sup>117</sup> Страшно идти одному далеко от наших, страшно и возвращаться одному домой. Я вслушиваюсь в шаги, на пальчиках почти вплотную

---

<sup>117</sup> Плутон – самая отдалённая и самая холодная планета Солнечной системы, куда никогда не доходят лучи Солнца. Температура на поверхности Плутона – 230°С.



подтягиваюсь к нашим. И ухо держу топориком. А ну Митечка кинется ко мне спустить пар, надо успеть отско-чить на безопасное расстояние.

Он ещё много раз кидался ко мне, я едва успевал отбегать назад и снова летел следом.

Наконец маме надоело наше повсеночное бегатьё, поймала она бузилу за руку и не отпускает.

Я прижался к маме с другой стороны.

Тёплая мамушкина ладонь легла мне на голову, и слёзы сами посыпались у меня из глаз.

Весь батумский денёк я бегал исправно. Как ртутный ко-четок.

Укупили что надо, бегом на станцию.

До поезда небольшие минуты. Что делать?

Мы стояли у этого пухлого ящичка, мама покаянно гово-рила:

– Великий грех мне будет, хлопцы. На базарь аж в Батум забегала! Кучу раз! На нырков время нашшла, а на батьку ни. Я ж в последний раз бачила его живого в Кобулетах... Приезжала к нему с Глебшею, навидала. Треба сходить бы на то место, где виделись... А куды за пять минут уйдёшь?.. Стоко поезд наш стоит в Кобулетах. А следующий тилько взавтре... Мимо батька скоко раз пролетала в Батум за едой вам да и назад... А к нему и разу не сходила...

Я погладил ящичек по оранжевой щеке.

«Ты все это слышал?» – спросил я.

«Слышал».

Я кивком простился с ним и вышел к Юрке.

*И все-таки лепят не Снегурочек, а снежных баб.*  
Г. Малкин

На следующий день я едва проснулся. И не без основательной мамушкиной помощи.

Было воскресенье.

Как обычно, по воскресеньям весь посёлок выгоняли на чай затемно. Мол, пораньше выбежим, ударно до двух работнём, а там и вразбег, скачи кому куда возжелается. Кто за продуктами на базар. Кто на огород. А кто и на речку плевать лягухам в глаза.

Одеяло слетело с меня.

Я слился в ком, машинально укрылся полотенцем – висело над головой на койкиной спинке.

Трофейное одеяло мама водрузила на сундуке, кинулась к полотенцу. Я не собирался с ним расставаться, трудолюбиво вцепился в него, меня и подняло до сидячего положения.

Мама рванула ещё к себе – я к себе. Причём рванул я с излишней увлечённостью, мама чуть не упала на кровать, увернулась сесть рядом со мной.

– Ну чё ото сидеть пеньком? – с сердцем выговаривает она, отпыхиваясь после возни со мной. – Все уже на рядах. Одна я с тобой втуточке борюкаюсь. Пойшли, сынок... Вос-

кресенье... На сегодня и участочек Капитон получше выделил, и рвать розогрешае с брачком... Воскресная фабрика всё слопает! Пойшли... До обеда хóроше постараемось и в город на гулюшки! Уставай, пойшли!

– Куда пошли? – закрываю я кулаком зевающий рот.

– На чай, сынок.

– А сегодня что?

– Ну... Воскресенье...

– Го-осподи! Даже в воскресенье по-божески не поспишь... Окно вон серое. Да ещё ночь! Ночища!! Часов шесть? По Москве пять. По Лондону два ночи... По Вашингтону ещё только девять вечера! Ве-че-ра!!! А я уже вставай! Добрые люди только ло-жат-ся! – Я повалился, прикрылся полотенцем. – В девять вечера поднимать!.. Мам! Я этого не вынесу. Что да ни будь утворю с собой.

– Утвори, утвори, хвостобой.<sup>118</sup> Лучше натягуй штаны! Глеб вон уже кукурузу досевать бежит. А тебя чёрт ма добудишься!

Глеб с тохой в руке лыбился от приоткрытой двери.

Он действительно уже шёл сеять. Варварино любопытство задержало его на секунду.

– Бачь! – сказала ему мама и кивнула на меня. – Губа не дура, на який-то Ва... шин... держит хвост.

– А Вы, ма, ответьте, на Колыме уже два часа дня. До такой поздни спать – пролежни на глазах будут.

---

<sup>118</sup> **Хвостобой** – болтун.

– Да топай ты своей святой дорогой, сеятель-хранитель! – огрызаюсь я вслед выходявшему Глебу, напяливаю отсыревшие за ночь на крыльце брезентовые гремучие шаровары. Набираю в рот воды, споласкиваю изо рта руки над плохим ведром.

– Дуже гарно не умывайся, – распоряжается со смешком мама. – Сороки вкрадуть... Така потеря... Скорише, скорисше! Ну шо ты, утка, пять часив булькаешься?

– Умыться я должен?

– Росой умыешься. Не на парад итти.

– А по-Вашему, то и надо умываться лишь дважды в году? На Май да на Новый год?.. Интересно, почему воскресенье в численнике красное, раз работаем? Для кого оно красное?

Со стены щекасто жмурился сытый толстячок календарь.

– Что ты к нему привязался? – сердится мама. – Красный и красный. Тебе-то шо?

– А то. Чего поесть?

Мама немо уставилась на меня. Утром по воскресеньям, перед чаем, мы никогда не ели. Кусок кукурузного чуречка кинешь в корзинку, на плантации сжуешь, как всерьёз проснешься. А сейчас... Тёмная рань ещё, спешка. Не до еды.

Мама онемела от моей наглости.

Блажь тянет меня за язык. Гну своё:

– Так что поесть?

– Ой! Да ну попей воды! Чи жалко?

– Вода не пойдёт. Я на работу иду. Мне сила нужна.

– Он щэ в еде роется! В обед разома и отзавтрикаешь!

Успеешь щэ набить кузовок...

– Вот после обеда и пойду на Ваш чай.

– Да ты шо, сказывся? Ходім!

– Ходил чёрт за облаком, да оборвался!

– И чего ото пустое балакать? Тебе пить или воды?

В ответ на моё молчание она мягко потребовала:

– Идём... Раньше пойдём, раньше вернёмся...

На дворе свежо, дремотно.

На углу нашего дома, под окнами у Карапетянов, в чайном ящике с вываленным боком сладко спала Пинка, воткнула острое личико в живот. Райская собачья жизнь! Ни один барбос не побеспокоит Пинку, пока сама не прокинется. Пускай у неё нету своего одеяла, так зато никто и никогда его с неё и не сдёрнет!

Зависть обливает меня; глаза в землю, совсем без аппетита тащусь я вследки за огромными резиновыми сапожищами матери.

Я знаю, куда они приведут. В росу, в сырь, в холод, в дрожь. Мне загодя, уже сейчас холодно. Я ёжусь, стараюсь идти медленней. Как хорошо бы никогда не дойти до этих проклятых дрыжиков на чаю. Ладно, был бы это север. А то юг. Грузия, страна лимоний...

За речкой Скурдумкой, зябко кутавшейся в белое толстое

одеяло из тумана, дальше, дальше, в тридевятom селении посреди распадка гор, никогда не снимавших со своих мудрых голов снеговых папах, зазвонисто играли побудку горластые петухи.

На водянисто-зелёном бугре все уже давно работали. Далеко от края маячили в жидкой полутьме скрюченные унылые фигурки. Люди напряжённо молчали. Можно было подумать, что они, полусогнутые, спят, не бегай их мокрые руки по росистым кустам и не обдёргивай в зле хрусткие молодые ростки.

Я никого не разберу в лицо в этой серой мягкой мгле.

Ага, вон распрямилась Танечка, драгоценная соседка. Помахала рукой с пукom мокрых чайнок:

– Я вас приветствую стоя, сони!

– А я вас, труженичков, лежа! – сонно отстегнул я.

Танёчек ткнула себя пукom в висок, присвистнула.

Мама шикнула на меня вполголоса:

– Ой и ляпалка! Из тебя дурь фонталом так и садит, так и садит!..

Мы заняли последний ряд, укутались от росы клеёнками по самые груди, попривязывали сбоку, на пояса, круглые, глубокие корзинки из бамбука и погнали свой ряд.

Мама обирала с одной стороны, я с другой.

Ряды, высокие, широкие, почти упирались друг в дружку. Потому вся роса наша. Не обобрали и двух кустов, а насквозь мокрые. Хоть выжимай. У меня то и осталось суши, что под

мышками да в ушах.

Стало противно холодно, хоть волков морозь. Цыганский пот прожёт меня. Зуб с зубом разминается.

Я сунул мокрые кулаки под мышки. Никакой жары и под мышками!

– Как говорит Семисынов, трусись, грейся, – грустно советуется мама.

– Вам хорошо.

– Чего мне хорошо? Хиба я сухой тебя? А всё ж не жалуюсь.

– Вы это Вы. Закалённые... Привыкли.

– Э-эха-а, сынок, сыноче... Всеёку жизнь привыкала собака к палке, сдохла, а не привыкла.

Солнце плеснуло с горы первый ковш тепла. Ёжистые волосики на моих пальцах смиренно прилегли. Угрелись.

Подошёл Капитолий.

– Полия! Сэгодня работаэм до обед. До обед дай, пожалуйста, дневной задани. Нэ бойса, шморгай. Приказиваю. Это я тебе приказиваю, Капитон Джиджиешвили. Твоя бригадира. Не забила? Твоя начальник номер один!

– Шморгать?.. – не то себя, не то Капитолия спрашивает мама в растерянности. – А ну фабрика взбрыкнёт да завернёт?

– Полия, ти рэбёнка! – с пол-оборота закипает Капитолий. – На пабрик тожэ план-шайтан... На пабрик дэффочки-лаборантки такие же луди, как и ми. Хотут заработать...



Хочут после обед отдыхай. Куплю, f,f, кило «Мишка на сэ-  
вэре». Это будэт моя малынки им эфиопски налог.<sup>119</sup> Сам по-  
эду. Отдам налог и бэз один звук сдам вся чай! Примут всё,  
лиш би зелёное било. Шморгай! Давай сэмилэтку в три год!  
Смэло шморгай! Нахално шморгай! Толко кусти из земли не  
видерни... С твой совест ти погибнэшь!

Растроенный Капитолий махнул рукой и отбыл восвояси.

Мама разбито смотрит на куст, на хрумкие изумрудные  
столбики стебельков, весело нёсших по три-четыре нежных  
листочка. Ей жалко *ш м о р г а т ь*, то есть драть всей пя-  
тернёй под корешок, захватывая и уже остарелые, грубые ли-  
стья..

Она зачем-то поправляет на боку корзинку, пристально  
всматривается в каждый росток и наосторожку, мягко поду-  
шечками большого и указательного пальцев начинает выщи-  
пывать.

Два листика и почка.

Два листика и почка...

Чтобы собрать таким интеллигентским макарон кило чая,  
маме надо сделать две с половиной тысячи движений.

А за сезон? Сезон длится с апреля по октябрь.

Только успевай крутиться.

Порвал сегодня, через неделю на том же участке снова вы-  
кинулась щётка молодых побегов. Зевнул пару деньков – по-  
беги загрубели, чай уже не чай. Оттого сборщики не знают,

---

<sup>119</sup> Эфиопский налог – взятка.

когда бывают выходные. Согнутые в три погибели от света до чёрной тьмы горбчатся над кустами, нависши над ними всем телом. Росы, дожди, жара – всё им. До того уломаешься, темнеет в глазах. Поднимешь голову, не поймёшь сразу, то ли солнце над тобой, то ли кружок сыра.

За сезон мама добывала четыре тонны. Десять миллионов движений! Гимнастика! После такой гимнастики каждый вечер руки отваливались, еле домой донесёшь.

А как всё красиво со стороны!

Я вспомнил, как-то раз один столичанский газетный блудист с минутку понаблюдал, как рвёт мама, и пустил розовую слюну:

*«Видели ли вы когда-нибудь руки сборщицы над кустом? Любой пианист воздаст должное её порхающим пальцам... Сборщица делает за уборочную страду миллионы движений молчаливого аллегро по зелёной клавиатуре».*

– Да бросьте Вы, ма, своё дурацкое аллегро! – даю я вспышку.

– Яка щэ аллегра?

– Что аллегра, то аллегра! Приходил же начальник, приказал ясно: зарабатывайте, шморгайте! А Вы пинцетиком ловите по одному. Пинцетиком! Зло берёт!

– А я сама на себя злая. Это надо! За двадцать годив не научилась шморгать! Хоть стой, хоть падай... Скажи кому, засмиютъ.

– А Вы сомневались? Перед копейкой все равны. И Ваша экстра, и мой шморганый – норма одна. Тогда чего выкаблучиваться? Поучитесь у дяди! – подолбил я себя в хлипкую грудинку. – Смотрите, делаем вместе. Складываем запястье к запястью. Та-ак... Разводим пошире пальцы-ладоней... Захватываем за чубчики ростки... сколько можем. И дёргаем! Во-во! Теперь Вы на правильном пути! За один заход – четверть куста голенькая под корешок! Как коровя языком слизала! Сразу в руках чайнок тридцать. То три десятка раз дёрни, а то – один. Разница? Продолжайте, продолжайте, прилежная ученица. У Вас недурно получается.

– Куда как дурно, – конфузливо возражает мама и наклоняется пониже. – А ну не дай Бог застанет бригадир иль агроном за стыдным делом?

Она привыкла, что её чай всегда отдельно высыпали на брезент в тени придорожных ёлок, потом притрушивали им сверху ящики. Вмельк глянут на фабрике – отличный чай! А уж вниз, в сор, не полезут. Знают, *что* там. План и фабрике надо досрочно выполнять.

Маме за обычай, что своим чаем покрывала чужой брак, и за брак другие втрое получали против неё. Об этом она как-то всерьёз и боялась подумать. Но ей совестно, что сам бригадир подбивал сегодня добро переводить в хлам.

Она угинается, вытаскивает губами из пучка долгий стеблину с заматерелыми листьями понизу, с коричневым корешком.

– И это первый сорт? Лава<sup>120</sup> обнаковенная! Годится разве что на кохвеин.

Отломила сверху коротенький хрумкий стволоч с двумя нежными листиками, все остальное вместе с корнем кинула на землю. Привередливо перебрала весь толстый пучок.

– Не... Это ты скрозь вывернешься, скрозь выплывешь... А я не могу. Чего нет, того нет, так зато этой дури вдоволяю... Не поворачивается рука сор в корзинку бросать. Уж буду, як знаю, быстрее дело пойдёт... Таковую принимаю твёрдость.

И снова выбирает с куста по одной блёсткой, праздничной чайнке.

– Ну, мам! Учил, учил Вас и всё без пути? Убиться!

Я ватно свёл руки на животе, солдатиком повалился на высокий соседний ряд.

Сижу, вставать не спешу.

Солнышко подпекает, только парок от меня винтом вьётся. Резиновые сапоги, брезентовые штаны, клеёнка – ничто не спасло от росы. Всё на мне мокро до последней нитки, хоть выжми, и теперь, отогретое солнцем, парится. Такое чувство, будто ты в котле.

Я отдёргиваю ворот рубашки, спускаю пары.

– Ты чё, лентяха, сидишь? Музли на заду натрёшь. Не бо-

---

<sup>120</sup> Лава (здесь) – грубые побеги чая, которые при сборе поздней осенью срезают специальными ножницами с сумками. Лава идёт на выработку низкокачественных чайных брикетов.

ишься?

– Я, ма, смелый, ничего не боюсь. Только у меня всё болит. Будто танк на мне разом сплясал и трепака, и гопака, и танец маленьких лебедей. Все жилки взрыдывают.

– Ты гля... С чего?

Тревога засуетилась в маминых глазах.

Ещё подумает что-нибудь такое...

Я-то знаю, отчего всё болит. А ну без передыху, без кор-мёжки обернись в Батум? Сто двадцать кэмэ. Прошу не путать с сэмэ. И всё горой, всё горой. К тому ж плюсуй, велик не легковуха. Упираться надо было навывкладку.

Через силу я поднимаюсь.

Кусты побежали ещё шире, бугор забирал всё круче. Потянулся я к середке ряда обобрать радостный чаишко, увлёкся, потерял бдительность и кувырк только через свой рядок.

– Шо ты лётаешь, як той трескучий цап? – буркнула мама.

Трескучим козлом она навеличивала Алешку Половинкина. Как раз сейчас он на своём крохотном тракторишке с весёлой духовитой будкой ехал мимо в центр, на пекарню, за хлебом для нашего района.

Из-за ёлок, торжественно обступивших дорогу с обеих сторон в две шеренги, поверх тракторного треска рвалось Алёшкино пенье:

– Идёт Лёшка по баз-зару

И всем улыбается.

У него вставные зубы,  
Рот не закрывается.

Весь бугор зашевелился, ожил, поворотил в улыбке лица на Лёшкин голос.

Только Василинка, слон-баба, ещё ниже угнулась. А раздишканивалось ей одной.

– Ма, за что Вы не любите Алексея? Рассудливый. Душевный. Бесхитростный.

– Нехитрых зараз дураками зовут. Я сама такая... Не нравится мне... Путляется... вееется от живой жены с Василиной кто? Скрозь любовь найде. Весь район смеется. На четвёртом десятке едет, а с детворнёй гоня хутбол твой рассудливый. Это дело?

– Пускай лучше футбол, чем чача или коньяк «Две косточки».<sup>121</sup>

– Может, и так...

Привезёт Алексей с утраца хлеб в магазин и выезжает, если на дворе мажется ранняя весна, формовать чай. Подвесит на тракторок дугастые, полукруглые ножницы и пошёл стричь овальные лбы кустам.

Бранчливый Илюша Хопера, агроном, отводил ровные участки с прямыми рядами. Даже красным флажком ограждал. А ну забудется Алёшик и нечаянно полезет на бугор! Но Алексей сам тайком переставлял тот флажок, пёрся к рядам

---

<sup>121</sup> Коньяк «Две косточки» – денатурированный спирт.

на косокручье. Подпекала нелёгкая побольше подрезать машиной. Все меньше тогда останется бездольным бабам вручить тюкать тяжеленными секаторами.

Как ни забирала работа, он ни разу не прозевал тот страшный миг, когда его коварная механизация медленно отрывалась одним колесом от земли и медленно начинала переворачиваться. В этот момент инстинкт отбрасывал его в сторону. Из-под падающего на него трактора, как из-под закрывающейся гробовой доски, которой судьба норовила прихлопнуть, Алексей пока успевал выскочить.

– Прыткий Алексей, – подхвалил я.

– Раз на раз не набегает... Доскакается трескун, пришьёт беда когда-нить к земле. Все под крышкой под Божьей кружимся.

– Для Вас Алексей старается. Что же Ваш Боженька?

– И-и... Как ото его и язык поворачивается? Где наш, там и Ваш...

– Извините, мы с Боженькой в разных компаниях.

– Понимал бы шо...

– Да и Вы странная верующая. На словах. Но и к таким верующим не прищипливайте меня.

– Не зарекайся. Года сами прищиплят.

– Что же Ваш Боженька не прикажет: трактор, не кувиркайся, как пьяный!?

– Трах-бах – во! Да угляди один за всема супостатами. Кажинный сам за собой гляди. Бережёного и Бог бережёт.

– А Алексея?

– В кружку не без душку...

– Ну да. В семье не без урода. Особенно если семья большая?

– А хотько и так... Ох, Антоха, растёшь-тянешься. Чует душа, коники выбрасуешь. И всё молчаком, молчаком...

Это предисловие к какому-то подвоху.

Я настороже вытягиваю шею.

– Вы, мам, фактами, фактами давите. А не намёками.

– Ты где вчора шастался пося школы?

– Нигде! – твёрдо я вру. – Прямо с уроков домой.

– Это до тёмного лились уроки?

– Ну! Позавчера было мало уроков, так я до обеда и обо-значься. Скорбели-болели учителя... А вчера все выздоровели скопом. Слетелись тучей. Сключничают, как воробьи, меж собой. Друг у дружки рвут уроки, каждому дай-подай поскорей вжарить пропущенный урок. До ночи и продёргали нас. Всё глубоко долбали знаниями. Еле высидел.

– Так и сидел?.. Кисло верится... Прискакал... Уже при-тёмки... Лисапет к койке приткнул, сам хлоп на одеяло. Не донёс до койки леву ногу, на сиденье лисапетном так и уснула... Не разделся, завалился тошаком. Таскала, таскала – как вмёртый. И утром еле дотолкалась. Сидел он!

– Сидел, ма, сидел... – покаянно затягиваю паутиной тоскливую эту сидячую волынку.

– А вон Глебу наснилось, шо тебя черти аж в Батум стас-



кали. Таскали?

– Кто бы и выступал, так только не этот херувимчик. Сам полторы недели батумничал!.. Ой, кобулетничал... Мне тоже, между прочим, снилось, что именно из-за него директор вызывал Вас в школу. Но я-то молчу. Не трепло.

– Так снилось? Иле навспрашки звал на свиданку?

– Вот этого, ма, я уже не помню. Кажется, всё же снилось.

Тревога разохлась на мамином лице.

Фу, гора с плеч!

Вот так брякнешь сгоряча правдушку и хватай локотки. Ну, какой наварушко от той правды? Измается, изломается мама вся в переживаниях, но так к тому директорке и не сбегает на ковровый поклон. Некогда. Да и дирику она нужна, как очки змее очковой. Разве он не понимает, что разговорами в пустой след прогульные уроки не вернёшь? Наверняка понимает. Иначе б в дирюжники его пустили?

Больше мама ни о чём меня не спрашивала, спокойно рвала чай.

Я тоже рвал.

Всё во мне болело от вчерашнего. Работал я не проворней, чем муха у вола на роге. Но кроме рук у меня была ещё целая голова, совсем ничем не занята.

И нечаянно я задумался над анатомией лжи.

Вот почему я вру? Это случайность или закономерность? Вон который день я упрямо подаю желаемое за действительное. Значит, это уже не случайность. Но ещё и не закономер-

ность. Разве бывают такие закономерности, чтоб устанавливались бы в тот-то день, в тот-то час с точностью до секунды? Или, в моем случае, сразу после визита к директору?

Вороша тусклый костерок своей жизни, я, похоже, поймал призрачную ниточку логики.

Помню, когда я ещё пешком беспрепятственно хаживал под стол, меня донимали всякие всячины.

Как-то добыл я в поте лица порез на ладони до кости.

Обидчик присыпал его пылью, движимый чистым желанием срочно восстановить целостность руки. Склеивающиеся способности придорожной пыли были явно переоценены. Тогда он сдёрнул на обочине тунговое яблоко, смазал рану липучим, вязким соком. Как клеем.

Не помогло.

Я добросовестно заревел и притёпал к матери.

Мама вскипела, слёзы на глазах, а оттрепать обидчика, сохатого кавалера ростом под лампочку, не посмела. Сдачи может дать.

Она то и смогла, что усадила меня к себе на колени и ну сыпать слёзы мне за ворот.

И меня уже не от обиды уличной разносило – от слёз от материнских.

После этого случая перестал я таскать ей в жилетку свои дворовые щелчки. А чего попусту расстраивать её?

Держался я ото всех особняком, как Аляска от России, отбивался от забияк как мог.

Боль всегда несла меня к матери, но я никогда не добегал до неё.

Хочу сказать правду – какой-то затор на языке. Не пробуюсь сказать. Один и тот же вопросец осаживал меня: а может ли это делу?

Вряд ли, заключал я.

И опадала во мне месть. Выкруживай, паря, из горя сам.

Вот я и молчу. И про директора. И про Батум.

Я всё переживал в себе один.

Это осталось во мне с той давней поры. Я врос в мысль, что мои беды мне и разводить, а не матери или ещё кому. Оттого я и не говорю правду про затянувшийся поединок с диктатором.

Ну, хорошо, я скажу. Пойдут охи да ахи. Что да как? Зачем? Почему? Нервотрёпки вагон. А практической пользы от честного признания?

Всё равно ж мама в школу не побежит. Кто в май, в чайную горячку, пустит?

К чему тогда ей напрасные расстройства?

Уж лучше я сам. Как могу – сам.

*У справедливости так много неотложных дел,  
что ей просто некогда торжествовать.*

*Б. Замятин*

Корзинки полны.

Мы снимаем корзинки с боков. На спинах тащим вешать свой чай к огромному брезенту – раскинут в тени придорожных ёлок. С весов я вываливаю свою тугую, как камень, кошёлку в общую кучу.

– Полия, у тебе на три кило менша от Антоника, – укорно качает головой Капитолий. – Пачаму не шморгаэш? Что происходит?

Мама конфузливо дёрнула плечиком и привычно высыпает свой чай отдельно, ближе к краю брезента. Перемытые росой чайнка к чайнке. Как на подбор. Одна в одну. Одна в одну.

Подбежали вешать и Чижовы.

– Тётъ Поль, – строчит Таня, – Вы гоните ряд с Наськой, а я с ним, – и показала на меня. – Ладушки?

– А меня кто спросил? – накинул я себе цену.

– Или ты против? – въехала в каприз Танечка. – Может, у тебя уже завелась какая городская мамзеляра? Так и доложь. Только знаем мы этих городских. Пальчики на ногах красуют, а шею мыть забывают!

– Ну что ты так переживаешь за чужую шею? – выговариваю я. – Как что – так сразу про невытую шею! Будто больше тебе и нечего мне сказать. Одно и то же всякий раз!

Танечка надула и без того пухлые радостно-простецкие губки.

Во мне всё хмелеет, ноги сами летят следом за нею.

Солнце разгулялось, как на Пасху.

Лилась жара, к земле давила.

Всё на тебе парится. Не продохнуть. Такое чувство, словно ты на вертеле над огнём. Как шашлык. Только не крутят, механизации нет. Крутишься сам.

Невесть отчего руки своей волькой сами забегают в гости на Танечкину половинку куста, исподтиха мой палец сам ловит её пальчик.

Она ликующе подняла мою руку за гостевой мизинец, уютно встряхнула:

– Здрасьте!

– Здрасьте, – розово бормочу я, и мизинец мой совсем не хочет уходить из гостей.

Ему очень интересно потрогать и все другие пальчики, и верх ладошки её.

Она угадала его желание, дразняще утянула в работе свои руки к низу куста.

Танечка сильно наклонилась, в простор выреза празднично заулыбались златолицые ядра упругих грудей.

Меня заклинило, я не мог отвести непослушные глаза.

– А ты, хмырик, нахалина ещё тот! – Она грозно прошла вперёд к новому кусту. – Разглядывает, как витрину ювелирного магазина!

Подврозь работалось угрюмо, варёно.

Расходиться, расслаиваться не манило.

Скоро скука снова подвела нас друг к дружке.

– Слышь, Нахалкин, – костью указательного пальца Таня уважительно постучала меня по плечу. Так стучатся в чужую дверь. – Расскажи чё-нить учительное... умненькое.

– Умненькое я всё забыл.

– А ты вспомни. Днями чего проходили, школярик?

– Разное...

– Это плохо. Разного и в бригаде слушаешься. Зря протираешь штанчата.

– Свои протираю... Ты вот что знаешь про чай?

– А на фига знать? Дери чёртову заразу до потери пульса, то и знай. Чтоб тяжеле было и в корзинке, и в кармане.

– Ты в теме, когда, где впервые объявился чай?

– А что, кроме Грузии он ещё где есть?

– Извини-подвинься. Да его родина Китай! Никто не знает, с каких пор живёт. Появился по воле Бога. Легенда такая... Монах Дарамма увидал во сне Будду и на радостях поклялся молиться день-ночь. Молился, молился, молился... С усталости уснул. Просыпается и начинает злиться на свои веки. Мол, это вы виноваты. Вы закрылись, и я уснул! Дарамма и бабах себе веки к чёртовой бабушке. Испугался, что

снова заснёт. И на том месте, куда бросил отрезанные веки, вырос чайный куст. Чай исцелил монаха, не давал спать. Уловила намёк? Чай – это бодрость... По другой истории, чай открыли пастухи.

– А почему ты ничего не открыл? Ты ж тоже пас коз.

– Я не там, наверное, пас... Чай содержит вещества, что и хлеб.

– Верно! Нальёшься на голодный желудок, харчеваться не так уже хочется.

– А в Бирме из свежих листков рубят салаты. В Тибете варят супы!

Дурашливо вскинул я руки с чайными пуками и, дёргаясь в лезгинке, на красоту прошёлся меж рядами:

**- В свой черед и невзначай  
Пейте нам грузинский чай!  
Водку гневно отвергаю,  
Чары водки - злой обман.  
Нет у друга лучше чая,  
Дайте чаю мне стакан!**

Я услужливо подал Танечке воображаемый стакан горячего чая.

– Не обожгись... Пей, Танчик. Пей... Прибавляет ума!

– Не намекай. – Таня ересливо сморщила нос, отмахнулась от *чая*. – Пошёл ты в Бандунг! Чересчурку вумный!

– Я не намекаю. Известно восемьсот восемь рецептов лечебного чая! Болит голова – выпей стакан покрепче...

– Не болит!

– А чай без сахара просто необходим тебе, графинюшка. Любой артистке далеко до твоих зубов. Тут-то спорить станешь?

– Вот и стану! Неприлично делать девушке обидные замечания. Чё ты пристал к моим жёлтым клавишам?

– Ладно. Отстёгиваюсь от твоих ненаглядных бивней в шахматном порядке... В курсах ли ты, что в 1847 году первые черенки чая хорошо прижились в наших Озургетах,<sup>122</sup> на опытной станции?

– Опаньки! Скажите на милость, какие штукерии проходят они в школе! Ну, ладнушко... Учись, учись... Ученье свет, а неученье – чуть свет и на работу. Вот как я.

– Я не сказки говорю, официально говорю, – распирает меня её похвальба. – А знаешь, что наши Озургети-Махарадзе – чайная столица! Даёт стране пятую часть чая! А!?!..

---

<sup>122</sup> **Озургети** – город (с 1840 года) в Западной Грузии. С 1934 по 1989 год назывался Махарадзе. После городу было возвращено прежнее название.



Вдруг из-под Танина локтя я увидел, как по тропинке меж кустов с Капитолием шла старушка.

Мы у неё в Чакве были вчера с Юркой.

Меня как обломило.

Рот распахнул, а что говорить враз забыл. Все мои слова отлетели от меня. Пялюсь на почтальонику и молчу.

Капитолий всё горел услужливо забежать к почтальонке сбоку. Но тропинка была узкая, они не вмещались идти рядом, и Капитолий семенил сзади, энергично, суетливо всё что-то пояснял.

Неужели она и сюда носит кому почту?

Затрапезный плащешок вяло болтался на руке, выгорелый коричневый берет устало клонился к правому уху. Под беретом томилась корона кос. Все на старушке просто, чисто, опрятно.

Я пониже напялил кепку, ужался за Танечку.

Слава Богу, не заметила, как проходила мимо.

Болтовня с Танечкой обмякла, пожухла.

Всё моё внимание пало на почтальонку.

Как она оказалась у нас? Что ей здесь надо? И кто она вообще?

Я еле дождался обеда.

Первый подбежал к Капитолию вешать чай.

Не удержался, с бегу ногу в стремя:

– Дядь Капитон! А что за старуха ходила с вами? Такая

аккуратненькая вся из себя?

Капитолий державно поднял палец.

– О! Вэликая старуха! Гэниални! Учэница Вавилова! Академик! Почти все плантации на Грузию, на Кубан, на Азербайджан – все посажено эё чай!

– Как это?

– Сама вывела! Нэ смотри, чито малэнки – ум плотни! Много, мно-ого ум! Кандидата наук дали эй бэз зашити диссертации!

– Откуда вы знаете?

– Оа! К нам на техникум сама ходила, учила-да нэмножко... При царе Чаквинское уделное имение снабжало русским чаем не только Россию, но и Канаду. После революции ми стали покупат на чужой сторона чай на семдесят миллион рубля! Золотом! Оаф! Оаф! Гдэ стоко возмёш денга?.. И тогда Москва сказал: Ксеничка, генацвале, ти умни, ти краси-ви женчина, выведи, f,f, свои чай. Читоб много била. Читоб мороз не боялса. И Ксеничка сказал: эсли ласкови Москва просит, Ксеничка не отказивает. Вэс мир говорила, селекци-ей нови сорт нэ получишь. А Ксеничка получила! Китайски и индийски поженила...

– Скрестила?

– Конечно! Скрэстила! Скрэстила да получила! Молодэц! Как горни козочка, тишу раз бегал она своими ножками вэс Грузию. Вэзде эё чай! Эё рэбёнка! Смотрит, читоб хорошё рос. Помогает на совет. Сэйчас ходил Ксения Ермолаевна

посмотрел на наш участка.

Тот участок за бугром я вместе со всеми засаживал. Странно. Так вроде мы никто друг дружке. А дело вяжем одно...

Под конец стал он хвалиться, какой преотличный чай собирает у него бригада. Подвёл к отдельной кучке маминого чая на краю брезента, перевеивал с руки на руку отборные радостные чайники.

Глянуть на такой чай – праздник!

Поджигало Капитолия угодить старушке, маслился отправить её в Махарадзе, к автобусу, с Иваном с Половинкиным. Но Ксения Ермолаевна запротивилась.

– Ну, чего ж он будет раскатывать меня по городам, когда ему край надо везти чай на фабрику? Не по пути, не по пути. Чай не может ждать!

И похлопала пеше.

– Такой болшой чалавэк! А дэржится, как сами маленькие чалавек. А ми, – Капитолий тукнул себя кулачиной в аршинную мохнатую грудь (из воротниковой распашки удивлённо тарацились жуковатые курчавинки), – а ми сами ма-аленки, а дэржимся, как сами болшой чалавэк! – И в сердцах сплюнул.

Он вешал чай, распускал народ по домам и всё никак не мог остановиться. Благодарней слушателя, преданней рото-зину, пожалуй, случай ему не подводил.

По бригадировым словам выходило, горше академика нет человека на земле. Все лучшие года бьётся одна да одна. Ре-прессированного мужа в тридцатые забрали. Двадцать вёсен гноят в Казахстане. В Чу.

– Вэлики наш мясник... сухоруки рябой кремлёвски дядь-ка, увидел в эё муже закляти враг народа. Вах-вах! Влади-мир Андрэевич Приходько – враг народа! Чито он дэлаал как враг?.. Тогда не хватал сэмэна на чай. Привозили из Китай! Китай гдэ живёт? А Чаква гдэ? Шест мэсяц вэзли! Сэмэна ссихались, силно тэряли всхожесть. Но сажать надо! Норму висева приходилос удваиват. За эта отэц народного счастья на вэка посадил самого Владимира Андрэевича на турма. Дал счастья... Горки чалавек Владимир Андрэевич... горки... Я эго помню, когда я сам бил эсчо такои, – Капитолий чиркнул себя по боку. – С лопатами, с кинопэрэдвижкой ходила Вла-димир Андрэевич по сёлам. Сама украинец, пэла под гитар грузински пэсни... Звала сажать чай. Э! Чай трудни, коло-ниальни култура. Всэ боялись на чай, не видали его в глаза и не хотели видэть. Молодой Владимир вешал на стенку бели матэри...

– Простыню?

– Да, да... Показивал кино про чаквински чай. И кто со-глашался заводить у сэбэ на усадьба чай, тут же давал пр-эмию. Стальную хорошую лопату. Кузнеци делали, чесни де-лали. Магазиинни лопатка лениви, много работай не хочу. Сразу ломатся хочу и отдыхай, отдыхай. Как бариня на ку-

портэ.

Капитолий взял охапку маминова чая – лежал на уголке брезента зелёной гордой горкой, – присыпает сверху уже плотно набитые ящики.

– Это им на закуску, – разморенно кивнул в сторону белой на солнце чайной фабрики с её молоденькими лаборантками. – Нэ поможет это, бабахнэм по ним из тижола артиллерии серии «А ну-ка отними!» и «Мишка на сэвэре». Эфиопски налог виручит! Им сразу расхочется лезть в глубину ящика. Развэ приятно видеть эту навоз?

Капитолий тоскливо глянул на не прикрытый ещё маминым чаем шморганый хлам в ящиках одаль, с нарочитой брезгливостью плюнул.

Таня с Настюхой засмеялись.

– Вам вэсэло, – поскрёб Капитолий за ухом. – А мой жэна... Как бы не занэсла надо мной мэч товарища Дамокла... Эсли узнает про лаборантки, про конфэтки-манфэтки... Конфэта – двигатэл прогресса на вэс чэловечества, да! А эй конфэтка – шали-вали с красиви дэвочка! Замэтит в подозрителни компании сэвэрного Михаила – уволит в бэс-срочни запас. Вот так обстоит проблем на сэгодня. Бедни я... За вас могу крэ-эпко пострадать!

– Не кали себя, Капитоша, – подбодрила Настя. – Коли что, мы твоей половинке зашлём от всейной бригады тако-ой ультиматище!.. Не сдёрнет со сладкого довольствия... Не боись... Не то что в момент восстанова в законных правах су-

пружника... На цыпоньках округ тебя залисит!

И показала, как забегает Капитонова жёнка, пробежисто заперебирала двумя пальцами по ребрышкам пустой бамбуковой корзинки.

Настя с Таней поклонились Капитону и побрели себе к посёлку.

– Нэ там «крэмлёвски горец» поймал врага, нэ там... – вернулся Капитолий к порванному разговору. – Развэ можэт так бит? Муж враг... А жэна, акадэмик двух акадэмий на Москва, Герой, дэпутат от сами Москви, и нэ могла зашитить? Она зашишала эго своей работой. За двадцат лет эго турми вивела двадцат сортов чая! За год отсидки один сорт... А эсли би Владимир бил дома? Сколко б она эсчо сделала? А он?.. Эух! Даже дэти не успели завести. Всё клали на потом, на потом, на потом... А потом пришла турма. Сами хороши сорт Ксения назвала «Гэрой зими». Не боится двадцат пять градус на мороз! А я би назвал и эё, и Владимира Андрэевича Гэроями зими. Наша жизн – зима, бесконечни холодни зима...

Капитон сидел на уголке ящика, в печали сронив голову.

*Ничто так не освежает, как снег на голову.*  
*Г. Малкин*

Незаметно, воровато подкатил на своей трёхтонке Иван Филаретович Половинкин, крепкий присадковатый мужик лет сорока. Выставился из кабинки.

– Казачок! Не спать! – гаркнул он в кузов Юрке, лежал на перевёрнутом ящике.

Юрка, любитель покататься по случаю выходного, бесплатное воскресное приложение к Ивану, а по совместительству и бесплатный грузчик, вскочил, с угрюмым рвением вознёс вытянутую ладошку к виску.

– Есть не спать!

– Грузим! Родина ждёт чай!

С бега Иван вцепился клещом в бока ближнего ящика.

– Ну-ка, сизарёк, – командует мне, – поддень с того краю, пока свободно. Подмоги по старой памяти.

Я заозирался.

Не видит ли мама? Вроде нету нигде. Я за ящик.

Откачнули ладом назад, с разлёту о-ох на борт!

Юрка на лету перехватил тяжелину, на коленках проворно утянул в глубь кузова.

Подбегает Чук-младший назад – новый ящик уже стоит

на борту ждёт. Улыбается. Заждался весь.

Не сговариваясь, сорвались мы с Иваном на галоп.

Галопом к ящику, галопом уже с четырёхпудовым ящиком к борту...

В работе русский человек звереет.

Вижу, нравится Ивану, что на равных нянчу с ним ящики. Как заправский грузчик. Веселит его шалая работка. По глазам, ему вроде и жалко меня. Мол, лошак и не мал, да обычаем пропал: ты с хомутом, он и шею протянул. А вслух задорит:

– Люблю Серка за обычай. Кряхтит, да везёт! Вприбежку везёт!

Прижало меня до ветру по малой. Я в посадку, за ёлку.

И всей команде выскочил нечаянный перекур.

– Этой шкент, – добежал до моего слушкового уха сбавленный Иванов голос, – всем нам ещё вставит по фитильку. Чёрт его душу знает! В лес бегит – с книжкой. На огород – с книжкой. Коз гонит пасти – всё равно с книжкой! Чего он козам читает?

– Зато в школу книжки не таскает, – осадил Юрка.

– А чего в школу таскать? – снова Иван. – Всё книжино он в башке тащит в твою школу... Пасёт рогатиков и карандашиком всё в тетрадку черк, черк, черк... Кой да что и зарисовал... У всякого мошенника свой план! Этот писателёк будет. Во-о-о-о где смеху! Схватишь вот так нечаянко книжуху, а она – *его!*.. Литературу я круто уважаю. Книгу не бро-



шу, пока не заслуюю.

– Книга эсразу нэ пишут, – сказал Капитолий. – Сначала газет пишут, да.

– Хо! Газет этот обормотистый ужэ писал! – ладясь под грузина бригадира, кидает Иван ломаные слова и в запале дёрнулся к боку своей машины, размашисто обвёл пальцем номер ГРБ 08 – 21. – Во такенными буквищами, – постучал по борту, – писал в «Молодом сталинце» свой фамили. Разве не помнишь? Я приносил тебе под нос майскую газету? За той год? Суббота, помню, была, край недели?

Капитолий вяло поддакнул.

– Вот ты знаешь, – пытал Иван Капитолия, – в какой пьесе у Островского есть Истукарий Лупыч?

– Нэ знаи.

– И я не знаю. А он, пёсий лоб, знает! Мы с тобою, Капитоне, знаем только одного Лупыча, всеми глубоко уважаемого Ивана Лупыча Клыкова, родного папика этого маленького Чукчика, – понёс руку вверх к кузову, откуда сиял улыбкой Юрка. – А он один знает ещё и Истукария Лупыча в какой-то там пьесе какого-то там Островского! Нахалец!.. Я войну пробежал, старинную задачку про военных не раздел. А он раздел, чёрт его душу знает! Ту задачку наизусть заучил я, а не отгадал. – Иван распался, жар всё сильнее загребал его. – Такая набежала задача... Воинский отряд подошёл к реке. Мост сломатый, вода глубокая. А переправляться надо. Чёрт его маму знает, как переправляться...

– О! Алёшика, твой брат, позват суда надо било, – предложил Капитолий.

Иван купоросно сморщился.

Ему этот Алёшик – как тупым серпом по попенгагену. Не терпел Иван всякого, кто ловчей него в деле плавал.

– Эк! Чудные чудеса, попал пальцем в небеса! – ухмыльнулся ехидой. – Тире идёт, своими словами буду говорить. Да твой Алёшик мало изабеллы пил! Старика Опохмельча<sup>123</sup> в упор не признаёт! Мало сациви<sup>124</sup> кушал!

Напрасно Ванюшок так рьяно...

Уж кто-кто, а Алексей, весёлоглазый гладунчик не гладунчик, но и не хлюпкий заморыш, несколько похожий на вёрткий шарик, спец ещё тот. На своём тракторке с тележкой проскакивал там, где не всякий пеше пробеживал.

Вон на той неделе.

После дождя пьяная вода дуря сгребла мост в двадцать пятой бригаде.

Подлетел Алексей – загорают одни круглые голые брёвна. На них был настил. Настила нет, одни эти два отмытых брёвнышка сверкают на солнце, смеются.

От берега до берега метра под два.

Соскочил Алёшка с тракторка, скребёт ни в чём не повин-

---

<sup>123</sup> **Старик Опохмельч** – похмелье; любой спиртной напиток для снятия похмелья.

<sup>124</sup> **Сациви** – грузинское кушание.

ный затылок. Как перескочить на тот бок?

Тут тебе навстречу подскакивает Иван с чаем.

Объезжать – начётистый крюк.

А обед.

А жара.

А в кузове чай горит в пять ярусов. До предела забит кузовок. Аж пищит, скорей вези на фабрику!

Иван пошёл разворачиваться, разбежался дать окружку.

А Алексей и вцепись в Ивана:

– Дай перегоню твою машину с чаем на свой берег. Куда тебе и надо. Кувыркнусь – добьёшь! – и протягивает заводную ручку.

Иван не нашёлся, что сказать, выскочил из кабинки, отшагнул в сторонку. Ну-ну!..

Алексей постучал пяткой по брёвнышкам, будто умка им вбил, и – сам одной ногой на подножке, другой в кабинке – сунулся переезжать.

Это не сказочка Андерсена.

Я самовидец. Сам всё видел, рвал чай рядом.

По мне – мурашки!

А он, варяг, лыбится и едет.

Он чувствовал колёсами брёвна так, точно сам босиком по ним боком переходил.

В толк не вожму.

Ну как это передние колёса не сползли с брёвен? Задним проще. Напару обняли бревно и покатали. Но передние шли-

то по одному. Разве одной рукой хлопнешь в ладошки? А Алёшик, выходило, хлопал. И как ещё хлопал!

От изумления-досады Иван шваркнул заводную ручку Алексею под ноги и попил на фабрику.

А Алёшик снова чешет затылок. Самому-то как перескочить?

На машине проще: по одним и тем же следам, что оставили передние колёса, вдогонку бегут задние.

А у тракторка всего два колёсика, по одному слева и справа, близко друг от дружки, зато у прицепной тележки – за версту.

Заводной ручкой Алексей выдолбил в бережках ямки для брёвен, чтоб те не поплыли под колёсами, благополучно перегнал тракторок на новый берег. И встал. Трактор на одном берегу, тележка на другом.

Переложил брёвна подальше, пошире под тележные колёса и перемахнул ручей.

– Значит, – торопил Иван свои слова, забивал разговор про Алёшика, – переправляться надо. Офицер заметил в лодке двух мальцов. Лодчонушка кроха, на ней мог переправиться только один солдат или два пацана. А все солдаты, пух-лопух, перебрались именно на этой лодушке! Как? Просто. Малюки переехали реку. Один остался на том берегу, другой приплавил лодку назад. Вылез. Один служивый съехал на другой берег. Парнёк, что был уже там, вернул лодку,

увёз своего товарища снова туда. Так после каждого двух переездов лодки через реку и обратно переезжал один вояка.

– Вах-вах! – изумился Капитолий.

– Или ещё... При помощи любых арифметических штук составьте число сто или из пяти единиц, или из пяти пятёрок. Причём из пяти пятёрок сто можно слепить двумя фасонами. Ну? Кто?

– Мы в таковские игры не играем, – дуэтом сдались Юрка с Иваном.

– Я тоже, – запоздало примкнул к ним Капитолий.

– И я не игрец, маму в твою в капусту! – чувствительно подсадил себя в грудинку разогретый Иван. – Зато он, упёртый дятел, перещёлкал. Как семечки!..  $100 = 111 - 11$ .  $100 = 5 \times 5 \times 5 - 5 \times 5$ . И  $100 = (5 + 5 + 5 + 5) \times 5$ .

– Эух! Эух! – проухал филином Капитолий. – Я ничаво такой не знаи!

– И ты, и я ещё не такое не знаем. Чего мы только не знаем! Островского не знаем. Литературный чайнворд не по зубам. Головоломку на место не поставим. По кусочкам букв, похожим на старинные письма, не прочитаем призыв «Будь готов к труду и обороне!» Ничего не можем. Ничего не знаем. Пустоголовая мармосня! Сидим глупые, чешем языки. Языком косить – спина не устанет. И спина не устает, и ничего не знаем. Разве мы люди? Мы ж ничего не знаем! А он всё знает! В газетухе прямошко официально напечатано: первыми правильные ответы прислали... И его фа-

милия идёт пер-ва-я! Во!.. В Грузии сколь народу? А его фамилия всё равно пер-ва-я. Умней всеха! Так что он уже журналист. Стаж журналистический уже накручивается, накручивается...

Красиво треплется дядя. Прямо до потери пульса. Только какой ему с того привар? Именно всё это слово в слово я позаглазно слышал от него же ещё год назад. Вот так же в майский воскресный полдень, пожалуй, в этом же окружении именно всё это он и пел.

Тогда я слушал, и растерянность распекала меня.

Да какой я в чертях журналист, лилась мыслуха, если и одной заметочки не накарябал? Так?..

Какой стаж? Ну какой стаж? Я ж только математические головоломки и прочие штучки правильно развязал – и разве уже стал журналистом?.. Бредовина какая-то...

Бредовина бредовиной, но какую-то сладкую занозу всадил в меня этот половинкинский трёп.

Невесть к чему я накатился пристально изучать свою газету и подмечаю, что в ней полно мелких заметулеч. Но разве у меня не хватит башки самому сочинить хоть одну такую? Хоть одну-разодну?

А вот про что? Про кого? Про Капитолия?.. Про Ивана?.. Может, про Юрку? А что про них писать? Какие за ними подвиги?

Недели две назад мы всем классом бегали в Махарадзе в музей. Сколько там всего! Вот про что стригануть!

На второй день я один ещё раз слетал в музей и повело кота на сало. На полтетрадки разбежался!

И про Гурию.

И про Гуриелей.

И про гурий.

И про Ниношвили.

И про Махарадзе.

И про гурийскую нефть.

И даже про гурийскую пешую дружину.

Всю историю края соскрёб в один мешок. Я всю жизнь здесь жил и ничеготушки этого не знал. И разве всё это не будет интересно всем, кто живёт в других местах?

Не знал я. Может, не знают и они?

Так пускай знают!

Пускай знают, что на этих землях в старину цвело древнее Гурийское княжество. В шестнадцатом веке оно добилось политической независимости. Под его властью были Аджария с Батумом. В восемнадцатом веке турки завоевали Гурийское княжество. К России оно присоединилось в 1811 году.

А впервые Гурия мелькнула в летописях в седьмом веке. Москвы ещё не было. А Гурия была!

Гурия...

Почему именно Гурия? Сахарное имя, чуждое имя. Откуда выщелкнулось на свет? Может, от гурий? Ведь «гурии (арабское, *ослепительно белые*) – вечно юные поразительной

красоты девы, служащие, по Корану, наградой правоверным в раю Магомета. В роскошных вечно зеленеющих садах покоятся гурии на драгоценных коврах, и в их объятиях правоверного ожидает бесконечное блаженство». Ну какая мужская голова не запылает, не закружится? Ну какого рыцарька не дёрнет тут же в рай?

Мир ахал – Романовы триста лет направляли Россию.

А Гуриели (Варданидзе) почти пятьсот лет княжили в Гурии, подвели её под российского орла. Резиденция Гуриелей была у нас в Озургетах.



"Туриец среднего роста, красив, смугл, пропорционального и крепкого сложения, быстр, горд, самолюбив, честен и благороден, одарен отличными способностями, воинствен и храбр, носит красивый своеобразный костюм. Костюм гурийца похож на испанский народный костюм.

... Часть Турии попала под власть Турии, последняя с особенной настойчивостью и жестокостью стала быстро распространять исламизацию: не желавших принять закон Магомета гурийцев турки связывали по рукам и ногам и живых бросали в море. Несмотря на это и в бывшей турецкой Турии жители сохранили до наших дней родной язык, чтят древние церкви и иконы, ходят на богомолье, соблюдают некоторые христианские обряды и обычаи, носят христианские имена.

В 1851 году была сформирована сотня гурийской милиции в составе 110 нижних чинов для охраны в Озургетском уезде границы со стороны Турии. В 1877 году сотня послужила кадром формирования 1-ой гурийской дружины, которая награждена георгиевским знаменем "За отличие в турецкую войну в 1877 - 78 годах". По окончании войны гурийская дружина оставлена в составе четырех пеших сотен".

Меня несло и несло во вчера и я ничего не мог с собой поделать.

Я вдруг почувствовал себя виноватым: то, о чём я читал, не знал ни я сам, ни кто другой не только за пределами, но и в самом нашем крае. И не расскажи я им про всё про это, то кто же расскажет?

Ещё сто лет назад в Гурии часто натыкались на выходы нефти. Чертова уйма была!

Прямо из трещин коренных пород чёрно дулась. И под Натанеби, в урочище Наруджа Якоби, и у подножия Шемокмедского монастыря, и в Гуриантской даче, и у селений Чочхати, Цихе, Самхто, Чаниетури под Озургетами.

Месторожденьице на ах.

Четыреста квадратных вёрст!

**"Гурийская нефть по праву должна обладать рынками Европы!"**

Ни прибавить ни убавить.

Горячо захлопотало нефтепромышленное товарищество «Гурия».

Но до большого не дошло. До добычи нефти дело не добежало: октябрьский остановил переворот.

Не мог я смолчать и про Эгнате Ниношвили. Писатель. Автор романа «Восстание в Гурии». Учился в Озургетах. Бунтарьком был, за что и выперли из духовного училища.

На улице его имени жила наша школа.

А я про всё про это молчи?

Так ещё не всё. Вместе с Ниношвили учился Филя Махарадзе. Ему не то что улицу – весь город отдали. Стали Озургети величаться Махарадзе. Революционер был. Ещё потом большим начальником был в Тбилиси. Заслужил.

Особенно мне глянулось, что многое у Фили было точно так, как у меня. Только у меня чуть похуже.

Он в десять лет часто босиком ходил на занятия в город за шесть километров. Я тоже хожу в тот же город. Но если напрямки, посуху, по хлипким мосткам через Натанеби – семь кэмэ с гачком. А вольёт дождина, река рассопливится во всю долину – дуй в обход, через настоящий мост. А в обход до школки моей уже одиннадцать чистеньких кэмэ.

У Фильки батя был попиком в селе Шемокмеди.

А у меня нигде никакого батечки. Война не отпустила до-мой... Забрала...

А в остальном мы с Фильком ехали на одном полозу.

После школы горбатился он в поле, по хозяйству. И я. Готовил он уроки по ночам. И я.

Ему поставили памятник у вокзала. А мне забыли.

Фу ты... Какие наши годы? Я только родился в день смерти Фили.

А впрочем, забыли, ну и забыли.

Я даже вовсе не в претензии.

Стоит-киснет махардзевский бюст на месте. Нудное это дело, стоять на месте. Зато я дважды на день, в школу и из школы, пробегаю мимо куда хочу... Могу добежать до школы, могу и свернуть...

Раскатал я всё это, почувствовал себя умным-умным.

Даже голова перестала вмещаться в старую кепку. Разорил

матушку на новую.

И пошёл я всю газету внимательнейше читать. До буквы. Всё искал свою фамилию. Даже на свет смотрел.

Однажды мама испуганно спросила:

– Ты шо утворил?

– Пока вроде нигде... Ничего...

– А мне навроде сдаётся, в милицию тебя вызывают.

– С чего бы это?

– А с того! – тайком сунула письмо из редакции. – И на конверте буквы печатные, и на бумажке. Я распечатала.

– Да кто Вам позволил чужие читать письма?

– Нашёл об чём печалиться... Я и своё не отчитаю. Или забыл? Без грамотёнки я. Мне все буквы на одну личность.

Статью мою забраковали. Советуют писать про какой-то летний отдых школьников, про какие-то походы по родному краю.

Добежал я письмо по диагонали и скис.

– Ну шо пишуть? – насторожённо шепнула мама. – Шо в письме?

– Сплошное уважение. Сам редактор так и начинает: уважаемый такой-то! Имя, фамилия мои. Ни с кем не спутаешь. Про летние походы школьников зовёт писать им...

– А ты и пиши, раз просят. Или чорнил жалко?

Чернил хоть залейся. Только про что писать? Про походы?

У нас не ихние походы.

У нас свои походищи. С семи лет одни походы. До обеда в

школу поход. После обеда поход на чай – до вечера гнуться рядом с матерью.

Если не плантация, так огород до ночи. Воют шакалы. Глухая, чёрная ночь. А ты копаешь под картошку. Катаешься на лопате, больно понравилось. Оторваться не можешь.

А то после занятий убежишь в поход по лесу.

Скачешь, скачешь с цальдой. Нахватаешь вязаницу вдвое толще тебя и попёр жук вприбежку.

Пока допрёшь – горб мокрый, последний пар из тебя вон.

Иль таскаешь навоз из сарая опять же на тот проклятый огорожище. И бегом, и бегом...

Одни походы...

А блеснёт воскресенье, опять рвётся душенька в поход по родимому краю. Собьёмся в стайку, лаврика три с района, и по соседним сёлам.

Бредём и орём:

– Работник нужен? Работник нужен?..

В какой двор пустят, мы и рады.

Чай, яблоки рвать, по огороду убраться – за всё хватались.

Абы чего платили.

Поесть дадут, шелестелок немножко дадут.

Какие ни малые бабурики, а свои. Кому неохота, чтоб с ладошки *своя* копейка смеялась?

На кино, на карандаши, на тетрадки, на учебники у матери не напросишься. Опустошительные гангстерские налёты на родительский узелок не в чести. Домашний капиталик все-

гда на виду. Получит мама зарплатку, соберёт всех. Скажет:  
– Вот, хлопцы, принесла грошенята. Трошки наскирдова-  
ла я денежек... Кому надо – в платочке за портретом.

Как бежишь за хлебом – нырь за портрет мамы с отцом на  
стене. А разбрызгивать тети-мети на киноглупости кто рас-  
смелится? Без кина ни один не окацубился.

Но кто без хлеба уснул?

А если ты и без кина не засыпаешь, так дуй в выходной  
по селяням, заработай и сори, как хочешь!

Вот мы и погуливали по окрестным сёлам.

Один поход потней другого.

А туристских променадов мы не знали. И не узнаём.

Так про что же тогда написать?

А что если про чай? Чай!

Вот я и раскатаю, как наша совхозная пацанва всё лето  
дерёт чай!

Свою первую заметку в газете я помню наизусть всю. До  
последней точки.

Каляки-маляки!

Захотел – смог. Написал!

Правда, я накрутил полтетрадки. А в редакции оставили  
всего четыре фразы. Двумя пальцами всю заметку в газете  
закроешь!

Утеснили до гениальности. Одели мои простосердечные  
слова во всё казённое.

Зато фамилию не сократили. Ни на буковку. В полном составе дали!

Гордость немножко расправила мои сутулые плечи на короткий срок. Но по-прежнему держался я от людей на околке, в тени.

Эта моя первая заметка выскочила в прошлом июле.

В субботу.

В субботу же, второго апреля, печатались и задачки, которые я отгадывал. Опять же в субботу, 14 мая, дали ответы и имена правильно ответивших.

Ещё одно событие местного значения сварилось в субботу. Я родился.

Так что к Субботе у меня особое отношение.

Нет мне легче дня против Субботы. Суббота вывела на свет, подала надежду на журналистскую судьбину.

Я кланяюсь тебе, милая моя Субботушка...

Ты мудро рассудила, что «не следует запрещать детям играть с творческим огнём».

Иван в лицо похвалил, что не забыл я помянуть в заметке его сестрицу Марусинку. Так чего же он сейчас строит вид, что не было ни этой заметки, ни новых двух? Что это его заело на тех задачках? И с чего в голосе насмешливый ядок? И чего он на меня так злится, что мелочь плавится в карманах?

Тупарь я!

Да с чего ему приплясывать-то передо мной? Ну вспомни.

С Иваном я в разводе.

Ещё прошлым летом я с ума сходил по нему. Вместе с Юркой помогал грузить в пять ярусов четырёхпудовые ящики с чаем в бригадах, разгружал на фабрике. А он за это великодушно разрешал кататься с ним. Пока достоится своей очереди на фабрике, уже три часа ночи. Пока приедем домой, расцветает.

Мамушка восстала вся.

Запретила мне подходить к машине. И к Ивану ни ногой.

Раз от разу выговаривала Ивану. Да зачем? Кто её просил? Он же обещал взять к себе в грузчики. А там и в помощники, в стажёрики. Выучит, вытащит в шофёры! Я ж и дня не проживу без запаха машины. Буду умирать, поднеси к выхлопной трубе – снова побегу!

– Писарюк! Ну, у тебя уже прошло острое воспаление хитрости? – нарочито громко пульнул в мою сторону Иван. – Давай-но, писателюха, сюда грузить!

Как ни в чем не бывало вылетел я из-за ёлки, поскакал назад.

Иван сидел на подножке. Дымок с ленивой преданностью обволакивал, обнимал его: мотор был в работе.

Дымок грел мне душу. Я лечу к нему, ловлю облачко, но оно сквозь пальцы, сквозь меня куда-то уходит. На руках, на лице оставалось лишь ароматное его тепло.

Иван криво взглянул на меня. Как гусь на зарево.

А! Пусть злится. А я не буду.

В заглазном случайном злом трёпе он подсказал мне мою



судьбу. Раньше я и не подозревал, не догадывался, что есть на свете какая-то журналистика. А он жёлчно указал мне на неё, смехом толкнул к ней. *Подсказал мне меня.* И спасибошки! Теперь-то я точно знаю, чего я хочу в жизни!

Мы с Иваном снова начинаем подавать ящики на машину.

– Прокатимся, лысый ёжик? – жмурит один глаз из дымка

Иван. – В цэковский кабинет сажаю рядом. Чин чинарём! Может, дам чуток порулить...

Я жмусь.

И хочется по старой дружбе прокатиться на фабрику, и колется, и мамка не велит.

– Мне нельзя. После обеда уговорено с матерью кукурузу на базар везти.

– А-а... Покрепче держись, тюня, за мамкину юбку. Да смотри не заблудись, манюнечка! На досуге займись цветиками. Заране расти на окошке кактус «Стул для любимой тёщеньки!»

Все грохнули.

Я на полдороге бросил тащить ящик.

Иван еле удержал его, четырёхпудовую дуру, на коленях, покрыл меня пересоленным словцом.

Я взял корзинку и побрёл домой.

Краем глаза я вижу: наконец ящики в пять этажей установлены в кузове.

Степенно, парадно машина поплыла в хмельные фабрич-

ные края.

Что же он так медленно едет? Тащится, как моль по нафталину. Нарочно? Думает, побегу догонять? Как бегал в прошлые разы?

Я б и побежал. Но зачем он обозвал меня манюней? Чего буровил про какую-то тещу? И после всего этого?..

А! Фикуску тебе!

*Даже солнце не в состоянии всегда быть в зените.*

*В. Жемчужников*

В спешке мама гладила свою выходную кофту.

– Уже двичи пропикало радиво! А я дома. Ойо-оеньки!..

Базарь зачнёт расходиться. То и поспею к шапочному разбору... Кто кукурузу станет брать?

– А почему Вы меня спрашиваете? Не смотрите, как на икону. Сегодня я Вам больше не служка. Говорили сходить до обеда на чай – сходил. После обеда моё личное время. Всё расписано. График. Поем и на речку. А там футболию. Прощёная игра.

Сказать напрямиком про зажатый обед не поворачивался язык. Из чего готовить? Когда?

Но голод в такие тонкости не вдавался.

С напускным безразличием я тихонько, вроде для себя пропел:

– Л-люблю-ю с-салат в нач-чале м-мая...

Это дожало матушку.

– Я и забула зовсим! – плеснула руками. – У нас же куры всё сидят у себя в кабинете! Сбегай выпусти да яйца подбе-

ри. Яешню на скору руку сконбинирую.

Курятник сотрясало громовое кудяхтанье.

Крику, крику! А яиц-то всего три.

Отдаю я их маточке, себе на умке тяну враспев:

– Закудакала курочка... выкудакала яичко... Докудахта-  
лась спасибо... Накудыхталась вволюшку...

Мама хлоп яичко об ребро сковородки. Пустое!

Лицо у неё вытянулось.

Ни звука мне, торопливо хлоп второе. Пустое! Третье –  
пустое!

– Грех... тёмный... – бессвязно шепчут белые губы.

– Можно подсветить... Вы сегодня кормили кур? Нет.  
Вот они и забастовали. Той же монеткой ответили... Да не  
пугайтесь Вы так. Это они Вас разыграли. А я помог. Булав-  
кой проткнул скорлупки, всё выпил. Не надо жарить. Время  
где?

– Насмерть выпужал... – бормочет мамушка. – Это надо  
удумать?

– Нет. Вот это надо удумать! – Из её чайной корзинки я  
достал кусок кукурузного пресного чурека и луковичку. –  
Утром не съели. На чаю съем! С чая принесли назад. Съешьте  
хоть сейчас!

– Да когда? – Она бросила чурек, луковичку в мешок с  
кукурузой. – На базаре делать нече будет. Буду торговать и  
зым.

– Уха-а... Чем Вы, ма, и живы? Что Вы вчера в ужин ели?

Чурек помазали постным маслом, посыпали солью и запили холодной водичкой из криницы. И больше до си ни крошки!

– А с чего ты чужие взялся куски насчитывать?

Она сердито связала бечёвкой хохолок мешка и ручки соломённой кошёлки. Наперевес взвалила всё это на себя.

Её забавно повело.

В мгновение зигзагами добежала до стенки, воткнулась в неё мешком.

– Ох-охоньки... Тпру-у, дивка. Приехали! – Мученически-виноватая улыбка зарделась у неё на лице. – Как мы скоро... Е-право... Чем тяжелыше ноша, тем быстрее бежит ишак!

Я снял с неё поклажу.

Приладил кукурузу на багажник, кошёлку на руль.

Мамины глаза засветились надеждой.

– Иль ты, сынок, хочешь мне помочь?

– Всю жизнь мечтал! – огрызнулся я и тоскливо повёл навьюченный велик из комнаты. Господи! Это ж как минимум вымахни речку из графика!

– От спасибо! Дай тебе Бог здоровьячка! Дай Бог! – причитала вслед. – Без Бога не дойдёшь и до порога...

– Но мы уже миновали порог! – буркнул я.

Сразу за калиткой городская мятежная дорога разгонисто летела книзу. Садись и дуй. А мама? На одиннадцатом номере в гордом одиночестве? Как-то неладно бросать одну.

Может, упротить на раму? Так и сформируем наш поезд.

(В классе в третьем мне дали в премию книжицу. Называлась премило. «Как мы формируем поезда с головы и хвоста одновременно». Много чего с той поры забыто, а это забываемо. Захочешь забыть – ломом не выковырнешь из головы.)

Я остановился.

Галантно, в поклоне, широченным жестом – всё-то у нас на барскую ножку! – показываю на раму.

– Битте-дритте, фрау мадам. Карета подана-с!

Мама замахала руками, отхлынула в сторону. А ну силком ещё усадит!

– Иди ты! С этим чертякой лисапетом и костей не сберём!

– Боженька даст, не рассыплет. И он лишит Вас пикантного удовольствия – подбирать собственные косточки. Садитесь.

– Отстань! Бабе пять десятков – изволь радоваться. Лезь на лисапет!

– Лезть не надо. Просто садитесь.

– Не... Я уже подстарелая... Превзошла к старости... Я боюсь. Поняй один. А я сбоку... петушком... петушком...

– Может, уточкой? Всё Вы с причиндалами. Да пока приползёте, всеинный базар расползётся. Послушайте меня, дурака!

– И не приставай! Ни за какие тыщи не сяду. Я, сынок, поганый бачила сон.

– Ну и что? А кто говорил, воскресный сон до обеда? Не

Вы? Не Вы? Да? Ничего нестряслось до обеда. После обеда уж и подавне не стрясётся!

И тут мама подала отвагу. Села ко мне на раму.

Скрипучий наш паровозишко под силой невероятной тяжести зло набирал с угорка движение. Ветер холодил лица.

– Как барыня... Панствую... Сижу и ножки свесила.

Мама вызывающе смотрела на стянутое проволокой переднее колесо. Испуганно-восхищённо обронила:

– Ох и прёт зверюка! Ты ему посломи сатанинский гон.

– Нечем-с. Тормоза с год уже на пенсии. Не держат.

– То ж погибель верная!

– Откуда такие точные сведения? Лучше свободней сидите. Ну, отпустите чуть руль. Ухватились клещом... Утопающий и то легче за соломинку держится. Совсем править нельзя!

Мама не отпускала руль, тянула своё:

– Тихше... Убьюсь... Загудим, як горшки!

– Боженьки ещё наобжигают.

Крыла нет на переднем колесе. Ступнёй упираюсь в шину.

Ход скис.

– Ну, во! – перевела мама дух. – Теперь ще поживём.

– Недолго думано, да хорошо сказано!

Я снова распустил вожжи.

Мама и вовсе легла на руль. Как прикипела. Страх закрыл ей глаза.

– Вы что? – кричу.

Мама молча надвинула козырёк косынки на брови.

– Что с Вами?

– Становь драндулетку! Слезу!

– А на вагонных дверях зачем пишут чётко: «Не выходите из вагона до полной остановки поезда»? Пол-ной!

Мы вылетали на финишную прямую. Последний поворот под гору.

– Сосчитайте до тысячи прежде чем надумать что. Считайте. Не теряйте время.

Наверно, маме было больно сидеть. Она заёрзала, сносная нить движения оборвалась. Велик заходил под нами как пьяный.

– Да сидите Вы Христа ради!.. Смирно!

– Как же смирно?! Что я, сижу на подсудимой лавке?

В тот самый момент, когда я, сообразуясь с законами велосипедной езды, мастерски клонил наш поезд влево, сердитая мама мудро вдруг дёрнулась всем корпусом вправо. Для полной надёжности крутнула и руль вправо. Подправила. Решила, что лишь так и надо. Произвела порядок. И единственным махом сокрушила сук, на котором мы так славно устроились.

Пыль покачивалась над нами ядовитым облаком.

Я подбежал к маме, взял за плечо.

– Вы живы?

– Не знаю... Вот так мы-ы... Накрыла-таки невезень...

Будь у нас мозги, погано пришлось бы. Выскочили б... А так



нечему высказывать... А сон и после обеда настагае...

Она осторожно наклонила голову к груди, затем смелей, уверенней, резче подняла вверх. Сжала, разжала пальцы.

Усмехнулась:

– Всё навроде гнётся... Не скрипит... Ничего не цепляется...

Я не выдержал:

– Ну, ма, раз связь не нарушена, можно считать, – подла-  
дился я под Левитана,<sup>125</sup> забасил, – полёт прошёл удовлетво-  
рительно!

– Эгэ, удварительно... Тебе б так!

– Будто я падал на царь-перину.

– Твои молоди костоньки враз ссохнутся. А тут рассыпья,  
век до кучи не стаскать.

– Слава Богу, Вы не мешок. Не рассыпались.

– Шо ж он так у нас кувыркнулся? – осуждающе посмот-  
рела мама на велосипед, лежал на обочинке.

– Вашими стараниями...

– А шо я такого сделала?.. Лисапет стал клониться вправо.

Я быстро дёрнула за руль и повернула его влево.

– Тем самым Вы тут же и свалили нас обоих на землю!

– Как это? Я ж только чуть-чуть подправила лисапету  
путь. Ты, друже, думаю, куда клонишься? Тебе надо влево...

Я и подправила...

– Понимаете, у вела свой нрав, свой обычай... Вел ещё

---

<sup>125</sup> Юрий Левитан – диктор радио.

тот гусь со бзыками!.. Стал он клониться вправо, надо на миг какой ещё сильнее повернуть вправо... Надо уважить его каприз. На миг на какой сильнее повернуть дальше, как ему хотелось, вправо и тут же вывернуть его на прямой путь. И тогда б он уже не лёпнулся с нами на горбу. А Вы... Всё наоборот!

Мы заполошно накатились горстями угребать кукурузу назад в мешок. В спешке я ненароком прихватывал и пыль.

– Всё больше будет, – выразил я своё мнение насчёт пыли.

– Оно не так бы надо...

– Так не так, а перетакивать некогда. Мы ж не нарочно падали!

– Оха-а!.. – пыхнула мама. – И чего ото молотить шо здря? Самого чёрта перебрешешь! Тилько кто за тебя будэ соображать той кумекалкой, шо на плечах? Лей, да не через край. С какими глазами торговать пылюгой? Да нам ею глаза закидают!

Из мешка она вывернула всю кукурузу в кошёлку и на раскинутую в канаве по траве косынку стала веять.

Она старательно переливала зерно из ладошки в ладошку, дула изо всех сил.

Жиденский короткий ручеёк золотом горел на разомлёлом солнце.

Я повздыхал, повздыхал да и прилип помогать.

Наконец я снова водрузил мешок на багажник.

– Ну что, фрау, битте? – подставил я раму.

– От тоби дрытте с маслом! – Мама с горькой усмешкой поднесла к моему носу кулак в связке сине проступающих жил.

«Очень жаль. Кому этот жест добавит лавров? Он понимается и как отсутствие присутствия благородных манер, и как – хуже того – вульгарный выпад: на` кукиш, на базаре на него что хочешь, то и купишь. Вы хотели, но, к Вашей чести, не показали дулю, едва-едва удержались. Да кто не знает известное: задуманный проступок пускай и не стал явью – все равно проступок?»

Скажи я это и вслух, мама всё равно б пропустила мимо ушей мой туманный десант в проповедь.

Она с огорчением смотрела на редкие зёрна в пыли, не могла отойти.

– Шо ж мы скрутили? Скоко зерна мимо дела шмыгнуло... Яки деньги?!

– Мозольные.

– Всё тебе кортит со своим глупством в чужой монастырь завернуть. Хлеб кидаем!

И она села на корточки, выщелкнула из пыли все до единого зёрнышки.

– Идите садитесь.

– Опять сиди, як мытая репа? Накаталась на дурничку... Я пеше... Петушком... петушком...

– И долго курочка собирается пробыть петушком?

– До самого места.

– Смотрите. Моё дело предложить, ваше дело отказаться.  
Я поехал медленно.

Мама семенила рядом.

У плетня, при дороге, стоял красавец петух. Наклонил голову вбок, скучно разглядывает нас.

– Гарный петушака. Як нарисованный. Хвост дыбарём!

– Ему что... На базар не бежать.

Потные капли устало гонялись друг за дружкой по низу разгорячённого мамина лица. Капли сшибались, сбегались в одну величиной с горошинку и, не удержавшись, падали, терялись в пыли.

Мне как-то не по себе.

Я, гаврик-лаврик, еду, как кум королю и сват министру, а мама скачи в поту?

Я слез, молча иду рядом.

– Ты поняй, поняй. Я настигну. От только... – Она села на обочинку, стащила хромовые отцовы сапоги в гармошку. Они длинные, ну по самое некуда. – Это надо? До крови ноги намуляли! Скаженно жмут да ещё скрипят!

– Такое пекло... А Вы вырядились в сапоги?

– И не спрашуй. Кинулась обуваться – нема одного тухля. Я туда, я сюда. Нема! Може, мыши под скрыню затащили? Не глянула... Некогда... Я и надёрни батьковы чёботы... Бач... Батька война не отпустила. А чёботы его живуть и живуть...

– Говорите культурно. Не чёботы – сапоги.

– И-и! Чего б ото присикаться к словам? Мне без разницы.

Абы голыми пятками не сверкать на людях.

Теперь мама шла босиком. В той и в той руке по сапогу. Козырёк косынки прилил ко лбу.

– Упарилась, отогрелась бабка...

Она сдула пот с верхней губы, над которой чуть дрогнул и кустик пшеничных волосков, что рос на коричневой, будто от густого загара, горошине родинки.

За речкой Натанеби, уже в городских лопухах, мама обулась.

Сапоги важно скрипели под ней.

Прохожие останавливались послушать и улыбались.

Вот и рынок.

– Базарь застановлен людьми хброше, – довольно сказала мама. – Продамо!

Покуда мы пропихивались к кукурузному месту, чего-чего не услышишь!..

– А! Григорей! Тёмнай друг... Здорова!

– Здоровеньки! Может, по старой дружбе поздороваемся в губы?

– Да ну лизаться!.. Никуда не ходишь, божий человек?

– Под старость лет куда... Доползёшь ель до мил подружки коюшки. Эхэ-хэ-э... Ёлки-палки хрен Моталкин... Живи, живи, ещё и помирать надо. Из Нижнядявицка пишут... Примёр мужик. Вырыли яму. Привезли хоронить – ан набралась грунтовая вода. Не рой яму на ночь! Когда хоронить,

тогда утром и рой. Бабы говорят: идите в крайний дом, попросите ведро и вылейте. А мужики, что рыли, морды пьяные, говорят: трупу всё равно преть. Стали закидать, а вода покрывает землю. И так вышла из могилы. Не захотела вода умирать... Сосед, Машкин батько, восемьдесят лет на одном месте живёт, пел: не было воды никогда и ста граммов. А сёдни двести вёдер из погреба вылил. Снег упал на талую землю. Надумал таять и вода пошла по жилам. Подтопель такая!.. Всё навскружке затопила...

– Наскажешь про таковские страхи с Родины... Ну, покедушки. Бывай здоров!.. А я целую шайку конвертов взял. Из каждой кучки купил газет. На неделю хвате. Ну, бегу. Бывай здоров!

– Бывай и ты в здоровье!

– Эта печка часто и густо золой засыпает глаза. Хорошо в казённых домах. А тут в зиму холодюка. Дыхнёшь – дух видать. Мороз хряпнет – ни жив ни мёртв.

– Ой, не скажи, кума! Кажный по-своему дурак. Почему вам квартиру не дают?

– Похоже, не заслужили.

– Нет. Потому что дураки.

– Дураками мир дёржится.

– Плохой мир. Вы стары, сыну пять десятков. И двадцать семь годов гниёте в одной аварийной комнатухе на десяти метрах! Где это видано в таком счастье купаться?

– У нас и не такое счастье видано...

– У меня закололо в правом боку.

– Это двенадцатое ребро зашло в живот.

– Да тю на тебе! А нарыв вот у глаза. Что это?

– Спеет богатый урожай ячменя...

– Какая движения на дороге! В два конца машины ревут. Земля под дорогой как не рухает? Автобус с «Колхидой» стакнулся. У шофёра голова отвалилась. Сиденье в лепёшку. Автобус в лепёшку. Сиденье от сиденья ломками отваливали. Людей из сиденьёв ломками выковыривали.

– А у меня новость не мягче... Ох Господи!.. Я дни потеряла... когда это было. Не то в субботу... Женщина переходила дорогу. Мотоцикл как дал – винтом пошла...

– Свинья у Черторынских затонула в уборной. Скворешню сняли. Яма полная, у свиных один нос торчит. Вытащили, обмыли да закололи.

– Свинью-то обмоешь, обжаришь да съешь. А моя квадратно-гнездовая радость... Разожралась... Растолстела бабёха поверх всяких возможней! Похожа на колхозную комору...

– Девочка с женихом поехала кататься на мотоцикле. Где жених был не знаю, а рулём сама водила. Упала. Приехала

домой, никому ни слова. А утром собирается в школу – обмороком шимануло. В больницу. Комаров нашёл аппендицитий. Стал резать. Аппендицитий хороший, а внутри всё в крове. Забрали в область. Померла. Родители подали на Комарова в суд. Мать сказала: уходи из района, я тебя решу. Горька дивча, горьки батько-матирь... У этого Комара собственна жинка померла. Что ж то за главный врач, ежели жену не вылечил? А просту людыну разь такой вылечит?

– То и успокоение, что всем умирать не миновать. *Оттуда* никто не приходил...

– Заспорили трое, кто же были по национальности Адам и Ева.

Англичанин говорит:

«Они были англичане».

А француз:

«Нет. Французы они были».

Тогда говорит русский:

«Нет, мужики, они были русские. Только русский может удовольствоваться половинкой яблока, бегать с голой задницей и считать, что живёт в раю!»

– Друг, скажи, а в Африке доят поллитровку?

– Ещё как! Но там строго. Собираются трое. Двое пьют, а третьим закусывают!!!



– А у нас одного похоронили с бутылкой в головах. Крепенько подливал. «Народный похмелец!» Как хряпнет водочки, всё одну присказку говорил всем, вроде как жаловался: «Хоть она и белая, а что-то прибалдел я...» Жене наказывал, как подохну, поставь бутылку в голову, а музыку не нанимай. Будут дудеть, за мозги мне дергать... Ну, повесился. Схоронили. Соседка и говорит жене: «Зин, он просил пол-литра поставить, а ты четвертинку поставила». – «Хватит чёрту! Хай там отдохнёт. Здесь эсколь попил! На потоп хватило б!.. И сама хоть отдохну. А то набубулькается и храпит, как телевизор, когда передачи кончились, а его забыли выключить...»

– У! Забула! Зовсим голова пуста. Сестра писала, град у Кучугурах був. Утром лопатой отгребала. Туча крылом задела. Крышу сорвало, як газету со стола скинуло. От ураганина!..

– Вот это да-а! Откололась в Нижнядявицке бяда. Наш Нижнядявицк на первом месте по калагализму!.. По пьянке. Надо хоть по чём выбежать на первое место. В винном магазине писано: калагализм – враг твой и ёбчества. И нарисовали: перевернутый дядько в бутылке с водкой. Водка перевернула всё вверх кармашками. От водки погиб мир. Вон сосед у меня. Тверёзый – человек. А шатнёт градус, нажрётся в полный рост – кроет всех под одну крышу...

– А у нас на пятом отслужился один. Васюха Мамонтов. Пришёл к однофамилкам, к Мамонтам, сватать младшую дочку. Манькю. А ему и говорят: да она у нас ещё дюже мала. Ну, семнадцать. Что ты будешь с нею делать? А он отвечает... Да мы, говорит, с ней уже всё спланировали и немногость спробовали. Знаем что! Ему и вбубенивают: «Знаете не знаете, а хочешь влететь в счастье – бери старшуху. Паранькю. Ягодка на десять лет поспелей. С одной полянки... Одних корней... Чего тебе перебирать? Чем она тебе неподходящая?.. Ну как мы тебе младшуню сдадим, если у нас старшая сидит? А девка там, сам знаешь, хорошо кормлёная, тельная... Зачем мы будем очередь ломать? Кто ж через сноп вяжет?» А Васюха закопытился. Хочу Манькю и все! Его ласково так, шёлково выперли с пустом. Поверь, на веки вековущие обе ягодки присохнут в христовых невестах...

– А этот ты не слыхал! Американский корреспондент вернулся из Москвы к себе в Нью-Йорк. На него набросились: «Что такое Советский Союз? Расскажи!» Он и рассказывает: «Это удивительная страна. Никто не работает, но план перевыполняют. План перевыполняют, но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но у всех всё есть. У всех всё есть, но все недовольны. Все недовольны, но все голосуют за!..»

Жу-жу-жу-жу-жу...

Жужжит базар. Шумобродит базар.

Базарные жернова перемалывают смех и слёзы, боль и тоску.

На кукурузном торжке, за речкой, народцу реденько. К нашей кукурузе никто и не прицениется.

У мамы свой зудёж на сердце. А ну придётся назад тащить?

У меня свой. Мало без речки говей, ещё и без футбола останусь! Продала б быстрее, взяла б муки пшеничной. Я б на велик и в обратки!

Невесть откуда вывернулся дед Семисынов.

И Семисынов, и мама страшно обрадовались друг дружке. Соскучились! Как же, век не видались. Давно ль паслись на одном чаю? Аж в обед нынче расстались.

– Онь, – сказала мама, – ты чего весь запотел?

– На себя работал. Обедал!.. Тут, в рыгаловке... Поблизку... навстоячки... Заодно чудок подрессировал зелёного змия... Товар, Поля, тупо идёт?

– Тупой, Онюшка, спрос.

– Радиограмму принял... Шифровку понял... Понял... Счас подгострим...

Семисынов осоловело поглядел вокруг, подумал и пошёл.

Он старался ступать твёрдо. В это он добросовестно вкладывал всю свою власть.

Скоро он конвойно подвёл под руку какого-то хлипкого,

рыхлого старичка с насупленным, вопросительно-суровым взглядом.

– Это я, Поля, добыл тебе покупца. Из-под земли востребовал...

И старику:

– Заглазно, кукуруза не в сказке сказать! Ка лошадиные зубы. В полпальца! Бери, не промахнёшься. Да сам смотри. Своя во лбу палата!

Старичок вмельк заглянул в мешок, согласно закивал.

И без звука дал мамину цену.

– А теперь ответствуй, чего боялся идти со мной? – пытал старика шаловатый Семисынов. – Думал, разбёгся я афернуть? Так мы отучим так об нас понимать!

Семисынов плюнул в ватный кулак. Трудно подал мне.

– Ну-к, Антониони, размахуй моей рукой. Я его вдарю как надо на дорожку...

Семисынов засмеялся.

И голос его, и взор светились добротой.

Он вяло махнул рукой:

– Не... Мы в драку не поедem... Лучше...

Он подсадил клунок с нашей кукурузой старику на спину, и тот важно запереступал к выходу.

– Иша, как его фанаберия забирает, – качнулся Семисынов в старикову сторону. – Будто самолично ту кукурузоньку растил... А ты, Полюшка, всё ти-ти-ти. Да чего титикать за свой труд? То б тебе и сам Никита сказал, будь живой...

Подлая, подвешенная жизнь обирает у нас твёрдых друзей-ков...

Мама кручинно вздохнула.

– Извини, Поля, мои пьяные брёхи... А завязалось всё со ста граммулек да с Васи из бани...<sup>126</sup> Жажнешь один фуфырик – боишься. Жажнешь другой – боишься. А как третий выкушаешь, так и не боишься. Активизировал сознание! Пить я, Поля, не умею, – пожаловался он. – Не остановлюсь. Пью, пока ухом землю не достану.

– Не наскребай на себя грязь. Чего наговариваешь?

– Спасибошки тебе... А знаешь, водка человека медведем делает... И всё ж тот страшный бездельник, кто с нами не пьёт!.. И потом... Пользность от питья какая... Лечебная... Принял того же биомицину<sup>127</sup> и тоска жизняка сразу заиграла... Пойду я ишо поинтересничаю, ишо на городской народушко погляжу. На всю неделю нагляжуся!

Семисынов тонет за чужими телами, за чужим гвалтом.

– Ну, сынок, пошли и мы. Что было – видели, что будет – увидим... Сёни у бабки рекордный день. Грошей уторговала повну жменю. У самой бы головы не хватило. Анис подмог. Вона кого надо благодарить А я и забула!..

Как савраски скачем мы меж рядами, но ни на что на своё никак не набежим.

---

<sup>126</sup> **Вася из бани** – сухое вино «Вазисубани».

<sup>127</sup> **Биомицин** – вино «Біле міцне» (укр.) – «Белое крепкое».

– Ты поглянь, – жалуется мама. – Такая глупость образовалась – ничего не купишь... Грошики – это зло, особенно когда их нету. Нема денежек – сидишь прищулишься. А когда есть, расширитуешь...<sup>128</sup> А и есть, так...

Её взгляд зацепился за чеснок на лотке.

– Чесноку, чесноку! Горы навалили! Синий да хороший. В кулак! Не надо, а купишь.

Не удержалась, взяла несколько головок. В доме всё сгодится!

Скоро мы наткнулись на пшеничную муку. Взяли.

Я обходительно увязываю покупку на багажнике.

Мама наказывает:

– Ты туточки постой-пожди. А я побегаю поприценяюсь. Може, кабанчика уторгую. Побигаю щэ трошки...

– Побегайте, побегайте, – разрешил я.

Ушла как пропала.

Сколько можно ждать? Там, наверно, все уже играют. А ты топчись на месте, как тетерев на току.

«Ну, – думаю, – возьми она того поросёнчика, так всё ж равно я не посажу его на свой педалный мерседес. Что, не донесёт одного того визгуна?»»

Бес-луканька подпёр меня шилом в бок, я и подрал домой.

---

<sup>128</sup> **Расширितовать** (здесь) – держаться смелей.

*Все дураки – единомышленники.*

*В. Гин*

В пять я был на майдане.

Ребяшня облепила цементированный ободок пожарного бассейна, в ожидании опоздавших перемалывала семечки вперемешку с рассказами.

– Где тебя носит, Генералиссимус? – выскочил навстречу папа Алексей.

– Я был...

– А мне это до дверцы! Я не спрашиваю, где ты был. Я спрашиваю, где тебя носит?

Пока он в крике энергично размахивает руками, выражает всеми доступными и недоступными способами свой гнев по поводу моего опоздания, я расскажу немножко про него. Это просто необходимо.

Алексею тридцать три. В семье в наличии жена, дочка, сын и маленький тракторишко. За глаза мы упорно зовём Алексея кто папой, кто стариком Хоттабычем, а кто и Похабычем. Он главный начальник всех прощёных игр.

Чем объяснить его долголетие в отечественном футболе?

Ой! Ну что я сразу про долголетие, когда вы ещё не знаете, что такое прощёная игра?

Так вот, прощённый матч прощает вам ваши грешки, преступления, согрешения, грехи, грехопадения. Ассортимент королевский. Нашлись насакиральские плутони с замашками Платона, докопались до истины и установили, что отец термина *прощённый матч* наш папа Алексей. Он и ввёл эти игры в каждое воскресенье.

Как-то шли наши с четвёртого района.

Проиграли и смеялись.

Это-то и взбеси его.

– Как же!.. Смешно! Смешно дураку, что рот на боку. По мячу попасть без компаса не можем и тем задаёмся, как картошка в борозде. А подумай, никому не возбраняется! Чем игра ценна каждому? А ничем. Попинали мяч и пошли. Ничего путного за игрой не стояло. То-то бегали, как варёные раки. Будто для галки в отчётике играли. А надо, чтоб на игру вела не галка, а вот это, вот это, бармосики! – подсаживал себя в грудёху Алексей. – Да чтоб там, – долбил оттопыренным большим пальцем за плечо, – стояло б что-то такое, за что бы ты пошёл не только в яростную атаку, но и на смерть. Играй так, будто тебе осталось жить ровно столь, эсколь длится игра, если ты её просаживаешь! Играй так на полную выкладку, чтоб пот кровью тёк!.. Помните? Итальяшки прохукали первенство мира. Ихний тренерок убоялся сразу ехать домой. Полгода дрыжики продавал в соседней стране. А заявись сразу, его б у самолётных сходней под туш проглотили и пиджачок не выплюнули б эти тифозники...



– Тиффози, – поправил кто-то. – В Италии так болельщиков называют.

– Соль не в названии. В принципе. Вот чего мы таскались на четвёртый? Защищали честь района? И почему именно мы? Лучшие? А кто нас метил печатями, что мы лучшие?.. Так, скомкался сброд... Все мастера! У нас же в Гурии, как в Бразилии, каждый мужчина с семи до семидесяти прежде всего отличный футболист. А раз так, на игру иди те, для кого в этой игре поставлена на кон честь не только посёлка, но и твоя личная честь. Галочки игры побоку!.. Право на участие надо завоевать. Ка-ак? Блестящей учебой на ошибках. Поясняю. Когда человек чаще ошибается? В мо-ло-дос-ти. Благородные высокие ошибки роста. Ошибки – благо! На ошибках учатся. И таких прилежных выучеников надо поддерживать. Кто за неделю гуще нагрешил, тот и иди в воскресенье отыгрывайся. Испуай вину. Добывай вейник в футболе прощения. Даже в песне один по радио из-за Лысого Бугра пел:

– Ой дайте, дайте ж мне свободу,  
Свою вину в футболе испулю!

– Это не из оперы?

– Сам ты опера за хвост тянешь, – обиделся Алексей. – Когда... Когда бестия кругом виноватый да прекрасно знает, что его мало выпороть, как шкодливого кота, он не то что мячи уфинтовывает – землю рвёт из-под сатаны! Так ему зу-

дится замазать вину. Он голыми руками выдернет из огня свою честь-победу. А победителя кто засудит? И все ж его грехи теперь уже не грехи, а сплошная слава. И не только его одного – всего посёлка.

Вот откуда выбежали прощёные игры.

Накуролесил за неделю – скачи в воскресенье исправляйся на поле. (Исключение: двойки не являются пропуском на площадку, поскольку двойка не ошибка молодости, а явное свидетельство кризиса извилин. Поэтому, решил Алексей, двойкохвату надо помокрей потеть один на один с учебником, а не с мячом.)

Объяснить долголетие папы Алексея в футболе я не смогу. Говорят, сначала ему нравилась его идея о прощёных играх и сами игры. Лихие, чертогонные. Он великодушно доверил себе многотрудный пост патрона команды. Была критическая полоса, Алексею грозил недопуск в команду – всяккли серьёзные прегрешения. Он вовремя сориентировался, капитально заблудил с постоянством мартовского кота. Всю неделю тайком блудил, а в воскресенье на футболе каялся.

Блудил и каялся.

Блудил и каялся.

Блудил и каялся.

Он вошёл во вкус, не остановиться уже. Он обожал свои грехи исключительно лишь потому, что не мог жить без возвышающего душу футбола. Цепко держал свои руководящие

футбольные вожжи. Вёл переговоры об играх нашего, пятого, отделения совхоза с четвёртым. Каждое воскресенье сливал новую команду и, случалось, на тракторке на своём доставлял прямушко на поле соперника.

Наконец я с грехом пополам докатил рассказ до той минуты, когда Алексей пушил меня за опоздание, грубо лягнул Генералиссимусом. Так он обзывал меня за то, что я учился вроде неплохо и вёл себя сносно, за что маму подхваляли на родительских собраниях.

То было год назад, ещё в совхозной школе.

Но разве прозвище пожизненная рента? Единственное богатство, которое не может конфисковать даже смерть?.. И ещё хоть бы терпимо перекручивали. А то один брякнет: *Генерал-умирал*. Другой: *Минерал-генерал*. Третий: *Минус генерал*...

– Ты что, ялда на меду,<sup>129</sup> опаздываешь? – рыл верховный подо мной бесплодный краснозём. – Ядрёна марш! Врезать бы тебе по самое не хочу!.. Он гдей-то прохлаждается, а тут все и жди, и жди, и жди!..

– Виноват...

– Из твоей вины пива сварить?.. Ну да что бобы разводить?!

Алексей пружинисто вскочил на перевёрнутый чайный ящик.

– Гуриелики! И по совместительству орёлики! Кто гото-

---

<sup>129</sup> Ялда на меду – медовый пряник.

вый сегодня заслонить честь района, не пожалеет грешного живота? Попрошу ко мне!

Мелочь, что облепила бассейн, как воробьи кадку по гребню, духом снялась с насиженных мест, обжала папу.

Папа насупил брови. С молчаливым достоинством сделал величественный жест, будто что невидимое отстранил поднятой рукой.

– Не все, не все, греховодники! Рассамые достойные сюда. Ангелочков прошу не шебуршиться. Не мыльтесь, бриться не будете. В сторонку, в сторонку! Попрошу на задний план, молодую мать твою за ногу!

Толпа сумрачно задвигалась.

– А вот ты ходи на меня, – поверх голов ткнул в Юрку. – Назначаю капитаном. Чин многоответственный. Главное, учувствуй, чего желает поиметь от тебя твой родной посёлок. По-бе-ды! Только это возвернёт тебе доброе имечко образцово тире показательного ученика. Капитана ты честно заработал неявкой в школу. И все муки святые твои из-за горячего сострадания к ближнему.

Тут Алексей подержал на мне строгий выразительный взгляд.

– Хорош и твой ближний, шёл на капитана. Но схлопотал отлуп – опоздал на наши сборы. А пан Глебко общёлкал обоих! По авторитетным коридорным слухам, уточнённым у криницы, он, товарищи вьюноши, подслушал у своей души зов товарищей Магеллана и Лаперуза. И вследствие чего

на всю декадищу отчаливал в Кобулеты на предмет вхождения в морское прозвание. Если ошибаюсь, можете не поправлять. Но!..

Страсть подожгла Алексея, ввергла в неуправляемую стихию стиха.

– Но Магелланы и Лаперузы  
Нужнее чаю, кукурузе!

И кончил Алексей так:

– Глебиан вернулся к нам. Есть мнение дать ему капитана.

– Это ж две власти уже? – вскозырилась толпа. – Как понимать?

– Так и понимать. Ум хорошо, а два получше!.. Кто там выворотил, что я начал за здравие, а кончил за упокой? Уточняю. За что начал, за то и кончил. За победу!.. Маленькая, лё-ёгкая корректировочка. Окончательно портфелики раздаём так. Пан Глебиан Кобулетский – капитан. Варит игру в центре...

– А Клыку кто уже давал капитана? – не унималась толпа. – Кто теперь Клык?

– Был Клыком и остаётся Клыком. Клык – правая нога Глебиана. Первый зам по обороне, по неприкосновенности наших родных ворот. С его чугунок надо быть при защите. Тогда мимо ни мышь, ни мяч не проскочат. Сами ж видали. Финтит, финтит какой из вражьего окружения. Обведёт-на-

кроет одного, второго, третьего, а как стакнулся с Юриком – культурно пашет носом глубокую зябь. Юрик ещё то-от спец по дровишкам. Главный наш Сучкоруб! Если угодно, он же и Коса. Или Автоген. Незаменимый!.. Под случай выскакивает в нападку. Голы нам сильно не навредят! Вторым первым замом по голам назначаем этого торгового деятеля, – кивнул на меня. – Он по совместительству и вторая у Глебиана правая нога.

– А что, у Глеба обе ноги правые? – кто-то хихикнул в толпе.

– А вот кто спросил – тому сделаем левой и правую ногу. Будет бегать с двумя левыми! А то слишком большой вумник... Антоня – лёгкий, скорый на ногу, худей велосипедной спицы. Ему ль не забивать? Эта троица, уважаемое собрание, идёт мимо конкурса. Для начальства никаких конкурсов нигде не придумано... А протчих самурайчиков мы сейчас через ситечко... Через ситечко...

Алексей предупредил, что заявки тех, кто добыл за неделю всего-то по три провинности, даже не кладутся во внимание. Плюнуть да растереть! Три, два, один накол – топай на игру лишь как почётный зритель. Так что, ангелочки, поскорее летите на своих крылышках на лужок, загодя устраивайтесь у боковых линий. Посмотрите, как играют *неангелы* – не менее прекрасная половина человечества.

Потерявшие надежду попасть в команду наступающе, огненным валом загудели:

– Нечестно даже!

– Ну дал здоровицу!<sup>130</sup>

– Какой-то трибабахнутый!

– Чумородина!..

Алексей державно свёл руки на груди:

– Бунт отвергнутых ангелов? Образцовая публика, а пальца в ротик не занасивай... Ах вы, тютю-мутю... Кончай, зеленятки, зубатиться! Не мешайте. С Богом! – И заотмахивался: – Кыш! Кыш!

*Ангелы* посверкали злобными взглядами и кисло побрели в сторону четвёртого.

– А теперь сведём дебет с кредитом.

Кандидаты вытянулись в шеренгу.

Папа Алексей медленно шёл вдоль. Каждый в свою очередь выставлял столько пальцев, сколько, по его мнению, поработал за неделю проколов. Никто не требовал перечислять твои проколы. Верилось на слово. Сколько скажешь, столько и будет. Проходным баллом была пятёрка.

Но на всякий аварийный случай всяк к растопыренной проходной пятерне приставлял два-три пальца другой руки. А Вовчик Слепков хлопнулся перед Хоттабычем на спину, задрал руки-ноги.

Что бы это значило?

---

<sup>130</sup> **Дать здоровицу** – В игре в лапту – такой удар мяча палкой, при котором мяч летит вверх перпендикулярно к земле.

Папа грубо задумался.

Володяша был сынок Василинки, той самой грешницы Василинки, с кем папа Алексей шалил, любил под крендель тайком пройтись. И не только пройтись.

Может, Вовуня боялся, что папа Алексей вдруг по-родственному заартачится, мол, ещё семейственность тут разводить, и не возьмёт его, Вовуню, и он пошёл лёг на такую крайность?

– Мальчик, сколько у тебя пальчиков? – в тягостной тишине вежливо спросил Алексей.

– Два на десять!

– Двадцать один, – понуро уточнил из хвоста шеренги Комиссар Чук-младший.

Вовчик благодарно посветил в хвост васильками своих глаз. Логика его проста, как вздох козлёнка. Больше очков – больше шансов выйти на игру.

– Шуточки не в струю! – шикнул Алексей. Кивнул Вовусе: – Вставай, мальчик. Смелый!.. Нападающим будешь в связке с синьором Антонеску, – и качнулся в мою сторону.

Мы видели в лицо всех, кто в течение недели слишком густо казаковал. Не всё коту Масленица. Вот и пришёл великий пост. Ляг костями, но победку подай!

Право лечь выхватили Сергуня Смирнов, Андрей Попов, Шалун, он же Шалико Авакян, Васюха Мамонт, Алексей Мамонтов, Василиус Скобликов, Лёнчик Солёный, Валико Барсенадзе, Бора Гавриленко. Именно Бора, а не Боря. Бо-



ра – приморский ураган.

А про остальных вы уже слышали.

Вывести на поле команду может и играющий под настроение её патрон, заслуженный мастер всесовхозной категории Алексей Половинкин.

Пока папа заводил тракторок полотняным ремнём с узелком на конце, все чинно утеснились в тележке прямо на полу; сидевшие сзади свесили ноги на землю. Наконец *Мердесец* завёлся, дрожа зафырчал, заотплёвывался злым дымом с кровью-искрами.

Алексей важно опустился на служившую сиденьем железную в дырках с копейку тарелку, взялся за длинные синие рычажки и только тут заметил, что трон пуст. Дурной знак. Свято место пусто!

Он крутнулся на своей тарелке. Побагровел.

– Капитан, на трон! Не ломай обычай!

Глеб послушно угнездился на синих рожках спереди у тракторка, припал спиной к горячей, к поддрагивающей его ребристой морде.

За нашим тракторком с гиком катилась стадом мелкосня.

На шум липли к стёклам в удивленье распластанные взрослые лица.

– А сегодня у них начальник наш соседка! – тычет в Глеба Таня ложкой с пшённой синеватой кашей. Чижовы то ли ужинали, то ли обедали, то ли завтракали. Толкнула створки

оконные шире, закричала: – Улыбнись, чёртушка! Иля аршин сглотнул? Глебу-у уня-я!..

Глеб будто и не слышит. Невозмутим, торжествен. Трон обязывает!

Из других окон лопались вдогонку рваные куски фраз:

– Ну ма-а, пусти на футбол... Не пустишь, сбегу же! А?!

– Настась! Сойди с ума, купи винца. Аж кричит, как нае-хоть на портвешок надо. Инакше наша не возьмёт!

– Ну ежель гад четвёртый впундюрит хотько одну штуку, сымаю рубаху и иду во этим кастетом править челюстя. Бу знать, как заколачивать нашенцам!

За воротами посёлка затравяная, ещё не размолоченная колёсами дорога ширью чуть просторней раскрытых рук падала колом вниз меж двух плотных рядов ёлок. Тут уже при-тёмки. Сквозь сомкнутые ветки совсем неба не видать.

*Не путайтесь под ногами у тех, кто ходит на голове.*

*А. Ботвиников*

Игра назначалась на шесть.

А уже настучало минут двадцать лишку, когда мы подъехали к лугу.

Хозяева сидели кружком. С подозрительной живостью что-то доказывали друг дружке. Сидя метали чёрную икорку?

Встретили они нас открытым холодом.

– Здоровко, хакарияне! – кинул в приветствии руку наш папа.

Хозяева опустили лица.

– Полный опупеоз! Что происходит? Разве здесь не торжественное открытие дорогого мундиала?<sup>131</sup> Тогда почему я не вижу хлеб-соль на расшитом рушнике?.. А! У вас не нашлось сольки? Сплошала торговля, не завезла? Тогда б хоть поздоровкались, что ли? Это б вашу репутацию не замазало. Чё всё молчаком? По ком траур? Таракан в сучке ногу увязил? Или блошка с печки упала? Всё равно, миляги, так не встречают дорогих ненаглядных гостей.

---

<sup>131</sup> **Мундиаль** – чемпионат мира по футболу.

– Таких, как вы, – только *так!* – в упор отбарабанил проламывающимся баском коренастый толстун Костик Сотников. Штатный их капитан.

– Ясней?

– Гля на часы. Всё скажут!

– Подумаешь! – присвистнул Алексей. – Опоздали. Не велика горя. Я не английская королева, чтоб никогда не опаздывать. Начнём на полчаса спозже, земля не бросит крутиться.

– Земля тут ни при чём. А ФИФА спокойнушко впаяла б вам поражение. Приравняла б опоздание к неявке.

– Я вам такую фифочку дам – век помнить будете! – На бегу пастух Василий так сильно шелканул кнутом, что все невольно угнулись. Позади него, по ту сторону площадки, паслись в бузине козы. – Кто я издесь? Судья? Иля не пришей козуле бантик?

По уговору, гости выставляли своего судью на поле. А хозяйева уболаговорялись лишь судьями на линиях. Зато двумя!

Сегодня наш Василий судья в поле! Заглавный шишкарь! Самая головка!

– Один в поле не воин, пускай и судья, – подбивает клин под Ваську мотористый кощейка с рыбьими глазками. Он рыжеват и за то прозвали его Каурым. У него было и второе прозвище. Француз. Он говорил в нос, гугнявил.

– Ты что намёком мажешь? – Алексей лодочкой подставил ладонь к уху, как это делают глуховатые старики.

– А то... Пускай будет он вам подсуживать, а мы и так вас наглядно раскокаем!

С разбойничьим подсвистом Алексей выставил кулак из-под локтя.

– Не хвались, кума, горшками! – выкрикнул скандальным дискантом всё тот же тоскливый визжун со шрамом на щеке. – Полную таратайку дровишек повезёте отсель. Не только на разжижку – всю зиму хватит топить!

Угрозы цеплялись одна за одну, как пальцы шестерёнки.

– Оя, мужики, паралик тя расшиби! Кому-т я уж и сыпану сольки на хвост, оя и сыпану-у! – ворчит Василий. Голос в нём ворочается невидимым медведем, как гром в небе. – А ну закрывай мне тары-бары на три пары!

Он оглушительно выстрелил длиннющим кнутом.

Кнутобой присмирил базар.

Скоро водворённый мир несколько подивил Василия. Похоже, он сам не ожидал, что вот так враз ухватит полную власть и над молодым вертоватым людом, как над козьей дикой ордой. Разок всего-то подал голосок Петрович (кнут свой он звал Петровичем) и масаи ша, примёрли.

– Стенки, р-рыздевайсь!

Долго ли голому раздеться?

Наши рубахи-штаны наперегонки слетелись комками в одну артель.

Василий побрезговал сунуть своё в общую кашу. Начальник!

Степенно вернулся назад к краю луговины, поближе к бузиннику, где в поту работало его рогатое войско. Под вечер козы всего охотней едят.

Фуфайку, рубаху-полотнянку прикрыл сверху крест-накрест кирзовыми сапожищами. Чтоб не улеглась какая бодуля отдохнуть.

– Аг... а-аг... поддержи её за ножку, – сильно сутулясь, поххатывал он.

Идти босиком колко. Пускай под тобой вроде и трава, а чего в ней только не живёт! И колючки, и острые камешки, и битые бутылки.

Не взглянешь без слёз на судью. Босой, гол выше пояса. Но в шапке, в ватных штанах. Уши на шапке подняты, не связаны. Покачиваются при ходьбе, будто в лени отмахиваются от жары.

– Чего вытаращились, как козы на мясника? – шумит Василий. – Я б и готов выдать штанцам вольную, да большое утеснение душе... Как растелешённо, в одних трусах, скакать перед мадамами? – и смотрит в сторону рогатой ватаги в бузине.

– А в шапке чего?

– А без шапки, как без авоськи,<sup>132</sup> – рассудительно ответил за Василия Алексей.

Василий тоскливо морщится. За балаболками не за море ездить, и здесь непочатые углы!

---

<sup>132</sup> **Авоська** (шутл.) – жена.

– Скоко можно возжаться, ротозини? – выговаривает он и кривит губы, крупные, полные, как растоптанные валенки. – Тот шнурки всё не завяжет, тот резинку не затянет. Солнце уже где? – смотрит на самую высокую ёлку на бугре за ручьём. Эта ель служила нам часами. – За голову царевне пало. Завсегда на сию пору уже лётали в игре! Считаю, христовенькие, до десяти. И начинаем!

– А почему до десяти? – подшкиливает Костик и сам отвечает: – Потому что дядя судья может считать только до десяти?

Василий не стал считать.

Резиновый детский мячик к груди, кнут на плечо и молча пошагал к центру, туда, где краснела кротова хатка, холмик свежей земли.

Но до середины поля Василий немного не дошёл.

Видит, не готовы анафемцы к игре, присел на мяч подождать. Подоткнул под скулу кулак на манер роденовского мыслителя и нечаянно задумался. И, похоже, надолго.

Можно б уже начинать – судья как неживой. Окликнуть никто не решается.

Команды пошептались, в два ручейка обежали Василия, стали друг против дружки скобками.

Круг почти замыкался.

Василик очнулся, недовольно вскочил. Теперь он скуп на речи, как гордая мужская слеза. Говорит, топором вырубает слова:

– Что, в каравай будем? Тогда за ручки беритесь, пукёныши.

– Но так положено начинать, – доложил льстивый Костик. – Все в журнале видели.

– Про каравайко? А там не показывали, что надо не тута, а в самом центре выстраиваться?

– Центра там, где вы, Василий Павлович, – плетёт кружева Костюня и рдеет, опускает долу шельмоватые глазки в пушистых ресничках.

– Чё эт ты, бочковатый зоб, масляным блином в рот прошишься? По отцу вспомнил... Я и сам не знал, как его звали... Иль где справлялся?

– Как такое и без справки не знать?

– Не лиси лисой, Сотня, отвечай. Не прикидывайся овечкой, волк слопаёт! Эха, хозява... До чего ж тёмная да серая, прямо тёмно-серая публика. Лучше вели своим сказать привет. Цветок нет поднести... Это ты не углядел в журнале?

– Цветы неловко. Не девчонки-погремушки...

– Во-он куда погнул углы? Как же. Подарки дарить – отдарков ждать. А какие с нас отдарки? Разве синяк какой?

– Это как раз и лишнее. Нам лишнего не надо.

– Не кидай зацепушки. Не подадут. А зачнёте фулюганить, спрос простой. Обниму раз подсекальником, – Василий пошевелил кнутом, – и вся штрафня.

– Да мы... Вот бы ваши... Мы, пожалуйста, можем даже поздороваться с вашими.



Сотников сделал знак. Вразной, без аппетита хозяева промямлили приветствие:

– Физ-культ-привет...

Мы с достоинством приняли этот факт к сведению, но до ответа не опустились.

Василий встал.

Все замерли, как ищейки. Не зевни, схвати первый! Кидай же, Василийчик!

Василий разбежался, широко замахнулся с подпрыгом – мяч выпал за спину.

– Не... с ноги далечей, – сказал себе.

Он пробежался, кинул перед собой мяч, замахнулся с подпрыгом – мимо.

Снова пробежался, снова кинул, снова махнул ногой – опять промашка.

По монолитному стану болельщиков прошелестело волнение.

– Всю обедню портит.

– И вечерю. Тайную и явную.

– Видал, шо выкомарюе? Своя нога владыка. Как судья – хоп себе колобок. Сам гасает по полю, а другой кто не подходи!

– Ты нам гол обеспечи, а не пачкай мозги этими дурацкими па-де-де из «Дон-Кихота».

– Точно, дэ-дэ. Два дэ. Судья и мяч. Нашёл дурак на дурака и вышло два!

Под нервный шумок Василий попробовал ещё ударить по мячу – мазнул.

Побежал догнать его, но Сергуню нашего уже разорвало терпение, успел выбить из-под носа. Мяч унесло в небо.

Игра началась!

Всё ожило, задвигалось, зацвело.

В томительном ожидании приземления мяча команды сбились в ком, кое-кто даром время не терял, успел обменяться тычками. Беззлобными, летучими. Так, ради потешного знакомства, ради разминки.

Готовясь принять мяч головой, Сергуня основательно сплюнул. У него своя чудачинка. Как ударить по мячу – прежде надо сплюнуть. Вроде как благословить. Без плевка Сергуха к мячу не притронется. За эту привычку ему и прилепили прозвище Плюнь.

– Эй, Плюнь! С первой минуты плюй! – горлопанит кто-то из наших болельщиков. – Бери шарик и сажа-ай!.. Плюху!

Сергуня готов взять это указание к действию. Сплюнул. Первым подпрыгнул к мячу на свидание. Но мяч забрал головой Костик.

Костик пружинистей, расчётливей повыше подскочил из-за спины и с возмутительной вежливостью перехватил.

– У-у, гад! – вскипает Серёня и круто снова сплёвывает. – Это тебе так не сойдёт!

Он кидается за Костиком, растопыренной пятернёй убажует меж лопаток. Выше не удалось достать.

Василий скачет рядом, журчит:

– Не расходишь, ягодка, не расходишь...

Серёня не слышит. Чувствует, что упускает Костика, подножкой ловчит уложить. Но у этого бегемота Костика будто пропеллер в задю. Летит, как сто чертей!

Серёня отлип.

Подтягивает трусы, бормочет мне в своё оправдание, мстительно глядя на уходящего Костюню:

– Этот бледноногий у меня б выхлопотал... Спасибо, убёг...

Чего ж спасибо? Господи, этот танк нагло прёт прямо к нашим воротам. Ещё не хватало, в первую минуту воткни нам штуку!

– Дом-м-мой! – орёт наш золотокрылый вратарь Скобликов, в панике созывает своих к защите. – До-мой!

Клыков, Глеб, Авакян, Слепков в подкатах ложатся костыми. Наконец, и Костюня прилёг. Всё-таки наши умельцы срезали с ног. Подкат чистый, не придраться.

На поле вымахнул белый как мел Алексей.

Сразу к Серёне с лекцией:

– До сблёва тошно на тебя смотреть!.. На пердячем пару да на чужом херу хочешь на полном скаку забубениться в рай? Ты чё, балерун, отпустил? – тычет в Костика на траве. – Сиди у него на ноге! А то всё балду гоняешь! Бегаешь, как беременный козлюра на десятом месяце! Да двигай же ты костылями! Ра-бо-тай!

– А я что делаю? – окрысился Сергуня.

– Заколотит этот попрыгун, – кивает на встающего Костика, – башки на твои-их плечах станет не хватать. Думай, пока есть чем!

Алексей повернулся ко мне:

– И ты не пинай воздух на месте. Не то душу выну и задвину. Не во нрав мне твой нешевелизм. Ра-бо-тай! Ка-ак я говорил? Чтоб пот кровью тѣк!!!

– Бу сделано! – киваю.

И бегу работать. На поле все работнички. Угорело носятся табуном за одним цветастым мячиком. А попробуй остановись оглядеться, Алексей своё: ра-бо-тай!.. ра-бо-тай!.. ра-бо-тай!!!.. Ему главное – мелькай, не стой. А уж какой капиталища выскочит из твоего скаканья, дело двадцатое.

Не успел я глаза опрокинуть, мяч опять у Костюни. Или ему сам дьявол подаёт?

Стадо летит за Костюней, тает. Цепочка растягивается, но не рвётся.

Серёня из последних жил дует по пятам.

Болельщики с четвёртого валом катятся по краю поля к нашим воротам. Требуют:

– Ко-отя!.. Тащи! Та-ащи-и-и-и-и!!!

И Котя нагло тащит. Умереть не встать! Один протащил мяч от своих ворот почти до нашей штрафной. На пуле просквозил сквозь доблестные наши заслоны!

– Ко-осик!.. Шту-уку!.. Рису-уй!..

Наши тиффозники на такой выпад реагируют разное. Одни тайком подставляли ножки бегущим болельщикам с четвертого. Другие смыкались плотней, не пускали вовсе.

– Ко-осенька, – тускло кричал кто-то из наших, – ты сказал мамке, что больше не придёшь домой?

А тем временем Косенька уже в штрафной.

Вся надежда на Сергуню.

– Сер-рëня-а-а! – паровой трубой хрипит в лодочки ладоней с тележного борта папа Алексей.

Сергуня тут же упал, будто его спеленал, срезал этот вопль одичалого патрона. Упал и не забыл кстати мёртво схватить рукой за ногу Костика. Тот тоже мягким мешком рухнул рядом. Будто из солидарности.

Атака увязла.

Всё сбежалось к нашим воротам.

– Пенал! Пена-ал!! Пе-на-ал!!! – гугняво допирал Французик. – Судья! Показывай точку... Пе-е-ена-а-ал!

Он схватил мячик, подлетел к нашим воротам (там, где должны бы быть стойки, горбились вороха штанов-рубашек), отсчитал одиннадцать шагов.

Погладил, поцеловал всем нам назло мяч. Установил.

– Ты ещё в воротах поставь!

Юрка выдернул мяч, отсчитал свои одиннадцать и торжественно – ну-ка подступись! – сел на мяч.

Против Француза стало вдвое дальше от ворот.

– У тебя не шаги! – крикнул Каурый. – Кенгуриные прыж-

ки!

– Сам знаю, что у меня. Не гугнявь... Тюти! Пенальчика тебе не видать, как своей бороды!

– Пе-на-ал... Пе-на-ал... – ныл Француз. Как патефон, его заело на одном слове. Он устал просить, но отстать уже никак не мог. – Пе-на-а-ал...

– Что вы говорите!?! – передразнил Юрик и себе заговорил в нос. – А хо не хох-хо? – подпихнул под нос дулю так плотно, что подушечка большого пальца въехала в ноздрю Французу.

Французик обиделся на столь бесцеремонное вторжение в его владения и примирительно, назидательно шлёпнул Клыка по протянутой руке.

Это был сигнал к потасовке? Или так, частный выпад?

Ни одна из стенок не поняла намёка.

Клык-дипломат простительно-виновато улыбнулся и, нежно глядя Французу в самые зрачки, так саданул того коленкой по коленке, что тот едва не свалился с копылков и, приседая, заскрипел последними редкими гнилыми зубами.

Мы все ушки на макушки.

Если Французишка ударит – мордобой обеспечен.

Все выжидали.

На всякий случай Клык скрестил лепестки ладошек чуть ниже пупка.

– Ты слишком впечатлительный, – сказал я Юрику и стал между ним и Каурым. – Не увлекайся.

Тут подлетел Василий.

– Эту партсобранию прекращай! У нас таковского нету вопроса в повестке!

Он щёлкнул кнутом – кнут у него был вместо свистка, – властно ткнул кнутом в глубь поля. Пятый, бей свободный!

– Ка-ак свободный?! – шалееет Каурый. – Ладно, я согласный на свободный. А сначала дашь пенал?

– Опять за рыбоньку грошики?! Какой пенал? Мы и так вывалились из графика, как птенчики из гнезда. Время, время жмёт! А этому чумрику подавай на блюдечке пенал!

– Пе-на-ал!..

– Иле ты шизо?.. Так и есть... Ресницы сипаются... При-молкни анафемец! Иля я брошу полоскать Петровичем воздух да разок от души жигану тебя!

– Разве это по правде? – У Каурого прорезалось поползновение к морализаторству. – Век тебе не бывать Тофиком Бахрамовым!<sup>133</sup>

– А вот за поношению уважаемого лица судьи поди с поля! Много знашь! Поганая мудилка с поля бр-рысь! – тычет кнутом за край поля. – К такой матери! Отдохни за воротьми, успокойся да погладь бороду Катьке!

Упрямистый Французик было взвился на дыбошки:

– А вот возьму и не успокоюсь!

Дело добежало до большого.

---

<sup>133</sup> Тофик Бахрамов – судья международной категории по футболу. Известен своей объективностью.

Василий вскинул кнутище.

Французик знал принципиальную его последовательность дел за словами, отпрянул на безопасное расстояние.

– Не гони... – сломленно запросился Французик. – Я больше не буду. Я просто так...

– Думаешь, я за гденьги? Пошёл, подрейтузная перхоть, от греха на заслужёной отдых. Пшёл, козлоногий!



*А может, Млечный путь – это звезды на пиджаке какого-нибудь гиганта.*

*В. Колечицкий*

Каурый с разбегу хлопнулся на руки, пробежался на четвереньках и тукнулся лбом в мягкие Катькины губы.

– Ме-е-е-е! – ересливо прокричал он.

– Не хами! – сказала Катька. – Молод ещё.

Каурый обомлело привстал перед ней на колени.

– Ты, коза, говоришь по-людски?

– Эка невидаль. Я ж не сдвигалась, что ты, человек, заблел, как какой кислый муж козы?.. Ну что, толдон, не слепились с Василием характерами? Ты не серчай. Он добрый. Напылил. А бритый не успеет побриться, он и отойдёт. Подзовёт ещё играть.

– После игры?

– Почему же... Он отходчивый... мягкий... Повидло! Я то плотно знаю его. Лучше всеха. Знаю со своего рождения. Ты послушай его ушибленную жизнь...

– Да что мне его жизнь? Нечестный ваш главкокомандующий!

– Не мною сказано: на Руси честных нету, но все святые.

Каурый отмахнулся от неё и сел, сел спиной и к ней, и к полю. А век бы не видеть этого святошу!

Прямо перед глазами в бузине лежали козы. Видны одни рога да чуть-чуть головы.

Одни равнодушно жевали, устало смежив реснички. Другие сквозь листву, как из засады, застывшие слушкими взорами пялились на поле, где непонятно зачем носился с криками их Василий.

Впереди всех, клинышком, одиноко в дозоре стояла на затёкших припухлых ногах в белых носочках наша рыжая, с проседью Екатерина.

Стоит не шелохнётся.

Может, смотрела, смотрела на наш концертино да и задремала стоя, прикрыла подёрнутые поволокой усталости глаза? Со старухами это случается. Вот говорила – ан уже спит. Только большой живот мерно опускался, приподымался да слышно трудное, шумное дыхание, будто выпускала на волю злых духов.

– Года мои пионерские,<sup>134</sup> уклонные, – несмело бормотала она в спину Каурому. Каурый молчал. Она смелеет: раз слушает, можно рассказывать. – Боимся мы старости. Старость ломает... лезет к нам...

– А сама чего лезешь к незнакомым? Я с незнакомыми не знакомлюсь.

– Я так... Про Василия, про доброть его... Чтоб ты чего худого не подумал... На четвёртый годок мальчишечка полез, ан нагрянули загонять его родителей в колхоз. Хвалят

---

<sup>134</sup> Козы живут 8 – 10 лет.

колхоз. Хорошо, говорят, будет вам в колхозе. И тулуп, и свита, и губа сыта!.. Отец-мать ёжатся. Не жалам! И на дух не надобен ваш колхозий! Батьке говорят: ты подумай! А чтоб способней думалось, окатили на Николу-зимнего водой, воткнули в погреб. Утром спрашивают: ну, вышел на согласие? Нет. Вывернули ему за ворот ведро навозной юшки, покурили, покидали ему за ворот и свои негашёные чинарики. Думай яшшо, зрей! И опять в погреб. Жена открыла. Он мёртвый, вилами себя заколол.

Но колхозогерои не отвязались. Описали всё, свезли.

Через час прибегает уже один из учителей и жене:

– На тебе юбка описана. Забыли забрать. Выпрягайся давай.

– И не подумаю. Совести чёрт ма, сдёргивай сам.

И он сорвал.

Упала она, полуголая, на мёртвого мужа на столе и умерла.

Было это в пору «сталинских землетрясений», в фашистскую коллективизацию.

Колхозный каток в блин плющил державу.

*«В 30-е годы в руководстве страны почти не было образованных людей. Образовательный ценз руководителей государства стал очень низким. Из массы губернского начальства и руководящих работников наркоматов высшее образование имели 0,2 процента. А в сталинском политбюро после 1932 года не было ни одного человека с высшим образо-*

ванием».

– Тогда, – продолжала Катерина, – был культ, но не было личности. Нету личности и сейчас. Откуда ж этой личности взяться, если сам Блаженный при «богоравном вожде» пел частушки, наплясывал, забавлял как мог... Вместе с «богоравным» изнушался над народом, а теперь подался в *хорошие*... Грамотёшечки слабó!.. До высшего не доскрёбся. Сорока с хвоста сронила, и я знаю, что будет в близкие годы. Во сне видела. После тоскливых цэковских фиглей-миглей скачнут этого горюнца с трона, и в мягкое, в топкое креслице генсека шлёпнется Балерина. И станет править. И будет крутиться при Балерине референтиком один дядя. Он был тем и знаменит, что анафемски ловко затачивал карандашики для самого генсека. Вошёл в ветхость лет. И всё затачивал... И до того дозатачивался, что сам взлезет на генсексовский... Ой, что ж я, сивая, буровлю? Это я не иначе как оговорилась... У нас же сексу ну не было и нет. Не на тех запали!.. Значит... Взлезет он на генсексовский тронишко, спутавши с катафалком. Умёха какой!.. Во-о!.. И держава ещё громче засмеётся сквозь горькие слёзы... Так что чем гонять мячик, шёл бы ты, Каурка, затачивать карандашулики. Глядишь, и выскочил бы в большие началюги.

– Неа. Меня, Кать, что-то не манит в эти... ген... генкексы. Лучше б сказала, чего это ваш генсек Василиск такой тугокожий?

– По штату положено. Вер-хов-ный! Вон, слышала, «ве-

ликий вождь всех времён и народов» почище был. Сам хвалился своему политбюро, как в Курейке, в ссылке, «они вели одно время общее хозяйство со Свердловым. Чтобы не дежурить по очереди на кухне, Сталин специально делал обед несъедобным. А когда Сталину хотелось съесть двойную порцию супа, он, отведав из своей тарелки, плевал в тарелку Свердлова. Тот, естественно, отодвигал её, а довольный «товарищ по ссылке» съедал всё».

– У-у!.. Нам, смертным, такой тонкой аристократизмией не в доступности...

– Об том и песня моя. Василей натерпелся бед выше ноздрей, нет-нет да и взбрыкнёт когда по мелочи. Вон как сейчас... А ну с трёха годов по детдомам?! Вошёл во взрослость, заслали к нам в район. Безотказный такой. Чёрные всё ломил работки. Сидел на хлебе да на соли. На его довольстве были Пинка и все транзитные, беглые кошки-собаки.

Умники над ним потешались. Что, мол, возьмёшь? Со звоном же в голове! А может, больше звону было у тех, кто так считал?

Ну, звон звоном, а заворачивала осень. Годится ли парню спать на ящиках на сарайной крыше? Делегация баб к коменданту, к дневальному Кремля пятого района. Давай, Иван Лупыч, парню угол. Чтоб крыша над парнем была, а не парень над крышей!

Комиссар Чук в пузырь. Да где я вам возьму?

– Не выламывайся. А то чо-нить стоявое и выдернем из

тебя. Ухо там или чего пониже...

Бабы не война, не пощадят.

Нашёлся Василию куточек.

Кто дал старую койку, кто одеяло, кто ведро.

Паша, Комиссарова половинка, стакан со щербатинкой поднесла. Наверно, после выпивки Ванята пытался закусывать гранёным стаканом. И тут попал стакан под всеобщую мобилизацию. Паша, похоже, раскинула умком: не будет стакана, бросит принимать на грудь и её запивошка Чук.

Наказал бабий сход во всякую субботу по очереди всем семьям мыть у Василия пол. Горячие молодки входили во вкус и только на утренней зорьке тайно выскакивали...

Была мята, да помята...

Даже было несколько сеансов тасканий за волосы. Это когда нетерпячка поджигала какую повертуху по-за очереди скользнуть внагляк потемну к Василиеву полу.

Ему говорили: женись. Приведи барышню, подведи под свою фамильность и живи. А он смеялся. Чего ж приводить? Сами косяками! Надо нахальства набраться – утром не выгонишь. Хоть участкового зови.

И вот что-то запасмурнел Василий и однажды в получку пропал с деньгами. Вернулся над вечер. С песней:

– Так во время воздушной тревоги  
Родилась раскрасавица дочь.

Он пел и счастливо наглаживал на себе оттопыренную рубаху.

– Что там у тебя?

– А в нашем семействе прибавка! – Осторожно он откинул ворот рубахи, и в расстёгнутый простор изумленно глянула золотистая козья головка. – Раскрасавица дочь!

– Где ты взял?

– Не украл, не украл!.. Надоело терпужить, я и пойди просто так по Мелекедурам посмотреть на сады в первом цвету. Иду, иду и наткнулся в канаве на козу. И так бедная мучится. Лижет козленочка. Только, значит, народила. А другой торчит... и никак... Потерпи, коза, мамкой будешь! Я помог... принял... Припал к уху козлёночка щекой, а матечка прямо из рук рвёт плёночную рубашку... Такая малюшка, такая слабенькая... Сердчишко в ладонь тук-тук, тук-тук... Сквозь ребрышки слышу. И дрожит. Холодно. Жалко было оставлять. Да потом, обе-две девочки... Думаю, раз я принял, я должен и воспитать. Не-е, думаю в дополнении, две брать негожко. Надо оставить одну. Я и возьми только ту, что сам принял... А чтоб хозяева не пообиделись, я всю получку ботиночным шнурком подвязал в тряпице козе к рогу. От и будем мы теперь с Катеринкой...

Имя своё Катька засовестилась назвать вслух и смолкла.

Каурый не обратил внимания, что она утихла. Знай лупился на шум в поле. Может, он и совсем её не слышал?

Катька переменяла ногу и тоже тупо уставилась на поле,

но ничего не видела.

Прошлая жизнь звонко лилась перед глазами.

Василий дал ей имя родной его матери, которую смутно помнил. Вроде была она и не была.

Василию казалось, что козочке всё холодно.

Он лёг на койку, красавицу на грудь, прикрыл одеялом. Одна головка торчит.

Скоро согрелась она. Повеселели глазки, забегали в любопытстве по стенам.

– Мамзелино, еду на стенках ищем? – спросил Василий и р-раз её носом в банку с молоком.

Катенька испугалась, чуть не задохнулась. Отфыркалась, вытерла губы об ласковую шёрстку ноги.

Лежит Василий не налюбуется.

Смотрела, смотрела Катечка прямо в глаза, открыла розовый роток и:

– Бе-е-е!..

– Ме-е-е! – передразнил Василий. – Давал молоко, не берёшь? Ничеготушки. Голод научит сопатого любить.

– Бе-е? – переспросила она.

Василий сморщил нос, высунул язык. Полюбуйся, как ты кричишь!

Катечка ткнулась мордочкой в язык, поймала, стала торопливо сосать. Язык не вмещался в её маленьком рту, нежно пахнущем молозивом; она давилась, пускала уголками



губ пузырьки.

Василий смекнул, стал сгребать изо всех закоулков слюну. Догадался и насчёт того, что слюна всё-таки не коровье масло, не вкусней мочалки.

– Передохни-ка, мадамиус...

Василий отстранил её, набрал в рот молока, показал свёрнутый желобком кончик языка.

Катечка тут же ухватилась, заворчала.

Скоро она напилась, живот стал твёрденький, как грецкий орешек.

Ей было хорошо.

Она легла к нему на грудь, вытянула тоненькую золотистую шейку, прижалась ею к шее Василия.

Василий обнял её, и они уснули.

Часа через два Василий почувствовал, как что-то тёплое полилось с груди к спине.

Он открыл глаза.

Катеринка не мигая смотрела на него повинно и не поднимала голову.

– Хорошие девочки так у нас не делают, – попрекнул Василий. – Проспала? Или у тебя будильник не работает?.. Ну да ладно. На первый раз спишем. Детство... Баловство одно...

Но Катенька не остановилась на достигнутом.

Василий громово хохотал, когда она величаво ходила по комнате и безо всякого угрызения совести рассыпала ореш-

ки.

– Сею, вею, посеваю! С Новым годом проздравляю! – в смехе поощрял он.

Катя выросла, хорошела.

Василий стал учить её светским манерам. Если она приседала на койке, он тут же её ссаживал, не брал на ночь к себе под одеяло. Вертел перед носом пустую консервную банку, тыкал в банку пальцем. Требовал:

– Надушко сюда-а!.. А не на койку да не на меня. Доходит?

В конце концов, кажется, дошло.

Перед тем как присесть, она подходила к банке. Правда, частенько промахивалась, но были замечены и точные попадания.

В утро он брёл с тохой на плантацию, она бежала следом, как собачка.

Он полол чай.

Она помогала ему. Обрывала и ела пхалю, бузину... Боже, да сколько сорных трав душат чай!

Дома по вечерам он часами лежал любовался ею.

Она хвастливо показывала все номера, что уже разучила. То гарцует по кругу, как лошадка в цирке. То прыгнет так, то так, то так. Надоест скакать по полу, вспорхнёт на койку, и ну у него на груди выделявать кренделя.

Василий грохочет, закрывает лицо руками. А ну нечаем попадёт мягкими копытцами в глаза.

– Умеешь! Умеешь танцевать! Хватит!

Потом одолела и лавку, и табуретку, и стол, и подоконник.

Куда хочешь взмахнёт! Где хочешь спляшет!

Раз она как-то заплясалась, что сорвалась со стола в стоявшее на полу ведро с водой. Подломила ногу.

Обложил Василий ножку со всех сторон палочками, туго завязал проглаженными тряпочками.

– Вот мы и одели твою ноженьку в гипсик... Ах ты горе...

Кабы козка не скакала, то б и лапку не сломала...

Катенька смотрела на него растерянно и из глаза выпала слезинка.

Две недели Василий не выходил на работу, всё сидел при страдалище.

Стала она сносно ходить.

Явились они на плантацию, и посыпались на Василия шишки. Заходились уволить по статье. За прогул.

– Какой прогул? Я за козлёнком ходил.

– Вот если б за ребёнком...

– А чем козлёнок хуже ребёнка?

Бабы загородили Василия от зла.

Но бригадир Капитолий уже капитально въехал в оскорбление, не мог остановиться в мести, забежал с нового бока:

– Пачаму коза на чай с тобой? Развэ от нэё огородишь чайни куст страхом?

– Да не колышет её ваш драгоценный чай! Не трогает она вовсе чай. Совсем наоборот. Обирает сорную траву. Пови-

лику там, перепелиную лапку, вьюнок. Помощница мне!

Но Капитолий стоял мёртво, как крючок на генеральском мундире:

– Ми тебе покажэм, где козам рога правят. На чай коза бит не положэно!

– В таком разе и мне не положено.

Ушёл Василий в пастухи.

У всех в районе были козы, пасли по очереди. Василий и уприси, отдали ему стадо.

Шелестелки он не брал. Лишь все по порядку утром-вечером кормили его да на обед совали что в сумку. Вот и вся плата.

Зато Катенька будет всегда под глазом! Будет всегда сыта, не обижена!

В честь такой радости заказал Василий красную рубаху.

Домка в одну ночку слепила.

Надел – запели, заулыбались в нём все суставчики. Очень уж нарядна, ловко сидит.

Никаких рубляшей не приняла старуха.

– Цену такую кладу, – сказала. – Покатай в дождь, в грозу. Вот сейчас, прям в новой рубахе. Ой, и давнуще каталась я на молодом бирюке. Ишшо в прошлом веке! Или в позапрошлом... Точно не упомню...

Подвернул Василий штаны, присел.

Домка скок на загривок. Ведьма не ведьма, но и бабой не назовёшь.

Вылетел Василий босиком под проливень и шлёп, шлёп, шлёп по грязи. Жирные брызги во все стороны веером.

– Ты, волосатый лешак, аль не ел? С ветерком!

– А не рассыплешься?

– А ты попробуй рассыпь. Дунь-ка с ветерком-ураганом!

– С ураганом, так с ураганом!.. Мне всё равно!

Подхватил её под сухой поддувальничек и понёсся. Урчит американским студебеккером. Здоровущий коняра!

– Н-но! Н-но!! – машет она рукой, как казак саблей в бою.

А льёт.

Молния раз за разом как полоснёт по небу, точно белым ножом по маслу. Небушко надвое расхватывает.

Разохотился Василий. Ржёт жеребцом, для скорости подхлёстывает вроде себя, а попадает всё Домке по тоскливой заднюшке. Весь посёлок из конца в конец прожёт.

Народ прилип к занавескам, пугливики закрылись на крючки. А ну с дурости ворвутся эти чумородные?

Обмякла модисточка. Вцепилась в волосы обеими руками. Молит:

– Ти-ише, лешак, скачи-и... Зу-уб!

– Что зуб?

– Споткнулся об твой казанок и вылетел.

Это был её последний зуб. До этого он жутковато торчал одиночком над нижней дряблой губой. Теперь рот был бескровен, пуст, как сумка козы.

Влетели они в Васькино обиталище, хохочут. Ни на ком

сухой нитоньки.

– Ну ты, Васятка, и бегаешь!.. Как машина! Со страху чу-  
док не померла. – И залилась смехом. – Померла не померла,  
только время провела!

Тут из-под стола вышла Катя. С лёту воткнулась рожками  
Домке в ногу, вытянулась струной. И со злости, что нету сил  
сбить ведьму, закричала.

– Ка-ать, – укоряет Василий, – кто ж так гостей встречает?  
Ну ты чего, моя чүдная ледя?

Катеринка натужно заблеяла, упёрлась ещё сильнее и  
хлопнулась на звонкие коленца.

– Ты глянь, а! – подивилась Домка. – Иленьки ревнует?  
– Эт ты сама её спытай, – буркнул Василий. – Иди... Не  
к сердцу ты ей...

Поскучнела Домка, ушла без последнего зуба.

Покаталась...

Вышла и Катя на крыльцо. Дождь засекал её.

– Ну да ладно тебе, – глухо бормотал под себя Василий в  
прогале двери. – Нашла к кому ревновать. Иди в дом. Про-  
стынешь...

Дождь холодно приклеивал шерсть к коже.

Катя стряхивала с себя воду, не двигалась с места.

– Будет дуться. Айдаюшки к столу. Чего стоять тощакон?

Василий развалил буханку на три плитки, круто посолил.

– Ка-ать! – протянул ей кусман.

В оскорблённую гордость долго не поиграешь, особенно

когда сверху льёт, и в животе кишки играют марш.

При виде хлеба Катя улыбнулась. Сдалась.

За ней было право первого откуса. Она первая и откуси, потом от этого же куска отхватил Василий. Она – Василий. Она – Василий. И пошли молотить.

Сухой хлеб завяз в горле.

Катя повела шею из стороны в сторону.

– На сухач всегда так... – Василий поднёс мятую алюминиевую кружку. – Смочи... Спей... Вода не куплена.

На другой день, как умиралась разладица, было погодное, ясное утро.

Заступил Василий в пастуший чин, повёл рогатый караванишко в Ерёмин лес.

Жара сморила всё живое. Стадо улеглось в тенёчке.

Придавила дрёма и Василия.

Слышит он сквозь сон смертный хрип, но никак не проснётся. Наконец очнулся и видит. Козы наосторожку стоят полукругом, дёргают носами, фыркают, а в отдалёке шакал давит Катеринку. Открыл кровь, вся шея изодрана.

Мама родная! Бросился Василий на стервеца, за ногу чуть не словил.

На ленты исполосовал рубаху, запеленал Катеринке шею. И день не поносил свою красную обновку.

Стала Катя страшиться леса. Ни на шаг не отходила от Василия. И в отдых падала рядом, никогда не спала.

Бывало, разоспится Василий, пот выбежит из жары на

люб. Катя тихонько слизывала, и Василию спалось ещё слаще.

И когда стадо подымалось и уходило пастись, Катя брала его губами за ухо, слабенько трепала. Будила.

Случалось, слышала, как подползала любопытная змея.

Фыркнет Катя раз, другой, та и заворачивала оглобельки.

Может, Катя тоже сберегла Василию жизнь?

Сберегла не сберегла...

А что кормила, так это без гаданий. Пить ли захотел, съесть ли кусок хлеба с солью в лесу – вальнулся под неё и сдаивай прямо в рот.

Козлёнок хлопочет по одну сторону, Василий по другую. Дойки у Катерины крупные. Как возьмёшь, так сразу полон кулак.

Василий пас коз вместе с козлятами.

Что было делать, чтоб козы доносили молоко с пастьбы до дома? Одни надевали козам на вымя сумки. Другие мазали дойки жидким кизяком. Подлетит демонёнок пососать, схватит дойку и тут же скривится, выплюнет. Ещё надевали некоторым лаврикам на мордочки кольца с гвоздями. Ткнётся пострел к матери, та подпрыгнет от боли и не подпускает.

Василий ничего этого не делал.

Знал, что его пай всегда будет цел. Ведь всё, что было в одной дойке, Катя отдавала своему сыну или дочке. И ногой отталкивала, как хватался он или она за вторую. Эта дойка береглась для Василия.



В последние годы старенькая Катерина ночевала с нашими козами у нас в сарае. По утрам-вечерам Василию лень её доить. А доить обязательно надо и нам это нетрудно.

Катерине горько думалось, что Бог не по правде дал козе и человеку разные прожить сроки. Человек в десять лет ещё нежный пеструнец, а коза уже древняя старуха. Подпихивает пора на вечный покой. Но козы даже не доживают до своей смерти. Коз режут...

И ещё ей думалось, что скоро она сгинет, и кто тогда накормит бесприютного Василя молоком? Кто тогда станет водить стадо?

«Звезда пала моя... Отгорела...»

Она смотрела на поле и трудно вылавливала большими мутными глазами в шальном калгане своего Василька. Скачет ванька-встанька! Охо-хо-о-о... Все мы до поры геройчики. А придавит судьбина, встанька из нас духом вон. Не такие столпы валились.

Она жалела, что не может держать ножницы. А то б стригла Василька под горшок. И был бы её патлатик ещё краше. А то куда это годится? Тёмные космы застыт лицо. Ножницы и гребёнка едва ль когда гуливали по этой тяжёлой бедовой головушке, что так крепко сидела на дородной шее.

*Памятнее те удовольствия, за которые  
приходится расплачиваться.*

*Г. Ковальчук*

– Ну ты, пердорий, остыл? – крикнул Василий Французику.

– Давно! Замерзаю!..

– Тогда давай в игру. Грейся!

Грустно-светло Катерина подпихнула рогом Каурого в плечишко. Разве неправду я говорила?

Каурый зверовато чмокнул её в губы, что пахли бузиной, погладил ей бороду и ветром сдуло его в поле.

Уж лучше б ветер сменил направление и уконопатил бы этого визжуна куда-нибудь в тартарары. Спокойней бы нам игралось.

А то не успел выйти, такого звону с Костиком нам задал. Тошно! Сели в нашей штрафной. Не продохнуть! Раз за разом молотят по нашим бедным воротам. Будто и ворота на поле одни наши, и игровишек всего-то пара, Костюня да Французик.

И тошней того – чересчур лупастый этот Французик. До глядел шныря, что ворота наши, вишь, усохли. Одна стойка (вместо неё ворошок одежды) под левым локтем у Скобликова, другая под правым.

Ради правды надо сказать, бывает, наши вороха одёжек сами собой в скуке неудержимо перескакивают друг к дружке.

Частенько помогает им в этом благородном дельце вратарёк. Незаметно для чужого глаза, вроде нечаянно зацепился ногой за ворох, толкнул сейчас, толкнул через минуту. И вот горки уже почти рядом сияют.

Досмотрел этот скобликовский номерок Французик.

Завопил:

– Рёбья! Да у них ворота шулерские!

Скобликов смертельно оскорбился. Было не свернул ему салазки, но сдержался, чем удивил всех нас и самого себя.

– Чего, безбашенный, подымаешь каламбур?!<sup>135</sup> Всё тебе мало!?! А нам вот не жалко! На! Подавись! – Охапку штанов-рубашек Скобликов со злым великодушием перенёс вправо. – Хватит? Или ещё?

– Не надо нам твоей подачки! – прогугнил Французик. – Промеряем!

Скобликов ещё дальше теперь пнул ногой горку.

На третьем шагу Французик брезгливо переступил её.

Шаги у него предельные. Восьмимильные.

– Не слишком усердствуй, труженичек, – серьёзно советует Алексей. – Девственность порушишь – не найдёшь чем сшить.

– Не бойсь. Он её заране в два этажа смоляной дратвой соштопал! – гогочет кто-то из наших болельщиков.

---

<sup>135</sup> Поднимать каламбур – устраивать скандал.

Ворота – шесть шагов.

Обычно ширину устанавливали они у нас, мы у них.

Ну Французик-тузик!

Воткнул хариусом в дерьмо. Ничего-о... Сходим померяем у них. Не святее нас. Главное, красивый придумай шаг!

Французик семенит впереди. Дохлак, ножульки рогачиком. Так бы и повыдёргивал из пукала. Чтоб не выёгивался!

Мерить берётся Глеб.

– Р-р-ра-а... – упругисто присел он, мало не выструнился в шпагат.

Боженька мой!

Как же встать на вытянутые в нитку ноги? Помогать руками нельзя. Даже ушами нельзя. Можно только мысленно.

Но он в дрожи – встал!

Опупей!

Все чумно тарашатся на него.

Я б не поверил чужим словам, что можно вот так встать.

Но я был здесь. Видел!

Сам я могу по полста раз сесть-встать на одной любой ножке. А чтоб вот так, почти со шпагата... Ни-ни-ни!

– ... а-а-аз-з-з... – загибает Глебуня мизинец. Снова приседает. – Поехали за вторым...

После шестого шпагата ихние воротница стали вдвое шире против прежнего.

Французик загоревал.

– Намеряли!.. Ё-твоё!.. Да в таких в широченных и сам

Яшин никогда не стоял!

– Мы у Яшина,<sup>136</sup> ударничек, чай не пили и ворота у него не мерили. Мы у вас, паря, мерили, – наседает Алексей. – Так кто, сикильдявка, шулерует? Мы или вы?

Французик дёргает носом вбок. Молчит пришибленно.

– Под умненького мамонта шаешь? Так кто?

– У ваших ворот и бузина по пупок! Мяч не пробьёшь толком!

– Утю-тю-тю-тю... Да иди всё хинью! Хозяева хреновы! У вас здесь даже завалящего губкома<sup>137</sup> нету! Побрызгать – скачи иль в бузину, иль в чайные кустики! Маракана,<sup>138</sup> – Алексей обвёл рукой поле, – Маракана ваша, а мы отвечай? Может, худая ты спица, вам покосить?

– Не возражали б. Уж скосите как-нибудь.

– Зачем же как-нибудь? Мы можем основательно.

Алексей кивнул Скобликову и Комиссару Чуку-младшему, показал на Французика. Те схватили Французика за руки, за ноги, стали им *косить*.

Хоть Французик и был тощей щепки, но бузина на поле под ним не падала. Приклоняла лишь слегка голову, а как проносило его, снова весело поднимала.

---

<sup>136</sup> **Лев Яшин** – легендарный вратарь московской футбольной команды «Динамо».

<sup>137</sup> **Губком** – общественный туалет.

<sup>138</sup> **Маракана** – самый большой стадион в мире на двести тысяч зрителей. Находится в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Василий кисло махнул рукой.

– Бросай эту спектаклю!

Скобликов с Комиссаром Чуком поняли буквально.

На замахе усердней подкинули Французика и выронили в зелёный бархат бузины.

– Сторонись, сторонись! – поднял Василий кнут.

Все отхлынули, и под разбойничий свист кнута легла полоска бузиновых дебрей, как под косой.

Работал Василий остервенело, наотмашку.

Живо дохлопал последние стебельки, промокнул пот дном шапки и отбросил её за линию поля.

– Фу! Отдохнул и погреб вырыл. Всё, сударики, перерыв кончился.

И снова угорело заметался резиновый мяч, не знал, куда деваться от ударов. Мыслимое ли дело? Целая орда «*неразумных хазар*» на одного безответного! И каждому зуделось стукнуть побольней.

Мяч глухо охал под пинками кирзовых сапог, кривых ботинок, босых ног, ловил случай увезаться куда подальше за линию, за бузину, в кусты чая. Пока найдут, хоть дух переведёшь на мягкой чайной подушке.

Оно б проще было, не мешайся в кашу болельщики. А то расселись двумя командами сразу за линией, в бузине, как козы. Одни носы на усталом солнце преют. Не успеешь в теньке прилечь, вот они вот, незванные доброжелатели. Хвать и в поле.

Между зелёными островками, где затаились эти тиффозники, чистая полоска, пролив.

Граница.

Лежит на границе Васильева шапка, в блаженстве раскинула мохнатые ушки. От-ды-ха-ет! За-го-ра-ет!

Ни один холерик шапку не трогает, не беспокоит.

Завидует ей мяч всякий раз, как не по своей воле пролетает в кусты или уже назад, из кустов.

Мало-помалу наш энтузиазм вянет.

Правда, весь, может, и не увянет, хоть и скачи мы день. Но всё же... Не всяк уже срывается и бежит только потому, что другие бегут, как было в первые минуты...

И вот уже наш дурной порох не то что весь подмок, – мы даже не заметили, как все пороховницы свои порастеряли.

Вон тот же Серёня, *золотые ноги*, вконец уже силёнки растряс. Потерял мяч, бухнулся на пышную кротову хатку передохнуть! Он силком проглатывает слюну, будто проглатывает сухой мяч. Еле переводит дыхание. Пыхтит паровозно, того и жди, выскочат изо рта сами лёгкие. Разбито счёсывает со скул соль.

– Огня не вижу! – подстёгивает нас в ладонный рупор Алексей. – Давай спокойно! Просчётливо! Позитивным пасом!<sup>139</sup>

На поле бледнеет суетня, бестолковщина.

---

<sup>139</sup> **Позитивный пас** – передача мяча, в результате которой создаётся опасность у ворот соперника.

Раз велено играть по-королевски, будем по-королевски. Нам не жалко.

Мы как переродились. Пасуем не спеша, интеллигентно, точно. Такая игра приятна глазу. Так могут играть только у нас на пятом да иногда на Уэмбли.<sup>140</sup>

И вот уже наши хлопочут во вражьих водах.

Четвёртый паникует. На мяч бросаются тигриным стадом, но остаются лишь с собственными носами.

С языками на плечах кидаются тебе в ноги, а ты симпатичный финт пяточкой, и мяч уже подан своему ближе к воротам.

– Пар-ртизаны! – вскочил из бузины наш тиффозник с бутылкой, как со знаменем. – За кого прикажете принять?

– За дружбу, – подсказал недовольный чужой голос по ту сторону Васильевой шапки.

– Счас будя дружища! Гляди!

Сергуня разлетелся подать в угол Клыку.

Мой опекун Французик дёрг наперерез, а мяч через него верхом пошёл ко мне.

Я к воротам спиной.

До них метров десять. Там никого, один веснушчатый клоп в кепке козырьком на затылок. Пока мой Французик подлетит, я должен... Пробить через себя? Кроме смеха ничего не будет. Я не Стрельцов. Да ещё левша.

Я машинально сел на правую ногу, описал по земле дугу

---

<sup>140</sup> Уэмбли – главный стадион Англии, родины футбола.



левой с мячом, толкнул мимо сунувшегося навстречу разини.

Ворона кепкой об землю, в отчаянии кинулся топтать кепку для надёжности.

Кепка виновата! Кто же ещё?!

Тут Французик полетел к нему выяснить, как это он посмел зевнуть.

Вратарёк к Французику, заскулил загодя:

– Я не виноват! Я не виноват! Где грёбаная защита?

У ворот четвёртого короткий, как молния, митинг и под гром воплей их вратарёк был изгнан в толчки с поля по статье «профнепригодность – недержание мяча».

А я не спешил вставать, всё не верил удаче. Какой гол положил!

Откуда ни возьмись, оттопырился на горизонте ликующий Комиссар Чук. Ненаглядка Юрочка, Юра, толстая фигура, летит ко мне. Зацепился за красный кротов теремок и со всего маху хлопнулся своим бампером<sup>141</sup> на мою ещё вытянутую в сторону ногу.

Матёрый треск.

Разорвались трусы?

На Комиссара Чука верхом сиганул Сергуня, на Сергуню – Попов, Скобликов, Глеб... Принимай, братуля, горячие поздравления!

Благим матом заорал я со дна мала кучи:

---

<sup>141</sup> Бампер – зад.

– С-суки! Н-нога!..

Бугор мигом разметало.

– Молоток! – сунул мне руку Сергуня. – Дай пожму твою лапотьку! Вставай.

Он потянул.

Я дёрнулся подняться, но резучая боль вальнула меня на спину.

Серёня глянул на ногу и в ужасе отвернулся.

Я забеспокоился и себе глянул на ногу.

С перепугу всё похолодело у меня в животе. Мой Боженька, да моя ли это нога? Свёрнута в сторону... Как кочерёжка... С колена чашечка съехала набок... Из кожи торчит не толще иголки косточка?..

Первое затмение горячки улеглось, и боль стала забирать всё круче. Жарко... Что же так жарко?.. Завтра кто за меня на базар с молоком?.. А потом в школу?.. На огород?.. На мельницу?.. Проклятая мельница! Жуёт... В порошок перетирает... развеивает жизни по ветру, как муку...

Свет продирался откуда-то сверху, из-за голов.

Ребята плотно стояли вокруг, и мне казалось, что я лежу на дне колодца. Комиссар Чук сидел на пятках и всё робче размахивал над моим лицом своими латаными брезентовыми штанами.

– Иля ты пальцем делатый? – громыхнул на него Василий. – Чего было лететь? Гол забитый, дело спето...

– Таковую банку заколотил!.. Я хотел первый поздравить, –

проямлил Комиссар Чук. – Я хотел поцеловать победную ножку...

– И скурочил победную ножоньку!

– Я не нарочно... Спотыкнулся... Делайте, ребя, что хотите...

– Иша, рассиропился. И сделаем, раз сам недоделатый! Очки тебе мало вставить,<sup>142</sup> чтоб видел!

Я заметил, как к нам шёл Французик.

Близко почему-то раздумал подходить. С драной улыбчонкой крикнул из отдальки:

– Игру продолжаю, пятиалтынники?

– Доигрались! Ша! – в гневе топнул уже обутый в свою кирзу Василий. – Пшёл по хатам, стручки поганые! Ани души ани сердца...

– Ну... Тогда физкульт-привет.

– Да нет! – снова топнул Василий и сильно щёлкнул кнутом. – Это вам физкульт-притух!<sup>143</sup> А то и весь припух! Дырявая команда...<sup>144</sup>

Французик хмыкнул, бесцветно побрёл к своим, будто ноги ему что вязало.

– И чего орать? – рассуждал сам с собой. – Чего топать? Себе прямой убыток. Голос порвёшь, сапоги развалишь...

Хозяева пошептались и вялой вереницей потащились к

---

<sup>142</sup> **Вставить очки** – избить.

<sup>143</sup> **Физкульт-притух** – прощание выигравшей команды с проигравшей.

<sup>144</sup> **Дырявая команда** – команда, пропускающая много мячей.

себе под взгорок, где за узкими, как гробы, грядками помидоров, лука, чеснока наползали друг на друга, жались сараи, ещё чуть дальше хороводом кружились бараки вокруг старого колодца со всхлипывающим на ветру журавлём.

– Не допустим заражению! – Василий бесстыже вывалил на улицу свои козлиные потроха, полил божью росу. Медные брызги суетливо заметались шапкой над коленом.

Я слышу их соль на губах. Отворачиваюсь.

– Хвата, стахановец, – шумнул Василию Алексей. – Человека затопишь. Лучше опустишь, поддержи... Наваливайся все колхозом!

Меня распяли по бузине, как Христа. Куда ни ткнишь – руки, руки, руки. На руках, на правой ноге, на груди, на голове.

Потихоньку Алексей взял мою пострадалицу ногу, отклонился назад.

На цыпочках сзади подлетел Сергуня, вдел пальцы в пальцы на животе у Алексея. Таким же макаром взвенились в цепочку Клыков, Авакян, Гавриленко...

Не оборачиваясь, Алексей мягко лягнул в пах Сергуню.

– Легче, охламоны. Не то ногу с корнем выдернем.

– Что ж мы без понятия? – подхлопнул носом Сергуня. – Не репку из сказки тянем.

– Вот именно. Не репку! А потому, Сергуха, отцепись от меня. Все отцепись!.. Все!.. Вот так... Ас, двас – в...а-алии, – шепчет тихонько Алексей. – А-ас, два-ас – в...а-а-алии...

Неожиданно Алексей так сильно дёрнул за ногу, что искры сыпанули у меня из глаз.

Он как-то виновато улыбнулся мне и осторожно положил ногу на землю.

– То была свихнута вбок... Теперь вроде лежит ровно... Гля, – присмотрелся он к ноге, – косточку уже не видно. Ушла голубка под кожу. На своё месточко убежала.

– А ты её не отломил? – засомневался Клык.

– За кого ты меня принимаешь? – упёрся кулаками в бока Алексей.

– За хирурга Пирогова.

– Кончай баланду травить. Подержите, гаврики, ещё. Надо чашечку надёжно... на место... на колено... Дёрну ещё разок... А ты, – подолбил мне в пятку ногтем, – терпи, казачок, новым Стрельцовым будешь.

– Потерпеть, – докладывает за меня Юрка, – ему раз плюнуть, товарищ лекарь-пекарь!

– Э нет! Тут одним антисанитарным выпадом не отыграешься.

*Жизнь проста, да простота сложна.*  
С. Тошев

Как добираться домой? На тракторе?

– На тракторе будет слишком тряско, – поскрёб Алексей затылок.

– Хоть кнут впрягай... – припечалился Василий.

– Скажешь, когда впряжёшь! – отмахнулся Алексей от Василия. – Да пока по этим горам-оврагам докувыркаешься на моём трескуне, из человека не боль – душу вытряхнешь. Надо несть на одеяле.

Кто-то побежал за одеялом. На пятый.

Но с одеялом прибежал – Митрюшка.

Откуда он проявился? Он же должен быть в техникуме!

Может, братчик мне привиделся?

Но он сам сунул руку поздороваться. Сказал на присмешке:

– Держи пятерик, орденохват!

Рука тёплая, живая...

Я не стал его ни о чём спрашивать. И до выяснений ли тут?

Под меня подпихнули одеяло и понесли. Митрюшка был первый справа.

Ехать на одеяле было не сахар. Одичалая боль ломала меня, выбивала из терпения, из воли.

Чуть кто из шестерых качнись вразнопляс, густая боль заставляла меня кусать себе руки. Ещё хорошо, что кнутовище Василий прочно привязал, примотал кнутом к ноге. Это хоть немного усмиряло боль.

Вечерело. Последнее солнце горело медью.

Следом колыхалось козье стадо. Всё двигалось, всё молчало. Как на похоронах.

Эта дорога звалась дорогой с одним концом, *последний вздох*. По ней уносили покойников к Мелекедурам, на кладбище. Но ещё пока никого не принесли с той стороны, *о т т у д а*. Значит, я первый, кого несут обратно, *о т т у-д а*? Ну да ладно. Главное, лишь бы не *т у д а*.

Интересно, что думает покойник, когда его несут хоронить? Уже ничего не думает? Старательный Боженька за него думает? Какого ж всё-таки он, зажмуренный, мнения о тех, кто тащится за ним, как вот эти медномордые бобики? Ударнички! Победили называется. Забили! А чего тогда носы в сиськи траурно упёрли? Это и всё? Всё? Привет вам с дрейфующей станции!

Что я буровлю? Или меня несло в бред?..

Наверно, я ещё ногу не сломал, а молва уже кружилась по нашему посёлку с угла на угол, с языка на язык.

Мы на порог, ан на моей койке уже сидит незнакомый ку-

дерчатый старчик. Он был очень заинтересованный,<sup>145</sup> его клонило в сон. Старец всё норовил лечь.

Дедан Семисынов не давал, прочно держал за плечо.

– Права рука, лево сердце, – подал мне руку Семисынов.

Я вяло давнул её.

– Я зарулил его сюда, – похвалился Семисынов, указывая глазами на незнакомыша. – Мы тут на углу паслись... Видим – несут. Надо в помощь бежать. Мы и приспели в хату раньше аварийщика. А он, – Семисынов пошатал локоть у своего приятеля, – знаткой знаха. Мастер заговаривать любые болести.

Мастер трудно уступил мне место на моей койке и тут же трупно рухнул на меня, едва только я лёг, скрипя зубами от боли, как сухая арба.

Семисынов поднял его. Заоправдывался:

– Выходной... Малость пофестивалил...<sup>146</sup> В *реанимации* сюда клюнул, – щёлкнул пальцем по горлу, – и повело эту деревню на сало. Ну!.. Ванька в стельку! Давай приходи в сознательство. Тебя сюда звали не спать, а шептать...

– Сколь завгодно, – согласился старчик. – Значит, как я вижу, нога уже распухла... Хор-рошо...

Он очертил в воздухе большую ногу. Зашептал:

– *Кузнец ковал, а чёрт подковы поворовал. Ходи нога, как ходила. Аминь!..*

---

<sup>145</sup> **Заинтересованный** – пьяный.

<sup>146</sup> **Фестивалить** – приятно проводить время.



Семисынов удивлённо уставился на избавителя:

– Ну ты и хвостощлёпка... Так мало? Это и всё?

– Всё. Добавки не будет.

– А нога как пухлая была, так пухлая и лежит.

– Всё сразу не делается... Могу парубкуне другое что пошептать... Любовное там...

И, наклоняясь надо мной, чтоб никто больше в комнате не слышал, стал шептать:

– *Встану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь из дверей в двери, из дверей в ворота, в чистое поле; стану на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю на ясное небо; со ясна неба летит огненна стрела; той стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее: «Куда полетела, огненна стрела?» – «Во темные леса, в зыбучие болота, в сыроё кореньё!» – «О ты, огненна стрела, воротись и летай, куда тебя пошло: есть на святой Руси красна девица...*

Тут старчик свальнулся потесней к моему лицу:

– Как зовут твою крашенку?

Я глянул на Таню в толпе и не посмелиться сказать.

– Ладно. Можно и без имени... Такой моментарий... Значит... *красна девица, летай ей в ретивое сердце, в чёрную печень, в горячую кровь, в становую жилу, в сахарные уста, в ясные очи, в чёрныя брови...* – Старчик глянул на зардевшуюся Танюру, увидел, что она светловолоса, и поправился на ходу: – *... в золотые брови, чтобы она тосковала, горевала весь день, при солнце, на утренней заре, при младом ме-*

*сыце, на ветре-холоде, на прибылых днях и на убылых днях, отныне и до века.*

Народу – тришкина свадьба.

А любопытники наталкивались ещё и ещё. Всех зацепило, что старчик свернул с моей ноги на тему, интересную всем. Ну, кто ж не хочет послушать любовные присушки?!

Вижу, раз за разом Надёна, горькая жена нашего папы Алексея, зыркает горящими глазами на старца. Наконец насмелилась, заговорила при всех:

– Да шо вы, дядько, малому про любовное дело? Вы нам помочь с любовью... Шоб там муж жену твёрдо любил...

– Отказу не подам, – распрямившись у меня в ногах, икнул старик и заговорил монотонно: – *Как люди смотрятся в зеркало, так бы муж смотрел на жену да не насмотрелся; а мыло сколь борзо смоеся, столь бы скоро муж полюбил: а рубашка, какова на теле бела, столь бы муж был светел.* – И постно добавил: – При том сжечь ворот рубашки.

Надёна разочарованно махнула рукой.

– Не. Нам такое не годится. Ну, мыслимое ль дело сжечь ворот!? Тогда и рубаху выкидывай! Муж полюбит не полюбит, а рубахи уже нету. Нам бы шо другое... попроче, без потерей шоб... Лучше пускай потеряет он! Надо под корень рубить паразита! Наведить порчу на его стоячку!

– Это просто. Дома в полу найдите сучок, обведите его тричи кругами ручкой ножа и шепните три раза: *«Больше не торчит. Аминь».*

Такая лёгкость расправы с неверным мужем даже огорчила Надёнку.

– Как-то несерьёзно... Сказал два слова и – больше не сторчит!

– Можно насказать и поболь. Вот это... *Сгоняю и разгоняю кровь мужскую и злобу людскую. Как встал, так и упал. Слово и дело. Аминь.*

– Так и послушался – упал!?! – опять недовольна Надёна. – Как бы там чего покрепче... А то ну надоели ж мне прыжки моего чёрта влево!..<sup>147</sup> А лучше... Кто б его хорошенечко притемнил!<sup>148</sup> Чтоб он навсегда забыл слониху свою...

Старик устало бормочет:

– *Отнимаю я, раба Божья...*

– Надька! – подкрикнула своё имя Надёна.

– *...раба Божья Надежда, у раба Божьего ...*

– Алексей! – вкрикнула Надёна.

– *... раба Божьего Алексея всю силу сильную, силу жилистую, чтоб жила его не взыграла и не стояла ни на красивых, ни на некрасивых, ни на ласковых, ни на хитрых. Чтоб я была, его жена раба Божья Надежда, для него одна женщина, одна девица и одна земная царица. Аминь.*

Надёна так и пыхнула радостью:

– Вот это по мне! И скажите чё-нить про рассорку моего

---

<sup>147</sup> **Прыжок влево** – измена жене.

<sup>148</sup> **Притемнить** – ударить кого-либо по голове, приведя в бессознательное состояние.

мужиковина Алексея и его сполубовницы Василины.

– Это, – тоскливо вшёпот тянет дед, – говори на брус мыла, который после закидывай в грязь... *Как ты, мыло, мылишься, и все измыливаешься, и пеной уходишь навсегда, так бы смылась из сердца моего мужа Алексея моя разлучница, раба Божья Василина. На веки вечные. Аминь.*

У меня с ним двое детей... им отца держи... Ничё не сказано, чтоб деток сберегти...

– У своего дома поджидайте своего благоверика с работы, – крепясь, на последнем усилии говорит старик. – В то время как ему придти, смотрите в его сторону и двенадцать раз повторите это... *Ручей с ручьем сбегается, гора с горой не сходится, лес с лесом срастается, цвет с цветом слипается, трава развеивается. С той травы цвет сорву, на грудь положу, пойду на долину, по мужнину тропину. Все четыре стороны в свою поверну, на все четыре стороны повелю: «Как гора с горой не сходятся, берег с берегом не сближаются, так бы раб Алексей с моей разлучницей Василиной не сходился, не сживался, не сближался. Шел бы ко мне и к моим детям. Аминь.*

В довольности Надёна отлипает от старика.

Выходит из комнаты и тут же влетает. Кричит от двери:

– Не, дядько! Ещё не всё я у вас выпросила! Для надёжности ще скажить какую отсушку... Чтоб эта чёртова Васюра отсохла на веки вековущие! Отсушку б ещё какую для надёжки...

Дед скребёт за ухом, как-то смущённо улыбается:

– Отсушка... присушка... усушка... рассушка... Для трудогового человека мне что угодно не жаль. Слухай хотько эту... *Как у реки Омуру берег с берегом не сходится, гора с горой не сходится, у дуги конец с концом не сходится, так бы Алексей и Василина век не сходились и казалось им друг против друга лютым зверем и ядовитым змеем, а если бы и сошлись, то как кошка с собакой дрались.*

Надёна сморщилась, как печёное яблоко, и сердито отмахнулась.

– Дядько! Испортили гэть всё! Я просила хоть горсточку добавки к радости, а вы их сводите! Да если они свалёхаются, их тракторами не раскидаешь!

– Так зато они драться будут!

Надёна кисло пожмурилась:

– Удивили! Да я со своим паразитарой уже второй десяток дерусь! А живу... Хоть и живём, как матрос Кошка с дикой собакой Динго... И Васюра будет драться да жить... Не-е!.. Сводить их не надо. Счас же заберить у них вторую часть отсушки!

Старик вяло вскинул руки. Еле махнул:

– Уже забрал.

Надёна светлеет лицом.

– Ладно... Больше ничего путного у вас не ущипнёшь, – сказала вслух самой себе и пошла из комнаты.

– Михалч, – выпрашивает мама у деда уступки, – да по-

шепчить парубку на ножку ще хоть трошки. Для верности...  
Чи вам жалко?

– А хренушки, Полечка, шептать без толку?

Вся комната так и ахнула.

– Кто вам, – слышался ропот, – ни кланяйся своей бедой,  
помогало.

– То для духу. А тут шашечка на боку, как милицейский наган... Боль скаженная. Нога на соплях дёржится. Ано все жилочки-суставчики напрочь порватые. Дёржится нога одной кожей!..

– Ты, кудрявый дягиль, и припомоги! – напирал с крыльца кто-то не видимый за спинами. – Мне шептал – до се живой бегаю!

– На тебя, трутня, и шёпота хватило! – отстегнул старчик и невесть что дуря понёс: – Гадаю по трём линиям. Жив будешь – там будешь!.. Пустые хлопоты... червонные разговоры о поздней дороге. В горло наше за здоровье ваше, а людям никогда не угодишь!

Семисынов сконфузился, прикрыл ему рот рукой.

– Чересчур, отъехавший<sup>149</sup> Хренко Ваньч, угодил... Ну долбак долбаком... Сидел бы, дельной, дома. Знатоха!..

И вывел вон под ручку.

И уже с улицы добежало до уха ляпанье по бедрам.

Старчик плясал с картинками:

---

<sup>149</sup> **Отъехавший** – пьянчуга.

– У Ер-рёмы лодка с дыркой,  
У Ф-Фомы-ы чулок без дна!..

– Надо, тётко, в больницу, – рассудительно посоветовала маме Груня, жена Ивана Половинкина. – Мой с минуту на минуту погонит машину на ночёвку в гараж. А гараж в том же центре. По пути и захватит вашего хлопчика. Шла сюда с Надькой и Матрёной, так Ванька ещё вечерял... Собирайтесь...

Народ нехотя стал выходить из комнаты.

Мама растерянно закрутилась посреди комнаты, не знает, за что и хвататься.

Тут вернулся Семисынов, подсел ко мне и заговорил тихо – никто третий не слышь:

– Раб Антоний, ты особо круто не серчай на моего приятельца колдуна. Ну... высвистал баночку... храбро принял лекарство от трезвости... Не с дури да не с радости... С горя! Горе его никакими годами не задавить. У него вся жизнь перевернулась вверх торманом. В молодости его загнали на Соловки. Кулак! А что там от кулака? Лошадь да мельничка были – вот и кулацора! Его, значит, на Соловки, а жену с детьми малыми повезли в телячьем вагоне в Сибирь. Да не довели, куда везли. По слухам, вроде путь забило... Весь состав был с одними раскулачиками... В тайге вытолкали всех на лютый мороз. Кругом ночь да мороз и нигде никакого домка. Все и поколели... Закон – тайга... А мой помозговый

Афанасий сбежал с самих Соловков! Да не один, прихватил ещё парочку страдаликов. У них были пила, топор, молоток. Спилили дерево, выдолбили в нём лодку и убежали на материк... Всю державу по закрайке избёгал, всё прятался. Про Амур в отсушке поминал... Был и сам на Амуре... Тут в соседнем горном селении прибился к одной вдовой грузинке. Взял её фамильность... Чтоб не нашли... Это не какой там тебе беспутный лохматкин прыщ...<sup>150</sup> Всю жизнь в прятанках... Как такому горюше в выходной не поклониться стаканчику?

– Анис! – взмолилась мама. – Да кончайте вы свою шептанку! Я уже приготовила всё для больнички. Пора вырваться!

– Пора, пора, Поля, – соглашается Семисынов. И мне: – Я тебе под случай ещё кой да чего подраскажу про этого Афанасия...

Я кивнул.

– Э, якорь тебя! Будете!.. – Митрофан помог мне сесть на койке, сам сел рядом. Давнул Глеба в плечо. – Присядь. Пускай обнимет нас за шеи и понесём.

Я повис на братьях. Они подставили под меня сплетённые пальцы в пальцы руки. Я уселся на их руках, как на стуле.

Они чуть не бегом на угол. А ну без нас уедет!

Если строго кланяться порядкам, на ночь Иван должен отгонять машину в центр, в гараж и возвращайся домой, как

---

<sup>150</sup> **Лохматкин прыщ** – мужчина, взявший фамилию жены.



знаешь. Но в будни Иван обычно оставлял машину на ночь на углу нашего дома. Идёшь утром к сараю, всегда чудищем на косогорье торчит.

Сейчас машины не было на углу. Значит, на дороге. Там он всегда её ставил, когда забежал домой на минуточку.

Мы мимо Половинкиных окон к калитке.

Уже на каменных порожках скакали мы через ровчик к шоссе, когда нас обогнал Иван. Бирюком воткнул глаза в землю, чуть не вприбежку веял к машине на обочине.

– Ва-анька! Ва-а-а-анька! – просяще закричала Груня. – Возьми-и! Возьми-и ж!!!

Иван даже не оглянулся, только подбавился в прыти.

Кажется, ещё и дверца не открылась, как машина чумно дёрнулась с места, с нервным рёвом пожгла в сумерки.

Всё оцепенело. И люди, и дорога, и ёлки при дороге, обещавшей посёлок с нижнего края.

– Ну не паразит? – вшёпот спросила обомлело мама. Выкрепла в мысли, пальнула во весь голос: – Паразит!! Чтоб тебя черти там купоросом облили! Паразитяра! Люди! Невзель такого паразита может человек родить?

– Может, Полько, может, – глухо откликнулся с высокого крыльца бородатый старик Филарет, Иванов отец.

Крыльцо было туго увито царским виноградом, старика не видать. Казалось, говорил он будто из царской ночи, с небесной выси.

Наш горький domeц прилепили на бугре, и если крылеч-

ки с нашей стороны сиротливо, распято лежали вприжим к земле, то с этой стороны они были высокие, какие-то недоступные, надменные, как и люди, кто здесь жил.

Из двенадцати комнат шесть на этой стороне занимали за виноградом Половинкины. В одной жили Алексей с Надёнкой, в другой – Матрёна с Порфирием, а в остальных – Иван с Груней, Ивановы старики и Марусинка, младшая их дочка. Ни у Ивана, ни у Матрёны детей не было.

Лежливый старик Филарет был похож на отшельника. Сколько себя помню, я ни разу не видел его среди людей. Я видел этого лесовика только на его огородах, у речки, в диких чащобах.

Бывало, бежишь утром за своими законными худыми двойками в школу, а он, лесной дух, окаменело сидит, не шелохнётся. Кажется, неживой, из камня; и протянутая рука из камня, и удочка, и даже вода из камня. Заслышит сыч шаги, лупнёт полохливо под дремуче-лесистыми бровями глазками и тут же отвернётся. Странные были эти глаза. Махонькие, круглые, как у серийного магазинного медвежонка. И всегда в них дёргались, варились одновременно и ужас, и недоумение, и раскаивание, и ожидание беды. Нелюдимец не мог смотреть вам в глаза. Глянешь на него – он тут же прятал свои суетливые глазки, боялся, будто ты мог прочесть в них что-то такое, что он так тщательно скрывал именно от тебя.

– Вовзюга он у вас! – крикнула в слезах мама.

– Шо ж ты так, бабо, погано лаешься? – сдержанно, как-

то без зла выпел старик Филарет.

– А не то человек? Поехал порожняче ув центру! *Ми-мо* ж больницы поскачет и – не взял! Да иль малый кусок машины откусил, кабы взял?

– Неразумные твои речи слушать тошно. Разе Ванька хозяин машине? Над Ванькой ещё пять этажей начальников. Ну, будет везти твоего, встрене директоряка. Большое спасибо Ваньке в карман положит?.. Большой вы-го-во-реш-ник! Премию скачнёт. Запретит и по будням на ночь ставить дома машину. Не вози без спросу!.. А ежели ты сверх меры умная, сбегай в центру, добудь у директора записку. Тогда Ванька в обратный ход пешедралом слетает в гараж, честь честью приедет и сvezёт твоего удалька. Толь и делов!

Старик нёс несусветную дуристику. Даже все зеваки с лица повяли. Но никто не поднялся возразить.

В районе одна машина, один тракторок. И всё у Половинкиных. Приплавить ли кукурузу с тунги в осень, привезти ли дрова из лесу – скачи к Половинкиным на поклон с хохлом, челобитье с шишкой. Как тут вякнешь?

– Зверюги!.. Посажать вас мало!.. Как на том свете отвечать-то станете нам? – ругалась мама.

– Шибко не печалься. Мы ответчивые! Ловкие на ответ.

– Вы на всё ловкие! Скрозь вывернетесь, скрозь выплывете! А хлопец сидит на дороге, без ноги останется... Батько погиб... одна с тремя... Отстала я от счастья... Как рыба об лёд... Нашёл на ком вымещать зло. На больном хлопце! И

за шо? Шо не дозволила ишачить на него, на твого Ваньку! В восьмых классах мой колоброд с Клыкком намечтали стать грузчиками, подвязались грузить ему. Как нанялись! Он и радый. Руки в брюки, стоит лыбится, как те зеленцы здоровенны ящички с чаем таскають на машину. В одном ящичке – все четыре пудяки! А шо низзя таскать им такие тяжести, ему безо разницы. Бесплатные грузчики! Чем погано? То и платы, шо прокатит до фабрики и с фабрики в три часы ночи. Зато тута нагрузят, там разгрузят. Кровосос! Во-о кого надо выносить на зорю! На чистый!

Дед Филя не нашёлся, что ответить.

– Всёжки Ванюня подлюка, – хмуро сцедил сквозь зубы Алексей. – И родной братеня, а подлюка знатный. Мимо поехать и не взять? В ум не впахну... Озверел Иваха... Да что ему чужой? Родного брата, где хошь в лесе зверям толкнёт и не охнет!

– Говнюк! – сорванно стеганул сверху старик. Допёк Алексей папашку, сдёрнул со смирного, со спокойного хода. – Невооружённым глазом сразу видать, ре-еденько засеяно в мякинной сообразиловке. Не погляжу, тараканий подпёрдыш, что женатый, задницу налатаю! Надень на язычок варежку да смолкни. И так вонько! Думай, свинорой, чего мелешь. Кидай кусок наперёд!

Алексей поник лицом, притих, как-то ужался.

Похоже, ляпнул он по горячей лавочке что-то такое или близкое к тому, что семья в чёрной держала тайне.

– Может, ма, – сказал Митрофан, – сбегать ещё на четвёртый? К дядь Ване Познахирину?

– А поняй... Чего выгладать? Надо шось делать. Поняй... Эхэ-хэ-хэ-э... Холодные люди друг другу помощники...

– Поля, – встрял в разговор Алексей, – я б и сам побежал с Митюхой. Ночь... А ну Познахирина нету дома? А ну машина в гараже? А гараж где? В том же центре... А не скорей ли будет... Если не побрезгуешь, давай я стартую на своей музыке? – глянул себе под крыльцо, где меж высоких столбов дремал в вечерней прохладе упревший за бестолковый воскресный денёк синий тракторишко. – Дорога к совхозному центру терпимая, не то что на четвёртый. Но трепать будет... А мы потихохоньку. А мы полегохоньку. А?

Мама промокнула слёзы на глазах листком узелка с моим сменным бельём.

– Так-то способней оно. Уж лучше плохо ехать, чем хóроше стоять на месте.

Алексей как-то вызывающе завёл ремнём тракторок, и мы с весёлым, ералашным треском двинулись в путь.

Вечер торопливо зажигал первые звезды.

Звёзды старательно подсвечивали нам и ехать было совсем не темно.

– Покрепче, братове, держимся за воздух! – подбадривал нас Алексей перед особенно глубокими колдобинами.

Он знал их все напамять.

В прицепном кузовке я сидел на одеяле. Митя и Глеб тес-

но жались с боков, сронив ноги с тележки до земли и загребая подошвами всякий дорожный сор. Ни вправо, ни влево не шелохнись. И больше всего братики боялись, что на ухабах кого-нибудь из них подбросит и уронит мне на больную ногу.

*Дороже собственного здоровья может быть  
только лечение.*

*М. Дружинина*

Меня положили в коридоре.

– Это не прихоть моего царства, – сестра с вшивым домиком<sup>151</sup> на голове и пустила из шприца пробную струйку. – У нас коридорная система. Все палаты занавалены. Хоть пойдёшь проверить.

«На ногу не наступи, а бегай с проверкой?» – подумал я и промолчал.

– Значит, у матросов нет вопросов? Тогда начнём ремонтировать. На старт!.. Скидавай штаны для первого знакомства!

Я законфузился, покраснел.

– Фа! Да ты чего такое вообразил? Мне-то давай всего краёк попони. Поторапливайся, пока уколики бесплатные.

На живот не завалиться. Я кое-как выкрутился на бок.

– А обязательно? – спросил. – Для чего уколы делают?

– Для скрепления любви.

– Ну-у...

– Что ну? Что ну?.. Ну, от двоек, мальчик! На выбор! Тоже

---

<sup>151</sup> **Вшивый домик** – растрёпанная причёска.

не устраивает?

– А почему такой длинный мне укол? А если насквозь пробьёте?

– Чоча зашьёт дырку. Дратвы и смолы хватит...

Она чуть столкнула верх трусов, сделала мне маленький прокол-укол. И важно удалилась.

Из комнаты напротив вышатнулась тётя Паша, Юрки Клыкова мать. Была она вся пухлая.

Тётя Паша трудно подседа ко мне на койку.

– Сбедил себе ножушку? – одышливо спросила. – И, похоже, очень... Как же ты так?

– Да умеючи разве долго? Да если ещё ваш Юрик поможет?..

– Юрша? – Тётя Паша разбито плеснула руками. – Ка-ак? Когда? Где это связалось?

– Да вы не расстраивайтесь... Совсем в полной случайности... На футболе... Юрка совсем не хотел...

– Да что... Хотел не хотел, а нога толще ведра. Так распухнуть...

– На Юрке вины никакой. Сам я виноват.

– Какая беда привяжется... Попал сюда... в долину смерти... Что ж делать теперюшки? Лечись, дольчик.<sup>152</sup> Привыкай. Я вон за две недели уже привыкла. Вся своя... вся смелая... Совсем неходячка... Врачуны жи-иво волюют здоровья... Я смотрю, ты уколов боишься? А ты им назло не бой-

---

<sup>152</sup> Дольчик – слабый, неуверенный в себе человек.



ся... У нас две сестры. Одна делает уколы – как муха укусила. «Я сейчас, минуточку! Болей никаких не будет». Почешет и не заметишь, как уколола. Прямо руками здоровье даёт. Когда её нету, все в окна выглядывают, всегда ждут, как Паску. А другая, вот ушла, – все трясутся. Так боятся. Колет долбёжка – как ножом пыряет!

– Клыкова! – шумнула сестра из темноты прихожей. – Хватит триндыкать... Что вы ноете? Просите дополнительный укол? Почему вы свой боевой пост оставили? Давай, давай к себе в палату! Живолётом!

Тётя Паша выразительно посмотрела на меня – а я что говорила? – и, разбито охая, поскреблась в свою палату.

Скоро сестра снова выявилась с градусником. В который раз! Что она раз за разом пихает мне под мышку градусник?

– Все кругом тяжёлые, один ты, хухрик-мухрик, лёгкий, – ответила на мой немой вопрос.

– Поэтому лечите одним градусником?

– То есть?

– А без конца меряете температуру.

– Потому и меряю без конца, что температура у тебя без конца лезет вверх. Верхолозка! В градуснике деления не хватает. Забегает за край.

И она, забрав у меня после градусник, смотрела, как мне показалось, не на сам градусник, а намного дальше вправо, будто у градусника было продолжение, которое никто не видел, а видела лишь она одна.

Кто-то подсказал позвать Чочу.

У сестры и на это тут же спёкся ответ:

– Какой Чоча по ночам? Да в выходной? Врач что, не человек? Утром намотрится... – И мне: – Потихе ойкай. Температура и сникнет.

Потихе у меня не получалось.

Даже из-за стены колотили в фанеру:

– Эй! Кричун! Кончай орать! Ехал бы на хутор бабочек ловить! Из-за тебя ж кина не слышно!

За стеной во весь коридор был клуб. Больничный коридор как бы разламывал барак по всей длине на две равные половинки. Больничка с клубом жили под одной крышей. Разделяла их тонкая фанера, где ходячие больные понаковыряли дырок, теперь выворачивали глаза и бесплатно подсматривали кино.

– Только первый день и уже никому от него нету покоя, – шикали на меня от стены свои киношники.

Пяти минут не сошло – уже мешаю я и в зале.

– Ты усни, и боли твои уснут, – рассуждал кто-то из-за стены. – Будь хоть каплю человеком, дай послушать, чего мне с экрана сорочат. Знай себе спи!

Я закрывал глаза.

Но боль всё равно рвала меня, и мой собачий скулёж сквозь сомкнутые губы дёргал людей и по эту и по ту сторону стены.

Со временем боль обжилась, освоилась, присмирнела. Эта

притерпелость даже позволила мне забываться в коротких, как замыкания тока, снах.

Сны были быстролётные.

Я нырял из сна в сон, как самолёт из облака в облако.

То после игры мы довыясняли отношения с футболистами с четвёртого. Дрались картошками. Из земли выковыривали пальцами и пуляли. Хозяева этих огородов, что были рядом с «Мараканой», парили в воздухе с мешками-сачками на длинных рукоятках, перехватывали летящие картошины. Собирали свой урожай.

То Алексей гнался на тракторе за игришками с четвёртого. Те врассып свистели кто куда.

То Авакян клялся, что это он ночью поколол шилом колёса Ивану Половинкину: «Пускай этот скот накачает новый воздух, а то старый уже испортился»!

Во снах я много летал.

Светлое пятнышко то несло меня ввысь, то куда-то резко вбок, то вдруг вниз... И снова вверх... и снова колом вниз...

– Центр земного шара! – объявил диктор.

Ого! Донесло до красной земной оси в солнечных бликах. Красная земная ось? Раскалилась? Так пашет на красных? На их михрюткинский коммунизмишко?

Вижу, ось уже подустала, дымится.

Я весело плесканул красного песочку на красную ось, и она, охнув, завращалась помедленней. С чувством глубоко исполненного долга я оттолкнулся от неё ногой, полетел

вверх и влетел в февраль тридцать третьего, на первый все-союзный съезд колхозников-ударников.

– От вас, – говорил «величайший стратег освобождения трудящихся нашей страны и всего мира», – требуется только одно – трудиться честно, делить колхозные доходы по труду, беречь колхозное добро, беречь тракторы и машины, установить хороший уход за конём, выполнять задания вашего рабоче-крестьянского государства, укреплять колхозы и вышибать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подкулачников.

Пятнышко скакнуло меня в сторону, и я уже на первом всесоюзном совещании стахановцев.

– Очень трудно, товарищи, жить лишь одной свободой, – голос «гениального вождя» тонет в одобрительных возгласах. – Чтобы можно было жить хорошо и весело, необходимо, чтобы блага политической свободы дополнялись благами материальными. Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело, и вот на какой почве выросло стахановское движение.

«Кошмар добра»!

Я не заметил, как меня внесло в май тридцать девятого.

– Так вот, товарищи, – лился соловьём «великий артист и главный дровосек» на выпуске «академиков» Красной Армии в Кремле, – если мы хотим изжить с успехом *голод* в об-

ласти людей и добиться того, чтобы наша страна имела достаточное количество кадров, способных двигать вперёд технику и пустить её в действие, – мы должны прежде всего *научиться ценить людей, ценить кадры, ценить каждого работника*, способного принести пользу нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющих в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при наших нынешних условиях кадры решают всё.

Как *любил* людей *отец всех народов!* Любил всех и особенно каждого в отдельности. Так *любил*, что в его кровавых чарах сгорел разве один десяток миллионов? «Только с 1937 по 1939-ый репрессиям подверглось около четырёх миллионов человек». А за всё время *советского счастья?* Точной цифры нет. Такими глупостями статистика не занимается. Одни называют сорок миллионов, другие – семьдесят миллионов. Кто же за них постоит? Не-ет. Жив я не расстанусь с «главным инквизитором».

Раз уж я залетел так высоко, пройду заодно к Нему. К Самому. К «вождю мировой революции».

Прошёл и говорю:

– Хочу под вашим мудрым руководством поглубже развить уже вами развитой социализм. Не хочу «потихоньку вползти в социализм», как «враги народа» вползают. Хочу открыто развить! Дальнейше углубить!.. А там, наверно, ра-

боты будет ещё больше. Слышал, у вас уже намечен день прихода коммунизма?

Он поморщился:

– Никакой конкретной даты! Никакого особого «вступления в коммунизм» нэ будет. Постепенно, сами нэ замечая, мы будем въезжать в коммунизм. Это не «вступление в город», когда «ворота открыты – вступай».

– И все равно работы много, – сказал я. – Буду работать без выходных. Как вы!

– Это хорошё. Какой конкретни участок ты просишь? Что ты можэшь?

– Я могу в неограниченном количестве ставить запятые!

– Запятые – это хорошо. Запятые я сам нэжно уважаю. Запятая... как молодая красивая луна... Через много лет один... Через много лет будет нэ один. Будет очень много таких куманьков... Все умники осмелеют, будут дёргать меня, как мышки мёртвого кота... Через много лет учёный куманёк некто Куманев напишет про меня в статье «Корифей» «совершенствует...»: «Большинство выступлений писал сам, и более или менее гладко, хотя иногда проскальзывали грубые грамматические ошибки (с кем не бывает!). И очень любил запятые, которыми сверх меры пестрят его рукописи...» Этот куманёк мне мэру устанавливает? Сколько я напишу, такая и мэра!.. Не обижайся, запятые я тебе не отдам. Что ты можэшь ещё? Откуда ты приехал?

– Из ваших мест. Из Гурии.

– Гурия! Зелёный перл!<sup>153</sup> Будэш пробуном!

– А что это за должность?

– Почётная и вкусная. Сладкая! – Он поцеловал три пальца. – Капусту по-гурийски с жареными куропатками любишь?

– Куропатку я и живую в лицо не видел.

– А теперь будешь кушать! Моё любимое блюдо. Utyfwdfkt,<sup>154</sup> ты будешь кушать первый. Нэмножко. И запивать хванчкарой. И эсли ты нэ помрёшь, начну кушать я. Твоя специальность – ты кушаешь первый! Понемножко во всех местах! Пробы снимаэш. Пробун!

Совість шепчет: пропусти вперёд Большого Папу. Будь со старшими вежлив.

– А нельзя, я буду есть вторым? И всё?

– Наоборот нэля. Не то тэбе шепчет твоя совэсть. Присмотри к ней.

Присматриваться мне было некогда. Как увижу капусту по-гурийски с жареными куропатками – я неуправляем. Гусь я увлекающийся, неостановимый. Не остановлюсь ни за что, пока не дохлопаю всё под метёлочку. Съем и культурно оправдываюсь:

– Мне кажется, вам пища эта противопоказана. В ней этих... как их?.. Нитратов, что ли... Не многовато ли? Пря-

---

<sup>153</sup> В Гурии растёт многое, что встречается экзотического в мире, поэтому гурийцы и называют свой край зелёным перлом.

<sup>154</sup> U t y f w d f k t (генацвале) – (здесь) уважаемый.

мо ну на зубах вязнут! На языке какой-то солоновато-металлический привкус.

– Но ты нэ умираешь!

– Ну! Что мне здорово, то вам смерть. А готовить больше не из чего. Что по талонам «развитого иллюзионизма» дали, то я всё и оприходовал.

– Что они там, на Особой кухне, думают? Нэужели нельзя найти хотя бы одну печёную бронницкую картошину в мундире?

– И голенькие все вышли.

Моё усердие в работе губило рыжеглазого властелина из пластилина. День оставил без еды, два, три, а там и понесли его. Голодом дожал.

Через несколько дней Большой Папа вызвал Маленького Папу и сказал:

– Лавренти, я слышал, ты любишь коллэксционировать анекдоты в комплэкте с тэми, кто их рассказывает. Унивэрсал!.. Но я привёл тебе не анекдотчика... Не экземпляр для твоей коллэкции... Позаботься... Внимательно посмотри на этого рыжэнького гуриели. Зэмлячок! Один сделал то, что нэ могли сделать миллионы моих и по совместительству твоих врагов. Ты эщё нэ забыл, что кадры решают всё? Этот кадр если нэ все, то многие твои кремлёвские проблемы можэт решить. Тесные монолитные ряды трудящихся Кремля о-очень нуждаются в сэрьёзном прорэживании... Да, о-очень... Нэ перепутай карандаши. Нэ вздумай расписаться на эго судьбе



синим карандашом. Синяя твоя подпись – смерть без суда и следствия. Я это и мёртвый помню...

Маленький Папа поманил меня к себе коротким дутым пальцем.

– Не горюй, дорогой, – пошлёпал меня по щеке Маленький Папа.

Он что-то начеркал на листке, подал мне.

*«Пайдешь ко Мне, пробунюм. Так кк ты согласный? Ты работай а помочь мы и так поможем».*

– Не пойду.

– Почему?

– Вы большие буквы не там ставите, знаки препинания не выносите... Грамотность... И вообще...

– А вообще... За достигнутые выдающиеся успехи я премирую тебя для начала книгой незабвенного Бориса Петрова «Тактика вредительства». Моя любимая книга... Настольная. Отрываю от сердца. Она из золотого фонда Сталинского Социализма. В Есесесере безработица никому не грозит, а тебе тем более. Пойдёшь... Дело тебе хорошо знакомое. Партия направляет тебя в пробуну.

– Лично к вам?

– Лично у меня такой вакансии нет. Есть горящие объекты. Одного клоуна надо срочно обслужить. Зажда-а-ался!.. Спляшешь ему гопачок по-гурийски с жареными куропатками. – Папа подпрыгнул жизнеутверждающе на манер из гопака, чуть было не хлопнулся на шароватый элеватор и ска-

зал: – А потом родина и долг позовут тебя к другим столпам и столбикам.

– Ни у не известного мне клоуна, ни у прочих других мне делать нечего.

– Вах! Вах!! Вах!!! Так и нечего? Ты крупно заблуждаешься. Тебе великая партия доверила ответственнойший участок на фронте непримиримой исторической борьбы за социализм, а ты позволяешь себе капитулянтскую непозволительную роскошь – сомневаешься в правильности её линии. Да кто тебе разрешил сомневаться? Кто тебе позволит сомневаться? Ты уже забыл, чему учил нас Большой Папа? Он говорил ясно: враг народа не только тот, кто вредит, но и тот, кто сомневается в правильности линии партии. А таких среди нас ещё много и мы должны их ликвидировать.

– Не советовал бы. Я самого Большого Папу в три дня ликвидировал без единой царапинки. А что мне папулечки помельче? Се-меч-ки!

Я чиркнул ладошкой об ладошку, лёг на свою койку, задрал ногу на ногу и запел:

– Цветок душистых прерий  
Лаврентий Палыч Берий...

Подумал и ещё попел:

– Лаврентий Палыч Берия  
Не оправдал доверия.

Остались от Берии  
Лишь только пух да перья.

Выскочил я из одного сна – влетел в новый.

Лежу и вижу: несут меня уже в больницу.

Раз Иван не повёз, понесли сами. Прямо на койке.

Следом брело неутомимое стадо. Где стадо, там и Василий.

Шелестели под ногами остывающие камни. Вздыхал редкий ветерок и целовал стройные придорожные ёлочки. Медный пятак луны болтался в небе украшением на новогодней ёлке. Где-то далеко спросонку вдруг начинала лаять собака, так же вдруг затихала.

Всё отдыхало.

Всё жило ожиданием грядущего дня.

Я смотрел на звёздный ковшик и думал, что же в нём припасено для меня.

Наконец вот и наша больничка.

Толкнулись в хлипкую больничкину дверку. Заперта.

Стали звать.

А чтобы мне скучно не было, козы делали на рогах стойку.

Снизу, из яра, от бани, на шум прибежала босая девушка.

– Практиковаться прислали, – затараторила она. – И сразу бух на ночь одну. Я испугалась. Сколько больных! Да они ночью разбрестись могут. Мало ли что в голову вступит. Встал и пошёл. А я дверь на ключ – никто не разойдется! – и сама

одна разбрелась, пошла собирать луну в траве.

– Ка-ак это собирать луну?

– Когда человек едет на море загорать, говорят, поехал собирать солнышко. Так и здесь. Пала роса. На каждой травинке по лунёшке. И блестят-блестят лунёшки, даже боязко наступать. Кажется, наступи, луна погаснет.

В нетерпении Василий вскинул кнут.

– Дозволь, товарищ начальник медсестра, слово.

– А хоть и все три!

– Пускай вы и городская барышня с интересными видами, а я искажу. Сказочки про месяц спрячьте себе в кармашек. Нам подельней что скорей подайте. Таблетку, укольчик. Больной же человек!

Девушка заизвинялась, загремела ключом в двери.

– Слышь, – Глеб дёрнул Василия за плечо, – чего ты лезешь на рожон со своими укольчиками? Голова есть, а думать некому! Не видишь, буран в голове у этой... Практиковаться приехала! Разбрелась тут, понимаешь... А справка на уколы у неё есть? А то вместо здрасте – бац уколище! Воткнёт не такой и не туда. Чего будем делать?

– Не пыли... Не суетись... Хотько у меня и все извилины прямые, но я смекнул твою мыслЮ. Хорошая мысль прибегает опосля... Главно, что всё-таки прибегает... Стребуем!

– Девушка, а девушка! – заторопил слова свои Василий. – А у вас справка на уколы имеется? С круглой печаткой? Чистая, как копеечка?

– В-вы про что?

– А всё про то. У вас есть дозволение на уколы? У шофёра вон отымают целую машину, не покажь он ментозавру<sup>155</sup> права. Есть у вас где эти права? Да чтоб без фальши-мальши?

Все выжидательно притихли.

Лишь козы насторожённо всхрапывали, воздух больничный нюхали.

В стеклянную дверь с улицы робко поскреблись.

Я проснулся.

Все палаты были нараспашку. Палатные двери выбегали в коридорную тесноту, ко мне. Но никто ниоткуда не появлялся, не летел открывать полуночнику.

– Да кто ж ни будь! Откройте! – крикнул я. – Там пришли!

Облепившие пиявками клубную стену отмолчались.

Из палаты напротив вышла тётя Паша. С пристоном собирая на груди кургузый тюремный халатишко, заморенно потащила шлепанцы с вытертыми задниками в прихожую.

– А... Ты... Полюшка... Здорово... – слабо, с остановками проговорила в стекло двери. – Не полошись такечки. Живой твой, живо-ой... Разговаривае дажно... Во сне ли, в бреду ли... в большом бреду... А тута я тебе не помогаюшка. Я сама замкнутая. Оттуда, от тебя. И не главная я... Главная... шаловатая чуря либо где кино докручивает... У ней поход в

---

<sup>155</sup> Ментозавр – милиционер.

кино... Ага... Ускакала с одним в кино... На какого-то богатого господина с сотнями...

– «Господин 420»! – хором подкрикнула стенка.

– Бегить на обнимашки. А я ей: а если кому плохо? Сметётся. Наговорите ещё! У нас не может быть плохо. У нас всем хорошо. Бахмаро! Курорт! Всех кормят. Все лежат себе, жир нагуливают. А если по ошибке кого и прижмёт, сам в шкафу перехватит любую таблетку на вкус. А то дашь – то горькая, то кислая. Вечно вам не угодишь... На две серии закрыла и ку-ку. Не разбегишься. Что вытворяе... Сама с воз, а ума и с накопыльник нету... Ты внизу нащупай язычок... Дёрни...

Тонко, плаксиво ойкнуло нетвёрдо закрепленное дверное стекло.

– Вот, Поля, ты и в нашем сонном царствии... Первая и, гляди, не последняя ль остановка перед небесным... Завидую, Владимирна... На тебе ни живота, ни толщины... Бегаешь!.. Толкёшься, как белка в колесе... А я две недели уже отлежала, как один день... Раскисла, как бочка... Не знаю, чего и ждать... Пошли, доведу до твоего...

На ходу мама отвернулась от света за тётёй Пашей, достала из пазухи комок в косынке. Развязала косынку, подала мне литровую банку.

– Это, сынок, борщ. За вкус не ручусь, а горяче будэ.

Я застыдился.

Да как это есть на виду у всех киношников?.. Да и вообще еда не шла на ум.

– Открывай и ешь. А то с тощака упадёшь. Я и ложечку принесла. Думаю, дадут там не дадут, а приду со своей – точно буду.

Она достала из кармана ложку, вытерла уголком кофты и подала мне.

Я подержал, подержал банку с ложкой и сунул ложку под подушку, а банку поставил под кровать. Банка была горячеватая.

– И есть не взялся, – опало сказала себе мама. – Не наравится, что холостой, без мяса?

– Ма, да на что мне Ваш холостой-неженатый борщ, когда я только что облопался капустой по-гурийски с жареными куропатками?

– И кто это тебе поперёд ридной матери поднёс?

– Сам Верховный!

Мама как-то горестно сморщилась и долго в печали молчала. Сидела на табуретке у стены и молчала.

– И надо обязательно в ночь? – буркнул я. – Не страшно одной?

– Страшно не страшно, а идти треба... Напару с месяцем бежала-патишествовала. Месяц малесенький, как крыло. Подсвечивал, не так страшно было... Пока коз убрала, пока хлопцам сготовила – ночь. Мы-то поели, а ты-то тут как? Кто чужой подаст? Я и побигла... А ты и не взялся есть... Нога дуже печэ?

– Ноженька туго своё дело знает! – весело сыпанул от сте-

ны ближний к нам киношник. – Поддавала чёсу, малый весь вечер по стеночке марафоны давал! Еле стих.

Маме не понравилось, что нас подслушивали.

Наклонилась в горе ниже ко мне, лишь койкины прутья разделяли нас.

– Больше слушайте! – хорохористо возразил я. – Терпеть можно. Даже сны бесплатно показывают.

У мамы отлегло, взглянула надёжней.

– Вот сны... Кто их создаёт? Почему они сбываются? Я до обеда не рассказывала воскресный сон. И после обеда не рассказывала. Боялась. Слыхала, воскресный сон до обеда. А он всё равношко и под вечер сбылся... Уже перед утром видела... Церква... Церква – это скорбь. Все люди в чёрном, и я в чёрном... Подходит старенький, говорит: вам люстру зажигать. А я боюсь зажигать, высоко в гору по лестнице лезти. «Бойтесь не бойтесь, вам зажигать!» Полезла... Боюсь... Зажгла... Как слезла, не знаю. В церкви людей повно, як водой налито... Все в чёрном...

– Как Вы с базара? Тяжело было тащить?

– А хучь и гору – своё на дороге кто кинет?.. Не думала, шо ты с пшеничной мукой сразу ускачешь. Ходили мы кучкой... Целой шайкой... Солёниха, Скобличиха, Простачиха, Настя Чижова, Семисыновы... А детвора сидела у сумок. Приходю, моего гуляльщика нема. Пропал, як пузырь на воде. Умчался на питомник за футболом за тем гоняться. Я мало не в слёзы. Взяла ж картох, луку, пашена... Да кабан-



чика... Як понесу? Бабы да Семисынов разобрали кто что. Сама сумяку на грудь, сумяку на горб, клунок в руках. Ель допёрла... По старой памяти зашла на вокзал. Я, бачь, какая дура... Батько когда погиб на хронте... А я как скажусь в городе, в обязательности на обратном пути додому забегаю на вокзалку к вечернему к поезду. Всё жду... Всё думаю встретить... За столько годив первый раз не здря забегла на вокзал... Подходим мы своей базарной шайкой. Вот он вот культурно подходит к нам и поезд. И кто из вагона прыгае? Ни за шо не вгадаеш!

– Вечно живой Ленин?

– Не... Черти б его прыгали!.. Той сигунец уже отпрыгався... Наш Мытька! Я в смерть выпужалась. Ты шо, кричу, из техникума сбежал? По срокам, ты ещё учиться должен! До каникулов тебе ще далеко! А он смеётся. До каникул-то мне, говорит, как раз и близко. И рассказывает, как зараньше, ещё за месяц, ходил к директору, как просил, чтоб на Май отпустил домой. Хоть на недельку. Допомогти матери с младшими братьями управиться с огородами. На Май, говорит директор, я тебя не пушу. На Май ты нам самим нужен. Как не явиться на демонстрацию!? А вот сразу после Мая поедешь на летние каникулы. Только сдай досрочно все экзамены. Ты у нас красный отличник. Я разрешу тебе сдать... За Мытькой не засохло. До срока сдал да прискакал... Бачь... Покинул он мне только кабанчика, а все остальные тяжелюки – пашено, лук, картохи – цап и побежал попереди. Мне, гово-

рит, надо успеть ещё на четвёртый. На хутбол. Какая-т там простительная игра...

– Прощёная, – подсказал я. – Теперь хоть я знаю, откуда взялся Митечка... А то выскочил, как чёрт из-за кочки... Да мне за оханьями не до расспросов было... Приехал, ну и приехал...

– А на какие шиши всё брали? Что мы там за ту кукурузу выручили?

– Слёзы мы там ущипнули. Спасибо, у Семисынова под получку перехватила денегат... Ну, припёрла визжалку... Устала. Тело, як из мясорубки. Токо ввалилась в хату, плеснула кабанчику молока промочить душу с дороги, черпнула из ведра и себе воды – влетел Мытька, цоп молчаком байкове одеяло и убежал. Ну... Готовлю я вечерю... Тута на порог бабы Половинкины. Груня, Надёнка, Матрёна.

«Вы, тётко, не бойтесь. Ваш Антонька немного прихворал».

«Когда? Где?»

«Пошёл на питомник. Чи боролись, чи шо... Ногу ему навроде как трошки забили».

Я выскочила.

Несут на одеяле. Людей багато. Как из церкви.

Вот и слился сон в беду... Оха-а... Свое счастье не обойдёшь, не объедешь, а покорно поклонисься и пойдёшь...

Мама замолчала.

– Совсем запутлялась в людях... – с покаянием подумала

вслух. – Вот братья Половинкины. Алёшка плохой и на рост, маленький, и поведением... Спутлялся с Василиной. Ни росту... ни характеру... Ни к селу ни к городу. Так, вилами скиданный... Думала, будь путящей, разве б гулял от семьи? А бачь... Никто не просил, сам сел за трактор и повёз! А Ванька? Видом целый министр, всегда слова кладёт только правильные. Да шо-то полной им веры не дашь... Тебя с Юркой кто наймаками сделал? Не заругай я, так бы ты и нянчил ему ящики. А он на машине мимо пустой поскакал и не взял! Как такое сложить в голову?.. Почему люди так ненавидят друг на друга? Кто сейчас навидит друг друга? *Раньше* не было косоротыцы – я с тобой не здравствуюсь, с тобой не здравствуюсь... Война не распускала. Тогда встренутся, об чём говорили? У меня нечем воду посолить. Отдашь последнюю щепотку. Но почему тогда было больше любви? А *еще раньше*, в молодости мои лета... Люди знали, ддяради чего жили. Свой хлеб, своё хозяйство... *Всё своё*... Дети знали, вот мать, вот отец. Жили радовались. Сами себе радость искали. Хлеб убирали, снопы везли, молотили вместе. А сейчас ты как хочешь, а я как знаю. Никакой радости не могут создать. Тогда жили своими музлями. Кто ишачил день-ночь, той и богатый. А кто спит – бедный. Було, к Паске, к Рождеству, к Покрову насыпають хлеб брничками и в Калач. Одежи куплять, конфет куплять. Весь Собацкий обежишь, покажешь свои конфеты... Соломы внесли, на пол бросили, покрыли дерюжкой и впокот ложатся. Ели – ведёрный чугунок за раз.

Мордяки отаки! У соседа корова отелилась, разносит всем молоко, у кого корова щэ не телилась... Любили все друг друга. А почему сейчас нема любви ни до кого? С работы поприходили, всех матюгом крыють под одну гребёнку. По-едом едят друг друга без соли-горчицы. Люди другие, а слова остались те же? Теперь все иль подбогатели, все гордые. Кой-кто при дзеркалах... Стены кой у кого ковришками одёрнуты. А души нету. Это правильно?.. Мне було десять годков. Дедушка Потап читал Библию. Как зараз слышу: «Сын на отца будет роптать. Мать будет пожирать своих детей». А бабушка: «Да как же есть своего ребёнка? С чего начинать? С рук? С головы?» Было десять... Уже пять по десять и вижу, как едят люди друг друга. Едят и солью не посыпают...

– Людоедов на мороз! – смехом громыхнула тумбоватая, квадратно-гнездовая сестрица. Проходила мимо со шприцем иголкой кверху. Вприбежку несла кому-то укол.

Мы и не заметили, как кончилось кино.

Только сейчас слышали топот за стеной, голоса.

Охнула где-то в яру гармошка, полилась радостно.

Нахалистый басок подпел:

– Я иду, иду,  
Трава колых, колых.  
Девчата хитрые,  
А мы хитрея их.

Частушка маме не понравилась. Покривилась, вбежала в

старую колею:

– Мы так Бога огневили, шо тилько як солнышко нам и греет, як тилько земля нас и носит. Нас даже в ад не пустють! Хуже придумають!.. Аду нам не миновать. А *там* горяченько будэ.

– Вы, ма, в раю будете.

– О! Для рая як надо жить? А мы шаг ступнём – греха не донесём.

Мама потрогала мой лоб.

– Ой, сынок, тебя посудомило.<sup>156</sup> Ты весь горишь!

– Это Вам кажется. Я, ма, несгораемый. Как сейф.

Она приподняла чудок одеяло, глянула на ногу и совсем опала духом.

– Опухла. Как бадья. Болит?

– Разно.

– А то не болит? Шашечка повёрнута... На боку сидит...

Прищучилась...

Сестра пронесла таблетки. Одарила и меня одной.

Пить? Травиться?

– Пойду со стаканчиком принесу воды запить, – мама пошла в глухой чёрный конец коридора к бачку с кружкой на цепи.

В палате напротив дверь и окно открыты.

Я выбросил таблетку за окно, в яр. Пускай воробьи на здоровье пьют. А запить чем сами найдут.

---

<sup>156</sup> **Посудомить** – скрутить (о болезни).

Я сделал вид, что положил таблетку в рот, отпил немного из мамина стакана.

– Что ж у неё за работа за такая тяжкая? Разносить таблетки!

– И разносить, ма, кому-то надо.

Сестра предложила маме пойти поспать в прихожей на диване.

Мама замахала руками:

– Я пересидю на стулочке!

И мне шёпотом:

– Какой сон под светом? Только глаза ломать... Чем тут все ды́хают? Дым не дым... дышать нечем... Дух – как белят в хате... Дух этот глотку затыкае...

Тихие, смиренные мамины слова лились ручейком; его шелест умирал, замывал, зализывал боль, выдёргивал из неё злость.

Не то во сне, не то наяву слышал я благостный шёпот:

– О мать воспетая,

Я пред тобою с мольбой.

Бедного грешника,

Мраком одетого,

Ты благодатью покрой.

Если постигнут меня испытанья,

В трудный час, в минуту страданья

Ты мне, молю, помоги.

Радость духовную, жажду спасенья

В сердце в мое положи.

*«Великие кажутся нам великими лишь потому,  
что мы сами стоим на коленяхных».*

Цвело утро зарёю, когда мама ушла.

То я вкоротке забывался, то просыпался, а тут, будто распорки кто поставил в глаза. Не сомкну.

Один шустрый старичонка с рани подхватился на коровьем реву, таскался мимо туда-сюда, туда-сюда и всё мурлыкал какую-то чертовщину:

– Обезьяна встала очень рано,  
Обезьяна съела два банана.  
Куд-куд-куда,  
Оно всегда куд-куд-куд-куда.

Бананы – обезьянья привилегия.

Нам же на завтрак дали синюю простуженную манную кашу, чай, хлеб и сверху жёлтая мазкая плиточка.

Все её ели, я не притронулся. Намазали б хлеб хоть козым жиром или маргусалином. А то поди пойми, что подсовывают.

– А ты чего отпихиваешь от себя коровкино маслице? – тётя Паша показала на плиточку. – Скорей прячь в живот. Ешь. В нём вся сила!



Я с уважением посмотрел на плиточку.

Господи! Его Величество Коровкино Масло!

Сколько слышал, а видеть ну ни разу не видел. Если б не больница, увидал ли когда-нибудь?

И я впервые в жизни попробовал сливочное масло.

Вкуса я не разобрал.

Но меня плотно согрела мысль, что и мы Сливочное Масло едали!

На обходе наш совхозный врач Чочиа, какой-то заморенный бледный дедок с неумирающим запахом болезни, век рассматривал мою ногу, словно перед ним была какая заморская диковина.

– Ос-с, – вздохнул постно. – Теперь можно и на экскурсию в город. Там рентген. Там капремонт. Поедешь на рейсовом автобусе.

– Как же с больной ногой в автобус? – пискнул я.

– А это ты там спросишь, – потыкал он пальцем вверх. – У нас ничего нет. На такой совхозище один врач, и тот я, – брезгливо потукал усталым тонким пальцем себя в тесную грудку. – Нет своего рентгена. Нет своей машины, чтоб по-человечески отвезти больного. И не будет, пока наша страна тратит на здравоохранение каждого человека в два раза меньше Анголы, несчастной африканской Анголы.

Ангола меня убедила, и все новые мои вопросы отрубил сразу.

Чочиа осторожно подпихнул под всю пухлую ногу гладкую досточку шириной с пол-локтя, в бережи прибинтовывает.

– Доктор... А как же я на автобусе... Один?

– Почему один? С тобой будет эта твоя доблестная храбруша, – кивнул на мою толстуху инвалидку, что пеленал бинтами. – Будет и старший брат. Прибежал чуть свет. Принёс ещё тёплого козьего молока. До обхода посетителей не пускаем... Попьёшь молочка и с Богом...

На дорожку мне вкатили укольчик. Подкрепили. Вчера делали в кардан, а теперь и в руку. Почтение! Шансы мои растут!

Угрюмый Митя сел ко мне на койку.

– Якорь тебя... Обнимай за шею свою карету. Да поехали на одиннадцатом номерушке.

Я обнял.

Митя медленно, тужась, поднялся, поволок меня к автобусной остановке.

Кружной пологой дорогой Митик не пошёл. Дёрнул напрямки меж кустами по косогору.

Мелкие камушки полились у него из-под ног.

Митя перехватывал ветки и упрямо лез вверх.

– Душитесь! Не перекрывай кислород, якорь тебя! Полегче дави на шею! Полегче!.. Иначе я этот мешок с говном, – зло подбросил он меня, – я не дотащу до рентгена!

Локтями я упирался в его плечи, старался не так сильно давить на шею, но разжать своё кольцо рук, совсем убрать его с горла боялся. А ну не удержусь лишь за плечи? А ну сорвусь? Ещё потеряет меня братчик по дороге.

Каменешник всё грозней осыпáлся, лавиной тёк из-под ног.

Митик то и дело съезжал, раскрыля в напряжённой дрожи руки.

Тоненькая веточка игриво выбежала у него из руки, и Митя, крепко ругнувшись, дёрнулся верхом назад. Мне казалось, что мы уже падаем на мою спину. Может, то б и произошло, не сломи себя Митя. Нечеловеческим усилием он удержал себя на ногах, изо всех мощей рванулся верхом вперёд и, не устояв, ничком вальнулся наземь, как-то рассвобождённо, в отдохновении съехал на брюхе к ногам кручи.

– Ну бледная спирохета Чочиа! – саданул он кулаками по каменешнику. – Ну-у горбатый дятел в белом халатике! – хрипел Митик. – Про Анголу всё спел! А вызвать из города скорую заленился. То б сели у крылечка, свесили б лапки и с ветерком! А то упирайся как проклятый!

Митя немного полежал, отдышался и снова подрал в гору.

– Ми-ить... – заныл я. – Ну что ты за скалолаз!? Всё в гору да в гору... Не пустой же!.. Давай возьмём кружком... А?..

– Тютя!.. У тебя чувал времени? Ты и бери! А мне некогда кругами прохлаждаться, якорь тебя! Автобус же ускачет без нас!

Каменная мелочь аврально зашумела под ногами, грозно рванула вразбрызг.

Митика снова понесло вниз. Он не устоял, его сбило, и мы полешками раскатились по бугру в разные стороны.

От дикой боли я орал и скулил.

Моё счастье, что я ещё пал на правое, на здоровое, колено. Чувствительно зашиб, может, немного подвернул, но не настолько, что нельзя стоять. Можно стоять! Счастье! Счастье, что и Чочиа прибинтовал к ноге доску. Кругом внавалку счастья!

Митик вскочил на ноги, затравленно огляделся. Не отвалилось ли что от нас?

Вроде ничего.

Он с облегчением вздохнул, и слёзы в сто ручьёв хлынули из него.

Мне было жалко на него смотреть, я тоже заплакал.

В автобусе Митик привалил меня спиной к окну, положил больную ногу на сиденье. Она выпирала в проход.

Митя стоял в проходе, прижимал её коленкой к спинке сиденья, не давал на ухабах упасть. Он раскрылился надо мной, как птица над больным птенцом, и плакал. Он ничего не мог поделать со своими слезами. Лились и лились.

Я тоже плакал, хотя нога вроде и не болела.

В городе автобус стал по Митечкиной просьбе у памятника Ленину. На голове легендарная кепка. Иначе голову во-

жду сильно б напекло. Руку с бумажным свёртком он протянул в космос метра на два.

Автобусу надо пока прямо, к вокзалу, а там и к автостанции у книжного магазина.

А нам в больницу. Надо взять в правую руку.

С нижней автобусной ступеньки свалился я Митику на спину, и он побежал.

Площадь была разогромная и пустая.

Братчика хватило лишь до серёдки.

Опустил он меня в ленинский тенёчек, привалил к холодной спине постамента.

– Погуляй на одной ножке, петушок... Дай дух переведу... Совсем подошвы отбил. Пот всего залил...

Сатиновым доньшком кепки он вытер лицо, приткнулся горячей щекой к холоду мрамора.

– Прохладно... Хорошо...

Стою я на одной ножке, держусь за мраморный уголок.

Митечка в любопытстве задрал голову на Пальцем в небо,<sup>157</sup> пожмурился на солнце.

– Владимир Ильич, – говорит вверх, – а вам не надоело столько лет подряд стоять на одном месте круглыми сутками с протянутой рукой?

– Надоело, – хитро вдруг ответил сверху вождь. – Устал... А как у вас, молодые люди, жизнь?

---

<sup>157</sup> **Пальцем в небо** – памятник Ленину (с поднятой вперёд-вверх рукой).

– По госту!<sup>158</sup> – огрызнулся Митечка.

– Тогда почему у вас лица заплаканные?

– А с чего, – зажаловался Митик, – быть нашим лицам за- смеённым? Вы слышали лозунг «Все лучшее – детям!»? Про- ституткин лозунг. Со всего лучшего мы и ревём. Мой бра- тунчик сломал ногу. Врач даже не соизволил вызвать неот- ложку... Из совхозной больницы пру на себе в городскую... Малость подмог рейсовый автобус. А так пру на себе!.. Упа- ли... Брат чуть другую ногу не сломал... На своём горбу пру!.. Вот оно какое золотое наше здравоохранение!

– Зато, – звонко и лукаво хохотнул вождь, – оно у нас бес- платное! Бесплатное и обучение!

– Но мы ещё и бесплатно работаем. Как жить? Вы насто- ятельно рекомендовали мечтать...

– Да! Да! Это архиважно! Расскажите, батенька, о чём же вы мечтаете?

– При нашем проклятом «счастливом детстве», – Митик качнулся ко мне, – при нашей проклятой «свободе» я мечтаю хоть один денёк пожить так, как вы жили в Шушенском. В ссылке!

– Интег`есно! Интег`есно!

– В питерскую тюрьму вам приносили обеды из рестора- на. В ссылку вы, «пленник царизма», ехали разве без шика? «И рояль за государственный счёт перевёз в Шушенское»...

---

<sup>158</sup> **Погосту** – отлично. (От аббревиатуры «гост» – государственный общесо- юзный стандарт.

Рояль... По одной версии, вы ехали в ссылку с роялем. По другой... Уже из Шушенского заказали рояль и вам его доставили... Так какой из этих версий верить?

– Какой хотите, батенька.

– И «Чижика» музицировали?

– Эка новость! Музицировал я и до Шушенского...

– Вы совершенно не работали. Вели дачную жизнь.<sup>159</sup>

Спорт, коньки, охота – вот и вся *работа*. На восьмирублевое жалованье вы имели всё необходимое. Даже мясо каждый день круглый год! А мы это мясо видим короткое время лишь зимой, когда зарежем поросёнка, которого сами и выходим...

– Да-а, голубчик, приятно вспомнить молодые годы... На неделю мне одному убивали барана... А съешь барана – берут на неделю мяса... Побыв четыре месяца в ссылке, я писал матери: здесь тоже все нашли, что я растолстел за лето, загорел и высмотрю совсем сибиряком. Вот что значит охота и деревенская жизнь! Сразу все питерские болести побоку!

– Вот это ссылочка! Даже в самом смелом сне никак мне не приснится!

– Расчувствовался я... А вы не завидуйте. Ссылка и есть

---

<sup>159</sup> Н. Крупская пожила немного в Шушенском и так написала о ссылке: «Это была самая прекрасная пора в нашей жизни... Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» дачную жизнь, только хозяйства своего нет. Ну, да кормят нас хорошо, молоком поят вволю, и все мы тут процветаем. Я ещё не привыкла к теперешнему здоровому виду Володи, в Питере-то я его привыкла видеть всегда в довольно прихварывающем состоянии».

ссылка. Завидовать нечему. А вот мечтать всегда надо! Без мечты человек пг`евг`ащается в животное. Мечты двигают прогресс. Величайшая мечта – социализм... А вы думаете, что тогда будут чмокать у ког`ыта и радостно хрюкать от избытия? Осуществлённая мечта – социализм – откроет новые грандиозные пег`спективы для самых смелых мечтаний.

– Общие слова... Громкие... А дела?.. Какие дела пришли лично за вашими мечтаниями? Вы мечтали о мировом господстве «светлого царства коммунизма». Грезили о мировой социалистической революции. «Весь мир будет *наш!*» Ради этого вы и ваши последователи мечтали раздуть мировой пожар. Как хорошо, что ваши мечты на корню примёрли, хорошо, что до мирового пожара не доехали. Только начини одеваться ваши мечтания явью, что бы с нами стало? Уцелела б тогда наша горькая Россия?

– Не смущайтесь. Говорите. Детям я позволяю говорить всё!

– Герберту Уэллсу вы говорили в 1921 году: «Приезжайте к нам через десять лет и увидите другую Россию!». И через десять лет миллионы людей умирали в стране от жестокого голода, гибли в концлагерях. Видите, чем повернулась красивая мечта? И без обещанного буржуйам красного мирового пожара едва не окочурилась страна... Вот мы доковыляли до социализма. Только и слышишь, у нас «социализм победил полностью». Но какой это социализм? Казарменный? Развитой? Окончательный? И кого он победил? Нас с ним? –



Митя потыкал в меня. – В чём победил? Пускай он победил во всём, но что-то никто радостно не хрюкает от избытка. Наше самое дерзкое мечтание о том дне, когда мы наедемся от пуза. Разве мы живём лучше, чем в захудалых африканских странах? И всё мужественно мечтаем... С мечтами и старимся. Неисправимые мечтатели... Знаете ли вы, что мой брат только сегодня увидел впервые в жизни сливочное масло? А у наших деда с бабкой были коровы, в масле купались дед с бабкой. Мы любим свои грандиозные достижения сравнивать с 1913 годом. Статистика твердит: после 1913-го были лишь три урожайных года. 1914, 1915, 1916.

– *Успехи* непредсказуемые...

– Русское достоинство растоптано, как вонючий окурок. Ум, порядочность, сострадание не в чести. А разве гордая скромность великороссов в почёте? В нас жестоко вколачивается совсем другое. Не возникай! Не высывайся! Нишкни, гнида, не то! Сопи в своей норке в свои две дырочки и молчи. Дураку нечего сказать и умный заодно молчи? У нас насаждается культ бессловесного бараньего стада. Такое стадо не просто ли загнать куда заблагорассудится левой пятке? Но зачем? Строить коммунизм во всём мире? Не знаю... Такое чувство, будто взялись сморить нас голодом. И сморить постепенно, с наслаждением, идейно, под мудаковатый колокольный перезвон вечной борьбы за светленькое будущее, которое почему-то упрямо отдаляется от нас, роняя в

пустые ясли<sup>160</sup> к Первомаю, к Ноябрьским по горстке мелко посечённой прелой соломки... И большой вопрос, дотолкаешься ли до неё в очереди без драки?... Мы смелы лишь у плиты. А отбегаешь от неё – вж-жик рот на «молнию»! Молчи!.. Перевоспитали, все стали по-советски скромны, немые. Послушны, как овцы. Переломили, пригнули горький народишко к земле, вогнали в безропотную скромность-страх. Все скромные-то скромные, да... да куда девался Человек? Выпал Человек в осадок. Нетушки! «Человек – это звучит горько»! Слава Горькому, пламенному певцу Бури!

– Что же происходит с Россией, «тысячелетней рабой»?

– В развитии большевики отшвырнули её далеко назад. Несахарно нынче и её детям. Разве я, мой брат, моя мать не рабы? А крестьяне? А рабочие? А интеллигенция? Хоть с букваря нам и долбили, что «рабы не мы», но если не мы, то кто же? А владельцы-погонялы – компартверхушка-олигарх, всякие пристебалы-аппаратчики да чиновваты... У всех у них свои спецраспределители, свои спецбольницы, свои спецсанатории, свои спецмагазины... Даже свои спецтюрьмы! «Специально оборудованные объекты». То есть, в переводе с аппаратно-управленческого кода на русский язык, райские дачные вельможные дворцы, каких нам самые отважные сны не показывали. По слухам, и *там* – красивая

---

<sup>160</sup> **Ясли** (здесь) – продуктовые магазины. **Прелая солома** (здесь) – продукты плохого качества (позеленевшая перловка, заплесневелое пшено, гнилой картофель, колбасы из суррогатов и пр.).

жизнь по разнарядке! И кипят сейчас у нас в горьких голодных низах тугие опасливые схлёсты, что такое коммунизм. Какой же такой разумник его придумал? Из чего сляпан? Хоть представление надо иметь. Нам же его через двадцать лет в энный раз на словах подадут! А мы и не знаем, с чем его едят. О-ох!.. Одни, простые люди, даже в самых дерзновенных фантазиях не могут его вообразить, а другие, *ваши* коммунисты-олигархи, не представляют без него жизни. Живут при коммунизме с самой *вашей* революции. *Ваша* партверхушечка знает, чего хочет!

– Ах, моськи!.. Как же так? Я ж учил! Г`еволуция пролетариата совершенно уничтожит деление общества на классы, а, следовательно, и всякое социальное и политическое неравенство... Как же так произошло?

– Пышно расцвело «комчванство», «комбюрократизм»... Честный не пикни. Сразу на цугундер. Да что... Вся Россия нищая, голодная, бесправная. До обжорки, до усирачки кормит элиту, кормит все союзные республики и весь соцлагерёк, всё своё задарма отдаёт, а сама с голодухи, в бесправии валится. Сейчас в России нету даже своего профсоюза... Нету академии наук... Нету телевидения... Нету радио... Нету даже своей милиции. Зато – худо без добра не бегают – нету и своего кагэбэ. Комитета Глубокого Бурения. КГБ расшифровывается в народе ещё как Коммунистическое Государство Будущего. Ничего нету у России. В избытке одни обязанности подневольной рабыни. Разве это вы ри-

совали, готовили ей? На третьем съезде комсомола в 1920 году вы сказали, что «поколение, которому теперь 15 лет... через 10-20 лет будет жить в коммунистическом обществе...» Не стали верхи десять лет ждать. Досрочно, как и подобает авангарду компартии, с двадцатых годов въехали в коммунизм начальнички со своими кошками-собаками. Только не народ-мученик. А для народа наступление коммунизма было отложено... Народу, я так понимаю, запланировали перенос коммунизма на 1980 год – на 50 лет позжей?! Как видим, наступление коммунизма откладывается... Задерживается... А ну снова на неопределённый срок?

– Почему на неопределённый?

– Я ж только сказал... Вы уже однажды лично определяли. По вашим предсказаниям на третьем комсомольском съезде, коммунизм должен был нас придушить в тридцатом году. Но не коммунизм – проклятая фашистская коллективизация придушила страну. Голод в тридцать третьем... Голод вместо обещанного лично вами коммунизма! Это-то научное предвидение?

– Ах, каплановская пуля... Бессилен я против пуль... Надо ясно знать своего врага... Надо уметь признать зло безбоязненно, чтобы твёрже повести борьбу с ним!

– Вечная борьба... А борцы каковские? Никита Блаженный знай поёт, как по трибуне ООН башмаком своим колотит: «Победа социализма во всём мире, неизбежная в силу законов исторического развития, теперь уже близка». Почём

зря костерит *загнивающий* Запад. Костерить-то костерит, но хлебушко-то первым из наших комцарей стал закупать у *загнивающего*. Мол, нам бы хоть разок от пуза налопаться вашего хлебушка, а там кэ-эк попрём к своему коммунизму, кэ-эк попрём к родимому! «Лучшая жизнь не за горами, она за бугром». Как наши комцарьки ни топчи Запад, а он знай прёт и прёт! Воистину, «как ни очищай атмосферу – пахнет загнивающим капитализмом»! Да, Запад гниёт, но хорошо пахнет! Нам бы хоть малюшенькую дольку того, что есть на гнилом Западе. Да что Запад! Вон африканская Ангола вдвое больше против нас тратит на здоровье. По-хорошему, – Митя кивнул на меня, – он должен быть на операции ещё вчера. А я только сейчас тащу на себе... У нас сорок миллионов нищих. Почему вы им не поможете? Что же вы стоите здесь на площади, греетесь себе с постамента на солнышке? Молчите?.. Выходит, «из одной недостаточно развитой мы выросли в одну достаточно неразвитую страну»? И это подавалось как «жить стало лучше, жить стало веселей!»?

– Но!..

– Но это же лично вы и ваши ученики сляпали нам такую нищую жизнь! И в этом нет вашей вины?

– Постойте, батенька! Конкретно... Какая моя вина?

– Прямая. «Русская интеллигенция не приняла революцию». Кто уничтожал и вышвыривал за границу интеллигенцию? Мозг нации!

– Не мозг нации, а говно! говно!! говно!!! Выслали за границу безжалостно – всех их вон из России! Без объявления мотивов – выезжайте, господа! Очистили Россию надолго! – прокричал вождь и меланхолически пожаловался: – А мне от интеллигенции попала пуля...

– А кого винить? Не ваша ли лютая ненависть к интеллигенции честно и добыла лично вам пулю? Увы, всякое усердие да оплачивается по курсу... А не вы ли отец иезуитской 58-ой статьи уголовного кодекса? По той статье миллионы легли под пулями и ещё больше оказались в заключении. Вас это не печалит? А кто уничтожил кулака, главного кормильца России? Вспомните Пензу!<sup>161</sup> А кто грабил духовенство? А кто уничтожал церкви и церковников?

– Батенька, помилуйте! Да зачем вы вешаете на меня всех собак? Которое уже десятилетие я отошёл от дел?

– Вы-то отошли, но дела *ваши живут и процветают*. Вы показали, вы *дали наглядные примеры*...

---

<sup>161</sup> 11 августа 1918 года Ленин пишет «товарищам Кураеву, Бош, Минкину и другим пензенским коммунистам (РГАСПИ, ф. 2, оп. 1, д. 6898 –автограф): *Т-щи! Восстание пяти волостей кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Этого требует интерес всей революции, ибо теперь везде «последний решит бой» с кулачьем. Образец надо дать.1) Повесить (непрерменно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийцев.2) Опубликовать их имена.3) Отнять у них весь хлеб.4) Назначить заложников – согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-кулаков. Телеграфируйте получение и исполнение... P. S. Найдите людей потвёрже. Ваш Ленин».*

– Стоп! Давайте сюда ваши наглядные.

– Пожалуйста. Кто учил!? «Морали в политике нет, а есть только целесообразность». «Будьте образцово беспощадны». «Грабь награбленное!». «Надо поощрять энергию и массовость террора». «Расстреливать, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты». «На каждого интеллигента должно быть дело». «Социализм есть уничтожение классов». «Упразднить крестьянство!». «В борьбе за власть все средства хороши!». «Затравить, но в формах архивежливых»... Кто всему этому учил?! Так что вы показали товар лицом, дали наглядные примеры, и ваши схватчивые ученики не дают *вашим* делам умереть, продолжают вами начатое. Вы живее всех живых в их делах! Как народ говорит? Маленькая собачка лает, глядя на большую. Если б она только лаяла. Но она ещё и кусает! Если б она только кусала. Но она ещё и загрызает насмерть. Во всех этих ГУЛАГах не полегло ли с пол-России? И в этом вашей никакой вины? Анри Барбюс ясно написал: «Сталин – это Ленин сегодня». О чём ещё говорить? Чему учили, то верные соратнички-ученички и спекли...

– Откуда вы, молодой человек, всё это знаете? Всё это у нас опубликовано?

– За *бугром* всё давно опубликовано. И забугорное радио об этом поёт на все лады, едва продравши глазки. А мы слушаем ночами все ваши давешние секреты от народа. Как ни глушат вражий голос из-за бугра – доходит!

– Архивозмутительно! Старые бабы! Идиоты! Шалопаи! Шуты гороховые! Щенки! Даже забугорную хрипелку не могут заткнуть! Ну как тут не задумаешься над новой г`еволюцией? Ка-ак не хватает им, олухам, меня!

Слова выпали. Вождь осёкся и замолчал, сердито и трудно собирая слова в новую мысль.

– А знаете!.. – пожарно выкрикнул Митечка и конфузливо запнулся.

Похоже, он тоже не знал, что сказать, и наклонился к моему уху.

– Слышь! Пошурши... Подучи, что б такое мякенькое ему сказать? Надо бы выдернуть его из оцепенелого смятения.

– А зачем выдёргивать? Пускай подумает. Что это ты какой-то добренький к этому каменному старику?

– Да чёртова жалость куснула, якорь тебя!

– Тут не говорить... Раз ты такой плаксун, то чего не таскаешь ведёрушко для слёз? Имей, текучий, на крайность хоть платок... Слёзки утирать. А у меня платка нету. Не знаю привычку носить.

Но Митрюшка и без платка нашёлся что крякнуть.

– А знаете!.. – обрадовался он своей свежей мысли. – А знаете, вы стоите почти на окраине города?! А в центре, у театра, у райкома «лучший ученик Ленина», ваш «ученик»?

– Любопытно б узнать, кто это, – хитровато прищурил вождь один глаз. – «Светоч коммунизма» со стальной фамилией? Если и был он прилежным учеником, так это в духов-



ной семинарии, где отхватил высшую отметку за тридцать седьмой псалом псалтыри: «И я сказал: да не восторжествуют надо мною (враги мои)».

– 37-й псалом и 37-й год. Случайное совпадение?

– Гм...

– Вы выдаётесь хотя бы ночами?

– Нет.

– Со своих бугров видите друг друга?

– Нет.

– Единодержец смотрит как истинный театрал и на театр и на райком. Они почти рядом. И умеи видеть сквозь дома, вы б увидели «ученика» со спины. Он стоит к вам спиной. Памятник «ученику» окружён с трёх сторон трибунами и втрое выше памятника вам, безо всяких там трибун. Как вы к этому относитесь?

– С иронией. «Великий кормчий» у себя на родине, я же здесь в гостях. Как и подобает, ученик идёт дальше учителя. Мой *ученик* пошёл выше. Он ближе к тамошним руководителям, – вскинул руку кверху. – Как-никак, учился в духовной семинарии...

– А что вы скажете... Вы не думали, зачем вы здесь стоите?

Вождь хитро ухмыльнулся:

– А партийная дисциплинка, батенька. Раз партия поставила – стой! Я как все винтики...

– Да? Винтики декретов не подписывают! Вы помните

свой декрет<sup>162</sup> о памятниках?

– Ну, как же?! Как же?!

– Тем декретом вы смахнули более трёхсот памятников. А среди них были мировые шедевры! А что взамен? Во всех городах, во многих сёлах, на предприятиях, в учреждениях, в школах, в институтах – везде лично вам памятники. Везде вы с протянутой рукой. То у вас кепка (иногда бумажный свёрток) в руке, то рука пустяком. Вот и весь ассортимент памятников социалистической революции?! Десятки тысяч ширпотребок одному человеку! Ей-богушки, не маловато ли?

– Батенька, не перегибайте палочку. После моей кончины разве Надежда Константиновна не просила, чтоб не ставили мне памятников? Чтоб не присваивали моё имя заводам-фабрикам?

– Надежда-то Константиновна просила. Но почему вы молчали ещё до кончины? Ещё при вашей жизни Рогожскую заставу в Москве переименовали в площадь Ильича. Почему вы промолчали? Молчание не знак ли согласия? А что теперь говорить... Что вы забыли здесь, вдали от России? На этом месте, – Митя постучал костью пальца в холод постамента, – кто должен стоять? Кто восславил этот край! Например, Груня Половинкина... Героиня...

– Архисогласен! – хитро кивнул вождь. – Надо расширять

---

<sup>162</sup> 12 апреля 1918 года В. Ленин подписал декрет «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке памятников Российской Социалистической революции».

ассортимент!

– Хотя... Такой поворот... Всё вдруг... Тётя Груня, – это всего лишь тётя Груня. А разве вы здесь совсемуще чужой? Вспомните...

И тут умненького Митечку покатило в историю.

Пропел, как кровавое воскресенье<sup>163</sup> в Петербурге колыхнуло всю Гурию, самую голодную, самую маятную. «Славные сыны прелестной Гурии» поднялись разоружать карательные посты стражников, вышли на митинги. Они требовали земли, свободы личности и неприкосновенности жилища, свободы собраний, слова и печати, бесплатного первоначального образования для всех.

«Мы, грузины, русские, армяне, татары – все братья; мы не будем грызться, пускай не старается правительство понапрасну...»

«Крестьянское движение в Гурии, – напишет одна из газет, – редкое явление во всемирной истории. Это не обычный крестьянский бунт, а вполне осознанное политическое движение, всецело примыкающее к созидательному движению всероссийского пролетариата».

---

<sup>163</sup> Священник и агент охраны Георгий Аполлонович Гапон организовал и возглавил в 1904 году «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Инициатор ходатайства петербургских рабочих к царю, шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года. В это «кровавое воскресенье» войска расстреляли мирное шествие петербургских рабочих с петицией к Николаю II. Свыше одной тысячи человек убито. Начало революции 1905 – 1907 годов.

События в Гурии обсуждались на третьем съезде РСДРП. Была принята особая резолюция.

А тем временем Гурия вооружалась и в октябре 1905 года восстала. Два дня шумели бои на Насакиральском перевале. Это на порубежных землях нашего совхоза и села Бахви.

После Ленин подытоживал опыт первой революции: возникшие в ходе революции Советы рабочих депутатов и «крестьянские комитеты в Гурии» были **«началом завоевания политической власти»**.

Прокукарекал всё это Митечка наторопях и по-комиссарски рубнул, глядя наверх:

– Вот видите! Давно-давно ниточка от вас пробежала к Гурии. И разве это не даёт вам право на памятник в нашем районном городке, в гурийской столичке?

– И всё же, молодой человек, я за памятники таким как Груня Половинкина. Ассортимент обязывает...

Митечка покивал.

Я попросил Митечку наклонить ко мне ухо. Он наклонился.

– Спроси, – шепчу я, – что у него за свёрток в руке? Не декрет ли о земле?

– Вопрос повторять не надо, – камнями падают сверху слова. – Я слышал... Да, декрет. Да, о земле. Тот самый, который уже был принят на второй день нашей советской власти на втором всероссийском съезде Советов!

– Да не на второй день – на вторую ночь советской власти! В первую ночь вы выдернули власть у раззяв. Во вторую ночь пошли её кроить на свой салтык... Всё – ночью! Аки тати в нощи... Ночью был принят тот декрет. Ночь и сокрыла его навсегда от крестьян...

– Голубчик! Да вы думаете, что говорите? Ещё вон когда землю мы отдали кр`стьянам!

– На бумаге? А в натуре? Получили ли *с в о и* земельные участки мой дед? Моя мать? Груня? Сколько веков вам надо, чтобы *каждый* крестьянин получил *с в о ю* землю?

– Голубчик, вы слышали, что вы бухнули?

– Что-то лишнее? Не думаю... Ещё ж в семнадцатом, в апреле, когда вы вернулись из забугорья возради революции своей... с броневика... сразу на вокзале... – разве не обещали вы землю крестьянам?

– Земля – дело серьёзное. И такие вещи с бухты-баракты не делаются.

– Но на бухты и баракты уже ушло почти полвека! Не хватает ли? Сколько ещё надо? Крестьяне же всё ждут *с в о - е й* земли...

– Земля – дело серьёзное...

Голубой писец! Ну разве не ясно: миру – мир, войне – пиписку!

Ну Митя! Ну чудило! И чего затеял этот дурацкий словесный пинг-понг с этим каменным большевицким пипи-

И в нетерпении ору я наверх:

– Да ни вы, ни ваши ученики никогда не отдадите землю крестьянам!

– Это откуда такая категоричность растёт?

– А хотя бы из вашего секретного указания вашим же сорабничкам-ученичкам: **«Упразднить крестьянство!»** Тот-то вы так основательно готовились отдать землю тому самому крестьянству, которое приказали уничтожить? Бермудно всё это как-то...

– Мда, – весоно и мудро было сказано сверху.

Похоже, разговор про землю упал в тупик.

– Тогда, – сказал вождь, – давайте вернёмся к памятнику Груне.

– Милей памятника ей была бы своя земелюшка в родной сторонуще где-нибудь под Воронежем, – вздохнул Митечка. – А то лазит, бедная, в чужой Грузии по совхозным чайным горам смерти... Груня героиня Труда. Собирает в год по шесть с половиной тонн чая. Каторга! За каждой чаинкой нагнись да сорви. Какие моторы должны сидеть в руках? За сезон она делает посверх шестнадцати миллионов движений руками! – глубокомысленно вскинул Митя мозолистый палец.

– Груня и должна, молодые люди, стоять на моём месте!

---

<sup>164</sup> **Пипин** – человек маленького роста. (Вспомните короля франков, которого прозвали Пипином Коротким. Его рост был 135 см. Рост Ленина 164 см.)

– А вы и не стойте, – неожиданно потянул его сторону Митя. – Лучше идите... Гм... Куда же вы пойдёте? «Ученик» у себя дома, а учителя при хвалёном кавказском гостеприимстве и в дом не пустили? Остановили на прикрайке, у городского порога? Не ходите в богатые сволочные дома ваших же коммунистических олигархов! Идите в бедные. Помогите выскочить из нужды. Скажите, почему вы плотно вошли во все высокие кабинеты? И почему нету ваших портретов в простых семьях?

– Резонно... Что-то я делал не так?.. Я бронзовый... Включен вечно стоять на месте...

– Чтоб не мешали орудовать *вашим* же партаппаратчикам-бюрократчикам? И не мешайте! Занапрасно не переживайте. Вот увидите, грянет времечко, ихний коммунизм сам накроется веником. А пока... Если ж разобраться, жизнь у них *умрихинская*. Ездят от народа отдельно. Дома, как тюрьмы, за заборами с проволокой, слышал, под током. Какое? Лишний раз на люди не выйди. Да им за вредность надо платить! Вдумайтесь! Эти отчаюги, не дожидаясь всеобщей мобилизации, бесстрашно кинулись в разведку коммунизма боем незримым! Мы понятия о коммунизме не имеем, а они, рискуя жизнью, *живут* и даже вроде в поте лица терпужат в нём круглосуточно. Как задвинутые! Как проклятые! День и ночь, день и ночь. Без выходных. Без праздников даже. И это долгими уже де-ся-ти-ле-ти-ями! Глубо-окий манёвр! Покуда мы на излёте сил барахтаемся в трясине «за-

тяжкого рывка» к проклятому изобилию, они, величайшие бесстрашные первопроходцы, мужественно обживают окончательный коммунизм! Уже на протяжении почти полувека бедолаги дерзостно принимают изо дня в день роковые удары светленького будущего, неведомого нам. Вот они, герои-великомученики, всё обстоятельно испытают на себе, как на подопытных кроликах, потом, через двадцать лет, побратски всё покажут и расскажут нам. И тогда мы в торжественном счастье церемониальным маршем войдём стройными шеренгами в осяянное будущее. А сейчас помашем им ручкой и честно скажем: «Правильной дорогой идёте, товарищи первопроходимцы!» Скажем, глубоко плюнем и разотрём!

Митя замолчал.

И надолго.

То ли испугался за сказанное, то ли не знал, что ещё говорить.

– Молодой человек, молчание вам не к лицу... И вообще, поговорите ещё со мной... А то я стою один над площадью. Никому не нужный... Как гнилое яйцо... Если б вы знали, как мне скучно здесь стоять. Я не знаю, что я тут выстаиваю. Никто не знает, как мне хочется спуститься с постамента и удрать в люди. Но я не могу сойти. Не могу даже лицо повернуть. Руку со свёртком задрали, устал на весу уже десять лет постоянно держать. Один торчу и день, и ночь... Присутствие происходит круглосуточно. Народ внизу пробегает



мимо, и ни одна душа не видит меня. Лишь вороны да голуби, да воробьи топчутся на голове, на плечах, на ушах, на руке, на свёртке, а согнать их я не могу. Ино и нужду на мне эти сволочи справляют... Ну всякий гад своё говно на моей голове да на моём декрете складирует, а я молчи! Вот вам, батенька, свобода!.. Свобода лишь молчать! Вы первые, кто остановился после Мая.

Митик зарделся, как яблочко в августе.

– А хотите, я расскажу, как однажды конспектировал вас?

– Что за вопрос!

– Только врать я не могу. А за правду за мою не подхвалите.

– Может, и не похваляю. Но не осужу.

Пунцовый Митик уставился в свою драную обувочку и потянул историю с Адама.

Доложил, что наш отец погиб на фронте. Мама неграмотная, одна тащит нас трёх тупарей. Часто и густо у нас не бывает на хлеб, и мы по переменке бегаем с козьим молоком на базар. Туда прёшь мацонию и облизываешься, боишься, как бы сам баночку не слопал, а назад при выручке скачешь с хлебом.

Самый честный торгашок был Глеб. Если и брал тугрики, то только на еду. Дома прямо говорил, на столько-то продал, столько-то проел. Но не на мороженом, не на разноцветных подушечках конфетных. Пресная дешёвенькая булочка, большего он себе не позволял.

– А этот махнутый аварийщик, – мотнул Митя на меня, – всё под копеечку приносил домой. Иногда ему не удавалось продать по потолку, но всегда зуделось. Любил, чтоб его прихваливали. Если где находил завалящуюся монетку, что плохо лежала на столе или на окне, старательно подпихивал её в выручку. Мамочка всегда хвалила его за расторопность, и юный спекулик сиял новеньким пяточком.

– Что ты всё про других? – шёпотом подсыпал я ему. – Ты про себя!

– Сперва закончу про тебя. Потом... Я с шестого класса бегал на базар. Не успею загнать мацонию, пулею в книжный. Там меня знали, загодя откладывали мне самую толстую книгу. Я покупал только самые толстые. С толстой чувствуешь себя как-то толще, надёжней. Я ещё в дверях, а мне уже подают кирпич... Ну, взял «Войну и мир»... «Петра Первого»... Подали вашу. Я и вашу взял, толще не было. И на следующий раз толще не нашлось. Раскрываю дóма – я все новинки начинал читать в день покупки – тот же том! Обидно стало. То все книжки я просто читал по ночам при лампе: ток с двенадцати до шести утра у нас выключают. Мама встаёт уже, а я ещё не ложился. Читал. А тут, думаю, раз одно и то же купил дважды, так и польза должна быть сдвоенная. Взял и законспектировал себе назло. Мучайся и помни, за что вдвое платил. И вовсе не зря маял себя. Уже в техникуме, после армии, делал по тому конспекту доклад. Оч пригодилось!

– Умыкание денег на книги не смертельный грех. И как чудесно... В сумке с грязными банками из-под молока домой в глухое местечко бежали и новые книги!

– Красно кончил я восемь классов. И как шёл в техникум, бесплатно сдал в школьную библиотеку на двести сорок рублей. А те книги, что мыши попортили, не взяли. «Петра Первого» даже свалили. Не устояли и марксизм напару с ленинизмом. Один ваш том библиотекарша не приняла. Выговорила: «Зачем перебил мышам аппетит? Неси назад на ужин. Пускай доедают». Или он с сахаром?

– Ну, – хитро засмеялся вождь, – мыши не дуры, на что попало не кинутся... Архитолковые вы мужички!

– С первого класса приучивали нас к вам...

– На Ленина надейся, а сам не плошай. Думайте, думайте, думайте, товарищи! И я взаимно надеюсь на вас. Вы признаёте своё рабское положение. Раб, сознающий своё рабское положение и борющийся против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам.

– А что же мы сможем?

– Нужно верить в свои собственные силы... Вы растёте... Проверять людей и проверять фактическое исполнение дела – в этом, ещё раз в этом, только в этом теперь гвоздь всей

работы, всей политики.

– Как замечено, «иногда и в самое жаркое время можно что-либо сморозить». Вы уж извините пустобрёха, если ляпану что мороженое... Да ну его к лешему! Устали мы от вашей великой коммунистической бредологии. Устали от ваших вечных-бесконечных сладких обещаний. Нам бы желательней полные полки в магазинах. А то, как в стриптизе, голенькие полки бессовестно сверкают на виду у всего честного голодного народишка. И «полки ломаются от взглядов покупателей». Пускай хоть папуасы нами правят, абы от голода надальше!

– Вам нужна новая г`еволуция! Г`еволуции – пг`аздник угнетённых и эксплуатируемых. Никогда масса наг`ода не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время г`еволуции. В такие времена наг`од способен на чудеса!

Тут и подстерегли нас чудеса.

Мы не заметили, как к нам потихошеньку подкралась два ментозаврика и культурненько, под крендель, повели нас к воронку.

Мы завозражали. Почему? За что?

Нам и отвечают:

– Помолчите. Трибунал<sup>165</sup> без сопливых разберётся.

Когда нас уводили под руки, я оглянулся.

Вождь стоял с поднятой рукой. Не то махал нам прощаль-

---

<sup>165</sup> **Трибунал** – отделение милиции.

но, не то благословлял мильтонов.

Но с каменных уст не упало ни звука.

Я закопился на Митечку.

Во-от к чему припёрло твоё политиканство. Начитался этого метра с кепкой... А он и не заступился. Вместо больницы загремели в хомутку. Там крепенько полеечат...

– Товарищ начальник! – хором доложили в отделении митлюки. – Доставили агентов инопланетной разведки. Словили микроны!<sup>166</sup> Работают, по оперативным данным, на каких-то папуасов и желают горячо, чтоб именно эти папуасы установили у нас свою папуасскую власть. Мы долго этих субчиков незаметно слушали. Несли такую мутотень! Похоже, ещё детство в жопе играет. Подозреваем, что эти толстодумы работают не на одного папу этих асов. Мы ещё всё точно не знаем, с кем они. Но твёрдо знаем: стукальчики на нашу любимую родину. Стуковали на нас самому Ленину! Клеветники! Диссиденты! Разговорили даже памятник! Тайно вступили в подозрительный, в преступный разговор с каменным вождём! У нас всё записано. Восхваляли Запад, который гниёт с семнадцатого года. Невежливо поминали высокие кабинеты. Поминали светлое будущее. Про партаппарат там что-то... Информировали, что «в партии есть немного работников. Остальное – её авангард». Жаловались, что нету в России кагэбэ. Мели про голод, про стриптиз. Самому вождю мирового пролетариата про стриптиз!

---

<sup>166</sup> Словить микроны – сделать что-либо тщательно.

Вельможа<sup>167</sup> сладко трёт руки и – застыл, не оторвал ладонь от ладони. Опуцело уставился в окно. Прошептал:

– Ушёл-таки картавый с постамента!

В окно стучался Ленин:

– Отпустите молодых людей, хомутьё! Именем новой г`еволюции тг`ебую!

Начальник поскучнел.

– Слышали, – сказал он своим мушкетёрам, – чего требует классик в кепке? Или этот атлантозавр собирает кадрики для новой кроволюции? Кончаем дефективный роман с ним. Выпускай эту тоскливую шелупонь.

Дверь сама угодливо открылась. Мы вышли.

И страшно удивились, почему так легко нас отпустили.

---

<sup>167</sup> **Вельможа** – начальник отделения милиции.

*Все наши глупости – доказательство, что все-таки думаем своей головой.*

*Р. Боичич*

Митик чертыхался на чём свет стоит. От милиции до больницы в сто раз дальше, чем от Ленинской площади. И за него меня некому нести.

Без почтения братец подпихнул меня в больнице под рентген.

Просветили.

И свалили кулём на каталку, оттолкнули в угол.

Лежать на каталке благодатушка. Не то что висеть мешком на потной Митиной спине, перехвативши ему дыхание.

В приоткрытую дверь я вижу, как в комнату наискосок тесно натекает очередина за уколами.

– Кто сейчас идёт?.. Слышу... Значит, вы на старте...

– Кто последний на втык?

– Кто крайний на прикол?

– На булавки? Я за вами... Последнюю булабочку получить... А то вчера на булавках не был... Зевнул... Кашель уже сбил. Нет нарушений в вентиляции. Надо к выписке собираться.

Очередь вывалилась в коридор. К хвосту подбортнулся бухоня под потолок с грудинкой метр на метр. Мурыжит дет-

скую чудь:

– Докторов я не боюсь,  
Вот пойду и заколюсь.

Из очереди выговаривают песняру:

– Вислоухий! Иль ты не цвету авоськой прибитый? Где ты видел, чтоб доктора делали уколы? Разве на то не водятся лисички-сестрички?

– Я и на лисичек согласен, – весело отвечает певчук.

– Пойдём в отливальню<sup>168</sup> травиться, – зовёт певуна курить прохожий полосатый халат.

– Чудок спогодя. Папироской меня не убьёшь. Надоть сперва укольчик хватануть. У них это скоро. Бабах и нету Ленского!

В середину очереди встёгивается ветхий старичок.

– «Вас тут не стояло», – строго говорит ему худая сердитая дама.

– И даже не лежало, – соглашается старичок. – Нас бегало... Дал маленький марафон по кабинетам... Я занимал очередь... Вас тут ещё не поставило...

Старичок наклоняется к мужчине сзади. Тихо жалуется:

– Этот чумак ухо-горло-нос-сиська-писька-хвост всё никак не мог наглядеться на мои железы... Чего он в них потерял?

---

<sup>168</sup> Отливальня – туалет.



Всю эту целую вечность мой врач нудно, варёно смотрел на мой снимок. Всё похмыкивал, обмахивался им от духоты и неожиданно истиха запел, не убирая кислых глаз со снимка:

– Биссектриса – это такая крыса,  
Которая бегаёт по углам  
И делит угол пополам...

Глянул он поверх снимка на меня:

– Правильно?

Я отмолчался.

Наконец он похвалился мне:

– Чудненько!.. Писк!.. Сейчас поедём в капиталку на ре-  
ставрацию.

И куда-то за стену – громко, приказно:

– Девочки! Подавай!

С цокотом влетел резвый табунок тархтелок лет по пят-  
надцати, в смехе погнал меня по коридору:

– Жих-жих, чух-чух!.. Жих-жих, чух-чух!..

Недоброе предчувствие опахнуло меня холодом.

Врач шествовал сбоку. Усмехнулся:

– Что, не нравится мой кордебалетин?

Я поёжился, ничего не ответил.

Только почему-то лихорадочно заподгрёбал под себя края простыни.

Слева, близко от лица, скакали в обнимку две птички.

Щебетали вшѐпот.

– Живописный выюнок. Целуется на пять с тремя плюсищами! Кис-кис-мяу!

– Франт в твоём вкусе. Шоколадненький. В натурель! Надо брать!

– Natürlich...<sup>169</sup> Надо... Сижу вся в думах.

Одна поддела другую в бочок, и свистони запели с кокетливым приплясом:

– Я маленькая женщина,  
Но я себя в обиду не дам.  
Угу, угу, ни другу, ни врагу.  
Потому живу непросто.

В светлой комнате телега моя остановилась, и меня тихонько перепихнули на операционный стол.

С меня дёрнули простыню.

Я с крестьянской основательностью держал её, так что она лишь приподнялась с краю, натянулась, и возок слегка катнуло назад.

– Мальчик, ты чего вцепился в простынку, как комар в кожу? – капризно прошептала из толпы нагловатая чернушка.

Я отвернулся от неё, уставился в стену.

Как же я останусь без покрывалки? Я под простыней совсем не одемши.

---

<sup>169</sup> **Natürlich** (натюрлих – нем.) – конечно.

Хирург наклонился надо мной, ласково проговорил:

– Нам не простынка, нам твоя ножка нужна.

Я обмяк, выпустил простыню.

Он кидком завернул её мне с ног на живот.

Я еле успел прикрыть листиками ладошек свой божий леденец.

– Не переживай, – улыбнулся хирург. – Всё, что природа дала тебе по реестру, останется при тебе. Гарантирую.

Как белые пиявки облепили меня девчонки в куцах халатиках. Кто держал меня за ноги, кто за голову, кто за руки.

– Вспомните, как вправляется вывих, – потребовал хирург. – Ну, кто напомним?

Возня притихла.

Я услышал придушенный голос:

– Рина! Казбанова! Чего там за дверью торчишь? А ну плыви сюда. Иначе тебе зачёта по практике может не хватить.

И в белое колечко чьей-то руки я увидел Рину, входила в комнату.

Колечко слилось, я потерял Рину из виду.

– Так как вправляется вывих? – допытывается любознательный хирург. – Никто не знает? Молодцы!.. Ну, вот ты, Полякова Нина.

– Вывих вправляется путём...

Хирург в нетерпении:

– Пу-тём?..

Девиды угнули головы в меня.

– Безобразиe!.. – шепчет одна.

Она сердится, что никто не знает, но и сама не высовывается с ответом.

Разочарованный хирург потускнел:

– Ну, наконец-то мы выяснили, что вывих вправляется путём бе-зо-бра-зи-я. Очень хорошо... А может, всё же вывих устраняется сильным, достаточно резким оттягиванием повреждённой конечности? А?

Все хмуро ужались ещё ниже.

Хирург скучно пожевал:

– Держите уж там покрепче...

На меня тяжело навалилось всё живое и мёртвое, что было в операционной.

Кто-то нагло, зверино дёрнул за больную ногу.

Я резано оранул. Боль так полосонула, что я потерял сознание. И уже больно не было.

Прихожу в себя, хирург прокудливо посмеивается, как нашкодивший кот.

Я понял, это он дёргал.

– Будешь сто лет меня благодарить и не устанешь! – клятвенно заверил он.

– Всё может быть... – кивнул я. – Доктор, а я буду играть в футбол?

– Лучше прежнего!

Тела празднично раздвинулись надо мной.

– Сейчас мы обуем твою милую больнушу в белый звончатый сапожок... – Хирург принялся накладывать гипс во всю ногу.

Меня выкатили на выдачу к входной двери.

Но мой получатель, доблестный Митик, куда-то усвистал. Отказался от груза?

Халатики завозились пересадить меня на лавку.

– Не трогайте его! – вмешалась Рина. – Пускай сидит на нашем лимузине. Я подежурю у больного. Потом пригоню каталку.

Все сыпанули от меня весёлыми белыми столбиками в разные стороны.

– Ну, – сказала Рина, – где ты, герой **ВОВ**,<sup>170</sup> изувечил ногу?

– При штурме рейхстага.

– Фирма секреты не выдаёт? Ну и не выдавай. Всё уже давно выдано. Я же всё знаю, футболёрик. Разведка доложила точно... А знаешь, чаквинская тётечка мировая. Прибежала я к своей бабульке, переделалась и снова с деньгами в Чакву. Меня ж моя хворающая бабуленция посылала в Чакву за микстурой. Думала, если я в медицинском училище, так и подыму её одним взглядом. Взяла микстуру, приношу к тётечке её платье, а она не берёт. Она в нём выходила замуж и отдала мне. Я упиралась. Говорю, а вашей дочке там иль внучке не

---

<sup>170</sup> **ВОВ** – Великая Отечественная война.

сгодится? А она: у нас детей нету. Вишь, намечтали рожать в тридцать девятом, а мужа отсекли от неё в тридцать седьмом. И всё выдерживают... Попал на *жительство к Ежову*... Оттуда скоро не отпускали. И по сей день пьёт из *чаши Иосифа*... Как глупо оказалась я при свадебном платье...

Какая ж эта Рина побирошка! Людей горе раздавило, а ей хоть хны. По кости тряпица – м-моя!

– Приданое поспело, – ядовито сцедил я сквозь зубы. – Теперь, муси-лямпампуси, добывай жанишка А под цвет старушьего платьяца.

– Сам ты муси-пуси... Ничего и не понял... Дурилка ты картонная!..

Рина не успела развить свою глубокую мысль.

На пороге проявился Митя.

– Я думал, – лупится на мой гипс, – ты полегчаешь. А тебе нацепили ещё белую тонну на ногу. Всё для счастьяца человека, якорь тебя!

Я повис на нём мешком.

Он ещё что-то бухтел себе под нос и исправно пёр.

Митик тракторок. Ворчал, но работал. На скору ногу тащил по площади по-за спиной Ленина к обочинке, где, если голоснёшь, может остановиться наш рейсовый автобус на Насакирали.

– Слышь, погоняйло, – подал голос Митич, – а ты знаешь, чего Ленин на всех памятниках с протянутой рукой? Он что просит? Или хочет что дать?

– Чего ж он даст из пустячей, раскрытой топориком, руки?

– Так уж и нечего дать? Давай забежим с лица. Попрошу хоть рентген. А то что больничка наша без рентгена мается? Или врачей ещё. На весь совхозище один согбенный трупешник Ермилка Чочиа!

– Мы и так, наверно, уже опоздали на свой рейсовый. А ты ещё... Вижу, тебя так и подкусывает заночевать в ментавре.

Упоминание милиции остудило его, и мы молча, носы в плавкий асфальт, проскакиваем по-за спиной памятника.

Мы прождали все глаза.

Автобус наш всё не выскакивал.

Площадь была на бугре, и машины выскакивали на него снизу, как из ямы, лились рекой; и в той чадной горбатой реке, как мы бдительно ни всматривайся, не было нашего автобуса.

А если он уже пробежал?

А если другой дорогой дунул?

У нас это бывает. Попался водителю хороший знакомец, надо отвезти. И не беда, что приятелев дом в противоположной стороне света от маршрута. Повезёт. С другого конца нагрянет в совхоз. Какая-де разница! Как ни ехать, хоть через Америку, лишь бы прискакать в Насакиралики.

Митя угорело тряс руками, как птенец, что не умел летать, и стоял на месте на цыпочках, молил остановиться всякую тачку. Но они все дымно пролетали мимо, мимо. Да и те, что останавливались, не брали. Не по пути!

– Молодые люди, – услышали мы вдруг картавый голос, вождь подходил к нам, – не могу видеть сверху ваши мучения. Думаю, пойду помогу, поголосуем вместе. Принимаете в артель?

Мы приняли. Да от этого не уехали тут же.

Наоборот.

Увидев большенного каменного вождя, водители перебрасывали растарашенные взгляды на холостой постамент и неистово набавляли газу. Не то чтоб стать – машины круголя обминали нас и тонули в искристом дыму.

– Чем же я их всех удивляю? – плутовато недоумевал вождь. – Обыкновенный человек...

Митя с бордюра просяще затряс руками пролетающему грузовику – книга вывалилась из-под ремня на асфальт.

Вождь поднял книгу, отёр.

– Молодой человек, да вы уже до Маркса добрались?

– А что остаётся делать? Пока врачи чинили моего инвалида... Торчат под дверью? Глупо. Я по старой памяти и слетай на свидание в книжный. Я вам уже говорил, там меня знают как облупленку... Всё не забыли мою привычку брать одну, но самую толстую книжерию. Я на порог – они кирпичину с полки. Принимай, дорогой, свою мечту! Говорю, нету с собой шуршалок. Ничего, говорят, Митрофанэ, потом отдашь. Вот и выдали мне Маркса. Раскрыл наугад – не оторвусь. Читаю как самый страшный детектив века!

– Маркс и детектив?



– У меня такая каша... Отрывки повыхватывал, пока бежал к больнице... Как я понимаю, вы сшили нашей державе советский костюмчик по Марксу?

– И?

– А выкройки вы не перепутали? Выкройки вам попались именно те?.. Они разве России предназначались?

– Что за детский лепет?

– Я, Владимир Ильич, давно выскочил из детства. Отслужил на флоте, в техникуме иду отличником... Те выкройки, что вы взяли в работу, назначались, как я понял, разве не для развитых капстран? И вовсе ведь не для России? Так?

– Ну-ну?.. Однако занятно послушать юное поколение. Откуда вы это взяли?

– Только из Маркса. Вот... – Митя повёл пальцем по строчкам-ступенькам. – Цитирую... «Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция. Впрочем, русское правительство и «новые столпы общества» делают всё возможное, чтобы подготовить массы к такой катастрофе. Если революция произойдёт в надлежащее время, если она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное развитие сельской общины, последняя вскоре станет элементом *возрождения* русского общества и элементом *превосходства* над странами, которые находятся под ярмом капиталистического строя». Видите, да?.. А вот ещё клочок: «... община является точкой опоры социального возрождения России». А вот еще: «... она может непосредственно стать *отправным*

*пунктом* той экономической системы, к которой стремится современное общество, и зажить новой жизнью, не прибегая к самоубийству... Россия тщетно стала бы пытаться выбраться из своего тупика введением капиталистической аренды английского типа, столь противной всем общественным условиям страны». Как я понял, Маркс видел спасение России в сельской общине? А её-то вы и ваши последователи не стёрли в порошок? На вашей совести предостаточно этого порошка?

– Откуда всё это у Маркса? – хитро прищурился вождь. – Я не читал.

– Зато я читал. А вы, по-моему, прочесть это и не могли.

– Откуда эта категоричность? Святая простота!.. Много, молодой человек, в ваших суждениях неверного, наивного, незрелого, архиупрощённого, архипримитивного. Но не беда. Придёт время, созреете... Мне просто интересно вас послушать. Так почему я не мог прочесть про общину у Маркса? – снисходительно хитро улыбнулся вождь.

– Когда это было написано, вам шёл одиннадцатый год. Через два года Маркс взял и случайно умер. Однажды раз работал, работал, работал и сел на минутку в кресло просто отдохнуть. Сел. Дал Бородан расслабон... И умер. Безо всякой, понимаете, канители. Не надо было расслабляться. Может, жил бы ещё... И размышлизмы про русскую общину, как я понял, долго лежали в рукописи... Впервые опубликованы в «Архиве Карла Маркса и Фридриха Энгельса» в 1924 году,

сразу после того, как вы переехали из кремля в мавзолей.

– Но, – хитро улыбался вождь, – но почему Маркс *вдруг* заговорил о русской сельской общине?

– Не вдруг! – ринулся Митик на наживку. – Вера Засулич попросила высказаться. Минуточку... – Митя сунулся в конец книги. – Ага... Вот... Вот её письмо Марксу: «Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, как злободневен этот вопрос в России... особенно для нашей социалистической партии... В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм – словом, все, что есть наиболее бесспорного – обрекают на гибель. Люди, проповедующие это, называют себя Вашими подлинными учениками, «марксистами». Вы поймёте поэтому, гражданин, в какой мере интересуется нас Ваше мнение по этому вопросу и какую большую услугу Вы оказали бы нам, изложив Ваши воззрения на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что, в силу исторической неизбежности, все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства».

– Знать и тридцать восемь лет молчать, держать в гробовой тайне?!.. Горе-меньшевичка... Ах, упрямка Веруля... Веруля- вруля...

Я так и не понял, говорил всё это вождь всерьёз или просто шутил, подыгрывал Митечке.

Митька и Ленин лалакали ещё долго.

Я вообще ничего не понимал в их митькизме-ленинизме.

По-моему, Митик нёс купоросную ересь. Но зато ка-ак вбубенивал! Мне казалось, он и сам ничего не понимал из того, о чём бубукал. Но – бубукал! бубукал!! бубукал!!!

– Закрой свой супохлёб, – шепчу ему, – и не греми крышкой!

– Ты на кого шуршишь, кулёк?! – сквозь зубы цыкнул на меня Митечка. – Молчи, якорь тебя!

– Ещё молчи? Да видал я тебя в членах политбюро!

Но Митик смолчал, лишь сердито отмахнулся. Не мешай!

Митик обожал себя в высокой болтовне. В высокой болтовне он оттягивался по полному росту.

Не будь слушателя, его болтовня в нём бы и спала, никогда не просыпалась. Но был слушатель со скуки, и этот слушатель, хитрый коварец, мне не нравился.

Всё в нём меня отталкивало. Не он ли прибежал к власти по холодным косточкам Отчизны? Что можно испытывать к человеку, который плясал от счастья, когда получал сведения о поражениях России в войне с Японией в 1904-1905 годах? Можно ли умиляться человеком, который за звонкую монету бился за разгром России в первой мировой войне? За что можно было бы уважать человека, который, дорвавшись до власти, с песенным подплясом грозил: «Весь мир насилья мы разрушим, а затем...»? А затем он будет разрушать и дальше. Это-то хозяин? Разве Хозяин рушит свой дом? А, разрушивши его до основания, научившись только крепко

разрушать, он и будет только разрушать дальше. Как ему казалось, он созидал. Но разве долгие советские годы не показали, что ленинцы продолжали только разрушать Россию? Лучше б было, уйди коварный вероломец снова к себе на холодный мрамор. А то от него один только вред. Ни один же шофёр не хочет из-за него останавливаться. Все боятся.

И сколько ещё мне сидеть на бордюре со своей гипсовой красавицей? Так я стал называть свою левую ногу, посаженную в белую гипсовую крепость.

– Надо готовить новую г`еволюцию! – бесшабашно вдруг выкрикнул вождь.

– Новую? – Митечка осудительно пошатал головой из стороны в сторону. – Как что – так сразу!

– Новую! И пойдём мы все-ем новым путём!

– Помилуйте! Да не хватит ли ваших блужданий наобум? В семнадцатом вы сходили *другим путём*. Мечтали надеть на весь мир коммунистическое ярмо?!.. Куда вы дошли? И до чего вы дошли? И во что это обошлось державе?.. Прежде чем браться за новую, вы б не хотели узнать, во что же обошлась ваша старая кроволюция? Та, в семнадцатом? Какова её себестоимость?

– Да уж...

– Я где-то читал, вы втугую осерчали в семнадцатом, когда вам принесли на подпись смету расходов на взятие Зимнего.

– А как же, батенька, не сердиться? Архистрашные расходы вбухали в смету! И всё вроде надо... Аренда «Авро-

ры», спирт и к спирту штурмующим, опять же выстрел «Авроры»... В какой парткассе набраться таких средств? Надо урезать. Сэкономим на выстреле. Думаю, довольно будет с нас холостого выстрела...

– Вот-вот! Ведь же *«не было в строгом смысле исторического факта штурма Зимнего дворца 7 ноября 1917 года, это пропагандистская мифология. А первый большевистский совнарком в расклеенных 8 ноября по Петрограду афишах назывался «Второе Временное правительство»!* Вот что честная история твердит!.. Да и... Но и холостым выстрелом утюга коммунизма<sup>171</sup> вы уложили не десятки ли миллионов? Расколошматили экономику. Вырвали пятьдесят седьмое место в мире по уровню жизни! В развитии откинули страну не на целый ли век назад?

– Эти *ваши* там миллионы *к т о* считал?

– Боженька!

– Тоже нашли счетовода!..

– Небесная бухгалтерия точна.

– А что земная говорит?

– А лично вы всё сделали, чтобы земная бухгалтерия молчала. Как иезуитски вы лично расправлялись с шуйским духовенством?!<sup>172</sup> Вам срочно понадобилось хапнуть богат-

---

<sup>171</sup> Утюг коммунизма – крейсер «Аврора».

<sup>172</sup> Из письма В. И. Ленина (1922 год): «Товарищу Молотову для членов Политбюро. Строго секретно. Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинин тоже) делать свои пометки на самом документе. Ленин... мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных цен-

ства монастырей, лавр, церковей. Понимаю, трудно было тогда стране. Так открыто бы попросили духовенство помочь вам. Наверняка помогло б. Но вы дунули *другим путём*. Отнять!!! И как вы оттяпали? Всё «строго секретно»! «На съезде партии устроить секретное совещание...». «Провести секретное решение съезда...». Всё тайком, чтоб не было следов... Если считали, что делали доброе дело для России, то чего же обкладывали его «строгими секретами»? А главный «секрет» ваш какой? Насмерть запомнил... ***«Чем большее число представителей духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать»***. Вы положили начало... Дали образец, как провора-

---

ностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед давлением какого угодно сопротивления. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов ... (а может быть и несколько миллиардов) золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает)... Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже УСТНУЮ, (выделено мной. – А.С.), чтобы процесс против шуйских мятежников ... был проведён с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров».

чивать немыслимо жестокие дела и не оставлять следов. Все долгие советские десятилетия кого у нас только не «учили»! И ка-ак «учили» жить по-советски! На «учёбу» *ушли* и не вернулись десятки миллионов человек! Это лишь часть себестоимости советской «учёбы» по вашей «секретной» методе. И среди «учеников» были вовсе не одни церковники... За что вы так? И главное, всё «строго секретно»!

– Молодой человек, вы опять вешаете на меня всех собак?

– Зачем же всех? Вы отвели душеньку, всласть намахались шашулечкой... У вас был богатый дикий *октябрьский помёт*. Ваши горячие соратнички, верные ленинцы, продолжили ваши *архивеликие дела*. Вот и горькие достижения...

– Архитяжёлый вы молодой человек...

– Не знаю... Не взвешивался... Только ещё одна ваша революция и от России не останется ли мокрое местечко? К этому вы хотите придти *совсем новым путём*?

Я слушал их и думал.

Россия...

Русский человек...

Кому было его защищать и беречь? Кому было биться за его свет-долю?

Ленин был, как доложила забугорная радиошепталка, «рождённый наполовину чувашом и наполовину немцем». Сталин – грузин. Дзержинский – поляк.

Что им Россия? Потеха? И полигон, и плацдарм для фашистско-коммунистических кровавых фантазий?..



– Эй-гэй! Героюшки Шипки! – вдруг окликнул из кабинки нас с Митей дядя Ваня Познахирин.

Мы и не заметили, как он подвернул к нам.

Нашёлся-таки единственный смелюга, кто не испугался бронзового вождя. Остановился и разговаривает только с нами, будто никакого Владимира Самозванца здесь и нет.

– Пехотинцы!<sup>173</sup> Вы никуда не хотите ехать? – спросил дядя Ваня.

– Да вот поедем, если возьмёте! – обрадованно крикнул Митик.

Дверца размахнулась настежь.

Едва мы вползли в кабинку, как грузовик норовисто дёрнулся и помчался с подвывом.

Я выглянул в оконце.

Вождь с опущенной головой твёрдо уходил с огорка куда-то вниз мимо своего постаменты.

– Миланцы!<sup>174</sup> Не про МИИТ<sup>175</sup> ли вы толковали с этим генеральным кузнецом кровавого счастья на века!? – попытка дядя Ваня оттопыренным большим пальцем себе за спину. – Ну он и мозгоклюй!.. Об чём таки втроём пели? Не про трёх танкистов?

И посмешливо грянул себе:

---

<sup>173</sup> **Пехотинец** – пешеход.

<sup>174</sup> **Миланцы** (здесь) – милье.

<sup>175</sup> **МИИТ** – Мы Интенсивно Ищем Третьего.

– Три марксиста,  
Три веселых друга  
Основали свой  
Весёлый строй!

Дядя Ваня перед войной дружил с нашим отцом и относился к нам очень хорошо. И нам с ним всегда было хорошо. Это Боженька послал нам его сегодня. Или просто повезло? Воистину, «везучему человеку на голову падает яблоко даже тогда, когда он сидит под дубом».

– Я смотрю, – дядя Ваня вмельк покосился на книжку Маркса на коленях у Мити, – ты, Митяй, по старой памяти сбегал в книжный?

Митя кивнул.

– А меня на аркане туда не затащить... Над книжным музеем. Я в музей частенько наведываюсь полюбоваться золотой монеткой с изображением Сашка́ Македонского и шпагой Наполеона... В молодости он всё любил ею помахивать...

– Каждый ловит свою рыбку! – сумничал Митя, и вся наша артель рассмеялась.

Ехалось домой весело.

Дорога к дому всегда милей.

Нас даже мама встретила. У конторы, напротив больнички, дядя Ваня стал рядом с доской почёта. Я нечаянно глянул на стенд и столкнулся глаза в глаза с мамой.

На ней была лёгкая кофточка в горошек. Прядка волос об-

лачком парила над ухом. И одно плечико, вздёрнутое, похожее на острый утёсик, было выше другого. Удивлённые стеснительные глаза как бы спрашивали: в самом деле я передовичка?

– И не сомневайтесь! – помотал я ей пальчиками.

Вот мы и прибыли!

Митя с последними силами опустил меня на койку. Было сам не опрокинулся на меня, еле удержался. Помог лечь, занёс к стенке мою гипсовую корягу.

– Фу-у!.. Какой пост принял, такой пост и сдал...

Он прилип на краю койки, блаженно заобмахивался мокрым от пота воротником рубахи.

– Хор-рошо... Курортные сквознячки по коридору бегают. Весь пот вытягивают... Слизиывают...

Зачем-то вдруг Митик наставил ухо. Вслушивается в коридорный сумрак.

– Какие-то звуки... Мух не должно быть. Мухеты не терпят сквозняков. Не то что люди. О! – тыкнул в пролетевшего комара. – Юнкерс полетел! Гудит, как танк!

Он дёрнулся в угол к швабре и ну молотить воздух.

Комару такое неожиданное нападение не понравилось, присел на стену переждать беду.

Митя и по стене бух-бух-бух.

– Буду лудить, пока всех не умолочу! Иначе они тебя без горчицы слопают!

На шум прибежала нянечка.

– Чего гремитя? Мёртвый час! Ты спи, – сощипнула мне на одном глазу веки. – А ты, Митрок, чего прикопался? Иди, пережат-трава! Комар и царю на носу поёт. А тебе и на стене не посиди в мёртвячий час? Иди, мышцастый,<sup>176</sup> и дома углаживай своих породных. А наших не замай!

– Тётъ Галь, – покаянно улыбнулся я нянечке, – без обеда что-то не спитя. Мне б ложечки три хоть зари коммунизма...<sup>177</sup>

– Это разговор. Только от коммунизмы ты сегодня отдыхай!

Она наклонилась ко мне и заговорила шёпотом:

– Вчера по верхам прошелестело, что сегодня депутатец из самой из Москвы наявится... Так...

– Что, съел?

– Побоялись коммунизму варить. А ну на обед загляне в нашу больничную беспорядицу! И молись депутатику! Велили готовить аж два первых! Гороховый суп и лошадиный плов.<sup>178</sup> Тебе чего несть на перво?

– Музыкальный привет!

И в компании с гороховым супом приехали синеглазые, усталые макароники с сыром.

---

<sup>176</sup> **Мышцастый** – сильный, с большими мышцами.

<sup>177</sup> **Заря коммунизма** – баланда из недоброкачественных овощей с небольшим добавлением крупы.

<sup>178</sup> **Лошадиный плов** – овсяной суп.

Я сразу навалился на то и на то.

– Э! Всем козлятам пример, не спеши на поворотах, – тянет сквозь зубы Митя. – А то занесёт, якорь тебя! Слышь, ёханный жадина? – И еле слышно пропел:

– Жила долго не живёт,  
Заболает и умрёт!

Глазищи у него голодные.

Стыд подсёк меня, я сбросил обороты.

Но ложку не отдашь. Нянечка зорко пасёт нас, без дружбы лупится эта Прокопенчиха на Митю. Мол, шёл бы. А то ещё у страдалика изо рта выхватишь.

Я жую медленно. Выжидаю.

Нянечка это чувствует.

Ей вроде неловко торчать над душой, но и уйти ещё неловче. Заобидит здоровый больнушу, куда такойское гожается? Стой, бабка. Стерегти правду!

Я не спешу уминать. Налегаю на общение.

– Тётъ Галь, – говорю, – а что депутат? Был?

– Посулился, да не приехал. Сказали, недели через две привееется... Такое горе спеклось... Власть наша умылась, пригладилась... Коммунизмию на денёк отбой дала... Хоть гороху похлебаешь... Видал, какая простому человеку обломилась помощь от депутата! Депутата самого нету, а польза от него, – бросила косяк на тарелку с гороховым супом, – у

тебя перед носом. О!

– А вы не знаете, – этак влюбчиво вздыхает Митрюша, – чего это там, – потыкал в темь коридора, – комар так распелся? Осу на свидание вызывает?

Митечке хочется, чтоб бдительная нянечка поскорей ушла.

Она уловила это, сердито лепит своё:

– А можь, курий разбойник, тебя вызывает? Игде ты видал, чтоб комар пел? Комар нем, как муж. Мелом на воде это запиши. А хлопочет комариха. Завлекает комара своим звоном... И комар не кусает. Кусает комариха... У нас комары с орла, на скаку бьют зайцев!

Митя прилежно строит большие глаза.

Большие глаза ей нравятся, умиряют её служебную прыть, и она уже уступчиво озирается по сторонам, ищет зацепинку уйти.

– Икто тама это так храпить? – выговаривает тётя Галя в ночь коридорную. – Иля яйца зад закрыли, нечема дышать?

Она ускреблась на храп, и я сунул Митику ложку.

– На. Отдашь на двадцати.

– Может быть.

Он ел, а я считал про себя.

Он не ел – за себя бросал. Собаки брехали у него в брюхе. Он будто убегал от них. Спешил! спешил!! спешил!!!

Счёт выпал у меня из головы.

Мне почему-то жалко стало на него смотреть, слёзы сами

попились мои.

– А ты гусёк жадобистый! Жаль музыкального супца? Так и скажи. Только мокрость зря не разливай.

Он обстоятельно облизал ложку, выпустил в алюминиевую миску с вдавиной на боку и двинул миску по тумбочке ко мне.

– Не горюй. Я лишь по ложечке там и там цапнул. Зато взаменки... Давай игранём в азартные игры? В коммунизм, например?

Из недр кармана он торжественно извлёк два яблока с краснобрызгом.

– Бабушка, – нарочито скартавил под ребёнка, – бабушка Аниса Семисынова дала. Забыл сразу отдать. Они и в город с нами скатали, проветрились. Без билетов. Зайцы!

Он дал мне ббольшее яблоко, себе взял меньшее.

Я ноль внимания.

Тогда он выхватил у меня моё яблоко.

– Всё угрёб! Мы ж играли в коммунизм?

– Вот именно. Ты должен был тут же поделиться со мной по-братски, как сознательный элемент. Должен был сам отдать мне своё большое. Но ты... А я, может быть, отдал бы тебе своё маленькое... Но ты не пожелал поделиться по-братски, вот и остался с пустом.

Соль игры туго доходила до меня.

Я вообще ничего не понимал.

Митик с апломбом выставил оба яблока на тумбочку.

Твои!

Два яблока, два солнца засверкали с тумбочки, и коридорные пасмурные сумерки вроде даже посветлели.

– Слышь, – сказал я, – а откуда ты вчера взялся? Ты ж должен быть ещё в техникуме!

– Мало ли кто чего должен. Будь нормальный, я б весь май ещё потел в том Усть-Лабинске. А я, извините, бахнутый. И причина уважительная. До срока собрал в зачётку свои пятаки и ту-ту в Насакиралики. Как чуял. Ко времени проклюнулся. Вы на четвёртый играть – я почти следом...

Добрая тишина обняла нас.

Мы стеснительно-гордовато поглядывали друг на друга, молчали.

– Ну-с! – ободрительно тряхнул он меня за указательный палец. – Ну-с, она вышла к нему-с. Он ей ничего, она ему больше того. Поговорили так с полчаса и разошлись. – Он потянулся, занеся руки за голову. – Чего-то хочется, а кого – не знаю... Ну... Поправляйся, братейка! Праздничный салют!

Тут выглянула из-за двери тётя Паша.

Митя кивнул и ей.

– До свидания и вам. Поправляйтесь!

– Спасибо, Митрюша. Мы вона ка-ак стараемся... ка-ак стараемся... А нас не поправляют... Всё лежу холодую...<sup>179</sup>

Она проводила Митю трудно ласковым взглядом, подсела

---

<sup>179</sup> **Холодовать** – отдыхать в холодке, бездельничать.



ко мне в ноги.

– Где ж подправишься? Днями иголку в вене забыли! Хотько не ножницы... Капельницу вынула. Зажимай руку! А иголка где? Где иголка? Смотрит, в вене иголка. Оё, тута насмотришься цирку!.. Тебя надолго сюда загнали?

– Сорок пять дней недвижно лежать в гипсе.

– Отдохнёшь хоть... от этих огородов, от этого проклятухи чая... Маленький ты любил говорить: «Мне нравится быстро расти. Вырасту, а потом буду отдыхать». Вот и отдыхай. Да где... Я к тебе, знашь, с делом мажусь. Всё одно ж будешь без надобности в потолок глядеть... Напиши.

– Про что?

– Я и не знаю, какими словами складней сложить... На той неделе забегал наведать Ванька Половинкин. Я к нему. Ты везде ездишь. Вон дажно в Тифлис заскочил, мандарины возил, что ли... Везде бываешь, всё знаешь... Я что попрошу... И выкладываю всю эту мельницу... Такая пережуй ва... Он мне сразу отмашку. Ворона, говорит, на крыше вниверситета тоже была, да вороной и полетела. Ты давай, говорит, чалься... И назвал тебя. Я, поёт, везде бываю, зато он везде по газетам пишет. Каждый косит своё сенцо... Иди к этому к писарёнку!.. Я, хвения, и пошевели понималкой, да как же я к тебе из этого из скорбного дома пойду? Вот... А Господь и сряди тебя ко мне под дверь... Ванька, можь, посмеялся... А я, серушка, пришла... Встреваю с перезвоном... Со мнойкой лежит в палате одна из Мелекедур. К ней ходит

старушка каличка. С палочкой... Жена её покойного брата. Так эту каличку соседка заела... С пензии столкнула... Второй Гитлерюга! Напиши фу... фы... фи... филью... Филью или филь... Ну, это такое, когда читают и рыгочут...

– Фельетон?

– А как хочешь обдразни. Ты только пропиши... Кре-е-епонько на тебя надеемся... К кому ж ей ещё поклониться? Я сама или через свою знакомиху искажу этой каличке, она к тебе и набегить со своим горем...

Тётя Паша задышала часто, одышливо.

Была она вся пухлая, остекленелая.

– Горит... Сослабла вся... Силы во мне осталось – сопли в кулаке не удержишь... Что же во мне всеино горит?.. Что же?.. Что?..

Она еле встала, побрела к себе в палату и всё стонала:

– Горит... Горит... Горит...

Ночью она умерла, и треснутое посередке зеркало в прихожей задёрнули чёрным.

*Когда семь богатырей разбудили Спящую Красавицу и признались ей в любви, она сказала, что в гробу все это видела.*

*К. Мелихан*

Дней через десять ко мне пришла старуха.

Степенно уложила свою палку на моей тумбочке.

– Отдохни, егоза, – велела она палке. – Поди, не однем пóтом умылась, покеички довела эту квашню, – показала на себя, – из самых из Мелекедур? Ума-а-ялась... Отдыхай... – И повернулась ко мне. – А тебе, хворобушек, отдых кончил-си. Я с глушинкой, сказывай мне громкотно, ядрёно...

Старуха поискала глазами на что сесть. Нигде никакого стула не было.

– Я... – она задрала чуть матрас, по-птичьи прилепилась в ногах на сетку, – я от Пашуни от Клыкковой. Царствие небесное... Святая душа... У самой три соколика мал маламень, хозяйин-заливошка. Не просыхает... Было об ком головушку сушить. А отходила, об чужой билась беде. За меня хлопотала перед тобой...

Она шатнулась верхом ко мне, срезала голос, заговорила тише, с секретом:

– Бог плохой, смерётушки мне не даё... Ка-ак просила прибрать меня!?... Какая моя жизнь? Сердцем тронулась,

сильновато прибаливае... Ни счастья ни доли... Одна одинокою осталась. Без копыя... Уже этому два... Два-а года! Прокинешься и не знаешь, чем до вечера доехать. Уж за праздник великий примереть. А он отсадил от праздника. Побрезговал. А за что? Есть грех... До того зажилась на белом свете, что забыла... отошло из памяти родителево лицо. Правда, не навсегдашко... Так, по временам стала забывать родителя в лицо. Разве это не грех? Не за это ли и Боженька отсаживает от себя?.. Пашеньку выбрал...

Ещё долго старуха не отходила от тёти Паши.

Наконец прижалась к своим делам.

– Я как собака. Есть что сказать, но каковски сказать? Не знаю. Никак не подступлюсь.

– А вы начните сначала. И всё по порядку.

– А! У нас один непорядок... Такую похабелю скрутили... Ну да... Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это в писании. А у нас сперва было глупство. Соседский петушака раскидал мне лукову грядку. Эка невидальщина! Безо всякой злости кинула дубец, отогнать восхотела. Отогнала... На месте прибила! В жизнь ни во что не попадала. Купырь мой болотный, бывало, забудет перед обедом перекреститься, заедет ложкой в борщ. Сижусь с благоверником ря-до-ма, хочу по лобешнику подучить и то промажу. А тут... Я перед соседонькой на колени. Клавушка свет наш Ягоровна! Прости! И в мыслях не крутилось! Выбирай взаменки любых два моих петушины, только сердце не дёржи...

Да куда там! Засупонилаась Клавушка наша. Пчернела. А ба-  
бёшка балованная, с дурцой зародилась. С чем зародилась,  
с тем и живёт... Ага... Скрозь заносится, мордарий к небу  
дерёт. Знамо, заменку отпихнула, пошла чертей молотить.  
Клавуня секретарка в сельсовете. Власть! Бровью водит, лок-  
тем пишет... Откуда что берётся! Вор приходит украсть да  
погубить. А эта не приходила. Не приходя погубила. Затка-  
ла, как паук муху. Сляпала бумажку, что я не была в ижди-  
венцах у мужа, сбегала в собесий и меня сдёрнули с пензии.

– Вы с мужем расписаны?

– То-то и да, что нет. Ой... Совсема зарапортовалась. В  
рописи мы, в рописи! Неотлучная я бокогрейка. Всю жиз-  
нёнку свою изжила с загсовой запиской. Да что та записка? В  
могиле в головы подложишь? Мягче будет? Не будет... Он и  
из земли подтвердит, что мы жили вместях. Что он имел ам-  
путацию руки и тяжёлую инвалидность. Что я двадцать пять  
годов не от... и на секунд не отбегала от постели. Си-ильно  
он недужился... Как помер, по-людски дали пензию. А после  
петуха собесий сверху заслал эту донесению...

Старуха выдернула из узла один листок.

Развернула, по слогам прочитала:

– «Выплата пенсии прекращена правильно, поскольку Ме-  
лекедурский сельсовет ранее выданную справку об ижди-  
вении отозвал». Леший-красноплеший их правил! Кто же  
мне подможет? Сам? Бы-ыстро сгорел... Закрылся от меня  
крышкой и во-он каким толстым холмом земли... Он в спо-

кое, в тепле... без нервов анафемец лежит... А ты бейся, как знаешь. Я в один суд, я в другой суд... Повыше, поглавней... Никак до правдоньки не проломлюсь. Два лета уже этой катавашке. И крутят, и крутят эти нерводралы мне головоньку на старости... Истории много, по-олный чувал...

Она развязала тугой платок, но от её бумаг стало как-то темней в моём коридоре.

Я и раз, я и два перечитал всю горку в платке и растерялся. Ни собес, ни суды не разберутся. А я, девятиклашка, всех рассуди? Или я бог правосудия?

Может, лучше не лезть в эту пенсионную эпопею? Полёживай себе да подсматривай на халтай в дырочку все кина. Тогда чем жить этой старухе?

И собес, и суды уютно сидели на одном сучке, на справке, что «по хозяйственным книгам сельсовета Оськина Е.Ф. на иждивении своего мужа, Оськина И.Е., не значится». Сучок-то липовый! Ну не будь старуха иждивенкой, разве б сельсовет подпустил её к пенсии? А после петушиной заварушки секретарша из мести и подсунь этот пасквиль. Это ж любому лесному пеньку ясно!

Мимо метеором прожгла по коридору нянечка, на бегу отпахивала двери все вподряд.

– Ходячие-бродячие!.. Скакучие-мотучие!.. Кривые и ровные!.. Хватя торговать мордой!<sup>180</sup> Все в клуб! В клуб, лодыряки! Поразлеглись, как на пляжу! А того нету в поня-

---

<sup>180</sup> **Торговать мордой** – сидеть без дела.

тии – приехал депутатко из самой из Москвищи! Слуга! Поет! Устамши! Все на встречу! А то с им одни пустые стулки повстрелись!.. Все!..

Больничка задвигалась, засуетилась, закружилась.

Кому неохота глянуть на живого столичанского поэта?

Поэт поэтом, но надо и отрабатывать должок.

Клуб и больницу тайный повязал уговор.

На всякие там лекции, на встречи больница обязана выставлять весь наличествующий состав гостю. Рабочих с плантации не сгонишь. До ночи гнутся на чаю. Сбегутся детишки, сползутся калеки, шаткое старичьё. Глянешь – в зале три маленьких сестры да дядя Ваня, да три кривых мушкетёра, да два отставных капитана... Не густо.

И вот тут двигают тяжёлую артиллерию. Больных. Всё ж равно без дела маются-валяются. Так пускай хоть массовости подбавят. И не бесплатно. За мучения мученические – ну кому лекции про лихостные победы на пути к коммунизму в радость? – больных без билетов пускали на фильмы. Сегодня «Спящая красавица».

Народ тоскливо поскрёбся в клуб.

– А ты, холодовник, чего вылёживаешь? – нарочито строго выпел мне хмурый мужичара, круглый, как носорог. – Айдаюшки красавицу будить!

– Этой, – нянечка безнадёжно махнула на меня, – отбудился на сорок пять дён. Ну отхватил пирожка! Пластом, на спине вылежи таку чуму! Так что нехай лежит. А вот чего эта

старая коряга сидит? – усталилась в мою гостыюшку. И ей: – Особливой присоглашённости ждёшь? Раз имеешь корысть от больницы, иди сама за малого в клуб. Ты да палка, сразу двоя. Народище! Пускай и палка на московца поглядит. Повяжи на неё свою косынку, уставь рядом. За девку сойдё.

– Не до простосмотрин нам. У меня свои песни.

– Знаю наизусть все твои песни. Я те чё спою? Бросай сильничать малого. Давай у клуб. Послухай умных людей. Оглядишься да только вж-ж-жик к депутатику и быстро-быстро смолоти свою копёшку. Пока тебя оттащат, ты горе и вылей. Можь, так скорей выскочит толк?

Затея легла бабке к сердцу. Она засобиралась.

Повеселела и нянечка.

– Вишь... И тебе полезность, и нам... Иди... Со своей сладкой подружей палкой. Главно, не прохлопай ноздрями депутатца...

Я пристыл к щёлке.

Народцу слилось реденько.

В первых двух рядах сидели помогающие. Учащиеся городского педучилища. На чаю малая горстка с них проку, сослали вот на встречу.

Фамилию депутата-поэта я не разобрал. Какая-то не то пресмыкающаяся, не то грызунья. Не то Бобров, не то Хорьков, не то Сурков...

– Я благодарю своих избирателей, – пританцовывая за кулачковой трибункой, сыто затоковал поэт, – что они замети-



ли меня из двухсот двадцати миллионов и первыми назвали мою кандидатуру.

Как-то на встрече одна девушка пожелала мне жить четырёхста лет. Избавь! Жить столько на земле скучно.

Но в ближайшее двадцатилетие не хочется умирать. Хочу посмотреть своими глазами, какой он, коммунизм. Ибо наши люди вложили в нашу копилку – советский строй – очень много недолюбленного, недоеденного, недомечтавшегося. Хочу почувствовать, во что всё это вложено.

Живи человек хоть сотни лет дикарём в лесу, не заметит, что лес меняется. Но разве мы не видим того, что до революции, скажем, в Чувашии было восемнадцать человек с высшим образованием, а сейчас тринадцать тысяч шестьсот с высшим и двадцать четыре тысячи триста со специальным средним. Вот, товарищи, какой незаметно вырос лес вокруг нас. Оценивайте явления в историческом развитии и вы никогда не ошибётесь.

«Может быть, – подумал я. – Но при чём тут Чувашия? Вот так загибон! Мы ж то совсем в другой земле! Или забыли говорухе сказать, куда он прилетел?»

Сон начинал править залом, и ему было без разницы, что там шумело со сцены.

– Встречаться со студентами, – благодарная удлинённая улыбка депутата первым рядам, – приятно вдвойне. Во-первых, вы любите стихи. Во-вторых, вы наши товарищи по профессии. Вы не можете без нас, а мы без вас. В ваших руках

судьба литературы. Вы, дорогие мои, даёте ей путёвку в человеческие сердца!

Вы печка, от которой начинают танцевать будущие строители коммунизма. Нужно, чтобы они взяли нефальшивый ритм. И это ваше священное дело. Ребёнок семи лет ещё не существо, а вещество. Это воск, из которого можно вылепить и Венеру Милосскую, и олуха. Не забывайте, что учитель не профессия, а призвание. Вы будете учить строителей коммунизма. И не забывайте, что с грязью прошлого на подошвах не переступить порога коммунизма. Скребок критики очищайте наши ряды от всякой погани и пропагандой красивого утверждайте новое. И тут-то надо читать Программу партии не только холодной головой, но и горячим сердцем как закон своей жизни.

В двадцатилетие мы, пишущие, должны создать образы тех героев, по которым бы поколение делало жизнь. Поэтому писатели должны жить в гуще народа, сердце к сердцу с читателем и героем. Правда, Толстому и Пушкину было легче. Их герои жили в Москве и Петербурге, а наши – на Полярной станции номер десять, в Мирном... Далековато от столицы. И всё-таки я верю, что наша литература в двадцатилетие близко подойдёт к народу. Тогда она не будет приходить к жизни с беленьким блокнотиком, не будет её интервьюировать...

Поэтишко ещё долго тархтел, как пустая бочка на укло-

нистой ухабистой шоссейке, с волчьим подвывом читал стихи.

И когда он, разохотясь, куражливо входил в пике, густо нагонял вою, страсти в голос, зал ужимался в спинки стульев, клонился в страхе вбок, а слабонервные и вовсе закрывались от него руками.

– Дозвольте вопрос из публики! – крикнул наш стакашка, когда поэт уже вволю навылся.

– Кароши вопрос подавай, да! – велела папаха, та самая папаха, что была минувшим летом с лекциями у нас на пятом районе по случаю неожиданного, срочного приближения коммунизма.

Я внимательней пригляделся к папахе.

Ба! Старый знакомец!

Это был дорогой папаша Арро, пламенный агитатор из райкома и по совместительству директор моей городской школы, куда я стал ходить с прошлой осени.

Давно не виделись.

Интересно, что бы он сказал, узнай, что сейчас я наблюдаю за ним в щёлку?

Папаша Арро приподнял указательный палец, вельможно кивнул старику:

– Ка-ро-ши!

Что означало: без глупостей!

– Я маненько интерес к стихам держу. Вопросняк тако-вецкий... Голову продолбил, ответа ниоткуда не вытащу. У

Жуковского в стихе «Лалла Рук» есть строчки:

Ах! не с нами обитает  
Гений чистой красоты;  
Лишь порой он навещает  
Нас с небесной высоты.

Я читал, Жуковский это написал вроде, когда увидел картину «Сикстинская мадонна». Знаете, там... сцена на небесах... В другом стихе Жуковский уже так составил слова:

Цветы мечты уединенной  
И жизни лучшие цветы, –  
Кладу на твой алтарь священный,  
О Гений чистой красоты!

Слетели годы.

В Тригорском Пушкин встретил старую знакомицу Анну Керн. Кончилось это стихами:

Я помню чудное мгновенье:  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.

Вот я и набегаю на вопрос. «Гений чистой красоты» – это плагиат? Пушкин плагиатор? Этого не может быть. Помогите мне угнездиться в правоте моей линии.

По сцене прошелестел озноб ропота.

Зал ничего не понял, чего же хотел стакашка, и просто-душно паялился на поэта. Хоть наглядеться в кои века! Во всю жизнь впервые видим живого московского поэта!

– Вы правы, дорогой товарищ! – пристукнул поэт ладошкой по трибунке. – Не может Пушкин быть плагиатором. Зачем гению хватать какую-то чужую строчку? Своих тома! Пушкин как гений не мог стоять на месте, смело пошёл дальше – вглубь, а также, что естественно, и вширь. Творчески осмыслил, творчески углубил тему чистоты. Подумаешь, у Жуковского какое-то хилое, мёртвое *«О Гений чистой красоты!»*. Да чего стóбит его *О?*.. А ничего не стóбит!. Круглый ноль! Пушкин прозорливо предвидел это и из принципиальных высоких творческих побуждений заменил его убогое *О* на своё принципиальное, ёмкое, высокохудожественное, солнце – и сердцевейное *КАК*. И строка зазвучала гениально! – вдохновенно саданул поэт сразу обеими кулаками по трибунке, и трибунка, казалось, красно сморщилась, присела и при этом в ней что-то от старости хрустнуло.

Зал одурело захлопал. Хлопал и стакашик.

Под шлепки угрюмая папаха сошла со сцены, подседа к старику.

Стакашка сидел вприлип к стене прямо напротив меня, лишь по ту сторону фанеры. Я слышал их разговор.

– Слюши, кацо, я какой разреши вопрос? Ка-ро-ши! А ти какой принесла?

– Какой наболел. Из сердца вынул.

Папаха погрозила пальцем ему перед самым носом:

– Твои счастье, чито ти спасла мине.

Стакашка напряг лицо.

– А когда ж это, милок, я спасал тебя? Где?

– А на лекци. Про врэд миаса.

– А-а!.. Мясо! Было! Было!!

– Ти спасла мине, я спасла тебе... А то б не посмотрили на твои рука на бинт. Один минут пэрэпрофилировали б диагноз, и поехала б ти на дурдомэ. Это твои голова понимает нэ можэт. А мои можэт...

Папаха ещё что-то говорила, я не разобрал. Потом сунула стакашке какой-то газетный клочок и на цыпоньках покраслась назад к сцене.

Моя старуха еле дождалась, когда поэт утихомирился, кончил пугать стихами, и первая ринулась к нему на сцену.

– Куд-ды-ы? – коршуняче раскинул на порожках руки молодой раскормленный пузогрей при шляпе. – Низзя!

– Нельзяшка! Да ты что? К депутатцу низзя? К службе к своему?

– Мамаша! – подскочила тут папаха. – Вибираи виражэния!

– Так уже выбрали до меня. Вон чего написано? – ткнула бабуня пальцем в плакат на стене.

Депутат-слуга народа

– Мало ли чито напишут... – засипела папаха.

Тогда бабуся с другого забежала боку:

– Депутатий же... А этот в шляпе... Чем в шляпе, тем нахальной! Не допускает... Ну чего шлифовать мозги? Депутатец же сам только жалобился, что писательня всё никак не подойдёт вблизи к народу. И ежели сам народко навстречь бежить, тож низзя?

– Можно, но не нужно, – сыто советовала на подходе беременная шляпа. – Успокойся, сделай личико попроще... Ну, чего за каждое *образное* слово крючком цепляться? Чего бежать? Позовут, тогда и беги на здоровье. А сейчас, бабуль, будь умничкой, без шума удались... Ну, срыгни в туман... Пожалуйста.

– С чего рыгать-то? Я голодная... Сынок! Я с бедой! Я уже два года голодная шатаюсь. Эта вот, – выставила палку, – исть не просит, а я не могу. Что родня, что соседи подадут, то и моё.

– Это клевета. Несёте отборную чепуху. Да мы одной ногой уже ж в коммунизме! – гремел номенклатурный сырник, обмахиваясь шляпой. Папаша Арро заискивающе ему кивал. – Нет у нас социальной почвы для голода! И не может быть! Не надо, мамаша, гнать порожняк!<sup>181</sup>

И как бы в подтверждение своих слов шляпа сановито одёрнула полы холодно-стального наблещённого костюма на бочковатом брюхе.

Затем приказный крючок вскинул руку, щёлкнул дутыми

---

<sup>181</sup> **Гнать порожняк** – болтать попусту.

пальцами.

Бабка увидела глаза в глаза депутата, было кинулась к нему, но тот увёртливо отвернулся и перед нею будто из пола выставило милиционера.

– Гражданка, пройдёмте. На пятнадцать суток вы уже наработали. Из-за вас помощник депутата может схватить строгачевского!

Стальные пальцы больно сжали ей локоть, она сморщилась от близких слёз.

Мимо важно прошествовал шароватый сияющий депутат-слуга; за ним торопливо, вприскочку, прошмыгнула вся его чинная чёрная свита, и две чёрные медвежеватые «Волги» умчали их в сторону города.

Милиционер отпустил бабкину руку, как только «Волги» зверовато вкружили в поворот.

Но бабка не уходила.

– Не, касатик, ты чего сулил? Пятнадцать суток? Так подавай сюда пятнадцатку мою законницу. Забирай в сыроежкин дом!..<sup>182</sup> Ну, чего не забираешь?.. Или ты стукнутый? Чем я хуже других, кого ваши забирают? Может, ты брезгуешь мной? А ты подломи себя, не побрезгуй... Я хотенько у вас поем...

– Только не перекушай. Для тебя специально поваров из Парижу выпляшем... А пока парижики приедут, погуляй.

Милиционер подержал на ней медленные печальные глаза

---

<sup>182</sup> Сыроежкин дом – отделение милиции.



и виновато побрёл прочь.

А тем часом у нас ужинали.

Спешили.

Между поэтом и кинцом перерыв двадцать минут. И «Спящая красавица» до самого отбоя.

Я дохлопывал остатки, когда снова появилась старуха.

– Я, сынок, проститься призашла.

Мне было совестно при ней жевать.

Я опустил ложку в тарелку. Притих.

Как неловко всё повернулось. Приди она раньше, можно б и поделиться. А сейчас чем делиться?

– Вот и хорошо, что забежала, – нянечка весело взглянула на её палку, всю ободранную, и поставила старухе полную, с горой, миску макарон. – Поточи зубки на дорожку. И домой хлебца дам... Ну что, божий дар Фёдоровна, слуги не приимают господ? У-ху-ху-у... Закормили хренюков слуг, пушкой до них не добьёшься. Слуга на чёрной «Волге»... Что-то ни один слуга не приезжал к нам на «Жопорожце»... В «Жопорожец» же и один ихнейский шлюз<sup>183</sup> не втолкать... Служка на чёрной «Волге» усвистал в городские рая, а господня корочки под окнами Христа возради проси...

За фанерной стеной припадошно голосил Большой театр.

Крутили «Иоланту» вместо обещанной «Спящей красавицы». Говорят, не завезли «Красавицу». Разоспалась. Постес-

---

<sup>183</sup> Шлюз – задница.

нялись будить.

Ну, пускай поспит...

Бабушка ела, и слёзы лились в макароны.

Макароны дымились то ли с печного тепла, то ли от слёз.

*Не вступай в спор с литературным карликом.  
Поневоле ведь будет бить ниже пояса.  
В. Брудзинский*

Одноликие душные больничные дни скрипели уныло, как забытая Богом арба в распалённой степи.

Мне не разрешали вставать. Не разрешали даже лечь на бок. На спине, на одной спине недвижимо. Сорок пять дней!

Боялись пролежней, несколько раз отирали спину спиртом. Но тошней всего подпекал свербёж под гипсом. Хлыстиком я залезал под белую броню, до зуда никогда не доезжал и разготов был вспрыгнуть и пробежаться по стенке.

Последние бубонные деньки я еле перетёр.

Наконец-то конец!

Прибежал Митич, привычно подставился, и мы поскакали на рейсовый городской автобус.

Хирург развалил гипс, сошвырнул его в бак.

Я вмельк глянул на ногу и меня понесло в обморок.

Нашатырь открыл мне глаза.

– Что это ты, герой кверху дырой, такой нежный? – выпел доктор. – Было б с чего сходить с орбиты.

Круглое крупное лицо пылало заревом.

– Эй ты, шлёп-нога! Мне б твои хлопоты... Наш брат хирург живёт всего пятьдесят лет. Вечная мобилизация. По-

лостные операции изо дня в день. И как-то не позоывает в обмороки. А тут... Ну, вошек целый зверосовхоз развёл под гипсом. Ну, малость погрызли... Не без того. Вши – весь домашний скот нашего пролетария. Так теперь у тебя с нами полный разводшко. Нога как нога, высший сорт. Чем не нравится? Какие претензии к доблестной, к самой передовой в мире нашей медицине?

Нога страшная. Я боюсь на неё смотреть.

Вздвогнул – красно-синяя кожа шатнулась, словно плохо застывший холодец. Местами лохмотья кожи закурчавились, как на березе. Потянул – снимается, точно мундир с картошки.

– Шевельни пальцами.

Я подвигал.

– От-ли-чич-но! Всё пучком!<sup>184</sup> Первосортная ножулька!

– С-спа... с-си... бо... – как-то растерянно прошептал я.

– Спасибо? Всего-то?.. Хо! Спасибо не буль-буль!

Он насмешливо посмотрел на меня и провёл пятернёй по лицу с верха до низу:

– Выкушал!.. До состояния нестояния!

На что он намекает? Сунуть ему в лапу на пузырьрёк?

Я покраснел. Ничего другого я не мог.

– Ну! – вздохнул хирург. – Раз целоваться<sup>185</sup> некогда, то и не будем. Давай бегом со стола прямо на свидание! Обжи-

---

<sup>184</sup> **Всё пучком** – превосходно.

<sup>185</sup> **Целоваться** (здесь) – распивать *поцелуй* – смесь красного вина с водкой.

малочку уже завёл в хозяйстве?

Я ужася. Попробовал согнуть ногу.

– До... доктор... А ч-чего... он-на... н-не гнётся?..

– Чересчур гордая! Потому и не гнётся. От народ! Полный обалдемон! Дай ему мёд да дай и ложку самую большую! Ты радуйся, что красавицу ногу сберегли!

Но радость как-то не накатывала.

– А как же?.. В прошлый раз вы обещали... Про футбол...

– Будет тебе футбол. Будет... Но не всё кучей... – пусто проямлил хирург и быстро пошёл из кабинета.

Митя со страхом глянул на мою бедную ногу и трудно перевёл обиженные и злые глаза на хирурга в дверях:

– Что утворил с ногой этот мудорез? Ну не гадство, якорь тебя?!

Митик угрюмо присел.

Я сполз со стола братычу на плечи.

Мы молча дотащилась до угла Ленинской площади, молча ждали попутный автобус, молча ехали, молча расстались уже в своей совхозной больничке. Ну что было трясти языки? Не гнётся нога – нет ноги.

Неужели я больше не побегу? Не выйду играть в мяч? И какая Танечка станет водиться с хромуном?

Нет, нет! Должна гнуться!

Обязана!

Там, при городском пижонистом молодом хирурге, может, она стеснялась? А сейчас чужих рядом нет. Кого стесняться?

Начнём всё сначала.

Пошевелим пальцами.

О! Живые. Двигаются!

Потрогаем пяточкой прут в спинке кровати. Прут прохладный. Значит, нога живая, раз чувствует тепло-холод.

А живая, так ты уж, пожалуйста, гнишь.

Дружись...

Я уважительно потянул её под себя – боль обожгла, осадила меня.

«Не сгибается», – пожаловался я самому себе.

От страха всё выстыло во мне. Вдобавок будто кто упарил обухом по голове, радужные круги плеснуло перед глазами.

Я зарылся лицом под подушку и заплакал.

Час был вечерний.

Кто унырнул в кинцо, кто гулял под окнами по косогору и некому было прилипнуть с расспросами.

Под подушкой я так и уснул.

На первом свете ко мне подскрёбся сияющий стакашка-зацепа.

– У меня, – доложил, – сегодня закрывается отпуск. Выписывают нах хаузе<sup>186</sup>. Один рыпок<sup>187</sup> – и я дома!.. Постой, постой... А ты чего киснешь в грусти? Как выпал из саней...

---

<sup>186</sup> **Наххаузе** (нем. **nach Hause**) – домой.

<sup>187</sup> **Рыпок** – рывок.

Смотреть на потолок и грустить... Вот такого добра не надо. Это ж страшнее пустого стакана! Слушай сюда...

Он подбоченился, тихо запел:

– Человека водка вяжет,  
Он напьётся и спать ляжет.

Я вызывающе отвернулся к стенке.

– Понял, понял! Меняю пластинку! Ты знаешь, как спастись от блошек?.. Слушай. По жизни пригодится... Съешь пять селёдок без хлеба, без воды. И беги в воду. Блошки наедятся твоей солонины, кинутся с тебя в воду пить. А ты поворачивайся и быстро-быстро убегай от них.

– Да идите вы! – спустил я злость сквозь зубы. – Издеваться? Да? Мне только и драпать на костылях от ваших блох!

– Прошу пардонику-с, – и старик, не поворачиваясь, в поклонах пошёл от меня пятками наперёд. – Удаляюсь... Удаляюсь в кабинет задумчивости... В сортирий... Прощальный визит... Прощальная гастроль...

Долго ли, коротко ли я лежал – крик:

– Пти-и-ички!.. Завтрикать!.. За-а-автрикать, пти-ички!..

Тётя Галя летала с тарелками из палаты в палату.

– Птичка, ты уже съела?

Через минуту:

– Птичка, дай я тебе компоту капну.

Мы ей не люди. Птички.

Шатнула моё плечо.

– Птичка, клюй! – с пристуком поставила тарелку на тумбочку и пропала.

К еде я не притронулся.

Нагрязнул обход.

Чочиа подсел на койку, положил руку мне на грудь.

Рука была бледная, перевитая синими верёвочками жил.

И холодная.

Лёгкий озноб качнул меня.

Было такое чувство, будто он боялся, что я убегу от того, что он скажет, и на всякий случай предусмотрительно положил руку на грудь. Теперь-то, блиныч, никуда не улизнёшь!

Сердце моё запрыгало зайцем.

А ну и этот бухни, что не станет нога сгибаться? Если два врача на одно споют – и верно не станет!

Я боялся приговора, и у меня отвалило, спихнуло с души гору, когда Чочиа спросил, чего я, горящая душа, такой надутый.

Любопытство дёрнуло меня спросить:

– Почему горящая?

– Вы, молодой человек, дважды горели. Уже не помните? Первый раз года в три. Мать мыла пол. Вы подсвечивали ей лампой, и на вас пыхнула косынка. Мать ударила по горячей косынке, – постучал мне в правый висок, – и навсегда осталась глянцева́я отметина. В другой раз вы, как говорила ваша



мать, борюкались с козлятами. То есть бодались. Один с целой стайкой! В то же время другая стайка по очереди скакала у вас на спине. Устроила на спине танцплощадку. Долго длились эти танцы-банцы. Не понимаю, как можно так увлечься и не заметить, как выкатился из раскалёнки чугунок уголёк, как догорела штанина до паха. Вас снова, достопочтенный, пришлось тушить матери во время стирки. Она голой рукой сбивала пламя. На правой ноге был хор-роший ожог. И после обоих пожариков мы встречались с вами. Но вот, – он гармошкой столкнул одеялишко к стороне, осторожно ощупал прохладными пальцами колено, – но вот привезли подарочек покаверзней. Что поделаешь? Футбол тоже требует жертв.

Я дрогнул, ужался.

– Ка... ких жертв? – пискнул я.

– Разных. В данном случае минимальных. Можно сказать, всё обошлось. Не исключено, какая-нибудь ино*странная* команда ещё купит вас, восходящую звезду, за миллионики, за которые школьному учителю надо беспрерывно работать пятьсот шестьдесят лет. Цена футбольного аса!

Раз повело Чочика к шуточкам – всё терпимо!

Я смелей глянул ему в лицо.

– Всё нормально, – со скользким оптимизмом подтвердил он. – Поделаем массаж и вы пойдёте героем.

– А побегу? Нога будет гнуться?

– Это было бы уместней спросить в городе. Город пропускал вас через рентген, вправлял вывих, делал контрольный

снимок. Город гипсовал. Я же... Как свидетельствует древняя история, «инки при переломах привязывали камень к руке, и всё само выпрямлялось и заживало». Здесь же... Но считайте, вам сильно улыбнулось счастье. Бывает гораздо хуже. Всего-то печали... Ходить с прямой ногой. Как Байрон!.. Или как Грушницкий. Или как там... Инсаров. Чувствуете, какое изысканное общество?

– Калек! – пальнул я.

– Зачем же? – мягко возразил он и серьёзно добавил: – Приличнейшее светское общество!

«Не надо песен, доктор!» – зло крикнул я в мыслях.

Но эти слова пробежали через ситечко в голове и вышли к Чоче переодетые, прилизанные, вежливые, хотя восе и не без шальной сердитости:

– Доктор! Доктор!.. Мне пало в голову... А почему... А почему не сделать так?.. Сломайте! Пожалуйста! Сломайте и снова сложите. По правилу! Чтоб потом гнулась... Что вам сто́ит? Сломайте!..

Чочиа сердито вскочил с койки, туго запахнул халат.

– Не подвешивайте мне проблему. Она мне совершенно не нужна! Врач – лечит. Вы забыли эту истину?

– А на что мне, – скосил я глаза на ногу, – таскать эту истину, как бревно?

– Если вам очень желается снова сломать, обращайтесь в какой-нибудь хулигантрест. Никаких вопросов!

– Но вы бы сделали это квалифицированной. Сломали б

тютелька в тютельку. Так, чтоб сложить лучшим образом.

Чочиа брезгливо замахал на меня обеими руками и торопливо пошёл прочь.

– Развёл я здесь дурацкий вседозволянс... – бормотал он под себя. – Несёт всякую белиберду...

К чёрту! Бежать!! Бежать!!!

Что я тут вылежу? Что и правая раздумает гнуться?

Бежать! Бежать!

Я сорвался с койки, встал.

Замутилось всё перед глазами, поплыло, и я свалился на койку.

Надо же. Ослаб от вечной лёжки, как доходяга цышлок. И до двери своим ходом не доплыву?

Это меняло дело.

И потом...

Ну, сбегу домой, благополучно сломаю. Везти-то всё равно опять сюда. Зачем эти прохладнения туда-сюда? Разве тут не найдётся охотников своротить ногу? И меньшими обойдусь потерями.

Мимо пробегал стакашка. Чем не костолом?

Я заискивающе заулыбался.

Он сурово наклонился. Отбубнил:

– Гад Чече! Не пускает до хаты. Я сам не свой. Вчера посулил, а сегодня отмашку. Хренов лекарёк!.. А кр-руто ты ему натёр носяру перцем!

И юркнул в палату наискосок. Я и не успел заварить с ним

разговор.

– Растуды твои качели! – уже из распахнутой палаты гневался стакашкин басок. – Доложили: сбегали в мавзолей,<sup>188</sup> Вера Михална<sup>189</sup> уже пожаловали-с! Дома стол готовят, а я на выпиванто не явись! Прогул запишут! Это надо? Я в жизни ни одного прогула не имел. Дисциплину я уважаю.

В ответ мужик под капельницей насторожённо пожаловался ему:

– Что-то, едрёна Матрёна, сердце бьётся.

– А не будет биться, на погост отнесут.

– Иди ты!

– У тебя там родственников нету? Больше тебя в домино брать играть не будем. Поиграл вчера – сегодня ты уже почти готовченко.<sup>190</sup> Под капельницу лёг! Будем брать только болельщиком.

– Ну да. Меня, – стрельнул на капельницу, – в космос готовят! Только... На одну вспрыгну – без вопросов. На вторую – одышка звоночек подаёт! А на третью и нет уже пару моего...

– Отпетый космонавт! А всё тут со стонами морочишь врачу голову... Я ж спротни тебя совсе-ем зеленец! А не хватает твердыни у мятого петушка и на одну курочку...

– Ты-то про какой интерес молотишь?

---

<sup>188</sup> **Мавзолей** – винный магазин.

<sup>189</sup> **Вера Михайловна** – вермут.

<sup>190</sup> **Готовченко** – об умершем.

– А у мужиков один в жизни интерес. Бабец!

– Ишь ты, татаро-монголец, как высоко-о залетел!? А я-то толкую про ступенюшки... Ёперный театр! Охо-хо-хо... А туда же, в космонавты засобирался...

– Очень обязательно! Та душа не жива, что по лекарям пошла.

– Да брось ты!

– Хоть брось, хоть подыми.

– Да я буду жить сто лет. Как чай!

– Эк по нахалке хапанул, хрен в авоське!

– Никакого лишку. Какие мои лета? Выюнец! Вон в Древнем Риме до пяти десятков считали юнцами, а лише в пятьдесят мужиками. Извини, я только вхожу в мужескую силу.

– Ну если так, входи, входи... Только далеко не заходи.

– За восемьдесят иль за сто не зайду. А семь своих десятков вырву. Положено наукой, отдай.

– Это какая наука тебе чё подложила?

– Ну, научно доказано, что человек наш живёт семьдесят лет.

– А-а... Ну ты приплюснутый. Нашёл, елы-палы, кому верить! Да наша наука кроме подлянки чё может подложить?

– Тебя в гранд-отель<sup>191</sup> уметут и фамилию не спросят! Поттише на поворотах!

– Ну, лукавая служка. Она не говорит честно что есть. А говорит то, что барину надо. Что хошь *научно* оправдает в

---

<sup>191</sup> Гранд-отель – тюрьма.

задний след, чего он сдуру ни наколбась. Вот стало хреново с продуктами. Накинули цены. Временно. То есть навеки. Запела и наука твоя: сахар вреден, масло коровье вредно, мясо вредно, чай – «яд гремучей змеи». Всё вредно! Это чтоб ты поменьше лопал. А то будешь толще того палтуса в шляпе. Помнишь, поэта оберегал?

– Ну как не помнить? Была тогда и папаха, не только пайкóвая<sup>192</sup> шляпа. После твоего пушкинского вопроса под села папаха к тебе. Я был рядом, слышал, как она грозилась тебе дурдомом. Хотела диагноз перепрофилировать да в психушку воткнуть, но пожалела. Потому что ты ей чем-то раньше подмаслил. Чем?

– А со смеха подпел на лекции, что мясо вредно... Наука, твоя хвалёнка, выдала, что мясо вредно. Кто её *идеи* понесёт теперько в народ? Вот такие богогневные папахи и таскают... То ли агитатор, то ли пропагандистик, то ли инструкторишка из райкома... Мотался по сёлам, выступал с лекциями о вреде мяса. Везде над ним смеялись и выгоняли. А райком требует: неси свет научной мысли в затемнённые массы. Просвещай! Вот он приехал к нам в совхозий. Выслушали его, молчат. Я и вякни: да, мясо вредно. Лекторок и обрадуйся. Поддержка из народа! «Дорогои! Иди на сцена, скажи своими словами!» Я вышел и сказал, да, товарищи, мясо вредное. Такое вредное, такое вредное!.. Зарезали мы кабана, я и слопай за раз с кило. На зорьке вскочил у меня мой вставай,

---

<sup>192</sup> **Пайкóвый** – относящийся к элите.

проклятьем заклеимённый! То спал, спал падший ангел... А тут нате вам подарок из весёлой Африки! Трахометр! Эйфелева башня! Целый пик коммунизма! Он грубо поднял одеяло, сорвал его с ног, с боков. Я простыл и прихватил воспаление лёгких. Ну, разве после этого я скажу, что мясо полезно? Вре-едно! Очень вредно, товарищи!.. Оно и Чече чего на днях провешал? Товарищи, будем питать одной рыбой. В ней много фосфору!

– Неужели? – встрепенулся мужичок под капельницей. – Да на хрена мне его фосфор? Он мне нужен, как папе римскому значок ГТО. Мне мяса надо! Чтоб волосатый кукиш не только светился, но и колышком стоял! Царь-пушкой!

– Ишь, какой борзой стрекозёл! Под капельницей лежит, а все думушки его об палкинштрассе. Тоже мне выискался титан возрождения! Брось эти глупости, а то они тебя уронят. Забудь мясо, садись на овощи. Это папаха меня научил. Он стал мне тайным агентом. Всё подпитывает подпольной литературкой о вреде животной пищи... Понимаешь, мы вот тут смеёмся, а мне папаху жалко... Давненько я его знаю. Умный же мамонт! По-за собраниями, по-за трибуной – толковейший же человечича! Один на один калякаешь с ним – мужичара на ять! А как подошёл второй любитель-слушатель – враз меняется в лице, меняет разговор. Сразу кидается нести сахарную хренотень про коммунизм и дичь про вред мяса. Он уже агитатор, разъездной лекторий!

– А думаешь, делает это он от сладкой жизни? Это нам

с тобой нечего терять кроме пустых желудков. А ему е-есть что терять... Потому он везде и всегда помнит, *кто* он.

– Японский городской! И кто ж он? Да служка системы. Какую цидульку спустили ему сверху, ту песенку и будет на все лады выть эта поющая оглобля. Жаль, нету на нашу систему Везувия! Ведь от этой системы и вся дурь в державе. Ты думаешь, папаха это не понимает?

– Ещё ка-ак понимает! Но – скрывает! А брось скрывать – с директора слетит, с агитатора слетит. И куда прилетит? К пустому корытишку. А в день тричи надо почавкать. Да вкусней! Вот и задумаешься, и поведёшь себя диковато, как баба Яга в тылу врага... Система кормит. И толсто кормит... Уж лучше прикинуться валенком и нести в мир всю системную чужь, так зато будешь спокойно похрюкивать у полного корытца. Так, гляди, он на том и стоит?

– Не знаю, на чем уж он там стоит или лежит, а как-то вострел он меня у конторы, сунул эту вырезку газетную без начала, без конца. Обхохочешься!

Стакашка достал из заднего кармана брюк листочек и стал читать:

– *«Посоветовала бы ещё не пренебрегать чёрным хлебом, отрубями, гречневой и овсяной кашей, которые богаты витаминами группы В. А вот без мяса можно обходиться долго, даже всегда».* Это прям лично тебе указ. Вот что тебе институт питания советует... *«И когда меня спрашивают, придерживаюсь ли я сама советов, которые даю, отвечаю: да!*



*Уже лет пятнадцать питаюсь исключительно вегетарианской пищей. Не завтракаю». Так откажись ещё от обеда и ужина и проблема питания решена!.. Значит... «Не завтракаю. Некоторые считают, что это вредно, – я бы не сказала. Стараюсь меньше употреблять жидкости. Компот либо чай с мёдом пью через час-полтора после обеда. Это улучшает пищеварение и, отмечу, способствует снижению веса. Как я обхожусь без мяса? Спокойно. Есть масса заменителей животного белка: Фасоль, горох, сыр, брынза, яйца, творог, рыба...»* О! И она на рыбу съехала. Без мяса спокойна. А чего ей волноваться? Она не мужик, мясо её не колышет. Правильно я говорю?

Ответа не было.

Стакашка поднял лицо и увидел, что сосед под капельницей лежал с закрытыми глазами.

– Э! Неподъёмный колышек! Краснознамённый! Я сморил тебя своим чтивом? Чё молчишь? Или ты уже лапоточки откинул?

Стакашка дёрнул соседа за ногу, тот очнулся.

– Забаюкал своей газеткой... И приснилась мне давешняя встреча с поэтом. Я и спрости: а почему так точно названа дата начала коммунизма? Поэт показал пальцем в газету. Читай.

Я и читаю своими глазами:

*«С началом политики «большого скачка» и создания народных коммун в 1958 году в Китае началась критика со-*

*ветского опыта, и некоторые китайские руководители со злорадством говорили, что, дескать, СССР топчется на стадии социализма, а мы вырываемся вперёд и придём к коммунизму раньше. Был выдвинут такой лозунг:*

«Несколько лет упорного труда -.десять тысяч лет счастья!»

И тут соревнование. Кто быстрее? Китайцы не знали, за сколько лет смогут построить коммунизм, а мы – точно, конкретно. Вырвали мы победушку!

– Но и эта победулька далась непросто нам. Вспомни. Ленин обещал придавить нас коммунизмом в тридцатые – придавили голодом и репрессиями. Сталин за год до отхода уверял: «Постепенно, сами не замечая, мы будем въезжать в коммунизм». Сами не замечая, мы уже въехали туда, про что и страшно подумать... А вот насчёт... Это *постепенно* сколько может длиться? Год? Двадцать? Сорок?.. Никакой ясности. А вот Хрущик р-раз и хлоп на стол конкретный день начала коммунизма. Чего там тетериться?!

– Не разбуди ты меня, я ещё, может, и по коммунизму побегал бы...

– С капельницей?

– Да иди ты!

– Ре-езвый конёк. Не успел войти – дай ему побегать и поваляться в раю.

– Не в раю, а в коммунизме.

– А какая разница? Коммунизм как рай. Все об комму-

низме лопочут, но кто его видал? Сколь про рай поют? С Адама? Не растянется ли и песня про этот коммунизм на столько же?

– Как же ты, неверующий Фомка, докашлял до нашего дня? Как тебя не укоротили до сегодня на одну неверующую твою головушку?

– Тайна... Загадка века... Интересно, а там счастье тоже выстроено в каре? Кругом счастье, счастье, счастье, счастье, а в середине – пустота?

– Ты про что?

Стакашка молча подошёл к окну и кисло уставился в «четырёхугольный лозунг», что алел на окраине, на въезде в посёлок.

Вдоль дороги чернели по два телеграфных столба с обеих сторон. Чернели на равном расстоянии. Столбы обтянули поверху четырьмя лозунгами. Вернее, лозунг один. Въезжаешь в центр совхоза – лозунг перед глазами. Уезжаешь – тот же лозунг и с противоположной стороны. Тот же и с боков. Один боковой лозунг висел над яром. Кто из яра мог его видеть? Одни птицы? Или из самолёта кто? Но повесили и над яром. Так красивше. Со всех ветров один лозунг про коммунизм. Хоть слева, хоть справа, хоть туда, хоть сюда – один коммунизм. А влетишь в серединку между чёрными столбами – пусто. Изнанка полотнищ измарана проступающими буквами, размытыми дождями в кровавую грязь. Внутри между чёрными столбами пусто и грязно. А со стороны,

особенно издали глянуть, – впечатлительно, величественно. Красное лозунговое каре величаво, громоздко, великанисто растопырилось во все стороны, как гигантские чёрные щупальца спрута.

– Могут, мо-огут наши мазнуть краской по глазам, – вздохнул стакашек. – Кр-ры-ыс-сота-анища! Ловко придумали каторжанцы!

Выставился в окно и чинно читает лозунг над дорогой:

*– Партия торжественно провозглашает:  
нынешнее поколение советских людей будет жить  
при коммунизме!*

– Звучит! – докладывает стакашка. – Как гимн! Как клят-ва! Во вторничек первого январька 1980 года пожалуйста в коммунизм! Всё ясно до секунды. Всё как на ладонке. Обставили мы китаёзиков. Ну что у них за лозунг? «Несколько лет упорного труда...» Так сколько конкретно? Год, два, тыщу? Расплывчато. Плавают, как в тумане. Значит, сами ещё толком ничего не знают, но на всякий случай авансом обещают. Знай себе гремят крышкой... И что подозрительно? Обещанное счастье чётко ограничивают десятью тысячами лет. Как-то эта конкретика не внушает доверия. Что же, через десять тысяч лет какой отпетый коммунистический долгожитель опять закатывай рукава для блевотно-упорного труда? Ну кому захочется сниматься с корня райского счастья и через десять тысяч лет снова лезть в этот в самый упорный? Явная неувязочка. Что человек из грязи выскочил в князи –

это да. А чтоб из князей в грязь – этого не слыхано по земле... А наши молодчуги! У наших коммунизм – вечный! Секунда в секунду расписали всё как по нотам. Осталось сыграть.

– Кто же первый на спор вбежит в коммунизм? Мы или китаёшечки?

– Мы! У нас лозунг покрасивше. Чётче. Знаем, чего и когда конкретно хотим. Хоть в полночь разбуди и спроси – всё равно знаем! Значит, сквозь трудовые бои быстрее и прибежим. С большими ложками наперевес.

– Нехорошо тогда получится. Китаёшики могут обидеться. Говорят, они обидчивые.

– Голодные все обидчивые. По себе знаю. Тогда, наверно, по сверенным часам придём разом. Победит дружища!

– Да какая в хренах дружища? – засердился мужичок из-под капельницы.

– Ты опеть не веришь?

– Не верю. Потому как возню с коммунизмом заварили коммунаки... Страшные попздики! Ради своей идеищи они готовы ухайдокать полмира!

– Ты чего мелешь, попиленный?

– Правдуню. Этим партайгеноссе, которые выдают себя за величайших гуманистов, людская жизнь – тьфу! Даёшь всему миру богоборческие Советы! Да здравствует Мировой Союз Советских социалистических республик!.. Да здравствует Земшарная Республика Советов!!! Да возради это-

го-такого!.. Ленин как стебанул? *«Пусть 90 % населения России погибнет, лишь бы 10 % дожили до мировой пролетарской революции!»*<sup>193</sup> Да лёпнулись и притихли с Мировым Союзом Советских социалистических республик. А папашка культурной революции Мао чего сморозил? Открытым текстом сморозил великий кормчий: *«Ради победы социализма можно пожертвовать половиной человечества»*. Видал, какая правит ими дурдицелла?! Им, ссученным марксятам, угробить полчеловечества – как два пальца культурно обоссать! Половина человечества – красная цена социализма. А какую цену они заломят за сам коммунизм? Конечно, всё человечество! Где тогда какая будет дружба, если на земле комми всех уничтожат? Кто с кем будет дружиться? Труп с трупом?.. Морг с моргом?.. Погост с погостом?..

– Ну ты Ленин!.. Ву-умня-я-я-я-я-я-я-яшка!.. Только худенький... Ву-умня-я-яшка...

– А кто-то сомневался?.. Я что хотел сказать... Волосатый баламут папа Карло накаркал... Шалавый призрак коммунизма бродил, бродил по Европе. Нигде не нужен. Теперь и обоснуйся у нас? На хрена нам такая ига?

– Спрашивай у краснокожей КПСС. А не у меня...

Дальше я не слышал старческий трёп.

Забил угонистый цокот ликующих каблучков.

---

<sup>193</sup> Цитируется по «Литературной газете» от 24 – 30 ноября 2004 г., стр. 3.

*Не так хорошо там, где нас нет, как плохо там,  
где мы есть.*

*Г. Малкин*

– Салют, Солнышкин!

Рина по-пионерски приложила руку ребром ко лбу и замолотила, как на торжественной линейке:

– Председатель совета дружины! Разрешите торжественно доложить, что ваш фельетон «Себестоимость кукиша» выскочил сегодня в «Молодом»!

И, не отнимая руки ото лба, радостно пошпарила наизусть:

*«А всё началось с того, что беспардонно легкомысленный петух Титковых, потеряв голову, отчаянно погнался за каштановой вертихвосткой из соседского курятника Оськиных.*

*Стой, Петенька! Межа!*

*Эх!*

*Едва Петруччио пересёк государственную границу, как в мгновение ока был пущен в расход. Посредством дубовой «гранаты».*

– Убили? – в истерике осведомилась титковская сторо-  
на.

– А мы не мазили! – злорадствовала оськинская стенка.

*Оба дома объявили друг другу состояние войны. Не на живот. Выше! Насмерть!*

*Особый размах баталия приняла после того, как сквозь плетень одна сторона с величайшим смаком показала другой комбинацию из трёх пальцев и стала с безумным наслаждением вертеть её перед ликом перепуганной соседки».*

Многое Рина опустила. Сразу к последней фразе:

*«Люди, да подсчитайте наконец, во что обходится соседский кукиш, опрометчиво просунутый сквозь осевший плетень!»*

Я свихнулся от радости.

Отупело пялился на Рину и не знал, какие сказать золотинке слова.

Век ждал, когда напечатают. И вот дали!

А я и не знал. Рина принесла весть вместе с газетой.

Я разглядывал свой фельетон на полосе и не верил, что он мой.

– Ты сколько его учила наизусть? – сам собой вывалился из меня вопрос.

– Анисколючко! Раз прочитала и запомнила. Очаровашка фельетон. Ты, лежачий синьор Помидоркин, ничего такого в голову не тащи. Кадрёжку там или прикол. Я по делу тусуюсь.



– Вашему делу, стоячая синьора, я готов служить и лёжа.

– Вот и служи. Антониони! Ты когда сядешь или ляжешь за нетленку?

– За что?

– За нетленную, за главную книгу жизни.

– А-а...

– Бэ-э... Я хочу, чтоб ты и дня даром не терял... Ехала сюда, наскочила на Нину ибн Семёновну. Блеск училка. Литераторша... Не тебе говорить. Я у неё в восьмом в прошлом году скакала на тройках... Она и у нас в училище преподаёт. Как она всегда нахваливала тебя. Очень деловой, перспективный в литературе товарищ! Сочинения пишет красивые! И о-оп с апломбом начитывать твои творения всему курсу! В назидание. Правда, мелкий корявый почерк прилично поругивала, но опять же находила в нём что-то родственное толстовскому. Слово незахватанное! Фраза – стрела!..

– Прекрати.

– Ни в чём не перечь да-ме... За нетленку!

– Прямо сейчас?

– Естесно.

– И о чём же?

– Об этом я и побеспокоилась.

На этом дурашную трепотню вроде можно и кончить.

Но Рина всерьёз пошла лупить про чаквинскую академичку.

Что мне оставалось делать? Слушай. Больной лежит,

больничный идёт.

– Тётечка, – взхлёб тараторила Рина, – каких поискать. Трудолюбка... пчёлка. На питомнике вместе с рабочими горбатится. Академик! Знаешь, я раньше думала, что все академики должны быть почему-то высокие.

– Мне кажется, звания пока не за рост дают.

– Угу... Она мне по сердцу только. Совсем малеча... малыш. И правило у неё веселенькое. Если селекционер не будет своими руками делать всю чёрную работёху, ничего путного у него не выскочит. Обязан учёный разговаривать с растением утром, в полдень, вечером. В ведро и в непогоду... Чего-чего, а хляби у нас хватает. Чаква самая мокрая точка в стране. В дождь под зонтом, в снег в сапогах резиновых носится академичка по плантациям. И её богатырский восьмидесятилетний дубовый стол с резными ножками-вазами всегда скучает одиноко в кабинете. Домой она приползает уже в сумерках и до двух, до трёх часов ночи печатает. Под её колыбельную на машинке засыпают соседи за тонкой барачной стеной. Ну, кажется, кому понравится этот ночной грохот? А они привыкли к монотонному татаканью, не могут заснуть, если за стенкой не гремел артобстрел. Случалось, не гремел. Это бывало в редкие дни, когда она уезжала в командировку.

Она скромная. Аккуратистка. Косички ладненько собирает в комочек под коричневую беретку. Замкнутая. Не любит на людях алалы разводить. Её душа цвела в разговорах с тра-

вами, с кустами. Растения умнее, мудрее!

Никогда она не ездила по курортам. Не отдыхала. Отпуск оформит, а сама продолжает работать. Как будто так и надо.

Странно? Да? А что ж взаменку этой каторжной любви к делу?

От жизни академичка отщипывала минимум. Сидела на чае, на сухариках, на печеньках. Вскипятит на керогазе кипятку, тем и жива птичка.

Никто не знал, ела ли она когда мясо. Из живности у неё одни кошки, стадо кошек, и те все приبلудные. Кур даже не держала.

В саду под окнами шумели пустяки. Два дерева алычи. И все фрукты. Зато цветов, цветов! Сирень. Гортензии. Тюльпаны. Кактусы. Пальмы. Мечтает съездить в Турцию на фестиваль тюльпанов. В мае бывает ежегодно этот фестиваль...

Я не скажу, что всё это было тоскливо слушать. Почему же не послушать, когда делать нечего?

Я ждал, когда Рина спустит пары, сама замолчит.

Но она распалаялась всё сильней.

Больше всего изумило Рину замужество.

Ксения и Владимир учились в Тбилиси в политехническом. Познакомились. Надумали пожениться.

Ксения и скажи:

– Давай сразу не расписываться. Сойдёмся характерами – будем и так жить. А то разводиться... Суд, склоки...

Глубокомысленно побренчал Владимир на гитарке и согласился. «Когда другого пути нет, легче найти правильный». Не мог послушаться. Ксения была на два года старше.

В тридцать седьмом Владимира арестовали. Присудили десять лет. Отсидел. Наградили высылкой. И снова Чаква ему закрыта.

В это время Ксения стала лауреатом государственной премии.

«Посуди, как ты будешь смотреться на моём фоне? Моя репутация зэка, моя репрессия лавров тебешеньки не прибавят. А ты на подъёме. Тебе надо расти. А я тебе только помешаю. Разве я тебе враг? Я приеду в Чакву лишь после полной реабилитации».

Он занимался хлопком. В Чу.

Ещё за семь лет стараньем выработал себе орден Трудового Красного Знамени. И всё там, там, там. Убиты главные двадцать лет жизни.

Рина скорбно смолкла.

Слова не шли ко мне. Я не знал, что сказать. Да и что скажешь? Все слова тут будут ложь.

– И ты не возьмешься? – тихо спросила она.

Я пожал плечом и как-то весь неожиданно для самого себя сжался, будто меня придавила эта неподъёмная горькая боль.

Мы долго молчали...

Неосознанно давали отойти от нас чаквинской драме?

Или... Почему мы долго молчали?

– За фельетоны тебя будут натурально колотить, – наконец серьёзно завершила она. – Натуральными пудовиками по натуральной вывеске. Тебя это очень устраивает? Не лучше ли вовремя соскочить на прозу? Рассказы... ну, повести... Одной левой бы строгал!

Злость опажнула меня.

Как легко обо всём судит эта тенти-бренди коза в ленте!

– Может, покажешь пример? Это просто ж, как твой вздох. Напиши первую фразу. Дальше уже пойду я.

Рина засерчала.

– Какие вы, мужчинчики, паиньки. Привыкли, чтоб вас водили за ручку. Настрогал фельетончик, настрогаешь одной левой и повесть.

– Одной левой я пока строгаю карандаши.

Только тут она взяла внимание, увидела, что я чинил карандаш левой рукой.

– Ты левак?

– Левак.

– Убиться не встать! Лешоша... Все лешчуки гении. Цезарь. Леонардо да Винчи. Иван Павлов. Композитор Шуман. Чарли Чаплин...

– Откуда ты знаешь?

– Было бы странно, если бы я не знала. Современная девушка знает всё в округе мно-огих лет!.. Я думала, тебя здесь скукота поедом ест. Дай, думаю, возьму в киоске газету. Взя-

ла. А там твой фельетон и заметушка про левашей. Занятно. Вот, – отчеркнула ногтем, – почитай.

*«У нас в стране до двадцати миллионов леворуких людей, – читал я. – Чем обусловлены праворукость и леворукость? На этот счёт существует немало различных теорий. Некоторые из них подчеркивают роль внешних факторов – условий воспитания, подражания, религиозных обычаев. Например, согласно «исторической» теории правая рука оказалась более развита оттого, что ею удобнее было поражать копьём сердце противника, в то время как левая играла более пассивную роль, защищая щитом собственное сердце человека. «Анатомическая» теория опирается на такие факторы, как расположение основных органов: тяжесть находящейся справа печени определяет центр тяжести тела и, соответственно, лучшее развитие правой руки; сердце лучше снабжает кровью левую половину мозга, управляющую правой рукой; наконец, если бы главную роль играла левая рука, это вело бы к утомлению сердца. Согласно «геоэкологической» гипотезе, в Северном полушарии Земли преобладают правши, а в Южном – левши. Было подмечено также, что левши – чаще первые либо последние в семье дети...»*

Статья занудная.

Я не стал всё подряд читать, выхватывал глазом лишь подчеркнутое красной чертой:

*«Левша «неудобен для противника». Ещё важнее выявленная у левшей особая система психомоторной деятельности»*

*сти, которая способствует более быстрым, чем у правой, восприятию, организации движений, предвосхищению событий... Ряд исследователей отмечает несколько более высокие достижения леворуких людей в учении, спорте, искусстве».*

Это дело. Верно. Не возражаю.

– Левоней везде ценят, – аппетитно лъстила Рина. – Это в их честь даже назвали таблетки. Левомецетин! Правомецетин есть? Фикушки. А левомецетин – пожалуйста! Синьор антибиотик широкого захвата. Воспаление лёгких, ангина, желудок... От чего хочешь лечись до смертельного упора. Пока не помрёшь... В порядке скромного подхалимажа покажу ещё свежую газету. Заба-авно. На. Читай!

«Три года назад в Калифорнии основано «международное общество рыжих». Его цель – защищать права своих членов. Над рыжими часто подшучивают, их редко снимают в фильмах или приглашают на телевидение, отказывают в съёмках при рекламе... Между тем рыжие очень дружны, считают члены общества. По их сведениям, в США 6 процентов населения – рыжеволосые. Рыжие меньше других категорий населения США занимаются воровством и другими аферами. В тюрьмах США сидит только один процент рыжих. Рыжими были многие выдающиеся личности: покоритель Гренландии Эрик Рыжий, Христофор Колумб, Винсент Ван Гог, Антонио Вивальди, Сара Бернар, Леонардо да Винчи и многие другие».

«А чего? – подумал я. – Рыжики симпомпончики. Дружные. Честные. Талантливые. Выходит, совсем зря я так убивался. Вот если б конопушки с портретности смыть. А то просто срам. Будто воробьи поозоровали. Интересно, а были конопушки у Достоевского? А у Шолохова? А у Астафьева?..»

– А знаешь, – сказала Рина, – от себя добавлю. Этого нет в газете. Рыжие коты приносят счастье рыжим.

Я погладил заметку и попросил её у Риной.

– Отдам всю газету. Только баш на баш. Я тебе газету, а ты мне обещание, что напишешь про академичку. Ты рыжик, я поверю твоему слову.

– Не слишком ли дешёво разбежалась получить моё обещание? В довесок к газете принеси палку с улицы и хорошенько стукни по этой инвалидке ВОВ, – положил руку на своё левое колено. – Чтоб как минимум сломалась.

– Ты что, шуршунчик? – отшатнулась Рина. – Ударился в психи?

– Надо сломать.

– А так, со стороны, не похоже, что ты с однополушарным мышлением.

– С каким? С каким?

Она поняла, что пустила лишку, прикинулась веником.

Вежливо спросила:

– Как вообще твои дела?

– Всё в порядке. Аккумулятор пьян, водитель на зарядке!



Есть ещё вопросы?

– Не закипай. Не уходи в отвязку. И не срывай, пожалуйста, на мне оскомину. Скажи путём, чего ты хочешь?

Ну, раз дошла до *пожалуйста*, буду и я на уровне. Подломил гордыню, ровно захожу на новый виток. Ничего, наша песня хороша, начинай сначала.

– Видишь, Авиценна в стихах писал рецепты для больных. Товарищ Орфей му-зы-кой лечил. Какая-то Асанавили: приложу руку, боли уходят. А наши коновалы... Будь там оскольчатый перелом. Или ещё что страшное. А то затрапезный вывих. Зато нога не гнётся. Как полено. А гнуться должна! Надо сломать и правильно по-новой сложить. Только и хлопот. Должна гнуться! Должна!

– Мало ли кто кому чего должен... Я вон сейчас должна выжариваться на диком солнце у бабуленции своей на огороде. Картошку надо огребать. А я с тобой переливаю глупости из пустого в порожнее. Я скажу так. Ходить можно, носить – и спасибо ножке! Хорошего понемножку. Кто малым не доволен, тому великое не даётся.

– Ка-ак она запела с чужого голоса! Тогда и я волью тебе из порожнего в пустое. Кто слишком усерден в малом, тот не способен на великое. Сказано не мной. Давай дебатыки придушим... Айда переделывать коновальскую стряпню. Между прочим, в этом пирожке, – потыкал я в синюю ногу, – есть и твоя начинка. На операции ты была? Бы-ла. Когда хирург на пробу дёрнул первый раз, я оранул. Все девчонки

захохотали, а хирург сказал: «Больной, на период операции все свои эмоции спрячьте в карман». Девчонки заржали ещё громче. А какая-то труженица доложила: «А у него нету карманов. Он голышик».

– И не какая-то. То я была.

– Тем более.

– А хоть менее. Я хирург? Я прак-ти-кант-ка. С меня какой спрос? Я получила за практику честный отличный зачёт. Всё прочее меня не колышет. И не зудит. За хирурга не ки-нуть перемастрячивать. Колхоз дело добровольное.

Красные круги завертелись перед глазами.

Меня скачнуло с корня и понесло куда-то в пропасть.

– Да пошла ты, мля!.. Зачёт она за меня получила! Зачёт-ная фря!

– Злюка! Чингисхан! Он тоже был рыжий!

– И катись к своему Чингисхану!

– Теперь я понимаю, почему «первым Бог вылепил муж-чину: первый блин всегда комом»! – взвизгнула она, и сталь-ной стук копытцев полило к двери.

Скатертью дорожка! Ворочать не побегу!

Ну змея зачётная, ну бляха-муха... На международном рынке приличная змеища стоит пять тысяч долларов. За эту хоть грошик кто подаст? А прикинулась святей папы рим-ского. Напиши повестушку! Воспой академичку! Не чело-век – мешок фальши. Вся из себя! Ни дохнуть ни выдохнуть. А, поди, лиф надувной. И курдюк надувной. И сама вся бес-

тия продувная!

На шум запоздало выполз любопытный стакашка.

Наклонился ко мне, уважительно зашептал:

– Чего бурлишь, безнадёга? Принародно грубо обольщала? По ней похоже. Разодетая фуфынька. Вся в моде. Гляди, у неё по моде и мышь в комодё... Я намерен в городе больницу искал. Спросил у одной у такой расфуфырки, как мне ловчей к недужнице к своей пробежать. А молода-ая, я к ней впросто, на ты. Голосистая<sup>194</sup> и окрысся: «Не тыкай. Я с тобой из одной параша не хлебала». Тьфу ты! И я ей отстегнул: «То-то ты, прыщавка, тощей иголки, что не хлебамши скачешь». Покалякали этако сладенько и раскатились. Таким вот макарием.

Я выдержал глубокую чинную паузу, издалека запел про палку, про ногу.

– Не, милоч, – разом посуровел пескоструйщик. – Чем наперёд ходим? Думой. Вот я подумал и кладу: нет. Я и подзаряженный на это не пойду. Тебе охота, ты и ломи себя хотько поперёк, хотько вдоль по Питерской. А меня не подпиживай под статью. Я сам подбегу. – Тут он перешёл на шёпот: – Допрежде всего, мне некогда. Ноне я не ночую в нашем скорбном доме. Сбегáю до утраца. Разве дело без спросу бегать из больницы? А хренко Чече заставляет. Разобещался нынче выписать и – отбой! А я, хуйло, уже посулился своим прибець нонче на свободу. В такую честь там нагото-

---

<sup>194</sup> **Голосистая** – женщина в платье с глубоким вырезом на груди.

вили, запаслись горючим. Сам вермутидзе ждёт!.. Не пропадать же. Короле-евский будет бухенвальдище!<sup>195</sup> Если по науке, культурно раздвинем шоры трезвости... Работну враспояску!.. Кыш от меня! Кыш!.. У меня, милой, совсем другая линия. А ты с чем вяжешься? Ты уж как-нить сам.

---

<sup>195</sup> Бухенвальд – пьянка.

*Не любить такую красивую – преступление,  
любить – наказание.*

*В. Девятый*

После ужина я поскрёбся на костылях на улицу.

Слабость пошатывала меня. Но щадила. Совсем не валила с ног.

Кое-как соскочил с ретиво скрипучих порожек, бух на лавку под ёлками.

Перекур!

За долгий больничный срок я впервые вышел сам на воздух.

Розовая шапка заката супилась за плечами гор. По небу неприкаянно болтались белые комки облаков.

По зелёному бугру с криками летала неугомонная детворня.

Нетерпеливые парочки сбегались в клуб, в его надёжные сумерки, в треск, где под толстым снопом дрожащего света из кинобудки так сумасшедше целуется.

В ближних кустах с чвириканием хлопотали воробьи.

Жизнь, кругом жизнь...

А ты поторчи граммочку на воле, передохни и снова в одноместный душливый коридорный сквозняк?

Тоска сжала меня обручами.

Обручи всё тесней смыкались на мне.

Я сорвался с места и – на угол, к клубу. Вроде ищу кого. Иду я и в заботе тяну шею по сторонам. Мне-де надо, очень надо *его* найти. На секунду! И вернусь. Я скоренько!

Я уже у открытой клубной двери. Важно сунул в неё нос, подержал в тёмной прохладе: «И здесь я никому не нужен?»

Я немного постоял-постоял и постучал дальше.

Никто из больничников меня не заворачивал.

Окликнут, скажу, гуляю. А не окликнут... Что делать, если не окликнут? Ну знай себе иди. Не нужен, вот и не зовут. А я и не набиваюсь особо.

Лёгкая клубная тропка смеясь взбежала на пригорок, слилась со старой, разбитой, широкой дорогой.

Эта большая усталая дорога доплёскивалась до нашего пятого района и вилась дальше, в сам город.

В сам мне не надо, а к мамушке в самый раз.

У круглого бассейна с цементированными боками – в бассейне держали воду на пожарный случай – я нечаянно глянул вбок.

На закатном солнце саблисто блеснул излом Супсы.

Наотдаль кипела в низине Супса, и сразу за рекой державно громоздились в синеве комки гор. Какой вид! Хоть денежку с самого себя за такой бери вид.

Усталость ласково усаживала на низкую тёплую стенку бассейна.

Но я гнал себя дальше.

Метров уже триста отшагал. Будет обидно, если вернут.  
До дома четыре версты. Все равно до дома – *ближе*, чем до больницы.

Глянь сестрица орлиным оком – запеленгует. Видно же напрямую! Поднажму. Войду в поворот, вот тогда поищи иголочку в стожке!

Поворот надёжно закрыл от меня больницу.

Я основательно привалился спиной к ёлке. Отпыхкался.

Больше я не торопил себя. Ночи хватит джигиту, до света допрыгаю до дома.

Постепенно отошли, усмирились, совсем пропали голоса центрального совхозного посёлушка.

И остались мы втроём. Я и мои костылики.

Бредём, спотыкаемся...

День окончательно переплавился в ночь. Засветилась золотая сытая дужка месяца.

И поскреблись мы надёжней, ровней.

Не спеша и шли мы с костыликами по земле, а месяц по небу. Он не отставал, забегал наперёд, всё подсвечивал старательно нам под ноги.

Вдруг где-то поблизости на шоссе охнули шаги.

Кого там носит?

Ну, поносит, поносит да унесёт, бросит.

Ан нет. Шаги всё отчётливей.

– Братошки, – шепнул я костылям, – шуба!

И мы на всякий случай спрятались за ёлку.

А ну больничники ищут меня? Как же, соскучились. Давно не виделись. Мигом заметут!

Я вслушался.

Бубуканье...

Голоса различимей.

Молодой басок резал:

– Мария, ангел мой прекрасный,  
Тебя любить всю жизнь готов.  
Твой гордый стан и взгляд твой ясный  
Пленили крепче ста оков.

– Глеба! Это невозможно слышать!

Девушка просыпала мелкий счастливый смешок и запечатала братцу рот поцелуем.

Вот так пан Глебиан! Охажками таскал с литературы пары, а к свиданию собственных стишков напёк? Или у кого слизал? У товарища Пушкина мы пока таких вроде не проходили.

И кто она?

Подглядывать нехорошо, но не знать ещё хуже.

Девушка стоит ко мне спиной. Кто же это? Кто?

По неясному голосу я сразу не узнал её. Скажи ещё хоть слово, может, и узнаю...

Они будто нарочно изводили меня, скрывали тайну. Поцелуй тянулся томительно долго. Это даже неприлично цело-



ваться на виду у других. Или они думают, что планета лишь для них двоих?

А что если?..

Слышал по радио, на Тайване был конкурс на самый долгий поцелуй. Так победители там растянули волынку на четыре часа!

А если эти энтузиасты растянут на пять?

Мы с костыликами и торчи под ёлкой в вынужденной засаде?

В знак протеста я щёлкнул соловьём.

Похоже, соловей я липовый.

Парочка тут же прекратила безобразничать.

– Стройна, высока, словно тополь в лесу,  
Синеву твоих глаз вижу я наяву...

И новый поцелуй.

Если я скажу, что он длился вечность, я ничего не скажу. В конце концов всё имеет конец. И этот их марафонский поцелуй.

– Глеб! – восхищённо выдохнула девушка и зарылась лицом к нему под мышку.

Марусинка!

Уму недостижимо.

Насакиральские монтекки и капулетти. Старики Половинкины смертно ненавидели нас. Иван готов передавить нас

машиной.

А Марусинка, младшая его сеструня, и наш доблестный братчик чего творят?

Нацеловались до чёртиков и в обжимку навстречу мне бредут Бог весть куда. Смелые! Не им сказано: детей бояться – в лес не ходить.

Не бояться. Идут.

– Думаешь, я неловкая? – смеётся она. – Да у меня всё в руках горит!

– Смотри, а то пожар будет, – подгребают он её потесней к себе и целует.

Дома мама слышала мои звонкие костылики на порогах. Выскочила.

В одной руке нож в муке, в другой круглый лист лапши.

Дверь нараспах.

– Сынок! Да откуда ты?.. Шо ж они в ночь вытолкали? И одного? Пешаком?

– А в больнице, ма, всё в строгом виде. Глянули в двадцать четыре ноль-ноль – здоров. Уходи! Не лопай нашу синеглазую манку!

– И то гарно. Сидай. Насыплю своей лапшички... Как у тебя, Антоненька, здоровья?

– Как у быка.

– Да быки разные бывают.

С миской примостился я к уголку стола.

Мама раскатывала лапшу зелёной литровой бутылкой.

– Топчусь, як белка в колесе... На нас беда упала. Глеба, адмирала нашего, в армию зовут. Весной не тронули, дали школу домять. А зараз стрянулись. Завтра провожать. Надо стол накрыть, созвать товарищей. Шоб як у людей. Не на огород – в армию провожать! Хотел бежать утром к тебе попрощаться. А ты сам уявись...

– Мой нос за сутки сабантуй чует. А где женихи?

– Где-нибудь под окнами у девок дежурят.

Дорога разбила меня и скоро поманило в сон.

Лёг я на крыльце за дверью в подвесную койку. Сам перед Маем сладил. Старое тканьеовое одеяло толсто намотал с обеих сторон на хорошие колья, наложил планочки и прибил к столбикам перил.

Сверху над койкой полка со всякой домашней рухлядью.

Нырнёшь в свою мягкую глубокую постелюшку-одеялко, никто тебя не видит. Ни люди, ни мухи. Уютно, таинственно так... Будто на волшебном корабле по ночному океану плывёшь.

Я уже засыпал, когда мимо прошил вприбежку Иван. Во всё на скаку заглядывал, даже под крыльцо к нам сунулся.

– Ну где ты, шалашовка? – сседил сквозь зубы. – Паршивица! Бешеная тёлка! Найду – прибью. К забору на вечер буду привязывать. Как скотиняку. Ник-куда у меня, шаболда, не забежишь!..

Любящий братко искал Марусинку.

Разбудили меня поцелуи и придавленный, тихий смех.

Разлепил я хлопалки – та же не разлей парочка, наш баран да *Машиуточка*-ярочка.

Меня ожгла молния.

Что же они белым-то днём целуются у крыльца?

Хотел было уже закричать, да что-то меня одёрнуло.

Лежу пялюсь вокруг поперх бортика койки.

Боже, да это ночь такая белая!

Ясно прорисованы черные тени от дома, от забора. От порожка три шага, вот они штакетины-копья, дальше волнистые ряды, ряды, ряды.

Месяц яркий-яркий, чайные ряды кажутся покрытыми искристым примороженным снегом. Беги по этим белым волнам, как бегал зимой всегда, и не провалишься.

И ёлонька напротив у крыльца видится майской белой яблонькой в фате невесты.

– Ты будешь меня...

– Не знаю, – ласково перебила она.

– А что ты знаешь?

– Что в голове не хватает шариков. Рассыпала.

Она смеётся и с цыпочек то ли тянется к поцелую, то ли подаёт поцелуй.

Слова надолго замолкают.

– Ты будешь меня ждать? – запекает он старую тревожную песню.

– Буду! Буду!! Буду!!! – шёпотом клянётся она. – Я это решила ещё в восьмом классе. Горькенький ты мой, что же мы с тобой такие разнесчатушки? Только и встречались по утрам, как бежали в школу за колышками. Классы разные... Да и из школы кой-когда. А потом... Я на чай... Ты дальше учился уже в городе... Зверюги мои... Не пускали... За три долгих года ни одной встречи... А сегодня не уберегли, сбежала...

– Зато каждый вечер встречались наши письма. К ручке притронешься только – по три листа само выскакивало. Спасибо Зиночке. Надёжная у нас связная.

– Ох, Зиночка... Вот подруга. На всю жизнь подарок божий! Сберегла нас друг для дружки... По-настоящему если, мы сегодня первый раз и встретились путём, хоть и живём в одном доме, под одной крышей... Только с разных сторон. Может, в первый и в последний раз совстрелись?

– Что ты! Что ты!

– Я-то ничего. А знаешь, что утром будет?.. Обманула... Легла. Слепила вид, что сплю. Наши послули – я на пальчиках к тебе. Засветится эта блудильная наша лавочка – мои меня забьют и больно не будет. Жалковать всё равно ни об чём не стану. Ночку – с тобой! А там и нате на подносе мою беду головушку... Проводи снова меня... Потом я... И будем до света провожаться. Поздняя любовь не обманет...

Они понуро побрели за угол и скоро вернулись.

Наверное, у нашего крыльца целовалось вкусней.

– Я больше никого не полюблю, – говорил он вещиё слова. – Не смогу... Не схочу... Мне одной твоей на век любви достанет. И тебя все наши будут любить. Маме ты будешь дочка родная. Братьям ты будешь сестра родная. Ты жила у нас в семье... Просто на немножко ушла и обратно вертаешься вот...

– Глеба! Ты с Луны рухнул? Ты чё вяжешь?

– Живую правду. У нас, у троих братьёв, была маленькая сестричка. Её звали, как и тебя. Маша... В войну нашлась. Отец уже был на фронте... С год пожила. Слабенькая... всё плакала... Мама нянчила, просила: «Кочеток серый, кочеток пёстрый, кочеток красный, возьми крик рабы божьей...» А выкупает в корыте со щёлоком, упрашивает: «Спи по дням, рости по часам. То твоя дело, то твоя работа, кручина и забота. Давай матери спать, давай работать. Не слушай, где курицы кудахчут, слушай пенья церковного да звону колокольного»...

– И ты всё упомянул?

– Я трудно запоминаю. Но если что ухватил – до гробика... С сестрой мама часто бюллетенила. У Васильченка – тогда у него у одного были козы – брала в день по пузырьку молока. Митя молоко носил. Иногда разок хлебнёт, потом дрожит, как бы и каплю не уронить. А что отпил, спихивал на кривую стёжку. Однажды из города приехали помогающие на чай. По пьянке побили в яслях стёкла. Сквозняки... Сестра заболела воспалением легких... Народилась на заре,

на заре и умерла. Билась в окно птица... Днём раньше мы ели зелёные яблочки, пупяшки одни. Одним плечом яблоня подпирала наш гнилой барак. Прямо с окна рвали и ели... (Глеб умолчал одну мелочь. Неудобно было сказать, что зеленцы те были очень кислые, и он обсыкал их, они становились на вкус терпимей.) Умерла сестра на заре... Веки тёплые. Закроешь, отпустишь – снова открываются. От пальцев глаза теплеют и не закрываются. Тогда мама дала мне две жёлтые монетки, я положил на глаза. От холода денежек глаза больше не открылись... Похоронили... Слепили крест из двух палок акации... Я всё укорял, что ж мы, ма, отнесли и ни разу не были у сестры?.. Ты не печалься... Ты не умирай. Ты просто ушла и опять вернулась... Когда я увидел тебя впервые, я обомлел. Ты так похожа на сестру. И мне всегда кажется, она – это ты взрослая. Ты просто вернёшься в свой дом и только...

Торжественность ночи угасала.

Уже замутнел день, а Марусинка и Глеб всё ходили вокруг дома, всё провожали друг друга и не могли расстаться. Ну, как ему одному или ей одной остаться? Как без друга уйти?

У нас на подоконнике сонно подкашливал радиоприёмничек «Москвич». Забыла мама выключить, и в открытое окно еле слышно плескался вальс Наташи.

Прокофьевские звуки то относило, будто ветром в сторону, в треск, в шипение, и они тонули, терялись, то снова воз-

вращало, и они лились в душу чистыми, световейными колокольцами.

Невесть отчего мне стало жалко самого себя, и слёзы покатились из меня. Было жалко, что я такой некрасивый, что ни одна девушка никогда не отдаст мне целую ночь. Было жалко, что ни одна девушка и подавно не отдаст мне целую жизнь.

Тут появился уже один Глеб.

Я ничего не мог поделаться со своими слезами, и Глеб, ничего не говоря, ничего не спрашивая, опустился на колени, прижался ко мне щекой и тоже заплакал.

Во мне что-то запротестовало, слёзы мои обрезало.

Слёзы дело интимное, и колхозом реветь – это слишком.

Я не совсем понимал, почему я плакал. Но я совсем не понимал, почему плакал он. Разве он нелюбим? Разве не он пришёл со свидания длиною во всю ночь?

А может, он предчувствовал, что это было Первое и Последнее Свидание с Единственной на всю жизнь Любовью?

Марусинка была с ним ещё весь день.

Рядом была за столом.

Рядом была, как мы всем гамузом провожали его в город, в военкомат.

Рядом осталась и на карточке. Глеб гордовато сидит, руки на коленях. Марусинка стоит за спиной. В глазах цветастое детское счастье.

Как на всех карточках – жена за спиной у мужа.



А плечо к плечу с Марусинкой богоблагодатная, незабвенная Зиночка Дарчия.

На карточке мне тоже дали места. Дали и гармошку. Увеселяй! Но увеселяльщик я кислый, всего-то и знал три начальных такта из вальса «На сопках Маньчжурии» и потому даже для приличия забыл положить пальцы на белые пуговицы, сжал в кулак. Продел кисть под ремень сбоку, развел меха, да не играл. Лишь видимость игры держал.

А кто это знает?

Разве карточка донесёт звуки из юности? Сколько ни вслушивайся, молчит моя гармошка на карточке. Может, потому и молчит, что не играл при съёмке?

*Концы с концами можно сводить без конца.*  
*Л. Леонидов*

Две уже недели начинал я каждое утро одинаково.

Парил ногу в высоком гулком бидоне и донимал массажем. Гладил. Тёр. Тряс. Щипал. Остукивал. Со злости поколачивал. Упрашивал гнуться и пробовал силком гнуть.

Какого же лешего ты не изволишь гнуться? Брешешь, левуха, согну в барашкин рог!

Наши вон дотопали до Берлина! С боями!

А я на мирной койке пяткой до своего попенгагена не дойду?

Я не я буду, если пяточку не сошлѣпну нос к носу с пердориевым кратером! Чай, не левой ногой сморкаюсь!

Возни было полный ворох.

Рука ноге батрак.

Ты и так к этой ножке, ты и так. И всё прахом. Лежит не улыбнѣтся. Насупонилаась коряга корягой. Пóтом подплывал, но дело с мёртвой кочки не съезжало. Хоть проси, хоть грози – не брала внимание ножёночка, будто никаких стараний моих и не было.

Раскипишься, хватъ палку из-под подушки и под колено.

Стукни снизу хорошенечко! Стукни! Будет знать, как

упрямиться!

Вроде и разбежишься стукнуть, но не слышно желанного хряска, не слышно боли, и руки сами прячут палку снова под ласковую прохладу подушки.

Хрястнуть сдурику никогда не поздно, шептал во мне голос. А что потом? Хрястнуть можно так, что вообще останешься без ноги. Надо постепенно. Растирать, пробовать сгибать. Может, сама согнётся. Может, сама и сломается. Зато в том месте, где нужно, и ровно насколько нужно, лишь бы гнулась при ходьбе.

Дни отлетали на вороних, но само ничего не менялось. Сколько же ждать милости от капризной моей госпожи Ногини?

Время пахало против меня. Кости молодые, срастались быстро, да неправильно. Нога ж всё крепче. То на двух костылях скакал птенчик, а уже доvole и одного.

Надо ломать. И с меньшим уроном. Да кто сломает? Кого просить? Ещё на смех подымут.

Сам я в герои больше не лез. Хоть и зол на неё, как мышь на крупу, до которой не дотянется, однако увечить самого себя трусил. Но всё равно не отступлюсь от неё, пока не выведу на лад.

У моего изголовья бочком к коечной спинке томился в безделье мой педальный мерседес. Пыль присыпала его. А ну всё лето проваляйся я колодой на койке? С тоски кукнешься!

На багажнике лежало раскрытое «Детство Тёмы». Никак

не мог домусолить.

Постой...

Если я сам себе не в силах помочь, так велик... Вѣлик!  
Вѣлик велѹк! Велик поможет!

Всѣ просто. Всѣ предельно доступно.

Держась одной рукой за спинку койки, а второй держа руль, я опасливо постоял левой ногой на педали. Больновато, но терпимо.

Хватит валяться!

Ездить!

Ездить!!

Ездить!!!

Я поднял седло предельно высоко-высоко.

При езде педаль в верхней точке не будет достигать левой подошвы. И я потихоньку начну нажимать левой ногой на педаль вниз.

Через неделю спущу седло на полсантиметрика. Через неделю ещё на полсантиметрика. Там ещё...

Или госпожа Ногиня начнѣт-таки понемножку гнуться и добежит до демаркационной линии.<sup>196</sup>

Или сломается.

На выбор. Дело вкуса.

Лично меня больше устраивало первое.

Придѣт миг, педаль неожиданно сильно бухнет снизу в стопу, и моя левоня сдастся. Лапки вверх! Сдаюсь и по сов-

---

<sup>196</sup> Демаркационная линия – углубление между ягодицами.

местительству гнусь!

Я взял в одну руку костыль, другой велосипед, и втроём мы тихонько сошли с крыльца.

Костыль я сунул на свою подвесную койку. Поспи. Ты и так со мной намаялся. А я пока левонию-капризулю покатаю. Желают-с!

И вообще костыль не нужен. Третий всегда лишний. Если где пройти, опирайся на седло. Чем опорка хуже костыля?

Дохромал я к углу дома и под горку сел на велик.

Дух во мне заиграл. И выполз страх.

Хочется порезвей дунуть – страх ужимает больную ногу, боится. Тянет кверху. А ну холодная колодина педаль ненароком долбанёт снизу?

Точно знаешь, не ударит, а всё равно веришь опаске.

Я обкружил дом, вдоль ёлок проскочил к воротам, и руль сам вильнул на дороге в сторону города.

Сразу за задами наших огородчиков при сараях от городской шоссейки отвязывался влево травянистый бессуетной просёлочек. Ни машин, ни людей. Летай, сколько душенька примет.

– Сынок! Сынок!

Я глянул на голос.

Ха! С пенёчка из тени ёлок махала мелекедурская фельдтонная старушка.

Я остановился. Подошёл.

– А я, сынок, к тебе на благодарственный поклон. Вишь, – в поклоне приложила руку к груди, – по привету и собачка бежит... Спасибушки, сладенькой, за все твои писания... Написал – сразу закрутилось яйцо!

– А польза?

– Пользушки по-олны карманы! Иха, каку грязь сварили проть мене! И с мужиком одним союзом не жила. И на ижди-вении не была. И с пензии в мент свалили. Срезали христо-венькую с ног, оконфузили. И всё прикрыли крючком сель-ского председателя. Его ж одни подписа кормят жирно! А ты не глянул на подписа, кэ-эк шарахнул! Только посыпались курьи головёнки. Всё на правду навёл! И тебе, смелуша, ни-кто суперечь ни слова! Пензию залпом за оба-два года отда-ли! Я и богачка вот. Милльонщица!.. Дома на иконку помо-лилась за тебя, помолилась за Пашеньку. Это ж она на путь подстрекнула, к тебе пододвинула. А то б где-е я, пустёха, счас была? Два ж года с живой копейкой не видалась! С кор-ки на корку переколачивалась. А теперько... И тебе и ей го-стинчики я покупила. На могилку вечор снесла, на блюдечко положила. Приняла, мой сладенькой... Утром наведалась – ни одного моего пряничка. Я ишшо подложила.

Я недоверчиво хмыкнул.

– Как же она, мёртвая, взяла ваши пряники?

– Да обнаковенно. И какая она мёртвая? Иисус что ска-зал? Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, ес-ли и умрёт, оживёт. Так что, желаник, хороший человек не

умирает. Он там, – неопределенно вскинула руку кверху. – Можь, птицей летает... – С криком низко просквозила ласточка. – Ластушкой вот...

Долгими глазами она проводила ласточку.

– Ну-к, соображалистый ты? Чего будет? Шитовило-битовило по-немецки говорило, спереди шильце, сзади вильце, сверху синенько суконце, с исподу бело полотенце? А? Чего будет? А?.. Ладно, шепну подсказку. Ластовушка будет. Не мни умок моими глупостями, собереги на дело. Не побрезгуй, прими мою гостинку. За труды за твои письмённые... Тяжело, поди, составлять? Головой маракуй и маракуй. Это каку голову надо содержать на плечах?

Она пошуршала в сумке, достала магазинный кулёк пряников. Протягивает мне.

– Да вы что? Это взятка!

Она строго осмотрелась вокруг:

– Игде?

Я показал на кулёк.

– А по мне, это пряники. И никаковская не взятка. Вот ты мне отвалил взятку, так отвалил. Пензию за два годища! Теперь у меня денег стадами! Капиталишша! Я приняла... А всякое браньё красно отдачей. Так что бери, не пообидь отказом.

Я завёл руки за спину. Нет и нет!

– Чуднб... У нас все просты на чужое. Вона как поют? Чужое вино и пил бы, и лил бы, и скупаться попросил бы.

А тута такой пустяшный принос. Даже выговорить неловко. Никто не видал, разве что один ластушонок, мимо пролетел. Дак он никому не скажа. А и скажа, так только Боженьке. А Боженька не осудит. Добро добром покрывается...

Старуха положила мне кулёк под багажную прищепку, легкодохнула.

– Мне ж всё едино назадки не донести. Обида туда-сюда таскать. Силы не те. Кабы под старое тулово подставил кто молодые ноженьки... Вся сопрела... С вечера поране легла, возложила палку на лавку, говорю-велю: отдыхай, подружка, нахороше, завтра нам предстоит долгая дорога. Без глаз, без ушей, а надёжно слепуху водишь. Поведёшь к нашему кормилику. А он, – пожаловалась своей палке, – с нами знаться как не желает. Скажи ему, что стариками грех брезговать. Может, тебя он поймёт?.. Ну чё, егоза, молчишь? Не хочешь заступиться за старую?.. Оно и пра, какая из тебя заступница?.. Она нонь каковецки ж крепко огрела меня по плечу!.. – пожаловалась мне старуха. – Побила меня...

– Она у вас такая драчливая?

– А не то... Иду я к тебе с пряниками, ног под собою не чую... Такая радостная от твоих миллионов... То я обычно ползу, подпираюсь палушкой. Она кряхтит, а терпит меня, подмогает мне движенью держать. А тут так мне легко, палочка вроде мне и без нуждоньки. Иду, а она без надобностей болтаётся у меня на ботиночном шнурке на запястье...

Я пригляделся к палке.



У её конца была просверлена дырочка, в которую продет ботиночный шнурок, завязанный в колечко.

– Или эта егоза пообиделась, что я к ней безо всякого внимания?.. Она у меня любит, когда уважительно держишь её в руке. А тут... Слов не складу, как оно крутнулось у нас с нею... Шуршала она другим концом по земле, шуршала... Не пойму и как... Запутала она мне ноги, я и хлопнись на дорожный каменешник... Бол-ит моё бедное плечушко... И эта егоза со мной в ссорах, и ты отпрыгиваешь от пряников... Все проть меня... – в близких слезах прошептала она.

Я погладил её по руке, извинительно улыбнулся и взял кулёчек.

– Ну, и слава Богу! – засветилась старуха и встала с пенька. – Подай Господь здоровьица твоей ноженке. Э-хэ-хэ-э... Много ног под столом, а по домам пойдут – все разберут... Ни одну не забудут...

Мне было как-то горьковато расставаться с нею.

Но и без дела толочься подле лежало за кругом приличия, и я поехал.

Оглянулся – стоит улыбается русская сирота сиротой. То и вся её родня, что тёплая в руке кривая палка.

Я медленно ехал наобум, не выбирал дороги поглаже. Ехал и ехал. Незаметно миновал лужок, где мы гоняли футбол, где подломили мне ногу. Миновал питомник.

Очутился я у развилки.

Прямо взять, попаду на чайную фабричку.

Влево сверну, попаду на первый район. На первом мы когда-то жили. Так с тех пор никто из наших туда и не заходил.

Сразу за развилкой лепились по бугру фабричные огорошки.

Где-то за ними, повыше туда, обитает школьная моя амурка Инга Почему. Интересно, что она делает? Может, продать? А нужен ли ей её верный соратник по двойкам-тройкам? Если бы нужен был, наведалась бы хоть раз ко мне в больницу.

Мне вспомнилось, как с угла на угол шелестел в слухах по округе её смелый романчик на диванчике с блудливым сынулей механика с чайной фабрики. Я покраснел, будто это обо мне усердно хлопотала людская молва, и свернул влево.

На первом я хотел зайти в свой баракко, но пришлось лишь издали на него смотреть. Весь посёлок запутали колючей проволокой. Это теперь женская колония. В нашем бараке была какая-то подсобка.

Я грустно потащился дальше.

Вот и дуб в два обхвата. Двести лет стоит. Из-под дуба была криница. Выше акациевая роща. Рядом когда-то был наш огород.

Неожиданно для самого себя оказался я под самыми Мелекедурами, на месте, где мы хоронили сестричку Маню. Было здесь маленькое задичалое кладбище. Да где оно сейчас? Ни деревянных крестов, ни холмиков. Одни вальяжные ши-

рокие чайные ряды.

Неужели кладбище засадили чаем?

Я бродил меж кустов с открытым кульком. Вот отыщу могилу сестрёнки и отдам ей гостинчик, бабкины пряники. Сестричка не знала даже вкуса этой роскоши. Перед смертью Глеб кормил её яблочками-зелепушками, омытыми мочой. Чтоб не такие кислые были. И пряников сестрёнка никогда не пробовала.

Над плантацией низко летали с криками ласточки. И плакали, и жаловались... «Человек не умирает. После смерти он обращается в ластовушку». Кто из вас Маня? Кто?

До стога в висках всматривался я в землю под ногами и увидел маленькую косточку. Может, это был сестричкин пальчик?

Люди, люди...

Что же вы творите? Неужели чай на костях покойников растёт ароматней?

Под ёлкой косо, внаклонку торчал щит.

Красные кривые буквы ералашно сбегались в слова:

ДАДИМ ГОРЯЧО ЛЮБИМОЙ РОДИНЕ БОЛЬШЕ  
КАЧЕСТВЕННОГО СОРТОВОГО ЧАЙНОГО  
ЛИСТА!!!

Другой щит, почти завалившись на спину, взхлёб рапортовал:

ПАРТИЯ СКАЗАЛА:  
«НАДО!»

## КОМСОМОЛ ОТВЕТИЛ: «ЕСТЬ!»

Ах, партия...

Ах, комсомол...

Небо грозно заволакивали чёрные туши туч, будто тяжёлый занавес спешил закрыть сцену, где только что отпылал страшный спектакль.

Дождь нагнал меня на порожках и успел рясно осыпать.

Я быстро разделся, лёг.

Больной должен по штату лежать.

Сердитый удар грома услужливо подсветила молния.

Под нервные всплески молний вбежала мама. Зонтом держала над головой перевернутую чайную кошёлку.

– От дождяка учесал!

Я плотней свёл веки. Молчу.

– Спыть наш больнуша... Нагуливае себе здоровьячка...

Молодчага!

Она выставила на крыльцо кошёлку, положила на край стола ком какого-то желтоватого месива и луковичку. Её завтрак. Утром не успела съесть, взяла на чай. Не съела и там. Домой вот принесла.

Крушительную ветвистую молнию торжественно благословил вселенский удар грома.

В испуге мама дрогнула, торопливо, будто кто поталкивал в спину, прошла в угол.

Верной собачкой за ней пробежала капельная дорожка.

В углу вместо иконы у нас жила «Сикстинская мадонна». Митечке подсадили в нагрузку к книгам. Тогда Митечка прикупил и «Ивана Грозного и сына его Ивана».

«Мадонну» мама суеверно приняла.

Сама повесила на кнопках.

А от «Грозного» отказалась.

Трубочкой поставила тут же. В угол.

– Не. Не треба такое на стенку. Кровь... Чи они за шо подрались?..

– Ойё-ё! – выпел Митечка. – Да вы хоть знаете, кто этот?.. С посохом?.. Сам царь! И знаете, за что примочил сыночка-царёнка? За ле-бе-дя!

– Ца-арь? А ума и с прикалиток нема! За двойку убить сына?! А ну назавтра сын пятёрку принеси? Шо тогда делать?

– Ждите! Мёртвые много чего натаскают. А картинка воспитательная. Урок нашим архаровцам. Чтоб знали, как двушки хватать!

– Дельно-ой!.. Делопут!.. – скептически отмахнулась мама. – Не всем с пятёрками обжиматься. Худо-бедно, наши чужие баллы не берут, из класса в класс без задержки переезжают. Ни один нигде два года не канителился. Ехали на трочках, на четвёрочках. Антоненька и пятёрочки густо пристёгивал. Экзаменты хóроше сдавали, лишние баллы не брали...

Редко, в яростную грозу, мама молилась Мадонне. В тре-

воге и мы к Богу, а по тревоге забыли о Боге.

Митечка подшкиливал:

– Это разве икона? Это совсем не божественное! Просто картинка. На что молитесь?

– И ты б помолился, рука не отсохнет.

– Неспособный я к этому... Как-то раз хотел перекреститься, чуть глаз не выколол себе. И вообще... Не могу я сотворить со лба на пуп. Комсомол!

– И-и... Нашёл чем хвастаться?

Мама поклонилась Мадонне.

– Отче наш, – зашептала, крестясь, – сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Хлеб наш насущный дай нам днесь...

Куражливый богатырский гром потрянул её, она заторопилась рукой, словом:

– И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.

Мама не могла сразу свести благостных глаз с Мадонны, и от открытия, сделанного мною в этот миг, я чуть не вскрикнул. Да наша мамушка красива, как Мадонна на картине! Лицом, статью разве хуже? Про одежду смолчу. Так зато обе босиком!

Мама опустила налитое божьим светом лицо. Пока стояла

в молитве, с неё сцедилось разлитое море. Острый нос воды пиратски летел к печке.

– Э-э-э... девушка... Потоп принесла, – попрекнула себя.

Вытерла тряпкой воду, переоделась в сумерках у двери в сухое. Кинула месиво со стола на сковородку.

Скоро сковородка засипела на керогазе.

Самый раз открывать глаза.

Хватит прикидываться засонькой.

– Вставай, сынок. Обед греется.

– Да нет. То Ваш завтрак мёрзнет на огне. Пока не съедите, не притронусь я к пшёнке.

– Дела! Штрахонул!.. А знаешь, меньше ешь, лучше бегаешь. Зимой, как кабана зарежем, бувало, мяса поем – сердце стучит палкой по рёбрах. Бух! бух!! бух!!! Выйду на двор – в глазах радуга. Идёт человек, не вижу – маяк в цветку.

– Разве Вам мясо кто навяливает?

– Мясо... Я щэ молода була, помню. В церкви к батюшке подошла старая жинка. Кажет: «Батюшка, я не постюся в посты». – «Почему?» – «Да я прибалываю. Мне молоко надо пить». – «Знаешь, сколько я учился, сколько батюшкой ни читал – не встречал, что человек от постного умер. Если ты слыхала, объясни мне». – «И я не слыхала». – «Надо поститься. Надо молиться и ходить на источники». Бачь, як? Здоровье в постах!

– Поститесь, поститесь... Грешника я б ещё понял. Разлетелся в рай пролизнуть. А Вас не понимаю. Да Вы будете

в раю и без постов!

– Наскажешь... Я в раю нэ була. А ад бачила во сне. Иду. Моя знакомка в смоле сажает картошку. Какая картошка в смоле?

Месиво на сковородке засерчалю, заворчалю, как сырое поленце. Пригляделся – зябкий намёк на кукурузный хлеб.

– Ма, вот по книгам, по кино везде дети говорят с родителями на *ты*. Нас никто не учил, но мы с Вами на *Вы*. Почему?

– Ну как это отцу-матери ляпануть *ты*? Иль отец-мать уличный товаришок? Да у нас в Собацком, если девка назовёт мать на *ты*, её протянут скрозь игольное ушко. Её в жёны не возьмут. Всех будет тыкать! Кому снадобна такая ига?

Без охоты мама поела свой размякый липкий хлеб.

Макала луковичку в соль и ела. Как на чаю.

Потом мы союзом навалились на густой пшённый суп.

– Не поймёшь шо, – сказала о нём мама. – Ни кулеш ни каша. За вкус не поручусь, а горячо будэ... Ну, як кулеш?

– Горячий. Прошу ДП.

Мама налила ещё миску:

– Твоя дополнительна порция.

Я глянул в окно. Вздохнул:

– А дождь разбежался купать до вечера...

– Тогда, может, пойти в сарай, замазать стенку? Совсем же отвалилась до костей.

– Будете мазать, дождь следом смое. Посуху к стенке на-



до кидаться.

От сарая я её отговорил.

Делать нечего.

Мама достала не довязанный Глебу носок.

Вязка ей не понравилась. Редкая, как бредень.

Носок она отложила на потом и с шитьём под села ко мне.

– От житуха... Токо в дождь и побачишь сыночка... И куда мы, шкабердюги, всё бежим? Всё боремся... Всё воюем без конца-краю. С кем? Зачем? Вот задача для мозгов...

Её взгляд скатился на мою тетрадь рядом с подушкой.

– Где ж тут у тебя буквы получают? Плохо пишешь. Глеб хорошо пишет. А у тебя ни одной буквы не найти. Как ты понимаешь? Тута букв нема, одни крючочки.

– Чище ищите... А помните, ма?.. Я в первый пошёл класс. Дали задание домашнее. Сижу делаю. А Вы заглянули ко мне в тетрадку, по слогам прочитали одно слово *рассказ* и сказали: неправильно. Надо *разказ*. Я кричу: *рассказ!* Вы на своём. *Разказ!* Я букварь показал. В букваре *рассказ*. А Вы: «Да то ошибка. Надо *разказ!* Да чего они тама понимают?!»

Мама конфузливо смеётся.

Стучит себя пальцем по виску:

– Ума недостаток, то и кричала. Я ж целый месяц в школу ходила. Всё знаю! Мама с татом в один голос: хватит учиться, сиди с Петром. Этот Петро совсем не даёт прясть. Приходила учителька. Почему не пускаете? Девочка хорошо берётся. Тато и каже: надо Петьшу нянчить... Я буквы знала.

В газете буквы сливаются, все на одну личность. А ты буквы все знаешь?

– Да вроде.

– Вот буквы... Вот сны снятся... Кто их создаёт?

Бело мелькала в тишине иголка, старательно гонялась за нею чёрная нитка. Лишь за окном шум. Дождь совсем распузырился. С крыши валилось рекой.

– Как там Глебуньке служится? Как уехал, в хате навроде тихо стало, скучно, даже стены кусаются. Дом пустой, углы пустые, стены пустые... Всё пусто... Что-то гонит, вымывает из хаты. То какая-то забота... А то ничего... Кто там об нашем Топтыгине подумает?

«Уж Вы не дадите ветру дунуть на золотого Глебуньку... И что это все песни об нём? Один свет во всех окошках!»

– Интересно, – тянет меня ревность за язык, – он и там пьёт воду на спор, чтоб заработать лишнюю губу?

– А к чему это ты про воду?

– А помните?.. Или забыли? Я Вам уже рассказывал... Как-то... Года три назад... В жару не манило дёргать чай. И бригадир, любезный Капитошка, скажи мне с Глебом: «Выпьете вдвоём ведро воды, запишу по полнормы чая». Мы погеройски выкушали целое ведро. Меня сразу сорвало, оптом вылетела вся водица. А у Глебика колом стояла в горле, вырвать не мог. Неделью ненавидел воду, не пил ни водинки.

Мама грустно вздохнула:

– Ну и глупёхи были... А воду пить надо, – заметила на-

зидательно. – Конечно, не цистернами... В воде все мита... мита... мины. Вот скажи, почему холодная вода укусейней тёплой? Даже аж сладит навроде?

– В холодной воде больше свободного кислорода, потому и вкусная.

– А что такое кислород? Да ещё свободный? От чего свобода? От физкультуры в школе?

– Ну-у... Вам и за год не объяснишь. Лучше скажите, что это у Вас вид бледный стал?

– Дела! Да умылась с мылом!.. Вот ты хвораеть, я тоже прихворнула как-то в Криуше. Уже год взамуже була. Ага... Мама с татом ушли до церкви. Дома я да Никита. Пришёл слепой с отакенной толстючей книжкой. Говорит, назови какое число, месяц-год рождения. Я сказала. Тогда он и говорит: выедете вы отсюда, дети маленькие. Выедете в чужой край. Одно из вас возьмётся, одно останется. И кто останется, трудно будет жить с детьми и будет жить, если не умрёт в сорок лет, или семьдесят три или восемьдесят три. Три запомнила, а первую цифру потеряла. Головешка по пую не робэ... Если семьдесят три, мало осталось. Иногда мне сдаётся, что семьдесят три тоже уже проехали, и я думаю, доведёт ли бричка до станции Восемьдесят Три? А может, на восьми десятках перекинется?.. Что мы знаем?.. Одна смерть честная. Никто от неё не откупится, никто не отмолится. Хоть бы кто нарошно рассказал, как *т а м*. Хброше ли, плохо ли?.. Одна жинка росказувала. Её сестры муж

пас коров. Утром выгонял, ничего. Прибегают: иди, помер твой. Побежала... Умер у коров... Обмыли, сховали. Вечером люди мимо кладбища проходили, слышали голос. Взяли мужиков. Раскопали. Чем укрывали – скомкано в ногах, перевёрнутый вниз лицом... Вот... Что мы знаем?.. Пока будем шкандыбать... Да, жинзя... Не так просто... Ничего, меньше греха напутаешь, если меньше жить... Всё сбылось, что говорилось.

– Ма, Вы б рассказали про себя, про своих, про Родину. А то всё смешком, смешком. Слово скажете, два в уме. Расскажите! Спешить некуда. Косохлёт всё равно не выпустит сегодня на чай.

– А шо, хлопче, рассказывать? Ну шо? Или не знаешь, шо мы русского воронежского корня?.. Из хутора Собацкого под Калачом? Цэ я из Собацкого. А батько ваш из Новой Криуши... Там рядом... Тато, а тебе дедушка, всегда писались Долгов Владимир Арсеньевич. А маму, тебе бабушка, писали до замужа Кравцова Александра Павловна. Чего щэ? Поуличному наших звали Панасковы. Панаски.

– Родители были хорошие?

– Хорошие.

– В чём это выражалось?

– А я знаю это выражение?.. Голодом не сидели... Земля своя. Хлеба багато. Хороше жили. В доме всё було. И картохи, и капуста, и огурцы...

– Да Вы не кулаки были?

– Иди ты! Не кулаки – дураки были. А и то... На дураках свет стоит.

– Плохой свет.

– А разве хороший? Я до си не расцарапаю своим умком, шо ж тогда навертелось. Я уже за мужем жила, в Криуше, як стали сгонять, табунить в колхоз. И кто сгонял? Ну, приезжали уполномоченные. Рукой водители. Ручкой водили. Уполномоченный сидит, як пешка на яйцах. Подсыпать, так, может, хоть курчат высидел бы... А загоняли *свои своих!* Загоняли кнутом. Загоняли свинцом. Загоняли по колхозам. Загоняли по Сибирям... Перевернулся мир! Вчера этот лодаришка, безграмотник, гулькяй, сатюк, сидяка не желал и куска хлеба поднять со *с в о е й* земли. Лень да дурь скрутили! Бросал лодырюка, не обихаживал *с в о ю* землю и как собака с голода скаучал, за одну еду разготов бечь к кулаку. Кулак добрый. Кулак его кормил. Без кулака этот талагай, гуляка подох бы с голоду... Медалька перевернулась, и неучка, лодыряка влез в честь! Кусок лодыря активистиком стал! Вскочили активистики, как дождевые пузыри. Злые, как волки на привязи. И кинулись учить кулака жить. Хозяина учить? Я и под пулей скажу, кулак – золота ком. Кормил всех без разбору. Завистливому паразиту-лодарю не понаравилась его хозяйская удадь. Объявили кулака врагом. Какой же он враг? Трудяга из трудяг! Ломил, як лошадь! Руки в кровавых музлях. Света за работой не видал. Ско-оль поту вливал в своё поле?!

– Ваши чужих внаймы брали?

– Зачем? Своих рук нема?.. Ни одного работника не держали!.. И стали лоботрухи править. Поп-лы-ыл горлопанистый навоз по вешней реке. Залез навоз во власть. Теперь он гыс-по-да-а... Гм... Господа... Из тех же господ, только самый испод... Где партбожок... где секретарёк... где председателишко... где бригадирик, где учётчик... Присосались... Этот кусок лодаря скоренько рассортировал кого куда. Кого в колхоз. Кого в Сибирь. И присмирели... Колхоз катком сплющил всех ровно. Сидят все одинаковые. Все нищие. Все голодные. Все до беспамяти злые... Воровитые... Хо-зя-ва... Да плоха вору пожива, где сам хозяин вор... Чего они добились? Видано ль, чтоб на воронежском чернозёме – лучший в мире! – возрос голод? А активистики добились. Им и это сказалось по плечу. Веками никто этого не мог добиться, а они в считанные год-два уклались. Что же так люди ненавидствовали?

– Эта песенка, ма, до-олгая. Ещё дьяк Висковатый сказал вон тому дяде Ване Грозному, царю, – ткнул я пальцем на свёрнутую в трубку картину в углу, – что «мы, русские, ни в еде, ни в питье не нуждаемся, но друг друга едим и тем сыты бываем». Сказал ого-го-го сколько веков назад. Что же было ждать от наших борзых активистиков?

– А! С дурака масла не набьёшь. И такая хорошая жизнь закрутилась в колхозе, такая расхорошая, что взвыли мы от ихней хорошести и завербовались на север на лес. Кого ссы-

дали на север, а мы своей волей...

– Пойдите, пойдите! Вы что же, были в колхозе? Я что-то такого от Вас раньше не слышал.

Мама смешалась, покраснела и бросила на меня быстрый тревожный взгляд:

– Да иди ты!.. Наговоришь... Ще посадять...

– За что?!

Мама отмахнулась.

– И слушать не хочу! Были мы в том колхозе, не были – тебе-то какое горе с того? Давай этой беспутный разговор замолчим.

– Почему?

– И что ты присикавляешься с тем колхозом? Надоело вольно ходить по земле? Давай эту пустословку бросим! Иля ты взялся загнать меня за решётку?

– Вы что? Какая решётка? Кто слышит? Дождь с улицы?

– И твой дождь, и стены...

Она что-то недоговаривала. Неясный страх толкся в её глазах, и я отлип с расспросами.

Мы долго молчали.

Наконец она не выдержала молчания, первой заговорила как бы оправдываясь:

– Не понравилось... Сели да поехали...

– Своей волей? – не удержался я от вопроса.

– Божьей! – сердито выкрикнула она.

– Я и на божью согласен, – уступчиво усмехнулся я. – Только не гоните, ма, так быстро коней. Вы пропустили, как познакомились с отцом, как сошлись.

– Иди ты! – в смущении отмахнулась она. – Что там интересного?.. Ну... Пошла шайка дивок в Нову Криушу. На какой-то праздник. Шагали пишки – девять километрив. Царёхи невелики, коней не подали... Попервах я увидала *его* в церкви. Пел в хоре с клироса. Белая... – или кремовая? – рубашка, синий галстук, чёрный кустюм... Подкатил коляски на улице. «Пошли на качелях качаться». Никакого слова я ему не ответила, только кивнула и пошла следом. Девка, как верба, где посадят, там и примется... Ну... доска на два человека. Хлопцы становят девчат, кто кому наравится. И там договариваются...

– Раньше Вы вроде вмельк говорили, что катались с ним на карусели...

– Можь, и на карусели... Разь до этих годов всё допомнишь в полной точности?

В печальном угоре мама подняла глаза к портретнице на стене. Оттуда на неё смотрели смущённые молодые она сама и отец с удивлёнными весёлыми листиками ушей. Глаза у него были полны радости.

– Жанишок... сватач набежал хватик... Смола-а... Как подбитый ветром целый час угорело качал, всё жу-жуж-жу-жу-жуж-жу про сватов, пока не согласилась. «Я приду сватать». – «У меня есть мать, батько. Отдадуть – пойду, не



отдадут – на этом прощай». Проводил до околицы... Отстал... Мои подружки Манька Калиничева, Проська Горбылиха так потом про него казали: «На лицо нехороший, а характером хороший». Видали ж только на качелях! Сколько там видали? Когда и успели его характер расковырять, до сегодня не пойму.

– А Вы и тогда красивые были?

– Да себе наравилась. На личность чуть Глеб сшибает, но он худяка. Лицо у меня круглое було, полное. Темно-руссая толстая коса падала за пояс... Она и посейчас ниже пояса... Розовая юбка, розовая кофта, белый шарф. Нарядяться люби-ила... Ну, отжили мы лет с восемь, поехали кататься... Север... лес... лесозавод... Батяко катал крюком брёвна к пилке... Я стояла на пилке-колесе. Доски шли по полотну. Поперёд меня бракёр вычёркивал негодный край. Доска доходила до меня, я отрезала. Ногой нажмёшь на педальку и доска расхвачена. Хорошее бросаешь в хорошее, брак в брак.

– В Заполярке на какой улице Вы жили?

– На какой улице?... Зовсим забула... Тилько помню... Там, там, там двор, а кругом вода. Земли и жменю не наберется.

– И что, лесной завод на воде стоял?

– Кто же завод на воду посадит? Стоял-то на земле, а земли не видать. Всё в досках выстлано... В Заполярке ты нашёлся...

– Долго искали?

– Не дольше других... Девять месяцев. Толстыш був. В яслях був ще один Антон, худячок. Придут кормить, няня няне: «Какого Антона пришла мать?» – «Хорошего»... На севере питались мы хорошо.

– А чего ж уехали?

– А-а... – усмехнулась мама. – То полгода темно, то полгода не видно... без света... Полгода ночь, полгода день... Беспорядица... А тут ещё финн под боком замахивается войной... Разонравилось. Снова увербовались теперь аж в Грузию... Сюда...

– И только своей волей?

– Своей! – с вызовом ответила мама.

– А что же не вернулись в Криушу?

Мама грустно покивала головой.

– Чего захотел... – И с натугой улыбнулась. – Криуша дужэ близко...

– А Вам надо через всю страну! С севера на юг! С воды на воду!.. Подальше куда...

– Надальше, надальше да потеплишь... Тут, в Насакиралах, хватали мы лиха полной ложкой. Живуха досталась... Война, голод... Часто и густо без хлеба сидели. Неплохо досталось. Всё батьково улопали. Сменяли в грузинах на кукурузу. И сапоги... и все пальта, и все кустюмы... Я чула, по хороших, богатых домах берегут вещи покойного. Стул *его* всегда в углу под иконой. Не стало, скажем, батька, как у нас.

В праздник подвигают той *батьков стул* к столу, наливают полный петровский стакан водки, ставят напротив *батькова стула*. И никто на той стул не сядет, никакой запоздалый гостюшка не схватит *его* стакан. А мы, нищebroды, всё батьково улопали. Будет нам грех великий!

– А может, Боженька ещё простит? Не от сладкой же жизни...

– Да уж куда слаще? Получишь в день кило триста хлеба. На пятерёх! Хочь плачь, хоть смейся. По тонюсенькой пластиночке отхвачу вам... А всё кило Митька бегом в город. За сто рублей. На ту сотнягу возьмёт кило муки. А на киле муки я ведро баланды намешаю. Кинетесь хлебать, друг за дружей военный дозор. Как кто черпнул загодя снизу – ложкой по лбу. Чего со дна скребёшь? На дне все комочки, вся гущина, вся вкуснота! И заплясала драка не драка, но крику до неба. Ты с Глебом гуртом против Митьки. Двох он сразу не сдолеет, отложит на потом. По одному потом подловит, сольёт сдачи... И нащёлкивал вас, и кормил. Большак, старшина наш... Как воскресенье, часто и густо бегала я с ним к грузинам взатемно. Тохали кукурузу. Наравне. Десять лет, а он не отставал. Понятя не знал, как это устать и отстать от матери. А давали мне за день одно кило, а ему полкила кукурузы... И без меня, один тайкома уныривал на заработки. Три раза поесть и пять кочанов домой. И весь дневной прибыток. Кру-уто досталось...

– Ма, а Вы помните Победу?

– А не то! Девяте мая, сорок пятый. Люди гибли тыщами на тыщи. И на – замирились. Объявили Девяте нерабочим. Думаю, надо сбежать на огород, досадо кукурузу. А Аниса Семисынова и каже: не дуракуй, девка, язык твой говорит, а голова и не ведает. Пойшли лучше в город праздновать. А то ночью заберут... Побрали всю свою детворню, поскреблись в город, на базарь. Грошей нема ни граммулечки... Подумали-подумали у яблук на полках и вернулись с пустом. Весь и праздник. Зато вечером обкричались. Кричи не кричи, батька криком разве подымешь? Хотя... Чего ж ото здря языком ляскать? Сколько було... Придёт похоронка, платять пенсию. А туточки тебе сам с хронта вертается... Треба ждать... Обида по живому режет... К другим идуть, а наш не... Как Христос, в тридцать три годочка отгорел. Что он ухватил шилом жизни?

– А Маня и того меньше, – под момент сорвался я и спёк рака (покраснел).

Во весь наш разговор я боялся проговориться про Маню.

Ну зачем скользом ковырять болячку?

Но вот само слетело с языка.

И мне кажется, мама уже знает, что я был сегодня у Мани и скрываю, ничего про это не говорю.

– Я, ма... – покаянно валятся ватные мои слова, – к Мане ездил.

– И хорошо, что проведал. А то одной *там* скучливо.

– Да нету её *там*! Всего кладбища нету! Понатыкали ду-

рацкого чаю... Плакатики кругом... Даёшь семилеточку в три дня!.. Или в три года... Чёрт их разберёт!

– Не шуми... Я всё знаю... Маня родилась в сорок втором, в пятницу девятнадцатого июня. Кажинный год в этот день хожу к ней. Ни одного рождения не пропустила.

– Знали и молчали?

– А что ж всех булгачить? Что это поменяет?.. Боже, что же происходит? Куда мир идёт? Усач выдушил село. Малахолик Блажененький додушил остатки. Личный скот кинул под нож, поотхватывал огороды по порожки, все лужочки перепахал. Что же он камня с Красной площади не повыкинет и не зальёт ненаглядной своей кукурузой? Какие пропадают площадь?.. А то поглядывай из Кремля, как она растёт. Сам бы полол... Целину убил... нигде вольной травинки. Козу некуда вывести... Церква поприщучил... Сломали житьё живым. Дорвались до мёртвых. Сровняли кладбище, забили чаем. Невже с того совхоз озолотится? Да и какой чай на детских косточках? К чему всё идёт?

– К счастливому будущему, ма... Через двадцать лет будете купаться в благах коммунизма!

– Не утонуть бы в тех твоих благах-морях.

– Они не мои. Они коммунякские.

– Охо-хо-о... Включи брехаловку – через край хлбышет разливанный той радиокоммунизм. Выключишь соловья – тихо, нема коммунизму. И когда ни послухай того соловья – тип! тип!! тип!!! – Мама глянула на приёмничек «Москвич»

на подоконнике. – Они что, курят скликають?

– То не тип. То целый *Дун!* Догоним и перегоним! Лозунг такой. Догоним и перегоним Соединенные Штаты Америки по производству продуктов питания на душу населения! Ну, налетай! Наши и дунули. Раз «разрешён обгон Америки».

– И как?

– Да в Рязани, по газетам, уже догнали вроде по молоку. Бегут ноздря в ноздю... И догоняли комедно. Хозяйства скупали масло в магазинах и напрямик везли на молокозавод в зачёт уже своего молока. Вроде как сами произвели... И закружились одни и те же ящики с маслом по одному и тому же замкнутому кругу: магазин, колхоз, молокозавод, магазин... Магазин, колхоз, молокозавод, магазин... Фирменный советский ци-и-ирк! И хлынули по Рязани бумажные молочные реки! И даже первым захлебнулся тем «молочком» сам первый секретарь обкома партии Ларионов. Не столько захлебнулся, сколько застрелился. Первый не вынес первым «изобилия». Не вынес, как мир стал хохотать над творцом бумажных молочных океанов.

– Ё-ё-ё!.. Страм якый... Догонять оно, конечно, надо. Но перегонять Боже упаси.

– Почему?

– Видно, как голый зад будет сверкать... Дёргаются из края в край, как неприкаянные в ночи. Кто ходит днём, той не спотыкается... А кто ходит ночью, спотыкается: нету света с ним... Нету...

Мама отрешённо уставилась в окно.

Я немного помолчал и поинтересовался:

– Что новенького на горизонте?

– Да... Каков ни будь грозен день, а вечер настанет. Настал... Дождь посмирнел... Митька прогнал коз в сарай. Треба идти убираться.

*Розы хороши, пока свежи шипы.*  
*Л. Леонидов*

Митрофан ворвался ураганом, аврально затряс ладошками, как птица крыльями, что хотела полететь, но не могла и сдвинуться с места.

– Подъём! Подъём! Подъём, мусьё Лежебокин! – Стукнул кулаком пустое ведро в бок. – Наряд вне очереди, якорь тебя! Бегом за водой!

– Извините, я в некотором роде больной.

– Именно. В некотором роде! Воспаление левой хитрости?

– Правой! – огрызнулся я.

– Пластаться на велике мы здоровы. А принести родной матери ведро натуральной воды – мы неизлечимо больны? Ну чего торчишь, как лом? Топай! Расхаживай ножку! А то мне одному слишком жирно будет. Устал, извилины задымались... Летел с чайного фронта, по пути захватил коз и без передышки дуй на новый фронт! На дровяной!

– На какой?

– На дро-вя-ной, якорь тебя! – Митрофан прокудливо хохотнул. – Ну что задумался, как поросёнок на первом снегу?

Он схватил утюг и побежал к розетке, куражисто напевая:



- **Первым делом мы испортим самолеты!**
- **Ну а дебушек?**
- **А дебушек потом!**

Он воткнул утюг в розетку, кинул одеяло на стол.

Степенно раскладывает свои флотские брючата по одеялке.

– Да знаете ли вы, сударёк, что одно удовольствие с защёлкой равносильно разгрузке *втроём* вагона дров? – строго экзаменует он меня.

– Это ещё надо посмотреть, что там за девушка...

– Есть такая пассия! – лозунгово выкрикнул Митрофан, вскинув руку топориком, как Ленин на памятниках. – Не переживай. Мне сегодня предстоит исполнить великую миссию. Лохматый сейф взломать!<sup>197</sup> Тело в тело – любезное дело!

– Круто разбегаешься... Не перебивай... Надо ещё посмотреть, что там за девушка, какой там вагон и что за дровишки...

– Сильно не переживай якорь тебя! Герлушка на ять и дровишки – соответственно. Не уснёшь! Эх, подопри меня колышком до самого доньшка! Размагнитимся в полный рост! Дунечка с мыльного завода, поди, уже ждёт своего ко-

---

<sup>197</sup> Лохматый сейф взломать – изнасиловать.

лобаху!<sup>198</sup> – постучал он себя в грудь. – Так что я сейчас бегу на разгрузку. И мне некогда крутиться с водой. Надо ещё погладиться. Чтоб чин чинарём! Чтоб безотбойно!

– И что, вагон уже подан под разгрузку?

– Подан, дорогуша, подан, якорь тебя! Вчера всю ночь гонял по путям, к месту подлаживал. Наверняка стоит ждёт в боевой готовности номер один. – Щёлкнул по часам на руке. – Опаздываю! Уже простой! Штраф настукивает охеренный. А у меня брючки без стрелок. Авария!.. Чтоб псиной не воняло...

Он оросил себя одеклолоном, набрал в рот этого своего тройного, важно запрокинул голову и, ополоснув зубы, проглотил, проговорив:

– Чтоб благоухал изо всех щелей, со всех флангов! Ну, клара целкин,<sup>199</sup> па-а-аберегись!!! – в исступлении потряс он кулаками.

– А главное... Ничего в отходы! – подхалимно подпустил я. – Замкнутый цикл!

– Так точно, наивный албанец! Безотходное у нас производство. Не мелькай перед глазами, как гюйс.<sup>200</sup> Кыш, кыш за святой водичкой! Не надейся на меня. За водичкой мне бежать некогда. Дровяную битву я не отменю. И не отложу на потомушки. Один дальномудрый дядько как говорил? Не

---

<sup>198</sup> **Колобаха** – старший матрос на судне.

<sup>199</sup> **Кларацелкин** – девственница.

<sup>200</sup> **Гюйс** – матросский воротник.

откладывая работу на субботу, а самое сладенькое – встречу на Эльбе! – на старость. Я с ним, ёлки-ебалки, вполне солидарен! Ничего на старость! Ну! Хватит изображать шум морского прибора.<sup>201</sup> Кыш!

Он помотал мне двумя пальцами.

Я костыль в одну руку, ведро в другую и поскрипел.

После дождя всё кругом развезло.

Медленно, ощупкой обминул я дом, бочком спустился по стёртым каменным ступенькам на дорогу, что одним концом утягивалась широко в город, а другим в центр нашего совхоза.

Внизу, в овраге, жила криница.

Отмыто, свежо смотрели с кручи пальчатые листья каштанов.

Я заглянул с дороги вниз, в сырой мрак, и мурашки побежали по мне. Господи, там не то что руки-ноги – костыль вывихнешь!

Может, пойти к колодцу у столовки?

К колодцу далеко. А к кринице кубарем катись?

Была не была. Не робь!

Я тряхнул звончатым ведром и бочком посунулся по террасной тропке к воде.

– Замри! Замри!

Я остановился.

---

<sup>201</sup> **Изображать шум морского прибора** – притворяться посторонним.

Из-за ёлки, будто из самой ёлки, из самой сказки, вышла тоненькая, стройненькая девчоночка. Она была такая красивая, что я бы и безо всяких указов замер, увидевши её.

С простодушной улыбкой она подошла ко мне, потянула за дужку.

Я не отпускал. Замри так замри!

– Пальчик, хорошенький, – тихочко погладила она мой большой, наладонный, палец, – отомри, дружочек, на секундушку.

Я приподнял палец.

Она стеснительно взяла ведро. Шепнула:

– Снова замри.

И её белое радостное платье быстрым парашютиком поплыло вниз по винту стёжки.

Зачарованно пялился я в овраг, в темноту, и темнота пятилась перед нею; белый веселый столбик пролетел к кринице, постоял там, пока набегало из трубки в ведро, и заторопился назад.

– Замри! Замри! – бархатно приказал голосок, когда она проходила мимо, и пропала. Понесла воду в дом?

Я стоял лицом к оврагу и не смел повернуться для подглядки.

Я мёртв.

А разве мёртвые вертятся, как сорока на штакетине?

– Отомри, костылик!

Она вернулась неслышно, мягко подпихнула меня в ло-

коть, и я послушно пошёл с нею рядом.

– Воду я поставила у вас на крыльце и бегом сюда... Я что скажу... Этот глазопьял... Этот водоплавающий мокрохвост в бескозырке тебе братеник?

– Ну. Из техникума брали. В Евпатории служил. На флоте.

– Этот рыбий корм<sup>202</sup> армию целую отбухал! А в голове у шпрота<sup>203</sup> пустыня!.. Площадка<sup>204</sup> на макушке – хоть футбол гоняй! Осталось там в хозяйстве две волосинки в семь рядов. Старей чёрта! А по нахалке липнет... Какую моду выдумал? Лезет, куда и самой совестно лезть... Скажи, пускай за-напрасно не старается этот разваляшка. Ещё фигурирует морской формой. Подумаешь! Меня его ленточки не колышат. Так и скажи. Не надейся, дед, на чужой обед. Уплыла Женечка к покуривее... Сейчас сюда примчится этот гиббон. Айдаюшки на чай?

По желобку канавы мы спустились немного вниз меж чайных кустов. И остановились.

– Так скажешь?

– Угу.

– Ты настоящий друг, костылик.

Женя скользом коснулась щекой моей щеки и хорошо за-смеялась.

Дух во мне занялся.

---

<sup>202</sup> **Рыбий корм** – моряк.

<sup>203</sup> **Шпрот** – моряк, служивший на берегу.

<sup>204</sup> **Площадка** – лысина.

– Рыжик-костылик, а почему у тебя веснушки? Ласточкины гнёзда разорял?

– Не разорял я ласточкины гнёзда. Веснушки совсем от другого... От рождения...

– Или рискнуть и для начала повериться на слово?

– Я б лично без колебаний поверил.

Женя хлопнула себя по лбу:

– Придётся! Вспомнила... У вас же над окном ласточкино гнездо. А ласточки вьют гнезда, где живут хорошие люди!

– Вот видишь... И вышли мы на хороших... А ты ещё сомневалась. Веснушки со мной с рождения... Без обманства...

– А хочешь, я каждую твою веснушку поцелую?

Я не удержался. Я не хотел, но руки как-то сами обняли её, подпихнули ко мне, и я мёртво вжался в её губы плотно стиснутыми губами.

Она ласково отдёрнулась, тихонько засмеялась.

– Ну кто же, клещ, так целуется?

Я ни слова не мог сказать.

– Верно ведь как... Не давай младенцам целоваться: долго немые будут... Какой же ты запущенный? Даже целоваться не умеешь, чики-брики. Но не тушуйся. Со мной не пропадёшь. Запишем ко мне на курсы молодого гусара?.. Научу!

Ученик я был не такой уж и безнадёжный, и наука была не такая уж неприступная... Не такие бастионы брали!

Светил месяц.

Капли на чайниках горели жемчугами.

Повыше, в сотне шагов от нас, за дорогой, на волейбольной площадке напротив Женина окна кипели танцы.

На голенище<sup>205</sup> ватно пиликал наш Митечка. Сидел непроницаемый. Как сфинкс.

Ни Женя, ни я не любили танцы. Ну какие сладости в этом дрыгоножестве, в этом рукомашестве?

Но Митечкино пиликанье нам не мешало. Вокруг и в нас самих было столько счастья, что его хватило бы всему миру.

– У моей у милки уши,  
Что раздавленные груши.  
Лоб крутой, гора горой.  
Нос загнулся, как пробой.

Губы ну как есть ватрушки,  
Щеки словно две подушки  
И глядят во все глаза,  
Да не видят ни аза.  
А как с ней плясать пойдёшь,  
Так живот лишь надорвешь.

Это Юрик мой чудит.

Охохошек знает он вагон и тележку.

Интересно, кто с ним выбежит пострадать?

---

<sup>205</sup> Голенище – баян.

– В тем краю милёнка бьют,  
В этом отдаётся.  
Хорошенько подлеца,  
Пушай не задаётся!

Это резанула круглявая Саночка Непомнящая, новая симпатия Юрика.

Все танцы хохочут. Даже волейбольные столбы и их единственная верная подружка сетка.

Нет бы Саночке смолчать. Или про что сердечное. А то такую оплеушину в ответ!

Не бойсь, Юрик за себя постоит!

– Моя милка семь пудов,  
Аж пугает верблюдо́в.  
От неё все верблюдо́ды.  
Разбежались кто куды.

Ах, так? Получай же!

– Не садися на коленки,  
Много места на бревне.  
Ты с другими задаёсса,  
Интересту мало мне.

Нельзя же без конца обносить словами, перекояться!  
Надо сбежать этажиком ниже.



– Ты скажи, моя милáя,  
Пара что ли нас плохая?  
Ты горбата – я хромой,  
Ты слепая – я глухой.

Долго Саночка не может зло копить.  
Да и он чуть напопятки отхлынул.  
И берёт она жалостно, покорно.

– Эта чудная походка  
Извела меня в чахотку.  
Эти карие глаза  
Сердце режут без ножа.

И тут же забивает было запевшего Юрика.

– Почему ты не пришёл,  
Я ж тебе велела.  
У меня до двух часов  
Лампочка горела.

Юрик повёл с видимым отчуждением.

– Не пиши, милка, записки.  
Не пиши ты жалких слов.  
Не трать беленькой бумажки.  
С тобой кончена любовь.

Ну кто ж тут не изобидится?

И полоснула Саночка с укорным вызовом:

– Я страдала, страданула,  
С моста в речку сиганула.  
Из-за такого дьявола  
Три часа проплавала.

Горе несказанное. Какое сердце не дрогнет? Какое сердце не пожалеет?

– Что это за реченька –  
Голуби купаются.  
Что это за девушка –  
Все в неё влюбляются?

Кто же ещё? Эта девушка Саночка! Спасибо, заметил!  
Добро добром аукнется.

– Милый спит, тихонько дышит.  
Я целую, он не слышит.  
Он всё спит, а я лелею.  
Разбудить его не смею.

– Из-под моста плывёт утка,  
Серая, пушистая.  
Сидит милка со мной рядом,  
Как сирень душистая.

– На горе цветы алеют.  
А я думала – пожар.  
Ну кому какое дело,  
Меня милый провожал.  
– На краюшке, на краю  
Целуют милую мою.  
А я кругом бегаю.  
Ничего не сделаю.

– Продам шаль свою пухову.  
Куплю милому обнову.  
Возьмите шаль мою, пропейте.  
Только милого не бейте.

– Я отчаянный родился  
И отчаянным помру.  
Если голову отрубят,  
Я полено привяжу.

– Милый курит, дым пускает.  
Меня дымом угощает.

Невысок гостинчик дым. Я могу и на большое рискнуть!

– Куплю милке лисапед.  
Удивлю весь белый свет.

Что ей велосипед? Есть штуки поважней.

Надрывно, требовательно подаёт она вещи своими именами:

– До-ождик идёт, трава мо-очится.  
Ох матушка, замуж хочется!

И тут же, без передыха, – угарно, бесшабашно:

– Иэх яблочко крупнорезаное,  
Не целуйте меня,  
Ведь я бешеная!

Полнушечка Санка добротнo топнула. Вбила последний гвоздь до дна земли. Амбец! Танцы-шманцы-обжиманцы кончились!

Всё разом загалдело, задвигалось, брызнуло хмельными ручьями по все стороны.

Еле слышно Женя давнула мне локоть. Мол, пошли и мы себе.

Боже, как же уйти от всего этого?

От этого радостного месяца в небе? От этих далеко видимых таинственных селений? От всего этого святого торжества кавказской ночи?

По стёжке мы поднялись на пупок бугра, к ёлкам вдоль дороги.

Неведомая властная сила заламывает моё лицо назад. Посмотри, посмотри же ещё раз, от чего уходишь!

Именно на этот простор меж ёлок я прибегал по пасхальным утрам смотреть, как откоренялось от гор, восходило и играло солнце в Великий День.

И сейчас, в осиянной ночи, оно играло...

*Если мужчина настойчив, он обязательно добьется того, чего хочет женщина.*

*Г. Малкин*

Довёл я Женю до её порожка, а уйти не могу. И ей неохота одной бежать в знобкую ночь барака.

– Знаешь, – сказала она, – айдайки к нам. Побудешь немного.

Мы вошли и вся комната заржала.

На трёх койках сидели в обжимку парочки.

Четвёртая, наверное, Женина койка была пуста.

– Профессорио! Gute Nacht!<sup>206</sup> – в блудливо-почтительном поклоне Юрик подал мне руку. – Девять с пальцем! И вы в наш табор? А мы, грешники, записали вас в монашеский орден. Выходит, рановато. Что значит весна! Ветер свистит в гормонах! Вас, лубезный, нам только и недоставало. Теперь полон коробок!

– То есть?

– То и есть, что есть. Смотри. Четыре стены, четыре койки. Четыре девочки-припевочки. И недобор по части стрельцов. Теперь свято место застолблено. Но учти, ты не только кавалерино, но и по совместительству горячий толкователь

---

<sup>206</sup> Gute Nacht! (нем.) – спокойной ночи!

вот этого древнего талмуда.

Он потряс желтоватым, ветхим листком.

В городе взял он стакан семечек. Семечки погрыз, дошёл до тары. Тару грызть не стал, но прочитал. Семечки были в кулечке из этого ржавого листка. Видать, из какой-то старой книжки.

– Раз пришёл последний, то и читай всем, – отдал мне Юрка листок. – Наши любимушки обязательно выбьются в жёны. Им занятно подслушать. Читай с «выраженьем на лице».

– *«Что есть жена? – читал я. – Жена есть утворена прельщающи человеки во властех, светлым лицем убо и высокими очима намизающи, ногами играющи, дельи убивающи, многы бо уязвивши низложи, темже в добротии женстей мнози прельщаются и от того любви яко огнь возгорается... Что есть жена? Святым обложница, покоище змеино, диавол увет, без увета болезнь, поднечающая сковрада, спасаемым соблазн, безысцельная злоба, купница бесовская...»*

– Вот и удержиись наш брат в ангелах, – загоревал Юрик. – Всё против нас! Ногами играющи! Раз. Огонь возгорается. Два. И повело горюху на покоище змеино, как в чёрный омут.

– А-а! Грубить? А ну бр-р-рысь с моего покоища!

И Саночка смела его локтем со своей койки.

Юрик постно опустил перед нею на колени.

– Достославная доброгнева Оксаночка Акимовна... Так можно и пробросаться.

Санка лениво отмахнулась:

– Охота слова толочить...

Он подумал, крадливо наклонил нос к её запястью, нюхнул.

– У вас руки фиалками пахнут!

– Может быть.

Полнушечка добреет, даёт комковатую ладошку:

– Вставай. Садись да без выступлений.

– Бу сделано! – строго кинул он руку к виску и степенно лепится к её широкому тёплому бочку.

– А вы чего, как часовые, сторчите у двери? – спрашивает Санка нас с Женей.

– Да! Чего торчите? – подхватил Юрчик. – В ногах правды нет, но нет её и выше!

– Не в гостях! – кинула Санка. – Садитесь, на чём стоите. Ещё и ножки вытяните!

Мы сели на Женину койку.

Сетка скрипуче ойкнула, бездонно прогнулась, и мы с Женей сошлѣпнулись лбами.

Мы прыскнули.

И сетка под нами тонко пискнула в присмешке.

– Не койка, а музыкальный сексотрон! – бухнул Юрик.

– Одни глупости вечно у тебя на языке сидят! – засерчала Санка. – Путящее шо б рассказал.

Путного как-то ничего не набегало.

Было уговорено, что каждый расскажет что-нибудь занят-



ное из своей жизни, и скоро общая болтовня скатилась во вчерашние дни, в детство.

Мне вспомнилось, как после войны отменили карточки, стал хлебушко вольный.

Схватишь, как вор, целую буханку и на улицу. Всё казалось, что дома маточка может и отнять. А уж на улице постыдится.

Сядешь на порожках, давишься и мнёшь, мнёшь, мнёшь. За раз буханку за себя кидал. Как крошку. И – нету.

– Вам по-барски бедовалось, – припечалилась Санка. – Иша горе – на порожках чёрную буханку счавкать! А у нас в Первомайске... С талонами прощей было. Сколько положено, возмёшь... Но вот талоны у нас закрыли. Вольница! В руки стали давать по килу того горохового хлеба с кукурузой. А у нас семейка... колхоз девять душ, детворы семеро. Что жа, всяк скачи в очередь?... Нас в магазине знали. В очередь мы уходили с ночи. Уходили по трое, по четверо. Одному весь хлеб не отдавали. Як цуценята собьёмся до кучи под дверью у магазина и спим. Хлеб начнут давать, народ через нас побежит, проснёмся. Спим, значит, босые. Анчихристы были шутники. Вату воткнут меж пальцами, прижгут. Спишь – пятки горят. Со сна не поймёшь, крутишь ногой *velosiped*. А пацанва рыгочет. Весело! Делали и *балалайку*. Это когда вставляли вату в руку. Горит, а ты трясешь, а ты трясешь... Пока проснёшься... Подбирала я на улице яблочные огрызки...

Помню, собралась я в школу. Мать красиво подстригла. Волосы по плечам, чёлочка на лбу. Всё на своём месте. Иду первый раз в школу... Зашла к богатой подружке. Она завидовала, какая я красивая. Села она есть рисовую кашу. Всякое зернышко блестит, как отмытое отдельно. Я ж только и ела просолённые огурцы. Слюнки текут. Прошу, дай хотешко ложечку каши. Не даёт. Говорю, сделай со мной чего хочешь. Хочешь, проткни иглой палец! «Фи, неинтересно. Тебе палец не жалко. А причёску тебе жалко?» – «Жалко». – «Вот дам каши, если вырежу крест у тебя на голове. Чё ты такая красивая, как дура?»

Я смолчала, дала выстригти крест на голове от уха до уха, с шеи до дурного лобешника. И пошла я в школу с крестом... А кашуля вку-у усная!..

Санка поблуждала глазами по голым зашарпанным стенам, по ведру с водой на кривом табурете, скользнула по пустому столу с перевёрнутой мятой алюминиевой кружкой... Казалось, она искала, про что бы такое ещё рассказать.

– А этой весной Юлька Саксаганская, бывшая зазнобка этого амбарного долгоносика, – Саночка ткнула Юрку в бок локтем, – вернулась в Первомайск с Ленкой Ягольницкой. Вон откудашки, из-под самого Николаева, на заработки сюда наезжали... Хорошо хулиганочка оделася. Платье нарядное, только коротковатое. Но ей шло. Правда, все радости на улице. Такой фасон платья я называю «Дядя, я вас приглашаю». Хвалилась Юлечка: ткани там есть, белый миткаль, нитки на

вышивку. Едь, распекала мою фантазию, едь в Грузинию, едь к тем чёртовым грузинцам, бога-атой вернёшься невестой. Я и прилети богатеть... Долбёжка... Мне ж осенняя была переэкзаменовка по физике. Десятый класс! Не стала готовиться к переэкзаменовке, укатилась в Насакиралю вашу. Хлеба тут вволю, а я всё никак не наемся. Сколько живу, столько и хочу есть... Что ты хочешь, выросла в очереди...

Было тихо, как в гробу.

– Чего зажурились? – громыхнула Санка. – Иля хороните кого?

И дёрнула частушку:

– В очереди я стояла.  
Дочку там я родила.  
Пока хлеба дождалася,  
Дочка сына родила!

– Опс... – Юрка помял в пальцах папиросину, остучал пустым концом ноготь. – Гру-устянская песня...

– Э! – пихнула его плечом Санка. – Ты чего так часто куришь? Прямо с хлебом ешь! Ну-к, куряка, в коридорий! Давай гуляш<sup>207</sup> по коридору!

– Пожалуйста. Но я отбуду не один.

Юрка позвал меня пальцем.

Я вышел в коридор.

---

<sup>207</sup> Гуляш – прогулка.

– Слушай сюда, интеллиго. Политчас мой короткий. Женьшениха, – он поцеловал щепотку, – дэвушка-витамишка! Сэкс-фрау! Сладенькая, но ещё дикая козочка-ангелочек. Не распакованная же! Картиночка! Посмотри, чего стоят одни волшебные грудки! Не груди, извиняюсь, а сдвоенный пулемёт! Высокие, крепкие. Бдительно стоят на страже родных и дорогих рубежей. Только на них глянешь – ты уже трупарелло! Навылет отстрелян! Без показушного боя запечатанная<sup>208</sup> Женюра не сдастся. Может раскупориться... Но ты не кидай на это внимания. Чётко гни свою партию. Не останавливайся. Жми! Знай, первоцелинник, паши, подымай целину! Обкатывай цилиндр!.. Сделал дело – слезай с тела! Только так. Кончил в тело – гуляй, партайгеноссе, смело! А если будешь приручать шуршалочку одними вздохами, резину до пенсии растянешь. Буря и натиск! Чем наглее, тем надёжнее. Помни: любовь – костёр, не бросишь палку – потухнет! Учись, пока я живой!

Он в поклоне приложил руку к груди.

– А если по мусалам?

– Мусалы исключены. За смелость, золотуша, ни одна согревушка не ударит. Она хочет того же, может, больше, чем ты. И ударит в одном случае, если будешь действовать, как размазня. И удар расценивай однозначно как стимул, как боевой клич, как допинг. Смелей, телепень! Женская логика – всё навыворот! Усёк? Не подгадь уж. Не дай зевка. Не

---

<sup>208</sup> **Запечатанная** – девственница.

усни досрочно. Как вырублю свет, сразу начинай свою шишку шлифовать. Будем размножаться в коллективе!

– Это как?

– Коллективка! Не понятно, хвеня? Четыре на четыре!.. Кэ-эк вжа-аарим в четыре чернобурки! Ввосьмероман! Группенкекс! Хата только с угла на угол х-х-хы-ы-ыть... – медленно он поклонил сложенные вместе руки влево, – х-х-хы-ыть, – поклонил вправо. – Х-х-хы-ть – х-х-хы-ыть... х-х-хы-ыть – х-х-хы-ыть...

– А если хата перевернётся?

– Лишь бы земля не перевернулась. А всё прочее мелочи. Ты ей, папиндос,<sup>209</sup> доступно поясни, что ты спасаешь её от великого греха. Неприлично до её поры бегать с нераспечаткой. Просто это дурной тон... В Африке вон есть целое племя народности балуба...

– Ну?

– Ёжки-мошки! Да невеста там тем ценней, чем больше козелков осчастливит до свадьбы.

– Ну мы-то не балубы?!

– Тем хуже персонально для тебя. Равнение на балубов!

– Так... сразу... Не...

– Господи! Ты сам бамбуковый или папа у тебя деревянный? Морально устойчив, как столб электрический! Да кому это надо? Сама Женьшениха тебе это не простит. Думаешь, её весна не пшшакочет?! Влюблённые гаёв не наблюдают! Мо-

---

<sup>209</sup> **Папиндос** – молодой мужчина.

жет, ты боишься, что выскочит какой внепапочный гражданчик? И в ум не бери... Сегодня Женечка тут, завтра полетела назад в свою Шепетовку... Сбегаёт в лохматкин лазарет...<sup>210</sup> Оюшки! Что за хохлону я несую?.. Да впросто сунется к бабке. Бабка даст попить пижмы или мяты болотной. Вот готов и выкинштейн. Вся-то и трагедь... А лучше до этого не дожимать... Вон ещё в древности как думали?

И он с жестоким подвывом стал начитывать:

– Подлинно ль женщинам впрок, что они не участвуют в битвах

И со щитом не идут в грубом солдатском строю,  
Если себя без войны они собственным ранят оружием,  
Слепо берутся за меч, с жизнью враждуя своей?

Та, что пример подала выбрасывать нежный зародыш, –  
Лучше погибла б она в битве с самою собой!

Если бы в древности так матерям поступать полюбилось,  
*Сгинул бы с таким злом весь человеческий род!*<sup>211</sup> Ты понял?

– Да заткнись ты!

– Это ты кончай, долбун с придыханием, эти свои глупизды! От твоих чумностей волосы стынут в жилах! Или ты выкинул ноздри?<sup>212</sup> Чего зеленеешь? Все матрёшки охвачены

---

<sup>210</sup> **Лохматкин лазарет** – кожно-венерологический диспансер.

<sup>211</sup> Овидий. «Любовные элегии». Перевод С.Ширвинского.

<sup>212</sup> **Выкинуть ноздри** – надыхаться свежим воздухом.

у нас политвниманием. Даже сетки на сексопильнях<sup>213</sup> тут от счастья поют, – сам слышал! – а одна Женевьева мучайся? Что она, страхолюдней всех? И к тому ж крейзер «Аврора»?<sup>214</sup>

Я растерянно молчу.

А он наседает:

– Ты чего, ангидрит твою перекись, жмуришься, как майский сифилис? Ну чего? Не изображай из себя цивилированного жителя Веникобритании! Не забывай, чайник, живёшь ты в Чубляндии. Не зевай. Покорми сегодня своего человека из подполья!

– Да как, – взмолился я, – кинусь я? Как можно такое и подумать!?! Мы ж всего-то час как знакомы!

– Вы опоздали, сударио, ровно на час.

– Не... Не смогу...

– Ха! Не смогу! Бред беременной медузы! Ну!..

Тут он сделал страшные глаза:

– Я убиваюсь весь до пота, а у тебя, может, извини, – уронил он соболезнующий взгляд на мой низ, – а у тебя, может, авторитет не подымается? Так нет проблем! Срочно летим на Бали!!!

– Это ещё куда?

– А тут рядышком... Островок в Индонезии... Заходишь... – он важно смотрит на часы у себя на руке, – захо-

---

<sup>213</sup> Сексопильня – койка.

<sup>214</sup> Крейзер «Аврора» – старая дева.

дишь в ресторашек... Если не будешь телиться, успеем до закрытия... Заходишь в ресторанчик, а перед тобой аквариум с кобрами. И ты смело заказываешь ту, которая одарила тебя особенно сексуальным взглядом. Тут же ей смахивают к едрене фене башку и сцеживают полнющий бокалице крови...

– Да хватит тебе!

– Да мне давно хватает. Я о тебе пекусь! В кровь кладут столовую ложку мёду, выдавливают жёлчь именно той неотразимой кобруньки, которая так дерзко и грубо охмурила тебя. И всё это сдабривается деликатнейшей специей – твой бокал освящают мелко-размелко пошинкованным змеиным хренком. Пей, золотой! И твой авторитет, твой рейтинг, твой аленький цветочек тут же на глазах у всех расцветёт и поднимется во весь гигантский рост! Эротический напиток всё сделает для тебя!

– Да кончай ты эти байки! Меня тянет съездить в Ригу<sup>215</sup>!

– Меняй маршрут! В Риге тебе делать нечего. Мы летим на Бали!

– А я не лечу в твою Индонезию!

– Кисель сырой! Струхнул?! Тогда... – он хлопнул себя по лбу. – Тогда слушай. Есть путь попроще. Безо всяких перелётов Насакиралаи – Бали... Будем считать, что ты не переносишь самолёт... Я знаю заклинания. Мысленно пошепчешь рядом с нею и она в полном комплекте твоя. За мной повто-

---

<sup>215</sup> Съездить в Ригу – о рвоте.



рять про себя. Запоминай... *«Господи Боже, благослови! Как основана земля на трёх китах, как с места на место земля не шевелится, так бы и моя любимая чернушка с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогатого боданья...»*

– Чего ты, фуфлогон, мелешь? Какое роговое боданье? Какое хвостовое маханье?

– Ну это заговор такой. Чтоб корова не лягалась... А какая разница? Корова, не корова? Не мешай. Запоминай дальше... *«Стой горой, а дой рекой. Озеро – сметаны, река – молока. Ключ и замок словам моим».*

– Не хаами. Я и в мыслях не скажу ей таких слов.

– Да ёжик тебе под мышку! Можем переиграть на... Вот от муравьёв. С гейшей какой водиться, что в муравейник садиться. Так? Та-ак! Это я тебе говорю. Чтобы сесть в муравейник, три раза обойди его, проговори: *«Брат муравей, скажи сестре своей муравьихе, чтобы она моего тела не уязвила, яду своего не опуцала. Тело мое земля, а кровь моя черна. А тем моим словам небо – ключ, земля – замок».* Ну?.. Запомни, зонтик с ручкой, одно навсегда. В нашем траходроме мы трахаем всё, что движется, пьём всё, что горит! Увидел, таракан бежит по стенке – трахни его кулаком по носу! Упал глаз на непустой керогаз – оприходуй напёрсточек керосину. Кровь молодая быстрее побежит!

Говорил он на полном серьёзе, но глаза выдавали его. Украдкой посмеивались.

– Не выёгивайся, – буркнул я. – Кончай эти хаханьки.

– Пожалуйста, – постно ответил он. – Моё дело пятое. Отзвонил и с колоколенки. Закрываю, джигиток, сеанс ликбезсекса. Всё, молчок. Больше никаких алалы. Я с докладом отчавкался и между нами – дохлый бобик!

Хабарик, остаток папиросы, он притушил о каблук и побрёл назад в комнату, рассеянно мурлыча:

– Года все шли и шли,

А дамы хор-рошел-ли-и...

Юрик накрыл выключатель ладонью и, повернувшись на порожке, кинул мне в коридор с напускной строгостью:

– Так и будешь там торчать, как дуля в компоте? Чего лыбишься? Кончай подсматривать! Да здравствует темнота – верный друг молодёжи!

И, кисло морщась, щёлкнул выключателем.

– По дотам! – зычно, с подхлёстом скомандовал Юрик. – Да не перепутай!

Сахарная истома подсекла меня, я еле удержался на ватных ногах. Пересохло во рту. Тонным булыжником заколо-тило по рёбрам сердце. Бух! Бух! Ух! Как колокол во мне вечевой.

На удивление, я подозрительно притко сориентировался в темноте и без компаса быстро нашёл *с в о ю* койку и Женю.

Женя сидела, лодочкой уронив руки меж коленей.

Её калошики смиренно стояли у ножки койки. И как в чёрные зеркальца в них смотрелась луна. (На окнах не было занавесок.)

Белые носочки Женя обстоятельно расправила, уложила отдыхать на фанерный чемоданишко под койкой.

– Отвернись.

Я, кажется, отвернулся, но не настолько уж, чтоб совсем ничего не видеть.

Женя сняла платье, и оно, хрустко охнув, бело изогнулось на спинке кровати.

Мы с головой закрылись одеялом.

Стало темно-темно.

Тугие постромки, как злые молчаливые чудища, оберегали её. Так тесно обжимали – пальца не подпусти. Не то чтоб пропихнуть хомячка с красным флажком в норку...

– Замри, костылик... Матуся покупала... Велела надевать во всякий крутой случай. Я побожилась, что буду надевать. А то б она меня сюда не отпустила. Тигрина матуха. Сказала, вернёшься в Шепетовку, за руку стаскаю к врачнице. Нехай посмотрит, всё ль ты своё богатствие уберегла... привезла ль ты свою чистоту... Если порушишь звёздочку<sup>216</sup>... Там же, у врачейки, на одну ногу наступлю, а другую отдёрну и кину кобелярам в окно. Убью! – нагрозила. А теперь и думай, чего будем делать...

---

<sup>216</sup> **Звёздочка** – девственная плева.

– А ты при отчёте скажи ей, шо так и було! – хохотнул я.

– Шо було-то?

– А то... Ну без звёздочки ты была... Боженька недовложил... В суете забыл... Стандартная запарка на небесах... Как тут не ошибиться? В день же одних девчонок рождается на земле двести тысяч!

– Ты что, подсчитывал?.. Не тупи. Ты ж вроде умный парень... Скажи честно, я тебе врагиня? Ты очень хочешь моей смерти?

– Ну что ты!

– Да нет, – настойчивей поджимала она. – Так ты не хочешь моей смерти?

Я твёрдо помнил, что не хотел ей смерти, и сказал про это.

Она помолчала, разбито спросила в зыбкой надежде:

– А нельзя... Ничего не снимать и... как-нибудь?..

– Очень даже можно! В мыслях. И не как-нибудь, а как хочется... Хоть большой ложкой! Хоть половником... И сколько хочется партизанской душеньке!

Ветвистая хворостина с чубчиком на верховинке устало скреблась по стеклу.

Смазанный, недоспальный голос уныло тянул:

– Же-е-ка... Све-то-та!.. Гля... Уже свет в окне!.. Отпусти, Ящучка, своего женишонку. А то этому кадревичу мамчик ремня вольёт. Све-то-та!.. Слышь, Же-ень? От-пускай!..

У меня было такое чувство, будто я век слышал этот чижовский голос, но никак не мог проснуться. Мне казалось, что он мне снился.

Наконец я лупнул глазами и ясно услышал его от окна.

Будила Таня.

Так будила, чтоб никого постороннего в бараке не затревожить. Ласковой будила хворостиной, которой мамушка отгоняла кур от крыльца.

Боже! Что же делать? Уже утро!!!

Я загнанно огляделся – все прочно спали. Как мертвяки.

Двух кавалериков нету, остальные в полном количестве. Юрка да я. Да друг мой костыль. Спал он стоя, прижавшись к белому Женину платью на спинке койки. Вроде берёг нас.

«Откуда он здесь?» – подумал я и в спехе кинулся забинтовывать колено.

Я протёр глаза, хотел взять костыль и бежать – костыля уже не было у платья.

Я заглянул под койку.

Верным псом костыль блаженно вытянулся вдоль чемодана. Спит себе! В головах мягко – комок моих брюк.

Как дружок Костылик там вдруг оказался? Я нечаянно толкнул его в суматохе?

Я шатнул Женино плечо.

– Утро!.. Уже!..

Она в ужасе закрыла лицо одеялом.

– Как же мы, дураки с замочками, поснули? Что теперь

будет?.. Что же теперь бу-удет?

– По-моему, земля бросит крутиться, – равнодушно сказал Юрик. Сказал и глаза не открыл. – Хороший жених должен уходить от невесты на зорьке.

– А тебя, подсердечник, это не касается? – спросил я его. – Чего вылёживаешь?

– Меня не касаето... Я швах жених... Я, кажется, уже муж. А какой муженёк ушагивает от своей жаны на зорьке? Зорька – улыбка утра... На зорьке он только к ней приближается... Двум шубам теплей!

Юрик гордовато глянул на Санку, спала лицом к стене.

Он тихонько погладил её по плечу:

– С вечера девушка, со полуночи молодка, а по заре хозяйюшка...

Мне было не до его трёпа.

Тут бинт сполз, и я накинудся в горячке снова вертеть его на колено. Как же! Опаздываю к отплытию под домашние знамёна!

– Не суетись, не мечи икорку, – по-отечески мягко осаживает меня Юрик, сладко потягиваясь. – «Бывают в жизни злые шутки», – сказал петух, слезая с утки. С кем не бывает?.. Всё путём. Не суетись... Перво-наперво успокойся. Выходи из барака... Пардон! Выходи, из нашего баракко... Нетс... Выходи из нашего барокко степенно, державно. Будто из своего дворца выходит король. И ни один муравей не положит на тебя глаз... А пока подай мне воды. Лучше успоко-

ишься.

На столе у ведра стояла рюмка. Я хватил воды, сунул ему.

Юрик укоризненно покачал головой.

– Ёханый! Ну кто так держит рюмку?

Я держал обычно. Поверху, у ободка.

– Ну кто держит рюмку за грудь? Рюмку надо держать за талию. Уважительно-с!..

И он тихонько запел:

– Наша Родина прекрасна

И цветет, как маков цвет.

Окромя явлений счастья

Никаких явлений нет.

На всех парах вылетел я на улицу.

Таня брезгливо похмурилась мне.

– Привет! – виноватым шёпотом крикнул я.

– Сам ты привет! – кинула она зло. Шрам на толстой верхней губе розово блеснул на первом солнце. – Так смертно спят только покойники, а не любовники.

– Ты-то знаешь откуда?

– От верблюда!

– А-а... Вон у вас какая компания.

– Компания, рыжик, у нас хорошая, – отходчиво заговорила она. – Настюля, наша мамика, сестрица наистаршая, в девках не затеряется... Взамуж Настюлечка разбежалась. И знаешь куда? В Россию!

– Ка-ак в Россию? Она ж тут разве не дружилась с одним загорелым чебуреком из центра совхоза?

– А чего выдружила? Гуля-яют, гуля-яют, а до расписки никак не дойдут. Сколько можно траливальничать? Настюля не палочкой скидана... Смотрит... Желторотику из центра ещё в армию бежать, а россияец уже свою службу отзвонил. И россияец с нашей Родины... Она с ним письмённо поддруживала. Надумал дуруша жениться. И зовёт к себе в Средний Икорец, под Лиски, всю нашу шайку! Всю шайку!.. На Родину!.. В Россию!

– Эвва!.. В Россию... Только Россия и здесь. Где русский дух, там и Россия!

– Учёно лепишь слова... И непонятко. Если здесько Россияшка, то куда ж подевалась ненаглядка Грузиния, страна лимоний и беззаконий?

– Никуда она не девалась... На месте... Только где русский, там и Россия, там и жизнь, ёрики-маморики! В Насакирали почти одни русские. Разве это не Россия? Без них не было б ни совхоза, ни чая. Грузины тут были вечно. Но что ж от их вечности не родился совхоз? Как были кругом дикие косогорья да болота, так и были. А всё потому, что грузин в работе не сгорит, он лишь в веселье сине полыхает. Лю-юбит гулёка выпить и попеть. По тостам на душу населения разве может Грузию обскакать какая другая страна? Может? Зато... А вот куда русский пришёл – с ним туда НОВАЯ ЖИЗНЬ прилилась. Как хорошо один сказал. Навсе-



гда запомнил: «Русские варвары врывались в кишлаки, аулы, стойбища, оставляя после себя города, библиотеки, университеты и театры». С русскими всегда в глухие места приходил расцвет. Чего про это не говорить? Чего нам, русским, этого стыдиться?

Она махнула на меня рукой:

– Да будет тебе, сигунец,<sup>217</sup> молоть всяко-разно. Едем! На Родину! Всей шайкой!

– Бе-едный женишок... Влюбился в одну, а получай четыре сеструхи в комплекте. Целый гарембо! Бога-атый будет.

– Сейчас матейка ремешка влепит. Сразу и ты, рыженькое чучелко, разбогатеешь. Таскалка!.. Ой и вле-епит!.. С оттяжечкой...

– А за что?

– Спи дома, а не с какой-то там защёлкой...

– Глупеня... У нас ничего не было... Ей нельзя. У неё мать злюка...

– У всех злюки.

– Мы просто говорили, говорили и нечаянно заснули...

– Потом нечаянно родили ребёночка... Знаем мы эти сказявки!

– По себе судишь?

– Вот ещё была охота!

– Мы просто вместе проспали ночь и больше ничего. Ниче-го!.. Ну какой тупизм! Ну что за народ! Когда человек

---

<sup>217</sup> Сигунец – кузнечик.

спит, он может чем-нибудь ещё заниматься? Не-ет! Но почему ж говорят: раз переспал кто с кем, так обязательно было у них что-то такое-этакое? Не было ни такого, ни тем более этакого! Не было! Не было!!.. Не было!!!.. И не могло быть!..

Таня молча взяла шаг проворней.

Наверно, ей не манилось идти рядом. Ещё подумают, что мы ночь вместе где блукали.

Вот беспроводное деревенское радио! Какое ОТС<sup>218</sup> слушали эти наши ненаглядники соседики? Когда? Откуда всем всё уже известно? Ещё не проснулись толком, а уже всё о тебе знают! Из-за занавесок лупятся прокудливые карапетяновские, борисовские, простаковские, меликяновские, чижовские, семисыновские репы, свойски подмигивают. Правда, никто не осуждает. Только ободряюще подсмеиваются. А дед Семисынов и большой палец выставь в похвальбе. Штык!

А тут ещё проклятый бинт!

В спехе обмотал колено кой-как, он и развентись. Льётся за мной белой лентой.

Быстрей! Быстрей! Дома перемотаю.

Оскользается на камнях в суете костылик.

Стук да стук, стук да стук...

Скок да скок, скок да скок...

Вот я и перескочил свой родной порожек.

– У! Пилат! – грозно процедила мама сквозь зубы. – Дома

---

<sup>218</sup> ОТС – одна тётка сказала.

уже не ночуешь?!

И больше ничем не поинтересовалась.

Побежала с бидончиком и с мешанкой в ведре в сарай на свиданку к козам да на приём к курам в их высоком кабинете.

Утро.

Не до выяснялки.

Как только мама вышла, Митя подбежал ко мне, поднёс к моему носу свой родной кулак.

– Ты зачем вчера сунул воду под дверь на крыльце? Что, постеснялся внести в дом?

– Так это не я... Это Женя приносила воду и в дупло к нам, конечно, не посмела войти...

– А-а... Тогда ещё... Я вылетаю... Спешит же орёлец на разгрузку века! И бах дверью по ведру. Вода и раскатись по всему крыльцу... Ладно. От воды уходим молча. А вот за прочее... – Кулаком он упёрся мне в нос. – Нюхай, якорёк тебя, чем пахнет вечер! Я так тебе дам, что слепая кишка мигом прозреет!.. И прямая окривеет!!.. Тут уважаемый товарищ, – он тукнул себя в грудь кулаком, – со всей партийной ответственностью приготовился к святому мероприятию... К святой разгрузке дровишек. И – отбой! Полная безработица!!! Этот халдейка уволок весь мой вагон с дровцами! Так, лохмэн, граждане в благородном ёбчестве не поступают!.. Пришлось мне плестись на танцы и в скорби тянуть жмура<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Тянуть жмура – играть по похоронах.

на сапоге...<sup>220</sup> Ну ничего... Пожди до вечера... – Он тряхнул кулаком. – На ужин схлопотал вкусняшки! Без булды. Полл-ловой гангстер-самоучка!

– А ты потолочный?

– Вечером уточним. Это я, замком по морде,<sup>221</sup> тебе обещаю! Сейчас мне некогда. Чай! Бегу!.. И не груби старшим.

– Только и заслуг, что старший. Мор-ряк!.. На заднице ракушка! Так я тебя и запугался. Со страху прям яйца замирают!

– Окусываться тебя не учи...

Хлоп он дверью, корзинку на плечо и покатил с подпевом:

– Недолго м-муз-зыка играла,

Недолго фраер танцева-ал...

---

<sup>220</sup> Сапог – баян.

<sup>221</sup> Замком по морде (сокр.) – заместитель комиссара по морским делам.

*Если ум в чем-то уступает глупости, так это в  
безграничности.*

*Г. Ковальчук*

Вобед пришло письмо от Глеба.

Как я обрадовался!

Теперь никакие кувалды не страшны. Нас двое! А вдвоём мы всегда ущучивали Митечку.

И само письмо было хорошее.

Писал Глебша про своего *фронтowego друга* из Мелекедур.

Про Федю с занятной украинской фамилией Каплей.

С первого класса за одной партией.

А дружба их сплела раньше. В войну.

Ещё детсадовцем Глеб ездил с мамой к отцу в Кобулеты. Шла война. Часть, в которой был отец, крепко поломало в боях, и она откатилась на подполнение в Кобулеты. В той части был и отец Феди. И так получилось, что в один день Глеб и Федя приехали к отцам. Там, в Кобулетах, и познакомились.

Отцы наши с фронта не вернулись.

В один год мальчики пошли в совхозную школу. Сидели за одной партией.

Вместе учились и в городской школе.

Фёдор хорошо рисовал.

И этой весной *фронтовые друзья* сбежали в Кобулеты на *этюды*.

Только в последний миг и узнаешь всю правду.

Фёдор рисовал места, где в последний раз видел своего и нашего отца, рисовал море. У Глеба была другая, слишком узкая специализация. Он был зрителем.

Нарисовавшись и насмотревшись, друзья шли на товарную станцию подработать на разгрузке. Есть что-то надо хоть изредка.

Вместе, всегда вместе...

Они хотели вместе учиться *в мореходке именно в Кобулетах*. Вот и подвернули заранее узнать про правила приёма. Они, может, и узнали б, будь ещё мореходка в Кобулетах. А то намечтали как? Раз водится в Кобулетах море, значит, должна где-то быть и мореходка. А её почему-то и не оказалось...

И в армии *фронтовые друзья* вместе.

Фёдор продолжал рисовать. Вообще-то он парень непромах. Хочет и служить, и заочно разом кончить художественное училище. Ощупал обстановочку. Командир может и не пустить в училище. И не надо! Разве нельзя обежать командирский каприз? Фёдор твёрдо настропалился поступить. И поступит. Уж что наслюнил, в ниточку вытянется, а выхватит. Негордяшка. И за мать-уборщицу в школе в тех Мелекедурах полы мыл, и в Репины выскочит!

Глебша цвёл гордостью за своего друга.

А я героился Глебом, расхабрился, смелюк, от одного его письма.

Вот и пой, что телепатии нету. Есть! Есть!! Есть!!!

Глебшик заранее поймал мою беду. Написал. И в самый момент я получил его силу.

Я выставил письмо на край стола. На самый вид. Приклонил к кружке. Как влетит кавалерист, сразу увидит, что я не один.

И взаправду.

Письмо Митрофан заметил в первый же миг.

– А-а! Соратничек оттопырился... Вышел на связь...

По диагонали пробежал, постно кинул на приёмник.

– А теперь потолкуем за жизнь, гусь Шилобреев. Не гусь, а целый половой партизан всея Руси! Весь денёк сушил головку на чаю, всё кумекал, откуда ты, балахвост, такой молодой да ранний. Не тот ли ты внучек?

– Какой?

– А пятилетний. Притащился с бабкой в магазин. Въехал в блажь. Бабка не знает, чем и умаслить. Спрашивает: унучушка, пирожное купить? На нада! А шоколадку? На нада! А ром-бабу? И внучек басом отвечает: «Ром отдельно, бабу отдельно». Не ты ли был тот унучек?

– Всё тебе доложи...

– Вежливо отпираешься? А по замашкам похож. И вот через девять лет происходит такой адажиотаж... Этот доблест-

ный кучумба покрыл матрёшку. Родители матрёшки требуют от юного кузнеца счастья: «Сознавайся своей волей, что ты отец дитю». А бабушка: «А люди ж! А дорогие ж! Вы только зорко поглядить! Да разве может этот анчутка придумать что-нибудь похожее на дитё!? Чем придумывать-то? Ну поглядить же, люди добрые!» – И хлоп, хлоп внука по мотне. Не вытерпел юнчок, сквозь зубы шипит бабке: «Да не дражните ж вы моего гуська! Не то дотла загубите дело»... Я тихо подозреваю, ты с пелёнок подпорчен бабьим вопросом. Или у тебя несварение головы?.. Наладился старый конёк молодой травки пощипать, а этот контуженный затейник-перехватчик перекрыл кислород, якорь тебя! Ну не гадство? Ну не вредительство? По-хорошему, прессонуть<sup>222</sup> бы тебя... Так бы и втёр в палубу!

Он высоко замахнулся, но до удара не доехал.

Нервно откинул крышку скрины.

В старенькой облезлой скрине жил весь наш убогий семейный скарб. И полскрины захватили Митечкины книги.

С исподу крышки на него стеснительно глянула молоденькая толстая с кусками чёрной вязки с моего изношенного свитера. В «Огоньке» полнуха была совсем голенькая. Таковскую картинищу Митечка не посмел вешать. На грудь, на бёдра пришил тёмными нитками чёрные шерстяные полоски. Окультурил. Только потом присадил рисунок кнопками к низу крышки. Как дома никого, так и любит своей кра-

---

<sup>222</sup> **Прессонуть** – сильно избить.



сотулей.

Одни архаровцы, когда их поджигает на любовный поединок, но нет бесовской прельстительницы и некому бросить перчатку, чистосердечно рубят дрова, другие таскают воду, третьи копают огороды, а этот задирает крышку. В созерцание сжеживает страсть.

– Наше вам с косточкой! – Митрофан блудливо помотал ей пальчиками. – Ну что, всё никак не вытрете ножку? Может, в помощнички возьмёте? Чи-исто сработаю.

Девушка с распущенными волосами сидела себе спокойно на богатом диване и даже бровью не повела на его предложение. Сидит и сидит. Вальяжная нога на ноге. Из материи у распустёхи лишь полотенце, у щиколотки вытирала. Свободной рукой отбрасывала назад падающие на лицо рыжим облаком волосы.

– Слышь, чего молчишь? – приставал к ней Митечка. Не утерпел, тронул её за руку на полотенце. – Помогу? А? А то какой год всё одно место вытираешь? С твоими темпами до коммунизма доедешь?

Она поморщилась, но до ответа не опустилась.

– Неслышиссимо... – вздохнул Митечка. – Гордое молчание было ему ответом...

Митечка грустно покивал и ещё грустней пропел:

– Прошла любовь – увяли помидоры...

Хорошуточка мне и самому нравилась.

Из-за Митечкина плеча я пялился на неё во все глаза.

– Не в магазине. Не напирай! – Митрофан затылком боднул меня в челюсть. – Однако, ты хороший хулиганец! Может, и эту девочку-экстаз, – показал на картинку, – уведёшь от меня? А?

– Куда уводить? Принёс подушку свою и спи на ней. Как я...

– Ты чего, плашкет,<sup>223</sup> молотишь? Как это ты на ней спал?

– Обыкновенно. Тыщу раз. На скрыне. Я сверху крышки, она с исподу.

– Ой, брынчалка! Кэ-эк дам, по стенке размажешься. По-хорошему, тебя судить надо всенародным судом. Телепнул вагонище дров! И у кого? У вечного нехватчика!<sup>224</sup> Бах! Трах!.. У нас и бритва не берёт, – он воровски оттянул у девицы набедренную чернотряпицу, котовато заглянул под неё и на вздохе отпустил, – а у этого пронырки-целкохвата и шило бреет!

Митечка поднёс руку к сердцу. К своему.

Побито уставился на меня.

– Ну, – ободряюще киваю ему, – взялся за грудь – говори что-нибудь!

Он сердито отмахнулся:

– А что я скажу?.. Ты своими штучками вкатишь меня в

---

<sup>223</sup> **Плашкет** – мальчик.

<sup>224</sup> **Нехватчик** (морское) – матрос, который всегда голоден.

инфаркт... Тебе ль, выпендра, этот вагончик подгоняли? А? Я как рогатик наглаживаюсь... Навожу ремажор... Лечу... Как же! Надо секунда в секунду сбежаться на штыке!<sup>225</sup>

Он немного помолчал и взялся вяло переключивать книжки, мурлыча:

– Недолго мучилась старушка  
В матросских опытных рука-а-а-ах!..

И на вздохе доложил:

– А старуныке-то всего осьмнадцать лет... Мда... Мечты-с... Обрезался по полной программе... Воду зачем сунул под дверь? Чтоб я налетел? Я и налетел, сбил. Переодеваться некогда. Весь мокрый лечу на свидание. В условленной точке, за распалой ёлкой, хрен ма моей кадрессы. Гм... гм... Постоял, послушал. Э! Телятки в канаве лижутся! Одни головы видны. Твоё счастье, что я заставил себя вернуться домой. Не то б я с тебя на месте свинтил башку садовую. Нормальные люди спрашивают. Культурно всё. К одному вон, к дедане Семисынову, даже ночью стучали. Хозява, дровишки нужны? У хозяев дров полный сарай. Кричат Семисыновы в ответ: нет, не надобны. Утром выходят хозяева, сарай холост. Не на кого и валить. Сами отдали. С опроса. А ты, раздолбайка, почему без моего дозволянса хапнул мою плёху? Гордость не позволяет быть культурным? Молчишь? За ум-

---

<sup>225</sup> **Сбежаться на штыке** – встретиться в условленном месте.

ленького сходишь?.. – И неожиданно он простительно подпихнул меня локтем в бок. – В норме гнал к ветру?<sup>226</sup> Вагончик уверенно разгрузил? Или сразу три, якорь тебя!? Хоть кончик поточил? Надеюсь, не опорочил нашу марку? Не ударил в грязь яйцом?.. Отвечай, скромняга. Как советуют тужья-друзья англичане, не прячь свой свет в сосуде!

– Иди ты...

– Чего, Геракл засушенный, иди? Откушал международного пирожного?

– Да хватит тебе...

– Не спорю. Хватит не только мне – хватит всем жеребчикам всей планеты! Ну чудик Боженька! Во удружил по большому знакомству нашим дамессам и дамескам вечный пирожок! Сколько ни ешь – ни граммульки не убывает! Это раз. В огне не горит – два. В воде не тонет – три. Никогда не черствеет – четыре! А уж пять – всегда постоянная температура. Тридцать шесть и шесть. Тридцать шесть и шесть. Как в аптеке! Каково? Точно на строгом подогреве. Зато на зорьке – вся тыща градусов! Кипящая Этна!<sup>227</sup>

– Похоже, как клюшка на шайбу... Да на зорьке она спала!

– Тот-то, несчастная утырка, и спала, что под боком валялся вот этот замороженный трупешник! – подолбил он меня кулаком в грудь.

---

<sup>226</sup> **Гнать к ветру** (морское) – держать как можно круче.

<sup>227</sup> **Этна** – действующий самый высокий (3340 м) вулкан в Европе на острове Сицилия.

– Да хватит тебе звонить в лапоть!

– Значит, я лживец? Тогда срочно информируй ёбществу, как она пилится? Как у этой козы необученной с подмашкой? Высоко кидала? Не ушибся? Головка не кружилась? Не кричал: «Мама!..»?

– Да пошёл ты со своей похабелью!

– Ну, не морщи афишу... Не прикидывайся ветошью... Хоть раскупорил шоколадку? Опять молчишь?.. На худой конец, хоть помацал-то горжеточку?<sup>228</sup> Она у неё прям аж хрустит!

– Ей нельзя...

– Чего-о?.. В любви и на войне всё дозволено!

– Всё, да не всё...

– Что, красный день календаря?

– Синий! Ей мать не разрешает...

– Ну ты и героин-ин...<sup>229</sup> Какой позорина на нашу гордую фамилию, якорь тебя!.. Так ляпануться!.. Воистину, у плохого стригаля всегда ножницы тупые... Ночь проспять телком с молоденькой мучачей и не вкатить пушку в избушку! Уголовную статью за хвост дёргаешь! Дай-то, Боженька всемилый, чтоб пронесло!

– Да иди ты тайгу пылесосить! Ты что, не понимаешь русских слов? Ей мать родная не раз-ре-ша-ет!

– Не понимаю... Что, эта Женюша малолетка? Во взрос-

---

<sup>228</sup> **Горжетка** – волосяной покров на женском лобке.

<sup>229</sup> **Героин** – герой.

лость не въехала? И не обязательно. Как есть в канашке сорок семь кэгэ – всё можно! Авторитетное слово медицины. Разведка доложила точняк... Слушай, что ты, половой разбойник, в этой зеленухе нашёл? Отчего заблеял? Стропила<sup>230</sup> хером!.. Или ты не знаешь, «если у женщины ноги буквой Х – это ещё не означает, что она загадка»? У неё ж тощей прутика кособланки!<sup>231</sup> Каравая и того не нагуляла. А я лучше люблю с кошелёчком... С тяжёлым кошельком-с легче, праздничней на душе... Хоть бы подушку подложила к подуvalu. Только и годна на разовый схлест!

– Как вчера?

– Тампон тебе на язык! Шпилечки-то оставь при себе. Чтоб мне, сучонок, с Женюхой, с этой малой ибункой, полный штиль! Вот такой братский уговорчик. Не то в таджмахалю<sup>232</sup> замурую! Навеки в стену жалаешь?! Хоть ты мне и родня... У родного братца завлекалку покупил! Всю обедню смазал! Пойми, выползок... У меня двухдневный цикл. Первый вечер – знакомство с вагончиком. То, сё... Второй вечер – разгрузка дров. Разгрузочный день. Трёх свиданий я не выношу. А ты, мурило, что мне подсуропил?.. А дева была на скоростном дозреве. Мохнатка так и дымилась... А из-за тебя, якорь...<sup>233</sup> Один на льдине... Играй теперь я, одино-

---

<sup>230</sup> **Стропила** – тонкие ноги.

<sup>231</sup> **Кособланки** – кривые ноги.

<sup>232</sup> **Таджмахалю** – тюрьма в Средней Азии.

<sup>233</sup> **Якорь** (морское) – глупый, недалёкий человек.

кий гормон,<sup>234</sup> хоть в карманный бильярд,<sup>235</sup> хоть гоняйся за двумя яйцами? Или вообще прикажешь стоять на якоре?

– А почему не постоять? У тебя ж каникулы! Отдыхай, трактор!<sup>236</sup>

– Я тебе отдохну! – потряс Митечка кулаком. – А я ведь, скоростник, разлетелся уполовинить вступительную кадрили... Хотелось как лучше да побыстрей... Свалил тело – гуляй смело! Думаю, чего кидать на завтра то, за что уже сегодня можно схлопотать по загревку? И на разведочку позавчера смело пустил хулиганчики пальчики в её лесной краснознамённый секторок П. Так, якорь тебя... Эта балеринка<sup>237</sup> кэ-эк гахнет куриной коленкой мне в родной орденосный пах! И за что? Я ж ещё ничего... Прыжок искр из глаз... Такую потерю пережить ещё можно... Но больно-то как... Чуть не переколотила все мои кокосы. Ну не контуженная, как и ты?.. Или эта тля-девственница сбежала из дома жизнерадостных?<sup>238</sup> Не хихикай... Не прикидывайся пиджачком... Пошевели колёсами... Это вот ему, – потыкал в свёрток картины про Грозного, – малинка всю жизнь. Овдовел по второму заходу – пожарным порядком опричники

---

<sup>234</sup> **Одинокий гормон** – «Одинокая гармонь», песня, герой которой страдал от неразделённой любви.

<sup>235</sup> **Играть в карманный бильярд, гоняться за двумя яйцами** – заниматься онанизмом.

<sup>236</sup> **Трактор** – ловелас.

<sup>237</sup> **Балеринка** – замороженная курица.

<sup>238</sup> **Дом жизнерадостных** – психиатрическая лечебница.

сомчали со всей Руси две тыщи невест! Выбирай, Иван Васильч! Выбирай, дорогуша! Купчиху Марфу Собакину изволили присчастливить... А у Мао было около *т р ё х* тысячек наложниц! Заряжай аккумулятор хоть круглосуточно! А мне этих девахулек полками не подают. Одна была единственная на вчерашний день. Весь вечер на неё угробил. А ты, лапоть, и ту смаячь! Видно, госпоже Судьбе было так угодно... Да что я?.. И на всякого Шамиля припасён свой верблюд!

– Ты чё, перегрелся? Какой Шамиль?

– А ещё тот... чеченский... Отличный... воявый был бесстрашник. Почти всю жизнь воевал... Стариком отправился в Мекку. Хотел помолиться там... Ехал на верблюде. И уже у самой Мекки упал с верблюда и помер.

– Не смешно.

– А разве я зову в смех? Я просто хочу сказать, что все мы кончаем как-то неожиданно потешно. Каждому Боженька припас своего верблюда. Подлетает момент, р-раз – и нету! Человека там... удачи, что вилась у носа... Всё на такой мази было с Женюрой... А ты, гадский верблюжонок, всё долта переколумутил! У-у! Несчастный сексопулемётчик! Ро-жу так и растворожу! Брат не брат, а в чужой горох не лезь!

– Кому этот горох чужой? Мне? Зато тебе родной? А ты его сеял?

Вошла мама, и мы с братиком мило разошлись.

– Хлопцы, пока я на балконе<sup>239</sup> сымала чёботы, чула, вы

---

<sup>239</sup> **Балкон** (здесь) – крыльцо.



туда всё про горох балакали. Может, нам на вечерю горохового супу сварить?

Мы с братцем заржали. В один голос гаркнули:

– Варите! Варите!

Весь вечер мы столбиками просидели дома.

Митрофан дулся на меня, я дулся на него. И в этой молчаливой сшибке меня утешало то, что старые дураки глупее молодых.

Спать я закатился на улице в подвесную свою люльку.

Еле дождался, когда Митя с мамой поснули, и на пальчиках подрал к Женечке.

Но света у неё уже не было.

Мёртвое окно смотрело слепо, бельмасто.

Невесть зачем я забрёл в канаву, где мы вчера целовались.

Сел на чайный куст и сидел вприглядку с Месяцем.

Мы ничего не говорили друг другу, но нам обоим было так хорошо.

Спать не хотелось ни мне, ни Месяцу. И мы долго были вдвоём одни во всём мире.

– Ты везучий, – припечалился Месяц. – У тебя есть девушка. А я сколько ни броди по небу, никак не встречу. Всё один да один.

– Извини. А Земля?

– Не смей и заикаться мне про эту путляшку! Малахольная вертушка! Нас разделяет 384 401 километр.

– Ого!

– Какое ж это ого!?! Плюнешь, а растереть нечего. По нашим космическим меркам – соседи! А этой балдырке не нужен сосед и на дух! Она всё в Солнцеву сторону млеет. А до Солнца от неё без чуточки сто пятьдесят миллионов километров. В триста восемьдесят девять раз дальше, чем до меня! Вот это-то ого-го-о! А она и бровью не ведёт. Раз не нужен, так и под носом не нужен.

– Чего ей надо?

– Эта жадюра говорит, что хорошего у неё должно быть много. Она сама весит 5 976 000 000 000 000 000 000 000 килограммов и 139,9 грамма. Как в аптеке! Без обвеса.

– С понтом под зонтом!

– Не веришь, синьорий-помидорий?

– А какой умелец взвешивал? И на бытовых весах или на каких?

– Имени умельца я не упомянул... А взвешивал он... Да где-то откопали ему старенькие аптекарские весочки... А я, понимаешь, даже талией не вышел. То есть экваториальным диаметром. У меня он-то всего лишь под тридцать пять тысяч километров, а у Солнца в тридцать семь раз больше. Ну куда мне с ним тягаться?.. Ей только и света в окошке, что Солнце! К теплу ещё ли-ипкая. Вишь, прямо обмирает. У Солнца сердце горячее! Горячей ни у кого не найти. Пятнадцать миллионов градусов по Цельсию! А с тобой, говорит мне, я околею. Днём еще туда-сюда. Сто пятнадцать моих градусов тепла она вроде, говорит, может стерпеть. А но-

чью... Не выносит она мой минус сто шестьдесят. Совсем не терпит моего холода... Да и ... Что говорить... Нет во мне своего света... Только отражаешь, перекидываешь на ту же Землю солнечные лучи... Всё угодить хочется... А так тёмный я, бесцветный... Солнце в четыреста двадцать пять тысяч раз ярче меня... Есть чему позавидовать... Вот какие пирожуньки... Ой! Крутится она вокруг старпеня, как полоумная дурочка. Ну ни стыда ни совести! Он же почти на пятьсот миллионов лет старше неё! А ей до лампы. Всё глазки знай ему строит.

– Но глазки она должна бы строить тебе. Ты-то её законный спутник!

– По паспорту. А так... Эту шарáбару всю жизнь, все четыре с половиной миллиарда лет, заносит всё налево. И всё в Солнцеву сторону... Мне жалко её. Да попади она Солнцу в объятя – сгорит! У Солнца, повторяю, сердце горячее. Пятнадцать миллионов градусов по Цельсию! А я... Как я ни старайся... Пока она обойдёт его раз, я тринадцать раз обегу её, сгорая от любви и ни на миг не отводя от неё глаз! И всё не в честь... Единственный у неё спутничек, самый близкий сосед. А она всё потешается над моей верностью. Загадку даже про меня сочинила. Как увидит, мне со смехом загадывает: «Лысый мерин под ворота глядит. Чего будет?» Лысый я мерин ей, а ты говоришь – ровесник, спутник... А только за всю жизнь мы и разу не встретились. Вечно бегаешь, бегаешь и умываешься слезами. Да кто видит?

Боже мой, близкие соседи называются. За четыре с половиной миллиарда лет так и не повидались.

Совсем не как у людей.

Я не знал, что и сказать. Мне было совестно, что у меня всё так гладко катилось. Ещё ж вчера я ничего не знал утром про Женю, а уже вечером мы целовались.

Что она во мне нашла?

Ярко светил Месяц. В люльке я робко пялился в круглое зеркальце, горелось увидеть её поцелуи. Я слышал их восторг, чувствовал их хмель и заснул, прижав своё глядельце к щеке.

На первом свете я снова уставился в зеркало и обомлел. Я был красивее, чем во всю прежнюю жизнь!

Я не терпел зеркал. Да ну какая ж худая мордушенция любит их? А тут... Я не мог оторваться. Милый симпатяга. Херувимчик! Это от её поцелуев я покрасивел!?

А может...

И хорошо ещё, что вчера не умывался. От воды веснушки проступают ясней, противней. Забыл вчера умыться. Не забыть бы забыть и сегодня. А то утренней водой всю радость с лица смоешь. Не умываться! И выстегнуться к ней красавчиком. Сейчас же!

Меня понесло к ней под окно.

Но пристыть у окна я побоялся. А ну увидит кто?

И побрёл к волейбольной площадке. К ёлкам.

Стань за ёлкой и дежурь. Как появится, прожги мимо. Без

слов. Без остановки. Вроде просто шёл, вот под случай со-  
ткнулись. Лишь бы хоть мельком увидела!

Но и за ёлкой спокойно не стоялось. Ещё подумают, за кем  
слежу. Что говорить? Уж лучше открыто, совсем на руси.<sup>240</sup>

Я выполз к персику за волейбольной площадкой.

Частенько мы здесь, на косогоре, играли и в футбол, и пер-  
сик служил в воротах штангой. Одной штангой была чья-ни-  
будь кепка или рубаха, а другой штангой был этот кривой  
персик.

Стать у его колена и торчать трупарём? Глупо. Надо со-  
строить вид, что мне тут что-то очень нужно. Ну, хотя бы  
пристально рассматривай макушку с кучкой сиротливых ли-  
стьев. Пускай плодов на персике никогдаушки не зрело,  
счаживали ещё липкой завязью, так, может, я и изучаю, по-  
чему обломанная завязь не наливается тут же снова, а про-  
резается лишь через год. Не слишком ли долго думает-рас-  
качивается?

Такая позитурa меня устраивала.

Глянет Женечка в окошко, поневоле сразу увидит неотра-  
зимую мою физиомордию.

Не знаю, сколько я с умным видом идиота прообезьянни-  
чал у персика, только всё обрезал крик.

– Мичуринец! – позвал меня в рупор ладоней Юрка из ок-  
на. – Чего там присох? Или ещё с вечера всё ждёшь милости  
от природы? Иди да сюда!

---

<sup>240</sup> **Совсем на руси** – на открытом пространстве.

Я подлетел на пуле.

– Ты почему вчера не явился на палку чая? – сурово загремел он. – Это ж равносильно.... Ты не вышел на работу! Кто за тебя будет арбайтен унд копайтен? Злостный прогульщик! И этот прогул запи-исан у нас в графике.

Он постучал по воображаемому графику на стене.

Я понял, о каком прогуле шла речь.

– Ну, циркачик. Этот прогул дорого тебе вольётся!

– А конкретно? – подстроился я под его тон.

Он вдруг сменил голос, сказал домашне, жалеюще:

– Ты больше не увидишь Женечку. Отбыла... Велела передать карточку.

Он свис с подоконника, протянул карточку.

Я неверяще подпрыгнул, выхватил её, не удержал, и она сорванным листком скружила мне на грудь.

Меня как переломило всего.

Я слушал Юрку и не слышал, понимал и не понимал. Слова проходили сквозь меня, точно вода сквозь сито. Какая-то подруга... Лес... Групповуха... Московский поезд...

Я остолбенело добрёл до дома, упал в свою люльку и заплакал.

Один? Навсегда один? Зачем я один? Зачем-ем?!..

Слёзы рвали меня, и чем больше они выходили, ясности набавлялось во мне.

Что же заливать подушку? Может, ещё увижу?..

Ну да!

Поехали они на батумский поезд. Сядут в Батуме или в Натанеби. Если кинуться сейчас в Натанеби, можно ещё застать. Хоть в вагонном окошке мелькнёт! Хоть на миг, и тот миг будет мой!

Я – на велосипед.

До Натанеби двадцать пять кэмэ. Может, ещё не понадобится скакать в те Натанеби. Может, передумали? Может, уже идут назад?

В Махарадзе я обежал на вокзалишке все скамейки.

Голо!

В Натанеби!

Издали я заметил, как от натанебского перрона нехотя отлипался московский поезд.

Я – наперехват по тропинке к ближнему повороту на бугре.

Выдернул из пазухи Женину карточку, деру к небу. Стой! Тормозни! Дай сесть! Не разлучай нас!

Машинист увидел Женю, оживился. Послал ей воздушный поцелуй, выставил мне большой палец – красавица у тебя девушка! – и распято разнёс руки. На большее меня нету!

От накатившегося стеной вихря покорно склонились в нервном трепете придорожные кусты, затряслись всеми листиками. Шумно захлопотали колёса. Искры высыпало из-под них.

Окна были высоко, я не видел в них лиц, и окна слились в одну светлую стеклянную полосу. Подножки чиркали в чет-

верти от лица.

Вот эту! Эту!

Но пронесло и эту, и эту, и эту – я не мог ухватиться ни за одну подножку. Насыпь была длинная, крутая, и я не мог дотянуться ни до одной подножки, всё съезжал по острым мелким камням вниз.

Наверное, уже середина поезда проскочила мимо.

Мысль сесть вытекла из меня.

Снизу, как из могильной ямы, я лишь махал карточкой и по-собачьи скулил:

– Женя!.. Женя!!.. Женя!!!..

Ветер убежал за поездом, подбирая с земли ранний сухой лист, а я остался, и сколько я простоял у железной дороги, я не знаю. Спроси кто, чего я стою, я б не ответил, не смог...

Возвращался я не проворней черепахи, и всё крутило меня повернуть. За спиной оставалось что-то большое моё, чему я не знал слов.

Мало-помалу шалопутный азарт дороги вжал меня в свои клещи, я посыпал живей.

Уже в Гурианте, почти у дома, черномазая ватага разлилась в цепь поперёк дороги, крестами раскидала руки. Стой!

На эту шайку я нарываюсь не впервой.

Смелюки... Стаей на одного!

Едешь из школы – на плетнях лениво висят. То ли сушатся, то ли греются. Грелись бы в работе. Ан нет. Эти греются



на плетнях. И со скуки кидаются тормознуть тебя, подухариться. А заодно и велик отсечь. Эух! Мы, грузины, народ горячий. Семеро одного не боимся!

Ну уж! Мне ли, одному, таких семерых бояться?!

Разлетаешься что есть моченьки, звонишь во все колокола. Прочь с дороги куриные ноги!

Звонок на руле дохленький. Толком не слышать.

Мы с Юриком перевесили звонки с рулей на вилки. Как врежешь концертино – черти в аду вскакивают! И эти чурочки трусливо перед носом размётываются по всей дороге, как куры.

Они и сейчас дрогнули от вселенского благовеста, дёрнули врассып.

Одна молодая бабариха крутнулась, не успела отскочить, влетел я ей на велике в «задний бюст». Застряло моё переднее колесо вместе со звонком у неё между куцыми колоннами ног, и я только кувырк через живую горку сала.

Я думал, навалятся метелить, машинально прикрыл свою больную негнучку правой ногой и руками.

Но кроме меня у них оказалась пожива послаще, позанятней. Мой велик! Стали они рвать беднягу друг у дружки, пошли шелушить друг другу бока. Каждого подпекало заявиться к себе в саклю с наживой, на моём велике. Да вот беда, был-то он один, на куски не порвёшь.

Краем глаза я видел и то, как бабариха, которую я поцеловал колесом в попенцию, задрала юбчонку выше некуда, ста-

ла заполошно тыкать в ссадины от моего крыла на бледных, как жабы животы, колодах, и эти царапки слились в уважительную причину, велик отдали ей. Ты больше всех пострадала, ты и хватай!

Она села на мой велосипед, как бегемот на чайку. Велик аж плакуче припал под нею к земле, и завихляла она из стороны в сторону, напряжённо погнала.

У меня не было сил ни догонять её, ни даже что-нибудь крикнуть.

Я ткнулся лицом в колкий обочинный сор из мелкого каменешника и затих. Мне было всё равно, что со мной будет. Налети машина, я и тогда не подымусь.

– Молодой человек, напрасно вы воображаете, что лежите на морском пляжу. – Юрик тронул меня за плечо. Сзади попыхкивал дымком грузовик. – Давай подыдемся...

Он помог мне встать, посадил в кабинку.

– Это кодро, – кинул взгляд на гортанное стадо впереди, – отняло у тебя мерседец?

– Это.

– Чичас будя харакиря. – Он мрачно поехал. – Всех же я их, гадов, знаю в рожу! Сколько раз мылились ампутировать у нас велики и от наших райских звоночков разбрызгивались зайцами. А одного стаей одолели. Ляпану прямой наводкой в толпу!

– Не трогай дерьмо, вонять не будет. Лучше смотри, где мой вел.

– Дело. Верного дружика надо выручать. Но его с туполобиками нету. Поговорю...

Юрик остановился рядом с базарной ордой, ступил на подножку с рукояткой.

– Кто из вас, голубки, шпрехает по-русски? – спросил Юрка.

– Эта, эта, эта! Туманишвили! – все в один голос указали на прыщавого слонёнка с глазами навылупке.

– Я знай мал-мал, – заоправдывался слонёнок. – Свой язык потерял, чужой не собрал...

– Да! Да! Моя твоя не понимает, твоя бежит – моя стреляет! Так понимать?.. Молчишь?.. Однако тума-а-анистый мудрелло. А теперь ты переведи всем своим многа-многа...

Дамен унд херен!<sup>241</sup> Если ещё тронете, – наставил на меня рукоятку, – эта машерочка, – потряс рукояткой, – вежливенько погладит кой-кого по хазарским головешкам... Где веселопед?

– Наш дэвочка катаэтса... На домэ...

– Уже полетела кваквашка до хаты! Как с магазинной обновочкой. Радовать родню... Шу-устрая!.. Фамилия!?

– Эйо памили будэт Хватадзе-Тунеядзе. Домэ эйо туда... Мы в проулок, куда нам показали.

Поворота через три вынырнула разбойная бабариха.

– Ка-а-кие окорока пропадают!?! – пошатал Юрчик голову по сторонам и поцокал. – Кошель, как мешок! Развесила,

---

<sup>241</sup> **Дамен унд херен!** (нем. Meine Damen und Herren!) – дамы и господа!

понимаешь, жоппи ушки<sup>242</sup>... Бога-атая коровя! Да что там коровя?! Бегемотиха!.. Впервые вижу, чтоб бегемотиха ехала на козе!

– И каковски моей бедной козке? Кряхти, а вези. Пóтом, поди, обливается. И некому вытереть пот.

Юрася обогнал её. Вышел.

С подчёркнутым почтением голоснул. Как голосуют все, когда ловят попутку и хотят очень понравиться шофёру. Иначе кто ж тебя подберёт?

Чалдонка крысино шикнула на него, покатила дальше.

С разинутым от удивления ртом Юраня медленно опустил руку, и в три прыжка настиг её, чинно ухватился за багажник. Тормознул.

– Хули!.. ули... ган!.. Бандыт! Чаво нада!? Чаво нада? Моя велсапе!

– Твоя!.. Не наводи хренотень на плетень! Твоего тут только обвислый элеватор. А велосипедио всё-таки, извини, во-он того в кабинке юного пионэрчика-пэрчика. Отдавай смирно, а то наживёшь рак головы!

Деваха разопрело глянула на меня и даже ухом не повела.

– Она мнэ била! – вдруг заверещала трясозадка. – Кров здэлала! – Задрала юбку, тычет в царапушки на синюшных окороках. – Ско-о-око кров!

– Ведро! – подсказал Юрка.

– F,f! Вэдро! Полни!.. Так била!

---

<sup>242</sup> **Жопьиушки** – жировые отложения на пояснице.

– То, зеленек, твоя дурца тебя била. Отдавай нашу прялку, – Юрка приподнял велосипед за багажник. – Отдавай и иди. Пожалуйста, покинь арену, отзывчивая! Ну, без шума... Ах ты невезуха какая... Не можешь без шума... И шалунчики пальчики не отлепляются... Совсем замкнуло на чужом... А мы их, извини, культурненько всё же... Ну зачем, двустволочка, ты так грубо заминировалась?<sup>243</sup>

Он стал отлеплять её пальцы от руля.

Девища заверещала:

– Нада бэй рус!.. Крэпко бэй! Иди, рус, на свой Рус!

– Она положила на ваш ух большой глупизди! – вдруг сказал из-за плетня пожилой грузинец с печальными глазами. С лестницы он обирал яблоки с яблони. Перед ним на суку висела высокая круглая корзинка, куда он складывал яблоки. – Не обращайтесь вниманию на её злые слова. Кто ещё кроме неё так думает?.. Я долгие годы жил на высылках в Сибири... Все в деревне делились с моей семьёй последней крошкой, мы не слышали от русских ни одного неласкового слова. Я люблю русских, и я хочу, чтоб и они спокойно жили на моей земле. И всегда буду отстаивать это. Каждый же пятый грузин вольготно живёт в России! Ка-аждый пя-ятый! И разве он слышит: «Эй, груз, иди на своя Груз!»? Этой дичи не должны слышать и вы. И я буду делать всё, чтоб вы её не слышали. Вот что запомните, милые горькие мальчики...

– Она сумачечи! – в крике толстуха ткнула пальцем в ста-

---

<sup>243</sup> **Заминироваться** – испортить себе репутацию.

рика. – Бэй нада рус! Бегай, рус, на твоя Рус!

– Тоскливая ты дурцинейка... – вздохнул Юрка. – Не будь тут русских, когда б ещё, задирчивая, и покаталась на велике? У кого б ляпнула? Второе... Да перестань Россия кормить вас своим хлебом... Да если мы, русские, бросим обихаживать ваши плантации да поля – вы ж без Рус не заскучаете?.. Голодуха не склеит вам коньки?<sup>244</sup> Ферштейн?!

Он бросил отлеплять её пальцы. С кем нюнькаться?

Крепким рывком он в один миг отлучил её от моего бедного велика. Брезгливо чиркнул ладошкой об ладошку: стряхнул с рук налипый сор.

Затем обстоятельно положил велосипед в кузов, и мы отбыли.

Где-то позади дробно молотил гром свою копну.

– Илья-Пророк катается на грузовом такси, – пояснил Юраха.

– Уж ты и прёшь, стажёрик!

– А ка иначе? Чай пьёшь – орлом летаешь!

И хвастливо запел:

– Крепче за шофёрку держись, баран!..

Он потискал мою коленку, свойски подмигнул:

– Антоня!.. Дорогой товарищ Антониони!.. Больше ско-

---

<sup>244</sup> **Коньки склеить** – умереть.

рость – меньше ям!.. Набираю, приятка, высоту! Сегодня папайя отпустил в первый самостоятельный полёт. Вот возвращаюсь. Веришь, радости полные штаны!

За рулём Юрок царь. Как тут и был. Серьёзный. Важный. Ловкий.

– Папайя вроде доволен своим стажёром, – постучал он себя пальцем в грудь. – Обещает к зиме рукоположить в шофёры. Хлопочет перед директором, чтоб машину готовили мне. На папу грех обижаться.

Вот придумай – не поверят.

По батюшке Юрка – Иванович. И Половинкин – Иван. Так что в любом случае Иванович.

– Половинкин как родной?

– Похоже... Родной папахуля заливает, будто в радиатор. Тебе ли говорить? Вечером приходишь, во пласт лежит наш доблестный Комиссар Чук. Начисто отключён, мухе культурно *кьш* не скажет. Тако бухой!.. Так когда и чему он научит? Сбрасываться по рваному и кидать рюмашки в горло? А чужой дядя кусок с маслицем на всю жизнь подпихивает в руки. Вот и суди, кто родней...

Мы на полном газу прожгли бетонный мосток с чёрными чугунными оградками.

Игристо побежали наши плантации.

Вот мы и дома.

У самой дороги по крайним рядам ползала Санка. Корзинка на боку была у неё туго набита чаем.

Увидала нас Санка – вздёрнула к небу кулачки с чайными пуками, бросилась к нам.

– Здравствуйте вам, Саночка Акимовна, – степенно поклонился в окошко Юраша, срезая прыть с бега нашей телеги и эффектно останавливаясь точно возле Санки.

– Мой Боженька! Живой!

Она прижала руки с чайными пуками к лицу и заплакала. Юрка торопливо выскочил из кабинки, обнял её за плечи, шатнул к себе.

– Ну что ты, малышок, что ты... Всё моё всё при мне... Ничего не потерял... И не потеряю. Могу гарантийную расписку дать.

– Любчик, тебе всё шуточки. А тут голова пухнет со страхов. Поехал... Один... Первый раз... Кругома чужие... грузиньё... Мало ль что в дороге спекётся? Боюсь я вся.

– А ты глубоко наплюй и не бойсь. Как я... Да пока ты у меня, ко мне ни одна напасть не прилепится... Жди на рассвете! Такая уж наша шофёрская утеха. Как чаёк на фабрике сбагрим, так на всех ветрах к тебе и под бочок.

Он неловко поцеловал её в висок, и мы поехали в наш посёлок.

– Слышь, ты всерьёз женишься? – спросил я.

– Только всерьёз. Простуды дожали.

– Какие?

– Обыкновенные. Вот у тебя в хозяйстве кто первый просыпается? Ты сам или твой перчик? Лично у меня пер-



вым вскакивает перчик и бессовестно хамит, играет побудку. Подыметя корягой, одеяло с ног, с боков посдирает. Вот и простуда... зорька за зорькой. Форменное безобразие. Так можно вусмерть простудёхаться.

– Тебя всё на хаханьки сносит. Как того больничного мужичка.

– У всех мужичков одна и та же простуда... А без хаханек если... Знаешь же... Зачем в люди по печаль, когда дома плачут?.. Мать схоронили... Трое нас у папаньки-алика. Я старший из братьев. Мне и думай... Чеши грудь табуреткой<sup>245</sup>... Аж кричит, нужны в дом руки женские... хоть приходящие. В одну комнату с четырьмя мужиками паранджу<sup>246</sup> разве поведёшь?.. Санка когда-никогда приготовит что на бегом, простирнёт, пол продёрнет... Любовь наша вся в репьях. Чистенькая не получается...

Он как-то покаянно, долго посмотрел на меня.

– Эвва! – Он что-то снял с моего подбородка. – Только заметил. Видать, крепенько ты чебурахнулся. Кожу на подбородке завернуло... Останется шрам. Даже вот пролетарский булыжничек в крови запёкся. На. Полюбуйся.

И верно.

Круглый камешек с пшенинку был в крови.

Я катнул его на ладошке – ветер выхватил его в окно.

– Дёма, – сказал Юрка, – ранку аккуратно обмой своей

---

<sup>245</sup> **Чесать грудь табуреткой** – напряжённо искать решение проблемы.

<sup>246</sup> **Паранджа** – жена.

мочой. До первого развода заживёт.

– Ты уже намылился разводиться?

– Тут, друже, ещё расписывать не хотят. Ни ходу ни выходу... Несовершеннолетние-с... Неужели без сельсоветовской цидульки мы задрапируем Ленина с нами<sup>247</sup> и сдадим свою любовь на сберкнижку до совершеннолетия? Не на тех запали! Саночка моя уже с киндерсюрпризом.<sup>248</sup> Во взрослость лет, видать, мы будем входить вместе с нашим первым пукёнышем.<sup>249</sup> И тогда в один сельсоветовский забег распишемся с Санкой и получим метрику на своё чадо.

– Юр, утром я толком не понял, почему же так срочно уехала Женя. Что стряслось? Что ты вообще знаешь про неё?

– Что я знаю... Да так... кой-что... Отучила восемь классов. За тишайшие успехи директор не пустил в девятый. Она и катани сюда заработать на платье, на туфельки. Лучше копейка близко, чем рубль далеко... А неделей позже под Лайтуры приехали по вербовке ещё семь землячек. Там и подружка. Было это позавчера, когда у нас полыхали танцы-саканцы, и ты с ночёвкой закатился в наш недоскрёб... Ну, увидали девчонки впервые горы, заахали. А поселили их в сказкином месте. Лес кругом, нигде ни дымочка. Романтики полный чувал. А ночью с гор сползло ровно семь закоптелых кобелей в чулках с прорезями для глаз. Эта такая

---

<sup>247</sup> **Ленинснами** – широкая семейная кровать.

<sup>248</sup> **Киндерсюрприз** – неожиданная беременность.

<sup>249</sup> **Пукёныш** – ребёнок.

грязная бармосня, что сразу и названия не сплетёшь. Отсекли пиндюки свет в девчоночьем бараке, не спеша, без паники вынули стёкла из рам и экзотично, через окошки полезли знакомиться. Это было битвище. Девчонок умолотили в гроб – избили до полусмерти сперва. А потом устроили группенсекс. И кипела эта глумь до утра... Каждый кобеляра отведаль из всех семи невинных чаш... Вот так-то эта пиндосня, любящая хвалиться своим божественным кавказским гостеприимством, с нашими девчоночками... Ну не страна лимоний и беззаконий? Как только зверьё снова уползло в горные норы, девчонки с воем кинулись к поезду. Назад! К мамкам! А подружка пришкиляла к Жене. Ну как же! Мать велела передать Жене пару тёплых носков. Женя забыла взять, так ты ж донеси. Обревелись они тут... Пока не подсекла новая беда... Вдвоём и повезли носки назад матусеньке. Вдвоём надёжней... Не спокинула Женя подружку одну в разгроме.

И разве мог я её осудить? Как шепнула душа, так и поступи пай.

Дома я достал карточку из-под рубахи.

Карточка была тёплая.

И грустная.

Из веночка из райских птиц грустно улыбалась Женя.

Сверху над веночком слова в дужку:

Помни обо мне

А под веночком целуются голуби.

И стишок:

Если счастье тебе вдруг изменит  
Или горе постигнет тебя,  
Ты вспомни, что есть где-то сердце,  
Которое любит тебя.

Карточку я подпихнул под кнопку, что держала на стене  
правый верхний угол «Сикстинской мадонны».

– Кто это? – спросила мама про Женю.

– А вот, – показал я на кудряшика на руках у Мадонны. –  
Выросла. Стала такая.

Мама вроде поверила моим словам. Но тут же засомнева-  
лась:

– Что-то не тае поёшь... На руках, кажись, хлопчик. Из  
хлопчика выросло дивча?

– Выросло... Маленькие дети... Не сразу с лица разбе-  
рёшь, где мальчик, где девочка...

Мама внимательно посмотрела на Женю.

– Гарне дивча, – похвалила Женю. – Брови, как серпоч-  
ки... В глазах недоля... Бачь, молода, да горем вже повяза-  
на...

И в грозу мама теперь молилась и Марии, и Жене.

Двум Мадоннам.

*Спорить с дураком так же бессмысленно, как и с умным – никому не докажешь свою правоту.*

*В. Георгиев*

Бело-оранжевое весёлое тепло обняло лицо, я проснулся.

На тюлевых занавесках в открытом окне лениво покачивался со сна ветерок. Сквозь рисунчатые просветы золотисто текло рассеянное солнце. В ясные дни оно всегда будило меня.

В комнате пахло блинами.

Дверь открыта. Значит, мама печёт на летней ярко-жёлтой грубке у плетня.

Перебрасывая горячий блин с руки на руку, мама вприбежку прожгла к столу, откинула край полотенца, бросила блин на стопку и тут же снова накрыла.

– Ты уже не спишь? – шёпотом спросила.

– Да, пожалуй, нет. А что?

– Блины с мацоней ел бы зараз. Горяченьки! Оно и вкус другой. Хиба то блины, как охолонут?

– Рано ещё.

– То барскому городу рано, а нам уже поздно. Край мне уже на чай чинчикувать.

Неотглаженная рубанком лавка с блинами, с мацоней переезжает вприхват к койке.

Нехотя взял я верхний блин, развесил перед собой и вижу в прострелинку с горошину, как мама вываливает в узкий бидон ведро нагретой воды.

Я спустил ногу по самый пах в бидонное тёплышко.

– Пускай, – мама прикрыла ногу байковым одеялом, погладила, – пускай парится на здоровье.

– Пускай, – не возражаю я.

Из-под койки она выудила призрачно лёгкую бамбуковую корзинку, кинула в неё жёлтый комок кукурузного хлеба, луковичку, соль в газетке – снова без завтрака! – и побежала в сырь, в холод росистого чая.

Я ел и парил.

Без аппетита массировал, теребил ногу в воде.

Каждое утро одна и та же волынка. Надоело парить. Надоело ослом упираться в прутья в коечной спинке. Упираешься, упираешься... Думаешь, вот-вот под напором счастья, побежит гнуться. А она и не думает!

Я упрямый, а нога ещё упрямистей. Лежит прямёхонька, как оструганная анафема. И ничегошеньки ты ей не пропишешь, и ничегошеньки ты с нею не сообразишь. А будь ты крива!

Прут железный, и тот ржаво поскрипывал под пяткой, продавливался. А нога? Твердолобей железа?

Я широко замахнулся, но пока кулак опускался, злость из него вытекла и он ватно, еле слышно тукнул по колену. И всё же больновато. Значит, ещё живая?

– Почаще так её, каторжанку! Почаще! – хохотнул Митечка.

Одной рукой он споласкивал лицо, другой подпихивал блин в рот. Загулялся кадревич. Со свидания прискакал на зорьке. Отоспаться некогда, поесть некогда.

– Ты у нас спец по мордвороту, – сказал я. – Разок бы ахнул сзади по этой дуре. Незаметно так. Чтоб я не знал. Она и согнётся если не в три, то хоть в одну погибель. Для начала.

– Не. Уши шикарным бантом завязать – пожалуйста. А это не. – Митя потянул шею из стороны в сторону, никак не ужмёт в себя сухой блинец. – По просьбе трудящихся не костыляем. Ты раскали. Разбуди во мне тигру. Тогда я тебе без письменного прошения долбану. Но куда не ручаюсь.

– Куда попадя мне не надо.

– Тогда сам себя обслужи. Суетись. Суетись, якорёк тебя!  
Под лежач камень вода рвётся?

– Но и катучий мохнат не будет.

– О, какой припев он знает! А лучше... Суетись! Рыбка клюет у того, кто ловит!

Он повеял в бригаду с блином во рту. Жевал и в комплексе навывал:

– Как-то утром на рассвете  
Заглянул я в летний сад.  
Там смугляночка Женюра  
Собирала автомат...

Всё в доме присмирела хмурая, укорная тишина.

«Чего валяешься? – проворчала тишина. – Лежаньем, хромушик, наживёшь чирей на боку. И больше ни шиша».

Паника сжала меня.

В молодом всё срастается быстро. И тем хуже. Раз нога чуркой, значит, что-то срастается не так? Выходит, каждый день мне враг? Надо что-то делать.

Но что?

Правда, кое-что по мелочи я уже смараковал.

Трижды спускал сиденье по полсантима.

А эффект? Нулевой.

Так спусти ниже. Сразу ещё на весь сантиметр! И не лежи!

Опустил я сиденье, воткнул два свёрнутых чувала под прищепку на заднем багажнике.

Поеду-ка на огород.

Скоро прикатит сентябрь. Уборка. Всё сразу тогда не ухватишь. А загодя почему не подобрать какую мелочёвку? Соя, фасоль уже выспели, надо обдёргать. Где созрелый кабачок, где уже до звона крепкий кукурузный кочан... Наберу. с пустом не вернусь!

И брешет госпожа товарищ Ножкина! Если самому пока не хватает духу вот так разом своротить её, так в огородной суете подходящий случай может набежать.

Оступлюсь, споткнусь, упаду – всё во благо! Брешет. Авось и хрустнет. Что посмеешь, то и пожнёшь. Сметь!

Я поехал.



Господи, до чего же трусость опаслива. Сколько уговаривал себя: идёт педаль кверху, под ногу, – не ужимай ты эту негнучку. Стукнет снизу хорошенечко и станет твоя инвалидка гнуться.

Я всё это понимал.

Но как только педаль начинала подниматься, я заране тянул больную ногу повыше.

Вот и достань...

У столовки почтальон Лещёв помахал треугольничком.

– Боевое донесение от отца Глеба!

Я на ходу взял письмо, сунул под прищепку на переднем багажнике. И стало от Глебова послания как-то светлей вокруг.

Я не кинулся читать его среди дороги. Зачем комкать радость? Прочту на огороде. На воле.

Огород меня подивил.

Лес лесом!

Особенно на новине. Кукуруза не в два ли человеческих роста, телом толще руки.

Я тихонько наклонил ствол, тронул длинный, тяжёлый початок за сухой фиолетовый чуб, и он до обидного легко сорвался, как не взятая в шпильки накладная косица. Я чуть задрал рубашку на початке, он озорно засмеялся, блеснул крупными, в палец, белыми зубами.

Кукуруза уже выспела, но постоять ещё может. Пусть под-

бирает последнее тепло лета. И вдруг хлопни дожди, ей не страшно. Зёрна плотные, блёсткие, как стекло. А какое стекло трепещет перед водяными стрелами?

Я прижался щекой к томкому теплу сытых, гладких зёрен; пахнут они солнцем, летом, землёй, мокрой травой и моими детскими мозолями и пóтом.

Бережно я снова надвинул на верх кочана шуршащую его рубашку. А чуб не удержался на осклизлых зернах, упал и завис фиолетовым облачком на широком громоздком листе, подкрашенном осенней позолотой.

Я приладил чуб ко лбу кочана. Пожурил:

– Не бросай свой чубчик. Тебе без чубчика не идёт.

Зачарованно побрёл я дальше по своим джунглям.

Вокруг всё переплелось, связалось, слилось в единый живой восторг.

И хозяйка здесь кукуруза. Королевишна.

Земля державно вознесла её из своего лона. За листьями-полотнами не видать неба. Королевишна выше всех, сановито посматривает окрест. Не всё ли солнце забирает она, и лишь блёклые его пятна великодушно пропускает меж ребристых, сабельных листьев к забитым, тихим кустикам сои. Снисходительно терпит Королевишна дерзкую смелость вертлявой фасоли, огуречных, тыквенных плетей, что уверенно переползают со ствола на ствол, надёжно держась за них цепкими усиками, развешивают на ней свои дары, как украшения на праздничной новогодней ёлке.

Я сел на землю, рву в мешок сою.

Тревожно-сладостно видеть подвешенные, будто игрушечные, огурцы, арбузы, тыквы с сизым налётцем, тугие стручки фасоли. Глядеть не наглядеться, дышать не надыхаться...

Хлопотливое лето разрядило нам весь огород – дивная картина.

Из своего домка между стволом и листом кукурузы насторожённо лупится паук. Мимо носа по огуречному тракту дельно поспешали в два конца муравьи.

– Откуда? Куда? Из Криуши в Насакирали? Или уже из Насакираликов в родную Криушу?

Грубо молчат. Заняты.

Я втиши желаю им доброго пути и тоже молчу.

И, кажется, всё это очарование озвучивали редкие усталые пчёлы.

Под их пасторальные, тающие звуки я увидел, как из соевого стручка, который я сорвал и который ликующе выстрелил в меня мелкими желтоватыми ядрами, вышла принцесса.

«Я приглашаю вас на наш карнавал лета!» – сказала она и поклонилась.

И в какой тут душе не закипит карнавал?

«Приглашение с благодарностью принято!» – вздохнул я и юзом переехал по угорку ниже с мешком к новому кусту сои.

Обирал я и фасоль, рвал спелые тыквы, жёлтые огурцы на

семена.

Набил огородиной оба чувала.

Приладил один на задний багажник, другой вкатил на передний и тут увидел Глебово письмо.

Совсем про письмо забыл!

Я ссадил чувалы на землю, прислонил к ним велосипед и раскрыл письмо, повёл им на все стороны.

Смотри, Глеба, что narosло! Джунгли! Особенно на новине... Вспомни, как мы прирезали эту новину, как чуть не пожгли всё вокруг... Тогда я крепко труханул... А ты огнём... враз... Посмел... Всё выбежало на твою правду. Воистину, что посмеешь, то и ухватишь....

Глеба писал про свои армейские дела. Писал и про Федю-дружка. А хват этот Федорок. Блеснул в последнем балете. Так Глеб называет показательные военные учения. И поступил-таки заочником в рисовальное училище. Как зуделось, так и вывело на его волю. Люблю таких настыриков.

Попив кепкой из ручья, вальнулся я на траву передохнуть, прикрылся от солнца письмом.

И незаметно уснул.

И приснился мне Федя.

Уже знаменитость.

Приехал к нам в школу, в дар притаранил свою картинищу во всю стену. Про Грозного.

Наш директорий перед Федей на цыпоньках.

– Зачем, – умно так спрашивает, – цар носил посох? Ну, ходи себе с рэмнём, с хворостиной...

– Ему по чину посох положен, – важно отвечал Фёдор. – Невозможно представить, как это царь охаживал бы любимого сынка... царевича ремнём или хворостинкой. Долго. Утомительно. Нерентабельно. Не выбьешь махом дурцу. А то рраз державным посошком да по окаянной головке и от царевича мокрое местынько...

– Нэ читал цар Макарэнко. Нэужели эму посох дан...

– ... чтобы кровному дитяти лоб ломити! – подхватил Фёдор. – Сначала завещал сыну целое царское подмосковное село Ясенево, известное по летописям с 1206 года... Сначала завещает, а через девять лет... А вы, Илларион Иосифович, оч уж с нами панькались. Били б погуще да побольней, быстрее-ей бы умок рос. Будьте с нами строги, как Иван Васильч со своим сынком!

– А кому ж я тогда буду вручать аттэстаты спэлой зрелости?

– Ну, вы не буквально. А так, примерно...Рядышком... В Фёдоре я разочаровался.

Но обрадовался, когда проснулся: был это всего-то лишь сон.

И разбудило меня какое-то неясное бубуканье. Будто под водой говорили.

Я вслушался.

Визгливый, ересливый голосок Надёны. Кого она там по-

лощет?

Твёрдо-осторожно покрался я меж кукурузинами.

Ба! Будьте-получите!

Из нашего огорода понуро выбредал преподобный её Алешечка. Впереди Алексея колыхалась горушкой Василинка. Неужели на месте застучала амурят?

– А ни стыда а ни совести... Один блудёж на уме. С кобелиными утехами бегае в ребячий лес! А своей чахотке... – Они переступили травяную межу, пошли по её с Алексеем огороду. Хлюпкие, жёлтые кукурузные хворостинки редко и сиротливо торчали из буйства сорных зарослей. – А своей чахотке ума не дать! Где, хозяйко, твоя кукуруза?

Надёна бессильно покосилась на Василинкину спину.

И ответила себе:

– В кобылий амбар ушла! Мальчата урожаище ломанут! Полняк! А наш кошкоброд знай с простифанкой с этой вестя...

Алексей устало отмахнулся:

– Кончай свой кислый концерт. Заявку тебе никто не давал.

– Я кончу, паразит! Я кончу!

Она с корнем выхватила из земли кукурузину. Как прутиком, без силы хлопнула ею Алексея по боку.

Алексей не среагировал.

В этом неразлучном тоскливом треугольнике всё уже всем давно надоело. Алексею надоело рваться между семьёй и лю-

бовницей. Василине надоело ловить обрезки с чужого счастья. Надёне надоело склочно обрывать их уже ленивые, скучные сеансы кустотерапии.

Каждый понимал, что глупо делал что-то не то, но не мог уже не делать. Привык. Все устали. Эта усталость смертно придавила всех. Пальцем не шевельнуть. Воистину, загнанному коню и ухо тяжело. Все вконец умучились и без слов будто вошли друг с другом в тайный сговор. Пусть идёт, как идёт. Авось случай разведёт.

На том все и посмирнели.

– Вы, хамлюги, – беззлобно зудела Надея, – как поведёт на гулево, не ускребались бы в ребячий огород. Там жа всяка травинка с глазами с детскими. Совестились бы... А?..

Ей надоело нести дохлую кукурузину и она швырнула её вдогон Алексею и Василинке.

Горькая парочка, облитая последним предвечерним, ржавым солнцем, даже не оглянулась.

Надёна постояла-постояла и взяла себе в другую сторону.

Грустно...

Август уныло раздавал последние душевные дни, нехотя спускался с летнего трона.

Закапризничали ночи.

Они ложились на землю обильными росами, и по утрам прохлада осени резво опахивала тебя.

Предосеница...

Гурийская осень докучлива, как засидевшаяся в девках невеста. Натянет на горизонт, на самую бровь земли, толстый тугой серый плат облаков и за беспрестанными дождями когда-когда проблеснёт солнце.

А пока ещё тепло, сухо.

Шевелись, мужичок!

Наконец погрузка закончена.

Высоко и толсто бугрились мои чувалы на переднем и на заднем багажниках.

Лежать на ребристых железках им, похоже, не нравилось. Они покачивались, готовые во всякий миг тяжело спрыгнуть на землю.

– Ну что, господа, заждались меня? Своего кучера? Едем, едем... Пора! В путь!

Одной рукой вцепился я в руль, другой в сиденье и, припадая грудью на передний мешок, пыхтя, поплёр весь этот базар в гору.

У чумородного велика страсть рвануть вниз.

Так и норовит опрокинуть тебя на спину и сбежать.

Тропинка кружит меж кустами, где дождевая сырь пережидала погодные дни. Пальцами босых ног вгрызаешься в прохладное месиво. Так надёжней удержаться на плаву.

И когда ты совсем выматываешься, захлёбываешься пóтом, спасительно суёшь ногу под заднее колесо, мёртво валяешься на мешок. Отдых! Заработанный, законный отдых!

Еле выпер я свой велик с двумя чувалищами на шоссейку.



Я с тоской смотрю с бугра на крутолобый овраг, откуда выполз, и озноб встряхивает меня.

Слава Богу, я уже на углу дороги, что вилась из центра совхоза к нам на пятый.

Отсюда она, будто утомившись, в прохладе ёлок по бокам катилась под горку.

Я воткнулся середнячком между чувалищами. Тем и хорош велик – то ты его прёшь под белы ручки в гору, чуть не пластаешься по земле. А то вот с горки, пожалуйста, в отместку плюхай на него верхи.

Ветер торопливо выпил, облизал пот со лба, с шеи, высушил голову, спину, и вот я уже слышу, как он сатанеет за плечами, гудит в ушах, давит в глаза.

Скорость звероватая. Колёса ворчливо шипят под тобой по мелкому каменешнику. Ну и шипите! Что вам ещё остается делать?

Я слышу сзади нарастающий тяжёлый шип.

Сбиваюсь к обочинке, впритык к канаве, что разделяла дорогу и бугор.

Шипенье сзади матерееет.

Уже я слышу локтем, как легковуха трётся об меня. Не проскакивает вперёд и не отстаёт, киснет ноздря в ноздю.

Страх вяжет меня.

Во мне всё немеет.

Я боюсь глянуть на машину. Если гляну, меня тогда само что-то звериное потянет к ней, и я обязательно налезу на неё

и грохнусь.

Кажется, меня и без того уже тянуло. Я еле успевал отдёргивать своё саблеострое, задиристое колесо от сытого бока тупой моторной тачанки.

Гадина! Где совсем накрыла медным тазиком! На последнем повороте. Господи, как вытянуть?

Чуть дальше канава кончится, дорога уширится, польётся вольней. Там-то уж я дёрну вправо, оторвусь от тупарихи.

Неожиданно машина натужно заблеяла.

Её рёв как бы оттолкнул меня от неё, я хватил в сторону. Слава Богу, дорога была уже просторней.

Но вырулить потом снова на дорогу чувалы мне не дали.

Я проскочил в прогал меж двумя рядами ёлок, стражей дороги, инстинктивно напрягся и бацнулся в чайные кусты.

Плотные чайные ковры всё же срезали, подмягчили удар. Во мне что-то хрустнуло, особой боли я не слышал и не спешил вскакивать, отпыхивался на высоком зелёном бархате.

– Ты чито? Сумачечи? – заорал знакомый голос.

Хо!

Да это сам школьный директорий-крематорий! Незабвенный падре Арро! Вывалился из чёрного железного нутра, вприскокку пожарил ко мне.

Следом семенил старичок врач Ермиле Чочиа.

– Пачаму ти не останавливаэшься, когда тэбе сигналият старшие?

– Да как же я остановлюсь? Вы согнали... стёрли меня

с дороги. Прижали к канаве... Своим железным «победовским» боком тёрлись об меня... В канаву живьяком пихали!

– Нэ клеветчи на старших! Никто тэбя и мизинцэм не пхал! Нэкогда нам с тобой тарки-барки разводить. Ти зачем старого, заслуженного врача склонял... вай, к авантуре? Зачем заставлял доктора Эрмиле сломать твой глупи нога? Развэ нэ знаэш, перви заповэд доктора – нэ навреди?!

– А если уже навредили? Так почему не навредить ещё раз и всё исправить? Минус на минус даёт же пока плюс?

– Фа-фа! Какои умни! Ка-кои умни! – воткнул диктатор кулаки в бока. – Ти кто? Боткин? Склифосовски? Исаковски? Матусовски? Чертовски? У тэбя нэту бази мэдицинских знани. Ти нэ можэшь судить работ врача!

– Я на своей шкуре таскаю эту базу. Надо сломать и правильно сложить. Просто чтоб гнулась.

– Но ломать – это призвание не хирургов, а при... ливе... а привилегия людей совсем иного сорта, – вкрадчиво вставил Чочиа. – Ломать – это ломать. Вредить. А истина?

Мне уже наскучила эта истинная карусель.

– Уж что-что, – ляпанул я, – а истина стоит у нас дорого. Даже с места без костылей не сойдёшь.

– Вот! – взвился на новый виток папаша Арро. – Болен – лечись! И не отслеживай работу врача! Не своевольничай! А то можэшь под суд загрэметь!

– Лечение штука добровольная, – заоправдывался я.

– Но не подпольная! – угодливо подкрикнул директорию

Чочиа. – Ты почему сбежал ночью? Почему не оставил расписку, что от лечения отказываешься?

– Нельзя же вечно лечиться! Я и так сорок шесть дней отваялся. Гос-споди...

– На Бога не ссылаться! – топнул Арро. – Бога нет! Кого нет, тот нам не авторитет!

– Господи, чего же приставать? – подумал я вслух. – Ехали б своей дорогой...

– Извините, – жёлчно поклонился дир. – Лично я глубоко сожалею, но у нас с вами дорога одна!

– Разве?

– Он ещё сомневается! Почитай!

Директор указал на фанерный кривой плакатишко, что упирался рогами в землю. Стоял плакат внаклонку на единственном ноге в канаве по ту сторону дороги и по колено в гнилой стоячей воде. Краску раздёргали дожди, и грязно-бурые потёки сочились к низу фанерного листа.

Щиток низко наклонился вперёд, будто споткнулся от непомерной ноши и готов был вот-вот мертвецки пасть в пахлое болотце.

– Читай... *Правильной дорогой идёте, товарищи!* – по слогам одолел директор надпись на щитке. – Это относится ко всем! Без исключэни!

– А куда идём-то? – спросил я.

– Боже! – воздел мученические очи к небу Арро. – В какие жюткие руки ми вынуждены передать эстафэт святой борби

за светлоэ будучее!.. Всэго чалавечества!..

Я осторожно вздохнул. Мол-де, приму ли я от вас вашу палочку?

– Ну и поросль проявляется, – покачал птичьей головкой Чочиа. – Как дети говорят с отцами?

– Я ничего не сказал, – шепнул я.

– Вибирай виражэния! – крикнул директор. – Растёт щенок, растут и зубы! Хулиган!.. В общем, закрываем базар! *Эдиногласно!* – Арро потыкал себя в грудь. – Сэчас ти поедешь назад на болниц. к доктор Эрмиле, – чинно качнулся директор к Чочии, – попросил помогайт вэрнуть тэбя на долэчивание, и я вэрну. У тэбя каникул? Гуляэшь на велсипед? У мне тож каникул. А пачаму я долэжен свой каникул размэнивать на тэбя? Заодно!.. Эсли твоя мат так и не соизволила придти ко мне в школу, когда я визивал, так я сам навэщу эё. Посмотрю, послушаю, кто растит нам такое безобразие! – Арро наставил на меня пистолетом дрожащий выморочный, жёлтый указательный палец с чёрным островком мха вместо мушки. – Вставай! В «Побэду»! – кивнул на свою машину – И марш на болниц!

Мимо пролетела зелёная легковуха.

Змеёй она вшуршала в поворот.

Я проводил её глазами, дёрнулся встать и завалился снова на куст.

– Не ломай нам спектакл! – подкрикнул директор. – Как кататься на велсипет, он можэт. Как пройти двадцат шаг до

машины – нэ можэт!

– Оу!.. Не встать на ногу... Из-за вас... Сломали...

Наверное, моё оханье высекло какую-то ответную боль.

Арро глянул на меня смирней.

– Вот видишь, – снял он в голосе несколько этажей. – Болит же, а ти убежал от болниц. Развэ нэ глупо? Вооружайся определённой любовью, вооружайся определённым энтузиазмом к дэлу лечэния... Надо долечитса... Надо... Скорэй соглашайся.

– Это он и сам понимает, – подсуетился Чочиа. – Сознательный товарищ, пишет по разным газетам.

<sup>+</sup>Упоминание о газетах произвело на папашу впечатление красной тряпицы, что дразняще шваркнули испанскому быку в лицо.

– Да! Да! – хлопнул себя по загривку директорий. – Пишэт! Пишэт! Пишэт левой ногой через правое плэчо! Знаэт, лэви рука неподсудна! А лэви нога и подавно! Вот он, лэвша, и пишэт всё лэвой ногой! Лэвой! Лэвой! Лэвой! Тожэ мне бесплатни Маяковски... «Лэви марш», марш на машин!.. Про мой школ тож писал!.. Эсчо ка-ак писа-ал!.. Зима. Каникули. Всё в школе эст. Шашки-машки. Шахматы-бахматы. Домино-мамино. Кружок шитья-митья и полосканья... Чаво хочешь – всё полно! Всё эст! А он писал – ничаво нэту!!!

– Я вообще ту заметку не писал.

– А я и на смэртном одрэ скажю – писал! – принципиально поджал дирик губы и угнулся, диким, злым быком уста-

вился на меня поверх очков. – Писал! Пи-исал!! И довольно дэбатов!

Он подхватил меня под одну руку, Чочиа под другую и потащили к машине. Ух ты... Не сам гвоздь скачет в бревно. По шляпке молотят!

Я пробовал наступать на больную ногу и не мог.

– Вы сломали мне ногу! – тукнул я локтями врача и директора. – Машиной загнали в кусты! Как какого шкодливо-го цуцыка...

– Не клэвэщи на старших! – крикнул Арро. – Мы ехали сюда развэ что ломать?

– Когда просил сломать в больнице, – повернулся я к Чоче, – вы отказались... А тут...

– Кончай свои глупи лэкци про поломка! Бэгом марш на машин!.. – И дир с силой толкнул меня в затхлую глубь «Победы».

– А вел? – закричал я. – А мешки?

– Эчто, – хмыкнул Арро, – и велсипет твои надо на болницу?

– И велосипеду, и мне надо домой.

– Чёрт с вами! Доэдем и до дома.

Шофёр составил мешки в багажник. Багажник не закрывался и его оставили с закрытым забралом.

Мне было отдано всё заднее сиденье.

Прилип я к краешку, во всё сиденье расклячил свою инвалидку.

Арро сел за руль, Чочиа рядом.

– А ти, – приказал папик шофёру, – едешь за нами на велсипет.

– Я не умею на этом ве...

– Не смэши! – покровительственно ответил падре. – Ас первого класса не умеет управлять велсипет? Следуй за нами. Иначе ти останешься бэз работ у мене. Вибирай бистро!

Мы стронулись.

Шофёр побежал с велосипедом за нами. Не успел бедняга сделать и пяти шагов, как что-то уже не поделил с велосипедом. Велосипед круто вильнул, забежал поперёк пути, и задоватый шофёр на полном скаку лёпнулся на выставленные велосипедом мослы.

– Илларион Иосифович, – сказал я директору, – а пускай товарищ садится возле меня. Места хватит. Я ужмусь.

– И велсипет хватит?

– Веселопед можно в окошке держать.

– Пожалуй...

И дальше мы погнали всей артелью. И кабаки, и соя, и велосипед. Шофёр держал его за раму в открытом оконце.

Впервые в жизни ехал я в легковушке. Не наскочи такой случай, когда б я ещё прокатился?

Гордость распинала, ширила меня.

Кто сказал, что папашка Арро кощейский злока? Добруша! Добрейский дядечка. Знай себе рубит по первому разряду. С ветерком-с! Жмёт же на весь костыль!



Илларион Иосифович летуче глянул в зеркальце, насуровил брови:

– На какой тэма сияешь, молодой дарование? Нэ думай, я к тебе в таксисты не нанимался. У мне свой строги интерес... Посмотри, как ти, Шалтай Болтаевич, живёшь. Встрэчу твой мат... Эсли гора нэ идёт к Магомету, то негордый Магомет едет сам к горе. Узнаю, пачаму она так и не пришла по моему визову в школу. Глеба ми с грехом наполовинку выпустили... простили... Ужэ воин... в школу благодарност прислали. Они там и не знают, что он тут цэлую дэкаду не бил на урок!.. А ти сколько прогулял по неуважительной причинке? Я это так не отпущу...

И чем ближе подъезжали мы к дому, всё муторней кружило мне голову. Вот сгрузят мешки и силою повезут меня в больницу? Силою?

Я ж не мешок! У меня руки есть? У меня глотка есть? Голос я в лесу не потерял... Хватайся за что недвижимое, за те же перила на крыльце и ори: убивают! Помоги кто живой!

Стыдно станет, отзынут.

А там хоть на Колыму с дудками вези, пока ходят поезда с пароходами.

Но звать в помощь ни живых, ни мёртвых не пришлось.

Честь честью внесли все моё приданое, не забыли и меня в «Победе». Под руки довели до койки.

Осматривает Чочиа мою инвалидку и между прочим раз-

думчиво роняет:

– Ехать на гружёном велосипеде с негнущейся больной ногой ... Это не сродни ли подвигу?

– Никакой родни, доктор, – поморщился я. – Раз ехать надо, я и поехал. Сама огорожина разве домой побежит?

Чочиа вздохнул и ничего не ответил.

Внимательно осмотрел он мою инвалидку, спросил, хочу ли я снова в одноместный больничный коридор.

– Неа, – мотнул я головой и на всякий случай вцепился в коечную раму, облитую прохладой.

– Ладно. Оставайся. Только парь. И массаж, массаж, массаж! – строго воздел Чочиа указательный палец.

Выходили они из нашей ямы<sup>250</sup> какие-то пришибленные, смиренные.

И директор не кинулся по плантациям искать маму. Расхотелось? Почему?

По-прежнему каждое утро я запихивал снова сломанную опухшую красную ногу в тонкий высокий бидон, растирал в горячей воде. Потом упирался подошвой в коечный прут, подсовывал себя, побуживал ногу.

Ну гнись! Гнись же! Сколько ж можно таскать тебя колодищей? Кто за тебя будет гнуться? Если ты, атаманка, не усмиришься, мы никогда с тобой не выйдем без костыля из дому. А разве тебе неохота без подпорки сбегать и на речку,

---

<sup>250</sup> Яма – комната.

и в лес, и на чай? Неужели не опостылело валяться красной чуркой? Сколько же, толстушечка, можно спать?

И настал день, когда нога пробудилась.

Со сна потянулась, согнулась на полноточка.

На новый день ещё на полноточка.

Там ещё. И ещё... И ещё... Пока мы на койке не доскакали с гиком до своего Берлина.

У меня так и не наскреблось храбрости быстро сломать самому себе ногу.

Не получилось быстро. Поехал медленней. Тише едешь – наверняка у цели будешь.

Постепенно сажал я сиденье велосипедное всё ниже, ниже, ниже... Я ни за что не отступился бы, не начни нога гнуться. Но Чочиа и папаша Арро обогнали меня. Казус напугал их на меня. Лезли валить душу, а больше *покуда* досталось моей ноге. Подломили.

И не за то ли я бью им земной поклон?

Ну-с, теперь уж точно «конец света без нас не начнётся».

*14 мая 1967 года. Воскресенье. 22.00 – 6 сентября 1980 года.*

*Суббота.*

# Часть вторая

## Всяк бежит за своим светлячком

### *Роман*

# 1

*От светлячка бор не загорится.  
Русская пословица*

Есть что-то печальное в скоротечности молодого вечера.

Совершив положенный дневной путь и отпылав дурным жаром, усталое, набухшее солнце закатно пало за соседний дом, и жизнь во дворе, кажется, начала понемногу копошиться, оживать.

Медленно, степенно вышел из сада живописный рыжий кот Варсонофий в белых носочках. В зной кот отсыпался на вытертом едва ли не в блеск его боками распадке яблони под тесной, плотной тенью, обдуваемый редкими, вялыми наскоками ветерка. Уже посреди двора и в тот самый момент, когда кот до хруста в косточках потягивался, почти касаясь животом земли, под ним промигнул крохотный облезлый цыплёнок.

Выпад курчонка несказанно подивил Варсонофия.

Удивлённо моргая, Варсонофий проследил, как цыплек весело отбегал в сторонку, как остановился, как присел. Потом Варсонофий неторопливым, ровным шагом подошёл сзади к нему, игриво потрогал белой лапкой.

Курчатко в панике повинно запищал, но с места не снялся. Страх парализовал его.

Варсонофий отошёл, сел и себе, обнялся хвостом и принялся с интересом разглядывать успокаивающегося в слабющих, тихих вскриках пискляка.

Жалкий, щедушный, часто и густо больно битый мягкими клювиками собратьев, он отпал, отстал от выводка, от цыплячьей кучи и всегда, в жару, в дождь, коротал долгие, вековые дни в одиночестве где-нибудь под лопушным листом на огородчике у старого плетня. Одному ему было скучно, и он, изгнанный своими, на собственный страх и риск пробовал слить дружбу с Варсонофием.

Писк разбудил под крыльцом Милорда, хозяйского пса, рослого, разгонистого в кости.

Милорд зевнул с подвывом. Понюхал воздух.

Увидав меня в открытом окне, пёс не твёрдым со сна шагом взял в мою сторону. На ходу вспрыгнул ему на широкий, как скамейка, простор спины Варсонофий. Милорд и ухом поленился повести. Впервой ли катать рыжего варяжика?

Тревожно заоглядывался цыпушонок.

Вскинув крылышки, качнулся следом за Милордом с Варсонофием на спине.

Приблизившись, троица выжидающе уставилась на меня.  
– Ну что, попрошайки, на вечерю пожаловали?

Варсонофий дёрнул усом, отгоняя липучку муху; ещё не отошедший от жары Милорд вывалил в пол-локтя язык, задышал тяжело; несмело сронил своё робкое пи-пи-пи цып-лок.

Милорд на лету поймал свой кусок хлеба и, проглотив, как-то сразу погрузнел, хмуро косясь то на Варсонофия, не спеша, обстоятельно жующего чёрствую корочку под кустом сирени, то на курёнка, торопливо подбиравшего крошки и бегавшего раз за разом запивать к жестянке из-под кильки у толстой ножки лавки.

Долгий расстроенный собачий взгляд заставил меня повиниться:

– Прошу прощения, но добавки, пан Милорд, увы, не будет. Ни крошки больше... И на дух нету!

Пёс угрюмо задумался.

Мне вспомнилось, что собачий нос чувствительней человеческого почти в миллион раз.

– Может, – сказал я Милорду, – ты слышишь у меня в клетухе запах хлеба? Тогда иди и покажи... Чего ж ты ни с места? Тот-то... У самого кишки марш разучивают. Я б давно умял вашу долю, еле удержался... Вот если начальство поднесёт что, так я, слово чести, поделюсь, Милорд...

Милорд недоверчиво, сомнительно посмотрел на меня и тут же, под окном, лёг, глубоко вздохнув; уваялся за дом по-

веселевший цыплёнок; распута Варсонофий, вздёрнув хвост палкой, золотистым ручейком вытек в заборную дырку – настропалился, в радости покатил коляски к соседской чернушке на вечерние посиделки, которые сплошь да рядом затягиваются до розового утра.

В распахнутое окно хорошо виден весь двор, кусок нашей улицы.

Мне в удивление...

Вроде я сейчас в Воронеже, в большом областном городе, а улонька – никакой отлички от деревенской. В асфальт не убрана, затравянела, машины так размолотили её, что две глубокие колеи посреди стали главной её достопримечательностью. В дождь в тех ухабинах величаво плавают важные тумбоватые гуси. В сущь в них укрываются от жары куры, не забывая иногда нестись там же.

Сейчас на улочке никого. Сейчас на улочке только и жильцов, что одни тени. Тени от домов, от калиток с навесами, от глухих заборов, от лип, от тополей, от рябин, от зарослей сирени.

Редко когда пробрызнет туда-сюда какой стригунок, наверняка удравший полетать на воле от сморенной жарой старой пастушки-няньки. Мне нравится наблюдать, как у того под ногами коротко вспархивают серыми воробушками ленивые стожки пыли. Горячая эта пыль, по щиколотку залившая тропки у заборов, была будто живая. Когда пробегал мальчишка, она просыпалась у него под босыми пятка-

ми, просыпалась недовольно, казалось, ворчливо, только я это ворчание не слышал: было оно тихое, кроткое со сна, сморённое. И вся эта толстая пыль казалась тоже сморённой, оцепенелой от зноя. Она всё ещё спала, хотя был уже вечер, всё никак не могла придти в себя. И когда беглец стучал по ней пятками, она поднималась лениво, невысоко и, чудилось, в раздумье оглядывалась томко, тут же снова укладываясь спать в старое своё тепло.

Миrotворная, дремотная тишина и покой растеклись повсюду, затопили уличку. Даже трамвай, поди, притих, боится рвать эту тишину. Через два дома улочка обрубается, втыкаясь в колено трамвайной ветки. По утрам и в ночь трамвай на этом повороте так скрежещет, что страхи окатывают душу, кажется, будто он, трамвай, уже по тебе летит, и ужас утягивает тебя под одеяло с головой.

А сейчас почему-то нет того лязга. Шум-то, конечно, бежит от трамвая, звону хватает. Но он какой-то не тот, ночной, ярый, а какой-то разморенный, придавленный, виноватый.

Сладостно в такую минуту сидеть под окном и наблюдать снулую, примёрлую в жару и всё ещё никак не воскресшую в ранний вечер улоньку.

Мне хорошо. На душе ясно. И хочется эту ясность раздавать всем, всем, всем. И Милорду, задремавшему снова под окном, и пробежавшему сорванцу, и рыжим мурашам, трудолюбиво, добросовестно снующим у меня под рукой по



ветхому, сине крашенному подоконнику в трещинах. Краска кое-где поотстала, задралась ошмётьями. Древняя хибарка, древняя... Доскребаёт свой век...

Тихо, недвижимо всё... Словно вымерло...

И вдруг над этим мёртвым царством угарно хлестанул пьяный ядрёный голосина:

– Иэ-эх!.. Е-ех-ха-а-али-и на тр-ройке

– не догони-ишь!..

А вокр-ру-уг мелькало – не поймё-ёшь!..

Митин голосок. Слышен через лесок. Митин репертуар.

Опять хваченый.

Похоже, от его пенья даже листва протестующе зашеле-стела на липах у дома. Выжидательно наставил ухо проснувшийся Милорд. И в ближних домах недовольный народушко прихлынул к окнам. Ну какой это леший там горланит?

– Нолик!.. Эй!.. Без палочки который!.. Ноляха-ляха-бля-ха!.. Ну-у-у!.. Якорь тебя!..

Митя затарабанил в калитку кружком банки с килькой.

Я это не только слышу, но и расхорошо вижу во вделанном в витиеватый наличник зеркальце.

Тут надо пояснить.

С лица, снаружи, дом утыкан крохотными зеркалами, и как-то даже трудно подумать, трудно допустить, что этот *недошкрёб*, какие только и догнивают свой век по беспризорным деревнюшкам, не просто жилой дом, а нечто такое,

что напоминает, пускай и отдалённо, важнящий стратегический объект, снабжённый диковинной, затейной системой зеркального наблюдения.

Стоит человеку подойти к калитке, как его сразу видят во всех без исключения девяти комнатах, поскольку в каждой есть окно, а есть окно, есть и зеркальце.

Стороной я слышал – говорили соседи-конкуренты, когда звали к себе на постой, – что зеркала подглядывают не только за калиткой, но и за тем, что творится в сдаваемых комнатах. Говорили также, что зеркала, поставляющие хитрые новости, выстроены в ряд на телевизоре в комнате у старухи хозяйки; если телевизор плохо показывал передачи из телецентра или скучно, она выключала его и переходила на смотрины жизни квартирантов.

Не знаю, всё ли это так, но что касается наружных зеркал – всё точно как то, что Митя сейчас колотит в калитку.

Надо идти открывать.

Я не спешу.

Я ни капли внимания на Митин гром.

Не нравится, не к душе, как он зовёт меня. Нолик! Дурацкое имечко. Я такого и не слыхивал. Где только и выкопал. Не назовёт, как зовут меня по-человечьи, Антоном, а всё с вывертом. Нолик да Нолик. Разумеется, все вокруг нолики, это только он у нас один пуп на всю планету. Это только он у нас одна важная птичка-единичка...

На крике Митя озлётно потребовал:

– Открывай, папаха ты каракулевая! Килька несчастная! Ты что, не видишь? Козочка пришла. Чёрной моньки принесла! Бэ-э-э!..

Митя потыкал тяжёлой тёмной бутылью с чёрным вином в зеркальце и в подтверждение того, что он и впрямь коза, сухо, подгулявше пробебежал ещё раз на козий лад. Прихвальный, показывая кильку в кулаке и батон под мышкой:

– У меня не только монька, есть и к моньке, якорь тебя! Так что не отопри в сей мент, кре-епко пожалеешь, бляха муха. Ну! Эй! Без палочки!.. Нолик! Федулай!<sup>251</sup> Родионка!<sup>252</sup>

Вот типус. Как примет градус, пошёл лепить. Имена одно чудней другого. Какое только не пристегнёт!

Я покивал в зеркальце на наличнике в низком окне, что отстояло от земли на половинку человеческого роста, без охоты бреду открывать.

– Или ты, Павсикакий,<sup>253</sup> всё давишь безо время подушку? – набрасывается Митрофан с вялыми побряками. – Со всем выпрягся из-под дуги... Смотри, ой, смотри! А то у меня суд скорый... Твоё счастье, что руки харчем заняты, а то б я тебе, Мируся,<sup>254</sup> от души разок по витринке<sup>255</sup> мазнул бы для профилактики. Ну да ладно... По случаю отвала про-

---

<sup>251</sup> **Федулай** – божий человек.

<sup>252</sup> **Родионка от Иродион** – трезвый, рассудительный.

<sup>253</sup> **Павсикакий** – унимающий зло.

<sup>254</sup> **Мируся, Миракс** – отрок.

<sup>255</sup> **Витрина** – лицо.

щаю. Получай продукт, – он сунул мне батон, кильку, – и прямой наводкой к столу. А я сейчас...

Осоловело, нетвёрдо обежал он усталыми глазами крайнее от угла растворённое окно. С натугой, подняв голос, позвал:

– Ба-аб Кла-ав!.. Ба-аб Кла-ав!..

Готовно, будто ждала зова, в окно выставилась по грудь короткая, круглая старуха. Тёмная до сизи, как жук. Хозяйка.

– Ты чего, Митёк, расшумелся, как муха на аэродроме?

– Ба-аб Клав, – зажаловался голосом Митрофан и трудно, высоко, точно знамя, вскинул над головой чёрную бутылку вверх дном, держа за горлышко, – баб Клав, даю прощальную гастроль... Надо затопить пожар в груди... Горькие делишки у нашего Пасеньки...<sup>256</sup>

– Мамочка! Это ещё почему?! – деланно всполошилась старуха. И не без подсмешки добавила: – Иль нашего Митрофанеску треснули по попеску?

Митрофан опало, скорбно вздохнул:

– Если бы тре-е-еснули... А то... Кошматерный перепляс! Сам себя тресканул... Во-о! – с усилием осудительно вознёс палец. – Э-э... Глубоко извиняюсь, да долго ль мёртвому укакаться?

– Что, состряпал где таракана с лапами?

– Ещё какого... Это до утра размазывать. Давайте к наше-

му шалашику на огонёк... Слегка нанесём удар по сумятице чуйств... Устроим скромный заплывчик от портвейна до водки... Цок-цок-цок по масенькой... И я вам попутно всё как на духу выпою... Всё легче...

И больше ни слова не говоря, озадаченно положил чёрную бутылку на плечо, отчего, казалось, плечо перекосилось, угнулось, будто под неподъёмной ношей, и Митрофан, выписывая ватными ногами вензеля, потянулся в наш чум.

## 2

*Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.  
А водка, секс и пироги – наши лучшие враги.*

*Г. Конн*

Вечер влился в самую пору.

Ожила улица.

Загудела, забегала, засуетилась в радостной суматохе. Ударил фонарный свет, трудно пробрызгивая рваными золотистыми пучками сквозь плотную листву деревьев к нам в комнатёшку.

Промаячили к крыльцу старухина дочка с мужем.

Была дочка до неправдоподобия мелкая, обиженная ростом и тощая, тощей самой худой макаронинки. От неё несло всегда не то больницей, не то моргом. Преподавала она в меде.

Зато муж – прямая противоположность. Красавец утёс! Безо всякой меры разбежался ввысь и, на беду, вширь. Похоже, природа поленилась поставить хоть какие ограничители, чем по-недоброму услужила ему. Налился, оттопырился он поперёк себя толще. Это до болезни угнетало его, вышибало из седла привычной жизни. На лице закаменела вечная улыбка виноватости. Виноватость закрыла ему рот. Я никогда не слышал его. Я не знал, да есть ли у него голос. Прикипела, приросла виноватость, не сдёрнуть её никакими си-

лами теперь, как не сдернёшь с лица не понравившийся кому-то нос, как не переменишь цвет глаз в тот цвет, какой больше по сердцу твоей милушке.

Не во нрав легла бабе Клаве непомерная его толщ, и баба Клава, всё же отдав за него свою спичку, выпугалась до смертушки:

– Да оно хотешко и тарахтят, что мышь копны не боится, да это те тарахтят, кому та мышь чужая. Да такой брюхан-трест потопчет – останется от бедной Лилюни один мокрый пшик! Не-е! Не попущу я такого пердимонюкля!

И накатило на бабу Клаву – хоть стой, хоть падай! – ломиться ночами на широченный диван между молодыми. Лилька под стеночкой, Витёка с краю. Уж коли этот мордант тайком поползёт в сладкую сторону отколупнуть радости, так только через сторожкие баб Клавины костоньки. Тут она, будкая, заслышит, наверняка заслышит, не даст беде разыграться.

Однако неусыпная бдительность бабы Клавы была подмочена самым прозаическим образом, и однажды Лилька, винаясь и каясь, со слезами вальнула к матери на грудь:

– У меня будет ребёнок...

Баба Клава не поверила своим ушам.

Что ей ещё оставалось делать?

После короткого колебания Витёка был изолирован на ночи от семейства. Баба Клава выставила ему в коридоре складушку-лягушку, а сама, запирая дверь на ключ, гнездилась

с Лилькой на одном диване.

Так с той поры и легло в обычай: весь матриархат спит в комнате, а единственный на весь дом мужчина в коридоре.

Но и позже, когда Виктор, светясь, сияя виновато-торжественным счастьем, принёс из роддома кроху Светланушку в одной руке, а в другой ещё сильнее похудевшую и удивлённо-гордоватую Лильку с царским букетом белых лилий в руках, баба Клава не пала.

Как-то с горячих глаз Виктор посулился уйти.

Баба Клава дала ему полную отходную:

– Крыс-сота-а! Крыс-соти-и-ища!

И тут же этой красоте погрозила кривым пальцем:

– Тольке спробуй, колоброд! Видали! Чёрная линия на него нашла!.. Тольке спробуй, мутотной! Сразу посветлеет!!! Я баба войнущая!

Виктор решил не дразнить судьбу.

Пускай льётся, как льётся. Там толкач муку покажет. Авось перемелется...

И пятый год этот грех мелется.

Завидев меня в окне, Света-конфета записедала на ходу, вывинчивая свой кулачок из мягкой доброй отцовой руки.

Запросилась ноюще:

– Хочу к дяде... Хочу к дяде Антонику...

Не успел я, сидя на койке, дорезать батон, как она уже тыкала мне в локоть розовым пальчиком:



– Хочу на коленочки. На коленочки хочу-у...

Я отставил ногу.

Девочка осторожно села, привалилась ко мне. Пасмурно огляделась.

Да, тесноте нашей шибко не возрадуешься. Одна старая широченная кровать на двоих с братцем. Шаткий, голый, даже без скатёрки, стол. Больше сюда ничего не воткнёшь. Пожалуй, для разъединственного табурета местечко б и выкроилось. Но нет нам табурета. Оттого кровать служит нам и для сна, и для сиденья.

В ожидании трапезы Митрофан прилёг на подушку, не подымая ног с пола.

Я сижу на крайке, достругиваю батон.

Светлячок ворухнулась у меня под рукой.

– Дядь, а зимой у меня была свинка. А почему я хрю-хрю не говорела?

– Наверно, не догадалась...

– Аха! – ликующе взвизгнула она.

Привстав, тихо толкнулась твёрдо сжатыми жаркими губёнками мне в щёку.

Я молчу.

Через секунду, насмелев, толкнулась уже чувствительней.

– Ты что делаешь, Светлячок? – спрашиваю шёпотом.

– Селую! – так же шёпотом отвечает. – Я люблю тебя, дядя...

Слышавший нас Митрофан – прикидывался только, что

спал, – с нарочитым восторгом хохотнул:

– Братцы кролики! Как же далече всё у вас заехало! ЛюбOFF, поцелуйчики... Что ж ты теперь, Светунчик, думаешь делать?

Сам и ответил:

– Думай не думай, а раз любовью запахло, надо собираться замуж.

– Я взамуж не пойду! – строго отрезала девочка, прячась у меня под локтем. – Не хочу, как мамка... Бабушка её всегда-повсегда ругает!

– Не хочешь быть мамкой, будь папкой, – не отставал Митрофан.

– Не хочу и папкой. Ещё ограбют.

Мы с Митрофаном переглянулись и разом спросили, поражённые:

– Кто-о?

– А бабушка! – захлёбисто зашептала девочка, косясь на дверь, боясь, как бы не услышала её именно бабушка. – Вчера папка принёс получку. Бабушка отобрала у него всё, даже мне на морожено не отставила. Бросила денежки в стол под ключ, а папке сказала: мало принёс, всё равно, что ничего не принёс. Не получал шелестелки, а говоришь – получал. Иди, иди, – и показала, как бабушка в толчки выпроваживала отца из комнаты.

– Значит, – враспал бухнул Митрофан, – замуж тебя на аркане не утащишь? А кем же ты будешь, как вырастешь?

– Неве-е-естой! – с вызовом пропела Света. – И сразу пойду на пенсию!

– О! – бросил в неё палец Митрофан и в знак высшего одобрения со всей силы, со всей моченьки саданул разом обеими ногами в пол – со стены свалилась побелочная пластинка. Ударившись о затёртый, чёрный шар на спинке кровати, пластинка мелко и светло брызнула во все стороны. – О! Устами младенца истина разболталась! Закормленная нынешняя молодёжь вона как к житухе притирается! Не в деревнюху собирается она коровам титьки дёргать. Не на завод... А прямушко в невесты, якорь тебя! А из невест – на пенсию. У девок, говорят, «всего лишь одна в жизни пересадка. С родительской шейки на мужнину...». А у неё другая пересадушка...

Вошла старуха.

Митрофан смолк, будто его слова обрезало.

– Что за гром? – бегучим взором окидывая комнату, насторожилась старуха.

– Да Светушка всё чудит, – досмеиваясь одними глазами, пресно проговорил Митрофан.

– А-а... Эта нескладёха может, может... – И, взяв девочку за руку, вывела за дверь, легонько подтолкнула: – Почудила и хватит, давай спатуньки. С Боженькой топай в своё Сонино. Пора.

– Нет, не пора...

– Бегом отсюдушки! – шумнула бабка. – Не то по шлёпе

добудешь!

На судорожном вздохе Света без охоты уходит.

Ни к кому не обращаясь, я спросил, не включить ли нам свет.

– Зачем? – возразила баба Клава, приваливаясь локтем на край стола. Сесть ей негде и не на что. Похлопывая и потирая руки, вкрадчиво, плутовато проворковала: – По случаю случайному разве грех потоковать впотемни? Так дажно под интерес... Невжель кто полный стаканину мимо рта увезёт в Грецию? Есть такие?

– Могут быть, – надвое ответил Митрофан, подсаживая меня локтем в локоть и разливая вино по трём высоким гранёным стаканам. – Ну, – подал мне крайний, – бери, Агнюша.<sup>257</sup> Утоптал до краёв... Смажь утомлённый организм! Посмотрим, смелюга ли ты. Выйдешь ли один на один с аршином<sup>258</sup>.

– А сам? – подначливо кольнула его старуха. – А ты сам-то смелун?

– Я-то смелый стакановец... Можно сказать, герой, – лениво, врастяжку потянул Митрофан. – Тыщи разов выходил и валял!

– Горькая это смелость, – вяло осадила его старуха.

– Может быть, – уступил голосом Митрофан. – Но вспомнить приятно... Вот посмотрите... Пока свет ещё не весь

---

<sup>257</sup> Агнюша, Агний – непорочный.

<sup>258</sup> Аршин – стакан.

ушёл, может, что и разберёте...

Митрофан потянулся к чемодану – сторчаком высовывался из-под койки, – выдернул из его угла пакет, веером выплеснул на серёдку стола карточки.

– Смотрите!

Старуха наклонилась к самим карточкам. Поморщилась:

– Пьянка во всех позах... Бухарик... Можно подумать, ты жил от буха до буха... Цельный бухенвальд!.. А я так скажу. Пьянка – она и есть пьянка...

– Не пьянка, а культурный отдых от трезвых дел, испытание градуса на крепость... А по большому счёту – память! Хорошая, прочная память о техникуме, о службе. Меня из техникума вымахнули в армию, на флот, в самую в Евпаторию... Так что крабошлёп<sup>259</sup> перед вами... Потом снова в техникум вернулся... Все мои корешки теперь со мной... Не будь винца, разве б согнал кого сниматься? По трезвянке? Да ни в жизнь! А то... – Митрофан грустно заперевбирал карточки. – Это на дереве поддерживаем тонус... Зелёная конференция,<sup>260</sup> якорь тебя!.. Это я один на осле, но в шляпе... С баяном... Уже тёпленький... хор-роший... Мне тогда первый раз в жизни за стопарик домашней чачи один дал шляпу на один день поносить, так я этот момент для истории наглядно приберёг... Это мы в поле, вроде убираем картошку, а ясно подытоживаем бутылочку... Это мы на во-

---

<sup>259</sup> Крабошлёп – моряк.

<sup>260</sup> Зелёная конференция – пьянка в лесу.

де разбавляем пресные будни... Топим горе в вине... В лодке... сушим водочку... То-олько успел фотчик схватить нас на плёночку, мы и кувырк... Лодку перевернуло... Ну черти раскачали, мы всем гамузом и посыпались в воду. Хо-хоту-у!.. Эх, если б не горячее винишко, что б и вспомнить?... Знал Петро Первый, что говорил. *Веселие на Руси есть пити!* А золотой его указ забыли? Не помните? Так напомним, назубок знаю... *«Яства потребляй умеренно, дабы брюхом отяжелевшим препятствий танцам не принять. Зелье же пити вволю, понеже ноги держат: буде откажут – пити сидя. Лежащему не подносить, дабы не захлебнулся, хотя бы и просил. Захлебнувшемуся же слава, ибо сия смерть на Руси издревле почетна»*... Почётна! – Митрофан торжествуяще выставил палец. Помолчал и снова за своё: – Пити – это когда так врежешься в водяру, что папа-мама сказать не можешь. Это намухоморишься... нагужуешься до таких чёртиков, что не устоишь на травяных ножках! А разве это, – скептически качнул головой на бутылку, что чёрным привидением восставала, поднималась над застольем, над всеми нами, – а разве одна литруха на троих... Это, миряне, не веселие, а, простите, тоскливое щекотание горла... Тоскливое... Толком не окунуться в винные просторы... Ну, – он без энтузиазма, вроде как по тяжкой обязанности, нехотя поднял свой стакан, стукнул дном в мой и в старухин, – выпьем за то, чтоб всё у нас было и чтобы за это нам ничего не было... Дай Бог, чтоб не последняя.

Баба Клава кисло поморщилась.

– Митечка! Ты так скучно принимаешь лекарство от всех простуд? Без боевого, горячего тоста? Без такого тоста принимать горькую грешно! Так будем же безгрешными! Мой тост, – баба Клава облила Митечку любовным взглядом, – посвящается молодому моряку, поэтому я желаю ему обзавестись, так сказать, взять на буксир хорошую жену, приличный доход, надёжный корабль и спокойное море! За тебя, Митечка!

Митечка зацвёл майской розой:

– Спасибоушко, баб Клав. Вы тут пожелали мне хорошую жену... Только... Откуда ж её, хорошую, выписать-то? В техникуме с одной козой... Там вся из себя. Прянь нечем дышать! Пальцы с разноцветными коготками веером. И вечно в тех пальчиках никотиновая палочка.<sup>261</sup> И вот к этой козе я цц-целую неделю шары подкатывал. Фестивалили ух от и до! Всё было шокин-блю! Всё ну пучком! Все катилось к полному пердимоню! Всё летело к великой встрече на эльбе! И на!.. Ну надо же!?! На полных оборотах крутили дикую шашу-беш.<sup>262</sup> Масть пошла, а деньги кончились! Ну это надо? Красная армия<sup>263</sup> пожаловала в гости! А проть красной армии не попрёшь бочки. Ещё в детсаду мы как пели? «Красная армия всех сильнее!» Как уламывал... Затарился фран-

---

<sup>261</sup> **Никотиновая палочка** – сигарета.

<sup>262</sup> **Шашу-беш** (здесь) – любовь.

<sup>263</sup> **Красная армия** – месячные.

цузскими шапочками!<sup>264</sup> Полных два крмана накупил!!! А она – нет и нет! Низзя! Великий пост! Ну что с этой куку возьмёшь, если у неё фляга свистит?! На злах я готов был втереть её в палубу! Да-а... Так ничего у нас и не выкрутилось. Всё разохлось! Мда-а... Ничего не поделаешь тут... Лукавая госпожа Лямуркина дала отбойный пердю!<sup>265</sup> Но, как видите, я не помер с такого горя. Ещё встречу свою хорошку. Только, чтобы дожить до бриллиантовой или хоть до серебряной свадьбы, надо иметь золотой характер жены и железную выдержку мужа. Выпьем же за чудесный сплав, за расцвет отечественной металлургии!

Баба Клава недовольно хмыкнула.

– Извините! Извините! – заторопился Митечка словами. – Не то выдал. Получилось про меня. А надо про вас! Баб Клава! Уж мы с вами будем сегодня совершать преступления: убивать... время, топить... горе на дне стакана, морить... червячка, драть... горло, душить... смех и пороть... весёлую чушь!.. В великолепной коллекции сегодняшнего вечера есть одна жемчужина – это баба Клава. Выпьем за её здоровье и обаяние! Выпьем за хороших людей: нас так мало осталось!

И в два глотка Митечка досуха убрал стакан.

Закусывать не стал. Только хукнул, раскидал ладошкой дух перед собой. Вся и закуска. Работает дядя на форс. Ну и

---

<sup>264</sup> Французская шапочка – презерватив.

<sup>265</sup> Лямур пердю (французское) – любовь проходит.



ладно. Нам больше еды достанется!

Старуха, напротив, пила медленно, наслаждаясь каждым новым мелким глотком. Она даже подивилась, правда, уже без рисовки, что дно есть и у гранёного стакана, неверяще сдавила его обеими руками, покрутила, будто выжимала, как при стирке, и остатки в несколько капель на вздохе бросила в себя.

– А ты чего ждёшь? – накатился на меня Митрофан. – Ждёшь особого постановления ЦК? Давай лови градус! Не мни стакан, пей! Ну! Затемяшь, якорь тебя! Покажи, как ты можешь!

Я не стал причащаться. Не потому, что мне горелось по-выёживаться. Я просто не мог и не пил это хлебово, но ради приличия, как я всегда делал, прикинул полный стакан к плотно сжатым губам, подержал с полминуты и, поставив его на стол, резво накинусь на еду.

– Вот вам живая картинка! – Митрофан мёртво наставил на меня палец. – Я с ним всегда в противофазе...<sup>266</sup> Разве такой, извините, труженичек понесёт градус в массы?! Да он... Застрелиться солёным огурцом! Да он даже о себе не хочет позаботиться. Подумайте! Отказался оросить свой *родной* обезвоженный организм! На этом фоне неудивительно, что он сегодня не принял элексиричку за мою будущую хорошую жену, посмел не эхнуть даже за расцвет нашей отечественной металлургии! Это уже опасно. Полная аполитич-

---

<sup>266</sup> **Быть в противофазе** – постоянно не совпадать с кем-либо по интересам.

ность! Он, понимаешь, не желает расцвета нашей отечественной металлургии, а в её лице и всей нашей великой Родине! Вот что страшно!.. Сегодня этот божий леденец вернул полный аршин, а завтра этот герой... этот Герочка,<sup>267</sup> случись война, думаете, побежит накрывать своей муравьиной грудкой вражий дот? Извини-подвинься... Сегодня он не пожелал помочь нам свернуть шею зелёной ящерице, а завтра наверняка свистанёт от того вражьего дотика в противоположную сторону! Что ни твердите, а я своей принципиальной позиции в этом вопросе не изменю!

---

<sup>267</sup> **Геракл, Герочка** (в античной мифологии) – популярный греческий герой.

### 3

*Фиговый листок всегда на самом видном месте.*  
*Л. Леонидов*

– А не меняй, – великодушно согласилась разогретая старуха.

– Вы думаете, на войне зря давали перед боем стограммидзе? – не утихал Митрофан. – Какой же из него защитничек Отечества, если он один стакашек не может свалить в себя?

– Докачает до твоих лет, гляди, и тебя обскачет, – весело отрезала старуня. – Лучше расскажи, мамочка, куда ты сегодня бегал.

Митрофан замолчал. Даже задумался.

Горько усмехнулся:

– Эх, баб Клав! Всё рассказать ночи не хватит. А вкратцах... Понимаете... Тут не знаешь, с какого боку и подойти... как подсукаться... Сами мы здешняки... Воронежские. Из-под Калача. Отец из Новой Криуши, мать из хутора Собацкого...

– Стоп, стоп, стопушки!.. Ты мне про Калач дудишь, а чего ж вы примолотили из какой-то Махаразии?

– Не из Махаразии, а из Махарадзе... Не... Я лучше порядком побегу. Так оно верней. Иначе ничего не поймёте... Значит, в тридцатые, когда этому партизану, – кивок на ме-

ня, – до явки на свет божий оставалось ещё энное число годов, наши родители, молодые озоруны, шатнулись за Полярный кружок. На лесохлеба. Ну, покатали брёвнышки... Ну... То ли разонравилось, то ли позвала в путь дорожка... И дунули наши через всю державу на юга. В новый совхоз в Насакиралях. Это под городком Махарадзе. Дунули чаи гонять! Корчевали леса, закладывали чайные плантации, потом горбатились на этом чаю дай Боже как. С зари до зари... Тут разлилась по земле война...

Баба Клава тоскливо махнула рукой:

– Скажи, Митрок, ты сам сейчас дошёл или тебя подкинула хмелеуборочная<sup>268</sup>?

– С-сам... А ч-что?.. Или вы меня в чём крупно подозреваете? Или открытым текстом подозреваете, что я оторви алик? Круто заблуждаетесь!!! Да я с-с-самый горький трезвяк!!! О-о... нет... Ка-ак вы запущены!.. Вас надо образовывать, образовывать и ещё раз образовывать! Ни секунды на промедлянку! Да слышали ль про табель о ранах... э-э-э, о ранах? З-знаете ли вы, что все бухарики делятся на четыре класса? К первому относятся *выносливые*. Это те, которые, нанеся чувствительный удар по застою в нервах, не в состоянии автономно передвигаться. Их выносят. Второй класс – *положительные*. Набарбарисились и смирно лежат там, где положат. Зато вот третьи, *застенчивые*, замывши неприятности, передвигаются, держась за стеночки. А самый авто-

---

<sup>268</sup> **Хмелеуборочная** – машина медвытрезвителя.

ритетный класс – это *малопьющие*. Которые графинят, графинят, графинят и всё им мало! Я с почтением отношу себя к малопьющим-с. Да-с! Пью, пью да всё мало! А вы на что намекали?

– Да разлил... Развёл ты тут хлёбово<sup>269</sup>... Калач... Север... Махаразия... И всюду родители своей волькой кидались?... Не верится что-то... Да не кулацюги ли вы? Вас не кулачили в Криуше?

– Меня с ним, – качнулся Митрофан ко мне, – вроде не кулачили... Может, позабыли?... А и не позабыли б и очень уж горячо захотели – всё равношко не смогли. Мы с ним хваткие! Переждали фашистскую коллективизацию у мамушки под серденьком и только потом смело выскочили... Первым я... Видите, уже тогда я был смелый... А он шесть лет колебался вместе с линией страха... Только уже на Севере явился не запылится этот божий гостинчик... А чтоб кулачить родителей?... Я что-то и не слышал... Ну... Отца взяли на фронт. Сделал всё, что смог... Погиб... Мамушка одна выхаживала... выводила нас в люди. Нас у неё не двое, а трое. Глебка ещё. Среднячок. Служит сейчас. Худо-бедно, а смотрите... Мать одна троих подняла! Сама расписаться не может, а что нам дала? У меня техникум. У Глеба с этим Фанушкой,<sup>270</sup> – качнулся ко мне, – по одиннадцатилет-

---

<sup>269</sup> Хлёбоворазводить – вести пустые разговоры.

<sup>270</sup> Фанушка, Фан – светоч, факел.

ке.<sup>271</sup> Я с отличием отбегал в Насакиралях школу. С отличием этим летом дожал-таки и молочный свой техникум в Усть-Лабинске. Диплом у меня красненький, при распределении – первый выбирай. Я и разбежись на Серов. Выхватил лучший кусок! Самый большой город, куда требовался наш брат механик на молочный завод. В письме докладываю мамушке по полной счастливой форме, так и так, без пяти минут я уже Ваня<sup>272</sup>, еду на работу в город. А она и скисни, никак не рада тому Серову, тому Уралу. «Та сынок, та шо ты тамочки забув на тому Врали? Не все холода щэ собрав? Не, сынок, трэба правытысь к родному кутку... Где по свету ни блукай, а косточки, главно, трэба везти в родну землю. Своя земелька мякше...» А и правда... Чего менять одну чужбину на другую? Мало ль нас помучила та же страна лимоний и беззаконий? Хорошая земля Урал, а лучше правиться к себе на Родину! И дикой полуночью, в одних трусах, дунул я по общежитию меняться. Серов! Город!! Город областного подчинения!!! На любую воронежскую деревнюшку! И выменял у одного кореша... Он на тройках еле выполз из техникума, пала ему воронежская глушинка. В город, понятно, его никто не позовёт, а село уж, вздохнувши, примет. Нужда не разборчива... Ну, я к этому корешку. Корешок и обомри от счастья. Сам Серов! Пускай и далече, пускай и

---

<sup>271</sup> В то время в Грузии русские дети изучали грузинский язык. Поэтому учёба в средних русских школах удлинялась на один год.

<sup>272</sup> **Ваня, Урван** – городской.

конец географии, так зато приличный городуха. Серов! Уже точно! Он мне: спасибо, спасибо, кланяется, а я ему: спасибо положи себе за пазуху, а мне гони в натуре грелку.<sup>273</sup> Вечный двигатель<sup>274</sup> и развёз нас кому куда охота. Ну... Умяли одно, выпирает другое... Прилетаю домой, а тут ещё один выпусканчик, этот веснушчатый тушканчик. Вот так набежало... Да-а... Мне на работу к первому августа, а этому шкету...

Я с силой наступил ему на ногу под столом.

Да ну выбирай ты слова!

Митрофан коротко, едва заметно поклонился. Понял!

И, выразительно, с угодливой насмешкой пялясь мне в глаза, продолжал:

– ... а нашему Кисе... Киса от имени Наркисс – прекрасный юноша, превращенный Богами в цветок, по мифологии, конечно... А нашему выюноше ровно месяцем раньше надо пробоваться на вступительных. Понятно, особо не перебирали. «Нехай едет у Воронеж, поближче к своим», – сказала матонька. Решение начальства не обсуждается. И тут выскочи навстречу хитрый перепляс. Ехать нам в один город, мне за направлением уже на окончательную точку, этому вундику в университет, ехать в одно место и – подврозь? Лично мне это не понравилось. Целый месяц гнись на чаю в жару, в дождину. Ну его этот чай ёжику под мышку! Я и подкатнись лисуней к родительше. Как же, говорю, мы так бездум-

---

<sup>273</sup> Грелка – бутылка водки.

<sup>274</sup> Вечный двигатель – спиртное.

но пошлём в такую даль одно наше достояние? Он поезда путём не видел.

От обиды, от такой наглости я даже перестал жевать батон с килькой. Какая ложь!

– Как это не видел!?! – вскипел я. – Как это не видел!?! Да ещё прошлым летом приезжал к бабушке в Собацкий на каникулы. Совсем один приезжал!

Митрофан скучно поморщился.

– Ой! Ну, с тобой спорить, надо гороху поевши, чтоб по два слова сразу выскакивало. Ездил, ну и ездил, тоже событие. И на этот раз сам бы доехал, ничего б от тебя не отвалилось... Не горячись, вовсе не под твой интерес я работал. Как-то не хотелось до смерточки мне месяц ломать спину на чаю, я и выхлопочи себе непыльный чинок провожатого. У мамуни душа тонкая, мамуня и отпусти.

– Оле-е-е... – растерянно пробормотал я. – Я думал, мама сама навязала тебя мне в провожатки, а ты, оказывается, вынудил её. Хор-рош якорёк...

– Бесспорно, хорош, – приосанился Митрофан. – А кто сомневается? Чего сморщился? – Он наклонился ко мне, потянулся к уху, пускай не слышит баба Клава: – Ну, чего сморщился, как пукало после бани?

Я отсел от стола и, надувшись, повернулся к стенке.

– Давно бы так, – негнушима пальцами Митрофан хлопал меня по плечу. – Помолчи, дай досказать... Так... Ну... Даже не поверите... В первый же день, уже через час



вылетел я из управления с хрустким направлением в Каменку. О Боже! Свершилось! Вот я уже и в полном законе на родной земле! И отцова Криуша, и моя Каменка на К начинаются, на а кончаются... Похожи... Может, они похожи друг на дружку, как вилка на бутылку... И пускай от Криуши до Каменки неблизкий свет, так зато всё ж область одна, свет один! Воронежский!!! Одна сторонка, один край... Родимый... Господи! На душе форменный фестиваль. Поверите, очумел от радости! Шествую по Революции, а самого из стороны в сторону счастье качает. А город причепурился, весёлый, ликует. И вижу я не то въяве, не то мне блазнится: со всех сторон из-за прибранных нарядно домов взлетают ракетки, мягко лопаются в выси, и уже с неба с шиком сыплются на город в густом множестве красные, синие, голубые, оранжевые, зелёные огни-дожди. Что за диво?!

«Это, – ласково шепчет из-за плеча голос, – салют в вашу честь. В честь вашего возвращения на Родину!» Оглядываюсь – рядом никого... Ну, доплыл до Петрова скверика. Сел на скамейку. Сижу. Может, час сижу. Можь, два... Отошёл от салютов в душе, гляжу наперёд так. Вижу с горки реку, лощину. Дальше дома, дома, дома. Дымы, дымы, дымы. Народ созидает.

Только я так подумал, подходит Петро Первый. О имечко! Утёс! Скала!.. Глянул он на меня этак по-царски, с капризцем и не узнал. Фи!.. Подумаешь! Я его тоже не узнал и отвернулся. Тут он крепко задумался, потом снова посмот-

рел на меня и узнал. Тогда я его тоже быстренько узнал. По ботфортам. Петро их сам себе шил. Я тоже шил своим арха-рушкам чуни из автопокрышек.

«Чего расселся? – опрашивает он меня не совсем вежливо и тычет якорьком на дымы за рекой. – Созидай, на других гляючи!»

«А чего созидать?»

«Тьфу ты! Хоть думай котелком, что ли!»

С досады огрел он меня тяжелиной якорьком по маковке. Звон пошёл, как от пустого чугуна, в котором матуся нам всегда варила. Звон пошёл, а боли никакой, только ещё веселей мне стало.

На его якорьке вмятинка образовалась от встречи с моей головкой. А на моей думалке, едрёна кавалерия, никакой и самой малой царапушки, никакого другого повредительства.

Благословив, Петро вернулся к себе на гранитную возвышенку. Это метрах в пяти от меня. Одёрнул бронзовый мундиришко. Бросил левую руку в простор впереди, правую опустил на якорное кольцо. Приосанился, коротко скосил на меня взгляд: «Думай!» – и каменно уставился на заречные дымы.

Тут меня вынесло, вытолкнуло из сонного провала.

Гляжу, а рядом действительно памятник Петру, точь-в-точь какой во сне видал. Тряхнул я головешкой своей, смахнул с себя последнюю сонную дремь.

Вот те на-а! Сам царь дал указание. Думай! Я и начни

думать. Про то, что делать. Впереди вывалился пустой месяц. Чем его затолкать? Качнуться назад к маманьке на чай? Что-то не манит... Чай – это не с рюмашечкой целоваться... Зайди с другого боку... Я ж свободен, как фанера над Парижем!<sup>275</sup> Однако... Кружить месяц по чужому городу без дела? Остаться сшибать бабки, в прохожем ряду торговать ветром? Ненаваристо... Хотелось серьёзности, солидности, и толстый повод прикипеть, прикопаться в Воронеже на месяц всё-таки отыскался. Голь остра, голь мудра, голь на выдумку быстра!

Я ж, говорю себе, сбивши кепон на затылок, приехал сюда не отбывать три техникумовских года! Я приехал на Родину, приехал сюда навсегда, так и надо ж напрочно ставить себя на своей земле... Не буду и не рвусь я в вечные механики. Плох тот солдат... Генералли мне не помешает, так надо ж к генеральским звёздам с первого дня бежать. Не сидеть, сложа на холодном пупке ручки. Прибиваться к занятию, действовать, созидать! Там, в Каменке, хоть разорвись в деле, а тебя никто не увидит, не оценит. Там и сопреешь... А у меня, извиняюсь, Каменка – короткая стоянка, всего лишь пересадка. Моё место как минимум тут, в областном управлении! Так пускай присматриваются, замечают меня с сегодня! Надо мелькать! Надо примелькаться! Войти в начальство! Залезть, сесть ему в печёнки, в сердце, в прочие селезёнки!

---

<sup>275</sup> Свободен, как фанера над Парижем – о чьей-либо свободе.

Вот такая явилась идея. Правда, не я, а один одессит у нас в техникуме говорил, «если у тебя появилась идея, так купи селёдку и морочь ей голову». Что мне селёдка, эта колбаса с глазами? У селёдки и так голова заморочена. Сигану-ка я повыше! За месяц стану я здесь свой вес в доску. С кем-нибудь вплотняжь законтачу, сведут с начальством... Глядишь, я и получу пускай самый маленький хоть приставной стульчик при столе в самом нашем молочном управлении... Я ещё тут и присохну! А Каменка без меня пускай себе цветёт и пахнет!

И вдарился я в смертный бой за непыльное, нежаркое, но достаточно прогреваемое тёпленькое местечко под родным солнышком. Все стадом бегут к девяти. Бегут Емели,<sup>276</sup> Максюты,<sup>277</sup> Саточки,<sup>278</sup> Макридки,<sup>279</sup> Фисы<sup>280</sup> ... Бегут парами Лёвочка<sup>281</sup> с Леоней,<sup>282</sup> Пара<sup>283</sup> с Ксанфиппой,<sup>284</sup> Гурейка<sup>285</sup> с Урсулкой<sup>286</sup>, Лупаня<sup>287</sup> с Тигруней,<sup>288</sup> Кася<sup>289</sup> с Лей-

---

<sup>276</sup> **Емеля, Фамелий** – краугольный камень, основание.

<sup>277</sup> **Максюта, Максим** – самый большой, величайший.

<sup>278</sup> **Саточка, Саторнил** – сытый.

<sup>279</sup> **Макридка, Макрида** – худая.

<sup>280</sup> **Фиса, Фелицата** – счастье.

<sup>281</sup> **Лёвочка, Лев** – лев.

<sup>282</sup> **Леоня, Леонида** – львица.

<sup>283</sup> **Пара, Пард** – барс.

<sup>284</sup> **Ксанфиппа** – рыжая лошадь.

<sup>285</sup> **Гурейка, Гурий** – молодой лев.

<sup>286</sup> **Урсулка, Урсула** – медведица.

кой<sup>290</sup>...

Все бегут стадом.

Я тоже нырять в то стадо. И шевелю деловито конечностями. Мне тоже до смерти надо к девяти ноль-ноль в управление!

Все как? Проскочил вахтёра, а там хоть к делу не приблизайся во весь день. Я как все...

Обсуждают кобылки то ли чью любовь без крика или с лёгким криком,<sup>291</sup> чтоб не спугнуть кавальеро, обсуждают то ли чью обновку, так я не пройду, чтоб не разинуть хлеборезку.<sup>292</sup> Я всегда в седле. У меня наготовке своё понятие, что-нибудь тёпленькое да вякну и про крик, и про тряпицу... Одно слово, аккуратно давлю ливер.<sup>293</sup> Одной, с декольте, скажешь, что «декольте – это ещё одна форма сохранения материи», она и рада. Другой, с разрезом на боку, соответственный и комплименто пускай и чужой: «Разрез на юбке позволяет идти в ногу со временем». И она зацветает. Я тоже пробую цвести, надеюсь, раздолбай гороховый, что намекнёт на свиданьице. Она забывает намекнуть. «О женщины! Вам имя – вероломство!» Но я не гордый. Я подожду до нового

---

<sup>287</sup> **Лупаня, Лупан** – волк.

<sup>288</sup> **Тигруня, Тигрия** – тигрица.

<sup>289</sup> **Кася, Касторий** – бобр.

<sup>290</sup> **Лейка, Лея** – антилопа.

<sup>291</sup> **Любовь с криком** – изнасилование.

<sup>292</sup> **Хлеборезка** – рот.

<sup>293</sup> **Давить ливер** – наблюдать за кем-либо; ухаживать за женщиной.

случая и отбываю в свежие края.

Вон мужички жгут папироски... Бациллярий<sup>294</sup> в коридоре!

Стрельнёшь какую-нибудь астму<sup>295</sup> и себе чадишь-давишься. За компанию. Хоть сам отроду не курил. Побациллил в одном углу, в другом, в третьем – все хором побежали на обед. Я как все. Тоже шевелю помидорами в сторону обеда... Со всеми разом с обеда. Со всеми разома вечером по домам... От звонка до звонка честно не высовываюсь из своего молочного управления. Меня все знают. Держат вроде за своего.

Только...

Уходит неделя – на меня повеяло прохладой.

Я не теряюсь. Понимаю, не может всё лететь без сучка, без задрочинки. Издержки производства неизбежны... И вот на вороных проскакивает ещё неделя. Уже не прохладно, уже просто холодно мне. Я становлюсь свидетелем обратного эффекта: чем дальше в лес, тем меньше дровишек. Где я, мымрик, ни возникни, везде от меня воротят носы эти Кирюни!<sup>296</sup>

Вот за стенкой грохот. Веселье в рабочее время! Безарбузии тире безобразиие. Принципиально вхожу. Сразу траур. Будто им непустой гроб на стол поставили. Все сразу постне-

---

<sup>294</sup> **Бациллярий** – курительная комната.

<sup>295</sup> **Астма** – сигареты «Астра».

<sup>296</sup> **Кирюня, Кирилл** – владыка.

ют, втыкают глядушки в бумаги – на всякий пожарный случай валяются бумажки под рукой.

В коридоре курцы принимают важную процедуру – копчение собственным дымом. То-олько подрулишь – папиросину к каблуку, досадный плевок мимо урны и все небокоптители врассыпошку. И вообще замечаю, все стали какие-то подозрительно деловые. Коридор вроде уже и не бациллярий, а какие-то собачьи бега. Шьют туда-сюда, туда-сюда. Туда Мара<sup>297</sup> – сюда Мулька,<sup>298</sup> туда Нуня,<sup>299</sup> – сюда Плака,<sup>300</sup> туда Линуся<sup>301</sup> – сюда Симуля<sup>302</sup> с Илей<sup>303</sup>... Да ненапорожне, а с бумажным грузом. Все сопят. Мно-ого об себе понимают!

В северок<sup>304</sup> войдёшь – стыдно глянуть. Всё на лету, всё на скаку. Куда скачете, тимолаюшки<sup>305</sup>? Кто из вас ускачет дальше своего облезлого стола?

---

<sup>297</sup> **Мара, Мар** – мужчина.

<sup>298</sup> **Мулька, Мулиера** – женщина.

<sup>299</sup> **Нуня, Нунехия** – имеющая здравый смысл.

<sup>300</sup> **Плака, Плакилла** – лепёшка.

<sup>301</sup> **Линуся, Лина** – скорбная песнь.

<sup>302</sup> **Симуля, Зосим** – живой.

<sup>303</sup> **Иля, Гилар** – весёлый, радостный.

<sup>304</sup> **Северок** – туалет.

<sup>305</sup> **Тимолаюшка, Тимолай** – честной народ.

## 4

*Каждому кажется, что он не каждый.*  
*А. Макарьева*

Уже совсем стемнело, когда Митрофан кончил свою тоскливую пустобрешину.

Скучно уставилась на него баба Клава.

– Не смотрите так на меня. Давайте, – Митя разлил остатки по двум стаканам, подал один бабе Клаве, – давайте я скажу вам тост по-японски. Сико-сан токие босе-сан икие только канава толияма тамэ-сан. По-русски это значит: кто за женщин не пьёт, тот живя не живёт. Сико-сан! За милых дам!

– Спасибо, Митрофаша! – подхвалила баба Клава.

Ободрённый Митечка весело сознался:

– Сейчас я чувствую лёгкое опьянение и головокружение.

А причина – веноч роз и лилий, который мы встретили здесь. За Вас, Богиня любви! За Вас, гордая Мадонна!

– Спасибо! – Баба Клава выше подняла своего стопареви-

ча. – Пусть будет флот на море, а мужики в конторе!

– Пусть! – подкрикнул на подгуле Митечка, и они выпили.

Выдержав в молчании с минуту, скорбно-назидательно вдруг выпела баба Клава:

– А надо, Митрофанушка, всё же пить с головой!

Митечка как-то разом сник и кинулся побито оправды-



ваться:

– Да разве ж я не понимаю? Сам хотел выпить именно с головой, с лимоном,<sup>306</sup> а упоил, растрандыка, рестораном постороннего... Думал же, поможет прикопаться в управлении... А выскочил жирный прочерк... Угостил рестораном просто Проходимкина... Чумовой козлизм! Ка-ак он, прыщ поганый, качнул мои капиталики! Ну и мерзавчик!.. Матонька с какими трудами клянчила по соседям эти деньжанятки... Вела, сбивала в одну стайку рубчонок к рубчонку... Как я сам берёг... За всё время ни себе, ни ему, – повинно тронул меня за колено, – не дал я сесть в трамвай, в автобус. Утром пехотинцем гоню-провожаю его до университета – нам по пути! От университета я уже один бегу дальше, в управление. Пешим порядком, на своих клюшках, на одиннадцатом номерке, через весь город только и разъезжали, экономию всё держали... Пятак к пятаку стерёг, а этому аквалангисту<sup>307</sup> Сосипатке – видите, спа-си-и-тель-отец! – всю кассу в полчаса спустил под хвост!.. Ну, кто я после этого? Старый баран! Петронилла... Да! Старый баран!..

– Ну, чего убиваться? – безучастно покивала баба Клава. – Поезд ушёл... Надо помахать ему ручкой да взять урок на будущее. Дорогие уроки тем и хороши, что дорогие... Смирись... Скованному всё золотой верх... Да! – в её голосе качнулось любопытство. – Раз ты отчаливаешь, а позволь тебе

---

<sup>306</sup> Лимон – начальник.

<sup>307</sup> Аквалангист – запойный пьяница.

один вопросишко на дорожку... Что это у тебя за каша с именами? Всё некогда было спросить... А тут... отбиваешь... Что ни минута, новое имя выскакивает...

– О-о!.. – Довольство широко растеклось по Митрофанову лицу. – Не новое вовсе. А старое... Вы, баб Клав, за большую струну щипнули... Кто собирает марки, кто спичечные коробки, а я – имена. Да знай все люди, что значат их имена, они б, люди, больше ценили, уважали самих себя... Вот моё... Митрофан – явленный матерью... Явленный-то явленный, да ни отец, ни мать в ласке не звали меня как положено – Митря. А всё Митя да Митя. Я и привык, что для всех я Митя. Нравится мне Митя. И назови меня кто Митрей, я готов кулаки расчехлить... А этот разбойник... – Митрофан глянул на меня. – Он у нас утренний, ясный... Ой, я спутал. Он у нас не утренний и совсем не ясный. А *вступающий в бой!* Ёк-макарёк! Какой грозный наш Антя!

– Только что ж ты своего *бойца* не зовёшь своим именем? А всё... Двадцать раз на дню обратишься, двадцать раз всё с новым именем. Да одно чудней другого...

– А привычка... Моя воля, я б давал человеку сразу десятка три имён, и пускай всяк зовёт, как в какую минуту лучше. Скажем, сделал вам человек добро. В ту минуту он вам Ларушка, Ларя, Ларгий... Щедрый... А утешает в горе... Наумушка. Наум – утешающий... Верен вам муж целую неделю... Парамон! Прочный, надёжный, верный...

– Под всякий случай имя? Где набраться?

– Давно набрано, да всё раскидано! Сейчас в ходу сотни две имён, а было когда-то под сорок тысяч! Сорок тысяч!.. Пробросались, профукали... Старые имена непривычно звучат... А сколько среди них красивых! Меня так и поджигает их все вернуть... В них ушедшая Россия...

– Не горюй, Митяша! – стукнула баба Клава по столу. – Ушла старая, ну и пускай идёт. Ворочать не побежим. С погоста не таскают назад... Лучше скажи, чего наложено в моё имя? Что оно просказывает?

Митрофан надолго задумался.

– Ты чего вымалчиваешь? – теревит его баба Клава. – Иль преешь, как половчей слить пулю?.. Не надо брехотени... Правду, где ни бери, да подай!

Опустив голову, Митрофан с натугой пробормотал:

– Скрытная... ненадёжная... шаткая... хромая... Всё.

– Спасибо, хоть всё! – отхлестнула старуха. – Предупредил... Это ж где ты надёргал мне такой букетик?

Старуха подперла себя с боков кулаками.

– Где? – распаляясь, выкрикнула она.

– В книжках, – смято доложил Митрофан. – Я понимаю, это имя вам вовсе не идёт... Вам бы лучше... Флора... Богиня цветов и весны!

– Ну... – Старуха помягчала. – На Богиню я вся согласная... На цветок согласная... А кабы я была маленькая, как бы меня звали?

– Лора... Лорка... Х... Хлорка...

– Иди ты ежей пасти, горький забулдыжник! – снова влетела в гнев старуня. – Начал с Богини, а кончил хлоркой.

– Можем и от хлорки уйти... Пúша... Вам бы разве не подошло? Пульхерия... красивая... Или Ксюша... Поликсения... Очень гостеприимная... Или Прося... Проскúня... Вдобавок к славе... Или сама Гонеста... Достойная уважения, честная, почтенная...

– Сперва наворочал кучу гадостей, а потом запел: честная, почтенная! Надо было и начинать с почтенной.

– Так то не про вас, – Митрофан до шёпота сбавил голос.

– А! – снова обиделась старухня. – Как почтенная – так не про меня! Про меня только и осталось, что скрытная да хромая!.. Обратно хороши холерики! Сам, видали, не святей ли матери, братуля – борец!.. Одна я в этой компании хромая да ненадёжная, да шаткая! У меня под крышей барствуют... и... У Фили пили, Филю ж и поколотили!?!.. Таких и совесть не убьёт!

Старуха опрометью прошила к двери. Повернулась.

– Ну где я хромая? Где я шаткая? Я что, на костылях шлёпаю? Или по стеночке?.. Я вам, святые борцы, ещё покажу, какая я ненадёжная!

Старуха выскочила из комнаты и так хлопнула дверью, что весь вигвам её охнул.

– Однако бабуленция со бзыком... Распенилась... – Митрофан устало подсел ко мне на койку. – Ты чего как стук-

нутый? Вытащил обломинго?<sup>308</sup> Как сегодня экзамен, воркоток?

– На нашем фронте всё без перемен, – как можно равнодушной ответил я. – Петух.

– Ну Капитоша! Ну голова! Держи пятерик! – Он больно сжал мне руку. – Если кошка проворна, то и наша, – стукнул меня в плечо, – то и наша мышь шустра! Одни пятаки из огня таскать! Три экзамена – три пятака! Осталось через последнюю ступеньку перескочить, и наш Серафимчик<sup>309</sup> в дамках! Студиозус,<sup>310</sup> якорь тебя!.. Поздравляю от всей печёнки!

---

<sup>308</sup> **Обломинго** – провал, неудача.

<sup>309</sup> **Серафим** – огненные ангелы.

<sup>310</sup> **Студиозус** – студент.

## 5

*Не руби правду до состояния бифштекса.*  
*Г. Малкин*

Последнюю ступеньку я перескочил, но в дамки не попал. Как в бреду, с пересохшим горлом рыскал я по списку принятых и себя не находил. Неужели – мимо?.. Неужели не взяли?..

Не-е, это сон белой кобылы. Вздор, чистейший вздор! Не может того быть!

Я снова и снова, может, уже в сотый забег проскакивал по списку с начала до конца и с конца до начала, однако на своей фамилии так и не споткнулся.

Может, подумалось, не хватило мне строчки с лица списка, может, я на обратке сижусь? Дёрнулся я заломить низ листа, но список был под стеклом, и я, не увидев чистого стекла, лишь невольно зашиб об него пальцы.

Меня нет *т а м*... Всё... Сгорел...

Эта больная экзаменационная вузня так придавила, что я даже не помню, как добрёл до своего дупла.

Баба Клава кормила во дворе кур.

Увидев меня, она громко спросила, прижавивая:

– Ты что, как в беду опущенный? Неужеле напоследках лебедем ожгли?

В её голосе, в лице не было притворства, и я, тронутый её участливостью, готовый расплакаться, пустился потерянно объяснять:

– Не двойку вовсе – четверку дали на последнем экзамене. Девятнадцать из двадцати наскрёб.

– А проскакной балл какой?

– Наверно, двадцать один.

Баба Клава не удержалась, фыркнула:

– Это что-то новое.

– Да нет, всё старое. Я сразу после школы... Без стажа... Нам, таким гаврилкам, выкроили всего восемь мест, а из нас девятеро сдали на круглые пятёрки. Видите, даже одного пятёрочника отсадили.

– Что деется! Что деется! Совсем мир перекувыркнулся!

С досады баба Клава разом вымахнула из корчажки всю оставшуюся мешанку себе к ногам, и возле неё куры закипели белым костром.

– И как ты, любезной, ладишься далее жить-поживать да кой-чего наживать? Как думаешь доскакать до счастливых огней коммунизма?<sup>311</sup>

– Да... Назад к матери надо заворачивать оглобельки. Только...

Я осёкся.

Поднял на бабу Клаву просительные глаза.

– Ну-ну, – каким-то стылым, с чужеватинкой, голосом

---

<sup>311</sup> Огни коммунизма – крематорий.

подживила она.

– Только мне не на что заворачивать... Не дадите ли взаимы на дорогу?

Старуха ахнула и отшатнулась от меня ближе к крыльцу.

– Я погляжу, малый ты цо-опкий... – меж зубов, невнятно забормотала и уже на вскрике подпустила: – Форменный нахалец! Да через мой фиквам тыщи таких, как ты, голяков временников промигнули! И если я, пустоголовая расстрёпа, одному дай на дорожку, другому на ресторан, так мне не больше останется, как воды в ней, – сунула мне под самое лицо порожнюю дырчатую корчагу. – Тольке и достанется, что мотай, Клавуня, на кулак слёзы да беги по миру с рукой!

– Я не под большое спасибо прошу. Не сегодня-завтра мама подошлёт... А если... Приеду, сам до копеечки вышлю. А тревожиться вам нечего. У вас мой паспорт... Оставлю... Пускай побудет до полной расчётности.

– Уху-у! – смертно бледнея, старуха с ядом в голосе и во взгляде низко поклонилась мне. – Да за кого ты меня примаешь? За толстодумку? Невжель у меня лоб в два шнурка? Он за меня всё вырешил! – карающе воздела палец. – Иль я какая ни суй ни пхай?! Полная никчемуха?.. Как же, дёржи карманище ширше!

И пошла, и пошла костерить. На сто лет выкатила.

– Видал! – распалённо кричала. – Паспортиной подивил! Да что мне за твою паспортёху в магазине шубу соболью на плечи намахнут? Лучше ответь, у тебя е чем сплатить за



угол?

У меня похолодело в животе.

– Бумажными нет и рубля, а так... тёр да ёр... Мелочишка кой да какая брякает.

– Ну, с бряка навар не густ...

Старуха властно положила руку мне на куполок, повернула голову – в открытом окне я вонзился взглядом в висячие часы-стуколки в моей каморке. Было восемь с копейками.

И, утягивая в себя злость, заговорила глухим, ровным, каким-то отдыхающим, голосом:

– Ровно двадцать три дня назад, именно в это телячье время<sup>312</sup> вы пригрели ко мне. Эвот и отплатили ровнёхонько за двадцать три денёшка. Так что расчётушка уже полный вам сдан. Тика в тикку. Даже с лихвой. Ты уже девять минут тут лишних... Посверху платы... Видит Боженька, я тебя не задёрживаю...

Я опустил голову.

– Что ж, расценённый,<sup>313</sup> молчишь? – полупримирительно, как показалось мне, спросила старуха.

Я молчал.

Не поднимая голоса, по инерции доругиваясь, она бросила полулениво:

– А то вырешил... Гм... За меня... Да будет, как я положу!.. Э-э-э! Да чего сажать к себе на хвост приключенью? На

---

<sup>312</sup> **Телячье время** – ранний вечер.

<sup>313</sup> **Расценённый** – бесценный.

коюшки мне с тобой судомиться?<sup>314</sup>

Старуха дёрнулась в ветхие недра своего чума.

И через минуту шлёпнула на лавку мой паспорт.

– Вот твоя бирка! Чего же тереть тут бузу? Забирай и с Богом!

– На дворе же ночь... – пробормотал я.

– Но и мой дом тожеть не вокзал! – тихо отстегнула она. – Это вокзал – общежитие для бездомовников. Это на вокзале бесплатно живи не хочу!.. Утаскивайся отсюдки, пока я не саданула тебя тёщиным язычком! – и уставилась на кактус с длинным плоским стеблем в маленьком горшке у крылечка.

Наплыла на глаза старуха.

Твердея, я возразил:

– Мне рано на вокзал. Брат уехал шесть дней назад. Так он и за меня, и за себя под перёд дуриком заплатил вам по день моего последнего экзамена! То есть по сегодня! Заплатил за двоих по сегодня! Так чего ж мне не пожить, пока не придут от матери деньги?

– Дёржать тебя одного в комнате? Не дюже ли жирно будет?

– Ну брат же заплатил!

Старуха щитком выставила мясистую, гладкую руку, похожую на грубо отёсанное полено:

– То браткина печаль. С тобой не кинусь судить-рядить её. Так что тебе самая пора налаживаться на вокзалий... Куда

---

<sup>314</sup> Судомиться – возиться.

хочешь... Чего тут брехню пилить?

Старуха снова шатнулась в сумерки хибарки и вынырнула оттуда уже с моим обшарканным фанерным чемодаником – схвачен посередке белой бечёвкой. Она не отдала его мне, а зло выпихнула за калитку:

– С такими заворотами место за воротами! С Богом! Разойдёмся миром!.. Покудушки зятка... одномандатника<sup>315</sup> не кликнула...

Негнушнимися, окаменелыми пальцами взял я за бечёвку чемодан и шатко побрел прочь от этого двора.

Последний поворот.

Уже виден вокзал.

Сделав шага три за поворот, я зачем-то обернулся и увидел: следом понуро тащились Милорд и Варсонофий.

Как раз на повороте они сели.

Я позвал.

Ни Милорд, ни Варсонофий даже не шелохнулись.

Почему они не шли дальше? Боялись вокзала?

Чемодан вывалился у меня из руки; я оставил его лежать и пошёл назад к Милорду и Варсонофию.

Милорд как-то виновато, тяжело подал мне лапу.

Я взял лапу обеими руками, прижался к ней щекой и заплакал...

---

<sup>315</sup> **Одномандатник** – верный муж.

## 6

*Наши недостатки так и рвутся к чужим достоинствам.*

*Г. Малкин*

Проснулся я от тычка в подбородок.

Смотрю: у самого моего носа ступня в простом сером чулке. Иду глазами вверх по чулку. Чулок забегает, прячется под синюю юбку. Шаловатый продроглый сквознячок, бежавший из города в приоткрытую дверь, безуспешно заигрывал с краем свесившейся с коленки юбки, будто норовил унести её в тоннель, пустой и таинственно мрачный; юбка лишь лениво, равнодушно покачивалась, вроде как отмахивалась.

Иду выше.

Девичье лицо. Глаза прикрыты от света носовым платком. Интере-есно! Со мной на одной скамейке спит валетом какая-то привлекалочка!

Я приподнялся на локоть, открыл ещё одну подробность: между нами лежал, коричнево отливая, костыль в коротком резиновом носочке.

Руки девушки вытянуты ладошками кверху. Составленные вместе, они походили на ковшик. Казалось, она что-то подавала. Иллюзия была настолько сильна, что я поддался соблазну и заглянул в ковшик, надеясь что-нибудь диковин-

ное увидеть в нём, но ничего не увидел, однако чему-то легко улыбнулся, легко и радостно: её ладошки пахли розами.

Я никогда не видел так близко лица спящей незнакомой девушки. И лежать ещё на одной лавке... Не слишком ли?

Мне стало не по себе.

Стыд поджёг меня.

Я тихонько подул проказнице в лицо.

– Э-эй... проснитесь... – шёпотом попросил я.

Потягиваясь и тонко, жалобно пристанывая, мармеладка очнулась.

Наши глаза встретились.

– Вы кто? – всё так же шёпотом спросил я.

– Детям с ангиной не разрешают разговаривать, – улыбнулась она и игриво погрозила пальчиком, вставая.

– Я не с ангиной, я с вами разговариваю, – громче проговорил я, доставая из пазухи кепку.

Она удивлённо уставилась на мою кепку.

– Подкладывал, чтоб сердцу мягко было, да и чтоб не простудёхалось, – пояснил я.

Мы познакомились.

Уже через минуту я смертно завидовал Розе. Розе Лобынцевой.

Роза из Челябинска. Здешний пед устроил приём вступительных в Челябинске. Розу приняли. Приехала на занятия. Счастливица... В радость въехала. Не то что некоторые...

Жить Роза будет у тётки. Правда, сама давала тётке телеграмму, но та почему-то не встретила. Поезд причерепашился поздно ночью. На такси побоялась. Вот явится день, отправится искать свою ненаглядную тётушку.

– Только странно. Четверых спросила, как доехать до Плехановской, и все четверо не знали.

– Да что ж тут знать! В трёх трамвайных остановках отсюда!

За разговорами ночь незаметно вкатилась в утро.

И на первом трамвае, пустом, гулком, повёз я Розу к тётке.

Передвигалась Роза трудно, как бы по-птичьи вспрыгивая, опираясь на костыль. К тому же у неё был тугой тяжелина саквояж. Так что не проводить я не мог, тем более, как я заметил, мои проводины были Розе вовсе не в тягость.

После, пожалуй, десятка моих рваных, нетерпеливых звонков за дверью загремели цепью, не якорной, конечно, но и ненамного изящней, легче, в чём я скоро убедился, и в тесный раствор – шире дверь не отваживались открывать, держали на цепи-защёлке – опасно выглянула сырая полу-сонная тетёха в затрапезном куцем халатике.

– А-а, – постно обронила она, увидав Розу.

– Родненькая! – ликующе взвизгнула Роза и, боком поднырнув под цепь, скользнула в комнату, кинулась к тётке на шею.

Тётка выронила цепь. Цепь огрузло бухнулась крутой дугой в косяк и своей непомерной тяжестью как-то послушно

и торопливо захлопнула передо мною дверь.

Я остался один на площадке.

– Бр... бр... – басовито мычала тётка. Наконец, видимо, получив возможность говорить, понесла: – Брось, дурилка плюшевая!.. Залепила рот – слова не сказать!.. Лижешься, как кошуня... Всю заслюнявила! Потом, потом с поцелуями! Вещи у того скакунца из золотой роты?! Ве-е-ещи-и!

Очумело вылетевшая тётка с судорожным облегчением вздохнула, застав меня на месте. Жестом велела внести сак-вояж.

Я и шага полного не сделал от порога, как тётка, раскинув руки, загородила дорогу.

– Всё, всё! Дальше не надоть! Всё! Дальше поезд не идёт!

И, тыча в меня клешнятым пальцем, спросила Розу:

– Это такси?.. Заплати ты этому опупышу<sup>316</sup>, а то мне-ть бежать...

– Тётя! – конфузясь, выкрикнула Роза и подчеркнуто уточнила: – Это не такси и даже не опупыш. Это человек! Мой знакомый!

– Оправде? А я думала, извозчик. А... Тем лучше... Не надоть и платить этому мамлюку... – И кольнула, подбавив в голос ехидства: – И прыткие нынче листоблошки. Первый день у чужом городе... Ещё не успело толком рассвести, а у ей дурдом на прогулке! Уже какой-то шапочный знакомец...

– Почему шапочный? – выстыв голосом, оборвала Роза.

---

<sup>316</sup> **Опупыш** (уральское) – неровность, бугорок.

Тётка поджала губы.

– Я думаю, у вас с им ничего такого не было?

Роза нервно хохотнула.

– А мне помнится, – резко бросила, – было! И такое, и развсяческое другое! К вашему сведению, да я всю ночь сегодня с ним спала! – крикнула вызывающе.

Тётка сражённо, с вопросом глянула на меня.

Я растерялся и машинально кивнул. Подтвердил.

– Ты к чему это растрепала губы? Я прям вся опрутела<sup>317</sup>... Ка-ак... спала? – обомлело прошептала тётка.

– Вплотняк закрыв ставни! – подпустила Роза и очень серьёзно, обстоятельно показала, как именно спала. Закрыла глаза, склонила голову набок, принесла под щёку вместе сложенные ладошки.

Ну и артистка... Зачем ей этот выбрык? Покруче насолить вредине тётке?

– Ё-ё-ё-ё, – сбычив глаза, густо засопела тётка. – С весёлого конца начинаешь, подруженька...

– А мы такие, тётя. Весёлые!

Я потихоньку притворил за собой дверь.

– Ну, к чему ты, коза необученная, на себя собираешь всякой сор? – уже примирительно, как-то упрасивающе заговорила тётка. – Ну, к чему ты мне смущеньем душу мажешь? Мы-то знаем тебя... Не стуколка<sup>318</sup> какая там... Иль пооби-

---

<sup>317</sup> **Опрутеть** – оцепенеть.

<sup>318</sup> **Стуколка** – девушка лёгкого поведения.



делась, что не совстрели?.. Вишь, окаянцы, пона... пронадеялись, что упоздает поезд, придёт по-людски, утром, как всегда, а он возьми да в пику прискочи по расписанью. Я ж оломедни<sup>319</sup> звонила на вокзал... Опоздал на полных пять часов! Так обнадеялась, что и сегодня упоздает... А он!..

Молчание.

Снова тёткино бормотание, еле различимые слова:

– А ежли и оправдешно ты совстрелась с этим опилышем<sup>320</sup> на вокзале, так не держи его в уме... Смертно рыдать не будем, не опойка<sup>321</sup> какая... Ободранистой басурманец... так бы и оплеушила!.. Захороводил нашу овечушку, распустил опрельш мокрые перья, а... Какой-нить вокзальный урка... Чи-истый охлэстыш!<sup>322</sup>.. Я ж вижу... Хоть и осердная<sup>323</sup>, да не без ума...

– Ой, тётя, не хвалитесь своим умом. Такой «ум человечеству дан явно по чьей-то глупости». И совсем вы в людях не разбираетесь. А ещё...

Я побрёл вниз по лестнице, разглаживая кепку на голове.

Ну, куда же теперь? Что делать? За что братья? Кто и что ждёт меня в этом чужом городе?

---

<sup>319</sup> **Оломедни** – на днях.

<sup>320</sup> **Опилыш** – отрезок бревна.

<sup>321</sup> **Опойка** – шкура молочного телёнка.

<sup>322</sup> **Охлэстыш** – человек с дурной репутацией.

<sup>323</sup> **Осердная** – вспыльчивая.

Мне больше некуда идти кроме вокзала и ноги сами несут меня к нему по пробуждающемуся, по закипающему городу.

Вот и привокзальная площадь с радостными блёстками лужиц от утреннего машинного умывания.

Я смотрю на сам вокзал.

Не узнаю.

Он совсем такой же, как вчера, и совсем не такой. Он совсем не угрюмый, не страшный, словно чудище, каким показался вчера в вечерних сумерках. Совсем наоборот. Под боковым солнечным теплом он весь золотится добротворной улыбкой и чудится, мне навстречу в приветствии вскинул руку с кайлом каменный горновой с правого угла вокзальной крыши.

Я приподымаю кепку, без голоса с коротким поклоном здороваюсь с ним.

Он ободрительно отвечает.

Потом спрашивает:

«Ну а как спалось у нас, парень?»

Я выставил большой палец, подтвердительно кивнул:

«Отлично!»

«Ну и добро. На нас, Бог миловал, пока ещё не жаловался ни один советский дворянин<sup>324</sup>... И помни, где бы ты ни был, у тебя всегда в горький час будет где приклонить голову. Мы, – он показал на колхозницу со снопом, стояла рядом, как и он сам, у края крыши, – мы люди каменные, с нами

---

<sup>324</sup> Дворянин (здесь) – человек, ночующий на дворе.

легче договориться, чем с живыми».

«Спасибо!»

... И вот пришло утро.

Что же увидел слепой?

А увидел он то, что не такая уж и злючка жизнь. Порядком понабилось в её вагон всякой дряни. Но разве не осталось в вагоне места доброте?

Я успокоенно сажусь в скверике на свою вчерашнюю скамейку.

Мне как-то совестно за свои вчерашние мыслятки, что пришли на ней. Как это говорила мама... Подумаешь – жить нельзя, а раздумаешься – можно. Кажется, так...

Вчера я считал, что ночь на вокзале – это конец света.

Так ночь отошла, а конец света даже персонально для меня одного не наступил. Жить можно... Можно!

Бегут, бегут мимо люди. В вокзал. Из вокзала. В вокзал. Из вокзала. Мечутся, как мураши на кочке. И не поймёшь, кому куда надо.

Лица у людей свежие, отдохнувшие, подобрелые.

Кажется, останови любого, любой тебя и послушает, и вникнет, совет даст, как тебе быть. Только зачем же на чужие плечи кидать мешок со своими игрушками? Свой мешок сам и тащи. Не дитяtko.

Ладно...

Главное, всё разложи в душе по полочкам, оглядись, уго-

монись, затвердей, а потом и смотри, за какую игрушку сперва хвататься. Конечно, за самую большую. И места много занимает, и интересней с большой.

Уехать бы...

Дождаться от мамушки купилок и уехать. Это в идеале. Да всякий идеал колесо, которое, видать, на то и существует, чтоб каждый, кому не лень, совал в него палки. Ведь может крутнуться так... А вдруг мама не сможет сразу собрать? А вдруг не у кого собирать? И месяца ж нет, как снаряжала нас в дорогу, в два ряда обежала всех соседей. Опять бежать? Ну и у соседей лысенькие<sup>325</sup> не растут на грядке... А вдруг пронадеялась, что нам *тех* шелестов хватит?

Тыща всяких *a вдруг*...

Ну и возьми лучшее. Соберёт, пришлёт. Когда? Завтра? Через неделю? А эту неделю на что куковать? Правда, у меня мелочёвка есть. Да сколько её? Я боюсь считать... Когда без счёта, всё больше кажется...

Буду отстёгивать самое-самое.

На прожиточный минимум.

Сяду на чёрную диету. Полбуханки по утрам чёрного хлеба – и всё на день. Запить можно из колонки. Воды хоть залейся. Бесплатная... Раз в три дня разгрузочный день. Одна сайка. На три откуса. Вся дневная норма. Больше норму не ужмёшь.

А желаешь кормёжку до воли, подряжайся на подёнку. На

---

<sup>325</sup> **Лысенький** – металлический рубль с изображением В. Ленина.

мамку надейся, да сам шевелись! Сам читал, подрабатывают студенты на разгрузке. Тебе-то разве запрещено? И должны взять, и заплатить должны по-божески. У тебя льгота, ты вокзальный житель! Советский дворянин!

Где-то за вокзалом одобрительно прокричал паровоз.

Я глянул в сторону этого крика, натолкнулся на скульптуру горнового. В торжестве вскинул он свою палицу.

«Молодчун! – сверху, с крыши, пророкотал горновой. – Я слышал твои мысли... В нашем дворянском собрании публика закоснелая, больше как рассуждает... Ты меня, работушка, не бойся: я тебя не трону. А ты не боишься работушку трогать. Молодчун!...»

Я ни у кого не стал спрашивать, как пройти на товарную станцию, а наугад пошёл по шпалам и скоро наткнулся на арбузный состав.

Перегружали в машины сразу вагонов из десяти.

Словно мячи, лёгкие, ликующие, празднично летали над людской цепочкой полосатые шары.

Никем не замеченный я заворожённо присох у крайнего грузовика.

– Я выбираю только у частника, – громко слышалось из вагона.

Сидевший на камне ко мне спиной высокий худой мужчина равнодушно махнул рукой. Хохотнул:

– Да что у частника выбирать? У частника все спелые. Мети взаподрядку. Не промахнёшься! Но на рынок не набегашься... А в магазине и битые, и надзелень. Надо выбирать. Я думаю, мой метод верный! Одни стучат, определяют на звук, другие давят... по треску... Я этими признаками пользоваться не умею. Может, они и верные... Лично я выскакиваю на таких... Первый. Смотрю, чтоб рисунок на корке был чёткий. Второй. Поверхность блестящая, а не матовая. И самый главный признак третий. Я обязательно смотрю место завязи – где цвёл цветок. Это место в противоположной стороне от плети... Ещё по нему определяют, арбуз это или ар-

бузиха... Так вот, место завязи у зелёных выпуклое. У спелых вогнутое. У переспелых сильно вогнутое к центру арбуза. И к тому же переспелик падает в весе. Возьми в руку – неестественно лёгкий.

Мужчина даже вынес руку перед собой, подвигал на весу, как бы взвешивая невидимый арбуз. И тут же, давая понять, что ещё не кончил свои мысли, зовуще похлопал, снова заговорил, повысив голос, собирая, подживляя упавшее внимание слушавших.

– Да! – торопливо выкрикнул. – Ещё про хранение!.. Бойтся Арбузкин сквозняка, сырости, пролады. Ему, чёрту, подавай микроклимат, схожий с условиями, в каких растёт. Не ниже двадцати двух, не выше двадцати восьми. Иначе, как и дыня, высыхает. Условия для длительной лёжки я сам подобрал, так сказать, путём народного тыка. Держал на кухне, в комнате. Закатывал под кровати – уже в октябре наши арбуши начинали преть. Как-то раз летом сунул пятёрку штук в ванную, сунул и забыл. Дожили до Мая! Свеженькие, будто только сорвал. Так я и заякори им место для жития в ванной. Сквозняка нетоньки, тепло, влажно. Не сохнут. Попервах лежат внавалку, горушкой. К новому году остаётся один слой. Моет хозяйка пол, я аккуратно перекаत्याю полосатиков, вытираю, срезаю с них пыль сухой тряпочкой. Случайно плесканул на них – не беда. Вытри пол, оботри самих. Ни шиша не приключится до весны... Эх! Для матушки княгини угодны дыни, а для батюшкина пуза надо арбуза!

Тут рассказчик хохотнул и съехал с камня.

Половчей усаживаясь опять, ненароком обернулся, увидел меня.

– А это что у нас за секундант? – удивлённо присвистнул. – Иль какой капальщик из тайного бурилхрумхрумтреста...

Он не договорил, широким насмешливым жестом позвал всех полюбоваться на меня.

Цепочка вмельк взглянула, не останавливая дела. Были в цепочке крепкоплетие, рослые парни, голые до пояса.

Я сказал, что я к старшему.

– Я за него, – отозвался усач в вагонном проёме.

– Я бы хотел... немного поработать у вас...

– Это уже хорошо, что немного, – усмехнулся усач. – По крайней мере, сразу честно. Не стал банковать...<sup>326</sup>

И неожиданно, с силой почти по прямой швырнул мне арбуз. Руки я успел выставить, но арбуз не удержал. Распloh и могучего губит.

– Куда тебе, вьюнок, на наш конвейер? – соболезнующе вздохнул усач, не глядя на меня, – он не убирал сторожкого бокового взгляда в сторону, откуда ждал подачи. – Увы и ах, скромно сказал товарищ монах... Худик... Одна арматура... Неухватистый, хиловатый... Слабб, малышок...

– Я перебрасывать умею, – заоправдывался я.

Шофёр – это был рассказчик – уже с подножки бросил нарочито зычно. С солью:

---

<sup>326</sup> Банковать – хитрить.



– Всему малый учён, только не изловчён!

– Оно и видно, что умеешь... Всё меньше твоё, дадонка,<sup>327</sup> у тебя под ногами, – усач ткнул в белые куски разбитого арбуза. – Одним махом два зайца побиваю... По его методу, – качнулся к кабине, где шофёр уже заводил мотор, – определил спелость и заодно узнал твою профнепригодность к нашему делу. Нет реакции... Да прими я тебя – город даст дубочка без астраханских этих чудасий! Давай так, без митинга... Кофемолить мне некогда, работа... Прижало там когда набить дуршлаг... Одно слово, желаешь, рыжик, вкушать арбузы вне очереди и вне платности, забегай! Аварийный всегда выделю из ушибленных сильно. Их у нас полный угол. А поработать... Не могу... Да и работы, собственно, осталось с гулькин нос. На оформлёнку больше сил ухлопаешь. Я от души, честно, как и ты... И потом, если думаешь, что быть грузчиком твоё призвание, ты заблуждаешься. Мнение профессионала... Полчасика покидаешь и ты выпал в осадок. Дошуропил? Разгружать арбузики – это не дураковаление. Я знаю, нужен народ на выгрузку сахара. Там кулёчки по двести кэгэ. Это такое дураковаление... На вынос! Я думаю, тебе самому те кулёчки не в интерес. Как глянешь, у тебя у самого те кулёчки не вызовут прилива энтузиазма. Отлив гарантирую...

Мне опротивел его нудёж про это дурацкое дураковаление.

---

<sup>327</sup> Дадон – неуклюжий.

Да целуйся ты сам с теми кулёчками! Тоже божки! Арбузная знать!

Может, уже пришёл перевод! А я?..  
Двину-ка к преподобной Клане...

Открыла мне калитку Светлячок и, млея от изумления, неверяще свела ладошки на груди.

– Дя-ядя...

Она схватила меня за палец, напористо потащила к крыльцу.

– Папка с мамкой на работе, жадина-говядина повезла на тачке грушки на базар. Айдайте завтракать!

– Я не хочу... Я уже завтракал.

– А я нет и не буду, – натянула Светлячок губы. – Назло жадине... За то, что она вчера... Папка с мамкой её тоже не похвалили...

Девочка погрозила пальцем воображаемой старухе.

В благодарной грусти погладил я Светлану по верху руки.

– Ну что, настрашали утку водой?

– Ни на вот столечко. – Девочка серьёзно показала самый вершок, подушечку мизинца, и долгим, тревожным взглядом уставилась на меня. – Вы по правде ели?

– Ел.

Она молча влетела в тёмные тесные сени. Тут же выско-чила уже с нарядной детской корзиночкой.

– Тогда, – защebetала взахлёб, – возьмите это. – Она сняла с плетёнки газету, я увидел два пакета. – Вот, – раскрыла один, – пирожки. Мамка утром пекла. Я сама положила, ещё горячие. А издесь, – развернула другой, – грушки. Сперва хотела стащить из мешка у жадёны... Раздумала. Сама улезла на дерево, надёргала, какие на меня смотрели...

В её голосе, во взоре было столько твёрдой, неувалимой мольбы, что, казалось, только откажи – непременно пустит росу, и я, переломив себя, выловил из пакета две груши, что всё ещё жили на одной веточке.

– Возьму сестричек. Сестричек нельзя разлучать.

Девочка засияла, брызнула жаркой радостью сквозь близко пробившиеся слёзы.

Я сказал, что пришёл узнать, нет ли мне перевода.

Девочка торопливо потыкала пальчиком в дырочки почтового ящика – висел на калитке со стороны двора – и в печали отрицательно покачала головой.

– Каждое утро ровно в девять я буду приходить, покуда твоя лёгкая рука не подаст мне перевод. А сейчас мне пора.

Я вышел на улицу.

Светлячок следом. Не даёт уходить. Ластится, вьётся и секунды не постоит, будто зуд у неё в ногах.

– А можно я с вами?

– Боевой пост покинуть? Одну ж оставили на весь дворец. Сиди знай стереги.

– А-а... В вашей комнатке спит новый дядечка. Пускай и

стережёт.

– Сонный много настережёт?.. Мне некогда. Я опаздываю и так.

Я мягко подтолкнул кроху к калитке и пошёл, стараясь не оглянуться.

*Ветер! Дударь он и строгаль,  
И хват, и мот, и он же сатана...*

*Егор Исаев*

Никуда я не опаздывал. Никуда не спешил. Так зачем тогда врал девчонишке? А разве иначе отлепишь её?

Никуда не торопясь, шатался я из улочки в улочку, что полого падали к реке.

Мне нравилось кружить по незнакомым тихим местам...

Часа два выбродил по кривым, немощёным дорожкам, изрядно уходил ноги. Уж верно, за глупую голову и ногам плохо.

Припал я в тенёчке на чужой лавке и задумайся.

Сейчас душа на покое. Странно... А к ночи снова беги в дворянское собрание?

А не попробовать ли тут поискать койку? До перевода? А так чего без пути слоняться?

И стал я спрашивать, стал навязливаться в жильцы.

На удивленье, во многих домах берут, только все как сговорились: платёж под перёд. Одно и слышишь: под перёд! под перёд!!

Разозлился я, в одном дворе и бухни:

– Это ж несправедливо! На заводе вам платят наперёд? Или та же картошка родит вам до посадки?

Мужик сострадательно покивал:

– Ну-у... Сразу видать, делали тебя наспех, а сделали на смех... Таких блинохватов и за двойную цену не дёржим! – и захлопнул калитку.

В соседнем дворе молодой бас торжественно пел:

– Сидел Ермак, объятый дамой,  
На диком бреге Иртыша!..

Не найду угол, так хоть, может, увижу живого Ермака с его дамой, и я постучался в соседнюю калитку.

Мне откинул засов неунывака толстун. Примерно моих лет, в кости поразбежистей, ростом удачливей. Мне он глянулся с первого глаза. Возле таких людей всегда хорошо. Ты ещё и рта не раскрыл, а он уже душу нараспашку, цветёт улыбкой шире ворот.

– Проходи. Чеши ко мне фокстротом! У нас без чинов. Не бойси бобика, хозяин на цепи! – грохает себя в грудь.

– У вас не сдают угол?

Он степенно, державно обвёл загорелой твёрдой рукой – был он бос, в майке, в синем трико – богатую хоромину, сущую крепость в глубине великолепного сада, довольно хмыкнул:

– Таковские офигительные райские уголки, мой ненагля-

дик, без боя не сдают. Особенно, ёксель-моксель, таким дегенералам, как ты...

Я потускнел. Поискал глазами калитку.

Малый, плутовато посмеиваясь, жёстко взял меня под локоть, повёл в беседку.

Сел на скамейку, усадил меня рядом.

– Сиди, дух, и спокойно, – указал на полное спелой вишни решето на столике, – занимайся делом. У нас без дела нельзя... Ты чего жмуришься, как майский сифилисок? Ты кончай думать. Тебе сегодня всё равно боль никуда не катить колёса, искать нечего. Ты уже набрёл, что надобится. Я подмогу... Положись на меня, обижен не будешь! Посиди... А то один да один весь день... Скучища... Депресняк придавил... Понимаешь, вчера отмечали именины соседского кошенёнка. До того наотмечался, до того нагондурасился, что сегодня в работу не сгодился. Кидали лобастого<sup>328</sup> за лобастым, кидали, кидали, кидали... Столько литро-градусов на каждый героический хохотальник<sup>329</sup> пало – ни в одной сказке сказать, ни пером подписать!.. Хор-р-рошененько поиграли в литрбол. Ты не увлекаешься?

– Жирный прочерк.

– Молодчун, пионэрио! При поступлении в рай учтётся. А я грешноват, маненько балуюсь литрболом... А вчера, слышь, так наигрались, что опупело... критицки уставились

---

<sup>328</sup> Лобастый – стакан.

<sup>329</sup> Хохотальник – лицо.

с соседом друг в дружку, насмотреться не можем. Дурак с дураком сходился, друг на друга дивился! Воззираем друг на дружку и молчим. Сказать нечего-с... В красный тупик заехали. Именинник только один воркочет, об ноги наши под столом трётся. И возговорил я тогда тост про великое молчание. Всякое, говорю, бывает в жизни, иногда и в компании наступает тишина. Сидят люди, смотрят друг на друга, глазами вращают, а сказать ничего не могут. Но не будем бояться молчания, оно – невидимая связующая нить, взаимное проникновение наших душ. Так выпьем же за молчаливое слияние света в наших сердцах!.. И игра полилась дальше. Кончилось тем, что я не пожелал отбывать от соседа через ширинку.<sup>330</sup> Далеко! – кричу. – Мы пойдём совсемуше другим путём! – по-вождярски ору. – Нехоженным!.. Неезженным!.. Небеганым!.. Неписанным!.. Некаканным!.. Прошил одним тычком плеча локалку<sup>331</sup> в заборе, и я уже у себя в поместье. Вот так устроили с соседом праздничек кошенёнку. Посиди. Дай потрепаться. Дай пары спустить... У нас с тобой родство... Ещё два месячишка назад, как ты сейчас, вломился я в эту царёву дачу, спросил твоими словами. Мне, как видишь, в этой крепости сдали на пробу уголочек, а тебе не сдадут. Не только тут, а во всем честном секторе. Даю справку... Я частный наш сектор навеличиваю честным. Так

---

<sup>330</sup> **Ширинка** – калитка.

<sup>331</sup> **Локалку прошить** – сделать пролом в глухом заборе с колючей проволокой поверху.



вот, во всём честном секторе!

– Почему?

– Фу-фу!.. – парень глянул на меня вприщур. – Тонкая штучка... Помолчи, заверни крантик. Всё поясню... Оттопырь локаторы, ушки с макушки, и зорко слушай. Тут в каждом теремке понапихано молодых цыпок, как поганок на лужайке в урожайный год. Ты сулишь им копейки за койку, а они в горячке решают, можно ли этому незваному варягу сунуть под метёлочку всё, что добыли за всю честную жизнь. Секёшь? Они ж смотрят на тебя не как на квартиранта, а как на надёжного, на верного же-ни-ха, на од-но-ман-дат-ни-ка для своей угрявой Машки или там Глашки! Наконец как на будущего хозяйшку всего имения! Все-е-е-его! Нет, да ты секёшь? Ну? Ра-азный ведь угол подъезда к проблеме. У них квартирант – это вид, видимость, а суть – жених. А с твоими данными, мурик, лучше не соваться. Тебе, бухенвальдский крепыш, дешевле выпасть из игры. Ты не обижайся, я от чистоты сердца, в качестве совета... Не-е, ты на сегодняшний день не сватач!

– Да не собираюсь я жениться!

– А чего ж, братила, в честном секторе пасёшься? Не-ет! Тут закон: угол получает тот, кто подходит как жених. Есть даже негласный стандарт жениха для Его Величества честного сектора. Даю совет пока бесплатно... Чтоб тебе приблизиться к стандарту, надо вытянуть тебя слегка... Надо подрасти на целую голову, надо попросторней размахнуться,

разъехаться в плечах, чтоб, извиняюсь, грудинка была метр на метр, как у ломовой лошади. Чтоб кулачки не мень пудовой гирьки и не мягче. Затерялся где молоток, а тебе гвоздь надобится всадить. Ты а-ах пустым кулачком с махотку – гвоздичек в испуге на аршин вбежал в стенку. Это ж честный сектор! Тут только лошадка и вывезет, и хорошо, если эта лошадка будет с уклоном в слоновью масть. Это в коммунальном бункерочке всё хозяйство может состоять из сухого цветка в горшке да из стаи моли в шкафу. А ту-ут!.. Этакущая картинка! – снова показал он на дом-музей в глубине сада. – Обиходь такую чуду-роскошь. Тута дуршлять<sup>332</sup> не моги! Тут надо быть бешеным до работы! Шизиком! Вот они и выбирают женишка посправней, потельней... как сжатый, слепленный из теста. Мускуланта подавай, как вон я! Чтоб был битюжок такой. Вол! Им просто битка<sup>333</sup> ма-ало... Вот ты ходил, все тебе пели самурайскую песенку с припевом: плата наперёд, плата наперёд. А я ходил... Мне про плату не заикались. Я сам обежал десятка три дворов, всё выбирал, где и музейчик покартинней, и невеста поносней, чтоб этакий аленький цветочек бросался в глаза... Не позывает к той лохнезии, про которую говорят: в окно глянет – конь прынет, на улицу выйдет – собаки три дня лают без продыху, а одна пригляделась, так сбесилась... Надоело в общаге закармливать племенных клопов на убой и подался я в квартиран-

---

<sup>332</sup> Дуршлять – спать, дремать.

<sup>333</sup> Биток – тучный, плотный.

ты. Сразу и жону, и именище хапнул... Правда, к моей сиделке<sup>334</sup> есть вопросец... Широкофрматной не назовёшь... Худа, как успенская селёдка... Больно костлявая манилка... Забойной, пухлявой не назовёшь. Ну да... Из костлявой рыбы уха сладка... А балкончик!..<sup>335</sup> Ах и ах! Не груди – бравые часовые! Сторожевая застава! Потому как, братове, это не груди – двустволка! Зато мордарий... Таким мордарием можно напугать не только ребёнка, но и таракана. Был случай. Один таракан пригляделся и скоропостижно рассыпался на атомы. Аут! А говорят, не все тараканы видят. А ну если б ещё и все видели? Как бы они и жили-то у нас во дворце?.. Конечно, я попрочней таракана... Терплю эти ебалканы... Одначе на том мордарии и глаз... Хоть соломой затыкай... Там бельмо такое сидит!.. А может, ближе к лучшему, не всё моё будет видеть? А?.. Опять же хатулечка, – кивок на дом, – ни в сказке сказать, ни шлангом описать... Скоро экскурсия в зигзагс. На предмет расписки. Тогда я здесь, будьте покойнички, обеими ножками... Осенью в армию. Хорошо уходить, когда знаешь, к чему возвращаться... Шнурки<sup>336</sup> у неё подержанные, изрядно подтоптаны годами. Готовые руины. Моя у них одна. Улавливаешь, кто я? Во-и-тель!! Хозяин детинца!<sup>337</sup>

---

<sup>334</sup> **Сиделка** (здесь) – старая дева.

<sup>335</sup> **Балкон** – высокая женская грудь.

<sup>336</sup> **Шнурки** – родители.

<sup>337</sup> **Детинец** (стар.) – крепость, кремль.

Малый встал со скамейки, приосанился и, важно пересев в плетёное кресло-качалку, закинул ногу на ногу. Дёрнулся взад-вперёд; кресло, сухо поскрипывая, маятно заходило под ним. С минуту он молчал, собирая, напуская на себя солидность, чинность.

– Хозяин, что чирей: где захотел, там и сел. Всяк хозяин в своём доме большой... А ты что, поступал куда и у тебя на вступительских выскочил перебор в баллах?

– Выскочил...

– У меня тоже... Мои хотели запихнуть меня в морковкину академию.<sup>338</sup> А мне ни одна академия не нужна. Вплотняжку до самой академии живописи и воняния. Я всю молодую пору летать хотел. Была такая идея-фикус. Разбежался даже забуриться в лётное. Да как-то вничай услышал, что жизнь пилота прекрасна, как ножка балерины, и коротка, как её юбка. Услышал и у моей мечты поотвалились крылышки. Скукожился геройка. Думаю, лучше плохо идти, чем хорошо лететь. И переиграл я свои планы, в прошлом году завафлил в университет. Послушай мою байку, как я стучался в университетские врата рая и что из этого стукотка слепилось. Умереть не встать!.. Ну, хорошо, плохо, а лез помалу, на трочках дошатался до устной математики. Вхожу. Здравуюсь. Беру. Читаю. Не нравится. Здравуюсь с билетом. И прощаюсь. Назад кладу. Молчаком. Будто на языке варёжка надета. А экзаменаторша тире экзекуторша, длинная, отошчала, –

---

<sup>338</sup> Морковкина академия – сельскохозяйственный техникум.

тоскливая жердь в очках – ручками ах! Не торопитесь, не торопитесь! Скоро, мол, делают, так слепо выходит. Подумайте!.. Ладно... Мягкое слово кости ломит. Вежливо беру билет назад. Руки в боки, глаза в потолок. Думаю. Культурно думаю думу без шуму. А она на меня нет-нет да и так печально зыркнет. А я думаю. Не перестаю. Принципиально. Не по билету. По билету думай не думай, конец ясен. Чего нету, того не пощупаешь. Я думаю, как ни о чём не думать. Раз просили не спешить, я не спешу. Вежливый. Всё думаю. Думаю про то, что мне, тупаку, не страшно сойти с ума. Что с моим умищем только в горохе сидеть... Я б, шлепок майонезный, ещё чего подумал. Только тут мне велено отвечать. Я на красоту, без звука кладу на стол билет. Нет, ей мало! Она с вопросцами с разными. Я и на это молчу. Нужны они мне как кенгуру авоська! Ни на какую провокацию не поддаюсь. Мне всё по барабану! Тогда она стук, стук, стук по доске мелком. «Прочтите, пожалуйста, что я написала». Глянул я – чувствую, родные волосики на умной головке круто зашевелились.  $2xy^2$ ! Это ж почти мат четверной! До полного не хватает одной буковки, похожей на перевёрнутый парашютный куполок. Я её всегда прибавлял. А по науке, выходит, она не нужна, им вдосытку хватает усечённого мата. Бывало, на заборе писнёшь эту непотребщину да дёру. Никто не видь! А тут сама написала, а я вслух принародно читай в университетских стенах. Вот так вузня! Веселенькое разделеньеце труда! Чему только и учат!?! Ну, делать нечего,

я подневольный. Велят, нужно читать. Я сильно боролся с собой, чтоб не сказать с прибавлением. Вспотел, пока прочитал, но Бог миловал, без добавки. Прочитал так: два ху и два вверху. Даже жердь тоскливая прыснула в синеватый кулачок. А мелкий вступительный народишко – готовился с билетами за столами – так те абитурики вообще под столы со смеху чуть не поукатывались. Не понимаю. Что тут смешного? Сушёная вобла и говорит одному за ближним столом: прочтите. Я даже разочаровался. Совсем не по-русски прозвучало: два икс, игрек в квадрате. Вот те новости в ботфортах! Там же ясно написаны две простые наши буквы *хэ* и *у*. Так этот хохмарь *хэ* и *у* похерил, а откуда-то выцарапал целые слова *икс*, *игрек*. Прошу прощения, я таких словесов и не слыхивал. Да... Оказалась она культурная, в демократию поиграла со мной. Сколько, говорит, вам поставить за ваш ответ? Ставьте, говорю, сколько не жалко. Оказалось, двойки ей мне не жалко. Щедрая душа! На том и села моя экзаменационная вузня. Тихо, без кипиша... Так я и не вскочил в университетский поезд... Крантец!.. Гегемонить<sup>339</sup> не побежал. Нафига генсеку чирик?

– Упа-а! Так ты у нас генсек-с?

– Генсе-екс! Ещё какой генсексище! А чего мелочиться? Перекувыркнулся я на сантехника. В училище, хвала Богу, преподаватели скромней, усечённый мат на доске не пишут, за свою похабщину двоек не лепят... Вот я и подкатил те-

---

<sup>339</sup> Гегемонить – работать простым рабочим на заводе.

лежку к главному. Манит коронно зацепиться в городе, топай в мою ремеслуху.

Я вытаращился:

– Что я забыл там?

– А! Так ты ещё перебираешь! Так знай-ведай, наш кембридж – конторка прести-ижная. Не какая тебе там мана́ция...<sup>340</sup> Сантехник – это тебе не какой-нибудь там токаришка. «Всё течёт, а сантехников не хватает». Работёнка непыльная, даже иногда слегка увлажнённая, с мокрецей, потому как амурки крутишь с бачками, с крантами, с батискафами,<sup>341</sup> с ваннами. Всем известно, что «сантехник каждый день идёт на мокрое дело». И по совместительству крупнодежное. Обходишь квартиры. Собираешь... За год можно на лобастенького<sup>342</sup> нагрести. Шокин-блю! Отлично! Можно и на такую картиночку нарыть гульденов, – кивает на дом за высокими яблонями, рясно, до сплошной красноты, обсыпанными яблоками с краснобрызгом.

– Я картины не коллекционирую... Однако...

– И я говорю так, под интерес. На этот год, знаю, мест уже тютю-тютю. Но лично я могу тебе уважить. Своё, учти, отдаю.

– Ка-ак это?

– А просто... От большого сердца... Тебе к чему училище без общего жития? Ни к чему. Вот я под перёд и подумай

---

<sup>340</sup> **Мана́ция** – сельское профтехучилище.

<sup>341</sup> **Батискаф** – унитаз.

<sup>342</sup> **Лобастенький** – автомобиль «Мерседес».

про тебя... Передислоцировался я сюда, место своё в общаге не сдал. Официально числюсь там... Взял на гецилло?<sup>343</sup> Тут много ума не надо. Два пальца – лоб, два пальца – чёлка... Вполняк хватит... Так вот, подойди на пальчиках к директорию. К Коржову...

Я ужался.

– Что, духарик, труханул? Не бойсь! Не ссы в компот, там повар ноги моет! Подойди к самому к Коржу и скажи, что ты от меня, от пана Хваталина. Так и так, есть мнение, рекомендовано взять на его место. Не на его, директорское, а на моё, хваталинское. Смотри, не перепутай. Не споткнись. А то язычок споткнётся, а головке достанется. Он у нас ого-онь... А так дядечка с понятием. Сам был сантехником. А вишь, куда выпрыгнул? С заднего колеса взлез на небеса! Делове-ец! «Из грязи – в князи. Вот это связи!» Говорят, он сочинил диссертацию про «действие энергии солнечных лучей на бараньи яйца». Осталось защитить... Бу спок, этот Альдебаран<sup>344</sup> защитит... В партии окопался... Где-т в каком-то стукбюро бубулькает... У него «на ладонях все линии – партийные!» Постарайся понравиться. Не будь дурогоном. Не спрашивай чего лишку. Не возникай не по теме. Не наживи себе геморрой. Понравишься, этот главнюк те из печёного яйца живого цыплёнка высидит, с камня лыка надерёт. Обязательно возьмёт, место моё отдаст. Ему ж самому инте-

---

<sup>343</sup> **Взять на гецилло** – взять на прицел.

<sup>344</sup> **Альдебаран** – звезда.



ресно поболь учащихся. Конторелла наша в Утюжке. Это самое крупное здание в городе, похоже на утюг коммунизма.<sup>345</sup> Вход к Коржу от рынка... Ну, сидя на печи генералищем не станешь. Genug<sup>346</sup> трепаться. Давай в Утюжок! Столби! Чеши фокстротом!

---

<sup>345</sup> Утюг коммунизма – крейсер «Аврора».

<sup>346</sup> Genug (нем.) – довольно.

*Я не червонец, чтобы всем нравиться.*  
*Иван Бунин*

По пути к Коржову меня подогревали такие размышлизмы.

На кого ни учишь, где потом когда ни работай – всё это ой как призрачно, ой как зыбко да далеко, как-то нереально.

А вот вечер уже близко. Новая ночь на вокзале вполне реальна.

Так чего же сушить голову над завтрашним обедом, если ты сегодня не обедал и наверняка не будешь ужинать? Чего кидаться в небо за журавлём? И с чего отпихивать синичку на блюдечке с каёмочкой?

Главное, втиснуться хоть одной ножкой в общежитие.

А там...

А там, как говорит мама, толкач муку покажет.

Коржов размыто послушал меня, велел зайти через два дня.

Я так и опал духом. Оле-е, это уже хуже. А я думал, уже сегодня буду спать-королевствовать в общежитии.

Перетёрся кое-как на вокзальных перинах, строго в сказанный час подворачиваю к Коржову.

У Коржова опять новостёнка. Загляни завтра.

А завтра этот хорь шлёт на послезавтра.

Ну нет! Край-то будет?

Это куколку сколь хочешь дергай за ниточку да потешайся, а я не куколка, не на забаву бегаю к тебе кланяться.

Стригану-ка я в молодёжную газету!

Это только легко сказать – в газету.

А когда я подлетел на Революции к узкому и поднебесно вытянутому дому, похожему на поставленный на попа пенал, я струсил.

Я целую вечность торчал у двери и боялся войти.

Тем конфузней всё было, что эта дверь вела не только в редакцию. Редакция была на самом верхнем, на пятом, этаже, и весь этот дом был забит самыми разными разностями вплоть до огромного книжного магазина, занимал весь первый этаж. Сразу за входной дверью теснился мрачноватый вестибюль, откуда две двери по бокам вели в магазин, а третья стеклянная дверь вела на серую холодную каменную лестницу, что взлетала вверх.

Я с опаской тарасился на входную дверь и никак не мог понять той беззаботности, с какой люди входили и выходили. Как можно, казнил я, так просто, так беспечно, так вот внарошке входить в редакцию?

Уже три года писал я из Насакирали, из своего совхоза, где мы жили, писал в Тбилиси, в «Молодой сталинец». Какие-то мои заметки печатали, выворачивая до неузнаваемо-

сти. В них я чаще узнавал лишь свою фамилию. Фамилию, правда, не правили, и она всегда печаталась одинаково, как стоит у меня в паспорте. Уже три года был я связан с газетой. За всё это время ни разу не был ни в одной редакции, не видел ни одного правдашнего журналиста.

И вот...

Я не скажу, что у меня тряслись поджилки, но что холодно было в животе, так это было. У меня всегда выстуживается в животе, когда я чего-то побаиваюсь. И в горле высыхает.

Я затравленно кружил у крылечка перед входом и не мог заставить себя перемахнуть эти три каменные, углаженные до глянца, ступеньки, до того зализанные, зацелованные подошвами, что посредине были стёрты до *костей*.

По этим ступенькам каждый день ходят *они*. *Они* совсем не похожи ни на меня, ни на кого другого в этой толпе. *Они* совсем из особого теста, и очень ли кинутся *они* лезть в мою сшибку с Коржовым?

Кто-то, наверное, нечаянно задел меня, ненароком втокнул в людской поток, туго льющийся в широкие двери. Меня внесло, втёрло в вестибюль.

В вестибюле поток рвался на три ручья, здесь было просторней, свободней.

Примятый к стенке, я обстоятельно огляделся и сделал для себя открытие, что валит народ в общем к книгам в магазин, в боковые двери, а в эту дверь, в дверь прямо и наверх, никто и не толкается.

Неизъяснимой растерянностью опажнуло меня. Вот так да-а... Сюда так-таки никто? Я один?.. Иди кто, я б увязался за компанию. А так... В груди взвенивает, тянет, сосёт и я на всякий случай выкруживаю назад на улицу.

Поторчав на гомонливом тротуаре, я уже уверенней вхожу снова в вестибюль и начинаю следить за *своей* дверью. Вот кто-то прожёт в неё. Я было дёрнулся за ним, но он скоро пропал в повороте лестницы, и я, увидев, что впереди уже никого нет, остановился.

Промигнуло человека три мимо, лишь потом я насмелился и вприбег подрал себе наверх, боясь оглянуться: иначе не будет пути.

На одном вдохе взлетел я на пятый этаж.

Редакция занимала половину этажа. Дверь с лестничного марша в правую руку.

С минуту помялся я перед нею.

Приоткрыл...

Пусто.

Разгонистый, долгий коридор. Двери на обе руки.

Куда идти?

Я немного подумал и тихонько постучал, верней, поскрёбся ногтем в первую справа дверь.

– Входите, пожалуйста, – позвал мягкий голос.

Я вошёл.

Старушка в сером тёплом платке на плечах портновскими ножницами надрезала по краю конверты.

Перед ней на размашистом столе бугрились два вороха писем. В одном нераспечатанные, в другом уже вскрытые. К вскрытым письмам подколоты редакционные бланки в ладонку величиной. На бланках что-то написано от руки. Крупно, глазасто.

Добрыми, участливыми глазами старушка показала на стул сбоку стола.

– Присаживайтесь. Рассказывайте, с чем пришли, – и отложила ножницы, устало выпрямила спину.

Только я разбежался, старушка ласково положила мне руку на плечо и, извинившись, сказала:

– Я отведу вас... Этим у нас занимается Саша Штанько...

Она взяла меня за локоть, второпи повела по коридору.

Была она одно внимание, отчего показалась мне почему-то больничной нянечкой, а я вдруг почувствовал себя больным, которому без её помощи ни за что не дойти до своей палаты.

Дверь в крайнюю комнату, куда мы шли, была нарастопашку.

Уже с порога старушка в спехе посыпала словами, обращаясь к парню в очках:

– Саша, по твоей части. У товарища беда. Займись сейчас.

– Конечно, конечно, Анастасия Ивановна! – готовно ответил парень, кладя ручку на недописанный лист. Его край пробовал и не мог поднять плотно тѣкший в приоткрытое окно свежий ветерок.

Слово *беда*, произнесённое старушкой, впервые ясно обозначило лично для меня всё то, что случилось со мной.

Мне стало как-то жалко самого себя.

Я заговорил срывисто, невпопад, и чем дольше я говорил, тем всё чётче видел себя маленьким, совсем ребёнком, всеми обиженного, всеми отвергнутого, загнанного в угол.

Я глянул в пустой угол и совсем ясно увидел мальчика на коленях. Конопатый мальчик, я в детстве, зажав лицо руками, плакал навзрыд.

Я вскрикнул и тоже заплакал.

– Слезы... не оружие... – потерянно прогудел парень, краснея и подсаживая повыше на нос очки. – Успокойтесь... Всё вырулим... Всё выведем на лад...

Я ничего не мог с собой поделать. Слезы сами собой бежали и бежали.

Наконец я притих, стыдно отвёл лицо в сторону.

– А теперь ногу в стремя! – ободрительно кинул Александр, разом подталкивая к себе телефон, а ко мне стопку бумаги. – Распишьте, как всё было, а я пока выдам параллельно звоночек этому Коржову.

Несчастный Коржов!

Каких только уничижительных чинов и званий не удостоился он от моего воинственного спасителя. И чинуша. И волокитчик. И бюрократ. И бездушный...

Я смотрел на Александра и смелел его смелостью. Рыцарь без страха и попра́ка! Почти мне сверстник, может, года на

три всего обогнал, ну чуть похарчистей раздвинулся в плечах, а ты смотри, ничего и никого, ни одной холеры не боится!

«Вот только такие орёлики имеют право работать в редакции и – работают! – воспарил я мыслию. – Они не толпа! Нет!»

И действительно, я лишь двоих видел в редакции, Александра и старушку из отдела писем, и оба в очках. У нас вон на весь совхоз один директор носил очки, больше никто, и не потому, наверно, что не надобны, а потому, что не доросли до очков. У совхозных стариков жило такое понятие, что очки – это агрома-адная культурища, особое место в миру, где-то наверху...

Ну, старушка – ладно. Зато Александр, Александр! Почти совсем мне ровня, а в очках!

Похоже, я слишком восторженно пялился ему в рот, отчего он, положив трубку, кисло глянул на меня.

Однако гордовато похвастался:

– До вздрога выстирал этого темнилу Коржика на все бока. Под конец стал как шёлковый. Засуетился, как змея на кочке... Говорит, пускай приходит сегодня же. Думаю, всё выскочит на путь. Давайте достругивайте и живо-два к этому Коржику!

Я почувствовал себя на десятом небе.

Кое-как дострочил, торопливо сунул Александру свой лист.



Я думал, Александр удвинет его в сторону.

А он прочитал тут же. Уважительно подпустил:

– А знаете, у вас есть перо. Так что пишите нам. Это на будущее. И... Конечно, это не моё дело... Скажите, что вас гонит в сантехники?

– Призвание! – дурашливо хохотнул я.

– Тукс-тукс... Если что, где вас искать?

Александр глянул в конец моей писанины, велел указать адрес.

Я весело чиркнул первое, что легло на ум.

Александр в замешательстве поправил очки:

– Это адрес госбанка.

Слышу, стыд плеснул мне краской в лицо. Не ври!

И я покаянно вывалил всю правду про свои вокзальные апартаменты.

– Вот что, – мягко сказал Александр. – Если у Коржова паче чаяния – мимо, звони... Здесь не застанешь – домой. Телефоны сюда и домой, адрес домашний я тебе сейчас запишу... Я предупрежу своих... Переспать, поесть найдётся на первых порах, а там, как говорил слепой, побачим.

Прощались мы мало не друзьями. Александр сказал, чтоб я называл его просто Сашей, чтоб не выкал и взял с меня честное слово, что я в любом случае не пропаду с его горизонта.

## 10

Я до ночи продежурил я под коржовской дверью, но самого Коржова так и не увидел.

Противоречивые догадки мяли меня. Неужели Корж сказал приходить, а сам улизнул? А может, они с *просто Сашей* просто уговорились подурочить меня? Пускай-де этот сопляйка поскачет между нами, много ли он из нас масла набьёт?

Заговор?

Да навряд ли...

И директор всё-таки директор, и Александру чего со мной комедию строить?

Скорей всего, гляди, Коржова по-срочному куда дёрнули... Надо ждать до победного.

Уже вечер.

Всё закрылось.

Я от Утюжка никуда. А вдруг Коржов всё-таки приявится? Не будет же он по вызову где до утра? Вспомнит, что кому-то что-то обещал, вспомнит, что его ждут, и наявится. А я уйди? Не-ет, надо ждать. Надо до победы ждать!

Что мне ещё делать? Куда спешить? На вокзал?

На вокзал я уцеливался в самый крайний момент. Часов в двенадцать поплинтую. На сон. А так чего мозолить глаза вокзальной ментовне?

Ночь чёрно растекалась по городу.

Реже пробегали, шурша шинами, усталые троллейбусы; как днём, не гудела растравленным пчелиным роем улица. Когда-никогда промигнёт одинокая запоздалая фигурка и тихо.

По полоске между тучами резво просквозил толстощёкий месяц и упал за крышу.

С тоски я ищу месяца, но месяца не видно за Утюжком. В расщелине улицы тускло тлели редкие звёзды... Скоро пропадают и звёзды; мелко, как бы на пробу, внезапно посыпал дождь.

Делать нечего, надо убираться...

Резвея, тугие капли всё сильней остукивали меня.

Вдруг накатило, дождь ударил стеной, обвалом, полил как из ковша.

Может, переждать в подъезде?

Мне вспомнилось, как я век проторчал в Утюжке напрасно, опало подумал, что мне этого Коржова не дожидаться... Мне теперь всё равно...

Я брёл по пустынному ночному городу под тусклыми, мяклыми огнями, не разбирая ни луж, ни пенистых ручьёв.

Скоро всё на мне: и пиджак, и рубашка, и брюки сделались мокрей воды. Холод обнял меня, подживил, стеганул, я и дай тёку, для согрева выбрасывая руки в стороны.

Уже у вокзала, в самом тёмном прогоне, угораздило ме-

ня набежать на арбузную корку. Заваливаясь, *садясь* на спину, в диком отчаянии хватаясь за воздух, словчил-таки я не упасть на спину, а, спружинив, опустился на корточки. При этом левое колено неестественно резко дёрнулось вперёд со страшным хрустом, будто во всю силу трянули с подкруткой огромной жестяной банкой, заполненной камнями. Острая боль прожгла всего насквозь, и я, потеряв власть над собой, мешком с корточек вальнул в грязь.

Хоть Хваталин и говорил, нога спотыкается, а голове достаётся, но на этот раз крепко досталось именно ноге.

Придерживая зашибленное колено, боком спускаюсь к себе вниз и вижу: на моей лавке, напротив окошка камеры хранения, сидит Роза.

Я попятился назад по лестнице, но Роза уже увидела меня, окликнула.

Ё-моё, не уйти!

Деваться некуда и я, припадая, поковылял к ней.

Однако чем ниже спускался я с лестницы, тем всё заметней вытягивалось её лицо, наливалось тревогой.

– Почему у вас щека и левое плечо в грязи? – недоуменно привстала она навстречу.

– Потому что на дворе грязь, – буркнул я.

Не останавливаясь возле неё, прошёл, стараясь не хромать, в туалет. Застирал верх пиджака, умылся. Собрал ладошкой капли с лица, вышел.

– Не узнаете? – Роза бережно погладила скамейку, пере-

села с середины к краю, давая мне место. – Наша скамеюшка...

Я хмыкнул.

Мне ли не узнать?

Я уже пять ночей протолокся на этой скамейке. Но сейчас, с притворным безразличием оглядев скамейку, покачал головой.

– Не узнаю.

– Коротуха у вас память... – Роза положила руки на колени так, что часы-стуканцы у неё на запястье были хорошо видны. – В моём распоряжении всего пять минут...

– А на шестой минуте мадам тётя уже выпишет стоп? Не пустит домой?

– Не перебивайте... Я *т о г д а* дала вам её телефон. Не звоните, пожалуйста, по нему.

– Да уж пожалуйста... К вашему сведению, я и без *пожалуйста* ни разу не звонил.

– Это уже лучше. Я ушла от оболдуйской<sup>347</sup> тётки... Хвалится, что она большая обиходница,<sup>348</sup> а по мне... обвейки<sup>349</sup> и есть обвейки... Не хватало, чтоб ещё шпионили за мной. Мне дали койку в институтском общежитии. У нас отбой в... – взгляд на часы. – Сейчас без четверти. Пока доберёшься... Я три дня приезжала сюда.

---

<sup>347</sup> **Оболдуйская** (уральское) – потерявшая способность сообразать.

<sup>348</sup> **Обиходница** – хорошая хозяйка, любящая чистоту и порядок в доме.

<sup>349</sup> **Обвейки** – мякина.

Ба-а! Да не шпионит ли она сама?

– Извините! – огрызнулся я. – А чего это вы именно здесь искали меня? Я что, давал вам именно этот адрес? – жёстко подолбил я костями пальцев скамейку.

– Вы никакого не давали... Обещались звонить... Тётя всешеньки уши опела, что вы, простите, вокзальный налётчик. Хвалилась, что чутьё у неё кощее... Я почти и поверь... Вокзал... единственная зацепка... Только, – горячечно возразила она себе, – это лишь... Всё спуталось... Не похоже... Не верю, что вы, отмечённые университетом, в обиде кинулись в объятия какой-то худой компашки...

– Почему же какой-то? У меня одна компания, – со злостью ткнул я в неё, потом в себя, – и судить я пока не могу, хороша ли она, эта наша компания, дурна ли...

– По вас не видно, – взахлёб ломила она своё, – что вокзал – предел ваших мечтаний. И никакая не компания... Мне кажется, всё куда прозаичней. У вас, может, просто нету денег на обратную дорогу? И вообще... Что вы сегодня ели?

– О! – приосанился я, сжимаясь одновременно внутренне, заглушая в себе голодное погромыхивание. – Сегодня у меня был Его Сиятельство разгрузочный денек! Одна сайка на три откуса и потом вода, вода, вода из-под колонки у булочной напротив вход в детский скверик... Хоть утопись!

– Хватит ехать на небо тайгой!<sup>350</sup> Странная... Оригинальная диета... То-то, слышу, простите за откровенность, как

---

<sup>350</sup> Ехать на небо тайгой – врать.

в вас кишка кишке свирепо читает мораль... Как у артиллериста<sup>351</sup>... А завтра что будете есть?

– Что Бог пошлёт, – отшутился я.

– Ни шиша он не пошлёт! – убеждённо отчеканила Роза.

По тону я сразу понял, что в Бога она не верит. Мне показалось, она догадалась о моём выигрышном мнении о ней, и она ещё твёрже повторила:

– Ничегошеньки Боженька не подаст. Не надейтесь... Вы не крыловская Ворона... Это в баснях...

Роза осеклась.

Она как-то оценочно окинула меня вопросительным взглядом и, подумав, осмелев от своей мысли, с восторженно-напускной бравадой бросила:

– А послушайте! А чего б вам да не взять у меня тгриков? Я вылупил шары на неё.

Фыркнув, она отодвинулась, не забыла спросить:

– Вы чего так смотрите?

– Да вот думаю, дай-но получше рассмотрю дочу самого куркуля Рокфеллера. Раньше, каюсь, не доводилось встречать. Да знайте, у меня куры своих денег не клюют!

– Куры ни своих, ни чужих денег не клюют. Не пшено.

– И в частности... Вы видите, где и с кем встречаетесь?

Подбереглись бы.

– А зачем?

– Ну, мало ли что может быть на уме у такого типа, как я?

---

<sup>351</sup> Артиллерист (здесь) – страдающий расстройством желудка.

Она озоровато улыбнулась:

– Может, у меня на уме то же самое сидит! – И тут же нахмурила брови. – Это я так, для общего развития. Не подумайте чего... А то ваш брат велик на фантазию... Это вступление. А основная часть такая... Я не люблю шептать в подушку. Я вся настежь. В *т у* ночь до смерточки я устала. Подпирала, подпирала вокзальные стеночки... негде прикорнуть... А тут вижу, вы маломерочный, возле вас на лавке просторно, я и привалилась. Не чинясь... Я и сейчас безо всяких реверансов, безо всяких извинений-мерсиканий... С капиталами я, без трёпа. На платье признаняла у девчонок по комнате. После вышлете.

– Вряд ли дождётесь. Я забывчивый. Забываю возвращать долги.

Это, увы, не охладило её.

– Так берите без возврата! – ликующе распахнула она сумочку, торопливо пустила в неё руку.

– Вот это уже лишнее! – заградительным щитком вскинул я ладонь. Хватит играть в доброту! – Не нуждаюсь я в вашей жалости с возвратом! Ещё б под расписочку! Вы... вы... Забудьте всё, что я тут наплёл... Вокзал – неправда! Деньги – неправда! Я не хочу лжи... У меня... действительно не лучшие времена... Когда всё сладится, я сам вас найду. А за мной не надо шпионить!

– Я, – как бы защищаясь, она поднесла в обеих руках сумочку к груди, – я шпионю?! – В голосе у неё бились под-



ступавшие слёзы.

Я машинально дёрнул мокрым плечом.

Для надёжности оперевшись костылём в пол у ножки скамейки, Роза трудно поднялась и медленно, с натугой вспрыгивая, потащила вверх по лестнице.

– Можно, я провожу вас до трамвая? – повинно промямлил я.

– Шпионки не сопровождают... – не поворачиваясь, ответила она размытым самолюбивым голосом.

Всё равно провожу!

Рывком головы сбросил я кепку на лавку – занята! – и ахнул было следом, но тут же, заскрежетав от боли в ноге, упал на руки. Оттолкнулся руками от пола, поднялся.

Роза уходила. Слава Богу, что она ничего этого не видела.

Я осторожно потыкал больной ногой в пол, как бы щупая его, как бы приучая ногу к тому, что она и должна делать, – ходи. Привыкай, обвыкайся.

Вроде потихоньку можно наступать.

И я по стеночке, по стеночке поскрёбся вверх по лестнице.

На площади было темно. Шумел угрожающе ливень.

Под зонтом Роза шла к остановке.

Чувство вины подпекало меня. За что я обидел девушку? Она шла к тебе с добром, а ты только и смог, что пасквильным словом мазнул и её, и себя?

Со стыда вовсе не решаясь догонять её, я понуро плёлся за нею в отдалёке, хромая и крепко держась обеими руками

за больную ногу.

Едва Роза подошла к неосвещенной остановке, как из-за поворота вывалился весь в огнях трамвай.

Я думал, она хоть прощающе оглянется. Она не оглянулась. Тогда я, смирив себя, запоздало ринулся к ней, хотел помочь войти. Но она вошла и без меня. Я лишь успел прошептать в спину:

– Извините, Роза, извините...

В посадочной суетне вряд ли она услышала меня.

Трамвай стронулся.

Я остался совсем один на остановке.

Вокзальные мерклые окна звали своим слабым, чахоточным светом; мне не хотелось даже сойти с места.

Я побито стоял под дождём, всё чего-то ждал в этой темноте и не спешил уходить. Мокрому дождь не страшен... И всё тише взвенивал удаляющийся трамвай. Улица была прямая, трамвай долго был мне виден.

Залитый до ломоты в глазах ярким, радостным светом, он будто торжественно нёс по ночи, уносил с собой в глушь ночи нечаянный мой праздник.

Возвращаюсь – на моей лавке высокий тонкий парень с глубокими печальными глазами.

Увидав меня, он как-то растерянно улыбнулся, совсем свойски протянул мне руку, помогая сесть:

– Здорово, рыжик!<sup>352</sup>

Я кивнул, морщась от боли.

– А я смотрю, подлетает к твоей перине один загорелый. Кепку в сторону, заваливается. Я вежливо постучал его по плечу. «Дядя, зачем толкаешь-обижаешь кепочку? Моё место. Освободи». И освободил. Чин чинарьком.

Я благодарно покивал ему головой.

– А это, – парень показал по лестнице вверх, – была твоя алюра<sup>353</sup>? По глазам вижу – тво-оя вокзальная фея... Не возражаю! Только... Прости мои мозги, не врубакен... Только где же твой вкус? Разве не видишь – полундра!<sup>354</sup> И липкая... приставучка. Она у тебя дворянка?.. Тоже дворянка?

– Столбовая... Мучится в педе. В институте благородных неваляшек.

– А по виду не скажешь... Такая нахалка... Третью ночь подряд сама притёрлась к тебе.

---

<sup>352</sup> **Рыжик** (жаргонное) – золотая вещь.

<sup>353</sup> **Алюра** – девушка.

<sup>354</sup> **Полундра** – некрасивая девушка.

– Ты-то откуда знаешь? – удивился я.

Парень сдержанно присвистнул.

– У-у, нам-то не знать! – вскинул он палец. – Мы наперечётки знаем, кто в этой погребухе шьётся... Сами-то мы как настоящие дворяне предпочитаем «Метрополь». Только «Метрополь» наш без окон, без дверок пока, без крыши...

Он показал на стройку.

На привокзальной площади, по тот бок, строят полукруглый дом. Уже выскочили на четвёртый этаж. У дома-дуги нет ещё асфальта. Там я и прокатился верхом на арбузной корке.

– В хорошую погоду мы в «Метрополе» баронствуем, а в активированную погоду,<sup>355</sup> как сегодня... Нынь дождь выгнал всё дворянское собрание сюда, – малый стрельнул в глубь зала, где особняком ото всех вокруг рослого патлатого толстуха лет тридцати, уже с бадейкой-животом, толклось с пяток ещё совсем зеленцов. Пузан пел вшёпот. На нём был блестящий галстук с надписью скобкой:

*«Охота за хорошенькими женищинами – самый увлекательный вид спорта».*

Про этот галстук я слышал от Митрофана.

Да не этот ли *спортсмен* так крупно его надул?

– Кто этот кудрявый пеликан? – спросил я про *спортсмена*.

– О! – с нескрываемым почтением отвечал парнишка, –

---

<sup>355</sup> **Активированная погода** – нерабочая погода.

это большо-ой... Академик!.. Ты только послушай, какowski под гитару шампурит!

И мы оба наставили уши, едва вылавливая из вокзального бубуканья жалующийся голос клюши.<sup>356</sup>

Пустите, пустите, пустите,  
Я домой хочу.  
Простите, простите, простате  
Тунеядцу москвичу.  
Сижу я, робяты, на камне  
И чешу живот.  
Тайга мне, тайга мне, тайга мне  
Надоела вот.  
Мы пашем, робята, и сеем,  
Корчеваем пни.  
Отрезаны мы Енисеем  
От большой земли.  
Фарцовщика встренул с Можайки,  
Боб по кличке Нос.  
Идётся он в дырявой куфайке  
И везёт навоз.  
Хотел я сперва засмеяться,  
Да махнул рукой:  
Зачем обижать тунеядца,  
Когда сам такой.  
Пустите, пустите, пустите,  
Я домой хочу.

Простите, простите, простите  
Тунеядцу москвичу.

Нытье пузыря, манерное, с ужимками, с закатыванием  
глаз, немного развлекло меня.

А мой сосед убеждённо пульнул:

– Жизненно пашет этот гитаросексуал!<sup>357</sup> Сам музыку со-  
ставил!

– Хрен Тихонов!<sup>358</sup>

– Он у нас большо-ой человек... У-у какой большо-ой!..  
Больше не только митрошки<sup>359</sup> – больше самого митрополи-  
та!<sup>360</sup> Бабай!..<sup>361</sup> Ему фасонистая давилка из самого из Пари-  
жу доставлена на заказ! А ты говоришь – купаться!

– Если ему из Парижа на заказ возят галстуки, что он здесь  
делает?

– Откуда мне знать... Может, налаживается в сам Лондон  
за расчёской... Не слишком ли много ты задаёшь наводящих  
вопросов? Пахать языком здоров... Зовут-то хоть как?

Я назвал себя.

– А меня, – шепнул он, – зови Бегунчиком. Мне так к нра-  
ву... Ты куда бегаешь на кормёжку? В канну или в грелку?

---

<sup>357</sup> **Гитаросексуал** – талантливый, увлечённый гитарист.

<sup>358</sup> **Хрен Тихонов** – композитор Тихон Хренников.

<sup>359</sup> **Митрошка** – народный судья.

<sup>360</sup> **Митрополит** – председатель областного суда.

<sup>361</sup> **Бабай** – ростовщик.

– Послушай, – пыхнул я, – ты нормально можешь говорить? Что ты там чирикаешь на каком-то рыбьем языке? Я тебя не понимаю. Какая канна? Есть Канн. Приличный курортный городишко аж во Франции. На лазурном берегу Средиземного моря. И что, вы туда ходите по утрам кофий пить? Не далече ли?

– Э-э, – укорно вздохнул Бегунчик, – понесло парнишонку бешеной водой... Чего ж тут не понимать? Канна – ресторан, грелка – чайная. Чего непонятного? Может, ты того и не понимаешь, что все твои воробушки<sup>362</sup> давно разлетелись? Так ты скажи... Может, ты безработный?.. Может, тебя совесть заела, не даёт без честного пота прожигать молодую жизньочку? Опять же скажи... Я найду, чем успокоить твою совесть. Я хорошо знаю одну фирму, упорно ищет таланты молодые. Нужны тому ёбществу, например, до зарезу нужны гравёры, блиномесы, блинопёки...<sup>363</sup> Ты каковски на это смотришь?

Я потрепал его по плечу.

– Бегунчик, скакал бы ты к своему табунчику... Дай я прилягу... Нога что-то печёт.

Едва рассло, когда Бегунчик разбудил меня, разломил сон.

– Мы линияем... Можь, тожесть с нами?

---

<sup>362</sup> Воробушки – деньги.

<sup>363</sup> Гравёры, блиномесы, блинопёки – фальшивомонетчики.

– Да нет...

– Почему? Прости мои мозги, не врубакен... Из-за ноги?..

Ну-к, как твоя сударыня ножка? У-у, колено красной шапкой оттопырилось...

Я попробовал поднять больную ногу и ойкнул.

– Хо-хо... Не миновать мясницкой,<sup>364</sup> – сказал Бегунчик. – Слушай, куда наши то да её, давай-ка я тебя поскорому верхи оттащу... Знаю поблизи одну... Хоть страшно и подпирает сменить воду в аквариуме,<sup>365</sup> да потерплю... Ну, скачи!

Бегунчик дурашливо присел, подставил мне свою длинную мосластую спину.

Особо раздумывать было некогда. Вид ноги, плотно залитой опухолью всю серёдку штанины, обычно болтавшейся на ноге, как на палке, напугал меня, и я, обхватив Бегунчика за шею, сторожко переполз к нему на спину.

После сильного дождя на дворе было свежо, зябко.

Небо чистое.

Хоть одежда на мне за ночь и высохла, однако было холодно, я тесней жался к молодому горячему Бегунчику, чьё тепло ощутимо грело и через наши одежды.

Первые дворники, вскидывая мётлы, весело приветствовали нас, что донимало Бегунчика и на что в ответ он корчил жуткие рожи. Дворники незло посмеивались. Только один

---

<sup>364</sup> Мясницкая – больница.

<sup>365</sup> Сменить воду в аквариуме – помочиться.



так съязвил:

– Сразу видать, што дуренькой, на цвету прибитый... Тот-то на те верхи катаются с самого с ранья.

В вестибюле гремела ведром и шваброй уборщица. Дверь была наразмашку, выпуская вон настоявшееся за ночь тяжёлое тепло.

Без передыху Бегунчик проскочил в простор больничного тепла, сел на корячки, привалил меня к дивану.

– Ну, рыжик, не живёт худо без добра!

Он попробовал диван.

– До чего перинный! Пока приём... Выспишься до приёма на мягком, как король, и ни с одним ментярой не поздоровкаешься! И к врачу в первых лицах будешь. Первейше тебя никогошеньки нету во всём городе!

Усталая кость к мягкому лакома.

Пожалуй, Бегунчик ещё со ступенек не слетел – я уже уснул.

## 12

Молодой унылый хирург буркнул:

– Ну-ка, топнем пяточкой в пол. Топнем...

Я попробовал и, покривившись, сел.

Поддерживая ногу выше колена одной рукой, другой он ширококонько отвёл ступню влево, отвел вправо. Насуровил брови.

– В коленке ходит в стороны... как маятник... Разболтана... Надорвана наружная боковая связка... Эта нога попала раньше в переделку?

– Ещё года три назад... Гоняли футбол... Вывихнул. Чашечка аж на бок заскочила... Бывает, идёшь, в ноге хрустит, как у старой козы.

– Эу! Не нравится она мне, детонька...

Он скользнул летучим постным взглядом по набрякшей ноге, кивнул сестре – выжидательно пялилась на него от окна:

– Лангетку.

Меня облило страхом. Я оцепенел.

Имел я уже счастье проваляться чуркой полтора месяца в больнице именно с этой, с левой, ногой, обутой в гипсовый сапожок. Неужели снова на полтора месяца?

Сестра наложила гипс лишь сзади по всей ноге от корени до вышки. Не думал, что можно так быстро обезобразить

ногу.

Я чуже косился на прямую, уже негнущуюся ногу.

– Не узнаёшь? – с некоторой долей вины улыбнулась сестра.

– Не-е...

– Ещё до паралича налюбуйся своей лангеткой. А пока не совсем застыло, отгинай углы снизу, чтоб ребром гипса не тёрло щиколотки. Отогни и сверху по краям ушки. Не будет давить и при ходьбе за одно ушкё можно из кармана придёрживать эту чурку... Ня давай ей съяжать на сами щиколотки. А натрёшь щиколки в кровя, так зялёнкой, зялёнкой...

Это что-то новое, уныло думал я, отгибая белый желобок с обоих концов. Гипс был ещё податливый.

– Какая зелёнка? Какая ещё ходьба? – растерянно бормотал я. – В прошлый раз ну все сорок пять дней честно припухал в больнице...

– В больницу? – спросил врач. – А может, ты ещё запишешься в пятую хирургию?<sup>366</sup> Успеешь... Её никто не обещит... А пока ни пятой тебе, ни шестой.

– Такие с утра строгости...

– Никакой больницы, – зажевал доктор зевок. – С этим не кладём.

– Спасибо вам...

– Спасибов много, да... – в усмешке он потёр три пальца, – маловато... Через недельку так начнём потихоньку рас-

---

<sup>366</sup> Пятая хирургия – морг.

хаживать... Да-а, ходить... ходить... Жизнь в движении!

Он гулко постучал ногтем по застывшему у меня на ноге каменному желобку.

– Это удовольствие... Музыка эта всего на три недели... Отлежимся дома... – До хруста в челюстях зевнул, даже слезу трудовую выжало. – Хох... Сочи на дому!.. Мне б так... Ну, встаём потихоньку... Сейчас с ветерком домчим на скоряшке!

Голова у меня пошла кругом.

Какой дом? Какие Сочи? Какое отлёживание?

Может, бухнуть всё как есть? Глядишь, возьмут в больницу?

Но как скажешь?

Документов ни напоказ при себе, всё у этого панка Коржова. В регистратуре поверили так, на честное слово, всё записали со слов... И что я студент нового набора, и что живу по адресу бабы Клани... С горячих глаз наплёл густо.

Шофёр повёз, как я и сказал, в сторону вокзала.

Я принялся показывать ему дорогу.

Выждав вежливую паузу, он с перехмурами сбычил глаза на меня.

– Ты мне, – вздыхает, – нервишки не жги... Не тычь пальчиком, в какую сторону везть. Ты мне адрес... Я не толдон какой... Город знаю, как свою лицо. Адрес!

Я смято молчал.

– Ну чего сидишь, как пришибленный кутёнок? В сам де-

ле, не на вокзал жа везть?!

Я совсем опал духом.

Теперь с моей ногой ходу никакого. Круглые сутки торчи на вокзале или в привокзальном скверике? Любопытная милиция, милые лица, как пить дать навалится с расспросами, кто да откуда... Паспорт у Коржова. Объяснения на пальцах вряд ли утолят её живейший интерес.

Я вспомнил о детском парке. Это рядом.

– До вокзала не обязательно доезжать, – говорю. – Возьмите на Энгельса.

– Обязательно... не обязательно... – по-малой проворчал шофёр. – Совсем не обязательно, когда эвон, – качнул на выскочившего из-за угла дома каменного горнового на крыше вокзала, – грозит уже накалённой дубинкой!

Детский парк оказался раем.

Днём тихо, редко когда проведёт ли бабунюшка своего внука, прокатит ли в коляске молодая мамаша своё сокровище, счастливо заглядывая ему в глазки и млея, и – тихо. Парк безлюдный, зелени густо. Клены, тополя, липы...

Дни можно здесь, а то и ночи, были б сухие, погодные. Да и в дождь на крюк закрылся в переодевалке...

Она сразу за сценой, тесная, с крышей. Два хромых табурета. Составь и спи.

Только, пожалуй, тесновато. Ноги надо слегка на стенку задирать.

А пожелаешь полной роскоши, ползи на вокзальную лавку. Там вытянешься по полному росту, есть и ещё куда тянуться-потягиваться. На вокзале оно и побезопасней...

Я задавал храпунца на скамейке в уюте зарослей сирени, когда меня разбудил Бегунчик. Травинкой мягко мазнул по щеке, я и очнись.

– Ну, как ты тут? Живой? Не зарезали врачисты? Не оттяпали чего? Что они с тобой сотворили? А ну покажь!

В нетерпении дёрнул он кверху штанину мою, удивлённо присвистнул, увидав гипсовый лоток. Постучал.

– Ёперный театр! Кре-епенько они тебя в камень упаковали. Не в обсудку будь сказано, тебе не страшно теперь шарить по садам. Я не завидую... Я сочувствую той несчастной собачке, которая рискнёт куснуть тебя. Без идолов<sup>367</sup> же останется! Чем только горькая сахарные косточки и будет грызть?! А это...

Бегунчик выстрожил лицо и заговорил занудно, будто отвечал урок:

– В Воронеж как-то Бог послал кусочек сыра... – Из газеты он вывалил мне на колени буханку тёплого хлеба, тяжёлый венок колбасы. – Тебе Боженька послал... На мой счёт, на твои тугрики. Поправляйся, точи бивни... Держи острыми. Ты ещё нужен... Ты пока жуй, а я с-с-сбегаю по-с-с-смотрю, как с-с-с-солдаты из ружья с-с-с-стреляют!<sup>368</sup>

---

<sup>367</sup> Идолы – зубы.

<sup>368</sup> Пойти посмотреть, как солдаты из ружья стреляют – сходить в туалет.

Меня поразило, как он отыскал меня. Он просто сказал, что нашего брата бездомника надо искать поблиз дома. Вокзал он называл домом.

Вернулся Бегунчик сияющий.

– Ты выправку, выправку покажь!

Я не смел ему отказать. Немного прошёл, приволакивая тяжелюку ногу.

– Гер-роидзе! – восхищённо стукнул он в ладоши. – Ух, какая она у тебя толстяра да важнюха. Как княгиня! Нога... ногиня... сударыня... богиня... Ну, будь. Труба зовёт. Лечу! Не скучай. Знай себе держи ким...<sup>369</sup> И поменьше ходи, быстрее побежишь.

Врач говорил, через неделю надо пробовать потихоньку ходить. Я же отлежался один день, а на второй уже пошёл.

Было это не кругосветное путешествие, но не идти я не мог.

В день я заставлял себя одолевать расстояние до Светлячка и обратки. Для этих хождений детский парк оказался выигрышной, он был ближе к Светлячку, чем вокзал.

Я ходил узнавать, не пришло ли что от мамы.

Шелестелки<sup>370</sup> всё не приходили. Мне не на что было уехать...

В этих мучительных странствованиях я сделал открытие,

---

<sup>369</sup> Держать ким – спать.

<sup>370</sup> Шелестелки – деньги.

поразившее меня. Мне кто-то подбрасывал капиталишко! Конечно, не тысячи, не сотни, а всего-то мелочь. Но – деньги!

Кто?

Как?

Ещё затемно я откладывал башельки на хлеб в правый карман, а левый, где было все моё оставшееся состояние и номерок из камеры хранения, я натуго перетягивал надёжной бечёвочкой.

Отложенные монетки в кулаке относились в булочную. От детского парка она тоже была ближе, чем от вокзала.

Вышел из парка, перескочи через уличку и чуть возьми влево.

Пока я шёл, медяшки в кулаке становились мокрыми от пота.

Я разжимал кулак, монетки не падали. Прилипали, жаль уходить от меня. Я тряхни рукой – они глухо соскакивали на прилавок, и я получал свой кусок хлеба.

У входа в булочную была колонка, где я и съедал свой хлеб, запивая каждый откус прямо из белой толстой струи.

Кинув последние крошки в рот, я правился к Светлячку.

Возвращаясь от неё, я всякий раз наскакивал пальцами в кармане на чужие белые, жёлтые монетки – лежали поверх узелка.

Кто подкладывал? Какая душа это делала?

Я внимательно следил за всеми, с кем встречался, но тай-



ного добруши не находил. По временам это начинало меня пугать. Не невидимки же суют мне бабашки в карман?

*Если любовь не знает границ, значит, она вышла  
за рамки.*

*Т. Клейман*

Нет ничего тяжелей, как носить пустой желудок.

Нет ничего трудней, как ничего не делать.

Вечно валяться в тиши на парковой скамейке надоедало до озверения и угнетало, угнетало тем, что целыми днями не видишь людей. Оттого-то, едва проснувшись в кустах, едва отойдя ото сна, таращишься сквозь тесную листву по сторонам, высматривая людей и в парке, и на простреливавшей рядом сонной улочке.

Я ждал вечера, как манны небесной. Вот слетит вечер, я пойду на вокзал...

На вокзале я не буду один...

Это вечернее возвращение на вокзал, хождение долгое, погибельное, превратилось для меня в каждодневную работу. Так бы и не знал, чем заняться, а то уже с утра, прихромав от Светлячка, думаешь, как будешь брести на вокзал, из кармана или поперх брюк придерживая за ушко гипсовую чушку.

К вокзалу я доплывал уже около полуночи, абы не мелькать лишние разы перед ментурой. Случалось, приходил и раньше, если нашлёпывал или собирался ударить дождина.

В дождь я не мог сидеть один в пустом парке, закрывшись в переодевалке на крюк. Стучал дождь. Казалось, он настойчиво стучал мне, звал к себе, и мне стоило большого труда не выглянуть.

Я выглядывал – страх окатывал меня. Кругом пусто, слышен лишь унылый шлепоток капель по листве и темно, темно...

Начинало мерещиться Бог знает что.

Зажмурившись, я кидался назад, в переодевалку. Но и тут, за крючком, видения не оставляли меня, и я видел себя то на необитаемом острове не у самого ли Робинзона, то видел, как ко мне подходил с доброй улыбкой Пятница, ни больше ни меньше, очень похожий на того Пятницу, которого я видел в захватанной домашней книжке на рисунках, – те рисунки врезались в меня, я всегда их помнил, – то вдруг мне виделось, как я доил коз, доил вовсе не призрачных коз на необитаемом острове, а вполне реальных Катеки, Манек, Зоек, которые жили у нас в Насакирали и которых я сам частенько доил, если мамушке было некогда...

Когда небо закидывали тучи, большое ликование распирало меня. Я скоро пойду на вокзал! Я скоро пойду к людям!

Я не ждал начала дождя, а потиху, обстоятельно ковылял с корягой к вокзалу. Придя иногда ещё засветло, не летел к своему лежаку напротив камеры. Под вокзальными колоннами, куда дождь уже не забегал, я останавливался передохнуть и подолгу в тоске смотрел на выходивших из троллей-

бусов людей.

Тут была конечная бойкая остановка. Из троллейбусов народ тесно высыпался, как зерно из пробитого ножом мешка.

Не понимаю, что меня тянуло заглядывать в лица приехавшим. Надеялся увидеть кого из своих? Да откуда могли взяться знакомые в чужом городе?

Всё тут было, конечно, в том, что я, отлёживаясь одинцом, как бирюк, начинал скучать по людям, по их улыбкам, жестам, по их разговорам – по всему живому, что окружало нормального человека.

Случалось, в переполненном троллейбусе к двери, как к смерти, туго напиравшая сзади орда подпихивала какую-нибудь ветхую старушку. Старушка не знала, как и сойти, со страхом лупилась, как на гибельную пропасть, на землю, такую далёкую, такую зыбкую. Бабуся пропаще блуждала взглядом по сторонам, ища кто бы помог ей, и тут я, потеряв всякое обладание, подхрамывал и вытягивал одну руку, другой держась за дверь.

Во всех этих горьких случаях, где я невольно выскакивал таким минутным геройчиком, меня больше всего коверкало то, что старушки после приставали с бесконечными подбострастными благодарностями, иные норовили впихнуть в руку карманную мелочь, поэтому, сделав дело, я быстро отворачивался и, воткнув глаза в землю, насколько можно ретивей брал за колонну, в толпу.

На этот раз в дверях застряла весёлая грудастая девчища

с ямками-омутками на щеках.

– Чего стали? – многоголосо потребовали из тесноты в глубине салона.

– Да середнячка, блиныч, забуксовала! – сквозь досаду хотнули на выходе. – Вот ещё танцы-рванцы!

У веселухи на плече вперевеску толстый мешок, в каждой руке по два, видимо, непустых ведра, поскольку они сильно тянули книзу, ободками упираясь одно в одно. Деревянные катушки дужек коротко покатывались туда-сюда на дрожащих от чрезмерного напряжения крепких пальцах. Толстушня боком застряла в дверях и никак не могла выйти – не пустил мешок, не пускали вёдра.

Я подсуетился, взял из её одной руки обтянутые сверху полотнянкой два ведра, которые так рванули книзу, что я едва не воткнулся в асфальт лбом. Через мгновение свалился мне на плечи и мешок.

Я чуть было не переломился, но, Бог миловал, уцелел и, засопев, с прибежкой – не поторопись, не выдержу, рухну, – порысил в вокзал.

– Ё-ё-ё!.. – озарённо, ликующе запела вслед девуня. – Ну чо ж это и культурные детки по городам проживают! И спасибо скажут! И грузы твои поднесут!.. Эку тяжелишшу прёшь, как тракторок. При силах... Я ж тя, дитяtko, поцалуюм души токо и отблагодарствую!

В вокзале сложил я её поклажу у стеночки, и то-олько расправляю бедную спину, поднимаю лицо – «благодетельни-

ца», цепко ухватив меня за бока, весело, со смехом вертанула к себе, и я, послушной крутнувшись юлой, оказался с нею лицо в лицо.

Балкончики – тугие величавые груди, – до судороги ощутимо слышимые под тоненьким застиранным ситцевым платишком, вдавились мне в грудь, и горячий ток хмельной сладости хлынул в меня. Руки сами слились у неё на спине в железное кольцо, судорожно подгребли её ещё ближе, плотней.

– Ой, дитяtko! – обомлело охнула она, увидев меня в лицо. – Откуда и сила... Такой тонечкий... Я думала, ты просто рослый, а ты... взрослый... Да-а... добыл в работе... посулилась...

Она раскрыла полные огневые губы и медлила.

Не было никакой власти над собой ждать. Неистовая сила тычком подтолкнула к её губам, и я, ещё раз инстинктивно шатнув её к себе, неостановимо потянулся к зовущему плутовскому огню поцелуя...

Через минуту мы оба стыдились этой нечаянной вокзальной шалости.

Срезанно уронив голову, она отвернулась.

Отвернулся и я себе, шагнув к окну.

Так мы и стояли по разные стороны от горки её вещей.

– Эвот стоимсе, толкуши, чо и поезд уйде... – наконец

подала она голос. – Чо скозлоумили... Тряхонули бедой!<sup>371</sup>

Я в ответ ни звука.

– Всё молчаком да молчаком... Ни росту ни тягу...<sup>372</sup> Чо топориться?..<sup>373</sup> Растребушил душу... Спроси чо-нить под интерес...

– Да что я спрошу...

– Ё! – обиделась она. – Чо-нить хоть вкратцы... Доцаловались и спросить нече... Схомукает же Господь...

Мой взгляд упал на её вёдра.

– Вёдра у тебя... тяжелуха... – пожаловался я. – Что в них, кирпичи?

– Аха-а, – ласково подтвердила она. – Сюда везла сырые, отсюда калёные...

Я обрадовался. У меня ещё есть вопрос!

– А почему тебя в троллейбусе называли середнячкой?

– А то кто же я? Вещей сила силённая... Чувал на мне вперевязку... Клунок спереди, клунок назади. Я посередке. Кто же я? Форменная середнячка...

И снова молчание.

– Ну-ну, – в нетерпении подживила она. – Добейся до тонкостей... Спроси ишшо чо-нить... Ловкий разговор открывается...

Она мягко приснула в кулак, подошла ко мне.

---

<sup>371</sup> **Трясти бедой** – проказничать.

<sup>372</sup> **Ни росту ни тягу** – об отсутствии роста.

<sup>373</sup> **Топориться** – важничать.

Тронула за локоть.

– Ну чо, вежливый, обжѣгси? А? Чо в молчанку? – Видимое озорство входило к ней в голос. – Как жа ты теперичка мене и спокинешь? Кто мне подможет на поезд вскочить? Кто подможет сойтить? Кто припоможет всё это, – кивнула на свою горку, – до дому допурхать? Чего разводить толды-ялды? Можь, дѣрнем ко мне вместях?.. Иль уже вся вежливость сожглась?

Она звала меня с собой? А может, я ослышался?

– Ты хочешь, чтоб я ехал с тобой? – спросил я.

– А ты не хочешь?

– В качестве?

– А кем возжелаешь! – бросив руку в сторону, отпела с баловным поклоном. – У нас в Сухой Ямке на мужиков строо-огий лимит. Все лимиты давно выскребли до донушка. Под метѣлочку... Нетуша! И не ожидается... – Ни кривенького, ни хроменького, ни горбатенького. Никаковского! Бедствует по мужеской части Сухая Ямка.

Я оторопело уставился на неё. Таким ли бедствовать?

Похоже, она и без слов поняла меня. Вздохнула.

– У самого глаза не из аптеки, видишь... Деваля я справная, видом ловкая... Жир на мне не толпится... Один нижнядьявицкай сигунец до-олго, года с два, топтал ко мне дорожку. Ни в тын ни в ворота... А леностный што! Сидень сиднем... Круглый лодырюга... И рад бы нос высморкать, да вот беда, руку поднять надо... За ним как за малым дитѣм



уход надо несть... До того допёк – готова была отремонтировать ему бестолковку.<sup>374</sup> Еле отлепила... Славь Бога, утёк с коломутной водой<sup>375</sup>... По Сибириам прохладается... иль по целинам... Тот-то его знай!

Постояла она немного на раздумах; подумала и, смедея лицом, с каким-то бесшабашным вызовом кинула:

– А ехай хоть квартирантом, хоть мужиком! Кем вдобней... Во-о смеху! Поехала Манька у город яйца продавать, а на выручку прикупила себе муженька!.. Ё-твоё! Чо буровлю? Ну чо буровлю? Совсем чёрт девку понёс, не помазавши колёс!

Она осудительно махнула рукой, длинно молчала, глядя в одну точку на тёмной толстой стене. Потом заговорила каким-то новым, выплаканным голосом:

– Я, толдыка, не умею от людей таиться... Мне в голову ещё думка та не вошла, а с языка уже свалилась в чужое ухо. Недержачка... За то и казнят... Не знай почему, но мне жалко тебя. Ты такой махенький, квёленький... доход-доходяга... Город тя стопчет... Раздавит... У н а с т ы б подправился, боровком глядел ба. Хорошу зависть кладу я той, к кому тя судьба пришпилит. Ты ладливый, унимательнай, не дашь ветру дунуть... Носик аккуратненькой, с остринкой... гордоватой... И лицо всё в конопушках, будто весёлые воробейки восшалили. От тя и ребятишки с конопушками побе-

---

<sup>374</sup> Отремонтировать бестолковку – разбить голову.

<sup>375</sup> Утечь коломутной водой – исчезнуть бесследно.

гуть... Навроде ты путячий... А... До работы я, шевелилка, бешеная... Не какая там фрельня<sup>376</sup>... Я и тебя всему научу, в хозяйстве сгодится. И ты у мене станешь на обухе рожь молотить, из мякины кружева плесть. У мене не напрохлаждаешься. Я всё и затылком вижу... Так зато сразу забудешь ноженьку таскать. Лаской упрошу её ладом ходить... Зажили б на толсту ногу...

Всё это вроде говорилось мне, и в то же время она как бы рассуждала сама с собой, порой вовсе держась так, словно рядом и не было меня.

Я слушал её и терялся в догадках.

Вот так поворот!

Ты сможешь человеку выйти из троллейбуса, а он в благодарность за то готов цапнуть тебя всего живьяком и доведку упечь в какую-то Сухую Ямку, будто Сухая Ямка от этого станет Мокрой. Зачем же вот так сразу и в Ямку?

Может, про Ямку – просто к слову? Может, всё это у неё не поддающаяся здравой логике игра пустого воображения и больше ничего?

– Ну, так... я беру?... – запинаясь, смято, как-то надвое спросила она, покосившись на кассу.

Я широко раскинул хваталки. Само собою разумеется!

Играть так играть!

Она стремительно пошла к кассе. На ходу обернулась, озоровато плеснула синью глаз:

---

<sup>376</sup> Фрельня – белоручка.

– С ты ничо не беру. Отблагодаришь потомча поленом по горбу!

У окошка никого не было. Она отошла в угол, достала из-под близкой чулочной резинки шуршики, подала в окошко.

– Два до Хренового!

Она брала всё-таки не один – два билета! Брала и на меня! Непостижимо!

Я думал, она всё шутила, всё играла. Так билеты – это уже не игра!

Как-то уж так получилось, что ноги сами быстро-быстро, почти бегом отнесли меня за открытую входную дверь.

В тёмном углу за дверью стало как-то спокойней на душе, только тут я подумал, а чего это я убежал от её вещей. Если всё дело в охране вещей, храбро думал я в своей тёмной темнице, я могу и отсюда наблюдать, чтоб не приставили им ножки. В щель между дверью и косяком всё помилуй как видно.

И почему же я убежал, спрашивал я себя, пялясь на её вёдра, мешок. Почему? Я не мог себе ответить. И в то же время не спешил высовываться из своего неожиданного надёжного убежища. Раз побежал, значит, был мне откуда-то сверху дан голос – беги!?

Но был ли? Вточне я не помнил...

Она вернулась к своим вещам с двумя билетами и удивлённо, как-то потерянно заозиралась.

Естественно, меня нигде в зале на видах не было.

Она капризно хмыкнула, щёлкнула ногтем по веерно раздвинутым билетам:

– Не срослось... Как в песне... Мы странно встретились и странно разошлись... Вежливо пришёл, вежливо ущелкал. Тишко... Без шума... Нажились на толстую ногу... Пустоград...<sup>377</sup> А я, дурёнка, расчехлила пред ним душу... Какую веру положила...

Девоня подошла к урне, занесла над ней один билет, но бросать подождала, ещё раз смято, тоскливо зовуще обвела глазами зал и, вздохнув глубже прежнего, так, что свежий воздух наверняка добежал до низа лёгких, без сожаления разжала пальцы.

Красноватым вихлястым пламешком прожёт мой билетко короткое расстояние от руки вниз и навсегда пропал в чёрном зеве урны.

После моя знакомица взвалила на себя всю гору своих вещей – на одном плече мешок, на другом в связке какие-то пухлые узлы, (в камере хранения взяла), – завесилась своим добром, совсем пропала, исчезла под ним и медленно, толсто, неповоротливо, будто слониха, потащилась мимо меня, незаметного в тёмной задверной тиши, на перрон.

По радио объявили посадку.

Наверное, подавали её поезд.

---

<sup>377</sup> Пустоград – пустомеля.

*Вести себя раскованно  
С начальником рискованно.*

*Олег Левицкий*

Дней через семь я почувствовал силу, твёрдость в большой культяпке и, и всё же ещё прихрамывая, поскрёбся к Коржову.

Моему приходу он как-то жестоко обрадовался.

– А-а!.. Пи-исарюга!.. – жёлчно разнёс он в стороны руки. – Неувядаемый писарелло!.. Наше вам с клизмочкой!.. А я за тебя было порадовался. Думаю, сколь сошло, а он всё не идёт. Может, думаю, совесть загрызла этого гегемона,<sup>378</sup> стыдно выплывать на глаза. Есть ведь чего стыдиться... А ты всёэжки явился, не упылился. Оши-ибся я...

Он выдернул из стола верхний ящик наполовину, стал рыться в свале бумаг, отрывисто, на нервах бормоча:

– Я на досуге пошевелил плешью... хотел доброе дело... А ты, писарьчук... Сколомутил... Нагнал пурги!.. Напугал!.. Я покажу, как разводить склоки! Любишь брать на свой хохряк! Разбежался, ушляк, уставить свою власть в моих владениях!? Я ж мог... Хваталин в общежитии не живёт, зато

<sup>378</sup> Гегемон – пролетарий, рабочий.

твёрдо числится. Я мог бы на его место культурненько, бетонно воткнуть тебя. А раз ты так... И я делаю ставку на отставку! Пускай койка пустует, но меня ни одна язва не заставит взять тебя на место человека, который по факту не живёт, а из документов не уволен. В этом-то и сладкая штука! Он – есть! А тебя, сковородничек,<sup>379</sup> – скушали-с! Нетус-с!.. И никогда не будет, раз полез в газету... Газетёхой напуржил! Как же... Держи пошире! Сейчас вот только уши накрахмалю! Клеветона на меня возжаждал? А я тебе на будущее совет бесплатный дарю: не козлоглагольствуй! Так-то оно, писателишка, надёжней будет!

Коржов так часто сыпал, что я не мог войти в разговор. Да и не решался, если по правде. Я чувствовал себя в чём-то виноватым перед ним.

Ну в самом деле.

Директор, почтенный, при лысине, при галстукe, а я, глупан, пойдн и бухнн про него в редакции. Куда это годнтся? Да узнай про это мама, мокрым полотенцем под горячий случай хлестанёт. Не грубн начальству! Начальство знает, что делает, на то оно и начальство, и мы, навозные жуки, ему не указ!

– Угу-у! – распаяясь, надорванно промычал Коржов. – Во-от твоя газетуха! Во-от! Запомнн!.. Торчащий гвоздь обязательно вмолят по самую шляпу!

И брезгливо, с омерзением швырнул на стол бумаги мои.

---

<sup>379</sup> Сковородничек – поросёнок 12 дней.

Паспорт, просквозив по каткой лакированной столешнице, хлопнулся на пол.

Шлепок упавшего на пол паспорта охладил и удивил Коржова. Он как-то поражённо, перегнувшись через стол, посмотрел на паспорт, посмотрел на меня.

Я молча стоял у двери, ожидая, что дальше пойдёт.

Если ещё мгновение назад я не смел и рта раскрыть, то уж теперь...

– Чего пялишься? – срывисто буркнул Коржов. – Подыми!

И приказными глазами на паспорт.

– Да уж нет уж... Я вам давал его в руки, по-человечьи. Верните и вы по-человечьи.

Он обежал стол и, грузный, медвежеватый, трудно поднял паспорт, пихнул на край стола.

– Хватит точать баланды! Забирай и прощай. Полный глушняк! Строчи хоть в ООН, только в моём училище тебе не гулять! Горячий привет из глубины души!

Мне стало легко, когда я вышел от Коржова.

Я понимал, что я должен был дать бой, по крайней мере, возмутиться, оскорбиться таким исходом. Как же, обещал! Самой редакции! И?

Хотелось обидеться на Коржова. Да, странное дело, обида на сердце не шла. А я ж всю жизнь был такой обидчивый. Может, в конце концов я просто устал обижаться?

С не понятной мне самому холодной рассудочностью, как-

то философски отнёсся я к развязке. Не нужен я в сантехниках, ну и не надо, волосы на себе рвать погожу. Что Бог ни делай, всё на лучшее выбегает. Боженьке видней, кому чем в жизни заниматься. Значит, сантехника не мой конёк, не мне на нём и гарцевать.

Поддерживая через брюки гипс за привялое ушко, – гипс на отгибе ушка вышелушился, осыпался, уголок помягчел, осталась одна марля с редкими комочками гипса, вросшими в неё, – я плелся от Коржова и думал, что же мне теперь делать? Куда кинуться? Кого осчастливить своим визитом?

Будь тугрики, я и минуты тут не торчал бы, усвистал бы назад к мамушке в Насакирали.

А деньги всё не шли...

Надо ждать.

Но мало ждать. Надо что-то и заваривать.

Да что?

Я вспоминал, перетирал разговоры с самыми разными людьми, прислушивался к их голосам, что наперебой сейчас звенели во мне.

Из всех голосов мне больше нравился голос Сашы Штанько.

К Саше я ни на работу, ни домой не заходил. Не звонил. Не говорил, как всё разыгралось у Коржова.

Ну чего попусту полоскать людям мозги?

Я *слушал* Сашу, и каждое его слово всплывало передо



мною во всей радостной музыке. Не он ли мне пел не лезть в сантехники? Не он ли восклицал: «Это, чёрт, здорово, что вы вышли на Коржова, и ловко всё раскатали про него! У вас дар, о котором и не подозревали... Вы с пером... У вас есть журналистская жилка...»? Не он ли считал, что открыл во мне журналиста? Не он ли велел держаться мне поближе к журналистскому берегу? К журналистскому!

Тогда насчёт его открытия я промолчал. Открыл ну и открыл. Эко бугор золота выворотил!

Только за сто лет до встречи с ним я спал и видел себя на журналистском берегу. Ещё с восьмого класса.

Я было разлетелся сразу поступать на журналистику в МГУ, но мама осадила: «Не, сыно... Трэба йихати на учёбу у Воронеж... Родина...»

Я и скакани сюда.

Здесь пока нет факультета журналистики, обещают открыть. Сдавал я на филологический. Надо же где-то учиться. Важно не на кого учиться, а кем работать. Одолей филфак, я побежал бы только в газету! Только в газету!

И теперь, чёрт меня поколоти, всё выкруливает...

Лучше не надо!

То пока дожмёшь университет, пять лет отстегни кошке под хвост. Туда-сюда – уплыли пять годков, не пять деньков. Да, пожалуй, лучшие.

Кончай, друже, скулёж про мамкины капиталики да про вокзальные лихости, давай с лёта в журналистское золотое

ярмо! Учиться не грех и заочно! Ну почему не попроситься в газету? Будет работа – будет и крыша, будет и на что жить...

Допрыгаю до обкома, там знают, где люди нужны. Надо – пойду в городе где в многотиражку. Неправда, в многотиражке потяну. Я ж не в «Известия» рвусь. А надо... Я не перебористый, хоть сегодня катану в любую районку, в глушину. Пускай только направят.

Ну коржовщина, ну хваталинщина и прочая... щина! Ну погоди!

Иду на вы!

В бюро пропусков обкома я объяснил, зачем пришёл.

Пожилой дядечка позвонил по телефону.

– Вячеслав Павлович, тут молодой товарищ... На газетную просится работу. Выписать пропуск?.. Хорошо.

Он выписал и подал мне пропуск в круглое, как на самолёте, оконце.

– Значит, так... Поднимитесь на второй этаж. Комната примерно над нами... Смотрите таблички на дверях. Сектор печати. Вячеслав Павлович Усачёв. И спокойненько там... Вячеслав Павлович за всё прост...

Дядечка ободряюще улыбнулся.

И я немного посмелел. Ну, в самом деле, чего уж так жаться? Чего уж дышать через раз?.. Ну, обком есть, конечно, обком, так и в обкоме вон – поклоном я простился с дядечкой из пропусков – живые работают люди, уветливые. Так что

нечего обкомом себя страшать, так и передай по цепочке. А теперь, глупарик, смелее вперёд! Смелее!

Так думая, я ловлю себя на том, что действительно иду уже бодрей, твёрже к лестнице.

Обком партии царевал в новеньком, в только что выстроенном здании. Оно какое-то холодно-нарядное, вызывающе-торжественное. Когда смотришь на него со стороны, к тебе приходит ощущение *ч у ж о г о* праздника, и это ощущение усиливается, растёт, когда ты в дрожи переступаешь порог этих вавилонов.

Боже, да живи мы не в приплюснутых, придавленных к земле сырых сарайных клетухах, а в таких роскошах, я б разве когда сутулился?

В вестибюле так много сытости, света, простора, воли, высоты, что ты, привыкший вечно сутулиться, невольно забываешься, вытягиваешься, распрямляешь плечи, чувствуешь себя на голову выше.

Разлетевшись, я остановился в недоумении у лестницы.

Откуда-то сверху по её широкому ребристому телу красно стекала дорожка. Я упёрся глазами в дорожку и не мог стронуться. Дорожка чистенькая. Как же отважиться по ней топтать своими вкось и вкривь разбитыми башмаками? Век не чистились, в палец пыли!

Я машинально приседаю, низом брюк прикрываю, прячу убогость своей обуви. Пускай не всё прохожий видит.

Наконец я замечаю, что дорожка бежит посередине, а края

лестницы пусты.

По краю, у самой стеночки, я взлетел наверх, а там и вовсе час от часу не легче. Это надо – весь коридор под высокими коврами!

К стенам ковры подогнаны вплотняжь, ноготь не продёрнешь. Как же топтать такую красоту, такую радость? Его бы, такой коврину, в музей, на выставку, а они – под ноги!

И неужели по этим коврам ходят? Наверное ходят, раз на полу...

Ну что гадать? Я как другие. Пойдут другие, пойду и я.

Я пристыл на голом пяточке у лестницы, высматриваю, не идёт ли кто.

Ага, навстречу гордо профинтила с красной пустой папочкой смазливка, гляди, чья-нибудь секретутка в тесной кожаной не то в короткой юбочке, не то в широком ремне, заменяющем юбку. Не понял, в чём именно она, но всё равно до вздрога интересно. Один томкий, зовущий хруст кожи поджёт душу...

Да Бог с ним, с хрустом, надо идти в свою сторону, и я уже привяло бреду к усачёвскому кабинету. Как ступнёшь – клешня по щиколотку тонет в алой мягкости, и ты зачем-то оглядываешься, оглядываешься, и только уже потом ловишь себя, что засматриваешься, как в тех примятинах, где ступал, пухнатый ковёр шапкой шевелится, распрямляется, будто диво цветок распускается.

«Где ты ступил, там роза расцвела...» – качнуло меня

на чужое высокое парение, но ненадолго – вот она вот моя дверь. Стучу.

– Входите.

Я узко открыл дверь, втёрся боком.

Огромная комната. Кругом хламиссимо. Куда ни глянь – жёлтые бугры газет. В углах. На подоконниках. На шкафах. Но ни одной живой души. Кто же мне разрешал входить?

В окне я натыкаюсь на скверик Петра. Скверик через дорогу от обкома. По тот бок дороги, падающей в машинных дымах вниз, Петр стоит на своём месте, всё так же держит на весу протянутую руку, как вчера, позавчера и смотрит на пустые заречные дали. Не он же мне отвечал?

В панике попятился я из кабинета.

Дверь пискнула.

Из-за газетного Эвереста на столе затерянно выглянул добродушный дяденька:

– Здесь я, здесь...

Он положил ручку пером на квадратную чернильницу, пошёл ко мне, одёргивая полы костюма стального цвета.

Поздоровался за руку и, не выпуская моей руки, а другой поддерживая меня за локоть, как-то просто, домашне повёл к стене, где в ряд стояли стулья. Посадил, сам сел рядом. Положив руку мне на колено и мягко заглядывая в глаза, стал спрашивать, кто я, откуда, каким ветром загнало в Воронеж.

Я всё вылил кроме одного, что ночью на вокзале. Ну кто

же вокзальному варягу даст направление в газету?

– Итак, вы хотите в газету?

Я подтвердил торопливым кивком.

– А что у вас есть кроме большого желания? Публикации, например?

Я расплылся.

– Оё-ё... А как без публикаций? Полно! Вот...

С чувством достоинства я отдал ему вырезку.

– Первая в жизни! – присовокупил я, в торжестве вскинув палец.

– Тумс... тумс... – вздохнул он и побежал по листку глазами.

Он искал мою заметку и не находил.

– В этой подборке моя третья... Внизу... Последняя...

– А!.. По-чи-та-ем... А-а, вот... М-м-м... Всего четыре фразы, два абзаца... Похоже, не «Война и мир», конечно?

– Очень похоже...

Он с кислым сожалением посмотрел на меня.

Мне это откровенно не понравилось.

Когда наши в Насакирали увидели эту заметку, мне целую неделю не давали проходу. Газету передавали из рук в руки, как эстафету. Я был герой! А тут...

– Что ещё есть? – подвигал он пальцами над головой, не отрываясь глазами от моей заметки и требуя подавать.

– Во-от, – вынул я из паспорта и вторую, последнюю заметку.

Они были мне дороги, я носил их в паспорте. Хорошо, что они крыхотные, из паспорта не высовывались и даже не помялись по краям.

Усачёв, показалось, с удивлением – так у тебя ещё есть? – взял вторую заметку. Однако читать её сразу не стал, а принялся разглядывать обратную сторону первой заметки.

– «Молодой сталинец», – прочитал название газеты. – Орган Центрального Комитета ЛКСМ Грузии. – И монотонно, безо всякого почтения начал вслух читать вторую заметку. – *«Энергично трудится молодёжь 11-ой бригады колхоза имени Орджоникидзе села Шрома Махарадзевского района. Молодые чаесборщицы Маквала и Натела Надирадзе, Дариико Гобронидзе, Женя Чихладзе и многие другие выполняют годовое задание на 115-120 процентов и 98 процентов собранного чая сдают государству первым сортом.*

*В честь приближающейся годовщины Великого Октября каждая молодая колхозница обязалась собрать до конца сезона тысячу килограммов первосортного чая».*

– Это и всё? – спросил он не то с сочувствием, не то с досадой.

По его голосу я понял, что ничего хорошего мне не светит. Я пропаше кивнул.

Он надолго задумался.

Я тоже человек культурный, думать временами умею.

Я немножко подумал и, теряясь, почти вшёпот спросил:

– А что, мало?





га, увы, спотыкается. Давайте уговоримся так. Будете где там работать, учиться – пишите в газеты. Через год встретимся. Посмотрим. Год скажет всё. Может, эти две ваши заметки чистая случайность... Может, скажет, ваше место вовсе не в журналистике. А может... Покажете товар лицом – с лапушками возьмём! А пока товара нет... Дело неважноец...

Побитой бездомной собачкой уходил я от Усачёва.

Я медленно брёл по коридору и зачем-то оглянулся. Примятины на ковре, где только что я ступал, кроваво шевелились, трудно распрямляясь.

*У букв закона свой преискурант цен.*  
*Б. Крутиер*

В мире не одни двери.

И куда я ни стучался, нигде я не нужен.

В студентах не нужен.

В грузчиках не нужен.

В сантехниках не нужен.

В журналистах не нужен.

Растерянность морозом жгла мне душу.

Где же я нужен? Неужели я во всём такой горький неумёха, что нигде-нигде совсем-совсем не нужен? Никому, ни одной душе? Что же это за родная, родовая, сторона, где я всем чужой, где всё отворачивается от меня?

Мама... Мамушка...

Если б Вы только знали, как я устал от вокзала, от парка, от бездомья... Если б Вы только знали, как я бедствую... С каким счастьем влетел бы я в вагон и уваялся в Насакиралики... Но с какими глазами подойдёшь к проводнику без билета?.. Мне не на что купить билет домой... Иль домой мне «пути все заказаны»?

Уже двенадцатый день без угла мыкаюсь я по чужому городу...

А ночь идёт, так и не знаешь, где и приткнёшь голову, где и перебедуешь до света... До нового дня...

Вы никогда не оставляли нас в беде. А что же сейчас?.. Неужели у Вас в сердце ничего не варится? Неужели оно не видит, как мне тут?..

Я один, я совсем один в большом чужом городе. Людей как мошки набито. Бегают в угаре туда-сюда, томошатся... Людей невпрогляд, да не подойдёшь, не попросишь займы на дорогу. Тут всякая копейка алтынным гвоздём прибита... Чужой город не Насакирали.

Это там у нас и чужая болезнь к сердцу... Нету в обед на хлеб и без печали. Выскочишь на крыльцо... Хоть налево шатнись, хоть направо, а без соседского рубля не вернёшься.

Нету у Семисыновых – к Сапете Меликян. Нету у Сапеты – к Грачику... Дальше Простаковы. Дед Борисовский. Карапетяны. Алёшка Половинкин. Авакяны. Гавриленки. Скобличиха-маленькая. Скобличиха-большая. Федорка Солёная. Мамонтовы. Паша Дарчия... Без хлеба соседи не оставят. Всегда свежей копеюшкой разживёшься.

Почему же Вы, мамушка, не шлёте? Почему? Что случилось?

Вприскокку чикилял я к бабе Клане узнать про перевод. Меня будто током прошило всего насквозь.

Бож-же!

Да какие в чертях деньги?!

Каких ещё денег я жду?!

Мне вдруг отчетливо вспомнилось...

С поезда мы сразу в университет. Сдали мои бумаги и легко вздохнули. Можно дух перевести!

Не спеша, враскачку побрели по Революции, глаза на город, как журай в кувшин. Скоро наткнулись на почтамт.

На тёмно-сером телеграфном бланке написали маме.

Мы писали, что вот документы мои приняли в университет, осталось малое, остался пустяк – принять меня. В городе пробудем до первой моей вступительной двойки.

Дальше мы докладывали, что сразу с почты двинемся искать квартиру, поэтому точного адреса своего пока не можем назвать. Ещё мы выразились в том смысле, что двойка – штука весьма мне доступная, вовсе не за семью печатками от меня, поэтому мы наверняка через несколько ближайших дней будем уже в конечном пункте нашего путешествия, в том месте, куда направят Митрика. И уж оттуда-то катанём обстоятельное послание, обязательно укажем адрес.

Мы добросовестно ждали двушку.

Но я совсем обнаглел. Из каждого экзамена изволил выжимать пятёрки. Каждое утро так и подмывало написать домой. Но мы всё откладывали, горячо веря, что не сегодня, так уж завтра обязательно схлопочу я лебеда<sup>380</sup> и уж тогда, с Митрофанова места, напишем.

Мы без края так много лалакали о будущем письме, что я уверовал – письмо написано. И про деньги тоже.

---

<sup>380</sup> Лебедь – двойка.

И я чистосердечно их ждал...

Я жадно перетасовываю все здешние наши дни, перетряхиваю. Не-ет... Не писали... Ни адреса, ни слова про деньги и – ждать! Балда осиновая... Ждал, чего не дожидаться и в тыщу лет!

И впервые за двенадцать дней не пошёл я к бабе Клане узнавать про перевод. Вернулся с полдороги.

Ждать подмоги неоткуда.

Что же теперь?

Куда идти?

Как выбираться из этого омута?

Я бесцельно брёл по проспекту Революции.

Впереди вытянулось колом высокое здание, где была молодежная газета.

Может, зайти к Саше в редакцию, вымокнуть слезами жилетку и он, глядишь, сунет чего на дорогу? Перехвачу взаимы, а там верну?

Не-ет...

Не дело, когда жалеют. Жалость обижает...

Было жарко, душно.

Я снял пиджак и, сложив, бросил на руку.

Из нутряного кармана, закрытого крупной булавкой, выскочил грязноватый, утасканный уголок комсомольского билета.

Я потянул руку, но почему-то не стал убирать билет с ви-

да, не стал заталкивать билет поглубже в карман.

Этот ненароком выглянувший на свет крошечный помятый флажок шевельнул во мне струны, которые я никогда в себе не трогал. Ты ведь, подумал я, не сухой листочек, сорванный с дерева шалым ветром. Ты человек. Был юнкором молодёжной газеты. Как мог, так вроде и служил комсомолу. Так кому же нести свою беду?

В обкоме комсомола я почувствовал себя как-то спокойней, уверенней.

Лестница тут была без ковра.

Коридор не такой широкий, как в обкоме партии, и ковёр бедней, уже. Однако я всё равно боялся на него ступать и в душе ликовал даже: по бокам дорожка не весь прикрывала жёлто крашенный пол, так что спокойно иди по жёлтой полоске. Правда, была она узкая, чуть просторней ладони, потому я медленно шёл, тесно обжимая одну ногу другой, стараясь идти строго по своей яркой стёжечке у самой стены.

Я не слышал, как меня нагнал мужчина лет тридцати. С лицом открытым, каким-то доверчивым. Тронул тихонько меня за локоть, доброулыбчиво сказал:

– Зачем же по стеночке?.. Ступайте по ковру. На то и лежит.

Я смутился. И всё же взял по краю ковра.

Мужчина не убирал с моего локтя свою тёплую руку, и, как-то уютно, неназойливо заглянув мне в лицо, просто

спросил:

– Вы к первому?

– К первому...

– Я тоже туда, – ободряюще пожал он мне локоть и продолжал идти рядом, не выпуская моего локтя.

Мне почему-то подумалось, что он держал меня не потому, что нам с ним оказалось по пути, а потому, что сомневался, что один я дойду, куда шёл, и вёл меня. Шёл он уверенно, твёрдо, будто другого дела и не знал, как водил заблудившихся в людском штормовом море беспутных мальчишек вроде меня.

На подходе к двери он обогнал немного меня, открыл дверь, впустил меня первым.

Маленькая комнатка.

Из этой комнатки была ещё дверь. Он открыл и эту дверь, пропустил меня вперёд. У открытого окна пододвинул мне стул, сел сам. Лицо в лицо.

– Ну, – хорошо улыбнулся он, – рассказывайте, что у вас. Я и есть первый секретарь.

Я вовсе потерялся.

Это сам первый-то вёл меня под руку?

Я не мог открыть рта. Словно челюсти заклинило.

– Стесняться будете потом. А сейчас рассказывайте.

Сбивчиво, в подробностях выпел я всё. Даже про вокзальные ночи. Даже про княгиню Ногиню в гипсе.

Он покачал головой.

– Что же вы так? Поистине, простота хуже воровства. Не мне вас в этом кабинете учить, не вам слушать... Столько мучиться! Да я на вашем месте поехал бы, извините, зайцем! Налети ревизоры – честно, как мне, объясни всё что и как. Ей-пра, везде люди, живые люди! Поняли б, дали доехать!

Я пристыженно заозирался по сторонам, подымаясь уходить:

– Так я и сделаю... Извините...

– Э нет! – мягко дёрнул он меня за руку книзу! Садись. – Это б вы могли так сделать в тот день, когда вас выгнала жестокая старухенция. А сейчас, раз попали сюда... Поможем! Надо хорошенько обдумать... Сколько вам нужно на дорогу до Насакирали, на питание в пути?

– Это... слишком... дорого... – выдавил я.

– А что вы предлагаете? Дать на билет до половины пути?

– Нет... Это вообще вам дорого... Я лучше так... Доеду до брата в Каменку... И от брата к матери...

Секретарь нахмурился.

– А может, сразу езжайте к матери? Братец у вас... Как же так?.. Старше на шесть лет... Он вам вместо отца... Кто как не он должен заботиться? А он? Оставить в чужом городе без рубля! Это...

– Может, у него тоже не было денег, – потупился я.

– Может быть. Допускаю. Но! – ткнул он вверх пальцем. – Так он же приехал на своё предприятие, мог получить подъёмные сразу и навестить вас. Здесь же дороги полтора часа!



У вас уже двенадцать дней назад кончились вступительные! Где вы пропадаете всё это время? Это его забеспокоило? Что же это такой за бездушный молодой специалист?.. Не-ет!.. Мы по своим каналам выясним, через райком комсомола, почему он так отнёсся к младшему брату! А вам мой совет... – секретарь вяло прихлопнул ладонью по спинке стула, на котором я сидел, – может, едите прямушкой к матери? Мы плотненько подумаем, может, и поможем...

Я понял, ничем они мне тут и не собираются помогать. Вряд ли дело пустят дальше подмётных выяснений.

– Пожалуйста, – заныл я, – не нужно ничего выяснять... Мало ли... Я поеду к брату. В Каменку при станции Евдаково. Это и вам дешевле... Безо всякой бумажной стряпни... Я ничего у вас не возьму. Я и так доеду... Как вы учили... Зайчиком...

– Так, похоже, и быстрее...

*Не женись по расчету – не считаешься!*  
*Б. Крутиер*

Я ехал проститься со Светлячком. Ехал на трамвае. И нога-княгиня побаливала ещё в гипсе, да и чего колыхаться-кланяться пехотинцем, когда можно ехать зайцем в законе?

Своими пламенными речами секретарь так поднял во мне боевой заячий дух, что я любого медведя из контрольного кодляка свалю одной левой. Нету билета и не приставай! Будут шмели<sup>381</sup> – заплачу! Спасибо комсомолу, в мой чёрный час подал мне бесценный совет, не побрезговал.

И вот за всё время, что маюсь я в городе, первый раз еду на трамвае, еду герой героем. Без билета – как с билетом! Никого и ничего не боюсь!

Еду и слышу, как кто-то кладёт мне руку на плечо – я сидел за задней площадкой.

– Бах! Хваталин! Жених!.. Когда на свадьбу позовёшь?! – ору во всю глотку. У меня хоть и мал кадык, а рёву в нём с воз, если понатужусь. – Когда, Ермак Тимофеич? Ну, казацкий атаман?!

Королевский женишок кислую даёт отмашку.

---

<sup>381</sup> Шмели – деньги.

– Что так? – недоумеваю.

– Потерпел фетяску! Подал в отставку! Развелись, свадьбы не дождавшись... Я, беспансовый, придал ускорение. Разошлись, как в речке два толстолобика.

– То есть?

– Ё, кэ, лэ, мэ, нэ!.. Полный уссывон! Это тыща и одна ночь!

– А что дама, которой ты был объят?

– Прикинулась дохлой рыбкой... Делишки у неё рыдательные. С её маринованным урыльником на что рассчитывать? Да ну её!.. Эх! Сейчас бы пивка для рывка, бутылочку водчонки для обводчонки и бутылочку сухого для подачи углового!

– А всё-таки? Что она говорит?

– Молчит моя метёлка. Молчит, как пятак в кошельке. Ещё бы ей мокрый хвосток подымать... Веришь... Я тогда про эту хромосому волосатую тебе ещё ничё такого кипячёного и не сказал... Так, не бабёшка, а охапка тоскливых костей. Больно охота на таку кидаться! Не пёс... Да еслив одне кости, а то ещё и... Припадает, хромает, как инвалидка Великой Отечественной. Ей-бо! Да еслив только кости да нога, а то ещё и глаз. Чуть не соломой затыкая. В бельме... А чуланиты!?!<sup>382</sup> Не могу видеть... Эвот так и подмывает бросить на них спичку. Горящую! Бросил и чеши фокстротом!.. Еслив только кости, нога, бельмо да чуланиты... А то ещё и

---

<sup>382</sup> Чуланиты – щёки, покрытые мхом.

грудь у этой бородули...

– А что грудь?

– А то, что их, этих басов, всю нету! Ни сверху, ни снизу! Так... один художественный свист. Не грудь, а прыщики. Плоскодонка!.. Гладильная доска!..

– Извини! Куда ж они сбежали? Раньше ты как про них мне пел? Не грудь – двустволка! Стоят, как часовые! Царственные, гордые!

– Были, да все вышли...

– То есть?

– Потерялась пипочка от груди, они и сели прыщиками. Воздушек-то тю-тю... Потому как надувные были-с... Всё там надувное у этих дубоплясов! Чуть и меня не надули! Есть же страхолюдины... Во ба поджанился бабальник на таковской мочалке... Форменная глиста в скафандре!.. Ни... Уж никакой кобелино не отбил ба! Давись дерьмом всю красную жизнь! Больно надо... Болт я на неё положил! На мой век конфеток хватя! Да я отхвачу себе советто-ебалетто-шик!<sup>383</sup>

– И царёва дача уплыла?

– По-оплыла-а... по Иртышу... Иди всё хинью!.. Помахай вот сейчас в последний раз ручкой... И ножкой!.. Дурри-и-ина!.. Одноклеточный!.. Воистинку прихлопнута на цветку... Не с дачей же жить-миловаться!

– Так из-за чего же вы разбежались?

---

<sup>383</sup> **Советто-ебалетто-шик** – красавица из кордебалета.

Бедовар опало качнул рукой.

– Там тестюшка – оторви собаке хвост! Кипятком мутант писает! Эвот и переколумутил всё ... Письмённый больно! Переучили этого взвихрённого в церковно-приходской академии!

– А ты ж говорил, что он вроде простуня?

– Ага, недоструганный Буратинка!.. Там тако-ой простой, как три копейки одной бумажкой! Копчѐ-ённый во всех дымах! Делова-ар... Занудней любого копача.<sup>384</sup> Грозился задвинуть меня в чалкину деревню...<sup>385</sup> А из чего всё пыхнуло?.. А из-за чего поднялся этот гундѐж?.. Я тебе вкратцах... Помнишь, я те рассказывал, отмечали мы день именин соседского кота? Сла-авночко наотмечался я... Мяу не мог сказать! Не пошёл я на второй день на работу. Не сгодился в работу и на третий. Ну, за день оклемалси, а вечером приходит паря-сосед, из того дома, где кота отмечали, и зовѐт на свой уже день. Деньрожденец! Без булды. На деньрожку зовѐ. Не на столетие русской балалайки... Вишь, полоса днёв... Эвот и запой, завал у членопотама... День то у одного кота, то у другого... Я и на третье... пардону подай... я и на четвёртое весёлое утрело не сгодись в копайтен унд кидайтен. Тестюшка, погостный жук, и взвейсь синим костром. Там побелел, как вша змеиная. Не отдам алкашке дочкю! В работу не лезет, ходит хиньями по-за тыньями!.. И

---

<sup>384</sup> **Копач** – следователь.

<sup>385</sup> **Чалкина деревня** – тюрьма.

завёл этот брахмапутра такую арию Хозе из оперы Бизе!.. Не отдам! Не отдам!.. Да и не надо. Ну какой обалдуйка отымаёт ё у тебя?! Пойду наперекорки судьбе! Немного побегал с ними под один плетень и горшок об горшок. А то он ещё учить меня будет!.. Я этому браhme<sup>386</sup> ясно ломанул: «Каждый дрожит, как он хочет! И отвянь от меня!» Вот такое вазелиновое кино... Разлюбезнику тестюне че-естно поднёс под самый киль!<sup>387</sup> – выставил он кукиш. – Помнить до-олго будет меня эта Чубляндия... Э-этот честный сектор, несчастная куркульня... День-ночь без продыху и пашут, и пашут, и пашут, как перед концом света. Там ба у меня была житуха, как у седьмой жены в гареме! Таковски тяжеленная! Сналыгали б и заездили вусмерть. Что Боженька ни делай, всё на лучшее выскочит... Пускай оне раздобудут своей Лёлечке другого такого меднолобика, – он с силой и с укорным отчаянием подолбил себя кулаком в лоб, – а я отхвачу себе зажигалку конфетулечку, – он поцеловал сведённые вместе три пальца, – со всеми удобствами! Такой мой зюгзаг. Что я, чубрик, какой некультяпистый? Или мушками засиженный? Буду глядеть, чтоб забавушка была пухнатенькая да круглявенькая, как поварёшка. Тверда моя новая линия... Мне участочек отвалили с полтвоего Люксембурга! Раз плюнуть серенадку Солнечной долины найти... У Хваталина снайперская пуля

---

<sup>386</sup> **Брахма** (в брахманизме и индуизме) – один из трёх высших богов, бог-творец.

<sup>387</sup> **Киль** – большой нос.

всегда в карауле... А по Олюне сердчишко из прынцапа не тукая... Не-е, не тукая! У меня всё крепенькое, хоть знак качества припечатывай... Как-то погасил жар в груди, нагу-жевался до бобиков – загулял трахтибидох! – да с полного роста слетел с копытков на асфальт. Головкой об бордюрик. Думаешь, у кого бобо плюс сотрясение? Думаешь, у кого прогиб? У бордюрика... Вот зараз заберу свои последние там тапочки-тряпочки и чао, какао, здоров, кефир! Как хорошо, что утконосый Коржов не сдал тебе моё место. Как чуял, приберёт для испытанного, старого кадра...

Только тут меня осенило.

– Послушай, горький мой милостивец, – погладил я его по руке, – что-то не пойму... Ты второй год в общежитии?

– Второй.

– Тебя что, оставили на второй год в училище?

– Сморозишь... Да меня было досрочно не выперли за величайшие успехи! Еле уцелел... На санчика<sup>388</sup> всего год мучиться. На второй и просись – не оставят. Кончил, катнули в работу. Жилья не дали пока. Эвот в коржовке я и токую. У нас таких полна коробенция. Уже работают, а квартирят в училищном общежитии. До времени, конечно. Уйду, как работа подаст угол, а лучше отбыть с почётом на хату к какой-нибудь виннепухочке. Вот лётаю по вызовам на своём участке, приглядываюсь, как к банку, ко всем сдобам. Как

нарвусь по вкусу, так я её, горяченькую витаминку Ц,<sup>389</sup> и в за-агсок... Ну... – трамвай заметно срезал бег, – моя оставка...

Хваталин без аппетита подвигал, покивал двумя толстыми, рачьими пальцами:

– Ку-ку... Чеши фокстротом!

Так уж водится, что самое главное узнаёшь в крайнюю минуту.

Мы прощались со Светлячком за руку, когда глухой, размытый звон послышался совсем где-то рядом, внизу, и так близко, так тихо, что, казалось, раздался он во мне. Я машинально цап за карман и накрыл у себя в кармане другую, свободную, ручонку девочки.

– Ты-ы?! – изумился я.

Светлячок съежилась, в страхе надула губки.

– Я ничего у вас не брала... – пролепетала она, еле удерживая уже подступившие слёзы.

– Верю. В пустом кармане ничего не возьмёшь, – ответил я, преотлично помня, что и номерок из камеры хранения, и несколько ещё выживших моих последних монеток были перехвачены бечёвкой по низу кармана. – Зато... – я растерянно достал из кармана шесть или семь ещё тёплых белых двадцаточек, – зато я теперь знаю свою тайную благодетельницу... Это ты скрыто подбрасывала мне в карман денежки?

---

<sup>389</sup> Витамин Ц – девственница.



Ты?..

Света долго сопела, не хотела сознаваться, но в конце концов еле кивнула и конфузливо отвернулась в сторону.

Я опустил перед нею на корточки, прижался щекой к щеке. С минуту я не мог вымолвить слова, потом тихонько, вшёпот спросил:

– Откуда у тебя деньги?.. Ты...

– Скажете, крала дома? – опередила она мой мучительный вопрос и фыркнула: – Вот ещё охота красть! Да мне мамка с папкой сами дают на морожено. Я не покупала... А ещё я выпрашивала все мороженые денюшки у Вовки Хорошкова, – показала на соседского мальчишку, катался на своей калитке, не сводя восторженных глаз с меловой свежей размашки по забору напротив «Квас – плешивый трус». – А бабушка не давала. Она никогда не давала на морожено! Вовка говорит: «А давай насбилаем копеечек, купим бандита и пускай он убьёт её из лужья... Чоб не жадобилась...» Вовка р-ры не выговаривает ещё...

Я позвал Вовку, и мы втроём отправились на угол к ближайшей будочке мороженщицы.

– Тебе сколько, Вова? – спросил я.

– Тли! – выпалил демонёнок и для верности вскинул три оттопыренных пальца.

Я купил им по три эскимо, и мы расстались.

*Мир тесен: все время натыкаюсь на себя.*  
*М. Генин*

Я почувствовал себя на вершине блаженства. Мне пришла счастливая мысль о том, что настали мои лучшие времена, те самые времена, когда я обещал сам найти Розу, и я покатил к ней в общежитие.

Вахтёрша сказала, что Роза только-только куда-то вышла и непременно с минуты на минуту вернётся, поскольку Роза большая домоседица.

Я присел у двери на табуретку.

Минут час, второй, утащился третий...

Роза всё не возвращалась.

Где-то под одиннадцать я уехал. Мы так и не увиделись.

На вокзале я посидел на своей лавке против камеры, погладил свою блёсткую деревянную перину... простился... и побрёл наверх, в зал ожидания, где было и народу тесней, и свету ярче, и где не надо мне больше жаться от милиции.

Теперь я могу спокойно сесть на широкую скамейку с гнутой спинкой и ждать, как и всякий в этом зале, своего поезда. Пускай подходит ментозавр, пускай спрашивает, куда мне ехать. Не пряча глаза, спокойно отвечу, что еду в Ка-

менку, что поезд мой будет ближе к рассвету. Здесь я сяду затемно, а выйду в Каменке уже при дне...

Я сидел как порядочный пассажир, мурлыкал про себя:

– Силач – бамбула

Поднял четыре стула,

Выжал мокрое полотенце

И сделал прыжок с кровати на горшок...

Тут ко мне подлетел Бегунчик.

– Синьор! Простите мои мозги, не врубакен... Вы как затесались в этот вагон для некурящих? – обвёл он широким жестом громадный гулкий зал. – Вы не боитесь, – подолбил кривым каблуком в пол, – что ваше место в погребухе захватит какой-нибудь бамбук?

– Нет, – ответил я себялюбиво и уставился на синяк у него под глазом. – Где разжился?

– А-а... Кулачок с полки упал... – кисло отмахнулся Бегунчик. – А между прочим, именно там, – опустил он взгляд, – у камеры ждала тебя до одиннадцати кралечка... Напару с костылём. Серьёзная... Важная... Сидит, как мытая репа. С виду не похожа на вокзальную фею с горизонтальной профессией.<sup>390</sup>

– Кончай петь Алябьева!<sup>391</sup> – отмахнулся я.

---

<sup>390</sup> Горизонтальная профессия – проституция.

<sup>391</sup> Петь Алябьева – рассказывать небылицы.

«Значит, мы разминулись в пути, – с досадой подумал я о Розе, как о чём-то отошедшем, отстранённом. – Значит, не судьба...»

– И с каких это пор птичке свое гнёздышко не мило? – не отставал Бегунчик. – Не хочешь ли ты сказать, что твоя вокзальная эпóпия уже кончилась?

– Представь! – стиснул я его локоть. – Через три часа с копейками я отбываю.

Бегунчик боком вжался между мной и обрубышем, коротким пухляком – сонно отрезал ножом толстые кружочки от венка колбасы и откусывал хл еб от целой буханки.

– Я ведь тоже отбываю чудок попозже́й твоего, – прихвастнул Бегунчик. – Только я не ликую в отличку от некоторых... Тебя, рыжик, спасла эта штуkenция, – постучал по моему гипсу, – а то б ты накрылся калошкой и был бы ещё грустней меня. Наш бандерлог, – Бегунчик притишил голос, – уже намылился двинуть тебя в дело.

– Какое ещё дело? – перехватил я его робкий, жмушийся взгляд.

– А простое... Сами мы чистюли... В городе, в пригороде чистоту наводим... Чистим-блистим! Убираем, что плоховато висит-лежит по дворам... Голубятники<sup>392</sup> мы немножко... По совместительству немножко воздушники,<sup>393</sup> слегка бан-

---

<sup>392</sup> Голубятник – вор белья.

<sup>393</sup> Воздушник – вор с возов.

щики...<sup>394</sup> Так, мелочишкой баловались. Кассиров<sup>395</sup> у нас не было... Ничего серьёзного. Нам совсем мало нужно было набрать форса<sup>396</sup> до Одессы. На билеты набрали, а на харч не успели. Ямщика<sup>397</sup> нашего замели. Это тот... с селёдкой...<sup>398</sup> В конверте<sup>399</sup> уже... а может, и в сушилке...<sup>400</sup> Не продал бы всех нас... И весь таборок ударил по югам. Двое уже оборвались. Нырнули...

И чем дальше я слушал, тем всё твёрже убеждался, что Бегунчик вовсе не какой-нибудь матёрый мазурик, а так, горькое дитя беды.

Уже давно свернулась война, а долгие её шипы жалят всё больно.

Отец у Бегунчика погиб на фронте, мать угнали в Германию.

В фашистском концлагере выжила. Вернулась.

Но за то, что была в плену, её репрессировали. И уже в советском концлагере пропала без известий.

Детдом подымал мальчика. Пробежал девять классов, прижгло удрать в одесское военное училище, которое ко-

---

<sup>394</sup> **Банщик** – вокзальный вор.

<sup>395</sup> **Кассир** – взломщик несгораемых касс.

<sup>396</sup> **Форс** – деньги.

<sup>397</sup> **Ямщик** – скупщик краденых вещей.

<sup>398</sup> **Селёдка** – галстук.

<sup>399</sup> **Конверт** – камера.

<sup>400</sup> **Сушилка** – карцер.

гда-то кончил отец. «Стану офицером. Как отец!».

А пока стал Бегунчиком. Так в детдоме называли беглецов.

Сумел Бегунчик тайком вскочить в ночной скорый поезд, но проехал всего одну остановку, дальше ревизоры не пустили. Завозились в милицию сдать – удрал.

Решено: заработаю на билет и доберусь до Одессы. Но кто возьмёт тебя хоть на любую работу, раз у тебя никаких документов?

Вокзальная стая паспорта с постоянной пропиской не спросила. Не спросила даже имени. Довольно клички. Рослый проворный парень глянулся ей: ноги-пики длинные, легче такому уходить от погони.

Стая, кочевая, цыганская, скакала из города в город. Всё равно было куда ехать, абы не торчать на месте, и она согласилась на Одессу. На Одессе настоял Бегунчик.

Ночами Бегунчик лазил по дворам, *набирал снегу* – срывал с верёвок бельё. Раз бельё на ночь выброшено или забыто, значит, считал он, в нём не очень-то и нуждаются, значит, оно лишнее, и он брал, по его мнению, у людей ровно столько, сколько им не жалко выбросить и сколько нужно ему и ни на копейку больше.

И вот деньги добыты, билеты взяты.

Уезжали по двое. Так надёжней.

Вчера уехала первая пара, сегодня двинется вторая.

Но у Бегунчика беспокойно на душе.

Хоть его билет и при нём, да ехать без напарника настрого заказано. Да придёт ли тот к поезду Бог весть. Нашёл, может, гость из тьмы лёгкую на уступку машерочку, ночует у неё и не пригреется ли к тёплому бочку трёпаной рыбки до таких степеней, что не захочется подниматься к раннему поезду, плюнет на всё да и останется? Бегунчик чувствует себя как на пристяжке.

Бегунчик распрекрасно понимает, что ему вообще не по пути с этими путаниками, а так, пока до Одессы, очень даже по пути.

– Дотянусь до моря вот – там они меня только и видали! Там я от них отчалою... Там... У меня цель... Отцово училище... Это тебе не баран начхал!

– Как же! – привскочил я от удивления. – Дождается училище! У тебя документов никаких! Пути до первого милицейки! Ну, ты ж без...

– А наиглавный документища со мной, – Бегунчик важно погладил себя по лбу. – Знания.

– Там с тебя потребуют и свидетельство за восемь классов, и паспорт, и характеристику... Да и... Не поздно ли? А ну экзамены там уже прошли?!.. А ну крутнётся... Поцелуешь пробой и назад... А если так... Дошлёпай в школе годик и наточняк поступай?!

Бегунчик долго смотрит в пол. Кривится.

– Да сам, тетеря, об том уже тут думал... Прости мои мозги, не врубакен... И вперёд какой-то шаткий путь, и назад

некуда отступить... Выскакивает какая-то фигурция... Не на что отступить... Хоть пой романс «Что нам делать, как нам быть, где нам маньки<sup>401</sup> раздобыть?..» Как где-то я читал, «в том и судьба, что все пути перед тобой открыты, а денег на дорогу – нет». Катани без билета – сдадут святоши ревизоры в милицию. А с милицией пригреметь к своим в детдом... Это...

Бегунчик замолчал, прислушиваясь к объявлению по радио.

– О! – осклабился. – В мою сторону тот же скорый, на котором долетел я сюда. Уполовинили стоянку. Припаздывает...

– Слушай, – тереблю за рукав Бегунчика, – у касс пусто! Добрые люди по ночам не ездят... Если возьму билет, поедешь назад? Не рассуждай. Да или нет?

– Откуда у тебя манюхи? И ты – мне?.. – напряжённо спрашивает Бегунчик. – Прости мои мозги, не врубакен... За какие такие заслуги перед Отечеством?

– Да да или нет?

С минуту Бегунчик думает и трудно, еле заметно кивает.

По своему паспорту я сдал его билет в кассу и взял новый. До его *д о м а*.

А самому мне пришлось ехать без билета.

Ревизоры не прозевали меня, прищучили уже у самой у

---

<sup>401</sup> Маньки – деньги.



Каменки.

Вывалил я всю правду, как велел секретарь, и про своё вокзальное житие, и про Бегунчика, и про бесплатные дорожные обкомовские советы.

Они слушали, похохатывали. Ну заливает! Ну заливает!

И кончили так:

– Басни ты сочинять мастак. Да мы не всякой басне веру даём. Пускай ещё милиция тебя послушает. Повеселится. А то, небось, скучает она там в твоей Каменке.

Дежурный с миром, без штрафа, отпустил меня, как только ревизоры полезли в вагон.

*За игру ума можно получить по мозгам.*  
С. Скотников

Дня через два поехал я от Митрофана в Насакирали. Перевезти маму.

С поезда я прибежал домой уже под вечер.

Посёлок был пуст. Все ещё толклись на чаю, дёргали грузинские веники.<sup>402</sup>

Я побежал к маме на участок. Именно – побежал. Я не мог идти шагом, нетерпение толкало меня в спину, и я летел вприбег.

За дорбгой, на участке, закреплённом за мамой, её не было. Значит, где-то в общей бригаде. А где? А может, нашу двадцать четвёртую бригаду кинули в помощницы какой-нибудь другой бригаде и где тогда искать?

Я изнизал все бугорки, все наши огородики, забежал на милую реченьку Скурдумку, избёгал все тропинки, выглаженные нашими детскими босыми пятками в глянец – всем поклонился, со всеми поздоровался.

Со всеми с поклонами простился...

Было уже совсем черно, когда я вернулся в посёлок.

Блёклые огни робко супились из окон.

---

<sup>402</sup> Грузинский веник – чай низкого сорта.

В длинном нашем бараке не было света лишь у Чижовых да у Семисыновых, у наших соседей.

Чижовы, наверное, уже уехали в Россию.

А что с Семисыновыми?

Меж чёрными окнами, стражами ночи, как-то тускло, неуютно, пугливо светилось наше окно.

Как я и думал, Чижовы съехали в свой Икорец под Лиски.

А с Семисыновыми свертелась такая чертовщина...

Ещё утром всю семью видели в посёлке. А вечером сползается усталый люд с плантаций – на семисыновской двери толсто дуется чёрный комендантский гиревой замок.

Раз замок комендантский, комендант может знать, куда подевалась семья средь бела дня.

– Я слыхала стороной, – рассказывала мама, – стали мужики потихоне спрашивать Комиссара Чука, что с Семисыновыми. А Чук и скажи: «Этого казуса вокруг пальца не обмотаешь... Больно много понимал этот ваш Семисын об совхозе и тюрьме. Сколе было пето этому ухабистому... Не тычь на других пальцем, как бы на самого не указали всей рукой!.. Так и не доехал до *правильного* понятия... Что ж... Долгий язычок подрезает дни». Больше не стали спрашивать. Убоялись... Та... Такая жизнь...

– Где это видано, чтоб семья пропала среди дня? Где такое бывает?

– И-и, сынок... – Мама стихила голос до шёпота. – У нас

чего только не бывает... Хочешь сцелеть – молчи, як гора...

– Чего же молчи? Вроде культ развенчали...

– То ли развенчали, то ли свенчали... Кто зна? – ещё тише возразила мама.

– А что такое деда Анис говорил про совхоз и про тюрьму?

– То-то и горе, что правду говорил... Совхоз наш выселенческий... Кто где по мелочи проштрафился, его тут же по свистку *оттуда*, – ткнула пальцем вверх, – р-раз и – на выселки. Вот в такие совхозы-колонии...

– Мы тоже выселенцы?

Мама вздрогнула и замахала на меня руками. Тише! Тише!

– Какие мы там отселенцы?!.. Мы сами по себе приехали... Такие тут тоже проскакивают... Дед Анис говорил, что совхоз, что тюрьма – никакой разницы. Только тюрьма по ту сторону колючей проволоки, а мы, совхоз, по эту сторону проволоки... Что мы на чаю возюкаемся, что заключённые... И ещё он говорил, что в колхозе люди за палочки в тетрадке корячатся, что и в совхозе чуть не даром гнутся на плантациях. Май – самый напор, самый сбор чая. А норму такую вскрутить, что хоть примри на том чаю, а не ухватишь большь сентября. Почитай на тех же колхозных палочках едем...

– А разве это неправда?

– То-то и горе, что правда. Тилько видишь, как та правда выходит? Был человек... Добежали его слова *куда не надо* –

нету человека... Давай, сынок, лучше не балакать об этом. А то у нас стены ушастые...

– Давайте, – согласился я и с горечью подумал, что старшие боятся, таятся друг от друга, хотя и думают одинаково. – Давайте про другое поговорим. Я приехал увезти Вас в Каменку.

Я думал, она обрадуется, а она вроде того и восстань.

– От так враз и ехать? – полохливо свела руки на груди. – Да как же я всё брошу? Мне до пенсии шить годив... Дособеру тутечки свои года, тогда...

– Ма, да Вы что? Жить порознь? Чего ради? Да у Вас этих годов и так чёрт на печку не вскинет!

Она печально задумалась.

– Отсаживаете, хлопцы, от работы. Як же без работы?... Пчела трудится – для Бога свеча сгодится...

– Отдыхайте, пчёлушка... Вы своё отыграли. Хватит с Вас и трёх свечей. Таких три лба вытянуть... Одни троих кормили! Да неужели мы втроём не прокормим Вас одну?

– Та шо меня кормить? Инвалидка я яка? На хлеб зарабатую, с ложечки кормить не треба... А как подумаю, как жить в той каменной Каменке... Опять одна комнатка... То вы были маленькие. А теперь? Митька отбыл морскую армейку. Глебка отбывает... Ты уже посля школы. Все ж взрослucie мужичары. Как же мне, жинке, с вами с тремя в одной комнатке обретаться? Мы ж не скотиняки... Люди ж вроде... А как поехали из Криуши – всегда на семью одна комнатка и в

Заполярке, и тута, и в Каменке... Хоть и совестно сознаться, я чуть вольней идохнула, как осталась здесь на месяц без вас одна... Я ж человек... Не чурбачок... И болит душа без вас, и с вами вместе как быть?

– Нормально всё будет. Приедем в Каменку – в первый же день пойду с Вами в райисполком. Повоюем за жильё. А оставь Вас сейчас здесь одну... Не получится ли, что я снова приеду за Вами, а у Вас на двери – комендантский замок?

– Не дай Бог дожить до комендантова замка...

В Каменке на второй день мы пошли с мамой в *райисполком*. На приём к председателю.

Заняли очередь в том раю за рослой, мужиковатой бабой. Слово за слово. Та и спрашивает маму:

– Вы за чем прибёгли в этой рай?

– Да за крышей... У меня... Четыре души в одной комнатёхе в барачной засыпушке. Там та комнатка чуть разбежистей носового платка. Как кулюкать четверым в одной такой куче?

– Это свинарня, а не людская жильё...

– Так я главно не сказала. У меня три взрослока сына! Да я в пристёжку к ним четвёрта... Вот тут как... Я всёжки женщина...

– Ой, подруга, в этом раю разживёшься... Понимаю твою горю и пускаю тебя поперёд себя. Тольке не спрашивай почему.

– А и вправде – почему?

Незнакомка наклонилась к маме, проговорила сбавленным тугим голосом:

– А то послая меня тебе может не хватить нашей наидорогой советской властоньки... Раз само выболтнулось с языком... Слухай... Я надбегала уже сюда за крышей... Ой, лёпанула! Не я, дочка прибежала... Мы сами из Голопузовки... сельцо тут под Каменкой. Голопузовские мы, голокрышные... Совсем хатёха у нас плохущая. Ветер раздёргал солому, стоит хатёшка без платка... Я лежала с сердцем. Что-то забарахлил мой кожаный движок... Дочка прибежала сюда на приём просить на крышу... А этой туподрын, – кивнула на высокую лакированную дверь, за которой принимал председатель райисполкома, – заместо подмоци загорелся завалить её на свой райский столищу и хотел, извини, поставить градусник... Ну, чего все кобелюки хотят?.. Разлетелся косопузый вождёк скоммуниздить у дочки чистоту. А девка у меня непритрога... Детиница гренадерского росточку. При силах... Вся в меня... Чудок не прибила. Она у меня ещё та конёнка. Ка-ак со всей сильности гахнула ему пинка по ленинским местам<sup>403</sup> – сиськохват и скрючься поганым червяком!

– А дальше что?

– А дальше... Вот я пришла. Не за крышей себе – за крышкой ему. Принесла гробовой гостинчик... Вышак ему ломит-

---

<sup>403</sup> Ленинские места – пах.

ся!

Женщина чуть подвигала правой рукой.

И я заметил, что у неё в рукаве был тяжёлый железный прут, поддерживала его колодцем ладони.

– Проломлю козлийный лобешник шкворнем... Дурь из него сольЮ... А там будь что будет... До чего мы дожили?! Кто нами правит? Кому мы молимся? За кем мы, дурьё, бегим в той хренокоммунизмий? Пойди на первый угол и услышишь всё про этого председателёху... Взял какую-то Маруську... брошенку с приданым. С чужим дитём. Марусьяка эта его нигде не робит. А там живут – всего поверх ноздрей! И за что такие блага? Три класса в загашнике! Всегой-то три! А моя дочка поучёней, отбегала все десять! Так она коровам хвосты моет в колхозе... А он?.. А этот бугор в овраге был и первым секретарьком во многих районах, и предрик вот у нас... Командует районом, как подсвинок мешком... Бывший по найму пастух при соввласти пасёт целые районы! Во пастушища! Будь этой шишак при грамоте, его б, можь, совесть хоть капельку держала в кандалах. А так... Распущён... Ох и рас-пу-щён этой Горбыль!..

Тут открылась дверь, и председатель прошёл через приёмную к выходу, держа какого-то старичка под руку и льстиво заглядывая тому в глаза, без примолку щебеча. Наверное, посетитель был важный, раз *сам* пошёл провожать.

Как только председатель выпнулся из открываемой двери, мама увидела его и, смешавшись, резко шатнулась за свою



собеседницу.

В той засаде она была всё время, пока председатель снова не пропал за дверью в своём кабинете.

– Пошли отсюда, – еле слышно шепнула мне мама.

– Но мы ещё...

– Пошли... Вот так встреча!.. Пошли... Потом всё поясню...

На улице мама сердито выпалила:

– Ни к какому председателю я не пойду.

– Вам что, его походка не понравилась?

– Не до смешков... Ты знаешь, кто этот председатель?

– Председатель. И больше ничего.

– Да нет... Чего-о... Щэ сколько чего-о... Собачанский наш сосед...

– Ну! – обрадовался я. – Тем лучше. Глядишь, по-соседски и помог бы...

– Мне-то он бывший соседец. А тебе – так целый папка!

– Это откуда такое?

– Так ты у себя и спрашуй. Кто в Насакиралях бегал встречать на дорогу батька с войны? Ты. Кто назвался тебе папкой? Он. Ты и привёл *тогда* его домой... Там, в Насакиралях...

Я стал кое-что смутно припоминать:

– А-а...

– О-о! – вздохнула мама. – Вот так встреча... Лучше я б всего этого не знала... Вот так Серёга... Вот так Горбыль...

Как же можно так грязко пасть? А шоб его черти в дёгте купали!

Некролога о Горбылёве не было ни в «Правде», ни в районке. Значит, Софья Власьевна не понесла потерь в Каменке. Но тем не менее Горбылёва в Каменке не стало. Наверняка перебросили в другое куда место. С повышением.

В Каменке мама долго скучала по Насакирали.

Скучала по своим стародавним товаркам и особенно по Анисе Семисыновой.

Скучала по работе на чаю.

Скучала по той жизни, далёкой, трудной, но, странное дело, такой приманчивой.

Видела себя: собирала чай.

Видела: везли *е ё* чай на фабрику.

Видела пачечки чая в лавке. Люди берут тот чай, берут, берут, берут...

Многим был нужен *е ё* чай.

А теперь?

Домашний генерал... Вести один дом. Сготовить, прибрать, постирать... Ну, на огородчике... Это не труд...

Судьба до поры отпихнула, сдёрнула с работы, и жизнь привяла, поблёлкла.

Мама домашничала.

А мы все трое – скоро вернулся из армии Глеб – бегали

на молочный заводишко.

Глеб компрессорщик, я помощник кочегара.

И были мы под началом у Митрофана. Механика.

В нас, бывало, тыкали пальцем. Во, семейственность механик развёл! Да будь она, эта семейственность, трижды крива! Выли мы с Глебом от той семейственности.

А всё потому – сладеньким добрячком повернулся к чужим Митя, стеснялся бить посуду.

Один самовольно взял отгул за прогул; другой закатился не то в Волчанское, не то в Кривую Поляну свататься и на неделю увяз; третий в двадцатый раз хоронит одну и ту же бедную бабушку; четвёртый уже целую неделю ищет кобылу у цыгана<sup>404</sup> и никак не может найти...

Митрику бы стукнуть кулаком да покруче взяться за расхлябников, а он – трусоват, себе на уме – всё спускает на ласковых тормозах: с людьми надо ладить, надо всё миром, надо всё добром.

Отпетые гуляки-лодыри́ты раскусили Митрика, выработали безотказную тактику: прогулял без причины – молча являйся с повинной чекушкой-выручалочкой. Митрик тут не смел отказать – смертно обидишь человека и... в тёмном уголке врезался в водку, тянул мировую, уважительно восходил к алкогольным облакам, занюхивая принятое тремя пальцами.

Дальше – больше.

---

<sup>404</sup> Искать кобылу у цыгана – бездельничать.

Однажды перед промывкой котла Митрофан скажи лупо-глазику Мищенко:

– Полезай, зелень подкильная,<sup>405</sup> в котёл, осмотри всё, что там и как, проверь состояние труб и промывай, снимай всю нечисть.

Спесивый Мищенко, кочегар, никаких Иван Ивановичей не признавал. Заартачился. Не полезу, не полезу! И Митрик – старшой! – сам полез в топку.

После этого скандального «подвига» за ним твёрдо легла слава архидобрячка, совершенно безвредного и совершенно безвольного патрона-тряпки и им стали крутить, как кому хотелось.

Однако этот крутёж боком выходил нам с Глебкой.

Это с чужими Митрик ниже травы, тише воды, а со своими лютей тигры. Как же! Начальник! Руль! Апостол! Неровно с ним дышим. Воистину, храбёр трус за печкой. Храбёр на своих. Герой на меньших.

Другим что? Другим уже то хорошо, что своё начальство они видят лишь на работе от точки до точки. А ты круглые сутки ликуй от счастья! Да он тебе и дома не брат, а архимандрит.

Вот кто-то не вышел на работу.

Кого кидать на прорыв? Кто у нас ближе? Кто нам доступней? Опять же ты!

Ты отпрыгал свою смену. А он тебе:

---

<sup>405</sup> Зелень подкильная (морское) – о человеке, вызывающем раздражение.

– Созонка,<sup>406</sup> голуба!.. Протя!<sup>407</sup> Адики!<sup>408</sup> Выручайте!..

Не лаской, так таской по-родственному прижмёт, и ты, отстояв свою смену, стой ещё безразговорочно и за какого-то бабаягая-прогульщика.

Или...

Прижёт холодина, в самый момент лить лёд – масло живым льдом охлаждали, – а у заливальщика глубоко уважительная причина: лень с труда сбила, попал в вермутский треугольник. Недельный запой. Потом ещё с полнедели продолжается перепелиная болезнь, опохмелка.

Митрик и затыкает брешь не мною, так Глебом.

Толсто навалишь на себя всю тёплую одежду, шланг в руки и айда заливать. Когда тихо вокруг, терпеть ещё можно. Зиму я люблю, хоть мне и не до красот. На деревьях зима торжественно развесила стога снега. На мимо пробежавшей дороге неуживчивый жгучий мороз сгонял крестьян с саней и усаживался сам... Господи-ин Мороз!

Смотришь, как мужичок, спрыгнув с саней, потешно молотит за ними вследки ради подогревки, у меня весело согревается от той картинки душа. Работается в тихие погоды легко, влад. Льёшь и льёшь из шланга и горка льда растёт у тебя перед носом прямо на глазах...

А вот когда ветрюга... Нет-нет да и... Через раз да каж-

---

<sup>406</sup> **Созонка**, Созон – спасающий.

<sup>407</sup> **Протя, Протасий** – ставить впереди, выдвигать вперёд.

<sup>408</sup> **Адя, Адельфий** – брат. **Адики** – братики.

дый раз кидает на тебя обвалы воды из твоего же шланга и к концу смены сомнение берёт, не знаешь, где больше льда, то ли на площадке, то ли на тебе. Сам к вечеру превращаешься в ледяную ходячую горку.

Как-то пришла разнарядка послать одного человека на курсы компрессорщиков.

Я тогда толочся уже в этих самых компрессорщиках. Слезно прошусь на курсы.

А Митечка:

– Хоть ты и насобирал одиннадцать классов, а сошлю-ка я всё-таки в Воронеж на курсы Колюню Болдырева с четырьмя классами. Спровадь тебя, народ пальцем пойдёт потыкивать. Своих подымает! А курсы – это поощрение. А тебя за что поощрять? За метровый язычок? Сперва прикуси...

Всё-ё припомнил братик родной.

В строку воткнул и мой ответ директору.

Однажды раз зимой... А холодилья, звериный ветрина. Сбрасываю я с саней глыбы льда в ящик с солёной водой. Подлетает горбоватый дохля Кулинченко. Сам директорий-крематорий!

– Где твой холод? Масло горячее!

Тут пуп рвёшь из последних сил, а ему всё не так!

Психанул я.

Брезентовые рукавицы дёрг-дёрг с рук. Сую ему:

– Охлаждай сам своё масло!

Почему-то директор рукавицы у меня не выхватил, но тут

же пожаловался Митечке (они подошли вместе):

– Ты разберись со своим звурёнышем.<sup>409</sup> И здоровски разберись!

Потом Митечка целый месяц без перерыва на обед и на сон подвоспитывал меня, всю душеньку прозудел...

Ну, и поплыл на курсы алик Болдырев.

А мы с Глебом тоже поплыли из-под Митечкина крыла.

Вообще ушли с маслозавода.

Выше ноздрей хлебнули мы с Глебом счастья из бездонной чаши семейственности.

Хвата пахать на Митечкину доброту!

Хвата ему на чужом горбу ехать в рай, свеся лапти!

Закрываем этот мандёж!

Ну, тут и ангелы изругаются.

Не стерпели – треску бояться, в лес не ходить! – махнули вместе с Глебом в райпромкомбинат «в качестве разно-рабочего на шлакоблоке», как записали каждому в трудовую книжку.

Новая работушка была весё-ёленькая.

Сперва на огромном железном листе перемешиваешь тэцовский шлак с цементом, с песочком. Не забываешь оплёскивать водичкой всю эту тоску. Погарцуешь, погарцуешь с лопатицей на месте...

Потом в форму в станочке метнёшь лопаты три этой сы-

---

<sup>409</sup> **Звурёныш** – ребёнок с диагнозом ЗВУР: задержка внутриутробного развития.

ри, колотушкой разровняешь, прибьёшь. Врубишь моторик, станочек-вибратор припадошно затрясётся, уплотняя, ужимая смесь, и вот уже через двадцать секунд стенки формы разом откидываются на все четыре стороны – получай блок, может, вчетверо покрупнее обычной кирпичины, дырчатый, шатучий, хлюпкий, дышащий на ладан, готовый во всякий миг развалиться.

Блок сидит на поддоне, на тяжёлой железной пластине. Подхватываешь поддон, вальнул блок к пупку и рысцей из-под навеса на открытую площадку. На солнышко сохнуть.

Случается, не добежишь до солнышка, рассыплется прахом. Плюнешь и бегом остатки на поддоне назад в форму.

И снова с рыком, в лихорадке трясётся вибратор, и снова сама слетает форма со свеженького, ещё горяченького блока, и снова он как-то вызывающе, голо стоит перед тобой на подставке, и снова хватаешь его, и снова летишь к солнышку...

До смерточки унянчишься с этими блоками, все руки пообрываешь, еле ноги вечером дотацишь до барака. Зато знаешь, кончился день – топор в пень! Тебя больше ни одна собака не тронет.

И на Митечку-Иринарха,<sup>410</sup> обхватившего в чумной тоске голову руками – не знает, кого теперь и ткнуть в прорыв – взглядываешь победно, героем. Ведь теперь ты «горд как дикарь, метнувший удачно стрелу!»

---

<sup>410</sup> Иринарх – начальник мира.



А в выходные я убрал в окрестные сёла, искал истории для газеты. Всё своё отправлял прямо Саше Штанько, и раз от разу заметочки мои бóльшели.

Не ушло и году, в мае позвали в область.

На совещание юнкоров.

И восходит на трибуну достопочтенный франтоватый Усачёв.

И говорит с трибуны достопочтенник высокие слова про то, что вот раньше, в войну, солдаты с парада на Красной площади шли прямо в бой. И сейчас есть фронт – новые газеты в недавно созданных сельских, глубинных районах. И сейчас есть бойцы, которых хоть в сию минуту направляй на передовую. В новые газеты.

И слышит всё собрание покаянный рассказ про то, как приходил я к Усачёву проситься в газету, и про то, как не поверил он в меня, и про то, что вот сейчас он принародно винится, что в прошлом году паяльником он щелкнул – проморгал Журналиста и должен сейчас исправляться, и исправляется не иначе, как с данием, то есть с вручением мне почётной грамоты обкома партии *«за активное участие в работе советской печати»*.

А к грамоте пришпиливается обкомовское направление в село Щучье. В районную газету «За коммунизм».

Мама совсем потерялась душой, узнав про мои скорые, срочные сборы в Щучье.

– И на шо ото, сынок, ехать? – жаловалась-отговаривала

меня мама от Щучьего. – Чужа сторона, чужи люди... Один одиною... Один душою... Да Антонка... Та кто тоби рубашку погладит? Та кто борщу сварит?

– Сидя у матушки на сарафане, умён не будешь. Не Ваша ли присказка?

Мама не ответила.

– Надо, ма, когда-то и от сытого борща уезжать... – виновато заглянул я маме в скорбные глаза.

– От сытого никогда не поздно уехать... А к какому приедешь? От у чём вопрос... И на шо ото сдалась тебе та писанка по газетах? Чижало ж составлять. Головой и маракуй, и маракуй, и маракуй... Игде ото стилько ума набраты? У соседа не позычишь... Не займёт... А голове отдых надо? Нет?..

Так говорила мама, укладывая мне в грубый длинный и широкий тёмно-синий мешок самодельное тёплое одеяло, две простыни, тканьеовое одеяло, подушку метр на метр. Меньшей в доме не было. Сама шила. Сама набивала пухом со своих кур.

Всё укладывала в мешок, который я потом, уже в Щучьем, набил сеном, и был он мне матрасом долгие холостяцкие годы.

Укладывала мама, а у самой слеза по слезе, слеза по слезе, а всё каплет! Всё моё приданое и пересыпала слезами.

# Примечания

Главы из романа опубликованы на целую полосу к моему 80-летию в «Литературной газете» № 47 за 2018 год.

Полностью роман напечатал всероссийский литературный журнал «Север» (№№ 11-12 за 2019 год).

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

## **ВЛАДИМИР ПУТИН О ЗАКЛАДКЕ ЛЕНИНЫМ**

### **«АТОМНОЙ БОМБЫ» ПОД РАЗВАЛ СССР**

**Газета «Известия» 21 января 2016 года писала:**

**Путин: «Ленин заложил**

**под Россию «атомную бомбу»**

*Президент считает, что именно действия Владимира Ильича привели к развалу Советского Союза*

Президент России Владимир Путин сегодня на Совете по науке и образованию высказался о поэме Пастернака «Высокая болезнь», где автор рассуждает о роли Ленина в мировой

революции.

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук предложил на заседании Владимиру Путину создать для научной среды «организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях», процитировав при этом строки Бориса Пастернака о Ленине: «Он управлял течением мысли /И только потому – страной». Он предложил создать или найти такие организации, которые будут ответственны за общественное мнение «в конкретных направлениях».

Владимир Путин ответил, что управлять течением мысли нужно, но так, чтобы эти меры привели к правильным результатам, «а не как у Владимира Ильича». «В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там тоже была», – сказал президент.

## **Путин: воплощение идей социализма в России было далеко от сути**

*СТАВРОПОЛЬ, 25 января 2016. Межрегиональный форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) – РИА Новости.*

**– Идеи социализма были правильными, но их во-**

**площение в России было далеко от их сути, заявил президент Владимир Путин и для примера напомнил, что большевики критиковали предыдущий режим за репрессии, а сами с них и начали.**

Он также заявил, что большевики в борьбе за власть подписали мирный договор с Германией, так что Россия в Первой мировой войне «проиграла проигравшей стране», расстреляли царскую семью с детьми и слугами, уничтожали священников – и если задуматься об этом, возникают разные оценки исторических фактов.

Президент признался, что ему очень нравились и до сих пор нравятся коммунистические и социалистические идеи.

– Если мы, – сказа он, – посмотрим Кодекс строителя коммунизма, который широко тиражировался в Советском Союзе, он очень напоминает Библию, и это не шутка – это такая выдержка из Библии. Идеи-то они вообще хорошие – равенство, братство, счастье, но практическое воплощение этих замечательных идей в нашей стране были далеки от того, что излагали социалисты-утописты.

Путин в который раз говорил на форуме о жестокости незаконных репрессий:

**«Все обвиняли царский режим в репрессиях. А с чего началось становление советской власти? С массовых репрессий. Я уже не говорю про масштаб, он просто такой наиболее вопиющий. Пример – это уничтожение, расстрел царской семьи вместе с детьми. Но мог-**

ли бы быть еще какие-то идейные соображения по поводу того, чтобы искоренить, так сказать, возможных наследников. Но зачем убили доктора (царской семьи) Боткина? Зачем убили всю прислугу? Людей, в общем-то, пролетарского происхождения. Ради чего? Ради того, чтобы скрыть преступление», – сказал Путин на форуме ООН в понедельник.

## **Путин призвал не разделять общество вопросом о захоронении Ленина.**

«Ведь, понимаете, мы никогда раньше об этом не задумывались. Ну, хорошо, сражались с людьми, которые воевали с советской властью с оружием в руках (в Гражданскую войну). А священников чего уничтожали? Только в 1918 году 3 тысячи священников расстреляли, а за десять лет – 10 тысяч, на Дону там сотнями под лед пускали», – добавил Путин.

Президент подчеркнул, что когда над этим начинаешь задумываться, возникают разные оценки данных фактов.

В качестве примера он привел письмо Ленина, в котором тот писал о необходимости расстрелять как можно больше представителей реакционной буржуазии и священнослужителей.

«Вы понимаете, такой подход как-то не очень вяжется

с некоторыми нашими бывшими представлениями о самой сути власти», – заявил глава государства.

Путин добавил, что в Первой мировой войне «получилось, что мы проиграли проигравшей стране». Советская Россия в марте 1918 года заключила с Германией и ее союзниками сепаратный Брестский мир. В ноябре Германия капитулировала перед странами Антанты. «Через несколько месяцев (после Брестского мира) Германия капитулировала, а мы оказались проигравшими проигравшей стране. Уникальный случай в истории. Ради чего? Ради борьбы за власть», – сказал президент.

**30 ОКТ 2017, 17:56. Обновлено 30 окт 2017, 18:43**

## **Путин считает, что прошлые политические репрессии не имеют оправдания**

*Глава государства также заявил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения*

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что репрессии в прошлом страны невозможно ни оправдать, ни забыть.

Выступая на открытии мемориала жертвам политических



репрессий, глава государства напомнил исторические факты, когда «каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения, миллионы людей объявлялись врагами народа, были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем или лагерей и ссылок».

«Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и тем более – невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа», – подчеркнул Путин.

«В истории нашей страны как и в любой другой немало сложных, противоречивых этапов. О них спорят, их обсуждают, предлагают разные подходы для объяснения тех или иных событий. Это естественный процесс познания истории и поиска истины, но когда речь идет о репрессиях, о гибели и страданиях миллионов людей, тут достаточно посетить Бутовский полигон, другие братские могилы жертв репрессий, которых немало в России, чтобы понять: никаких оправданий этим преступлениям быть не может», – заявил президент.

По его мнению, «политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию». «Последствия мы ощущаем до сих пор. Наш долг – не допустить забвения», – убежден глава государства.

Путин также заявил, что четкость и однозначность оценки репрессий поможет не допустить их повторения. «Сама па-

мь, четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит мощным предостережением к их повторению», – сказал он.

Президент напомнил, что идея создания памятника жертвам политических репрессий родилась еще в годы хрущевской оттепели, но такие мемориалы стали создаваться только в последние десятилетия. «Сегодня в столице мы открываем стену скорби – грандиозный, пронзительный монумент – и по смыслу и по своему воплощению. Он взывает к нашей совести, чувствам, к осмыслению периода репрессии, состраданию их жертв», – сказал Путин.

Он выразил благодарность авторам монумента, властям Москвы, взявшим на себя основные расходы по финансированию возведения монумента, а также всем гражданам, которые внесли свои личные средства на создание памятника. «Он важен для нас, важен для всей страны сегодня и еще важнее – для молодых людей, для будущего России», – выразил уверенность президент.

Путин процитировал слова Натальи Солженицыной о периоде репрессий: «Знать, помнить, осудить и только потом простить». «Полностью присоединяясь к этим словам. Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили. Но это не значит – призывать к сведению счетов. Нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния», – подчеркнул глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас «важно опираться на ценности доверия и стабильности». «Только на этой основе мы можем решить задачи, которые стоят перед обществом и страной, перед Россией, которая у нас одна», – резюмировал он.

## **Путин: последствия политических репрессий ощутимы до сих пор**

**30 октября 2017. Русская служба ВВС**

**Президент России Владимир Путин назвал политические репрессии в бывшем Советском Союзе ударом по народу, который в России «ощущается до сих пор». По словам Путина, «никаких оправданий этим преступлениям быть не может». Он призвал не допустить забвения жертв, но не «сводить счеты».**

Владимир Путин выступил в понедельник на церемонии открытия памятника жертвам политических репрессий в центре Москвы, на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садовым кольцом.

«Для всех нас, для будущих поколений, что очень важно, важно знать и помнить об этом трагическом периоде нашей истории, когда жестоким преследованиям подвергались це-

лые сословия, целые народы: рабочие и крестьяне, инженеры и военачальники, священники, государственные служащие, ученые и деятели культуры», – цитирует агентство РИА Новости выступление Путина.

«Политические репрессии стали трагедией для всего нашего народа, для всего общества, жестоким ударом по нашему народу, по его корням, культуре, самосознанию, последствия мы ощущаем до сих пор», – сказал российский президент.

«Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили, но это не значит призывать к сведению счетов, нельзя снова подталкивать общество к опасной черте противостояния. Сейчас важно для всех нас опираться на ценности доверия и стабильности,» – заявил Путин.

## **При Сталине и после него**

Политические репрессии в СССР начались в период после октябрьского переворота 1917 года, продолжились в 1920-х годах рядом дел о политических преступлениях и с разной интенсивностью массово продолжались вплоть до смерти Иосифа Сталина в 1953 году.

Несмотря на разоблачение Хрущевым культа личности Сталина и реабилитацию многих невинно осужденных, в последующие десятилетия в СССР репрессии продолжились.

Советская власть жестоко подавила десятки массовых стихийных протестов, а кампании по преследованию диссидентов не прекращались вплоть до начала горбачевской перестройки.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.

## **Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор**

### **Манифест футуризма: об ответственности интеллектуалов**

Период 1937-1938 года, когда репрессии приобрели особенно массовый размах, называют «Большим террором».

Первые массовые расстрелы произошли на Левашовском полигоне под Ленинградом 2 августа 1937 года и на Бутовском полигоне в Подмосковье 8 августа. Только в двух этих местах были убиты соответственно 45 тысяч и 20 тысяч человек.

Об общей сложности с августа 1937-го по ноябрь 1938 го-

да НКВД арестовал 1 548 366 человек, из которых 1 344 923 были осуждены, в том числе 681 692 расстреляны. Казнили в среднем по полторы тысячи человек в день.

**Джон Иванов**

## **Как Путин жестко раскритиковал Сталина и Ленина**

13 декабря 2019

Президента России Путина сложно обвинить в предвзятости и нелюбви к СССР, ведь он выходец из структур КГБ и не раз с теплотой вспоминал о советском периоде. Несмотря на это, Владимир Путин неоднократно высказывался о лидерах советского государства первой половины 20-го века – Ленине и Сталине. Эти высказывания носили преимущественно негативный оттенок, особенно в адрес Сталина.

### **Что Путину не понравилось в правлении Сталина?**

Основание для критики Сталина Путин называет его **жестокость к собственным гражданам**. Путин заявлял, что Сталин, безусловно, был **тираном**, отметив, что многие на-

зывают его **преступником**.

Говоря о Второй Мировой войне Путин высказал мнение, что страна была к ней не готова, ведь **сталинский режим разрушал жизнь народа постоянными репрессиями**. Возможно, что Путин в том числе говорил и о чистке командного состава красной армии конца 1937-38 гг.

Особое внимание Путин уделил **осуждению репрессий и массовых расстрелов при Сталине**. Он признал что от репрессий пострадали миллионы советских людей, а способ принуждения заключённых к труду через ГУЛАГ – неприемлем. Жесткой критике удостоился и культ личности Сталина, Путин сравнил его с преступлением против своих людей.

Говоря о **массовых расстрелах** 20 тысяч человек в **Бутовском полигоне** под Москвой в 1937-1938 гг. и расстрелу 22 тысяч польских офицеров в Катыни в 1940 г. Путин заявил о **колоссальных масштабах трагедий**, ответственности **сталинизма** и недопустимости оправдания таких действий **тоталитарного сталинского режима**. Путин надеется, что ничего наподобие сталинизма в России больше никогда не будет.

**Что Путину не понравилось в правлении Ленина?**

Неоднократно Путин высказывался и о вожде мирового пролетариата – Ленине, назвав национальным предательством заключение большевиками **сепаратного Брестского мира** в первую мировую войны.

Назвав Ленина «Стариком», Путин раскритиковал его за то, что тот заложил атомную бомбу под Россию и тысячелетнюю российскую государственность, а она потом рванула.

## **Большая пресс-конференция Путина 2019: вопрос № 10 про Ленина**

### **Стенограмма большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года**

В.Путин: Что касается фигуры Ленина в нашей истории, и какие, собственно говоря, у меня оценки в этой связи складываются. Он был скорее не государственный деятель, а революционер, на мой взгляд.

И когда я говорил о тысячелетней истории нашего государства – оно было строго централизованным, унитарным государством, как известно. Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза.

Вот смотрите, строго централизованное государство – в конфедерацию фактически, с правом выхода и с привязкой этносов к территории. Но даже территории нарезаны были так, что они не всегда соответствовали и до сих пор соответствуют традиционным местам проживания тех или других народов. Поэтому сразу возникли болевые точки, они и



сейчас ещё между бывшими республиками Советского Союза имеют место быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких точек, стоит только отпустить на секунду – мало не покажется. Это первое.

Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось? Вот сейчас мы с коллегой с Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что Украина была сельская территория и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали подряд по всей стране. Это несколько странноватое решение. Но тем не менее оно состоялось. Это всё наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина, и теперь мы с этим разбираемся.

Но ведь что они сделали? Они связали будущее страны со своей собственной партией, и потом в Конституции кочевало это из Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна. Вот что я имел в виду. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас.

Причём, вы знаете, я длительное время проработал в раз-

ведке, которая была составной частью очень политизированной организации – КГБ СССР, и у меня были свои представления о наших вождях и так далее. Но сегодня, с позиции моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что кроме идеологической составляющей есть ещё и геополитические. Они совершенно не учитывались при создании Советского Союза. Всё это было очень политизировано в своё время. Партия начала разваливаться, повторяю, и всё, и страна за ней посыпалась. Этого нельзя было допустить. Это ошибка. Абсолютная, кардинальная, фундаментальная ошибка при государственном строительстве.

Теперь что касается тела или не тела. Дело совершенно не в этом. И, на мой взгляд, не нужно трогать, во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определённые достижения прошлого, советских лет. А Советский Союз, так или иначе, безусловно связан с вождём мирового пролетариата Владимиром Ильичом Лениным. Поэтому туда очень забираться – зачем? Надо просто идти вперёд, и всё, и развиваться активно.

## **Путин обвинил КПСС в развале СССР**

текст: /Infox.ru

опубликовано 23 сен '16 13:59

точник: ИТАР-ТАСС

**Президент России Владимир Путин на встрече с руководством политических партий в Кремле заявил, что СССР не надо было разваливать, можно было идти по пути демократических преобразований, но компартия продвигала разрушительные для страны идеи.**

«Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было повести преобразования, в том числе демократического характера, без этого. Но хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма, либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства», – цитирует Путина РИА «Новости».

Ранее, в 2005 году, в послании Федеральному собранию Путин уже отзывался о развале СССР как о «крупнейшей геополитической катастрофе века». По его словам, «для российского народа оно стало настоящей драмой».

## **Путин назвал виновника распада СССР**

8 мая 2018

Советский Союз достиг больших успехов под руководством КПСС, при ней же он перестал существовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госдумы.

Путин согласился, что достижения Компартии СССР неоспоримы. Среди них – освоение космического пространства, создание ядерного щита и многое другое.

«Геннадий Андреевич (Зюганов. – Прим. ред.) не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование. И здесь радоваться нече-му», – сказал глава государства. Президент напомнил, что именно КПСС была правящей партией в Советском Союзе, а посему ее лидеры напрямую причастны к событиям 1991 года.

Владимира Путин неоднократно высказывался о своем сожалении по поводу развала СССР. Еще в 2005 году в послании Федеральному собранию он охарактеризовал это событие как крупнейшую геополитическую катастрофу ушедшего века.

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну глава государства пояснил, почему так считает. По его словам, за границей в одночасье оказались 25 миллионов русских. Граждане Советского Союза, подчеркнул он, жили в рамках одной страны, они была работа, жилье. «В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», – подчеркнул Путин.

Кроме того, отметил он, была разрушена система социальной защиты, здравоохранения, перестали функционировать целые отрасли экономики, многие люди оказались за чертой бедности, в плачевном состоянии оказались вооружен-

ные силы. «Про это тоже нельзя забывать», – добавил глава государства.

О распаде СССР Владимир Путин упомянул и в июле прошлого года в ходе общения с одаренными детьми в лагере «Сириус». По словам Путина, развал Советского Союза является событием, оказавшим наибольшее влияние на его жизнь.

## **КОММУНИЗМ И БОГ**

### **Зюганов высказался по поводу идеи упоминания бога в Конституции**

Москва. 11 февраля 2020 года. INTERFAX.RU – КПРФ не возражает против упоминания бога в преамбуле Конституции России, заявил председатель ЦК Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов.

Отвечая на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» на вопрос о возможности упоминания бога в преамбуле Конституции, Зюганов заявил, что «это образ скорее, который соответствует нравственно-духовным основным ценностям нашей державы», и напомнил об упоминании бога в гимне РФ.

По мнению лидера КПРФ, библейские сюжеты стали ча-

стью коммунистической идеологии. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла (...) – там главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот и не ест», – рассказал Зюганов.

«Собственно говоря, мы во многом моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», – заключил лидер КПРФ.

С инициативой о включении упоминания бога в Конституцию ранее выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Между тем против этого выступил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. В СПЧ<sup>411</sup> сочли некорректным упоминать бога в Конституции.

Президент России Владимир Путин 15 января в послании Совету Федерации предложил поправки в Конституцию, которые, в частности, меняют механизм формирования правительства. 20 января Путин внес в Думу законопроект с поправками в Конституцию, он был принят в первом чтении 23 января.

---

<sup>411</sup> **СПЧ** – Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (также используется название **Совет по правам человека**, сокр. **СПЧ**). Совет является консультативным органом.